

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Литература русского зарубежья

Восточная ветвь

ХРЕСТОМАТИЯ

•

Том первый. Проза

•

Часть 2 (Л-П)

Благовещенск
Издательство АмГУ
2020

ББК 83.3 (2 Рос=2 Рус)

Л 64

*Рекомендовано
учебно-методическим советом Амурского государственного университета*

Рецензенты:

*Ли Иннань, профессор Университета Иностранных языков (г. Пекин, КНР);
Агеносов В.В., заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН,
докт. филол. наук, проф. кафедры журналистики и литературы ИМПЭ (г. Москва).*

Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1. Проза: В 3-х частях. Ч. 2 (Л-П) / Сост., общ. ред. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиевой; вступ. ст. А.А. Забияко; библиограф. ст. Г.В. Эфендиевой; подгот. текстов И.А. Дябкина, А.А. Забияко, К.А. Землянской, Р.В. Поливан, Г.В. Эфендиевой, А.А. Юрьевой. – Благовещенск: Изд-во АмГУ, 2020. Изд. 2-е, перераб., дополн. – 446 с.

ISBN 978-5-93493-182-8

В первом томе хрестоматии «Литература русского зарубежья. Восточная ветвь» собраны прозаические сочинения 40 писателей русского Китая. Все подборки сопровождаются биографическими справками и фотографиями авторов.

Издание предназначено в качестве учебного пособия студентам и аспирантам, обучающимся по направлению подготовки 45.03.01, 45.04.01 «Филология», 45.06.01 «Языкознание и литературоведение» высших учебных заведений, а также преподавателям и специалистам, занимающимся изучением истории литературы и культуры русского зарубежья.

© А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева, составление, 2013; 2020

© А.А. Забияко, предисловие, 2013, 2020

© Амурский государственный университет, 2020



**Яков Львович
ЛОВИЧ
(1896-1956)**

Литератор и журналист Яков Лович (настоящая фамилия Дейч) родился 28 декабря (ст. ст.) 1896 г. в с. Усть-Кара. Сын известного революционера Л.Г. Дейча. В 1915 г. окончил Благовещенскую мужскую гимназию. Учился в Московском университете. Весной 1916 г. призван в действующую армию. В начале 1918 г. вступил в армию А.В. Колчака. Следовательно при военно-полевом суде (до 1920 г.), прокурор по политическим и уголовным делам. В ноябре 1922 г. приехал в Маньчжурию из Иоккогамы. Работал в библиотеке Д.Н. Бодиско (до 1926 г.), затем стал журналистом газеты «Рупор». Работал в журнале «Рубеж». С 1937 г. жил в Шанхае. Печатал рассказы в журналах «Грани», «Кстати» и др. Автор книг «Ее жертва» (Харбин, 1931), «Что ждет Россию?» (Харбин, 1932), «Офицерская шинель. Белая Голгофа» (Харбин, 1936; в соавторстве с Г. Мурашевым), «Враги» (Шанхай, 1940). В 1951 г. эмигрировал через Тубабао в США. 27 августа 1956 г. Я. Лович скончался от рака легких в больнице Стенфордского университета. Похоронен на Сербском (Русском) кладбище под Сан-Франциско в Калифорнии.

Ист. и лит.:

Скопиченко О. Некролог: Кончина Я.Л. Ловича // Русская жизнь. 1956. 29 августа.

Хисамутдинов А.А. Писатель в изгнании // Новый журнал. 1996. № 201. С. 280-284.

Хисамутдинов А.А. Из Благовещенска в Харбин и Шанхай: Журналист и писатель Яков Лович // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 5. Благовещенск, 2012. С. 203-209.

ЕВРЕЙСКОЕ СЧАСТЬЕ

Лазарь Соломонович был очень стар. Из его глаз смотрела глубокая мудрость.

И потому я всегда любил его слушать. И потому и теперь я насторожился и ждал, что он скажет.

Он снял очки, протер их клетчатым носовым платком и снова одел на горбатый нос. Разгладил большую белую бороду, весело усмехнулся, лукаво посмотрел на меня и заговорил:

– По-вашему, евреи умнее других, а потому счастливее. Вы говорите: «Евреи хитрее других, а потому лучше живут». Ну, и что из того? Я вам скажу, что каждый еврей продаст вам свое счастье за пять копеек, а своему врагу отдаст это счастье даром. Верьте мне, старому еврею.

Скажите мне, когда еврей был счастлив за все дни с сотворения Мира? Жил себе он в раю, и все было хорошо. Так разве еврей где-нибудь может спокойно жить? Ведь ему надо все знать! Я спрашиваю: разве еврей может спокойно жить, если есть дьявол, есть яблоко и есть глупая жена? Ну, так он съел яблоко – и его выгнали из рая.

Это было только начало, а конца я и теперь не вижу. Может быть, вы его видите?

Адам расплодил целый народ, и пошло еврейское счастье бродить по

свету. Из Египта вежливоенько попросили удалиться, в Палестине так кричали, что туда пришли римские солдаты, в Испании жарили на кострах, из Франции гнали, из Германии гнали, по России гоняли.

Ну, а гетто? Вы знаете, что такое гетто? Вы знаете, что такое черта оседлости? Слышали?

Это хотели евреев задержать, чтобы они не бегали взад-вперед. Ну, так вы думаете, что из этого что-нибудь вышло? Ничего не вышло: разве еврея можно привязать к одному месту, когда Бог велел ему бегать по всему миру?

Теперь нет черты оседлости, и евреи опять забегали по всему свету – на свою несчастную еврейскую голову. Ой, на свою голову, я вас в этом уверяю!

Вы говорите – еврейское счастье. Я вам расскажу, как пришло это счастье к моему отцу и что из этого вышло.

Это такая история, что из ней можно целый роман с прологом выдумать. Ну, вот, так слушайте же.

Было это в Польше. Моему отцу было тогда лет 35, и был он лесничим в имении пана Скржинецкого в Ломжинской губернии около местечка Замброва.

Скржинецкий был пан как пан: богатый и знатный. Сидел бы себе в лесу, пил бы мед – никто бы его не тронул. Но разве поляк будет сидеть спокойно в каком-то лесу, когда ему хочется в Варшаву – покричать в сейме? И другие паны тоже хотели покричать в сейме.

Ну, и вышла большая война против русских. Ой, что это было! Поляки били казаков, казаки били поляков, а евреев били и казаки, и поляки. Кругом стон стоял, а мой отец в лесу два года дышать от страха не мог.

И вот – разбили поляков. Пан Скржинецкий пропал: говорили, что убит в бою. Приехали в наш лес казаки, перепороли всех в имении пана – тем делои кончилось. Моего отца не тронули, и он был оставлен лесничим.

Но время все-таки было страшное – ой, какое страшное! Нет-нет, да арестуют кого-нибудь из поляков и ушлют в Сибирь. И евреев ссылали – за компанию.

Ну, вот. Было это, кажется, в 1865 году, зимою. Вся наша семья была в сборе – десять человек. Мне было тогда 9 лет.

Была пятница, значит, – шабес. Вы знаете, что такое шабес? Отец одевал на голову штраймель – остроконечную шапочку – и пел молитву. Горели свечи. Десять свечей – сколько в семье человек было.

Потом пили вино, или фаршированную щуку и опять пели молитвы.

Потом *ели* суп с лапшей и цимес с фасолью и черносливом. И опять пели молитвы.

А кругом – лес, засыпанный снегом, и ветер, и стужа. До местечка

верст 25, не меньше.

Ну, поем себе молитвы, и вдруг – трах в дверь, трах в окно. Что тут поднялось! Мать закричала, сестры закричали, я и все младшие под стол залезли.

Отец стоит и не знает, что делать. А через дверь кричат: «Открывай!». Ну, раз кричат – надо открывать.

Отец открыл. Входят пристав и два казака с ружьями. Вот, прошло уже больше 60 лет, а и сейчас помню, что у пристава были толстая, красная рожа и рыжие усы, а у казаков – черные бороды.

Пристав отряхнул снег с шапки, посмотрел на всех, вытащил какую-то бумажку, взглянул в нее и сказал:

– Ну, кто тут Соломон Кац?

Отец ответил:

– Ну, я. А что?

– Одевайся.

– Зачем мне одеваться? Я никуда не собираюсь.

– Одевайся, говорят!

Ну, раз говорят, что нужно одеваться, то нужно одеваться. Мать заплакала, сестры заплакали, все заплакали. Только пристав и казаки не плакали.

Отец оделся. Тогда пристав мигнул казакам. Они подошли к отцу и... знаете, что? Одели ему на руки кандалы! Ой, когда мы это увидели, то такой крик поднялся, что у меня до сих пор в ушах звенит.

Раз кандалы – тут уже не шутки! Тут уже дело государственное. Ну, мы кричим, а казаки тащат отца из избы, а он идет себе – белый, как мертвец.

Мы все высыпали на улицу, даже не одевались. У избы – военная бричка.

Мать как увидела ее, так еще больше закричала, потому что казаки в таких бричках поляков увозили. Усадили отца в бричку. Пристав сел рядом, казаки – на облучок.

Ударили по лошадям и в одну минуту пропали в лесу.

Ну, понимаете, что тут было? На улице – мороз, все плачут, мать в снег упала. Первой опомнилась старшая сестра, Мина, – ей уже 16 лет было.

Загнала всю ораву в избу и привела мать. Всех младших уложила спать, а сама стала разговаривать с матерью: что делать?

Ну, я, конечно, не спал и слушал, что они говорят. А они плакали и говорили, говорили и плакали.

Так я и уснул, и не знал, что они придумали.

Только утром, когда я проснулся, матери не было. Я встал с постели, и вдруг стало мне страшно: отца нет, матери нет. Я и завыл себе

потихоньку.

Тогда Мина подошла ко мне, стукнула меня по голове и сказала:

- Мама ушла в Замбров. Ну, и я теперь за старшую. Если будешь вянгать - выпорю.

Вот все, что я помню, Дальше буду рассказывать, как другие рассказывали.

Мина сказала правду: мать пошла в Замбров. Одна, зимою, за 25 верст. Это не шутки! Ну, мать здоровая была, крепкая - не то, что нынешние женщины.

Пришла в Замбров - и сразу к знакомому, Исаю Розовскому. Исай этот был вроде адвоката. Не то, чтобы адвокат, а вроде: писать и читать умел по-русски и по-еврейски.

Ну, мама к Розовскому: может быть, что-нибудь посоветует. Исай подумал, покурил, покурил, подумал.

Спрашивает:

- Ну, а скажи мне: обыск делали?

- Ой, не делали обыска, не делали...

- Так ты не плачь: это же очень хорошо, что не делали. Ну, а дома есть какие-нибудь бумажки, книги, что-нибудь письменное?

Мать сказала, что не знает. Тогда Розовский посоветовал:

- Поезжай домой и сожги в печке все бумажки. Все сожги, все бумажки, какие есть. Если найдут что-нибудь, скажут, что Соломон Кац был с поляками. Ну, а если скажут, что Соломон Кац был с поляками, тогда не видать тебе Соломона Каца. Когда все это сделаешь, то приезжай сюда. Может быть, я что-нибудь узнаю.

Мать послушалась, поехала домой. Перерыла всю избу и сожгла в леечке все, что даже только походило на бумагу. У меня были буквари - и их сожгли.

Я ревел, как осел, но мать вздула меня и все-таки сожгла книжки.

Разве она могла не послушаться Исаю Розовского? Разве можно было его не послушаться, если Исай Розовский для всех евреев на сто верст кругом был все равно как еврейский губернатор?

Даже сам раввин из Ломжи всегда говорил, что у Исаю - голова царя Соломона.

Ну, так мать сожгла все бумаги и снова поехала к Исаю Розовскому. Приехала и спрашивает:

- Ну, что? Где же мой муж? Где мой Соломон?

Исай подумал, покурил, покурил, подумал. Потом говорит:

- Ну, я думаю, что это очень серьезное дело.

Мать спрашивает:

- Почему вы думаете, что это очень серьезное дело?

- Почему я думаю? Потому, что Соломона увезли в Ломжу.

Когда мать услышала это, у нее подкосились ноги. В Ломже была уже настоящая тюрьма, и туда свозили поляков, арестованных за мятеж. Выходило так, что отца арестовали по тому же делу.

- Что же вы посоветуете мне теперь, господин Розовский?

- Что я посоветую? У вас есть деньги?

- Есть ли у меня деньги? Ну, есть немного... совсем немного.

- Ну так поезжайте в Ломжу. Там есть мой приятель, Давид Фишман. Я ему напишу записку, и он поможет вам узнать, где Соломон.

Мать поехала в Ломжу. Разве она могла не послушаться Исаия Розовского? Приехала в Ломжу - и сразу к Давиду Фишман.

Ну, так Давид Фишман сказал, что раз ему пишет Исай Розовский, что нужно помочь жене Соломона Каца, то он поможет. Через два дня Фишман узнал, что Соломона увезли в Вильно.

- Что же вы посоветуете мне, господин Фишман? - спросила мать

- Станный вопрос! - пожал плечами Фишман. - Что я могу ей посоветовать? Поезжайте в Вильно. Я дам вам записку к Абраму Капилевичу, и он все узнает.

Мать поехала в Вильно.

А вы знаете, что значит ездить из города в город в те времена, когда никакой дороги железной не было? Ну, так когда мать приехала в Вильно, то она наполовину была больная.

Абрам Капилевич прочел записку Давида Фишмана и сказал, что все узнает. И узнал: отца увезли в Петербург.

- Что же это значит, господин Капилевич? - спросила мать.

- Что это значит? Это значит очень плохо, мадам Кац.

- Ой, что вы, господин Капилевич. А почему очень плохо?

- Почему? Потому что даже поляков судят здесь, на месте. И вешают здесь, а не увозят в Петербург. Раз вашего мужа увезли в Петербург, то это значит что-нибудь особенное.

Мать так и упала на пол. Капилевич и его жена уложили ее в постель, а на другой день посоветовали матери ехать в Петербург и дали ей письма... знаете, к кому?

К Гинзбургу, к самому Гинзбургу. Тому самому Гинзбургу, который потом был русским бароном. Как вам это нравится?

Гинзбург был-таки хороший человек: он сразу все узнал.

И знаете, что он узнал?

Вы не поверите, что он узнал, но я вам все-таки расскажу, хотя это похоже на сказку из тысячи ночей.

Ну, так вот, надо вам сказать, что в это время закончилось завоевание Кавказа. Русское правительство захотело вдруг заселить часть Кавказа русскими.

Но как же это сделать, если никто не хочет этого делать? Скажите

мне, что приятно жить в стране, где все ходят с ножами и режут друг друга?

Ну, вот, так правительство придумало маленький фокус: оно решило разыграть земли в лотерею, по дешевой цене – 50 копеек, один рубль и дороже.

И знаете, сколько можно было взять на главный выигрыш? 5000 десятин земли! Ну, конечно, билетов было несколько миллионов, и распределялись они так: ну, скажем, от 1-го до 1000-го посылали Курскому губернатору, от 1000-го до 2000-го – Рязанскому, и так по всем губерниям России.

Губернатор рассылал таким же образом исправникам, те – приставам и т. д.

Ну, и знаете, что получалось из всего этого? А то, что можно было сразу установить, где и у кого находится билет, скажем, № 1542: в Курской губернии, в таком-то уезде, таким-то исправником продан такому-то.

Ну вот. Настал день розыгрыша. И был он в Петербурге в присутствии, знаете, кого? Самого государя императора Александра II. Он сам следил, чтобы не было обмана.

Вытянули сначала главный выигрыш. Ну, посмотрели: номер такой-то. Записали.

Тут царь и говорит:

– Послушайте, знаете, что? Скажу вам откровенно, что я-таки хотел бы посмотреть на этого счастливица, который выиграл 5000 десятин за 50 копеек.

Ну, если бы мы с вами это сказали – кто бы нас стал слушать? Мало ли кто что говорит. Но тут сказал не я и не вы, а все-таки царь русский!

А если русский царь чего-нибудь захочет, так кто может ему сказать: этого нельзя сделать?

Царь, может, и сказал-то это так, случайно, но вокруг него были генералы и министры с хорошими ушами. Ну, каждый хочет угодить царю, так стали справляться: в какой губернии номер билета такой-то?

Узнали, что в Ломжинской. Приказ от министра внутренних дел: немедленно доставить в Петербург владельца билета.

Ну, вы сами понимаете! Раз приказ от министра, значит, дело серьезное. Справились по записям: билет номер такой-то у Соломона Каца, живущего около Замброва.

А отец действительно купил этот билет у исправника за 50 копеек. Как было не купить, когда исправник сказал, что билеты продает сам царь? Не хочешь да купишь!

Ну, приказали подать в Ломжу Соломона Каца. Приехали за отцом казаки и пристав и увезли его в Ломжу.

Везли в кандалах, потому что в приказе было сказано, что владелец билета должен быть доставлен во что бы то ни стало.

Ну, ломжинский губернатор не знал в чем дело и подумал, что это – важный преступник. Побоялся, что отец убежит, и велел заковать в кандалы.

Ну вот. Вы, наверное, скажете: ну и что? Слава Богу, что мой отец такой счастливец: получил 5000 десятин за 50 копеек.

Так вы думаете, он их получил? Совсем напротив!

Гинзбург поехал в полицию, поехал туда, сюда и узнал, что отец сидит в градоначальстве под охраной. Почему? Потому что у него не было с собою билета, на который он выиграл.

Ведь он не мог знать, для чего его везут в Петербург, и оставил билет дома. А без билета его боялись везти к царю.

Тогда Гинзбург повез мою мать к градоначальнику, чтобы засвидетельствовать, что билет такой у отца есть,

Приехали в градоначальство. Мою мать спрашивают:

– А где же, мадам, билет? Покажите его нам.

– Билет? Билет я сожгла!

– Как сожгла?

– Так и сожгла – в печке. Я, господин генерал, боялась, что Соломона из-за поляков арестовали, и все бумаги дома сожгла.

– Гм... Из-за поляков? Каких поляков? Ну-ка, расскажите.

Гинзбург тут испугался: видит, дело иначе повертывается.

Но было немножко поздно. Мать перепугалась и запутала свой рассказ. Тут совсем плохо вышло. Мать задержали и стали наводить справки про отца.

Ну и что вы думаете? Знаете, что они подумали? Что отец – участник восстания.

Ломжинская губерния, имение пана Скржинецкого – гнездо мятежников... Мать сожгла бумаги... путается в показаниях... Дело казалось ясным.

Ну и знаете, чем все кончилось? Вместо 5000 десятин земли на Кавказе отец получил бесплатную поездку в Сибирь.

С первой же партией его сослали в Иркутскую губернию, даже сам барон Гинзбург ничего не смог сделать.

Вот вам и счастливый выигрыш! А вы говорите – еврейское счастье!

Что вы знаете об еврейском счастье?

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 23. С. 8–9, 12, 14.

РОДИМОЕ ПЯТНО

Кафе было переполнено. Столики, частью вынесенные на тротуар, брались с боя.

В этот жаркий день хорошее мороженое, вино с лимонадом и ледяной гренадин казались верхом человеческих достижений.

Мне повезло: мой «компаньон по мороженому» был очень веселый и занимательный собеседник.

В этом небольшом городе, с которым я был мало знаком, он был своим человеком. Почти каждому входящему в кафе он давал какую-нибудь характеристику или что-нибудь о нем рассказывал.

В конце концов это стало настолько занятно, что я уже сам спрашивал о каждом входящем:

– А это кто?

В разгар рассказов моего компаньона в кафе вошел старик, который сразу обратил на себя мое внимание.

Гордая серебряная голова сидела на могучих плечах. Огненные глаза смотрели из-под нависших черных бровей сурово и, пожалуй, печально. Старик был высок и тучен.

Он прошел на середину кафе и сел за столик.

– Кто это? – снова спросил я.

– А? Это? – оживился мой собеседник. – Это пан Любомирский из Варшавы. Из тех самых Любомирских... ну, знаете, конечно, из каких... Большой помещик. Когда-то у него под Седлецом свои земли были. Потом разорился. Теперь живет кое-как. Интересный тип!

– Чем же он интересен? – спросил я.

– Ну, батенька, долго рассказывать! Про него ведь в свое время легенды ходили, песни складывали. Деспот и добряк, самодур и первый хлебосол. Человек, сотканный из противоречий, парадокс ходячий. Его пиры, охоты, его истории с женщинами в свое время с языка не сходили.

Уму непостижимо, что он выделялся! Жаловались на него, судились с ним – ничего не выходило. Связи имел большие, деньги большие – что с ним поделаешь? Дуэлянт был первый, бреттер и горячка.

Чуть что – панская честь, польский гонор – и пожалуйста к барьеру. Боялись его все, как огня. Наверное, с десяток человек проткнул он своей шпагой, которую унаследовал еще от Яна Собесского.

Ну и вышло так, что он хозяином был не только в своих землях, а и на десятки верст вокруг.

Были случаи... пробовали против него брыкаться, да ничего не выходило. Любомирский так скрутит да такую дулю под нос поднесет, что не рады бывали те, кто против него шел.

И с русскими ладил он хорошо: угощал их, кормил, поил, а потому на многие проделки сумасбродного пана власти смотрели сквозь пальцы.

– Как же он дошел до такого состояния? – спросил я, кивнув в сторону старика, о котором шла речь. – Что он, разорился что ли?

– И да, и нет, – ответил мой собеседник, – тут другая история вышла,

история сложная и запутанная. Полетел пан книзу, пропал из-за женской спины... из-за родимого пятнышка.

- Как... из-за спины? – изумился я.

- Да так... Хотите расскажу?

- Конечно, – я поторопился изъяснить согласие.

- Ну, вот, слушайте. В местечко Мрозы, недалеко от имения пана Любомирского под Седлецом, приехала однажды из Варшавы некая панна Стася Ружицкая.

Приехала она гостить к своей тетке. И за короткое пребывание в глухом медвежьем углу свела с ума всех местных молодых людей, потому что было она красоты неопишуемой. Говорили, что даже в Варшаве ее считали прелестнейшей девушкой Польши.

Ну-с, шептали и другое: что хотя Станислава Ружицкая и была из хорошей дворянской семьи, но... поведение ее в Варшаве было далеко не безупречно...

Так или иначе, открыто об этом никто не говорил, а только шушукались.

И вот случилось, что встретила она с паном Любомирским. Пан был не стар, вдов, юношески пылок и не знал преград своим желанием.

Он сразу влюбился в прекрасную панночку. Ну-с, сами понимаете: пан Любомирский – неплохая партия. Богат, еще не стар, знатен и т. д.

Две-три поездки верхом на панских скакунах, два-три бала, специально устроенных для Стаси, – и заговорили о свадьбе.

Съездили к Ружицким в Варшаву. Тем, понятно, такая партия дочери только лестна. Одним словом, через месяц – свадьба в имении Любомирского.

Это было нечто грандиозное: ужин на 300 человек, море вина, море фейерверков, пять оркестров музыки... Говорят, что 20000 рублей стоила пану эта свадьба.

Среди гостей – вся родня Любомирского и именитое шляхетство из соседних городов и Варшавы, помещики, русские офицеры из соседних гарнизонов: гусары, гвардейцы, лейб-казаки...

Среди офицеров, между прочим, выделялся красотой, молодечеством и богатством некий поручик Кексгольмского полка, князь Тарутин. История этого молодого человека было весьма загадочна.

Говорили, что он за какую-то романтическую историю был переведен в Кексгольмский полк из Петербурга, где состоял в стрелковом Его Величества полку.

Ореол таинственности окружал юного офицера и, конечно, только содействовал его успеху у дам и девиц. Нужно, впрочем, сказать, что особенно этим ореолом он не пользовался, был со всеми очень мил и прост в обращении, но неизменно уходил в себя и молчал, если его спрашивали о прошлом, кто он и как попал в Кексгольмский полк.

Надо полагать, что его товарищи по полку отлично знали историю Тарутина, но на все расспросы о юном поручике не отвечали. Видимо, были на этот счет специальные распоряжения начальства.

Ну, так вот. Во время бала у Любомирского не мало шушуканий вызвало то обстоятельство, что поручик Тарутин буквально не отходил от новобрачной.

Досужие языки, конечно, сейчас же сплели по этому поводу ряд предположений, весьма нелестных для Стаси.

По-видимому, Любомирскому это упорное ухаживание тоже не понравилось. Во время танцев, когда Тарутин и Стася шли в паре, Любомирский внезапно подошел к жене и увел ее во внутренние комнаты. Когда она появилась снова, то уже не отходила от мужа.

В дальнейшем, по рассказам очевидцев, дело произошло так: с двумя-тремя гостями Любомирский вышел на террасу, выходящую в сад. Внезапно он услышал, как в саду кто-то довольно громко среди взрывов хохота произнес имя его жены.

Любомирский тихо прокрался в конец террасы и стал прислушиваться. Бывшие с ним гости последовали за ним.

Веселый голос, который несомненно принадлежал поручику Тарутину, говорил группе молодых людей, по-видимому, офицеров:

- Смейтесь сколько угодно, господа! Конечно, вы можете подумать, что я унижен поведением Любомирского. Он вырвал у меня из рук Стасю во время танцев. Публичное оскорбление, так сказать! Но терплю, господа, я терплю! И не могу иначе поступить. Я не в накладе! Если бы я вам рассказал, что было всего месяц тому назад в Варшаве, когда эта милая паненка дневала и ночевала у меня, вы согласились бы, что я многое могу простить бедному Любомирскому. Хм... как вы думаете?

Взрыв смеха был ответом. Какой-то пьяный голос сказал с неуверенностью:

- Ну, князь, вы уж, кажется, слишком...

- Ротмистр Хренов, - с достоинством ответил Тарутин. - Я никому еще никогда не давал повода сомневаться в своих словах. Прощаю вам вашу нетактичность только потому, что вы мало меня знаете. А впрочем, я мог бы дать вам немало доказательств того, что знаю Стасю достаточно... близко.

Он вдруг рассмеялся - весело и громко.

- Хотя вам и трудно будет проверить одно мое доказательство, но я вам его приведу. У очаровательной Стаси прелестное родимое пятнышко в форме сердца величиною с серебряный пяточок... и, знаете, где?

- Где? - хором закричали слушатели.

- На спине, - ответил Тарутин, - точнее... чуть-чуть ниже.

Он сказал что-то шепотом, после чего сад огласился громовым

хохотом.

Тут пан Любомирский не выдержал. Он сбежал с террасы и врезался в группу офицеров. Несмотря на бешенство и ярость, он прекрасно учитывал, что имел дело не с окрестным безответным шляхетством, а потому, насколько мог, сдерживал себя.

- Я слышал все, пан офицер! В ответ на мое гостеприимство вы изволите распускать гнусную клевету о моей жене. Немедленно откажитесь от своих слов, или вы подлец и негодяй!

- Я никогда не отказываюсь от своих слов, - надменно ответил Тарутин. - Если вы все слышали, то знаете, конечно, какие у меня доказательства... Могу вас уверить, что я не клеветчу. Родимое пятно у вашей жены есть - именно... на том месте, какое я указал. Попробуйте доказать всем этим господам, что родимого пятна нет. Как вы это сделаете?..

Тон Тарутина был явно вызывающим.

Любомирский сжал кулаки и шагнул к офицеру. Но опомнился и, задыхаясь от ярости, заревел:

- Я докажу вам, дерзкий негодяй, что моя жена чиста! Я не остановлюсь ни перед чем. Я дам доказательство, которого требует этот господин, недостойный носить военный мундир! Я прошу вас... и вас... и вас... быть свидетелями!..

Он поочередно указывал рукой на гостей, отобрав несколько солидных помещиков и старших в чине офицеров.

Затем бросился в зал, схватил жену за руку и потащил ее за собой. Почти внес он испуганную, трепещущую Стасю в спальню и, уже совершенно озверев, стал срывать с нее одежды.

Она плакала и кричала, но он обнажил ее тело... и убедился, что Тарутин прав.

Его гнев прошел, как дым, уступив место отчаянию.

Быть посрамленным перед этим молокососом, перед гостями, может быть, - перед всей Польшей! Оскорбленная гордость Любомирского не могла перенести этого.

В эту минуту он даже не думал о том, что слова Тарутина были правдой, он лишь искал выхода, как спасти свое положение перед гостями. Весь ужас был в том, что нужно было немедленное решение.

И оно пришло.

Он бесцеремонно и грубо схватил жену, бросил ее в заднюю комнатку и запер на ключ.

Потом позвонил. Пришла Зося, камеристка Стаси, преданная и верная дому Любомирских девушка. Пан осмотрел ее с ног до головы. Она подходила для задуманного плана.

- Раздевайся! - коротко сказал Любомирский.

Это сказано было так, что испуганная девушка торопливо покорилась.

Через четверть часа Любомирский привел в спальню свидетелей. На софе лежала полуприкрытая одеялом нагая женщина.

-Я прошу извинить меня, - сказал Любомирский, - по вполне понятной для женщины стыдливости моя жена покажется не вся. Вы увидите только спину и все, о чем шел спор...

Ну-с, это все свидетели увидели и удостоверили, что родимого пятна там не оказалось. Честь Любомирского была спасена.

Торжествующий, в окружении гостей он подошел к Тарутину:

- Ваши слова, как я и думал, оказались клеветой, Вы - подлец!

Через несколько дней состоялась дуэль, и Тарутин был серьезно ранен в грудь навывлет. Вскоре его увезли в Петербург и там он умер от осложнения в ране.

После этого совсем другой стал пан Любомирский. Страшный удар нанесла ему эта история.

Стал пить, вскоре выгнал из дома Стасю, одичал. Забросил дела, запутался в долгах, имение и земли пошли с молотка.

Говорили, что чья-то таинственная рука упорно вредила старику и неизменно губила его дела. Вспомнили и старые грешки Любомирского.

Это преследование объясняли тем, что Тарутин был будто бы внебрачным сыном одного из великих князей, и тот мстил теперь Любомирскому за смерть сына.

Так или не так, но через пять лет Любомирский почти пошел по миру. А теперь... теперь вы видите, что с ним стало...

Я посмотрел на старика. Он поднялся, оставил на столике деньги и медленно побрел к выходу - мимо нас.

- Обратите внимание на кольцо, которое у него на правой руке, - шепнул мой собеседник.

Я посмотрел на руку.

В золотой оправе темнел большой камень в форме сердца.

- Говорят, что в пьяную ночь после свадьбы Любомирский позвал ювелира и приказал ему сделать кольцо с камнем точно такой же формы и цвета, как родимое пятно у Стаси, - на вечную память о лживости женщин. Говорят, что оправка у кольца имела точно такую же форму, как оправка у родимого пятна Стаси. Но потом пану стало неловко носить кольцо такой... откровенной формы. Кольцо было переделано.

Мой собеседник усмехнулся и добавил:

- Как видите, иногда ювелир должен быть знаком и с анатомией...

ПОКОРНОСТЬ

Рассказ о женщине в вишневом кимоно

- Так... хорошо, - сказал мой приятель м-р Стеффен. - Вам не нравятся японки... Ну, а эта?

Он лукаво усмехнулся и, вынув трубку изо рта, показал ею на юную японку и старика-японца, медленно входивших на веранду отеля.

- Эта? - растерянно сказал я. - Да... эта хороша. Это настоящая биджин¹!

М-р Стеффен довольно захохотал и откинулся в соломенном кресле.

- Биджин! - повторил он. - А сколько таких красавиц вы можете встретить на улицах Иокогамы! Вы не хотите видеть их, вы еще не прочувствовали, не поняли и пока еще не можете понять всей магнетической и страшной силы этих крошечных бабочек. Но вы эту силу узнаете... Таких женщин нет во всем мире!

Теперь, когда эта японка вошла на террасу и села, я не возражал... не мог возражать.

Мы сидели на веранде «Гранд-отеля» - я и м-р Стеффен, американец-художник. Жара спала. Тент над террасой надулся и полоскал от ветра с моря.

Прямо перед нами была иокогамская гавань, пестревшая флагами всех государств мира. Точно каменными объятиями, охватил гавань полукругом железобетонный волнорез. Вода в гавани была ярко-зеленая, безмятежно-спокойная. За волнорезом она билась в белом гневе пенистых гребней, а еще дальше - синела, уходя в бесконечный простор океана. На грязно-желтом «американце» с черной трубой грохотал подъемный кран, таская с плоскодонных баркасов тюки и ящики. Пронзительно пищал катер, выводя за волнорез трехтрубного гиганта французской компании «Мессажери-Маритим», уходившего в далекий Марсель. На горизонте маячила черная точка, прикрытая тучей дыма: шел пароход не то сюда, в Иокогаму, не то в Америку, - далеко, не разберешь.

И здесь, на берегу Великого океана, перед синей бездной, у ворот во все части света, здесь, где можно было говорить о чем угодно, кроме женщины, мы со Стеффеном говорили всегда только о женщине. Почему?

Я не знаю. Я не философ, но... не потому ли, что женщина - центр вселенной, не потому ли, что для нее уходят и приходят вот все эти корабли, скрипят лебедки, пищат катера? Может быть, и море плещет, и солнце светит для нее? Я не знаю. Знаю лишь, что, когда мы вдыхали соленый ветер, смотрели на горизонт и на караваны уходивших кораблей, мы начинали говорить о женщине.

¹ Биджин - красавица.

И спорить. И спорили о том, кто интереснее, – японка или белая женщина.

Я говорил об изяществе француженки, о цвете лица англичанки. М-р Стеффен возражал, что француженки вульгарны, а у англичанок большие ноги. Я говорил о нужном румянце северянок, Стеффен – о неуловимой прелести косоного разреза глаз. Я вспоминал славянскую мягкость лица польки и русской, Стеффен воспевал единственные в мире по красоте линий руки японок.

Мы сбивались с языка красок и поэзии на язык вульгарный и циничный. Мы расценивали и разбирали женщин, как лошадей. Мы торговались, как барышники на ярмарке.

Его дифирамбы аристократическому рисунку носа японки я бил, говоря о пышных формах европейки, мои гимны золоту северных волос он убивал линиями спины и миниатюрной грудью.

А душа? Мы не забыли и души. Европейской простоте и понятности Стеффен предпочитал мистическую загадочность японок. Против рабской покорности фарфоровых женщин я выдвигал самостоятельность, энергию, разум наших женщин. А Стеффен кричал, что это как раз то, что отталкивает его от европейнок. Печать обреченности судьбы, загадочная неподвижность лица, опущенные глаза – вот неисчерпаемая сокровищница прелести японок.

Я яростно возражал, но... но только до тех пор, пока не появлялась на террасе маленькая фигурка в вишневом кимоно. Ее присутствие сковывало мой язык и неизменно давало победу Стеффену. Покорно я признавал прелесть этого юного существа.

Это было странно. Пока не появлялось на террасе вишневого кимоно, я с пеною у рта доказывал, что японки не могут претендовать на мое внимание: они мертвы, у них – короткие ноги и длинное туловище, они все без исключения брюнетки, мне не нравится их походка и т. п., и т. п.

Но стоило вишневому кимоно появиться на террасе отеля – и я замолкал.

Да... мне брюнетки не нравятся, а она – брюнетка. Да... я не люблю маленьких, а она – крошка. Да... я люблю крупную, смелую походку у женщины, а она мелко семенит своими соломенными зори¹.

Но... но такой женщины я еще никогда не видел. Такой изящной, такой грациозной, такой воздушно-легкой, такой благородно-нежной, такой прелестной! Боже мой! Когда ее вишневое кимоно медленно, с божественной грацией движется мимо меня, тогда словно улыбаются море и небо, нежнее становится ветер, ярче переливается изумруд воды, белее пена у берега, крепче любовь к жизни, вкуснее соленый воздух.

¹ Зори – туфли.

И когда я слышал мелодию ее голоса, короткие фразы, которые она пела – да, да, именно, пела! – отвечая своему отцу (мы узнали, что старик – ее отец), то я чувствовал, что сердце сжимается у меня больно и сладко, точно в предчувствии любви, точно готовое сгореть в пламени, точно согласное умереть, разорваться, – лишь бы прижать к себе это вишневое кимоно.

И я ничего не сказал, когда Стеффен посмотрел на меня, что-то понял, задумчиво и мечтательно улыбнулся и протянул медленно:

– А ведь это – любовь, дорогой мой...

* * *

Так больше я не могу. Я хочу говорить с ней...

Я покинул Стеффена и, как покорная собака, побрел вслед за вишневым кимоно.

Японка и ее отец сошли с террасы. Они повернули в сторону Блеффа, европейской части Иокогамы. У самого подъема в гору старик простился с дочерью и пошел в сторону. Она за что-то благодарила его с низким поклоном и мелодично журчала:

– Домо аригато гозаимашта¹...

Чуть покачиваясь и мелко перебирая ногами, она легко и грациозно заторопилась в гору. Я пошел за нею.

Встречались иностранки – американки, англичанки, француженки... И я невольно сравнивал их, этих крупных рыжеволосых женщин с маленькой девушкой в вишневом кимоно. Теперь мне казалось диким, как я мог отстаивать перед Стеффеном этих грубых, вульгарных, неуклюжих самок с резким смехом, с огромными ногами, с красными руками.

Они - и мое вишневое кимоно! Боже мой! Земля и небо!

Мы миновали английский морской госпиталь и вошли в узенькую улочку, где едва могли разойтись два рикши.

Вишневое кимоно на секунду задержалось возле шинтоисского храма, взглянуло в священное зеркало и поплыло дальше, нежно шлепая соломенными зори.

Как зачарованный, я шел сзади.

И вдруг, точно толкнула меня неведомая сила, – я крупными шагами догнал японку, заглянул ей в лицо, приподнял шляпу и спросил:

– Доко-ни осумай деска²?

Она остановилась и робко посмотрела на меня. Не удивляясь моему вопросу, словно так и должно было быть, она почти прошептала:

– Коко-ни³, – и показала рукою на низкую ограду, сделанную из

¹ Очень, очень благодарна!

² Где вы живете?

³ Здесь.

бамбука и коричневых досок криптомерии.

Ограда зеленела от плюща. Сверху, как голубая шапка, кивали азалии: они росли в земле, насыпанной в узкие ящички, укрепленные на ограде. Через ограду видна узорная красная черепица на крыше длинного строения. Здесь, видимо, жила моя японочка в вишневом кимоно.

Она подошла к воротам ограды. Я снова догнал ее.

- Гомен-асай... икуцу-деска¹?

- Восемнадцать, – покорно вздохнуло вишневое кимоно.

- Как вас зовут?

- Миура-сан.

Она звякнула медной ручкой калитки и, не глядя на меня, опустив голову, скользнула за ограду. Калитка звякнула снова. Насмешливо улыбалось лицо какого-то божка, искусно вырезанного на косяке калитки.

Миура... Что-то кошачье – точно ласковое, вкрадчивое мяуканье – было в этом имени. Что-то кошачье – гибкое и грациозное – было во всем ее существе... Миура-сан!..

Я вздохнул всей грудью. Все-таки я уже заговорил с нею, и она ответила мне. Следовательно, я не противен ей. Вероятно, своими черными глазами она не раз ловила мое восхищение – там, на террасе отеля. А раз так, все женщины, прежде всего, – женщины, откуда бы они ни были – с Востока или Запада.

Я победоносно посмотрел на коричневую ограду и, весело насвистывая, пошел рассказывать изумрудному морю о своей радости.

* * *

А на другой день я проделал то же самое – проводил вишневое кимоно до ограды ее дома. Но... но уже шел рядом с нею и разговаривал на правах знакомого.

Я узнал, что ее отец – коммерсант, продавец шелковых тканей и кимоно, что в «Гранд-отеле» они бывали только случайно, т. к. в их доме идет ремонт и они принуждены временно столоваться в ресторане (в европейском – по мольбе дочери, которая хотела посмотреть на иностранцев), и что скоро эти посещения отеля прекратятся.

Тогда я сказал, что это будет для меня большим горем, потому что я теперь привык любоваться ею.

Миура-сан быстро взглянула на меня. Это был покорный и благодарный взгляд. И женщины Востока любят поклонение! Тогда я сказал:

- Я хочу быть знакомым с вами. Я приду к вам в дом и познакомлюсь с вашим отцом.

¹ Простите... сколько вам лет?

Что-то похожее на страх мелькнуло в глазах девушки:

- Ийе, декимасен¹.

Изящным движением она молитвенно, беспомощно сложила руки на груди. Горькая складка легла и мгновенно исчезла у подкрашенного ротика.

- Почему? – спросил я, уже догадываясь, уже зная, что она скажет.

- Отец... он не любит иностранцев.

- А вы.. а вы?

- Не знаю.

Я смело взял ее за руку:

- Миура... Миура-сан! Я хочу с вами встречаться. Может быть, я недостаточно хорошо говорю по-японски, но разве мы не найдем, о чем беседовать? Вы сказали, что рисуете... Будем говорить о красках, о море, о вашей прекрасной родине... о вас...

Я смотрел на нежно-розовое прелестное личико, на темные глаза, опущенные изогнутыми стрелами ресниц, на алый рот и влажный перламутровый ряд зубов. И думал, что если я и не найду, о чем говорить с нею, и прилипнет мой язык к гортани, то совсем не потому, что я несвободно говорю по-японски.

Я мог замолчать, замереть – только от восторга, только от счастья, только от преклонения, только от мысли, что рядом со мной волшебное личико этой японки в вишневом кимоно.

- Миура-сан...

Она подняла на меня задумчиво глаза. Точно сказала: «Что тебе, милый?»

- Я буду ждать вас... у моря. Вы знаете где? Вы придете?

Точно шелест ветерка, точно нежный вздох, покорно и ласково:

- Хай²...

* * *

И вот мы уже в десятый, кажется, раз пришли на берег моря.

Лунный свет идет к нам с горизонта, бриллиантовым мечом рассекая темную воду. Море тяжелое, словно каменная, застывшая громада. Урчит ласково и добродушно, колотя гранитные крепления берега.

Мы – в саду, который выходит на самый берег моря. Кривая японская сосна тянется к морю и к небу, словно в молитве, и изгибает причудливо-тонкие руки-ветви. Звенят в подстриженном газоне певуче и сладострастно цикады. Соленый ветер гладит по лицу бархатной прохладой. И душит странная смесь ароматов – водоросли, йод, азалии, абрикосы, лимон.

Сухая и колючая, кивает морю темно-зеленая пальма.

¹ Нельзя!.. нет... нет...

² Хорошо.

А над всем этим раскинулось синее глубокое звездное небо со светлым поясом Млечного пути и серебряным ковшом Большой Медведицы.

Позади, за садом, шумит большой город. Слышны назойливый звон трамваев, гудки автомобилей, дробный стук японских гетта¹, тоскливый стон флейты купца с лотком сладостей.

А здесь... а здесь – дыхание Великого океана, огоньки рыбачьих лодок, изредка – прожектор морского гиганта где-то на горизонте, и... вишневое кимоно.

Точно чувствуя, что именно это кимоно ей к лицу, точно зная, что в моих глазах вся она слилась навсегда с вишневым кимоно, Миура пришла все в том же наряде. Она сидела рядом со мной. Бледное ее лицо было обращено к морю – на ту серебряную дорогу, которая тянулась за горизонт.

Лунный свет сделал ее лицо еще мягче, нежнее, призрачнее, прекраснее. Точно растаяло все земное, и сидел со мною добрый дух Японии, нежная душа маленькой страны.

Да... Японии. Все было японское в этом лице – все самое прекрасное, своеобразное, такое, как нигде нет в мире.

Неуловимая прелесть странного разреза глаз, непривычный овал лица, эта высокая, как башня, прическа из блестящих, словно лакированных, волос, пронзенных булавкой из слоновой кости с изумрудным жучком на конце. Широкий оби², подчеркивающий гибкость талии, белые шелковые таби³, крохотные соломенные зори...

Я смотрел на Миуру и думал, что нельзя обнять, прижать к себе такое существо: она была такая крошечная... нежная. Хотелось бережно лишь взять ее за маленькие ручки и гладить их.

Я так и сделал. Она не протестовала. Я гладил эти крохотный теплые ручки и думал, что другой женщины мне не нужно до самой смерти. Я вдруг понял, – здесь, перед лицом необъятного океана и бездонного неба, – что влюблен и не могу жить без этой крошки в вишневом кимоно.

«Вы еще не поняли, – вспомнил я слова Стеффана, – всей магнетической, страшной силы этих бабочек...».

Да, это – не женщина, это – волшебница, небесный дух, пестрая, яркая бабочка.

Я заговорил о любви. Восток и Запад, Иокогама и Барселона – где бы это ни было, всех завораживают эти пьянящие слова, недоговоренность, сладкая сила интонации, нервная, странная дрожь.

Миура слушала, полузакрыв глаза, потушив ресницами их черный

¹ Гетта (гета) – традиционные японские деревянные сандалии.

² Оби – пояс из широкой полосы материи.

³ Таби – короткие чулки.

блеск. И сердце ее билось все сильнее... Я знал это, потому что все сильнее дрожали ее руки в моих ладонях.

– Хотите быть моей... навсегда? – шептал я.

Цикады звенели свою любовную песню, все нежнее ласкал соленый ветер, все мелодичнее плескало о камни море. А я все повторял свою фразу, заглядывая в темные глаза.

Ее губы задрожали, и я не услышал, а угадал шепот:

– Это невозможно... Все будет против меня – и люди, и боги. У нас не прощают измены родине... Мой муж должен быть японец.

Я рассмеялся. Я думал, что японки Клода Фаррера и Пьера Лоти ушли в историю. «Измена»... Что же это за измена родине?

Это было теперь так странно слышать, когда японские пароходы плавали по всему миру, когда дирижабли и аэропланы парили над этой сказочной страной, когда, громяхая и дымя, летали по всей Японии пульмановские вагоны, когда в каждом японском ресторане можно получить кровавый английский бифштекс и кружку шотландского эля...

Но Миура твердила все свое:

– Все будут против меня.

Я проводил ее домой, к коричневой ограде.

На минуту, обессилев в порыве нежной благодарности, она прижалась ко мне. Я осторожно обнял ее и почувствовал, что она трясется от рыданий.

– Миура... вы не хотите расстаться со мной? Тогда... тогда...

Она продолжала рыдать.

– Ведь вы любите меня?

Она зарыдала сильнее. Затем сказала:

– Зачем спрашивать, когда вы знаете?

Подумала и добавила;

– Завтра мы пойдем в храм Мийокодзи, и там... я спрошу...

– Что вы спросите?

– Могу ли я быть вашей женой...

* * *

Желтолицый бритый монах с низким поклоном принял от меня горсть никелевых монет и повел нас по каменным ступеням вверх.

Грозной гримасой встретил нас уродливый бог ветра. Лакированный ярко-красный бог войны был готов ударить меня огромным мечом. Угрюмо и насмешливо улыбался бог землетрясений. Все были настроены здесь против чужеземца – и боги, и монах, и самые своды холодного внутри темного храма.

Сверкала позолота украшений, блестел лакированный потолок с извивающимся по нему гигантским желто-красным драконом, матово

блестели глазированные вазы и курительницы в рост человека.

И, когда крохотная дверь на улицу, на тепло и свет закрылась, когда могильный холод и полумрак охватили меня, я почувствовал почти ужас среди этих страшных масок, которые глядели на меня со всех сторон, под этим бешено извивающимся драконом, который готов был ринуться на меня с потолка.

Миура подошла к огромному медному диску, который висел на толстой проволоке, и ударила в него деревянной колотушкой. Низкий, густой, угрожающий звук наполнил все закоулки храма.

Я знал, в чем дело: так японцы взывают к вниманию Бога.

Потом Миура похлопала в ладоши и быстро, нараспев, униженно и просительно, заговорила что-то дрожащим голосом.

И я замер, точно знал, что сейчас будет ответ.

И ответ последовал...

Откуда-то, словно из пасти дракона, раздался страшный рев – гневный, громовой, уничтожающий. Точно рушилось все вокруг – земля, море, океан, точно мгновенно воцарился какой-то страшный, безумный хаос.

Белая от ужаса, с помертвевшими, неподвижными глазами Миура схватила меня за руку и бросилась к выходу из храма, увлекая и меня.

Солнце ослепило глаза, тепло охватило нас, когда мы закрыли дверь в этот ужасный храм, где еще замирал страшный рев с потолка.

Не останавливаясь, с белым лицом бежала Миура-сан домой, мелко перебирая соломенными зори. Что-то шептала про себя слабым голосом, словно просила прощения у разгневанного божества. Бумажным платком вытирала слезы.

Мы подошли к такой знакомой, такой милой коричневой ограде. Волновался от ветра плющ, кивали азалии. Миура взялась за медную ручку калитки.

- Прощайте... – сказала девушка.

Я схватил ее за руку,

- Боже мой! Миура, что вы говорите? Опомнитесь!

Она мягко, но настойчиво освободила свою руку, Повернула ко мне мертвенно-бледное лицо. Со всей своей нежностью и любовью к этому маленькому испуганному существу я заглянул в темные глаза... и отпрянул назад – на меня смотрели мертвые, чужие глаза. Это была не моя Миура.

- Любимая моя... что с вами?

Бескровными губами она прошептала едва слышно, и ужас трепетал в ее голосе:

- Вы слышали ответ... там, в храме? Неужели вы не поняли, не почувствовали? Прощайте...

Вишневое кимоно мелькнуло в калитке и исчезло... навсегда для

меня.

Звякнула медная ручка калитки.

Насмешливо и зло ухмылялось лицо божка, искусно вырезанного на косяке калитки.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 46. С. 1-8.

ЖЕНЩИНА ИЗ КОНТРАРАЗВЕДКИ

Я взял со стола пакет. На серой, плотной английской бумаге хорошо знакомым почерком было аккуратно выведено: «Старшему лейтенанту А.Н. Серошевскому. Срочно».

Я знал этот почерк. Спокойный размашистый почерк человека, который привык повелевать и отдал морю тридцать лет своей жизни. Как море, почерк был широк, свободен и ясен. Я вскрыл письмо. Коротко и лаконично: «Александр Николаевич, Вы должны быть у меня к 7 часам вечера. Важно. Капитан II ранга Негорюев».

Было пять часов вечера – еще рано. Задумавшись, я подошел к окну номера, который снимал в этой тихой, скромной лондонской гостинице около вокзала Чаринг-Кросс, недалеко от английского Адмиралтейства.

В двух улицах от меня жил и капитан Негорюев. Мы нарочно поселились вблизи адмиралтейства, от которого, как агенты русского морского штаба, вполне зависели.

Итак, я подошел к окну. День был серый, пасмурный, туманный – настоящий лондонский день. Где-то наверху, вероятно, светило яркое солнце: ровный молочно-серый свет пробивался сквозь туман.

Как призраки, неслись по улице автомобили, кэбы, сновали прохожие, закутанные в шарфы, с надвинутыми на лоб шляпами. Октябрьский ветер раздувал полы пальто. На улице было холодно и неуютно.

Зачем я нужен Негорюеву? Опять сводка о положении германских морских единиц в балтийском море? Или командировка?

Я в Лондоне уже три месяца и за это время уезжал отсюда четыре раза: два раза – в Стокгольм, раз – в Париж и раз – в Глазго, где осматривал новое английское морское чудовище с пятнадцатидюймовыми орудиями.

Куда теперь? Негорюев, мой непосредственный начальник, намекал на днях что-то насчет возможной поездки в Россию. Вот хорошо бы!

Мне надоело быть морским агентом. Знаешь, конечно, что приносишь на этом посту не меньшую пользу, чем в каком-нибудь минном балтийском дивизионе, но... но лучше бы стоять сейчас на стальной палубе и следить за горизонтом – не покажется ли неприятельский дымок.

Там реально, ясно ощущаешь, что вот – делаешь большое, нужное для России дело. А здесь? Доклады, морские сводки, тайные сведения шпионов, новейшие достижения в морской технике.

Все это нужно, важно, но... но не слышишь запаха пороха. Не видишь войны, не видишь моря, которому отдал жизнь. Ах, в море бы!

* * *

Негорюев высок, худ, элегантно одет. Он похож на англичанина. Впрочем, его мать – англичанка. Он курит трубку, а мне показывает на ящик с сигарами:

– Садитесь. Закуривайте. Настоящая Гаванна.

Я опускаюсь в мягкое кожаное кресло. Негорюев посасывает трубку и серыми глазами следит за кольцами. Вынимает трубку. Коротко говорит:

– Александр Николаевич. Завтра вы едете в Петербург.

Я привстаю в кресле. Вот радость!

– Переводят в Балтийский, в действующий флот?

Он усмехается моей горячности:

– Нет... так скоро я вас не отпущу. Вы нужны мне в Лондоне. Нет, это – командировка. Вы повезете английский проект совместных подводных действий в балтийском море. Англичане организуют подводный прорыв в Балтику. Мы должны построить для них базы. Они составили свой проект. Вы его повезете в наш морской штаб.

Негорюев тянет в себя дым и медленно его выпускает.

– Вы поедете с утренним поездом в Гульль, сядете на частный пароход «Плимут» и на нем доедете до Бергена. Дальнейший путь – Норвегия, Швеция и Финляндия.

Еще клуб табачного дыма. Молчание.

– Александр Николаевич. Только исключительное доверие к вам позволяет мне возложить эту страшную ответственность на вас. Вы понимаете, как нужны англичане нам в Балтийском море. И вы понимаете, что будет, если этот проект попадет к немцам. А между тем Англия, а тем более Норвегия, Швеция и Финляндия наводнены шпионами. Это вам хорошо известно. Вы знаете, что ничто не остановит их. Если они пронюхают о вашей миссии, Александр Николаевич, дорогой, я на вас вполне надеюсь.

* * *

Моросит мелкий дождик. Все покрыто его частой сеткой. Туман. Изредка пронизывает холодный ветер с моря.

Оно здесь, мое любимое, безбрежное, могучее море! Оно здесь – за туманом и серой, густой пеленой дождя.

Его не видно, но я слышу, как оно тяжело и громко вздыхает и где-то

бьется о каменный мол.

Я жадно, как рыба, раскрываю рот и глотаю этот соленый, ароматный, вкусный воздух. Я снова у моря.

«Плимут» стоит где-то на рейде. Его не видно за туманом. Около пароходной конторы – толпа пассажиров; все они едут на «Плимуте» – мужчины, женщины, дети. Они ждут большой катер, на котором всех нас доставят на пароход.

Что-то странное, какое-то инстинктивное недоверие, даже неприязнь чувствую я к этой толпе. Среди этих мужчин, женщин и даже детей могут быть враги России, союзников... мои враги.

Разве я знаю, кто этот бритый джентльмен в зеленом пальто? Или этот худой старик в темных очках? Или эта женщина с меховым боа, перекинутым через плечо, кто они? Куда едут? По паспорту, может быть, англичане, шведы, норвежцы, датчане, русские. А на самом деле? Кто может поручиться, что среди них нет агентов германского генерального штаба?

Особенно я боюсь женщин. Они – самые талантливые, самые великие шпионы. Они – лучшие в мире артисты. Ложь – стихия женщины, ее мир. Никто так не проведет и не обманет, как женщина.

И как раз среди моих будущих спутников много женщин. Есть молодые и, насколько можно судить издали, – хорошенькие. Подальше, подальше от них!

Впрочем, ничто в мире не заставит меня сейчас отдать свое внимание женщине. Я точно заряжен какой-то силой... каким-то током что ли, который отталкивает меня от женщин. Да, именно, именно от женщин! Мужчин я боюсь меньше.

Подходит большой катер. Грязный, закопченный, с облупленными боками. Пронзительно кричит, выпуская клубы черного, вонючего дыма из огромной, не по корпусу, трубы. Угрюмо, нехотя переругиваясь, три грязных матроса привязывают катер к пристани.

Пассажиры, толпясь и толкаясь, бегут к сходням, и катер мигом наполняется.

Несмотря на дождь, который все усиливается, я остаюсь на носу катера под открытым небом. Подальше от толпы.

Они, эти люди, набитые в катер, как сельди, не могут знать, что у меня под пальто, под толстой, наглухо застегнутой курткой, под фуфайкой и бельем на толстом шнурке, надетом на шею, висит клеенчатый небольшой пакет, в который вложены документы...

Пассажиры этого не знают. Но... но могут узнать. Мало ли к каким ухищрениям прибегают шпионы. Может быть, за мной следят от самого Лондона.

Я почти уверен, что об отъезде русского морского агента Берлину уже

известно. А даром агенты не катаются – их посылают с ответственными поручениями. А потому...

Впереди вырисовывается силуэт парохода. Он небольшой, вероятно, меньше 5000 тонн. Выкрашен так, как красят пароходы сейчас, во время войны: зигзагообразные продольные и поперечные линии, пестрые, самые разнообразные краски...Он похож на зебру. Это делается против подводных лодок, которые в Северном море работают вовсю.

Катер подходит к трапу. Один за другим пассажиры лезут наверх, карабкаясь по колеблющейся лестнице вдоль высокой железной стены парохода.

Наверху – контроль. Два офицера парохода внимательно и кропотливо проверяют документы. Эта процедура длится больше часа.

Я одним из последних подхожу к офицеру, длинному бриту с мордой рыжего бульдога. Он читает мой паспорт. Там отметка английского адмиралтейства.

– Вы морской офицер? – громко спрашивает он, подозрительно глядя на меня.

Черт бы его побрал! Зачем он так кричит? Ведь нас слышат другие пассажиры...А между тем меньше всего я хочу, чтобы они знали, что я – военный.

Я тихо говорю бульдогу:

– Не говорите так громко. Да, я офицер.

Я показываю ему карточку морского агента, подписанную секретарем. Он растерянно смотрит на меня и вежливо козыряет! Я прохожу мимо.

Нельзя сказать, чтобы на этом пароходе была образцовая постановка. Пассажиры мечутся взад-вперед, топчутся, не знают, куда идти. Никто ими не интересуется.

Я ловлю за рукав маленького рыжего стюарта, показываю свой билет.

– Где моя каюта?

– Не знаю! – нагло отвечает мальчишка, вырывается и спешит куда-то.

Нечего сказать – хорошая дисциплина у просвещенных мореплавателей! Останавливаю другого лакея и обращаюсь к нему с тем же вопросом. Он ведет меня в длинный, ярко освещенный коридор и останавливается у двери, на которой блестит медная цифра «29». Он толкает дверь.

Крошечная двухместная каюта. Двухместная! Вот тебе и раз! Адмиралтейство гарантировало мне одноместную каюту: я требовал этого по вполне понятным причинам.

– Это не моя каюта! – говорю я возмущенно.

– Нет, ваша, – равнодушно показывает стюарт на мой билет.

- Это недоразумение, - волнуясь я. - Позовите помощника капитана.

- Хорошо, - спокойно соглашается стюарт. - Он не поможет. У нас на пароходе нет одноместных кают.

- Но со мной никого не будет?

- Нет, второе место тоже занято. У нас на всем пароходе нет ни одного свободного места на этот рейс.

Конечно, это какое-то недоразумение. Пойти поговорить с капитаном? Но тогда ему нужно объяснить, кто я такой и с какой миссией еду. Ведь едва ли английское адмиралтейство осведомило его о цели моей поездки. Это в мои планы не входит: мне нужно как можно меньше шума вокруг моего имени.

- Кто едет в этой каюте кроме меня?

Стюарт смотрит в записную книжку:

- Комаро...вская, - с трудом читает он. - Лэди...

Комаровская! Женщина! Женщина! Русская... гм, это еще ничего. Но вообще... поездка с дамой в одной каюте... Стеснять себя, стеснять ее...

Я нерешительно мнусь на месте. Стюарт решает вопрос по-своему: он просто убегает. Вхожу в каюту. Мои вещи уже в сетках над койкой: пассажирский багаж был отправлен на пароход еще утром.

На второй сетке и на второй койке - чужие вещи. На одном чемодане инициалы: Э. В. К. К. Понятно: Комаровская. Но Э. - что за имя? Такого русского женского имени нет...

Внезапно я чувствую, что за моей спиной кто-то стоит. Я оборачиваюсь. На пороге каюты - женщина.

У нее приятное, даже красивое лицо. Она блондинка. Светлые глаза смотрят на меня недоброжелательно, даже враждебно. Я делаю нерешительный полупоклон. Она отвечает кивком.

- Вы мой спутник? - говорит она по-английски.

- Если вы едете в этой каюте...

- Да, в этой каюте. Вы англичанин?

- Русский. Инженер Серошевский.

- Ах, русский? - переходит она на русский язык. - Это приятно. Я тоже русская, - она улыбается, отчего все ее лицо освещается точно лучом солнца. - Я заказывала одноместное купе, но на этом отвратительном пароходе таких купе нет.

Странный, едва заметный акцент... что-то нерусское в лице... Я настораживаюсь. Кто она, эта блондинка? Я должен быть начеку.

- Вы не русская, - говорю я неуверенно.

- Почему вы думаете?

- Случайно... от стюарта... я узнал вашу фамилию - Комаровская. Но меня смущает буква Э. на вашем чемодане. Такого русского женского имени нет.

- Вы очень наблюдательны, - иронически говорит она. - Меня зовут Эмилия Викторовна. По происхождению я немка... из прибалтийских. Мой муж - русский доктор. Впрочем, мы успеем познакомиться потом. Помогите мне снять вещи.

Немка! Гм... Но думать некогда: нужно помочь даме.

Я помогаю ей устроиться. Она держится со мной очень просто и свободно, как со старым знакомым. Враждебность в ее глазах исчезла.

- Куда вы едете? - спрашивает она.

- В Петербург.

- А-а, я тоже. Значит, попутчики. Это очень приятно.

И тут случилось, что во мне вдруг вспыхнуло подозрение... недоверие к этой случайной спутнице.

Я отвернулся от нее и случайно взглянул в небольшое бритвенное зеркало, которое только что повесил на медный крючок над своей койкой. В нем отразилось лицо спутницы, которая стояла сбоку, за моей спиной. В ее глазах, в выражении ее лица вдруг появилась какая-то странная, острая напряженность. Она точно пронизывала мою спину тяжелым, я бы сказал, сатанинским взглядом. Пыталась что-то быстро обдумать, сообразить. Это было мгновенное впечатление, потому что я сейчас же повернулся к ней. Но ее лицо стало снова равнодушно-любезным. Она села на койку и раскрыла книгу. На яркой обложке чернела фамилия английской писательницы.

Инстинктивным движением руки я проверил на мне ли еще драгоценный пакет. Неожиданно и сразу во мне окрепла мысль, что передо мной шпионка. Это настороженное, злое лицо. Острые буравящие глаза, эта притворная любезность...

О, милая моя, ты меня не проведешь! Твоя ловкость и хитрость не помогут тебе, златокудрая немочка! Мы еще потягаемся!

* * *

Мы в открытом море. Туман к вечеру рассеялся, но небо серое и холодное. На горизонте стальные тучи сливаются со стальным морем. Раза два-три, пока еще не скрылись берега Англии, мы видели на горизонте строгие силуэты военных судов. Это верные британские часовые.

После завтрака в кают-компании, где мы сидели рядом под номером 29, я и Эмилия Викторовна вышли на палубу. Мы сидим и разговариваем. Вернее, говорю я. Она предпочитает молчать.

Седые валы колотят наш пароход. Его качает отчаянно. Соленые брызги долетают до палубы.

- Хорошо! - говорит Эмилия Викторовна, и я вижу, с каким наслаждением она вдыхает морской воздух. Качка на нее абсолютно не действует. В глазах - холодное спокойствие и воля.

«Да, из таких и нужно набирать шпионок», – отмечаю я все время в своем мозгу, и сразу же является другая мысль: «Какое обвинение я могу предъявить этой женщине? Почему, на чем основана моя уверенность, что она – шпионка? Не знаю... но чувствую, чувствую...»

На пароходе какое-то волнение. Все бегут к правому борту и смотрят в одну точку. Короткая, встревоженная команда. Я смотрю в море. Темно-серая полоска колышется в полуверсте.

– Подводная лодка! – кричит кто-то истерически.

Бегут матросы. Пароход начинает делать зигзагообразные скачки – вправо-влево, вправо-влево. Это чтобы затруднить попадание миной.

Общая команда:

– Все наверх!

Перепуганных, бестолковых пассажиров разделяют на группы; каждую группу направляют к своей шлюпке. Матросы готовят шлюпки к спуску.

Короткие драмы: мужа разлучили с женой, мать – с дочерью, отца – с сыном. Офицеры бледны, решительны, грубы. Непокорных крепко толкают в спины, в шеи...

Я и Эмилия Викторовна становимся около одной из шлюпок. Я смотрю на спокойное лицо женщины. Поразительное хладнокровие! Ни капли волнения в глазах, в складке губ. Да... из таких создают шпионок!

И в ту минуту, когда паника на нашем пароходе достигла апогея, когда плач, крики, истерические вопли создали картину Дантова ада, на темно-серой полоске показался крошечный человечек и развернул на палке большое полотнище.

Это был британский флаг.

Приветственный гул сменил истерику. Лица заулыбались. В глазах заблестело счастье. Все приветственно замахали носовыми платками, зонтиками, шляпами.

Человечек скрылся. А через мгновение лодка стала быстро погружаться и ушла в воду.

* * *

Я не могу спать... Несмотря на все мои просьбы, мне не дали другой каюты: их нет.

Ночь... Ночь в этой душной каюте, под мрачную качку... наедине с этой женщиной, которая внушает мне страх.

С ее койки несется спокойное дыхание. Спит. Спокойно спит. А может быть, притворяется... ждет момента, чтобы сделать свое дело? Что сделать? Что она может сделать?

На минуту мне становится смешно. Я – здоровый, крепкий мужчина. Как она может взять у меня тот пакет, который у меня на груди? Наконец,

если даже она и возьмет пакет, когда я сплю, – куда она скроется с парохода?

Потом пришли другие мысли, поползло в голову все то, что я знаю и учил о шпионах: снотворные средства, яды, фотографические аппараты, которые можно спрятать даже во рту и т. д., и т. д.

Она – эта женщина – может взять пакет, прочесть и запомнить его содержание; наконец, сфотографировать документы.

Хорошо, что мне предстоит только одна ночь на этом пароходе. Я не должен спать! Я не имею права спать!

И когда я решил это, я мгновенно... заснул, точно провалился в черную бездну...

Кошмар душил меня. Кто-то старался вырвать у меня драгоценный пакет, я сопротивлялся, что-то кричал о подводных лодках, о прорыве в Балтийское море.

Я проснулся с криком:

– Шпионы! Шпионы!

И первое, что я увидел, была Эмилия Викторовна. Совершенно одетая, она сидела на своей койке и смотрела на меня. В иллюминатор шел серый свет раннего утра. Я проспал, видимо, несколько часов.

И снова – на мгновение, на секунду – я увидел настороженный, острый, странный взгляд. Я приподнялся на койке. Взгляд женщины стал любезно-встревоженным.

– Вы больны?

– Я? Нет!.. Почему вы так решили?

– Вы бредили... кричали. Вы все время хватались за грудь, точно у вас что-то спрятано под рубашкой.

– Что... что я кричал?

– Так... что-то непонятное...

Я вижу, что она лжет. Слишком быстро она отвела глаза.

«Шпионка! Шпионка!», – остро сверлит голову навязчивая мысль. Осторожно я прикасаюсь к груди: пакет цел.

* * *

Когда мы высадились в Берлине, я позорно сбежал от Эмилии Викторовны. Я испугался, что мне придется быть ее попутчиком до самой финляндской границы, если эта женщина действительно едет в Петербург, а не морочит мне голову.

Прямо из порта я уехал на вокзал и сел в экспресс, уходящий в Христианию. Я попал в пустое четырехместное купе и почувствовал блаженство, когда остался один: после того, что произошло, я боялся людей еще больше, я боялся разболтать во сне, что вот – у меня на груди находится драгоценный пакет.

Мимо окна несутся назад скалистые вершины, густой хвойный лес, озера. Живописная, прекрасная Норвегия! Я наслаждаюсь, впиваю в себя эти суровые, величественные пейзажи.

Резко скрипит дверь купе. Я оборачиваюсь – светлые, холодные глаза пронзительно смотрят на меня. Потом суровое выражение сменяется улыбкой.

– Господин Серошевский, – говорит Эмилия Викторовна, – вы сбежали от меня? Невежливо! Я искала вас по всему поезду.

Я вскакиваю, бормочу в свое оправдание что-то несуровое: потерялся в сутолоке, искал, не мог найти...

– Я устроюсь здесь, – говорит она решительно. – Вы ничего не имеете против?

– Ах... что вы!

Проводник приносит ее вещи из другого конца вагона. Точно во сне, внутренне встревоженный и растерянный, помогаю ей, расставляю, укладываю и развешиваю ее вещи.

«Преследование... твердо намеченный план...шпионка, несомненная шпионка!», – проносятся в голове колющие мысли.

– Ну, вот, – говорит Эмилия Викторовна и усаживается напротив меня. – Итак, вам не удалось от меня удрать. Бедненький!..

Она смеется, но в ее глазах я читаю острую настороженность и еще что-то – точно угрозу.

– В такое время как сейчас, – продолжает она, – когда война сделала нравы более грубыми, слабая женщина инстинктивно ищет защиты мужчины. Я – не исключение. И поэтому я так неприятно назойлива. Ведь верно?

Я рассыпаюсь в любезностях.

– Ну, конечно, конечно... – небрежно прерывает она меня. – Конечно, вам ничего, кроме удовольствия, мое присутствие не доставляет. Вежливая фраза, которую я так часто слышала от людей вашей профессии. Моряки – самые любезные в мире люди.

– Моряки? – поднимаю я удивленно брови. – Но я инженер...

– Не втирайте мне очки! – нагло смотрит она мне в глаза и смеется. – Я не принадлежу к тому типу людей, которых можно водить за нос. Вы не моряк? А ваша походка?! А татуировка на правой руке! А типичный морской загар! А ваши морские объяснения, которые вы мне делали на «Плимуте» относительно секстанта!..

– Уверю вас, вы ошибаетесь! – говорю я. – Секстант – инструмент, о котором каждый инженер должен иметь представление. Я – инженер, следовательно...

– Ну, хорошо. Оставим эту тему. Я согласна, что ошиблась. Но должна признаться, что все время считала вас моряком... Морским офицером...

В глазах насмешливый огонек. Чтоб ты провалилась, ведьма немецкая!

* * *

Я не сплю. Я поклялся, что не буду спать, пока не окажусь в полной безопасности.

В купе полутемно: светит лишь ночник, завешанный зеленой занавеской. Уютно стучат колеса вагона.

Я не сплю. Полузакрыв глаза, я слежу за женщиной, которая лежит напротив меня и, вероятно, тоже следит за мной из-под полуопущенных ресниц.

Вот, как будто пошевелилась... приподнимается. Мои нервы готовы лопнуть от напряжения. Но, нет... она снова притихла.

Через полчаса – такая же история: пошевелилась, кажется, открыла глаза. И снова спит. И так – всю ночь...

* * *

И еще одна ночь проходит... Я не могу. Я обессилил. Все богатства мира я готов отдать за сон!..

* * *

Гепаранда... Торнео...

Мы – в России. Слава богу! Поезд подкатывает к перрону, который оцеплен солдатами. Милые финляндские стрелочки.

Мы сидим с Эмилией Викторовной в купе и ждем опроса. Я смотрю на нее, и меня снова восхищает ее спокойствие. Я убежден, что она шпионка. Правда, так как она и не пыталась подобраться к моему пакету, но это, вероятно, только потому, что я был до конца бдителен. Но она все-таки шпионка. Я чувствую это. И потому я восхищен ее спокойствием; ведь она в стране врагов, каждую минуту ее могут разоблачить и арестовать...

Зачем она рискнула ехать в Россию? Какой план сидит в ее смелой головке?

Входит жандармский офицер и человек в штатском – должно быть, из военной контрразведки.

– Ваши документы.

Эмилия Викторовна протягивает им паспорт и, не глядя на меня, спокойно говорит:

– А этого господина я прошу арестовать... Я слежу за ним от самого Гуля. Я уверена, что он – шпион.

Точно небо и земля обрушились на меня. Я вскакиваю и вижу – в руках штатского револьвер. Жандарм проводит руками по моему пальто – нет ли оружия.

– Следуйте за нами! – говорит жандарм.

– Задержите и ее! – исступленно кричу я. – Она – шпионка!

- Да, - спокойно улыбается Эмилия Викторовна. - Я - шпионка.

Меня уводят. Ровно через десять минут жандарм и контрразведчик рассыпаются передо мной в извинениях и возвращают документы. Я выражаю гневный протест. Вместо ответа жандарм протягивает мне телеграмму. Латинскими буквами написано по-русски:

«Со мной едет товар. Прошу встретить. Эрма Лодис».

- На условном языке, - пояснил жандарм, - это значит, что наш агент выследил германского шпиона и просит его арестовать.

- Кто же этот ваш агент? - начиная догадываться, спросил я.

- Та дама, которая ехала с вами. Это наш самый ценный сотрудник, прибалтийская немка, Эрма Лодис.

Я пробормотал ругательство и вышел на улицу.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1930. № 41. С. 1-11.

ОБ АРТИСТКЕ ЗЫРЯНОВОЙ, О БОМБАХ В СТАНЦИЮ БУХЕДУ, О ЛАШЕВИЧЕ И СОВЕТСКОЙ ДАМЕ, О КОСТЕ ЗУБОВЕ И О ТОМ, КАК ОСТРОУМОВ ПРИКАЗЫВАЛ РАСТИ ТРАВЕ И ЦВЕТАМ

Шесть отрывков из нового романа

1

Любовь свободна, мир чарует,
Законов всех она сильнее...
Меня не любишь, но люблю я, -
Так берегись любви моей!

Кармен - коронная роль артистки Зыряновой. Чудом перенесенная из диких ущелий Сиерры де Гвадаррама в снежные просторы далекой Маньчжурии, ослепительная цыганка так же нежно и бурно любит, страдает, чарует, сводит с ума, как и у себя на родине, в пылающей солнцем Испании. Заораживает низкий, необыкновенного металлического тембра, полный огня голос Зыряновой. И вся она - огненная, подвижная, непостоянная, капризная, кокетливая, как яркий, экзотический цветок, словно черно-желтый порхающий по сцене махаон: черная юбка, желтая кофточка, желтая роза в иссиня-черных, небрежно взбитых волосах.

Меня не любишь, но люблю я, -
Так берегись любви моей.

И кумир харбинок тех далеких времен темпераментный тенор Оржельский ревнивыми, безумными, влюбленными глазами дона Хозе

следит, как, сверкая белыми зубами, позвякивая браслетами, пощелкивая кастаньетами, плетет вокруг него паутину любви, коварства и измены эта работница с табачной фабрики, вдруг ставшая для него царицей из волшебного, сверкающего царства.

Артисты увлечены, они завораживают своим темпераментом, они заморожены сами. В зале Нового театра, переполненном, набитом тысячами бледных в темноте лиц, абсолютная, удивительная тишина.

И, словно не маньчжурский мороз за стенами, не харбинские, белые от только что выпавшего, еще чистого снега улицы, а жаркое, золотое солнце Старой Кастилии, густо синее, тяжелое небо, напоенные сладкой, хмельной влагой виноградушки, пестрый лагерь оборванных контрабандистов, томное, страстное гудение гитары, похожее на любовное бормотание шмеля.

И перед вечно живой, вечно юной сказкой о любви, о ревности, о страсти вдруг уходят, тают, расплываются старые будни, заботы, думы о страшных днях, воспоминания о недавно пережитом, о кровавой борьбе в сибирских просторах, о горечи поражения, о потере многих, многих дорогих людей. Вся эта тысячная толпа, сидящая в театре, замершая, замороженно следящая за каждым движением Кармен, еще недавно, совсем недавно – два года тому назад – уходила, ощеряясь, огрызаясь, нанося короткие, яростные, отчаянные удары наступающему, беспощадному врагу. Уходила на восток – туда, где грезилось спасение, где можно было отдохнуть, залечить раны, собраться с силами и снова броситься на борьбу.

Эти мужчины были одеты тогда в хаки, сжимали винтовки, шли по снежным сибирским равнинам, по свирепой, звенящей от мороза тайге, падали от голода, холода, истощения, ран, тифа, снова поднимались и, скрипя зубами, шли, шли вперед – к спасению, к жизни, к лучшему будущему, которое они хотели найти на востоке.

Эти женщины, многие из которых одеты теперь уже снова хорошо, тогда, два года тому назад, брели со своими мужьями, братьями, отцами по тайге, оборванные, страшные, похожие на трупы, ехали в санях и на телегах, переполняли теплушки. Они ухаживали за ранеными, тифозными, обмороженными, они кормили на привалах своих мужей теми немудреными продуктами, которые удавалось достать по сторонам великого сибирского пути в разоренных яростной борьбой деревнях. И часто – о, как часто! – они хоронили – наспех, кое-как – в ледяных и снежных могилах своих детей, своих мужей, отцов, братьев. И многих, многих из них, из этих женщин, засыпали снегом в тех же сибирских просторах, и многих, многих из них выбрасывали настигнувшие большевики из холодных теплушек – уже замерзших, уже превращенных морозом в звенящие от удара трупы со стеклянными, открытыми, скорбными глазами.

Но те, кто вышел из этого ада, из ледяных тисков мороза, кто вспоминал о пройденном страшном пути, как о дурном сне, те хотели теперь жить, жить, жить во что бы то ни стало, закаленные борьбой, посмеявшиеся над смертью, случайно вытянувшие счастливый билетик в трагической лотерее 1920-го года.

Вот почему молчали все они в театре, жадно слушали низкий, страстный голос Зыряновой, следили за муками донна Хозе: знойной сказкой и звоном гитар тушили воспоминания о ледяных ночах в жестокой, угрюмой, мохнатой тайге, сушили сочащуюся еще кровь из ран, гнали смертельную тоску по разбросанным по страшному пути дорогим могилам.

Полунин сидел в круглом амфитеатре этого странного харбинского театра, переделанного из цирка, и так же, как и многие, многие в этом зале, гнал страшные воспоминания. Все в прошлом. Но не забыть этого прошлого...

...Вокзал в Благовещенске, снежная пурга, бьющая в лицо, мешающая стрелять по наступающему врагу.

- Не позволяй им вставать! - кричит Полунину поручик Гурьев и показывает на лежащие цепи красных.

И Полунин поливает из пулеметов большевиков свинцовым дождем, чувствуя, что, если встанут они, бросятся вперед толпой, то всем, кто на вокзале, - конец! Потом ранение, госпиталь, появление солдата с красной повязкой:

- Граждане! Не бойтесь! Никто вас бить не будет!

Бегство в Сахалин, потом возвращение в Благовещенск с Амурским отрядом. «Земское» правление социалиста Алексеевского, затем представитель атамана Семенова Шемелин, потом «уполномоченный по охране государственного порядка и общественного спокойствия в Амурской области» полковник Томилко, потом - атаман Кузнецов. Потом ...потом - снова бегство в спасительный Сахалин на китайском берегу Амура. Убийство красными отца, отъезд в Харбин. И вот два года в Харбине. Два года - тяжелых, полных разочарований, лишений, нужды, иногда даже голода...

...Меня не любишь, но люблю я, -
Так берегись любви моей!

Там на сцене в жаркой Испании нарастает гроза. Как метеор, проносится со своей арией артист Торгуд - Торреодор. Потом - заключительная сцена, когда разъяренный, ослепленный ревностью, огнедышащий Оржельский носится по сцене за Кармен, грубо хватает ее, дергает и бросает на декорации.

А потом после спектакля, смывая грим, смиренно просит прощения у разгневанной Зыряновой за синяки на ее руках и плечах. Был лют в игре и однажды растянул сухожилия, и чуть не сломал ногу, когда в «Борисе Годунове» в роли Самозванца выпрыгнул бешеным скачком из окна корчмы.

2

В редакции было больше, чем обычно, суеты, торопливости, деловитого стука машинок: только что получили телеграмму о занятии красными станции Маньчжурия, о поражении китайских войск, попавших в кольцо, и о быстром продвижении советской армии на восток, в направлении Харбина.

В городе была страшная паника. Слухи, один другого ужаснее, распространялись мгновенно. Говорили, что на эту ночь в Харбине назначено восстание большевиков, что эмигранты будут перерезаны. Говорили, что красная кавалерия сделала огромный пробег от станции Пограничная, вышла на южную линию КВЖД и что, таким образом, бежать эмигрантам некуда.

Полунин едва успевал отвечать на телефонные запросы по поводу этих слухов. Он успокаивал, отрицал достоверность слухов, злился, ругался, совершенно охрип. Сотрудники уходили, приходили, уезжали в автомобилях на вокзал, в полицию, в управление и правление КВЖД, поминутно приносили достоверные и вздорные новости.

С санитарным поездом приехал и прямо с вокзала прилетел на автомобиле сотрудник Колпаков, осунувшийся, бледный, перемазанный в угле. Он был послан редакцией на задание в сторону станции Маньчжурия, но до нее не доехал, попав под бомбы с советских аэропланов на станции Бухэду. Все окружили Колпакова:

– Ну что? Ну как?

– Плохо! Как налетели, начали сыпать бомбами!.. Я в это время иду около вокзала, разговариваю с доктором Филипповым... – знаете, железнодорожный врач? В это время гул аэропланов. Смотрю – видимо-невидимо... штук тридцать, наверно! Я кричу доктору: «Мы на открытом месте... бежим, доктор!». Бросились бежать. Доктор-то старик... задыхается... у него сердце большое. Говорит мне: «Бомбой-то, может быть, еще не убьет, а вот если я буду бежать, то обязательно умру... сердце лопнет. Поэтому, дорогой, вы удирайте, а я постою! Авось и ничего».

Чувствуя себя героем дня, Колпаков картинно рассказывал, как рвались вокруг него бомбы, какая поднялась паника, как валялись убитые. Окружающие слушали Колпакова разинув рты, хотя отлично понимали, что Колпаков наполовину врет. Сотрудник Педашенко, кроткий и перепуганный, поминутно роняя пенсне от волнения, бормотал:

– Вот, а говорят, что у большевиков плохие аэропланы, что они летать

не умеют. Вот видите... сюда прилетят... вот видите!..

- Н-да, - цедил Колпаков. - Натерпелся я страху в Бухэду. Вижу, куда уж там на запад: нужно ноги уносить. Сел в первый попавшийся поезд и - обратно в Харбин. По дороге разговариваю с китайцем: «Как же, - говорю, - вы с большевиками вздумали воевать: у вас и аэропланов-то нету». - «Юдыш-ю! Шибко много! - отвечает. - В Мукедене ю. Наша тележка шибко много есть, наша извозчика нету, мию!..». Сначала ничего не понял, а потом сообразил, что тележками он называет аппараты, а извозчиками летчиков.

Все засмеялись, хотя знали, что Колпаков врет, ибо этот анекдот был выдуман в Харбине, и никакой китаец Колпакову этого говорить не мог.

- Ну, Колпаков, - сказал Полунин, - садитесь-ка за машинку. Описывайте свои приключения. Еще успеет дать в сегодняшний номер. Красок не жалеете - чтобы сочно было.

В самый разгар работы, когда стук машинок походил на пулеметную трескотню, когда Полунин разрывался на части между редакцией, типографией и телефонами, вошел, не торопясь, как всегда немного сонный и вялый, с прозрачными глазами поэт Смелов. Посмотрел на суету, послушал разговоры и проямлил Полунину:

- Послушай Саша. Брось ты всю эту муру! Без тебя сделают. Ну, война, война - не видал что ли? Брось! Пойдем к Гидуляну. У него уха - пальчики оближешь. Пошли, а? Рюмку холодной?

Полунин только отмахнулся, правя телеграммы, едва устояв пред искушением действительно бросить все и пойти со Смеловым. Такие встречи с ним были всегда интересны.

3

В харбинских ресторанах, в харбинских кабаках, в театрах, в кино, в частных домах встречались враги - смертельные, непримиримые враги, враги навсегда, навеки, до «последнего, решительного боя».

Так сложилась судьба, так сложилась история этого удивительного города, что он приютил и белых, и красных. Приглядываясь, изучая друг друга, иногда даже мило друг другу улыбаясь, встречались люди, которые отлично знали, что при других обстоятельствах, в других условиях этот мило улыбающийся встречный перегрызет горло. Нигде в мире, только в Харбине так просто, так мирно не встречались враги, которые не так давно - всего за несколько лет до этого - расстреливали друг друга в тайге, не знали, что такое пощада к поверженному врагу.

Это было ненормальное, дикое положение, но оно было; обстоятельства, жизнь на чужой территории, общее политическое положение узаконивали этот харбинский быт.

Полунин года за полтора до этого сидел в «Модерне» на каком-то

балу: как окруженный крупными экспортерами и их дамами, а также тремя-четырьмя чекистами, восседал за богатым столом Лашевич, бывший красный командарм, сосланный в Маньчжурию оппозиционер, троцкист, – и думал: «Как это может быть, чтобы в одном зале сидели, весело смеялись, пили водку и фокстротили красный комиссар и сидевшие около него чекисты, и царские полковники, несколько белых офицеров, общественные деятели-антибольшевики. Что это? Падение, безразличие, конец борьбы?». Полунин смотрел на Лашевича, вспоминал, что рассказывали о его зверствах во время гражданской войны, и думал: «Что же мешает мне подойти сейчас к нему и раскроить ему голову вот той бутылкой с шампанским, которую он держит в руке, мило улыбаясь своей соседке?»

Но что-то удерживало – выпитая водка, улыбки соседок, томный фокстрот, а еще больше – российская мягкотелость, вялость.

Полунин встретил как-то в «Фантазии» соученика по гимназии, которого не видел больше десяти лет. Бросились друг к другу, обнялись, поцеловались.

– По рюмке водки?

– Непременно! Ну, как, Паша?

– А ты, Костя?

Сели, выпили. Весело, перебивая друг друга, вспоминали математика Корсака, который больше возился с голубями, чем с теоремами, вспомнили латиниста Данилова, который не знающему урок ученику советовал «почесать левой ногой за правым ухом», что было, по его мнению, лучшим способом вспомнить заданное. Вспомнили милейшего Пуцяцо, который предпочитал читать в классе Чехова, чем диктовать никому ненужные экстемпорале.

Долго говорили – всего не вспомнишь, что было в счастливые годы детства, когда не было ни революции, ни озверения, ни кровавой российской мясорубки.

– А где Ланин?

– Ланин? – нахмурился Полунин. – Замучили чекисты в Красноярске. Понимаешь, эта красная сволочь...

И осекся... Вдруг увидел помрачневшее лицо и судорожно дрогнувшие губы. Что-то молнией сверкнуло между их глазами.

– А ты... ты что делаешь сейчас?

– Я? Заведующий редакцией газеты «Сигнал». Знаешь?

– А! Знаю, знаю... Ты ведь, кажется, офицером был?

– Да, был. А ты что делаешь в Харбине?

– Я на КВЖД.

– У них?

– Ну конечно! Я – партийный.

Кривая улыбка у обоих. Заплатили по счету. Встали. Подавать ли

руку? Подали. Во имя далекого прошлого, во имя тех дней, когда еще не были врагами и кровь не стояла между ними.

- Прощай!

- Прощай...

4

Полунин сидел в редакционном кабинете, когда ему сказали, что его хочет видеть дама. Вошла явно взволнованная женщина, хорошо одетая, скромная, хорошенькая, с умеренной косметикой.

- Садитесь. Чем могу служить?

Дама растерянно улыbnулась, умоляюще посмотрела на Полунина.

- Видите ли... обстоятельства необыкновенные привели меня сюда. Я надеюсь... я верю, что вы - джентльмен и никогда никому не скажете об этом случае. Видите ли, я - жена...

Она назвала известную в городе фамилию советского консульского чиновника. Полунин с изумлением уставился в испуганные глаза дамы.

- Я слушаю вас...

- Видите ли... я знаю вашу газету, иногда даже читаю ее. Я знаю, что ваша газета белая... Ах, как вам все это объяснить? Не думайте, пожалуйста, что я сумасшедшая...

- Да вы не смущайтесь, мадам. Говорите. Вы можете быть спокойны, что никто ничего не узнает.

- Так вот... я очень несчастна в семейной жизни. Пока мы жили в СССР, мой муж был под опекой партии... Вы знаете, у нас это очень строго. Но как только он попал в Харбин, он словно с цепи сорвался. Здесь все есть, так дешево, так доступно... Он не вылезает из кабаков, он пьянствует, он изменяет мне... я почти не вижу его дома...

- Мадам, я не вижу, какое это может иметь отношение к нашей газете, чем мы можем вам помочь...

- Вы сейчас поймете и увидите, что помочь можете. Я знаю, что вам это покажется бредом. Но у меня нет другого выхода. Я умоляю вас!.. Понимаете... если вы напишете в своей газете про его похождения, то местные партийные представители обратят внимание на это и отправят мужа в СССР. Вы понимаете... белая газета разоблачает похождения служащего советского консульства, видного партийного работника... Ведь это сенсация для вас! Я дам вам письма его любовниц, его ответы им... Я иду на все! Я умоляю вас! Вы можете вернуть мне мужа...

- Сударыня... я, право, не знаю, что сказать вам. Такие разоблачения интимного свойства - вовсе не наша задача...

- Как не ваша задача? Ведь вы боретесь с нами, ваша газета должна разоблачать, показывать всему миру советские недостатки. Что же может быть лучше того материала, который я вам предлагаю?

«Что сказать ей? Как отделаться от нее? А вдруг провокация?», – растерянно думал Полунин.

– Видите ли, сударыня. Раз мы боремся с советской властью, то нам выгоднее, чтобы этот процесс разложения продолжался, усиливался. Так что с точки зрения, на которую вы указали, нам выгоднее, чтобы ваш муж продолжал образ жизни, о котором вы говорите. Разоблачения могут отрезвить его, то есть снова сделать его нашим опасным врагом. Зачем же нам это?.. Кроме того, раз уж вы так откровенны и готовы доверить нашей газете свою судьбу, то я должен сказать, что вы на опасной дороге... Нам известно, что большевистский партийный аппарат очень строг к таким разлагающимся, как ваш муж. Вы сами только что говорили, что в СССР за это по головке не погладят. Вспомните случай с вашим консулом Леграном и балериной Саханович. А потому – как бы вам не погубить своего мужа...

– Вы думаете, что это опасно?

– Конечно! Очень опасно.

Дама потерянно посмотрела на Полунина.

– Вы знаете... я как-то не подумала... Пожалуй, вы правы. Я сейчас вспомнила еще несколько примеров... трагических примеров...

Она встала, благодарно посмотрела на Полунина.

– Спасибо! Кажется, я чуть было не сделала большой глупости. Спасибо!

Она протянула Полунину руку. Он мгновение поколебался, но потом пожал ее пахнувшие духами пальцы.

5

Артист Зубов перед своим отъездом в СССР поставил в Новом театре советскую пьесу «Стенька Разин», надеясь заслужить благоприятные референции от харбинских большевиков для будущей пролетарской карьеры в Москве.

Полунин пошел посмотреть пьесу. Зубова харбинцы любили, и Новый театр переполняла шумная, галдящая толпа. Настроение было приподнятое. В театре было примерно поровну сторонников и противников возвращения Зубова в Россию. Споры, перебранки, даже скандалы происходили в каждом антракте.

Пьеса оказалась безвкусной, грубой стряпней, советской агиткой, рассчитанной на абсолютный примитив. Стенька Разин походил на митингового большевистского оратора с дикими выкриками по адресу царей, дворянства, офицеров, с ходульными фразами, фальшивыми позами.

Полунин ежился от жгучего стыда за талантливое актера, который выламывался на сцене и свой чудесный дар, свою душу выворачивал наизнанку, чтобы доказать свою «солидарность» с новыми хозяевами.

- Как ему не стыдно! - услышал Полуниин рядом с собой горячий молодой голос, когда Зубов с пафосом отпустил очередную, сугубо базарную плоскость.

- Что, не ндравится? - подал реплику другой голос. - Не ндравится, когда правду говорят?

- А ты, хамье, не лезь ко мне со своими вопросами!

- А! Белогвардейский щенок!

- Красная сволочь!

Соседи шикали, разнимали готовых подраяться парней. Зубову аплодировали красные, шикали белые, в театре стоял шум, ругань, свист. Этот шум превратился в рев, когда перед последним актом к рампе стали подходить ораторы, чтобы передать Зубову, стоявшему на сцене и сильно взволнованному, последнее прости харбинцев, речи были от артистов, от рабочих, от отдельных лиц. Вдруг Полуниин увидел Малова, своего соседа по парте на юрфаке, энергично пробиравшегося к сцене. Громко, раздельно, уверенно он сказал Зубову:

- Ты слышал здесь, дорогой Костя Зубов, в течение вот уже получаса много лжи и фальшивой радости по поводу твоего решения уехать в Москву. Скажу тебе дорогой Костя, другое - от своего имени и от имени многих, многих тысяч харбинцев. Мы любим тебя за твой великий талант, и нам очень горько, что ты едешь в Москву метать бисер перед свиньями. Но это дело твое: хочешь пресмыкаться перед убийцами России - пресмыкайся. Все же ради твоего таланта мы готовы простить тебе все. И мы верим, дорогой Костя, что увидим тебя снова - конечно, на сцене. Но на сцене не советской, а императорской.

Аплодисменты, рев восторга, рев гнева, свист, топание, ругательства, крики «браво» проводили Малова. Только, когда полиция заявила, что прекратит спектакль, публика успокоилась. Несколько драк и протоколов завершили проводы Зубова.

Выйдя из театра, Полуниин увидел Малова, окруженного рослыми молодыми людьми, одетыми в черные косоворотки с открытой грудью и в черные брюки клеш. Желтые канты и желтые шнуры завершали этот наряд «мушкетеров».

- Вот, вызвались охранять меня! - широко улыбнулся Малов. - Мы, говорят, боимся, что проломают вам голову после вашего выступления.

- И очень просто! - деловито сказал один из юношей постарше, видимо, начальник.

- Вы здесь товарищей не знаете. Тяпнут из за угла - и след простыл...

- Знать-то мы их знаем, дорогой, и лучше вас: в чистом поле не раз встречались, - похлопал Малов юношу по плечу. - Но все равно, спасибо, ребятки! Только меня не провожайте. У меня здесь машина. Я сейчас в Новый город укачу - пускай догоняют. Полуниин, хотите, довезу: вы на

Строительной живете?

6

Григоренко приходил со службы веселый, жизнерадостный, сияющий, целовал жену, целовал детей и своим тоненьким голоском, давясь от смеха, рассказывал железнодорожные новости:

– Борис Васильевич-то, Остроумов, какую шутку отколол!.. Приезжает в Чжаланьтунь. А там перед вокзалом сквер, клумбы. Приезжает, а на клумбах – ни цветка, ни травинки. «Н» кричит: «Позвать ко мне начальника участка!». Прибегает инженер, начальник участка. «Это что же такое? – кричит Остроумов. – Июнь-месяц на носу, скоро дачники приедут, а у вас ни цветочка, ни травинки! А?». – «Да дожди, Борис Васильевич, солнца нету». – «Солнца? Вот, дорогой мой: я еду сейчас на восточную линию, пробуду там две недели; когда приеду сюда, чтобы была трава и все прочее». Инженер сейчас же по телеграфу – в Харбин. Прислали какого-то немца-садовника или чеха. Высокий спец! Нагнали китайцев-рабочих. Что-то копают, возят землю, поливают, ночью при фонарях работают... Через две недели Остроумов приехал: красота – изумрудная травка, цветочки разные!.. Вот это «Н»! Одно слово – и трава из земли лезет! Увидел железнодорожный дом с облупившейся краской на крыше. «Проржавеет! Погибнет! Казенного добра не жалеете!». Он шел куда-то на обед. Когда возвращался, то снова посмотрел на крышу и улыбнулся: она блестела и играла на солнце свеженькой краской. Пока он обедал, нагнали маляров и покрасили крышу...

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1940. № 31. С. 1-2, 4, 6-8.

ШАНХАЙЦЫ

(Отрывок из романа)

Часть 1. Японцы на пороге Шанхая

Черная пятница

В этот день – 14 августа 1937 года – был взволнован, потрясен и перепуган весь многомиллионный, интернациональный Шанхай, а вместе с ним, понятно, и его микроскопическая часть – *бординг* Анжелины Мироновны Пушкиной в доме, находящемся на рут Валлон, в самом центре русского расселения. Еще накануне, в пятницу 13-го, т. е. в «Черную пятницу» (по иностранному поверью, мрачный день, ибо пятница и 13-е число – роковое совпадение), город был во власти панических слухов. Слухи родились в результате военных приготовлений китайцев и прихода

японской эскадры, которая стала на реке Вампу. Флагманский корабль, крейсер «Идзумо», остановился против Банда – набережной, центральной и деловой части Шанхая. Город гудел, взволнованный и замирающий от ожидания и страха.

Это были те дни, когда опьяненная безнаказанностью всего того, что она проделывала в Китае и Маньчжурии, Япония протянула свои жадные руки и к Шанхаю. Этот огромный порт служил воротами в Китай и торговал со всем миром. Нужно было закрыть эти ворота, чтобы отрезать Китай от мира и продолжать осуществление того плана, который был задуман в тиши токийских кабинетов. Прыжок на материк с японских островов, освоение Китая, порабощение его, создание из него грандиозной японской военной и экономической базы – вот каков был этот план. Шаг за шагом японцы шли к своей цели – неумолимо, беспощадно, с холодной жестокостью. И, помня их по прошлому, зная по настоящему, мирное китайское население в панике бежало отовсюду, где появлялся флаг страны Восходящего Солнца. Та же картина ужаса перед нашествием беспощадного врага была и в Шанхае.

Улицы иностранного Шанхая – французской концессии и Международного сэттльмента – были наводнены десятками тысяч китайских беженцев из Чапея и Хонкью – тех районов города, которые неизбежно должны были стать ареной будущих боев, если судьба не отвела бы занесенного над ними меча войны. У беженцев был отчаянный вид, они были растеряны, перепуганы. Глядя на них, русские эмигранты (постарше годами) вспоминали годы Великой войны, когда таким же потоком текли по бескрайним дорогам несчастные жители Польши, Литвы, Латвии, Белоруссии, спасаясь от врага, от немцев, вглубь России, навстречу неведомой судьбе. Китайцы-беженцы растекались по всему Шанхаю, а большинство их покидали город, разъезжаясь по деревням. Тем не менее, плотность населения иностранных концессий возросла вдвое. На улицах кишела китайская толпа, тротуары были забиты сидящими и лежащими на циновках и на своем скарбе беженцами. Еще накануне на концессиях была объявлена мобилизация шанхайского Волонтерского корпуса и полиции. Русский полк, состоявший из молодых русских эмигрантов, – муниципальная сила, краса и гордость Шанхая – занял боевые позиции в тех местах, где могли разыграться бои: русскими телами предполагалось прикрыть спокойствие и безопасность делового, сытого, иностранного Шанхая. Международный сэттльмент опоясался рядом блокгаузов и укреплений из мешков. В сторону Чапея – возможной арены боев китайцев с японцами – торчали пулеметные дула. У города был прифронтовой вид. В ночь на пятницу шумный, кипящий жизнью сэттльмент словно вымер. Грозное ожидание нависло над его улицами и домами. И вот, в «Черную пятницу», к вечеру, первый пушечный выстрел прокатился грозным эхом

по всему Шанхаю. Завязалась артиллерийская дуэль – слабая и ленивая. Она длилась около четырех часов и стихла.

Такова была прелюдия к «Кровавой субботе», как было названо 14-е августа – день, который никогда не изгладится из памяти шанхайцев.

Шанхай – огромный город, пятый в мире по величине порт, целый мир. Но он – точка, пятнышко на карте Китая. А Китай – пятно на поверхности земного шара. А земной шар – песчинка в мировом пространстве. Все относительно. В капле воды – целый мир, говорят биологи. Поэтому населенный пятнадцатую людьми – семью женщинами и восемью мужчинами – *бординг* Ангилины Мироновны, мадам Пушкиковой, по рут Валлон мы можем также объявить целым миром или хотя бы мирком. И если в упомянутую «Кровавую субботу» *бординг* мадам Пушкиковой был взволнован событиями в огромном городе, вероятно, больше всех остальных шанхайцев, то объяснение в том, что в этом мирке произошли вдобавок ко всем внешним событиям еще два внутреннего порядка, касающиеся только этого *бординга*, так сказать, «свои», «наши» события. Этими событиями были ранение обитательницы комнаты № 3 в *бординге*, Лолы – партнерши для танцев с улицы Чу-Пао-Сан, и появление в *бординге* новой обитательницы – двенадцатилетней девочки Тани, которая в этот страшный день потеряла свою мать и отчима. Эту девочку привез к своей жене обитатель комнаты № 8 в том же *бординге* – Александр Николаевич Купянский, в прошлом – полковник, а в настоящем – *воцман*, т. е. сторож. Ранение Лолы и появление в *бординге* Тани взволновали всех жильцов мадам Пушкиковой. Мы пользуемся случаем, чтобы перечислить их всех.

Итак, хозяйка *бординга* – Ангилина Мироновна Пушкикова со своей дочерью Груней, обитающая в комнате № 1. Комната № 2 – фельдшер Иван Иванович Фоменко, его жена Анна Георгиевна. Комната № 3 – уже упоминавшаяся нами девица Лола. Комната № 4 – той же профессии девица Регина. Все это – первый этаж. Второй этаж (по-русски): комната № 5 – присяжный поверенный Григорий Осипович Капустин и его жена, Елена Антоновна; комната № 6 – юноша Валентин Халчев, без определенных занятий, и молодой человек Вася Солод, приказчик из винно-гастрономического магазина; комната № 7 – бухгалтер Селезнев. Третий этаж: комната № 8 – полковник Купянский и его жена Вера Павловна; комната № 9 – их сын Михаил, и, наконец, комната № 10 – журналист Сергей Петрович Нежданов, сотрудник эмигрантской газеты «Шанхайское утро». Шестнадцатая обитательница *бординга* мадам Пушкиковой – девочка Таня – появилась в квартире, как мы уже упоминали, только в «Кровавую субботу».

Рут Валлон

Рут Валлон – далеко не аристократическая улица Шанхая, и русский

сноб или дама с претензиями, живущие на этой улице, никогда не признаются, что обитают на рут Валлон: это плохой тон. Мы знаем одну милую русскую барышню, которая говорила, что она живет в Гровенор-Хаузе (это, так сказать, аристократический небоскреб). Ее кавалер подвозил ее в машине к Гровенор-Хаузу, она входила во двор и ждала, когда автомобиль (или, по-шанхайски, *кар*) отъедет. Тогда, осторожно выглянув и убедившись, что кавалер уехал, барышня быстро перебежала авеню Жоффри и через Линда-Террас шествовала на рут Валлон в свой мрачный и далекий от аристократизма *бординг*. Не будем строго судить бедную барышню. Да будет этот маленький обман самым большим преступлением в ее дальнейшей – искренне пожелаем барышне – счастливой жизни.

Итак, рут Валлон – улица не аристократическая, даже очень далекая от подобных претензий. Но и на этой улице, заселенной, главным образом, русскими эмигрантами, есть свои деления на преуспевающих и неудачников на жизненном пути. В зависимости от этого и *бординги*, где обитают русские эмигранты, делятся в обывательском представлении на три класса: хорошие, средние и похожие на ночлежки. При самом тщательном и беспристрастном рассмотрении *бординг* мадам Пушкиковой на рут Валлон мы должны отнести к среднему классу: не то, чтобы хорошо, но и не совсем плохо. Крыша не всегда течет, есть ванна – одна на десять комнат, две кухни – одна на первом, вторая – на третьем этаже, есть две газовых плиты. Во всяком приличном (и даже неприличном) *бординге* должен быть *руф-гарден* – дословно «сад на крыше», а на самом деле – площадка, на которой могут быть не только цветы в горшках и кадках, но и (чаще) старые ящики, уголь, бутылки, рваная и поломанная мебель, битая посуда, тряпки и прочая дрянь. Часто здесь вешают белье на веревках, чтобы высушить его на солнце или на ветру. Вот почему шанхайские *бординги*, если посмотреть на их крышу снизу, поражают обилием красок: пузырятся и играют на солнце, переливаются радугой, слепят глаза красные, синие, зеленые, желтые, розовые рубашки, кофты, юбки и другие более сокровенные детали, главным образом, женского одеяния.

Именно здесь, как ни странно, среди поломанной мебели, среди развешанного грязного и чистого белья, старых ящиков, битых бутылок, меш ков с углем, именно здесь, на *руф-гардене*, на крыше трехэтажного дома – *бординга* мадам Пушкиковой, и начинается действие этой книги. Если такое начало романа не смущает читателя, да последует он за нами на крышу.

На крыше – как на фронте

В самом центре *руф-гардена* стоит большой продраный соломенный диван со спинкой. Вместо одной отломанной ножки поставлен ящик. На диване сидят четверо: журналист Нежданов, молодой человек – Вася

Солод, две девицы – блондинка Лола и брюнетка Регина. Все четверо, задрав головы, смотрят в жаркое, усеянное облачками, голубое небо. Но небо покрыто не только облачками: в небе парит с десяток китайских аэропланов, появляются и тают шрапнельные дымки; в небе густой, зловеший гул аэроплановых моторов и характерный треск разрывающихся снарядов. Душно, жарко, но никто жары не замечает: вытирая пот, слепящий глаза, все четверо жадно смотрят в небо. И не только здесь, на крыше *бординга* мадам Пушкиной, смотрят в небо четыре пары глаз. Все крыши, все балконы и окна верхних этажей чернеют от десятков тысяч любопытствующих свидетелей невиданного зрелища – борьбы аэропланов с зенитными орудиями и артиллерией крейсера. В этот день мирный, беспечный, бездумный, веселый Шанхай познакомился с тем, что такое современная война.

Это было особенно странно, потому что город не был к этому подготовлен, население не понимало, что ему угрожает самая реальная опасность. Шанхайцы высыпали на улицы, облепили крыши, окна и балконы. В облаках реяли китайские аэропланы, по которым стреляли японские зенитные батареи, не подпуская врага к флагманскому кораблю «Идзумо», стоявшему на реке Вампу. Среди облаков рвались снаряды, по всем направлениям свистели шрапнельные и бронебойные пули, на улицах падали убитые и раненые прохожие, но крыши по-прежнему чернели от народа: зрелище было слишком остро, чтобы помнить об опасности.

– Сидим, можно сказать, как в театре, – говорит Вася Солод, один из четырех сидящих на диване. – И за билеты не платим.

У него лицо деревенского парня – простоватое, курносое. Серые глаза, курчавые белокурые волосы. Он невысок, но крепок в плечах, руки большие, грубые, красные. На его лице – восторженное любопытство, детская радость светится в глазах, следящих за белыми и желтыми облачками разрывов.

– Нет, как в кино, – возражает ему сидящая рядом брюнетка Регина. – В театре не мелькает, как здесь, а тут все небо – как экран.

Регина – среднего роста, худощава, стройна. Ей двадцать четыре года. У нее иссиня-черные волосы, голубые глаза – странные, неподвижные, почти немигающие. Очень ярко накрашенные красные пятна на чуть скуластых желто-матовых щеках. Правильный, красивый нос, тонкие, пожалуй, неприятные, злые губы; Регина делает их больше, чувственнее с помощью кармина. Но основное, сразу приковывающее внимание – это ее глаза: они кажутся прозрачными, холодными, иногда стеклянными, жестокими. Регина – конечно, не ее настоящее имя. Зовут ее Евдокия, и она – дочь мелкого служащего торговой фирмы «И.Я. Чурин и Ко» в Харбине. Но Евдокия в Шанхае «не звучит». Здесь царство иностранцев, царство

матросов всех национальностей, царство кино. На рю Чу-Пао-Сан, где служит девушка, ей дали имя Регина. И потому она позабыла свое хорошее, освященное веками, такое простое русское имя.

- Попали, попали! - хлопает совсем по-детски в ладоши соседка Регины по дивану блондинка Лола. - Вон в тот, который поворачивает. Ой, сейчас упадет!

Но аэроплан выправляется, поворачивает и снова пытается пробить огненную стену, которую создали вокруг «Идзумо» зенитные орудия. Атака аэропланов какая-то странная, беспорядочная. Нет системы, боевого строя. Они носятся как угорелые, встречаются, расходятся, снова зловеще гудя и завывая, все ускоряя полет, бросаются вперед, к заветной цели, туда, где стоит на Вампу неуязвимый японский крейсер. И, отбитые бешеным, лихорадочно частым огнем, снова поворачивают назад. Все небо заволочло дымом и медленно тающими облачками разрывов.

- Ой, как интересно! - подскакивает на диване Лола. - Как пожар - небо все горит...

Лола - крупная девушка с наклоном к полноте, с излишне в ее годы развитыми формами. Ей двадцать два года. Мелко завитые, светлые волосы сиянием окружают ее лицо - простоватое, доброе, румяное. Карие глаза, на солнце совсем желтые, широкий нос, на лбу и на щеках несколько рябинок, впрочем, заметных только на ярком свете, толстые, чувственные губы. Она не красавица, совсем нет, но женственна вся - с головы до ног - и похожа на большого ребенка или куклу. Лола тоже не Лола, а Оксана, Ксения Сидоренко - дочь кондуктора с Китайской Восточной железной дороги. Но по той же самой причине, почему Евдокия стала Региной, Ксения превратилась в Лолу. О, Шанхай - город метаморфоз!

- Не прыгайте так на диване, - с усмешкой говорит Лоле четвертый зевака на небо, журналист Нежданов. - При вашем весе мы рискуем перевернуться с этого трехногого дивана.

- Ну уж вы вечно с моим весом, - кокетливо-обиженно поджимает губы Лола. - И вовсе я не такая тяжелая. Вот снесите меня вниз по лестнице и увидите, что я - как пух.

- Не пух вы, а ух! - дурачится Нежданов, заглядывая в ее желтые веселые глаза. - А тащить вас по лестнице не смогу, ибо не обладаю силой Геркулеса.

- Кто это такой Геркулес? Борец? - спрашивает Вася Солод.

- Вроде, - смеется Нежданов.

У журналиста лицо российского интеллигента, как это принято изображать на карикатурах и в веселеньких фельетонах: жиденькие, рыжеватые усики, волосы, зачесанные назад в поэтическом беспорядке, неопределенного цвета глаза, неопределенный нос и неопределенные губы. Цвет лица - желто-серый, какой всегда бывает у газетных

работников, проводящих свою жизнь в душных, прокуренных помещениях, сидящих за машинкой целыми ночами. Под глазами – мешки. Он худ и сутул и выглядит значительно старше своих сорока двух лет.

– Что это пискнуло? – говорит Регина. – Вот еще... Что это?

– Это свистят пули, – встает с дивана Нежданов.

Он давно уже не только с любопытством, но и с беспокойством следит за разрывами в небе. Он был на войне и знает, какую опасность таят эти хорошенькие, пухлые облачка. Он смотрит в небо, прикидывает расстояние и возможную траекторию полета снаряда. Любой разрыв мог накрыть всех сидящих на крыше смертоносным градом пуль или осколков.

– Господа, нам надо уходить с крыши, – говорит он спокойно. – Мы в опасности.

Лола, Регина и Солод удивленно смотрят на него.

– В опасности? Мы? Но ведь стреляют не в нас, а вверх...

– Это ничего не значит. Вы не бывали в таких переделках, а я был офицером, был на войне. Видите, где рвется снаряд? Осколки должны обязательно прилететь сюда...

Нежданов быстро читает маленькую лекцию по артиллерии: траектория, площадь обстрела, рассеивание, стаканы. С пронзительным визгом, видимо, переворачиваясь в воздухе, словно протыкает барабанную перепонку противоаэропланная пуля... другая... третья. Где-то звенят осколки разбитого оконного стекла.

– Надо уходить! – прерывает свою лекцию Нежданов. – Вы слышите? Это пули.

– Просто вы боитесь, – беззаботно смеется Лола. – Ерунда эта ваша трак ... трака ... как ее... тория.

Нежданов растерянно и уже испуганно что-то говорит о бессмысленности сидеть здесь, на крыше, и подвергаться явной и грозной опасности. Но его слова беспомощно натываются на желтые, наивные, непонимающие глаза Лолы.

– Никуда я не пойду. Это так интересно.

Пуля с неба

Сноп огненных точек в небе – новые разрывы.

– Ох! – тихо и удивленно говорит Лола и показывает куда-то вниз, на подол своего ситцевого, в ярких цветах, платья. – Что-то ударило...

Все, кроме Лолы, вскакивают с дивана. Нежданов видит в ситце, туго обтянувшем полное бедро девушки, круглую прожженную дырку.

– Больно, – шепчет, бледнея и морща лоб, Лола.

– Поднимите платье! – повелительно кричит Нежданов. – Скорее.

– Что-о-о?

- Поднимите платье! Вы ранены.

Румянец быстро сползает с лица Лолы. Она испуганно поднимает платье. Выше колена на белом, гладком теле – черное, большое пятно с синеватой каемкой. В середине пятна – кровь, которая начинает быстро заливать ногу. На другой стороне ноги Нежданов видит такое же пятно.

- У вас сквозное ранение, – говорит он. – Скорее вниз – и доктора!

- Ах! – стонет Лола. Ей дурно.

- Ох! – вторит ей Регина.

- Берите ее под мышки! Вы покрепче меня! – командует Васе Солоду Нежданов. – А я – за ноги. Ну, живее!

- Вот, Лола, посмотрим, легче ли вы пуха, – пытается шутить Солод и поднимает девушку с дивана. – Вы посмотрите, сама накликала: «Несите, – говорит, – меня вниз по лестнице. Я – как пух...»

В тот момент, когда полубесчувственную Лолу несли вниз по лестнице, два глухих, страшных удара возвестили о другой, действительной трагедии. В центре города, на одном из самых оживленных перекрестков Шанхая, упали с китайского самолета и взорвались две мощные бомбы; тысячи людей заплатили жизнью за небрежность летчика. Именно эти взрывы и были причиной появления в *бординге* мадам Пушкиновой новой жилицы.

Топот ног по узкой скрипящей деревянной лестнице, свистящий шепот Нежданова (он почему-то говорил шепотом), легкие стоны Лолы, причитания Регины – все это всполошило мадам Пушкинову и весь ее *бординг*. По мере того, как несущие девушку спускались все ниже, двери всех комнат раскрывались, и обитатели этих комнат теснились к лестнице, чтобы увидеть, что собственно произошло. На третьем этаже к Нежданову и Солоду присоединился сын полковника Купянского, Михаил, тринадцатилетний крепкий мальчик, и помог нести раненую. Высокая, статная женщина с сильной проседью, с болезненным, бледным лицом, жена полковника Купянского, Вера Павловна, нежно сказала:

- Бедняжка! Куда она ранена? Нужно кипяток, марлю, йод. Я сейчас принесу.

На втором этаже не было дома только жильца Халчева. На лестницу выбежали присяжный поверенный Капустин, толстяк с лысиной во всю голову, краснощекий, пенсне на носу, в халате и его жена, немолодая женщина, но еще стройная, хотя и упитанная, с красивым еще лицом, но с морщинами того вида и рода, которые без ошибки всегда можно отнести к лицам, познавшим, что такое театральный грим; ей, видимо, было очень жарко в этот знойный шанхайский день: на ней был лишь легкий голубой халат, откровенно рисовавший своими складками формы пышной женщины.

- Боже! – несколько театрально, певуче воскликнула она. – Бедная девчурка. Ранена? Как это случилось, ради Бога? Как это случилось?

Последний в этом этаже был бухгалтер Селезнев – крепкий, широкоплечий человек, постриженный бобриком, с маловыразительным, неподвижным лицом, светлыми глазами и твердым, решительным подбородком. Он ничего не сказал, угрюмо проводил шествие по лестнице и вернулся в свою комнату. На первом этаже, по дороге в комнату Лолы, шествие было встречено значительно экспансивнее. Дочь хозяйки мадам Пушкиной Груня замахала руками, захохла, побелев от ужаса. Это была еще молодая женщина, миловидная, с чудесными жемчужными зубами. Но что-то неподвижное, тупое, мертвое было в этом лице. Жильцы *бординга* знали, что эта женщина перенесла очень много невзгод, сильно болела, и все это отразилось на ее психике. Все – и мать в том числе – считали ее дурочкой. Она прижала руки к груди, закатила глаза и зашептала:

– Господи, Господи! Убили, убили! Лолочку убили! Царство ей небесное!

– Что ты, дура, живую-то хоронишь? – крикнула на нее, выплыв из своей комнаты, хозяйка *бординга*, Ангелина Мироновна Пушкина, женщина лет пятидесяти, дородная, с жирным, плоским лицом, маленькими глазками-пуговками, с черными с проседью волосами, расчесанными на прямой пробор, и огромным бюстом, который колыхался и грозил каждую минуту выплеснуться.

– Что ты, дура, причитаешь? Ранена? Куда? В ногу? Говорила – не ходите на улку, говорила – беспременно ранют. Вот и платье испортила... дыра-то какая...

– Фельдшер дома? – спросил ее Нежданов. – Фельдшера скорее позовите!

В комнате № 2 в первом этаже, как мы уже упоминали, проживал со своей женой фельдшер Иван Иванович Фоменко.

– Да что с него толку? – поджала губы хозяйка. – Пьян, поди, опять, отсыпается, дрыхнет.

– Будите его, если спит, – повелительно бросил Нежданов, открывая дверь в комнату Лолы.

Солод, Михаил Купянский и Нежданов внесли Лолу в ее комнату и положили на кровать. Платье девушки сильно пропиталось кровью.

– Мы выйдем, – сказал Нежданов Регине, – а вы снимите платье с нее, обмотайте ногу чистым полотенцем. Я сейчас приведу фельдшера.

Он вышел в коридор и постучался в дверь фельдшера Фоменко. Дверь открыла маленькая женщина с невзрачным, худеньким лицом.

– Спит, – прошептала она мрачно, оглядываясь на диван за ширмой в глубине комнаты.

– И врешь, Аня, не сплю, проснулся. Как тут спать, когда тут такая пальба идет? Кто там?

Голос был хриплый, низкий. Из-за ширмы показалась всклокоченная

голова, голая волосатая грудь. Нежданов объяснил в чем дело.

- Сейчас приду, - скрылась голова за ширмой.

Квартиранты-мужчины столпились у дверей комнаты Лолы, а женщины вошли внутрь, кроме хозяйки мадам Пушкиковой.

- И чего там, чего разбегались? - равнодушно зевнула она. - Девка молодая, на ней, как на кошке, заживет. Ишь ты, как стреляют... хотела после обеда вздремнуть - так куда там... пуляют. И вчерась стреляли. Иди к себе в комнату, дура, чего не видала?

Последнее относилось к Груне, которая, молитвенно сложив руки, медленно шла к комнате Лолы. Мадам Пушкикова шлепнула Груню пониже спины, взяла за руку и увела в свою комнату.

- Бесчувственная какая-то Ангелина Мироновна, - пробормотала жена фельдшера Фоменко, Анна Георгиевна.

- Наша хозяйка? У-у, терпеть ее не могу! - даже сжал кулаки Михаил Купянский. - Сколько она маме здоровья стоит. Чуть запоздала с платой - эта уже скрипит: «У меня в *бординге* деньги вперед платят, у меня в *бординге* порядок, у меня в *бординге*...» У-у, ведьма!..

Появился фельдшер Фоменко - среднего роста человек в очках, взлохмаченный, небрежно одетый. Он вошел в комнату Лолы и плотно закрыл за собой дверь. Минут через десять вышел. Все окружили его:

- Ну, что? Что?

- Ерунда! Кость не задета. Повезло. Через пару недель может снова плясать в своем кабачке. Как из ружья...

Человек, приехавший из ада

Все разошлись по комнатам. Нежданов поднялся к себе, на третий этаж. Его комната была самая обыкновенная, *бординговская*. Оштукатуренные стены цвета беж, побрызганные золотыми кляксами, - копейная роскошь девяти десятых *бординговских* клетушек в Шанхае. Беленый потолок с потеками от сырости и грязи. Хромоногий стол, прислоненный стене, не то упадет. Два стула с деревянными спинками и вырезанными на этих спинках цветами - что-то похожее на хризантемы. Облезлое, с выпирающей наружу соломой мягкое кресло. Деревянная кровать, скрипящая даже при дуновении на нее. Кое-где следы от раздавленных клопов. Фанерный шкаф, почему-то скосившийся набок и, по-видимому, готовый свалиться на того, кто попырует его открыть. На стене - полочка с книгами, маленькое зеркало. Единственное окно в комнате упирается в красную кирпичную стену соседнего дома. В комнате по-шанхайски влажно, душно, жарко от накалившейся за день крыши. Беспорядок: на столе неубранная грязная посуда, чайник, пишущая машинка с вложенным в нее листом бумаги; на кровати разбросана одежда, пол не подметен. Ах! - обычная, такая обычная комната русского эмигранта в Шанхае. И еще не совсем неудачливого, имеющего службу,

могущего платить за комнату – шутка ли сказать! – пятнадцать долларов в месяц.

Нежданов вытер полотенцем мокрое от пота лицо и взглянул на часы. На службу, в редакцию газеты, ему нужно было еще часа через два. Он подошел к зеркалу, взглянул на себя, подергал за усики, пригладил волосы. Потом сел за машинку, решив написать для газеты впечатления этого богатого событиями дня. Пальцы привычно забегали по клавишам машинки. Профессиональный опыт сразу находил нужные слова, образы, фразы. Нежданов знал, что все это трафарет, все это скучно, бледно и совсем не выражает всей трагичности сегодняшнего дня. Но еще лучше он знал требования газеты. Он знал, что ее редакции и, главным образом, ее редактору не нужны яркие краски и живое, яркое слово: ему нужен был штамп, сухо описанные факты и, главное, – поскорее. Скорее, скорее! – вот основной лозунг газеты, тот газетный Молох, которому приносились в жертву живые мысли, образность, красота стиля или хотя бы попытка грамотно изложить свои мысли. В дверь постучали.

– Войдите, – сказал Нежданов, не отрываясь от машинки.

Вошел сосед Нежданова – обитатель комнаты № 8, бывший полковник Купянский. Нежданов поднялся со стула.

– А-а, Александр Николаевич, пожалуйста, пожалуйста.

Высокий, статный человек с седой головой, в защитной форме *вочмана* вошел в комнату. У него загорелое крупное лицо, темные глаза, темные подстриженные усы. Твердый подбородок, выбритый до глянцежитости, высокий, черный от загара лоб с белой полосой от форменной фуражки *вочмана*. На щеке широкий белый шрам – след от удара австрийским тесаком. Лет Купянскому, вероятно, около пятидесяти.

– Садитесь, сосед.

– Вы не очень заняты? Я бы не оторвал вас от работы, да дело спешное, и вы можете помочь. Дело необычное и касается сегодняшних событий.

Только сейчас Нежданов заметил, что голос полковника дрожит, лицо его взволновано и бледнее, чем все в *бординге* привыкли видеть: полковник отличался завидным здоровьем. В костюме полковника также был заметный беспорядок. К своему ужасу Нежданов вдруг увидел, что ботинки Купянского и низ брюк вымазаны кровью.

– Что это? – испуганно спросил Нежданов, показывая на ботинки. – Краска или кровь?

Купянский бледно усмехнулся.

– Вы, журналисты, любите громкие, пышные слова. Так вот, Сергей Петрович, вы видите перед собой человека, побывавшего час тому назад в аду. Ну... если не в аду, так на бойне. Называйте, как хотите.

– То есть как это в аду?

– Разве вы не знаете, что случилось в пять часов, вернее, в пять минут

шестого?

- Что? Что?

- А еще газетный работник! Ух! Дайте стакан воды... упарился. Да и ужасов таких насмотрелся... на войне такого не видел...

Нежданов налил из термоса стакан воды, подал Купянскому. Тот жадно выпил.

- На площади, где стоит театр «Великий мир», на скрещении Тибет Род и авеню Эдуарда VII... знаете, где? Так вот там упали с китайского самолета две колоссальных бомбы... говорят, что это специальные торпеды для взрыва военных кораблей. И вот эти две торпеды уложили на площади тысячи народу... Я только что оттуда. Там моря крови ... что-то потрясающее. Я помогал выносить раненых... и вот - видите?

Он показал на вымазанные в крови ботинки и брюки. Нежданов вскочил со стула.

- Пожалуй, мне нужно раньше в редакцию... Такое огромное событие... У нас в *бординге* тоже происшествие... Вы знаете, что Лола ранена?

- Да, жена уже рассказала. Но я вас, Сергей Петрович, не отпущу в редакцию - как хотите. Редакция с часик обойдется и без вас... Тут такое дело...

Он взволнованно пресекаясь, закашлялся, потом продолжал:

- Я повторяю, что пришел к вам за помощью, за советом. Почему-то я думаю, что вы можете помочь. Я в совершенной растерянности.

- Но в чем дело? - удивленно спросил Нежданов.

- Я должен рассказать вам одну историю... Это оторвет у вас некоторое время, но иначе вам будет непонятно, о чем я вас хочу просить. Вы можете вооружиться терпением?

- Вы заинтересовали меня. Редакция подождет. Рассказывайте - что случилось?

Рассказ о женщине

- Так слушайте. Вы меня извините, что рассказ будет несколько пространен. Но так я чувствую... только так могу сейчас говорить. Итак, недели две тому назад я шел по одной из тех пахучих улочек, которые примыкают к Нанкин Род. Среди грязной китайской толпы вдруг мелькнула маленькая фигурка европейки. Она шла мне навстречу. Я сразу подумал: русская. Подумал потому, что наши женщины одеваются с большим вкусом, чем иностранки. Вы замечали это, конечно? Женщина подошла ближе. Я остановился, пораженный: «Оля! Вы?». Женщина вздрогнула, замерла, посмотрела на меня. Бледное, миловидное лицо на секунду исказилось, словно от испуга. Я знал эту женщину. Я знал ее с детства, почти ребенком. Ее звали Ольга Малова. Ее история была, в

общем, на фоне эмигрантских лет несложна, почти банальна.

И дальше Купьянский рассказал следующее. Оля Малова была дочерью русского капитана Малова, который в 1920 году вместе с Белой армией сделал знаменитый Ледяной поход через Сибирь. Это была страшная эпопея бесконечных страданий среди снежных, ледяных просторов Сибири, когда изнемогающая, разбитая в боях горсть людей уходила на восток от наступающей Красной армии. На востоке было спасение от ужасов гражданской войны, было тепло жилых домов, была надежда на какую-то сносную жизнь. Позади были террор, расстрелы, голод, издевательства, позади догоняла смерть. Вместе с офицерами и солдатами побежденной армии уходили их семьи, которым грозила от красных не меньшая опасность, чем их главам.

Капитан Малов вез с собою в обозе жену, пятнадцатилетнюю дочь Олю и трехлетнего сына Александра. Первым пал на этом страшном пути мальчик: сибирский мороз вдохнул в нежные легкие смерть. Ребенка похоронили в ледяной пустыне под свист вьюги в наспех вырытой могиле, на которой не поставили даже креста. Где-то в бою у Ачинска сложил свою голову капитан Малов. Он воевал с 1914 года, с самого начала Великой войны, был пять раз ранен в боях с германцами, но погиб от пули, выпущенной русским солдатом с красной повязкой на рукаве серой императорской шинели. Даже труп капитана Малова не увидели его жена и дочь, потому что нужно было уходить дальше. Боевые товарищи Малова позаботились о его жене, и она продолжала свое страшное путешествие на восток.

Уже на заре своей жизни Оля увидела, что такое стужа, голод и ужасы гражданской войны. Она видела синее тельце своего брата, зарытое в снежную яму; она видела трупы людей, погибших от ран, мороза, сыпного тифа и валявшихся по краям дорог, по которым белые отступали то пешком, то в телегах и санях. Оля видела потрясающие, короткие драмы, когда отцы холодеющими пальцами в последний раз крестили своих детей, когда мужья рыдали у могил своих жен, погибших от болезней и случайных пуль. Весь путь по бескрайней Сибири был покрыт трупами, был залит слезами и кровью.

В Иркутске вдова Малова перенесла тиф, и только летом 1920 года она очутилась с дочерью в Харбине. Она не знала жизни, эта маленькая женщина, обыкновенная мещаночка, думавшая, что с замужеством кончатся все ее заботы о своей судьбе. Теперь жизнь поставила ее перед своим лицом – и маленькая женщина растерялась: без знаний, без опыта, с дочерью на руках. Но неожиданно в ней проснулся тот героизм, который так часто только теплится где-то в закоулках женской души и вспыхивает тогда, когда этого требуют обстоятельства. Она мужественно начала борьбу за существование. Она бралась за всякую работу, не боялась ничего.

Она мыла посуду и полы, стирала, шила, вышивала, была гувернанткой, кельнершей, горничной, билетершей в автобусе, стенографисткой.

Жизнь трепала ее, жестоко била. Из хорошенькой женщины она превратилась с годами в высохшее, желтое, больное, озлобленное существо. Она научилась скалить зубы на жизнь, научилась огрызаться, научилась терпеть и плакать только по ночам, когда дочь спала и не могла слышать этих придушенных подушкой рыданий. Но часто дочь слышала. Все было в их жизни в эти страшные годы – и голод, и обиды, и тяжкий, изнурительный труд, и слезы, и болезни. Оля помогала матери и училась в гимназии. Училась средне: вечная робость, испуганность мешали ей. Она кончила гимназию и поступила продавщицей в магазин. В 1924 году ее матери предложили хорошую службу на станции Маньчжурия. Малова уехала туда. Во время какой-то бестолковой перестрелки китайских солдат с советскими пограничниками Малова была убита шальной пулей.

Девятнадцатилетняя Оля осталась на свете одна. Опять слезы, горе и страх перед людьми, отнявшими отца, брата, мать. Потом встреча с ним. Это был скверный, наглый, грязный человек. Он умел хорошо говорить, был довольно красив и очень опытен. Ему ничего не стоило вскружить голову бедной девушке, не знавшей теплого слова, запуганной жестокой жизнью. Оля переехала к нему. Он оказался негодяем, жестоким, ленивым самцом. Он ничего не хотел делать, жил на деньги Оли, пьянствовал, бил жену. Когда обнаружили последствия их романа и Оле пришлось оставить службу, ему волей-неволей пришлось позаботиться о дальнейшем существовании своем, Оли и родившейся девочки, которую назвали Татьяной. Вместо того, чтобы работать, он пошел на темное дело, был изобличен и арестован. Его судили и дали несколько лет тюрьмы. Некоторое время Оле и ребенку помогали друзья покойной матери. Потом Оля снова поступила на службу. Началась нищенская, полуголодная, страшная жизнь. Девочка была хилая, болезненная. Бессонные ночи у постели дочери, слезы, отчаянная борьба за ее жизнь. Девочка выжила, но жизнь их была по-прежнему страшна.

– Вы меня извините, Сергей Петрович, за мой длинный рассказ, – прервал свое повествование Купянский. – Мне приходится быть пространном, иначе вы не поймете весь драматизм дальнейшего.

– Нет, нет, ничего, – живо ответил Нежданов. – Я слушаю вас.

– Так вот, – продолжал Купянский. – Я знал Ольгу Малову по Харбину. Мы с женой помогали ей чем могли. Но вдруг она исчезла. Случайно мы узнали, что она в Тяньцзине. Мы узнали, что она опускается, стала пить, служила в низкопробных ресторанчиках, даже нюхает будто бы кокаин. Потом мы потеряли ее из вида. И вот – встреча на шанхайской улице, лет через десять.

Кусочек счастья

- Оля! - крикнул я.

Испуганные, по привычке робкие глаза вдруг потеплели и осветились радостью. Ведь я был живым свидетелем многих ее несчастий, всей ее горькой, печальной жизни.

- Вы? - прошептала она. - Вы? Как я рада!

Она пополнела, поправилась, была прекрасно одета. Она схватила меня за руки, нежно жала их. Что-то светлое, радостное было в ее глазах. Это было так необычно для этого бледного лица, которое я всегда видел только печальным.

- Я вас потерял, Оля, совсем потерял. Когда мы с женой видели вас в последний раз? В 1927 году, кажется? А Таня с вами? Большая уже?

- Да, да... конечно, большая. Двенадцать лет уже, - ответила она рассеянно, думая о чем-то другом. Потом быстро, озабоченно добавила:

- Я очень постарела за эти десять лет?

Я посмотрел на нее внимательно. Конечно, постарела... На лбу, около голубых глаз, у рта - скорбные морщины... Прядь седых волос. Сколько ей лет? Припомнил, что, пожалуй, не больше тридцати, а можно дать все сорок. Она встревожено смотрела на меня. Я весело улыбнулся: маленькая сделка с совестью.

- Вы помолодели, Оля. Вы никогда не были такой хорошенькой...

- А ведь мне уже тридцать два года. Старуха!

Я попросил ее рассказать, что с ней было за эти десять лет. Она рассказала все. Партнерша для танцев, неудачные попытки выбиться на поверхность жизни, два-три неудачных романа.

- А теперь? - спросил я ее, когда она закончила свой рассказ. Она улыбнулась - радостно, счастливо, гордо:

- А теперь я - миссис Поллард.

Встреча в дансинге с американцем, еще нестарым человеком, честным, хорошим, симпатичным. Он поверил этой маленькой женщине. Он угадал за грустными глазами простую, хорошую душу, которая сможет дать ему счастье. Оля рассказала, какими заботами и лаской окружил мистер Поллард ее и дочь Таню, какой уют царит в их доме. Ее муж - представитель крупной американской фирмы, и они могли позволить себе многое. У них большая квартира, прислуга, великолепный автомобиль, на котором они часто совершают прогулки.

- Вы завтра же придете к нам. Слышите? - говорила она мне. - С женой, с Верой Павловной.

- Мы придем, обязательно придем завтра, - сказал я. - Послушайте, Оля, а сколько времени прошло с тех пор, как вы стали миссис Поллард?

- О, немного! - засмеялась она. - Только вчера закончился наш медовый месяц. Я хотела бы, чтобы он длился века.

Мы с женой побывали у них на следующий день. Нам хотелось увидеть мистера Полларда, хотелось убедиться, что счастье маленькой женщины прочно. Плотный, среднего роста, веселый, жизнерадостный американец нам очень понравился. А когда я увидел выражение его глаз, устремленных на Олю, я успокоился совершенно. Бывает так, что один случайно пойманный взгляд открывает человеческую душу. Я успокоился за Олю: это было крепко и прочно. За обедом была также дочь Оли – двенадцатилетняя сероглазая Таня. Она выглядела болезненной, была молчалива и застенчива. По-видимому, горькие годы ее короткой жизни оставили свои следы, и девочка не могла еще привыкнуть к новой, необычной обстановке. Мы пообедали, немного выпили. Поллард был веселым и остроумным собеседником. Он непрерывно смеялся, показывая великолепные, ослепительно белые зубы под щеточкой коротко подстриженных, чуть седеющих усов.

После обеда он предложил прокатиться на его автомобиле в Хонкью. Как вы знаете, именно здесь ожидалась первые бои. Мистер Поллард ушел выводить машину из гаража, а Оля, стоя у зеркала и пудрясь, весело смеялась, переполненная радостью. Она протянула мне правую руку – красивую маленькую руку с длинными, изящными пальцами (предмет ее особенной гордости) – и показала новый подарок мужа. Это было кольцо – очень дорогая, прекрасная вещь: две хищных орлиных лапы из темного, словно закопченного золота, держали в своих когтях огромный бриллиант, словно кусок мяса, вырванный из тела жертвы. На белой, прекрасной руке женщины это кольцо было очень эффектно. Вы спросите, почему я упомянул об этом кольце? Вы увидите, что это имеет прямую связь с моим рассказом.

Мы сели в отличную машину, элегантную и очень удобную. Мистер Поллард был за рулем, рядом с ним села Таня. Я, жена и Оля сели позади. По своей вечной привычке автоматически запоминать цифры, что бы это ни было – телефон, номер дома, номер библиотечной книги, – я машинально врезал в свою память номер этого автомобиля – 8080. Мы поехали в Хонкью. Если весь Шанхай гудел, встревоженный, перепуганный, переполненный китайцами-беженцами из Чапея и других районов, которые предполагались ареной будущих боев, то здесь, в Хонкью, было, наоборот, тихо, спокойно, пустынно. Лишь изредка встречались патрули японских моряков. Дома были мертвы, пусты, покинуты своими обитателями. Улицы всегда оживленного, сверкающего огнями Бродвея, были также пустынно и темны. За этой тишиной чувствовались тревога, ожидание, настороженность. Оля поехала и сказала:

– Как здесь жутко! Вернемся.

Мы повернули назад.

- Неужели будет война?

Она тяжело вздохнула. Я понял: в ее памяти мгновенно пробежала вся ее жизнь – далекие детские годы, бои с красными, синее, застывшее тельце брата, смерть отца, смерть матери, длинная полоса черных, страшных лет. Это война, это ее работа...

Кисть женской руки

- Я подхожу к концу своего рассказа и не знаю, Сергей Петрович, сумею ли передать вам тот ужас, который и сейчас еще трясет меня. Постараюсь все передать просто, хотя мысли путаются в голове и я не нахожу слов. Итак, сегодня, около четырех часов дня, я отправился на Нанкин Род по делу. Как раз в этот момент начался новый налет китайских аэропланов. Я шел по галдящей, забитой толпой авеню Эдуарда VII, когда услышал далекое гудение в небе и залпы с японского крейсера. Скоро я увидел китайский аэроплан. Он был очень высоко и летел странно неуверенно, переваливаясь с крыла на крыло. И вдруг – невероятный грохот... такой грохот, что земля подо мной затряслась. Меня ударило горячим воздухом. Ни огня, ни дыма я не увидел и потому понял, что взрыв произошел на некотором расстоянии. Аэроплан быстро удалялся. Кое-кто из толпы бросился на место взрыва – как оказалось, на углу авеню Эдуарда VII и Тибет Род. Я побежал в ту сторону. На этом углу, как вы знаете, большая площадь, на которой стоит китайский театр «Великий мир». Я увидел, что из его окон идет густой дым. Но не это приковало мое внимание. Другие сцены потрясли меня.

Вся огромная площадь была завалена – да, именно завалена! – трупами и ранеными. По асфальту мостовой во всех направлениях текли буквально реки крови. Душераздирающие крики и стоны неслись со всех сторон. Я увидел китайца, который корчился, хватая залитыми кровью руками какие-то багровые лохмотья, оставшиеся вместо ног. Повсюду валялись оторванные руки, ноги, головы, искромсанные туловища в обожженной одежде. Прижимая к себе безголового ребенка, выла от боли раненная в грудь китаянка. В некоторых местах трупы лежали грудками. Вывороченные внутренности, зияющие грудные клетки, проломленные черепа, вылезшие наружу ребра. И всюду – кровь; озерами, лужами, ручьями, одуряюще пахнущая на раскаленном от зноя асфальте кровь. На мостовой, около страшных глубоких воронок от аэропланых торпед, на стенах домов, на заборах, на вывесках. Видимо, людей подбрасывало в воздух силой взрыва и разрывало на куски. Я увидел человеческую сожженную и окровавленную кожу на ветке дерева, куски мозга, прилипшие к забору. Над площадью стоял удушающий запах жареного мяса.

В разных направлениях застряли горящие автомобили, которых

взрыв застал как раз на площади. Я насчитал их шестнадцать. Полицейские, волонтеры, добровольцы из публики, пожарные, санитары, спешившие со всех сторон, начали тушить эти автомобили. Санитары оказывали первую помощь раненым и таскали их в прибывшие линейки. Я подбежал к одной из машин. Она горела ярким пламенем. Но ее шоферу помощь уже не была нужна: от него остался только сгоревший, черный обрубок туловища. Весь автомобиль был превращен в решето: сотни отверстий разного диаметра, развороченный кузов, выбитые стекла, лопнувшие и расплавленные шины. В другом автомобиле были три полусгоревших человека, причем один из них был без головы. На сиденье горели английская газета и дамский веер. Из третьего автомобиля вырвало дверцы и человека, сидевшего в нем, выбросило на мостовую – вернее, не его, а то, что от него осталось. Кругом были дым, смрад, стоны, крики, шепот, чей-то сумасшедший хохот...

Я начал помогать волонтерам выносить раненых из этого ада, когда снова замер от ужаса. Я готов был кричать... У одного из чахлах деревьев, окаймляющих площадь, на земле, я увидел кисть женской правой руки. Она была совершенно цела, эта страшная, мертвенно-бедная рука, вернее, кисть руки – с длинными, тонкими пальцами. Кожа нигде не была повреждена, аккуратно подстриженные ногти были покрыты ярко-красным лаком. Запястье представляло из себя обгорелый, лохматый от лоскутьев кожи обрез, из которого торчал белый кусок зазубренной сломанной кости.

Я не сразу осознал, не сразу понял, гнал от себя основное, что я увидел в этой страшной руке: на одном из пальцев был бриллиант, зажатый хищно изогнутыми орлиными когтями. Я скрипнул зубами, собрал всю силу воли, огляделся вокруг. И невдалеке увидел их автомобиль – такой изящный, элегантный раньше, а теперь исковерканный, измятый, искромсанный, словно изжеванный каким-то чудовищем. Я увидел четкие цифры – 8080 – и бросился к автомобилю... Они – или то, что осталось от них, – сидели рядом. Я увидел оскаленные, великолепные зубы, коротко подстриженные, чуть поседевшие усы. Выше их... выше их не было ничего... окровавленная сгоревшая каша... Рядом с ним я увидел что-то бесформенное, черное, с какими-то обрубками вместо рук, с лохмотьями сгоревшей кожи вокруг черепа. И словно удостоверение, что это она, что это Оля, висели обрывки, полусгоревшие обрывки скромного синего платя с белыми крапинками, того платя, в котором я ее видел так недавно. Здесь, в этом автомобиле, Оля нашла свой конец.

Одна во всем мире

Купянский налил из термоса воды, выпил залпом. Нежданов молчал, взволнованный трагическим рассказом.

- Девочки, дочери Оли Маловой, в автомобиле не было, – продолжал Купьянский. – Значит, подумал я, она дома и, конечно, ничего не знает. Ребенок остался один на свете. Я подумал, что мой долг, как старого друга Оли Маловой, сообщить ее дочери страшную правду. Я огляделся. Волонтеры тащили из автомобилей останки несчастных сгоревших, разорванных людей. Куда увезут эти останки? Найдём ли мы потом что-нибудь в общей каше истерзанных трупов? Их наваливали в полном беспорядке на грузовики. Но вдруг я решился. В кармане у меня была газета. Я развернул ее, набросил на лежавшую у дерева оторванную руку Оли Маловой, завернул в бумагу и сунул в карман. Вы знаете, какой сегодня жаркий день... Но, честное слово, Сергей Петрович, меня затрясло от холода, когда я делал это. Если бы кто-нибудь меня увидел в эту минуту, меня могли бы обвинить в мародерстве: ведь кольцо это очень дорогое. Но я решил, что кольцо будет для дочери памятью о матери, а руку... руку мы можем похоронить вместо тела, если этого тела потом не найдём. Все же я подбежал к грузовику, который собирался уже уходить, и успел на белом туфле бедной женщины написать химическим карандашом ее имя, фамилию, вероисповедование, национальность. После этого я бросился со страшной площади прочь.

Из ближайшего магазина я позвонил жене, рассказал ей все, посоветовался, как быть, и мы условились о дальнейших действиях. Жена плакала у телефона. Я взял машину и поехал к Татьяне. «Как сообщить ей о смерти матери? – думал я. – Что делать?» В доме Полларда, кроме китайской прислуги, никого не было. Сказать девочке страшную правду – и уехать, оставив ее в таком горе? С женой мы решили, что Таню нужно привезти к нам и здесь все ей сообщить. Еду я к ней и вдруг вспомнил, что я весь перепачкан кровью. Кое-как стал приводить себя в порядок, вытер руки носовым платком, но брюки и ботинки, как вы видите, так просто в порядок не приведешь. Я решил не вылезать из автомобиля и крикнуть Таню – окна в доме, конечно, все открыты. А вдруг она не пойдет? Ведь девочка на днях только со мной познакомилась, и мы и пяти слов с ней не сказали. Машина катила уже по Петэн – на этой улице мистер Поллард снимает... нет, уже снимал... особняк. Я остановил *кар* около увитого плющом дома. А вдруг девочка ушла куда-нибудь?

- Таня! – крикнул я.

Из окна высунулась китаянка-ама.

- Мисс Таня, – повторил я.

Китаянка скрылась, и через минуту в окне показалась девочка.

- Таня, – сказал я, стараясь говорить спокойно. – Папа и мама заехали к нам в гости и просили привезти тебя к нам.

Она удивленно и молча смотрела на меня своими серыми глазами.

- Мама мне ничего не говорила. Сказала, что скоро приедет и чтобы я

сидела дома и никуда не ходила.

- Они не предполагали быть у нас, но случайно встретили мою жену и решили заехать к нам. Мама просила тебя обязательно приехать.

Она растерянно смотрела на меня, и я подумал, что, может быть, что-то в моем тоне – напряженность, что ли или излишняя ласковость – испугали ее.

- Я не знаю... – тихо сказала она.

- Да что ты, Танечка, боишься меня что ли? Такая большая девочка... Разве мама не говорила тебе, что я ее старый друг? Мы об этом даже при тебе говорили за обедом, помнишь? Я на тебя обижусь...

- Мама про вас мне говорила. Только почему она не позвонила по телефону?

- У нас телефона нет, – соврал я. – Ну, скорее иди, а то мама рассердится.

- Я сейчас, – сказала она и через минуту вышла, и села в машину.

Старательно пряча свои ноги, как мог, я привез ее, и сейчас она с женой. И вот была неприятная минута, Сергей Петрович, когда первое, что она увидела в коридоре – это телефон. «Вы же говорили, что у вас нет телефона?», – спросила она. «Он испорчен», – снова пришлось врать ей.

- И вы ей все уже сказали? – спросил Нежданов.

- Пока нет, – ответил Купянский.

- Как же вы объяснили ей отсутствие матери и отчима?

- Сказали, что они поехали куда-то в магазин и сейчас будут.

- Но это «сейчас» длится довольно долго, – возразил Нежданов.

- Вот поэтому-то я и пришел к вам, Сергей Петрович, – сказал Купянский, вытирая со лба струящийся пот. – Когда настало время открыть девочке правду, я почувствовал, что у меня нет сил это сделать. А жена... на жене лица нет. Медлить нельзя. Девочка что-то уже стала понимать, порывается уйти, все время спрашивает про мать. Инстинкт. Вот мы пошептались с женой и решили просить вас...

- Что? Меня? – воскликнул Нежданов. – Нет, нет... что вы!

- Дорогой Сергей Петрович, – горячо заговорил Купянский. – Батальон водил в атаку, изранен, ужасы всякие видел, а сказать правду этому ребенку не могу. Жена у меня больная, тяжелую имела жизнь, нервы у нее никуда... не может она... Ну, по-человечески... войдите в положение... помогите.

- Да как же я... совсем чужой человек?..

- Вот и хорошо, что чужой! – еще жарче заговорил Купянский. – Вам легче будет говорить. А мне... а я... слишком переволновался сегодня. Ну, пожалуйста, прошу вас! Я знаю, что вы человек добрый...

- Я? В первый раз слышу.

- ... Но с сильным характером...

– Я? У меня?

Купянский упрашивал долго. Нежданов стал сдаваться. Выпил стакан воды. Вытер пот с лица.

– Ну, идем. Ей Богу, не знаю, как это делается...

– Ничего, – обрадовался Купянский. – У нас валерьянка наготове, да и мы с женой поможем. Ну, пожалуйста...

Они прошли по коридору, и Купянский открыл дверь, на которой белой краской была намалевана цифра 8. За столом, посредине комнаты, где был накрыт чай, сидели жена Купянского, Вера Павловна, и худенькая, бледная девочка. Она так испуганно посмотрела огромными серыми глазами на Нежданова, что у того мгновенно снова вспотел лоб и похолодели ноги. Неожиданно для самого себя, он повернулся и вышел из комнаты.

– Вера Павловна, подите-ка сюда, – бросил он на ходу.

Он исчез за дверью, и когда Купянская вышла к нему, он умоляюще сложил руки на груди и зашептал:

– Не могу, ей Богу, не могу!.. Увольте!.. Извините, Вера Павловна, сил нет. Вы уж сами... вы – женщина... вам легче. Посадите ее с собой, обнимите, поплачьте вместе...

– Да я уж вижу, что не можете, – кивнула седой головой Купянская. – Я говорила мужу, что должна сказать я. А он мои нервы жалеет... вас решил позвать. А из вас какой толк? Сами – комок нервов.

Она решительно повела плечами, вытерла рукавом слезу и скрылась за дверью. Нежданов затаил дыхание. Послышался голос Купянской. Она что-то говорила тихо, мягко, убеждающе. Потом Нежданов услышал тихий, плачущий голос девочки.

Нежданов растерянно посмотрел на часы и увидел, что уже давно пора в редакцию.

«Шанхайское утро»

Редакция, контора и типография газеты «Шанхайское утро», в которой работал Нежданов, помещались в одном здании. Когда-то здесь был ресторан, а потому комнаты редактора и сотрудников в прошлом были ресторанными отдельными кабинетами. Это давало сотрудникам газеты материал для бесчисленных гривуазных шуток. Внешне все помещения газеты были непрезентабельны и неудобны. Потолки были грязны, протекали от дождя, были покрыты пестрыми разводами и потеками от сырости. Когда-то красивые обои – разных цветов в разных комнатах – теперь выцвели, были порваны, во многих местах отстали от стен и висели лохмотьями. По углам раскачивалась пыльная паутина, а пол всегда был покрыт бумажками и окурками; встать, подойти к пепельнице и положить в нее окурочек было лень, сотрудники предпочитали бросать

окурки прямо на пол, почему он и был густо испещрен черными пятнами.

Посмотрев вокруг, внимательный, склонный к логическому мышлению наблюдатель немедленно отмечал в уме, что это помещение, эти комнаты нелюбимы, может быть, даже противны людям, работающим здесь, и сейчас, входя в редакцию, Нежданов думал, что это, конечно, верно. Нежданов думал, что группа русских людей, работавших здесь, в этой газете, не любила ее, не уважала и на свой труд смотрела, как смотрит на свою тачку прикованный к ней каторжник. Одна из самых интересных в мире профессий – газетная – здесь, в тех условиях, которые были созданы руко водителями «Шанхайского утра», превратилась в бессмысленную, серую, механизированную профанацию живого, нужного и полезного дела. Нежданов думал сейчас, что, называясь эмигрантской газетой, «Шанхайское утро» было далеко от искреннего обслуживания интересов русских эмигрантов; вернее, эти интересы обслуживались, но постольку, поскольку это не мешало, прежде всего, коммерческим интересам владельцев издания. Ничего не понимая в газетном деле, издатели смотрели на свою газету так, как смотрит владелец магазина на свое предприятие, – и это было настолько наивно, откровенно и цинично, что сотрудники газеты иначе издателей не называли как «хозяевами», «нашими лавочниками», «охотнорядцами», а газету, в которой работали, – «лавочкой».

Во главе газеты много лет стоял редактор Николай Лаврентьевич. Нежданов считал его, несомненно, интеллигентным человеком с большой эрудицией, неплохим журналистом. Но Нежданов знал, что в тех условиях, в какие Николай Лаврентьевич был поставлен много лет, в той зависимости от постоянных коммерческих соображений, которые и в его глазах уже давно превратили газету в «лавочку», он растерял с годами и способности журналиста, и умение писать, и простое, человеческое отношение к тем людям, которые работали с ним в одном деле, были подчинены ему и фактически давно уже исполняли не только свои обязанности, но тащили на своей спине и те обязанности, за которые получал жалованье он, редактор. Уже давно потеряв всякий интерес к своему делу, Николай Лаврентьевич смотрел на него так же, как и сотрудники, т. е. так, как смотрит каторжник на свою тачку.

При всякой возможности плохо оплачиваемые сотрудники оставляли газету и переключались на что-нибудь другое. Не любя свое дело, Николай Лаврентьевич так поступить не мог. Мешали уже годы, круглый животик, который он нажил за годы ленивого сидения в редакторском кресле, мешало отсутствие каких-либо профессиональных знаний, кроме газетного дела. Газета и редакторское кресло давали мираж какого-то общественного положения, давали проблематичное право требовать общественного уважения. И Николай Лаврентьевич перестал искать чего-либо лучшего. В своем маленьком газетном мире он был генералом – хоть

и нелюбимым, и неуважаемым, но генералом; зачем было становиться рядовым в каком-либо другом деле? И, решив так раз и навсегда и успокоившись на этом, Николай Лаврентьевич все неистраченные еще силы направил не на вверенную ему газету, а на чревоугодие: любил покушать. В еде топил всякие лишние мысли, томление духа и прежние молодые мечты о какой-то лучшей жизни. Он был непрременным гостем на всех банкетах по всякому случаю, на всех свадьбах и ужинах; избегал только поминок и похорон: покойников боялся.

Нежданов быстро поднялся по лестнице и вошел в помещение редакции. В комнате сотрудников было сине от табачного дыма. Воздух был прокислый, тяжелый, как это всегда бывает в сырых и непроветриваемых помещениях. Дробно стучали пишущие машинки.

- Сергей Петрович, - крикнула сидевшая за машинкой молодая девушка. - Идите сюда. Какой ужас эта история на авеню Эдуарда VII! Вы, конечно, уже знаете?

- Конечно, Мариша, - и Нежданов рассказал о том, что ему пришлось увидеть и услышать за богатый событиями день.

Мариша смотрела на него, расширив глаза. Чувственные, толстые, влажные губы девушки, за которые сотрудники дразнили ее готтентоткой, раскрылись совсем по-детски. Девушка была очень молода, но уже самоуверенна, а иногда и заносчива; впрочем, на это ей давали некоторое право ее «с перцем» написанные маленькие фельетоны.

- Ужас, ужас! - повторяла она, слушая рассказ Нежданова и морщась, словно от зубной боли. - Я места себе не нахожу... Не могу вот писать...

- Но и смешное в трагичном тоже всегда есть, - откликнулся, перестав стучать на машинке, молодой человек в круглых американских очках. - Иду я по авеню Жоффр, а из окна одного дома какая-то толстуха кричит стоящему на тротуаре господину: «Ой, - говорит, - я видела своими глазами: аэроплан летит, а из него выпадают два пулемета. Черные, крутятся... ужас! Потом - трах-х-х!»

Все засмеялись. Высокий, худой переводчик с английского, у которого вверх и вниз по тоненькой шее словно бегало огромное адамово яблоко, крикнул:

- Вот я вам расскажу. Ровно в пять часов я разговаривал на углу Пер Робер и авеню Жоффр с Соломончиком - знаете, этот, который всегда в «Ренессансе» фруктовую машинку крутит. Разговариваем и слышим отдаленный гул: это был взрыв на Эдуарде VII. И вот полчаса тому назад звонил по телефону одним знакомым. А они мне рассказывают: «Вы знаете Соломончика? Он сейчас только от нас. Он чуть не погиб на Эдуарде VII. Зашел в один дом, а в это время - как трахнет! Дверь вылетела, все стекла вон, все в крови. На Соломончика труп упал, а ему хоть бы что!». - «Жаль, жаль, что не разорвало, - говорю я. - Меньше бы врал».

В редакцию потоком прибежали и таким же потоком уходили

бесконечные любопытные – узнать, что нового, какие еще выяснились подробности сегодняшнего ужасного дня. Каждый из них приносил новые слухи – подчас самые вздорные и вызывавшие общий смех или просто раздражение. Подписчики надоедали и телефонными звонками, которые трещали почти непрерывно. Все это свидетельствовало о том, что город был перепуган и теперь ждал еще больших ужасов. У прибежавших узнать «что-нибудь новенькое» в глазах светился животный страх, некоторые просто пугали своей бледностью и растерянным видом. И в ответ на докучливые и надоедливые вопросы посетителей сотрудники газеты в некоторых случаях не отказывали себе в злом удовольствии помучить паникеров.

- Ну, это еще что. Это пустяки! Вот что завтра будет!

- А что? Что? – округлялись глаза паникера.

- Завтра, говорят, прилетят пять тысяч бомбовозов. Приказано снести Шанхай с лица земли.

- Нет, правда? Что вы, что вы?!

- За что купил, за то и продаю. Говорят.

Посетитель бомбой вылетал из редакции, а сотрудники хохотали. Вернулся сотрудник, побывавший на Зиккавейском кладбище, куда свозили трупы. Сотрудник был взволнован и бледен, хотя, ведая уголовным отделом, в своей газетной практике видел немало кровавых сцен.

- Вот, господа, настоящий ужас, – рассказывал он. – Сложили трупы штабелями, как дрова, стали считать по ногам. Не выходит никак, расходится цифра с количеством голов: у многих одна нога, другие – без ног. Стали считать по рукам – то же самое. Тогда – по головам. Но и голов многих нет. Тогда рассердились и стали считать по туловищам. Пока зарыли уже несколько сот трупов.

Пришел редактор. Николай Лаврентьевич был маленький, кругленький, с большим животом, жидконогий. Ходил он, как-то странно выворачивая короткие ноги, покачивая животом и отставляя растопыренные кисти рук от туловища. За эту походку сотрудники прозвали его «беременной уткой», и этому прозвищу нельзя было отказать в художественной меткости. У Николая Лаврентьевича было всегда хорошо выбритое, холеное, красное лицо, апоплексически одутловатое. У него потная, вялая ручка, на среднем пальце правой руки огромный перстень. На бесцветных, всегда бегающих, никогда не смотрящих на собеседника глазах были американские очки. Впрочем, иногда, в особенно важных случаях Николай Лаврентьевич втыкал в глаз монокль.

Своей наружностью Николай Лаврентьевич был очень доволен, считая почему-то себя очень похожим на британского политического деятеля – что-то собирательное от Асквита, Чемберлена, Грея. Перед

англичанами и их политической мудростью Николай Лаврентьевич готов был распластаться в своих пространных статьях и распластывался постоянно, неприятно поражая некоторых националистически настроенных читателей газеты «Шанхайское утро». Считая классическую надменность гордых бриттов обязательной и для себя, Николай Лаврентьевич на всех фотографиях, где ему приходилось фигурировать в качестве редактора «Шанхайского утра», принимал всегда гордую позу и придавал своей ординарной физиономии выражение сугубой надменности и брезгливости. Именно таким маленьким уездным Чемберленом он был изображен, по его требованию, и одним неплохим художником: монокль, надменный поворот головы, несколько откинута назад. Кстати, владея пером, Николай Лаврентьевич часто расходился с законами стилистики и, особенно, грамматики и правописания. Слово «надменный» он писал, например, почему-то через **ѣ** над**ѣ**нный. Когда ему кто-то в редакции осторожно указал на эту ошибку, он сказал, что это написание через **ѣ** более отвечает характеру и особенности этого слова. «Так крепче, как-то сильнее и более красиво», – сказал он.

Один доллар шестьдесят центов

Николай Лаврентьевич вошел в редакцию еще более развинченной, вихляющей походкой, чем всегда. И еще более, чем всегда, бегали его глаза под американскими очками. Он как-то поблек, посерел за этот день кровавых впечатлений: личной храбростью Николай Лаврентьевич не обладал. Он неопределенно обвел своими очками всех сотрудников в репортерской комнате и расслабленно сказал:

– Ужасный день! И если этот аэроплан сбросил свои бомбы на самом оживленном углу Шанхая намеренно, по плану, то следующий удар, конечно, будет по нашему углу – вот где находится «Шанхайское утро». Это тоже оживленный перекресток. Ужасно, ужасно, ужасно!

И хотя таких оживленных перекрестков в Шанхае сотни, Николай Лаврентьевич произнес свои слова с печальной убежденностью обреченной жертвы и, не ожидая ни от кого реплик, задумчиво и расслабленно поплыл в свой редакторский кабинет.

– Фью-ю, – свистнул один из репортеров. – А наш Чемберлен-то не в себе. Здорово испужались, так сказать.

Николай Лаврентьевич позвал к себе секретаря.

– Вот что. Там сотрудники, я вижу, целые романы пишут про сегодняшний день. Не надо. Мне не надо крови, не заливайте ею газеты, меня тошнит от крови. Только сухие факты, без романтики и громких фраз...

– Но, Николай Лаврентьевич, город потрясен, все интересуются, звонят по телефону, требуют подробностей. Это так естественно...

- Только факты, повторяю вам! – надменно повел плечами Николай Лаврентьевич. – Никакой крови, никаких личных впечатлений. Какие там могут быть впечатления у наших писак... безграмотность, чушь, ерунда, глупость!.. Идите и делайте газету. Впрочем, передайте Нежданову...

Через пять минут секретарь сообщил Нежданову:

- Мне очень неприятно говорить вам это, но мне приказано. Один из хозяев звонил по телефону. Он недоволен тем, что вы, верстая газету, два раза пропустили объявление о мозолях...

- Это какое? – удивленно переспросил Нежданов. – «Мозолин» в один дюйм?

- Да. Он просил передать, что если это повторится еще раз, – вы будете уволены.

Нежданов оторопело посмотрел на секретаря. Потом захохотал:

- Вы не шутите?

- Увы, Сергей Петрович, нет.

Нежданов вдруг покраснел от гнева.

- Послушайте! Это объявление в один дюйм стоит восемьдесят центов за помещение его в газете один раз. Два раза – один доллар шестьдесят центов. Если бы я пропустил его еще раз, издатели потеряли бы два доллара сорок центов и уволили бы меня за это – сотрудника издательства в течение почти пятнадцати лет! Но ведь это чудовищно! Я не буду вам подчеркивать, что я интеллигентный человек, пишу статьи, рассказы, наконец, написал и издал несколько книжек. Я редактировал газету в Харбине, у меня общественный стаж... Объявление о мозолях в два доллара сорок центов – и живой, нужный газетный работник! Вы понимаете, какая это чепуха? Это что же – издевательство?

- Нет, Сергей Петрович, – мрачно и в то же время сочувственно проговорил секретарь, – это не издевательство. Это система. Деньги для этих людей – все.

- Вы поймите только, – горячо заговорил Нежданов. – Я русский человек, эмигрант, выброшенный из России, в прошлом офицер, был на германской войне, участвовал в гражданской войне. Ранен, контужен. Я пятнадцать лет работаю в газетах наших издателей. Я попал в случайную зависимость от них, я несу им свои знания, свой труд, лучшие годы своей жизни, свою кровь, свои нервы, свой мозг. Но я пропустил объявление о мозолях в восемьдесят центов...

- И потеряли расположение хозяев, – покачал головой секретарь. – Эх, милый человек... как вы не можете до сих пор понять нашей обстановки? Ведь мы не люди, мы – служащие! Для хозяев мы не интеллигентная сила, ведущая их газету, создающая им какой-то, пусть проблематичный духовно, но вполне реальный финансовый успех. Мы – приказчики. Да, приказчики в лавке. Понятно? Для наших хозяев контора, сборщики объявлений, инкассаторы, люди, приносящие живые деньги, –

дороже, нужнее нас. Мы что-то пишем, но нам нужно платить, мы – прямой расход и никакого дохода. И, кроме того, у нас какие-то вечные требования, мы просим прибавок, мы хотим есть, мы просим авансы, мы иногда бунтуем, так как все наше нутро против явной и ничем не прикрытой эксплуатации, против полуголодной жизни. Нам, интеллигентному пролетариату – мы-то и есть самый настоящий пролетариат! – некуда пойти, наш труд малоприменим за границей. И потому мы в руках вот таких хозяев...

– Пойду завтра разговаривать с ними, – сказал Нежданов.

– Не советую, – снова покачал головой секретарь. – Вы в возбужденном состоянии. Они грубы, когда дело касается доллара. Наговорите друг другу мрачных вещей – и сделаете здесь вашу работу невозможной. Я посоветую вам другое. Пойдите завтра в контору, расскажите ее управляющему про ваше «преступление» – он, конечно, уже знает о нем – и заявите, что так как издательство, благодаря вашей вине, потеряло один доллар шестьдесят центов, вы просите вычесть их из вашего жалованья.

– И вы думаете, что хозяева возьмут эти деньги из моего нищенского жалованья?

– Всенепременно! И не поморщатся. А инцидент будет ликвидирован. Поверьте моему опыту, у меня уже была такая история, только из-за трех долларов.

– Ну, ладно, так и сделаю, – сказал Нежданов.

Он вышел на балкон. Была уже ночь – черная, душная шанхайская ночь. Журналист шумно вдохнул в себя воздух. На душе было тяжело: день был ужасный во всех отношениях. Где-то за городом изредка бухали пушки. Розовело небо от далекого зарева пожара. К Шанхаю неумолимо и грозно вплотную подошла война.

Впервые опубликовано и печатается по: Россияне в Азии. 2000. № 7. С. 15-39.



**Василий Степанович
ЛОГИНОВ
(1891-1945?)**

Литератор и журналист Василий Логинов родился 28 июня (ст. ст.) 1891 г. в городе Екатеринбурге Пермской губернии в купеческой семье. Окончил юридический факультет Петербургского университета. В конце 1919 г. уехал из Екатеринбурга во Владивосток, затем эмигрировал в Японию. В 1923 г. переехал в Харбин, где занялся журналистикой. Печатался в газетах «Новости жизни», «Русский голос», «Харбинское время», в журналах «Рубеж», «Казачий клик», в сборниках «Понедельник», «Багульник», «Врата». Писал стихи,

фельетоны и статьи под псевдонимами «Капитан Кук», «Лингва». Автор сборника рассказов «Ял-Мал» (Харбин, 1929), поэтической книги «Створа триптиха» (Харбин, 1932) и др. Работал сторожем на КВЖД. Умер в глубокой нужде в харбинской больнице (по другим сведениям – арестован и депортирован в СССР).

Ист. и лит.:

Перелегин В. Два полустанка. Амстердам, 1987. 85-88.

Резникова Н. В русском Харбине // Новый журнал. 1988. № 172-173.

Таскина Е. Василий Степанович Логинов // Русская Атлантида. 2005.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 187-188.

**ЦАРСТВО ЯЛ-МАЛ
(В сокращении)**

Памяти М.К.

(Полуистлевшие письма в шкатулке)
Нужно быть привычным жить на горах.
Ницше

МОЯ ДОРОГАЯ!

Я пишу Вам через месяц после своего путешествия. До сих пор я еще не успел отдохнуть и привести в порядок спутанные мысли. Такие странные и грандиозные впечатления. Иной раз, кажется, что все это сон, что никуда я не ездил, ничего не видал, а просто-напросто проспал целых два месяца, и этот странный, увлекающе многообразный сон принял за действительность.

Не осуждайте меня строго, если я что-либо не доскажу в этом письме, – это весьма возможно, т. к. всех мелочей не запомнишь, хотя моя профессия и обязывает меня их запоминать.

Итак, я начинаю.

В декабре этого года, в маленьком сибирском городишке, где я жил вместе с горсточкой интеллигентов, убежавших сюда от бурь революции, распространился слух. Слух до такой степени странный и неопределенный,

что нельзя было не только его проверить, но даже точнее определить то, что он возвещал.

Помню, что я был в гостях у инженера Крезо, француза, когда впервые услышал о «Ней».

После обеда Крезо позвал меня в кабинет, тщательно закрыл дверь, пригласил сесть в кресло и, открыв ящик письменного стола, вынул оттуда какую-то вещицу и передал мне.

Это был стальной квадрат, каждая сторона которого была не менее двух вершков. На его поверхности, замечательно искусно зачеканенным золотом, было изображено восходящее солнце. Я долго любовался этой чудесной пластинкой и был вне себя от изумления, когда на вопрос, откуда она, Крезо ответил:

– С верховьев Тапсуя. Нашел вогул Иван Пакин.

И тут я услышал следующее. Где-то в середине полуострова Ял-Мал среди болот и тундр, живет «Она». Кто «Она», зачем она там живет – на этот вопрос никто не мог бы ответить.

Приезжие вогулы, изредка каменные самоеды-зверовщики случайно, находясь на промысле, забредали к ней и, возвратившись, рассказывали, насколько могли, удивительные вещи.

У большого озера стоит дворец – «Белый Дом», по выражению инородцев, огромное здание из какого-то белого, как снег, камня.

«Она» – женщина ослепительной красоты, и слова ее подобны звону серебряных колоколов.

Белые смеющиеся веселые люди окружают ее. Целые табуны оленей к ее услугам, по озеру плавают лодки, которые движутся с помощью таинственной силы, т. к. на них нет ни весел, ни парусов.

Все самоеды, вогулы и остяки, все таежные и тундровые бродяги, уходящие в дебри за сотни верст и случайно попавшие к «Ней», всегда были ласково приняты, накормлены досыта и, отдохнув, уходили. На прощание многим из них «Она» давала стальные пластинки с изображением восходящего солнца. Вот слух, который распространился в нашем городке и который многие, в том числе и я, приняли за инородческую легенду. Ведь это вполне возможно.

Среди коренных обитателей Сибири можно много услышать красивых легенд о святых, о шаманах, о разнообразных подвигах каких-либо героев, чьи имена связаны с туземной мифологией. Обыкновенно все эти сказания сводятся к тому, что есть блаженные страны, где живут могущественные люди, имеющие необыкновенное счастье на охоте, где можно досыта поесть и убить несметное количество оленей.

Легенда о «Ней» имела все признаки местных легенд налицо.

Пока я рассматривал пластинку и слушал рассказ Крезо, в комнату вошел доктор Гралин и принял оживленное участие в нашем разговоре.

Я запомнил его речь потому, что только благодаря ей мы отправились в это далекое путешествие.

– Господа! Здесь нас трое. Все – представители свободных профессий, которые теперь неприменимы к жизни в силу создавшихся обстоятельств. Инженер, доктор и журналист. Мы выброшены за борт, наши знания презирают, и не за горами то время, когда нас поведут к расстрелу только за то, что мы – культурные люди, что мы обладаем известным умственным багажом, и даже за то, что мы говорим другими словами и носим другое платье, чем представители разнузданной черни, захватившей в свои руки Россию.

Мы волей-неволей должны пребывать в небытии, так мы боимся сказать свободное, присущее нам слово, боимся держать себя так, как нам подобает, боимся, наконец, просто-напросто иметь свое собственное выражение лица.

Здесь, в маленьком городишке, мы прислушиваемся к далекому грохоту кровавой анархии и с часу на час ждем, когда эта волна докатится до нас и сметет нас с лица земли. Жить стало невозможно.

Невозможно не потому, что нам грозит смерть. Это было бы лучшее, что нам может подарить действительность. Жить стало невозможно потому, что то, во что мы верили, над чем трудились всю жизнь и что считали краеугольным камнем всякого общественного бытия, злобно, подикарски топчется в грязь, уничтожается.

Россия. Русский народ. Искусство. Наука. Все, относящееся к ним...

Благоустроенные имения грабятся и сжигаются, целые библиотеки превращаются в кучи пепла, умные, талантливые люди, на которых вся надежда, которые могли бы дать жизни больше, чем эта многомиллионная разнузданная масса дает смерти, убиваются из-за угла ничтожествами и преступниками.

Я стар. Я не в состоянии преодолеть препятствия, выносить невзгоды далеких путешествий.

Но вы молоды, сильны и энергичны. Отправляйтесь туда, к ней, узнайте, кто «Она». Кто знает, быть может, это не легенда. Может быть, это – Ее царство, лучезарное царство избранных людей там, на Крайнем Севере, где унылые тундры являются прообразом будущего нашей несчастной страны.

Не считайте меня сумасшедшим, я не увлекся легендой, не впал в романтизм.

Но и здраво рассуждать я не хочу. Рассуждать здраво сейчас, в вихре нелепостей и кровавом тумане – просто смешно.

Последнее мое слово вам, которое будет и напутствием, и объяснением моего предложения, – лучше мечта, чем действительность.

И мы решили ехать.

О дальнейшем я вам напишу в следующем письме, так как немного устал, да и хочется спать.

Скажу только, что странное чувство охватило меня, когда наше решение стало бесповоротным.

Мне казалось, что я навсегда расстаюсь с тем, к чему привык, что люблю, – с Россией, с Вами, с родными и близкими людьми. Такое чувство, мне кажется, охватывает переселенцев, которые навсегда покидают свою родину и идут на новые места, чтобы поселиться и жить там. <...>

И в эти минуты – как я любил Россию и ее кровавую неурядицу, если бы вы знали!

Мне много приходилось видеть отвратительно-наглых лиц современных господ положения. Все эти квазипролетарии, развращенные, кровожадные красноармейцы, солдаты, похожие на грубых разбойников.

Как я ненавидел их раньше, до судороги отвращения... И в эти последние минуты я почувствовал, что их люблю, что они – мои, что это – русский народ, несчастный, развращенный, чей прекрасный лик искажен каким-то злобным шутником.

Решение принято. Я покидаю действительность и иду в царство Ее, в лучезарное царство на Крайнем Севере. <...>

Двадцать шестого декабря, на второй день Рождества, я, инженер Крезо и охотник-промышленник Кошуков в 11 часов утра сели в вагон. <...>

В дальнейшем я буду делать выписки из дневника и посылать Вам. <...>

27 декабря.

Великолепное утро. Солнце блестит почти как на юге. Двадцать градусов мороза. Сосны покрыты куржаком, точно белым бархатом. «Станция Льда» стоит на берегу реки того же имени – широкой, с красивыми обрывистыми скалистыми берегами. Сегодня скалы, покрытые снегом, ярко блестят, точно сахарные головы.

Я невольно залюбовался на этот пейзаж с центральной фигурой в нем: парой сереньких низких лошадок, запряженных гусем в удобную высокую кошевку. Эти сибирские кошевки-сани, устроенные из некрашеного дерева и рогожи, чрезвычайно хороши для дальних зимних путешествий: они легки, прочны, мягко и ловко скользят по снегу и не проваливаются в сугробы благодаря широким крепким березовым отводам, устроенным с каждого боку.

К кошевке привязывает вещи Кошуков – черный бородатый мужик, ловкий, как обезьяна, в шапке с наушниками и в широком овчинном тулупе. Рядом с ним стоит Крезо. Низенький, коренастый, в такой же шапке и тулупе, с коротенькой трубкой в зубах. Белая лайка с остроконечными ушками, Соболь, – гордость Кошукова – пушистым

комом лежит на дороге. Последнее рукопожатие с любезным хозяином, и мы едем.

Важно, что захватили изрядно с собой сахару. Сахару дорогой нигде не достать, а нужно его много.

Кругом лес, спящий зимним сном. Дорога узкая с глубокими ухабами.<...>

2 января.

В Пельме. Это знаменитое историческое местечко, куда когда-то были сосланы Бирон и Миних и предполагался быть отправленным Пугачев, представляет сейчас из себя жалкую груду жалких бревенчатых построек.

Пала гусевая лошадь.

Пришлось купить новую. Отсюда зимняк на Конду. Кошуков плохо знает дорогу. Придется поискать проводника. Удивительный человек этот Кошуков. На все руки мастер. Он и за лошадьми ухаживает, и играет роль повара, и, когда нужно, идет на охоту «спроворить», как он говорит, птицу к обеду. Нет в дороге такой неприятности, из которой он не сумел бы выкрутиться с честью. Был случай, что мы налетели на пень и им разворотило сани. Кошуков тотчас срубил березу, осмотрел ее, сказал: «Подходя...», – и через полчаса наши сани были в исправности.

Он же нашел и проводника. Ясашный Павел – мужик огромного роста с окладистой бородой и румяными щеками, типичный вогул: красивый, как раскрашенный деревянный идол. В Пельме устраиваем дневку. Послезавтра едем.

8 января.

Мы в Шаимском. Станный случай. Дорогой мы сбились с пути, незаметно для себя свернув в боковую дорожку. Было уже совсем темно. Силуэты елей грозно чернели с обеих сторон, а впереди виднелась бездонная пасть леса. Крезо пробовал шутить, уверял, что мы попали в преисподнюю, но шутки не производили никакого впечатления.

Всем становилось жутко в этом страшном молчании спящей тайги.

Наконец Кошуков, посоветовавшись с Павлом, предложил остановиться и заночевать.

«Дальше ехать – дольше блуждать», – заявил он. Мы, конечно, согласились.

Лошади мигом были распряжены, и яркий костер, треща и стреляя сырой хвоей, заплескал языками пламени в угрюмой чаще. Кругом еще плотнее сгустился мрак. Павел сосредоточенно мешал кашу в котелке, висевшем над огнем. Крезо лежал на разостланном тулупе с неизменной трубкой в зубах, Кошуков рубил смолевые ветви, а я глядел бесцельно на огонь. Вдруг тонкий залиvistый звон колокольцев прорезал плотную

ночную тишину. Звуки неслись издалека, и было слышно, как они приближаются к нам. Мы все переглянулись. Через каких-нибудь пять или десять минут раздалось похрапывание лошади, и пара гусем лихо подкатила к самому костру. Из саней вылез кто-то в тулупе и оленьей шапке, подошел к костру и, посмотрев на нас зелеными неподвижными глазами, пробурчал: «Зачем разложили костер на дороге?»

Мне запомнились его седая всклокоченная борода и зеленые, страшно неподвижные, с тяжелым взглядом, глаза. Он вынул из рукавицы трубку, взял уголь из костра и начал им раскуривать.

Раздался ярый треск сучьев, и все исчезло. Ни лошадей, ни человека в тулупе. Только Павел у костра, бледный и трепещущий, что-то бормотал, глядя в лесную чашу.

– Что такое?.. – крикнул я.

– Хозяин вотчинник! – прошептал вогул и стал вдруг кланяться на все четыре стороны. Затем он взял из котла немного каши и, наложив ее на бересту, отнес на ближайший пенек.

Кошуков молча и одобрительно на него посмотрел. Мы с Крезом, пораженные, не знали, что сказать.

– Это – приклад, – сказал Кошуков. – Жертва, значит, хозяину. Чтобы не сердился и был нами доволен.

Мы не могли уснуть всю ночь, и никогда мне не было так страшно, как в эти длинные темные часы глухой таежной загадочной ночи.

Много из чудес можно объяснить, но чем объяснить этот случай? Гипноз? Но кто гипнотизировал? Массовая галлюцинация... Но почему она у всех однородна?

10, 11 и 12 января.

Вторую неделю в пути. Ехать ужасно надоело. Бесконечное однообразие утром, с рассветом – чай, процесс запрягания лошадей, садишься в кошевку и не вылезает до обеда. Затем разводятся костер, Кошуков отправляется на охоту, через полчаса, а иногда и раньше, слышится выстрел, и Кошуков возвращается с глухарем в руках.

К вечеру – опять привал, костер, ужин и молчание, т. к. говорить почти не о чем, обо всем переговорили. Только однажды, когда я спросил Павла, слышал ли он о «Ней», неразговорчивый вогул неожиданно оказался по-своему красноречивым.

– Я не видел «Ее», но на промысле встретил одного из «Ее» людей. Он был белый и много смеялся, хлопал меня по плечу и подарил мне четверть фунта отличного пороха вместе с медвежьим ножом, который я сейчас ношу на поясе.

Что такое «белый» человек? Почему все слухи говорят о каких-то «белых» людях, окружающих «Ее», загадочную царицу Крайнего Севера?

Я не стал допытываться у вогула, потому что он плохо понимал по-

русски и имел способность молчать, как пень, после двух-трех сказанных фраз, несмотря ни на какие попытки вызвать его на разговор.

Однажды утром мы были разбужены тревожным храпом лошадей. Схватив винтовки, мы побежали по мшистому круглому болоту, какие здесь называют «чашами». Спрятавшись за соснами, мы оказались зрителями невиданного зрелища. Шесть огромных бурых медведей медленно, важно, один за другим, гуськом шли по болоту. Они издавали храп, подобный лошадиному, но во много раз сильнее. Наш Соболь с лаем храбро бросился на них, но они шли, не обращая на него внимания, торжественно выступая, цари угрюмой тайги. И было что-то гармонически величественное в этом необыкновенном шествии зверей по мягким мхам болота на сумрачном фоне елей и пихт. Мы тихо отошли назад, боясь обратить на себя их внимание. А лошади бились в пене. <...>

Февраль.

Мы едем... Тоска давно сжала наши сердца неумолимо жесткими объятиями, и нет надежды на конец нашего пути. Мы едем... Дни бегут за днями. Мерно бегут легкой рысцей косматые лошаденки, запряженные гусем, и изо дня в день деревянные отводы наших саней бороздят глубокий пухлый снег. В мутном экстазе безразличия падают рои снежинок с белого неба на белую землю. Зачем они падают? Может быть, для того, чтобы скрыть унылые буреломы и спаленные лесными пожарами огромные лесные пространства, где мхи да болота прячутся под колючими шатрами столетних елей... Унылые картины бедного дикого севера.

Вот огромный кедр со сломанной грозой верхушкой. Желтые колючие длинные щепы веером торчат у слома и похожи на зубы в оскаленной пасти какого-то чудовища. Умершая вершина повисла над дорогой и образует арку, вот-вот готовую упасть и своей многопудовой тяжестью придавить несчастного путешественника.

От белых открытых пространств лесных пожарищ, давящих своей убогостью и уродством, мы уходим в темное царство ельников.

Там – мрачно и жутко. Тесно стоят столетние ели, перемешавшись с пихтой; их прямые шершавые стволы похожи на странную колоннаду храма лесному божеству. И если есть хозяин здешних лесов, о котором с трепетом говорят вогулы, то живет он, конечно, здесь. Потому что часто чувствуешь тяжелый взгляд его зеленых бессмысленных глаз и часто видишь, как мелькнет и исчезнет его косматая, растрепанная белая борода... Мы едем... Белое однообразие унылых дней, монотонность тоскливых картин гасят в наших сердцах последнюю надежду. <...>

Дни бегут, как наши лошади, – медленно и неуклонно. И нет надежды на конец нашего пути.

Февраль.

Вчера захворал Крезо. У него заболела голова, потом начался озноб. Я

хотел было остановиться, но он, ругаясь, настоял на том, чтобы ехать дальше. Сегодня мы прибыли на речку Тапсуй. Крезю совсем плохо. Я давал ему на ночь хины, и, хотя он пропотел, улучшения не было, он часто впадал в бред. На лице появилась какая-то красная сыпь. Я теряюсь в догадках – чем он болен? И не знаю, как его лечить. <...>

Тапсуй – узенькая мелководная речонка с лесистыми дикими берегами. Мы устроили стан как раз на берегу и испугали целое семейство лосей, которые вскачь бросились в лес.

Февраль.

Крезю, всегда бодрый, веселый и энергичный, начал после болезни как-то странно задумываться. Он часто глядел на небо, точно отыскивая там какую-то неизвестную никому звезду, шумно вздыхал и молчал целыми днями. Однажды днем, во время обеденной остановки, когда костер уже трещал и шипел, разбрасывая брызги обгорелой еловой хвои, Крезю молча поднялся с земли, взял лыжи и пошел в лес. Мы ждали его приблизительно с полчаса. Затем я отправился за ним. Он оказался в полуверсте от нашего стана у большого кедра, где вырубил маленькую елочку и ножом старательно очищал ее от ветвей.

– Крезю, что Вы здесь делаете?

– Я вырезаю хлыст.

– Зачем Вам хлыст?

Крезю пристально поглядел на меня и рассмеялся. Мне стало жутко от его смеха, жесткого, как барабанная дробь.

– Я буду бить тех, кто мне мешает найти «Ее». Мы никогда не найдем «Ее», Сабанеев, – вдруг с отчаянием прошептал он и сел на снег рядом с лыжами.

– Успокойтесь, ради Бога. Вы преждевременно приходите в отчаяние. Наше путешествие еще только началось, и никто нам не может мешать его продолжать. Вам только кажется, что кто-то нам мешает. Пойдемте к огню – пора обедать...

– Слушайте, Сабанеев... – сказал Крезю, и слова его звучали спокойно и грустно. – Вы слышите, как проходит время? Медленно, ровными, четкими, но неслышными шагами. Когда я начинаю думать о времени, я делаюсь пустым и прозрачным, как стеклянная колба. Отчего это?

В этот момент меня ничто не интересует. Я отдаюсь всецело созерцанию идущего времени... Идущего времени. И время, его мучительно медлительный шаг создали они, чтобы нам мешать найти «Ее» царство. <...>

Он соскочил со снега и резко взмахнул прутом, который со свистом прорезал воздух.

– Я покажу им. Я их буду бить, как негодных собак. Если же этого будет недостаточно, я их буду убивать... вот так, смотрите.

Он вынул револьвер и выстрелил в дерево.

– Они маленькие, ничтожные, незаметные. Они, как мыши, бегают вокруг нас, и мы их не замечаем, а они опутывают нас крепкой сетью невозможностей и шепчут, шепчут: вы не найдете «Ее». Разве вы не слышите?

Но удивительно, вы знаете, я даже видел одного из них. Я спал у костра и ночью внезапно проснулся. В освещенном круге, недалеко от меня, чернела мордочка маленького зверька, похожего на кошку. Мордочка напоминала человеческую голову. Хитрые, злые зеленые глазки так и впились в меня.

А противный широкий рот улыбался, обнажая острые зубы. Зверек вилял пушистым хвостом и, казалось мне, мурлыкал. Затем он сказал резким, нечеловеческим голосом... назвал мое имя. Я бросился к нему... Он исчез.

И вы знаете: их много, много... они, как туча саранчи, следуют за нами, выслеживают нас, подсматривают за каждым нашим шагом, смеются над нами и шепчут, шепчут, шепчут. Я ненавижу их... Но это бесполезно, – Крезо в отчаянии бросил свой пруттик и встал на лыжи.

– Идемте обедать, – тихо сказал он и тронулся вперед.

По готовой лыжнице мы летели, как птицы. Мелькали чешуйчатые стволы елей, и темная суровая зелень хвои сливалась с белизной снежного покрова. Священная тишина тайги нарушалась только поскрипыванием лыжных полозьев, и это звучало, как трогательная молитва в огромном храме неведомому Богу. Точно все, что сказал Крезо, было сказано тайге и далеким белым небесам, и теперь мы жаловались им, прося заступничества. <...>

После ужина, забравшись в спальные мешки и накрывшись сверху тулупами, мы с Крезо тихо беседовали друг с другом. Спутники наши спали крепким сном. Крезо был бледен и за день страшно осунулся. За обедом он ничего не ел, отказался и от ужина, все время молчал, глядя на небо, точно отыскивая какую-то неведомую звезду, и только теперь, лежа у костра, разговорился.

– Знаете, Сабанеев, в человеческой жизни есть три страшные вещи: любовь, труд и люди. Это три пробных камня, которыми определяется качество человека, его пригодность к жизни. Если выйдешь цельным, гордым и сияющим из горнила любви – ты будешь счастлив.

Не думайте, что сексуальность – пустяки. Это огромная, это важная вещь, почти такая же важная, как религия, с которой она неразрывно связана.

Если в работе ты будешь творцом, если также ловко и четко будешь ковать свое дело, как кует подкову опытный кузнец, – ты будешь сильным. Если ты сумеешь через толпу людей пронести целыми, нетронутыми их

грязными пальцами, их грубыми словами, свою любовь и свой труд – ты будешь желанным для всех, а больше всего для самого себя.

Любить самого себя, восторгаться самим собой, Боже мой, ведь это предел человеческих достижений. Все философы и мудрецы стремились к этому. <...>

Я – только инженер, человек прикладных знаний, любящий свое дело и не умеющий рассуждать о высоких материях. Но чем больше я живу, в особенности у вас, в России, тем чаще приходит мне на ум вопрос: зачем я живу, зачем вообще все живут?

Ведь не для того же я существую на белом свете, чтоб построить два-три моста и сделать несколько железнодорожных изысканий?

Это будет, так сказать, воплощение моего труда в жизнь, того метафизического труда, о котором я вам говорил, как о пробном камне.

Но этого мало. По моей теории выходит, что, благодаря мостам и изысканиям, я делаюсь сильным. Но я не счастливый и не желанный. Значит, я не живу полной человеческой жизнью. <...>

И так все люди: все они смутно хотят жить полной, настоящей, человеческой жизнью, и все они забывают это желание, потому что кто-то им шепчет то же, что и мне. <...>

29 февраля.

Уже третий день мы не двигаемся с места. Крезю лежит в забытьи. Иногда он приходит в себя и начинает говорить, но так тихо, что слов разобрать невозможно. На третий день, вечером, он попросил есть – это мне показалось хорошим признаком. Я смотрел, как он медленно опускал ложку в котел с похлебкой и вынимал оттуда куски мяса.

Как может измениться человек за какую-нибудь неделю! Раньше это был румяный коренастый здоровяк, всегда улыбающийся, с готовыми шутками на устах. Теперь – желтое, изможденное, костлявое лицо с колючей щетиной бороды смотрело куда-то в даль тусклыми бессмысленными глазами.

Он скоро бросил есть, сложил на груди руки и уперся глазами в пространство.

– Крезю, что с Вами?

– Бесполезно... – прошептал он.

– Что бесполезно?

– Вы никогда не найдете «Ее». «Она» для вас недоступна, «Она» вам не нужна, как и вы ей не нужны.

– Но почему, почему?

– Вы не можете освободиться от них. От этих мышей, что бегают вокруг вас.

Они еще многое вам расскажут, подождите. Вы увидите, что есть на свете огромный черный котел, куда сваливают в одну кучу людей,

поджаривают их на медленном огне. Вместо дров на этом костре – сомнения, заботы и прочая чепуха. А самое главное – вам будет скучно без этих зверьков... Вы к ним привыкли, как привыкают к морфию или кокаину. Нет, бесполезно стремиться куда-то... «Ее» царство мы не увидим никогда.

Поймите, никогда! Какое это ужасное слово, какое это мрачно-ликующее слово – «никогда»...

Крезю опустил голову на руки и заплакал. Вдруг он вскочил, как будто какая-то невидимая пружина подтолкнула его. Я даже ясно видел, как в момент сильного прыжка ноги его отделились от земли.

– Я здесь... – закричал он и побежал к березе.

Не успели мы опомниться, как через несколько мгновений он был на самом верху дерева.

Странная картина представилась нам. На западе ярко-красная заря широкой полосой охватила небо, и лохматые сучья мшистых и ветвистых елей мрели в воздухе грозными силуэтами.

Узкая снежная лента Тапсуя, убегая в темноту буреломов и валежника, казалось, вся окрасилась человеческой кровью. На фоне алого неба чернели столбами, молчаливо и загадочно выделяясь, три разбросанных в разных местах сосны, и нижняя часть их стволов переходила в черное сплошное пятно лесных дебрей, где нельзя было различить ни ветки, ни кустика, ни одного резкого очертания. И на самой вершине покрасневшей от заката березы стоял сумасшедший в изорванном меховом пиджаке без шапки. Он смотрел неподвижным взором на запад, вытянув вперед руку и крепко ухватившись другой за колеблющуюся вершину дерева.

Мы замерли. Вдруг раздался звучный голос Крезю: «Прими это сердце...».

Слова эти совпали с револьверным выстрелом. Тело Крезю, ринувшись вперед, повисло на тонких сучьях березы. Гибкая вершина наклонилась, треснула, и Крезю, как подстреленная птица, ломая сучья, полетел вниз.

Мгновение – раздался тяжелый стук упавшего на притоптанный снег тела. Крезю лежал на животе, раскинув руки и ноги, и струйка крови медленно сочилась из его правого виска, окрашивая снег и понемногу впитываясь им. Я помню впечатление алого: оно не изгладится из моей памяти. Алая кровь, алое небо, снега на реке... Мы молчали, с ужасом глядя на труп. Соболь, дрожа, подполз к Крезю, лизнул его лицо и жалобно завыл.

На другой день Павел и Кошуков вырыли могилу на берегу Тапсуя под тенью огромного кедра, который печально склонил над рекой зеленую тяжелую вершину. <...>

Утром после похорон Крезю я, Кошуков и Павел еле заметной тропой направились к северу по направлению к деревне Сом-Ях-Сос-Пауль. Лошади, поминутно проваливаясь в снег, с трудом продвигались вперед. Мы шли на лыжах по белой унылой равнине, очевидно, болоту. К вечеру, сделав около 30 верст, мы наткнулись на лесистый островок, где устроили стан. Нам всем было как-то не по себе после смерти Крезю; какие-то жуткие предчувствия волновали каждого из нас, но никто не хотел их выразить, хотя всем чувствовалось тревожное настроение товарищей. Павел перед сном усиленно молился своему Хозяину-Вотчиннику и принес ему в жертву целый горшок каши.

Утром, оглядевшись, мы убедились, что находимся между двумя речками, которые, сливаясь вместе, составляют реку Лырягу. К слиянию этих двух рек мы и направились.

В обед сделали привал, Павел остался кормить лошадей, Кошуков отправился на охоту добыть глухаря, а я от нечего делать пошел вместе с ним. Мы шли на лыжах меж редких зарослей карликов. Соболь старался забраться на лыжи, т. к. поминутно проваливался в снег. Вскоре мы спустились в небольшой овраг и остановились, чтобы отдохнуть у корня вывороченной бурями ели. <...>

Едва мы успели закурить трубки, как Соболь стрелой бросился к вывороченному корню ели и, юркнув туда, злобно залаял. В ответ послышалось глухое рычание. Мы быстро вскочили и схватились за винтовки. Как сейчас помню, Кошуков первым делом освободил ноги от лыж, и неожиданно перед ним оказался на задних лапах огромный бурый медведь. Маленькие глаза зверя горели злобным зеленым огоньком, и длинные когти отбивали дробь, похожую на стук кастаньет. Кошуков выстрелил, и медведь заключил его в свои тяжелые объятия.

Я видел, как он одним взмахом лапы вышиб из рук человека ружье и, ворча, начал топтаться на месте. Я побежал на помощь товарищу. И в тот момент, когда я готовился прицелиться и выстрелить, нога моя задела старый полусгнивший ствол какого-то дерева. Я невольно взглянул на него и забыл о медведе.

Передо мной на черном корявом сучке висела стальная пластинка, на которой вычеканенным золотом было изображено восходящее солнце.

Этот момент забвения всего окружающего я никогда себе не прощу. Когда я очнулся и бросился к медведю, Кошуков уже лежал на снегу, и зверь, хрипло ворча, готовился скальпировать его голову.

Внезапно раздался выстрел. Зверь упал на бесчувственного Кошукова; из-за выворотки показалась белая фигура человека с дымящимся ружьем в руках.

Человек подошел к Кошукову, вытащил его из-под медведя и, обернувшись ко мне, сказал чистейшим русским языком с сибирским

акцентом, выделяя «о»:

– Нисколько не пострадал. Только в обмороке.

– Кто вы? – спросил я после некоторого замешательства, вызванного удивлением.

– Моя фамилия Тарсин. Не удивляйтесь, почему я оказался здесь; я вам все объясню. Я – житель Ял-Мала.

– Ял-Мала?! – воскликнул я. – Значит, это не сказка? Значит, царство Ее на Крайнем Севере не мечта, не миф, а действительность! Значит, я не напрасно блуждаю по этим джунглям, стремясь в царство Ял-Мал? Боже мой! Если бы вы явились неделю раньше, мой бедный Крезо не погиб бы так ужасно...

– Как! Инженер Крезо погиб!? – удивился Тарсин.

– Как, вы знаете, что со мной был инженер Крезо? – в свою очередь удивился я.

– Я знаю, что вас выехало со «Станции Льда» трое: журналист Сабанаев, инженер Крезо и промышленник Кошуков.

– Кто дал вам эти сведения?

– Радиотелеграф. Тут ничего удивительного нет. Пойдемте ко мне. Я вам все расскажу. Кошуков уже пришел в себя.

Мы все трое встали на лыжи и направились к небольшой бревенчатой избушке, находящейся приблизительно в 30-ти саженях от убитого медведя.

Сидя на нарах, в уютном охотничьем домике, прихлебывая горячий чай и следя за веселыми языками огня в чувале, мы слушали Тарсина. <...>

– Здесь я встретил Ивана Пакина и многих других промышленников-зверовщиков. Рассказав им о царстве Ял-Мал, для того чтобы они знали, что на севере Ял-Мала для них найдется приют и пища после тундровых скитаний, я всегда дарил им стальные пластинки. Восходящее Солнце – эмблема нашего царства, и «Она» хочет, чтоб люди знали об Ял-Мале и помнили о нем. Потому так щедро раздаются пластинки. Кстати, пластинка моя, и я рассудил, что вы непременно побываете здесь.

Я – летчик-авиатор и летаю большей частью для пробы аппаратов, также и потому, что здесь великолепная охота на крупного зверя. Получив известие о том, что вы направляетесь к нам, я вылетел к вам навстречу, рассчитывая вас встретить здесь.

Между прочим пластинка, которая чуть было не сыграла такую роковую роль, была также моей, и потерял я ее при осмотре берлоги медведя, думая сегодня на него поохотиться.

Но вы предупредили меня и чуть было не заплатились за это. <...>

– Скажите точно, где находится царство Ял-Мал?

– 71 градус широты и 39 градусов долготы. Точное определение местонахождения нашего царства.

Я волновался. Шесть часов отделяет меня от Ял-Мал, только шесть часов. Через шесть часов я мог быть там, куда стремилось все мое существо, куда стремился покойный Крезо и за свое стремление поплатился рассудком и жизнью. Я думаю, что полярные путешественники, открывающие Северный полюс и находящиеся в шести часах перехода от него, едва ли испытывали бы такой трепет нетерпения, как я в данный момент. Что полюс? Пустое, унылое место; Ял-Мал – желанное царство, осуществленная мечта многих поколений. Ял-Мал – маяк, зажженный человечеством... Кроме того, меня охватил профессиональный интерес журналиста узнать что-то новое, необыкновенное, неисследованное...

– Когда мы вылетим?

– Если хотите, сегодня... – с улыбкой сказал Тарсин.

– Хочу ли я? Странно об этом спрашивать...

На широкой белой поляне сидела огромная стальная птица с распростертыми крыльями и блестела медными частями своего механизма. Тут же, рядом, стояли наши скромные лошадки, запряженные гусем, и из кошевки выглядывала бородатая голова Павла, покрытая неуклюжей шапкой с оленьими ушами. Кошуков и Павел с удивлением глядели на невиданную птицу, и по лицу вогула я догадался, что он готов обожествить Тарсина и вот-вот принесет ему в жертву горшок каши. Я вошел в комфортабельно обставленную, маленькую каютку летательного аппарата. Там стояли: письменный стол, два мягких кресла, две койки по образцу парходных поднимались и прижимались вплотную к стенам. <...>

Тарсин садится на седло, похожее на велосипедное, в переднюю будку, устроенную острым углом для авиатора. Тарсин передвигает какой-то рычаг. Раздается тихое, басовое жужжание; жужжание все усиливается; звук повышается...

В окно видно, как образовался вихревой прозрачный круг вместо неподвижного минуту тому назад пропеллера. У Кошукова и Павла, стоящих в отдалении, смешно затрепыхали оленьи уши шапок. Соболь, видимо, лает и грозно ерошит жесткую шерсть, видя странного, сердито рычащего зверя. Серые лошадки испуганно прядут ушами. И вдруг все это побежало назад... Мы покатались на широких полозьях по снегу... Момент, когда мы отделились от земли, я не успел заметить.

Ровно в шесть часов вечера на высоте 500 метров мы летели над тайгой, неуклонно следя за синей стрелкой компаса.

1-го марта.

Находиться в маленькой, комфортабельно устроенной каютке, освещенной электричеством, слушать грозное жужжание пропеллера и знать, что с каждой минутой приближаешься к заветной цели – что может быть лучше этого? Я курю сигару и смотрю на сосредоточенно склоненную спину Тарсина, который поглощен компасом и своими

рычагами.

Он изредка оборачивается, бросает два-три слова и снова углубляется в свою работу. Иногда я заглядываю в окно. Полярная ночь с ярко-блещущими, похожими на яркие глаза невидимых чудовищ звездами.

Термометр показывает 50 градусов ниже нуля. Иногда громадными мерцающими, дрожащими спиралями играет северное сияние. О, эта вечная ночь с ее невыносимым холодом, нестерпимо яркими звездами и неестественно живыми, молчаливыми мерцаниями полярных сияний! Она похожа на Смерть, величаво царящую в своем царстве. Невольно душа охватывается странной тревогой и истомленностью, и веяние близкого ужаса чувствуется кругом. Я помню, как однажды на севере появился столб белого огня. <...>

Высокие льдины и какие-то странные скалы молчаливыми силуэтами смотрели в огненное небо, озаренное холодным, трепетным, странным светом. И меня подавило тогда впечатление полной и страшной безжизненности всей этой картины. Здесь не было ни человеческой мысли, ни присутствия просто какого-либо живого существа. Были стихийное молчание и стихийные переливы странного холодного света. Была спокойная, бесчувственная, грозная в своей огромности Природа. <...>

2-го марта.

Аппарат пошел вниз. Я смотрю на часы. Ровно 11 по полудню. Легкий толчок... Чувствую, что мы катимся вперед... Остановка... Вылезаем из каюты.

При ярком, мрачном блеске звезд и почти нестерпимом холоде я вижу большую площадку на вершине высокой горы. Толпа людей, похожая на белые волнующиеся волны разгулявшегося моря. Все в белых меховых одеждах, очевидно, из шкур песка.

– Ял-Мал! – говорит Тарсин, указывая куда-то вниз. Я вижу силуэты белых зданий, расплывающихся в темноте полярной ночи.

Итак, мечта осуществилась. То, к чему я стремился, из-за чего терпел все лишения далекого путешествия, пережил страшную смерть Крезо, быть может, осуществленная мечта всего человечества – перед моими глазами.

«Я в царстве Ял-Мал!».

Нерелигиозный человек, скептик по натуре, я в первый раз в жизни искренно и с благодарностью к небесам перекрестился, глядя на белые силуэты невидимых домов желанного города.

– Почему там много людей? – спросил я.

– Встреча вечного дня! Сегодня, 2-го марта, в первый раз появляется на горизонте и начинается шестимесячный день после холодной полярной ночи.

Белое море толпы колыхалось и гудело, точно волны во время

прибоя. Лица всех были обращены к югу, все чего-то напряженно ждали. В середине площадки чернелась высокая кафедра, и какой-то человек, казавшийся снизу маленьким, стоял за ней. Сразу чувствовалась напряженная, сдержанная атмосфера ожидания, когда каждая минута кажется часом, и чем ближе к цели, тем дольше тянется время.

Без 15 двенадцать часов пополудни на юге показался короткий огненный столб. Звезды сразу побледнели, и мне показалось, что стало теплее. Вокруг этого столба заалели легкие, разнообразной формы облака и, то медленно тая, то вновь зарождаясь, чуть заметно задвигались по небу. Высокая белая, покрытая снегом гора, похожая на сахарную голову, вдруг вспыхнула алым огнем. К тому месту, откуда должно было появиться солнце, досадно прильнуло облачко. Ровно в 12 часов из этого облачка брызнули желтые яркие лучи, и все кругом засветлело, помолодело, ожило. Облачко растаяло, и все озарилось ярким, ничем не стесненным светом: льды, дома, горы, толпа людей. Навстречу солнцу грянул могучий хор. Они пели непонятным для меня языком торжественный гимн, и Тарсин, стоя рядом, переводил мне слова. Вот они:

За каменным поясом гор,
За мертвыми тундрами, тихими реками, далями
Пусть твой остановится взор,
Помутневший печалью.
Полярного солнца овал,
Холодного, светлого, ждущего,
Осветит Ял-Мал –
Царство Грядущего.
И синие льдины морей,
Плывущие к берегу с грохотом,
Гремяще-раскатистым хохотом
В душе отзовутся твоей.
А северный ветер дохнет
Морозным, свирепым и мудрым дыханием...
И Бог обогнет
Полярное небо сиянием.
Услышим хорал
Из ангелов Бога, любовь стерегущих...
О, царство Ял-Мал,
Прекрасное царство грядущего!

В это время человек на кафедре после окончания пения поднял руки, все смолкло, и послышался звучный голос оратора.

Вместе с председателем Грилем я вошел в здание Палаты. Это было огромное мраморное здание, по здешнему обыкновению, кубической формы с золотым изображением восходящего солнца на фронте.

В вестибюле, где мы раздевались, над большой мраморной лестницей красовалась надпись золотыми буквами: «Судебно-Законодательная Палата». Тут же, на лестнице, висело объявление на широком листе чего-то вроде пергамента. Указывался вопрос, который должен был обсуждаться в законодательном порядке.

Я прочел и расхохотался: закон об обязательном ежедневном метании диска для лиц обоего пола от 17 до 30 лет.

Гриль укоризненно посмотрел на меня.

– Из речей ораторов, – сказал он, – вы поймете, насколько важен этот закон. Не забывайте, в царстве Ял-Мала нет гражданских отношений между людьми; здесь все направлено к созиданию человеческой личности и ее духовно-физическому совершенству.

По широкой лестнице мы вошли в большой зал, где стояли белые скамьи из какого-то вещества, похожего на цемент. Несколько трибун возвышалось посредине.

Был день, и свет лился в широкие окна, но, кроме него, белый, ровный искусственный свет падал с потолка, благодаря чему в помещении не было ни одного неосвещенного угла. Источника этого света я не мог найти, т. к. ни ламп, ни электрических проводов не было видно. В зале находилось человек 400.

Странно было видеть бородатых солидных людей, некоторых в очках, одетых в белые одежды, похожие на греческие тоги, с живописно-декоративными складками.

Все это самые обыкновенные врачи, адвокаты и инженеры, вдруг превратившиеся в древних греков.

Председательское место занял Гриль, при появлении которого все встали.

– Объявляю заседание Законодательно-Судебной Палаты царства Ял-Мал открытым... – резко прозвучал голос председателя. Я стал слушать и смотреть.

Резко очерченный, благородный профиль Гриля, бритое лицо, спокойно-бесстрастное выражение которого подчеркивалось резкими точными словами, красивыми движениями тела, облаченного в белые одежды, – все это делало его похожим на римлянина. Да и от всего этого странного парламента веяло чем-то античным, в особенности, когда начались прения по вопросу дня.

Выступал эстет-литератор. Он доказывал необходимость применения закона, причем в его речи фигурировали уже специальные медицинские термины и авторитеты. Так закончил он свою речь.

– Человек в царстве Ял-Мал до 30-тилетнего возраста не имеет права отговариваться от занятия спортом нездоровьем или отсутствием интереса к нему. Спорт просто как физическое движение и как движение, имеющее

в себе элемент красоты, здесь является потребностью человека. Вся атмосфера Ял-Мала, атмосфера здоровья, культуры, труда и красоты внушает людям включить в ряд приобретенных ими полезных привычек также и привычку к спорту. В частности, если смотреть узко на предлагаемый закон, метание диска необыкновенно развивает мускулы живота и, в силу этого, укрепляет пищеварительные органы. Это является еще лишней причиной принять закон без всяких оговорок и немедленно провести его в жизнь.

После врача выступило много ораторов. Некоторые высказывались против законопроекта, мотивируя тем, что обязательность его нарушает свободу личности и уважение к индивидууму, которое в Ял-Мале является одним из основных законов.

В конце концов, после всестороннего и тщательного обсуждения закон был принят.

Обязательность его устранялась в случае нежелания кого-либо ему подчиниться распоряжением Верховной Власти в каждом отдельном случае.

«Она» могла отменить этот закон по отношению к любому, кто пожелал бы к ней обратиться. <...>

Я стоял на лестнице и наблюдал, как медленно с громким гулом разговора сходила вниз по мраморным ступеням белая толпа.

Мелькали такие обыденные, казалось, интеллигентские лица, слышалась трескуче-шипящая английская речь (английский язык в Ял-Мале считался государственным).

Все эти золотые пенсне, бритые и бородатые лица, строгие докторские и нервно-худощавые физиономии юристов или профессорски-ученый вид некоторых – все это так знакомо и так часто встречалось в России.

Но было в них что-то неуловимое, что в России или другой стране никогда не найдешь.

Это была, я бы назвал, гордость самим собой; каждый из них, казалось, гордился своей собственной личностью, высоко ценя ее, и эта гордость, и эта высокая оценка самого себя не возбуждала ни в ком ни чувства раздражения, ни зависти, потому что она не имела ничего общего с заносчивостью, потому что это чувство было вполне понятным в царстве Ял-Мал. Здесь каждый был самим собой, извлек из себя тип того человека, к какому наиболее приближалась его духовная сущность.

Это были настоящие люди.

Гриль взял меня под руку, и мы вышли на улицу Ял-Мала. Широкая, прямая, она вся была заполнена прохожими в белых песцовых шубах. Посередине, по широкой полосе льда с веселым криком мчалась на коньках детвора. Огромное здание театра, вспыхивая сигнальными

электрическими фонарями, показывавшими, в каком отделении началась пьеса и где кончилась, принимало в себя беспрерывно льющиеся толпы граждан.

Было около 40 градусов мороза, но от этого оживление нисколько не уменьшалось, и веселая послетрудовая жизнь чувствовалась во всем.

– Дорогой мой, – сказал Гриль, – пойдете ко мне пообедать. Я после этого Вам кое-что покажу.

У Гриля была большая квартира, устроенная на европейский лад. Там мало что напоминало Ял-Мал. Высокие, в готическом стиле, дубовые стулья... Кабинет с кожаной мягкой мебелью, массивным письменным столом и библиотечными шкафами.

Сняв верхнее платье, Гриль, извинившись, прошел в спальню и через пять минут явился джентльменом – в смокинге, в белоснежном крахмальном белье.

– Видите эту доску, похожую на распределительную электрическую? На ней много кнопок. Это меню Ял-Мала на сегодняшний день.

Мы выбрали кушанья, нажали соответствующие кнопки, и на середину обеденного стола по маленьким рельсам прикатила миска с супом из открывшегося отверстия на стене.

– Итак, – начал Гриль, принимаясь за суп, – вам нужно начинать с азов. Прежде всего, государственное устройство Ял-Мала. Оно крайне несложно и необыкновенно упрощено.

Дело в том, что у нас нет народа в точном смысле этого слова, т. е. невежественной или полуневежественной массы, которая нуждается в руководителях и в уголовных наказаниях. <...> Ял-Мал – государство аристократическое, т. е., в том смысле, что в нем находятся исключительно люди науки, образования и культуры.

То, что у вас в России называется интеллигенцией.

Все, кого бы вы ни взяли из наших граждан – или инженеры, или медики, или юристы, или профессора, или художники. Все люди свободной профессии, которых, в силу хотя бы университетских дипломов, нельзя упрекнуть в отсутствии культурности. Здесь вы не найдете ни одного чернорабочего, ни одного недипломированного университетом или каким-либо высшим учебным заведением купца, ни одного из так называемых полуинтеллигентов. Вы видите, что Ял-Мал – государство аристократическое, в самом лучшем и благородном смысле этого слова. <...>

Наш Парламент – Судебно-Законодательная Палата: как видите, Судебная власть совмещается с Законодательной по той простой причине, что нашим законодателям нет никакой возможности не доверить судебную власть, т. к. это действительно наши лучшие люди. Мы их выбираем по действительной оценке их ума, образованности и талантов. Того, что

существует в Европе, – политических партий, шумных, предвыборных агитаций, благодаря которым попадают в парламент ничтожества, у нас нет.

Избирательное право всеобщее, прямое, равное и тайное, причем принадлежит оно лицам, достигшим 21 года, а лица, могущие быть избранными, должны быть не моложе 25 лет. В настоящее время избирателей в Ял-Мале насчитывается 5568 человек. Кандидатуры выставляют обыкновенно сами избиратели, это, своего рода, государственная повинность и, я считаю, не из очень тяжелых, т. к. законодатели у нас выбираются только на 1 год. <...>

Исполнительной власти нет совсем. Было бы смешно, если бы мы, культурные люди, сами не проводили в жизнь то, что сами же постановили.

Высшей верховной властью является «Она». «Она» обладает правом абсолютного «veto», и через «Ее» утверждение должен проходить каждый закон. Кроме того, если хотите, «Она» является представительницей неограниченного абсолютизма, несмотря на наш Парламент.

«Ее» мероприятия могут проводиться в жизнь без всякого рассмотрения Палатой, если «Она» того захочет. Иначе говоря, «Она» вполне самодержавна, и Судебно-Законодательная Палата постольку действительна, поскольку «Она» ее утверждает.

Вам это кажется странным, т. к. подобного совмещения абсолютизма с конституционным устройством мир еще не видал, но дело в том, что мы, культурные и образованные люди, создали здесь свой культ.

Предметом этого культа является «Она».

«Она» для нас богиня, и не только потому, что так верится, что наше благоговение перед «Ней» безгранично. «Она» создала этот особый идеальный мир, где люди живут не ради борьбы за существование, ради самих себя, где человек есть самодовлеющая цель, где красота человеческого тела и сила человеческого интеллекта ставится выше всего.

Значит, оспаривать «Ее» благое и естественное самодержавие было бы смешно. Наш Парламент может заблуждаться.

«Она» – никогда.

Мне вспомнилась стальная пластинка с изображением восходящего солнца, и я спросил о ней.

– Это символ «Ее», – сказал Гриль, – так странно совпадает с национальной эмблемой Японии. В одном отношении Ял-Мал сходен с этой страной. Обе страны молоды, и обе подают огромные надежды.

Вот все.

– Мне бы хотелось знать, как появилась «Она» и как удалось «Ей» создать царство Ял-Мал, откуда взялись бесчисленные машины и технические приспособления, о которых в прошлый раз вы мне говорили.

– Откуда «Она» появилась – не знает никто, равно как большинство из нас не знает, как сюда попали все граждане, да никто и не интересуется этим. <...>

Что же касается машин и технических приспособлений, то это вам, быть может, известно, в северной части полуострова тянется горная цепь северного окончания Урала, постепенно спускающаяся к морю. Здесь неисчислимы запасы всевозможных руд и других ископаемых от золота и платины до нефти включительно.

Наши гениальные инженеры сумели использовать эти природные богатства.

В результате – все полезное для нас производится машиной.

Здесь нет черного труда и, значит, нет чернорабочих. Пахота, посев, жатва и уборка хлеба производятся машиной. Ткани для одежд и сами одежды – все это дело машин.

Разные хозяйственные и нужные в обиходе вещи, все, что создается в Европе руками тысяч и миллионов рабочих, все это делают, точно и быстро, сложные, хорошо устроенные машины.

Для человека остается благородный умственный труд да искусство, где он является и творцом, и работником. И вот то, что вы слышали сегодня в Палате, – странные для вас обсуждения вопроса об обязательном метании диска – сейчас должно быть для вас понятным.

Гимнастика и спорт постольку важны для нас, поскольку вообще важен для нас человек, как существо, имеющее мозг и тело.

И то, и другое необходимо развить, чтоб приблизиться к идеальному человеку. <...>

Теперь пойдёмте.

В кабинете Гриля, слегка жужжа, быстро нагревался красивый ящик-камин с литой чугунной дверкой, украшенной барельефными изображениями каких-то чудовищ.

Рядом, в маленькой комнатке, двигалась странно-сложная машина с тонкими блестящими иглами и разнообразными зубчатками. На моих глазах с быстротой разговорной речи создавался – не шился, а именно создавался – из плотного черного материала великолепный смокинг последней европейской модели. <...>

Гриль встал с кресла, закурил сигару и подошел к окну.

Я последовал его примеру.

Перед нами была широкая площадь, вся залитая этими странными белыми толпами людей в песцовых одеждах.

В середине на трибуне стоял в гордой позе человек и что-то говорил, подтверждая свою речь красивыми жестами.

Гриль снял с подоконника трубку, похожую на телефонную, и передал ее мне. Я услышал следующие слова:

«Мы ушли от Христа далеко вперед. Он любил людей, мы любим человека. Нам не нужна безликая любовь к массам. Для того, чтобы любить, нам нужен красивый профиль, крепкие мускулы, индивидуальный ум, звучные прекрасные слова. Человек с телом древнего грека и знаниями современного академического профессора нам дороже миллионной массы, сытой, грамотной, хорошо воспитанной на демократических принципах и лепечущей пошлые лозунги социализма.

Мраморная статуя Аполлона Бельведерского нам дороже учения Маркса, потому что она показывает, каким должен быть человек, а учение Маркса предсказывает, каким будет человечество. Нам не интересно человечество без людей. <...>

Человек, человек, человек!!!

Пусть в ваши души, как стальной клинок, вонзится это слово, потому что нет слов, в которых было бы так много: вся земля, весь мир, вся вселенная. И помните еще: мы молоды, наши сердца пылают таким же алым молодым огнем, как и восходящее солнце нашей страны, потому что каждый из нас – человек.

Скажите, где, в какой стране, кроме нашей, пылают сердца, как солнце?..»

– Кто это? – спросил я.

– Поэт! – ответил Гриль.

Примечание: Потеряно несколько листов из дневника.

Я увидел «Ее». В «Ней» не было ничего поражающего, ничего ослепительного. Ничто не подавляло воображение. «Ее» простое прекрасное лицо только располагало к себе, вызывало чувство радости и удовлетворения. «Она» сидела на кресле из мамонтовой кости в белой мраморной комнате, такой строгой, белоснежной и чистой. В огромное квадратное окно из толстого цельного стекла глядела ярко-алая вечерняя заря, и мглелись мертвые пространства тундры.

В углу, в огромном камине, похожем на нишу, ярко горели еловые бревна – поленья, и их треск резко нарушал тишину строгой комнаты. Мраморный человек величиной в два натуральных человека в античной позе метателя диска играл роль экрана. Сейчас он был отодвинут и, казалось, собирался бросить свой диск в желтое пламя камина. Ярко-алая тяжелая бархатная портьера резко выделялась на фоне белых стен, закрывала четыре входа, и этот контраст – алого с белым – еще сильнее оттенял девственную строгость зала.

Ничего не было на стенах – ни картин, ни украшений, и только в углу, с суровой и скорбной простотой, белело мраморное тело Христа, распростертого на кресте – символ любви, так странно осуществленной в

жизни здесь, на севере, среди мертвых тундр и жестокой природы.

«Она» сидела в кресле из мамонтовой кости и задумчиво смотрела на вечернюю зарю.

В отдалении стояли три женщины в белых одеждах, похожих на греческие хитоны, – лица их были прекрасны и полны мысли. Вот все, что я успел заметить около «Нее». «Она» была в длинном пурпурном одеянии, похожем на одеяние стоящих за ней трех женщин, свободном и декоративном, обвивающемся вокруг «Ее» тела, в шапочке из меха белого песка, где разноцветно переливался крупный бриллиант – единственное украшение. «Она» повернула ко мне голову. Я пал ниц. Я пал не потому, что «Она» поразила меня своим взглядом, своим лицом... Нет, я был поражен идеей, воплощенной в «Ней», тем, что я нахожусь лицом к лицу с прекрасной Мечтой, к которой стремилось человечество, что за этими стенами, за тысячу верст от этого белоснежного дворца, мечутся в диком ужасе обезумевшие люди, стараются создать себе маленькие островки счастья и других достижений в клокочущем море глупых страстей.

И эти острова разрушают другие, и вновь копошатся люди над созиданием того, что вновь и вновь уничтожается ими же самими.

А здесь, в этой женщине, воплотилось то, к чему они стремятся! Вся их многотысячелетняя жизнь должна пойти насмарку, потому что цель ее здесь, в этой женщине, и они ее никогда не достигнут, копошась в своих залитых электричеством и кровью городах.

И вся их ненависть, и вся их любовь, все их улыбки и слезы, движения и слова с сотворения человека и до настоящего времени – все направлено к «Ней», к этой женщине в белой шапочке, только «Ею» осмысливались и только благодаря «Ей» были понятны и нужны. И разве мог я не пасть ниц перед Мечтой, перед той, к которой стремится все человечество и которую достиг только я да немногие избранные.

«Она» просто сказала:

– Встаньте, пожалуйста.

И тут я увидел «Ее» лицо.

Это было лицо девушки, круглое девическое лицо с румяными щеками, с каштановыми волосами, выбивающимися из-под белой шапочки. Молодость и жизнерадостность светилась в ее серых глазах, алые губы, казалось, вот-вот раскроются для чарующей веселой улыбки. Низкий, грудной голос звучал мягко, как струна виолончели. Легкое грациозное откидывание головы назад еще более увеличивало впечатление нежности и придавало словам иногда даже оттенок легкомыслия.

Но иногда соболиные, сросшиеся брови слегка нахмуривались, серые глаза внезапно темнели, и из алых уст вылетали спокойные важные слова, которые нельзя было забыть. И что меня поразило, это ее лоб – низкий, как

это ни странно, полуприкрытый с обеих сторон прядями каштановых волос, белый, точно первый снег.

– Почему вы здесь? – спросила «Она».

– Я здесь потому, что всегда стремился сюда, и царство Ял-Мал было всегда моим царством.

– Расскажите мне о вашем путешествии.

Я рассказал все, начиная с того момента, как инженер Крезо позвал меня в кабинет и показал пластинку с изображением восходящего солнца. И, когда я кончил, «Она» сказала: «Идите. Вы можете остаться навсегда, можете уйти, если вам не понравится. И, если останетесь здесь жить, помните мой закон, единственный закон, который звучит сурово, но который никогда не был суров: взять от человека все, что он может дать и заставить его стремиться к тому, чтоб он дал все, что может дать». «Она» встала, красный отблеск зари упал на ее лицо, и бриллиант на шапочке превратился в ало-сверкающий рубин.

Я поклонился и вышел.

Впервые опубликовано: Логинов В. Ял-Мал: Сб. рассказов. Харбин, 1930; отрывки из повести опубл.: Гун-бао. 1928. 25 ноября, 2 декабря.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 235–273.

МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА

Под Новый год всегда случаются происшествия необыкновенные.

Это такой закон природы, который стал непреложным. И немудрено, что на этот раз в глухом лесу, в сибирской тайге, где трещат морозы и падают птицы на лету, охваченные жуткой смертью от дыхания стужи, где стоит огромное белое, замерзшее озеро, покрытое саженым пологом белого снега, а на его заваленном сугробами берегу курится синий прямой, как свеча, дымок из бревенчатой избы, где днем алмазы искрятся и темные ели дремно мечтают о чем-то, наклонив разлапистые ветки, там случилось необыкновенное происшествие.

Там ночью мрак, холод, яркие звезды, мерцающие на бархатном небе, и великое и мудрое молчание, таящее за собой смерть, единственную властительницу этого хмурого царства.

«Челом» медвежьей берлоги или «пастью» называется маленькое отверстие, полузанесенное снегом, в которое осенью медведь лезет в свое зимнее жилище; а зимой из этого отверстия выходит легкой струйкой пар: это дышит Михайла Иваныч, король сибирской тайги или, в крайности, ее именитый боярин.

Спит он крепким сном, видит чудесные сны – о кобыльей падали, вкусно пахнувшей, что отведал он накануне того, как полез в берлогу; яркие

красные ягоды земляники, которые привык собирать он по островам, раскинувшимся среди топких болот.

Видит ржавую воду в болотном оконце, которая заменяла ему вполне шампанское, и много других прекрасных, теперь уже недоступных вещей.

Егорка и Димка – парни крепкие, веселые, оба рябые и оба курносые. Верные друзья, всегда бродили они вдвоем по родной тайге, выискивая белку, которую били мелкой дробью из старых берданок с отпиленным стволом.

Гулко охали старые ружья, и мелькал серый пушистый хвост, когда летел вниз подстреленный зверек, обламывая маленьким гибким тельцем сухие сучья высокой хмурой темно-зеленой ели.

В ближайшем селе Починки сдавали мальчишки убитых белок по пятнадцать копеек за шкурку и были счастливы до отказа от этого первого своего промыслового заработка.

Иван Палыч, лавочник, что покупал у них пушнину, тоже не оставался в накладе: иначе не давал бы он парнишкам в долг и дробь, и порох, и патроны, и прочее охотничье снадобье вплоть до огромных караваев хлеба, до сушеной воблы и крупной грязной соли, которую всыпали парнишки в котелок, когда варилась в нем немудренная похлебка.

Будущие солидные промысловые охотники вполне ясно намечались в этих двух беловолосых крепких малышах с курносими носами и голубыми глазами, осторожно и быстро пробирающихся по занесенному снегом лесу на березовых, подбитых шерстью лыжах. Звероловы и зверобои, так сказать, наследственные, они отлично разбирались в следах, знали каким голосом облаивает остроухая лайка глухаря, каким косача и каким рогатого лося, быстрого и быстролетного, как птица.

Знали парни, где ставить силки и малые плахи для птицы и зверя, как налаживать самострел для диких козлов и рыть глубокую яму для оленей и медведей; умели узнавать север и юг по мху на деревьях, по длине и величине сучьев, по разным, незаметным простому смертному приметам...

Дом на берегу озера, откуда струился синий дымок, уходя в белесое морозное небо, был кордоном, который стоял на перепутье между двумя богатыми сибирскими селами, и каждый вечер останавливались на его широком, обнесенном плетнем дворе огромные обозы, груженные рогожей, паклей и звериными шкурами. То сибирские промысловые мужички тянулись из своих медвежьих углов в богатую, хлебную и торговую Тюмень сбывать свое добро, наживать кровные денежки.

Егорка и Димка обосновались в этом домике, устроив его своей охотничьей базой. Федор, сторож, явно им покровительствовал. Был он мужик кроткий, сектант-двоедан, с рыжей бородкой-мочалкой и гнусавым ласковым тенорком.

Зато баба его Настасья была король-баба. И она покровительствовала

ребятам, ибо от их промысла нередко перепадали ей и рябчики, и куропатки, и глухари, а иногда и дикий таежный козел, изумительно вкусный, в особенности в сибирских пельменях, которые стряпала Настасья.

Парни устроили здесь склад пороха, дрови и съестных припасов, а кроме того, тут же находилась добытая ими пушнина – белка, горностаи, рыжий колонок, бурундук.

Хорошо жили ребята... Настасья им каждый день готовила горячий ужин – уху из местных окуней, пирог с кашей или наваристые щи, да еще пельмени... Ребята отъедались до отвала и чувствовали себя королями.

Под Новый год грянули январские жгучие морозы с потрескиваниями льда на озере возле прорубей, с падением на лету мелкой птахи в ельниках, с яркими, лихорадочно горящими звездами на черном, как чернила, небе...

Жутко стало и людям, и птицам, и зверям.

На кордоне Настасья жарко топила печь так, что в горенках дышать было нечем. Федор сидел босоногий целыми днями на полу у печки и потренькивал на гармонике «В далекой тайге за Байкалом...»

Обозы, как по сигналу, перестали тянуться длинными черными змеями по накатанной, промасленной дороге, и не харчился никто из сибирских мужиков у Настасьи и Федора.

А под Новый год, тридцать первого декабря, даже цепной пес Соболь – мохнатый, кудластый, свирепый, клыкастый, таежный пес, которому не страшны были никогда никакие морозы, запросился в избу, изнемогая от лютого холода.

Он лежал, вытянув цепь во всю длину на полу, на животе и жалобно скулил. Федор отстегнул цепь и втащил Соболя в дом.

Собака легла у дверей, и уже никакими силами нельзя было ее выгнать обратно.

И вот тут смекнул Егорка, что настало их время.

– Слышь, Димка, теперь птице не до нас... Стужа лютая. В такую стужу птица человека не боится. Не до человека ей. Лишь бы самой укрыться от холода. Идем бить косачей.

Димка замотал белесой головой и сразу отказался:

– Не... не пойду. Страшно. Дюже холодно – еще поморозимся.

– Дурак ты, – сказал Егорка. – Нешто не понимаешь, что наше счастье. Косач сейчас в лунках сидит. Хоть голыми руками его цапай. Слышишь?

Действительно, тетерева в это время забирались в «лунки» – маленькие ямки, вырытые в снегу, которые они выкапывали, прикрывая себя снегом.

В этих снежных домах уютно было и тепло дикой лесной птице –

никакой мороз ее не брал. Живи себе да отлеживайся, пока не пройдет жестокое время. Не каждый человек имеет в жизни такое хорошее убежище, а хорошо, если б каждый имел.

Обыкновенно в таких случаях охотники тихонько бредут по снежной целине на лыжах, держа ружья наготове.

Наткнется лыжа на «лунку», и вспархивает тяжело встревоженная птица.

Выстрел – и кувырком летит убитый косач.

Вот на такую охоту и подбадривал Егорка Димку, зная, что пожива будет большая.

Надели парни шапки-ушанки – оленьи пушистые, мягкие, как пух. Романовские дубленые коричневые полушубки, подпоясались красными кушаками. На ноги – теплые пудовые валенки. На руки – меховые рукавицы. Опоясались патронташами, а в них патроны, заряженные самой мелкой дробью – бекасинником, чтоб не очень разбивать нежную птицу. Сунули в карманы по баночке вазелину – неровен час, поморозятся. И – марш вперед.

Был уже полдень, когда вышли они на коротких, подбитых мехом лыжах со двора прямо вглубь густой и белой тайги, в заповедные охотничьи места, где человек теряется в царстве маленьких лесных божков – леших да русалок, да веселых, смешных чертенят.

– Ну, Димка, держись... – весело крикнул Егорка и заскользил, что тебе моторная лодка, по мягкому, пухлому снегу.

Димка ринулся за ним по накатанной лыжнице. Мягко свистели лыжи, осыпался снег с закуржавевших сосен, тихо было в лесу, как в церкви, и казалось ребятам, что попали они в заколдованное царство какого-то волшебника, которого они не видели, но чувствовали, и перед которым ощущали суеверный ужас.

Прошло уже около часа. За это время пять птиц чернело в сумках ребят – пять жирных подстреленных косачей.

– Хорошо... – одобрил Егорка, не переставая передвигать ногами, весело скользя все дальше вглубь, в чащу, в самую пасть тайги.

Димка дружно тянулся за ним.

И вот, за малой снежной полянкой после ржавого, даже зимой не застывшего болота, открылся им вывороток-бурелом – огромный, величиной с маленькую избу, корень гигантской лиственницы, поваленной бурей.

Медленно тянулись ребята на своих лыжах к этому бурелому, намечая возле него несколько косачных «лунок».

И видит Егорка, что из выворотка, от самых его корней, вьется беловатый пар, точно дымок.

Вокруг этого пара на мерзлой желтой земле, на извилистых

коричневых конях настыли ледяные капли – растаял и застыл снег.

Это было «чело» или «пасть» медвежьей берлоги.

Сидел там Михайла Иваныч, сын Топтыгина, крепко сидел, сосал лапу и дожидался теплых весенних денечков, наслаждаясь прекрасными снами и невозмутимым покоем.

Хорошо ему жилось, бурому, не боялся он ни мороза, ни зверей, ибо какой же зверь рискнет нарушить покой лесного боярина.

Ребята сообразили все это сразу и струхнули.

– Егорка, а Егорка! – зашептал Димка, не замечая, что от страха заструился у него по лбу обильный пот. – Вертай назад. Плохо нам будет.

– Подожди, – зашептал Егор. – Может, и так обойдется. Надо втихомолку, а то зашумим, разбудим.

Егорка начал заворачивать лыжи. И вот на крутом повороте случайно попала одна лыжа в мягкий снег, который слабо хрустнул и вдруг провалился. Нога ушла по колено и попала в самую медвежью берлогу, где-то сбоку.

– Ай! – завопил Егорка истошным голосом.

– Батюшки святы! – заверещал по-свинячьи Димка. – Задирает!..

Караул!.. Бяда!..

Глухое рывканье раздалось из-под земли.

В «чело» берлоги высунулась треугольная бурая медвежья морда.

– Ры-ык... – громко раздалось снова по лесу.

Димка почувствовал, что его штаны стали влажными. Егор обернулся.

Прямо на него смотрела медведица маленькими злыми, дикими зелеными глазами... Егор нацелился на нее из своей старой берданки-обреза.

И вдруг вспомнил: берданка заряжена мелкой бекасиной дробью, специально для птицы. Рассуждать было некогда. Некогда было и бежать. Медведь пер вперед. «Чело» трещало, но никак не хотело сдаться, ибо крепка была ледяная корка, что спаивала его в монолитную, почти стальную по крепости стену.

Медведь создал себе неприступную крепость, и сам же попал в нее, как в ловушку.

Тем не менее, ледяная броня трещала и явно начинала поддаваться под могучими усилиями бурой, лохматой и могучей морды.

– Бум-м-м... – раскатился по лесу выстрел егоркиной берданки.

Морда замоталась в «челе», и снова дикий рев огласил мертвые пространства тайги. В реве медведя на этот раз явственно слышались нотки боли.

– Бум-м-м! – еще раз раскатился выстрел.

– Ай!.. Ой!.. – в диком ужасе завопил Димка. Завернул лыжи и

кинулся бежать по гладко укатанной лыжнице.

– Стой! – заорал, как сумасшедший, Егорка. – Побегти только!.. Сейчас же в зад пуцу зарядом. Стой, сволочь, ни с места! Погибать, так вместе!

Он выбросил из берданки пустой патрон, живо засунул новый и выстрелил снова. Опять рев раненого зверя. Слышно было, как трещало ледяное «чело» берлоги.

Выстрелы Егора превратились в ураганный огонь. Никогда в жизни он не разряжал и не заряжал так быстро свое допотопное ружье, как на этот раз. Можно было подумать, что он буквально изрыгал бекасинник. Мелкая дробь сыпалась от него дождем, застревая в голове несчастного зверя.

Димка не переставал выть тоненьким голоском, весь трясаясь от ужаса и не смея двинуться вперед.

– Бум!.. Бум!.. Бум-м-м! – сыпались горохом выстрелы.

Тайга гудела от медвежьего рева и от частых выстрелов из берданки.

Наконец, звериный рев прекратился.

Возле «чела», на мягком нетронutom снегу атели капли свежепролитой крови. Медведь замолк.

«Неужто убит?..», – промелькнуло в ошалевшей егоркиной голове. Он прекратил стрельбу. Медленно и опасливо продвинулся на лыжах вперед. Медвежья треугольная голова не шевелилась. Егорка подъехал вплотную к берлоге.

– Готов! – завопил он радостным голосом. – Димка!.. Слышь ты?.. Глаза выбиты! Вот тебе и бекасинник, вот тебе и мелкая дробь. Ура!..

– Ура!.. – орал восторженно Димка, забыв про мокрые штаны. – Ай да Егорка!!! Герой ты наш! Спаситель!..

Парни вытащили из-за кушаков топоры и начали обрубать лед берлоги. Теплый труп Михайлы Ивановича Топтыгина обнаружился перед ними во всей красе. Егор затянул вокруг его шеи свой красный кушак, поднатужился, прикрикнул на Димку, и оба враз потащили зверя к выходу. Огромное бурое тело лежало теперь на белом снегу, постепенно холодея на лютом морозе.

– Димка, валяй на кордон! Зови Федора с санками! Одним не справиться.

Димка встал на лыжи, посопел, покряхтел и легко заскользил в чашу, в ельник, в трущобу, прямо к заветной избе.

– Ну, парни! – говорил Федор, трясая козлиной бородой и распахнув тулуп, не замечая лютого мороза. – Ну, парни... Ну, молодчаги... Медведя убить бекасиной дробью, самой что ни на есть мелкой?.. Чудеса!.. Ну и чудеса.

Парни стояли героями, подбоченившись и лихо заломив ушанки на затылок.

Теперь, брат, их голыми руками нехватишь. Теперь, брат, не каждый промысловый охотник с ними сравняется. Теперь, брат, они хоть и холостяки, но любого женатого за пояс заткнут.

И всей гурьбой, с санками, на которых лежал медведь, направились к кордону, где уже ждали их проезжие мужики-возчики.

Вот какое необыкновенное происшествие случилось под Новый год в глухой сибирской тайге, в урмане, в царстве хмурого, мохнатого, зеленоглазого таежного Бога, который любит и людей, и зверей, и птиц.

*Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 40-46.*

ЗАБЫТЫЕ ТЕНИ

Гостиные тогда были уютные – кисточки, пуфы, валики на диванах и мягких креслах, шелковых и бархатных, обязательно розовых или голубых. Где-нибудь в углу красиво возвышалась огромная лампа на металлическом затейливом постаменте. На отлично отлакированных, покрытых тончайшего и искуснейшего кружева салфеточками столиках лежали альбомы из кожи и бархата с серебряными застежками с инкрустациями из слоновой кости и перламутра. В альбомах солидно красовались полковники и генералы с густыми эполетами времен последней турецкой войны. Штатские снимались обязательно в длинных сюртуках с толстыми золотыми цепочками на жилетах и огромными стоячими крахмальными воротничками. А дамы – про дам один малыш в возрасте приблизительно восьми лет совершенно серьезно думал, что у них руки на плечах имеют природные колоссальные утолщения вроде наростов. Ибо такова была мода – кофточки с буфами. Буфы эти были обязательны для каждого платья и для каждой дамы. Поэтому неудивительны представления малыша.

Было начало девятисотых годов – эпоха парижской выставки, крепкой франко-русской дружбы и союза и небывалой мощи Российской Империи, оставленной, как наследство, русскому народу Императором Александром Третьим. Были чеховские времена – кондовой, крепкой обывательщины, на почве которой незаметно накопились знания, энергия, страсти и творчество. В глухой тихой провинции жили своей жизнью и чеховские интеллигенты, и начинающий поднимать голову купеческий класс, только что одевшийся в европейское платье после традиционных поддевок.

Одним словом, русские люди – жили.

А я – молодая, красивая, романтическая женщина, готовившая себе карьеру актрисы, – сидела как раз в описанной выше гостиной у своей

матери после последней моей ссоры с мужем, где были взаимные слезы, упреки, клятвы, мольбы и прочее.

Сидела и ждала Иртеньева, потому что знала, что в этот час он непременно приедет сюда на своем кровном английском скакуне, в своем полужокейском костюме, со своими манерами английского лорда, со своими холодными и страстными в то же время глазами, со своей воспитанностью, корректностью и выдержкой.

Правда, в настоящем он был небольшой человек, всего-навсего акцизный чиновник, хотя и был достаточно богат, чтобы не служить, но в прошлом – блестящий офицер, любимец женщин, дуэлянт, картежник и вообще романтическая личность.

Был он немолод, шевелюру имел седую, но его слава сердцеда от этого нисколько не померкла. Был он влюблен в меня безумно, бесповоротно, окончательно и безусловно. А я противилась изо всех сил этой ненужной мне любви и должна была сегодня выдержать последнее бурное объяснение, после которого с помощью мамы должно было наступить примирение с мужем.

И вот – в гостиной, где пуфы, валики и подушки голубели, розовели при уходящем свете вечерней зари, я сидела и с тревогой в сердце ждала Иртеньева.

Он вошел, как, вероятно, входил когда-то Евгений Онегин в комнату Татьяны, вошел и декоративно замер в дверях – высокий, стройный, изящный и мужественный. Я робко взглянула на него, и сердце мое упало, чувствуя остроту момента.

– Садитесь. Иртеньев... – слабым голосом сказала я. А он не сел, а бросился к моим ногам и стал безумно целовать мои руки.

– Все кончено, Иртеньев... – сказала я. – Я очень жалею, что допустила легкий флирт, который чуть не привел нас с вами к ужасным, непоправимым последствиям. Пора все кончить сегодня же, теперь же, забыть друг друга и расстаться навсегда.

– Ольга, вы говорите совершенно бессмысленные вещи... – крикнул он. – Ведь вы любите меня. Ведь вы презираете вашего мужа. Ведь то, что вы хотите сделать сейчас, противоречит всем божеским и человеческим законам. Неужели мое безграничное чувство не дает вам понять, что нужно поступить как раз наоборот. Ведь вы женщина, ведь вы должны инстинктивно чувствовать правду. Хорошо. Я вызову вашего мужа на дуэль и убью его. Тогда вы будете моей. Отвечайте, будете моей?

– Не делайте этого. Это совершенно бесполезно. Это не нужно. Вашей я не буду никогда, и вы прекрасно знаете почему: я не желаю разрушать семью, не хочу морально калечить мужа, не хочу, чтобы из-за меня пострадало серьезно, быть может, на всю жизнь столько человек.

Я заплакала.

- Ольга! Ольга! Что вы делаете? Вы приговариваете меня к смерти. Пред вами выбор – или муж, или я. Один из нас, по-видимому, не должен жить. Отвечайте в последний раз: муж или я?..

- Между нами все кончено... – сказала я и опустила голову.

Он поднялся с полу, посмотрел на меня долгим печальным взглядом, долго целовал мне руки и много раз пытался говорить, но прерывал сам себя и замолкал, не докончив речь.

Вечерняя заря почти уже догорела, алый свет кровавился на голубых подушках дивана, и никогда в жизни мне не было так грустно, как в этот момент.

Я, быть может, расставалась со своей молодостью, с молодыми порывами сердца, заставив его замолчать ради жертвенной необходимости. В первый раз в жизни я была жертвой, сознательной жертвой, какой бывает, в конце концов, каждая русская женщина, и сознание, что я – обычная, легкомысленная эгоистка, ветреная порхающая женщина, на этот раз принесена на заклятие условностям, быту и морали, это сознание было очень тяжело.

Я снова заплакала. Он в последний раз поцеловал мне руку, затем внезапно с жаром обнял меня и поцеловал в губы – долгим прощальным поцелуем. Затем быстрой походкой, не оборачиваясь, поспешно вышел из комнаты.

Я осталась одна.

Некоторое время я всецело была занята горем и не обращала внимания на окружающее. Затем, внезапно пораженная дикой мыслью, я вскочила с дивана.

- «Или муж, или я... – сказал он. – Один из нас – приговорен к смерти». Значит, я его приговорила к смерти. Значит, он сейчас должен покончить с собой. Быть может, вот в этот момент он приставляет холодное дуло револьвера к виску. Вот здесь, за нашей калиткой. Какой ужас. Надо спасти, во что бы то ни стало спасти. А вдруг опоздала. А вдруг – сейчас выстрел. Вот-вот момент, и...

Я, как ужаленная змеей, в безумном ужасе завертелась по комнате. С быстротой молнии я выскочила в переднюю, хлопнула выходной дверью – птицей пролетела в сад и выскочила за калитку. Остановилась. Вся дрожа, огляделась.

- Иртенъев, – крикнула я. – Иртенъев...

И вдруг заметила его высокую фигуру, стоящую направо.

В сгустившихся сумерках мне показалось, что он поднес к голове руку.

Я кинулась к нему.

В сгущенной, бархатной тьме на фоне темно-розоватого, засыпающего неба, его лицо казалось белым круглым куском сахара – до такой степени оно было бледным... Правая рука держала у виска черный твердый предмет.

«Револьвер», – мелькнуло у меня в помутившейся от ужаса голове. Как безумная, бросилась я к нему...

– Ты, ты, ты!.. – залепетала я каким-то истерическим детским лепетом. – Ты – и смерть?!.. Разве это возможно?!.. Разве это допустимо?! Ты – милый!.. Ты – единственный!.. Любовь моя!.. Радость моя!.. Счастье мое!.. Пусть все погибнет, лишь бы ты жил... Лишь бы мы жили!.. Лишь бы жила наша любовь!..

И с этого вечера все, словно в тумане, завертелось у меня в голове: мама, муж, сцена, родные, знакомые...

Все это стало казаться каким-то старым, полустертым сном, расплывчатым и неясным. И только навсегда память сохранила мою уютную, милую гостиную, где так славно и сладко мечталось под тихие звуки маленького пианино.

Запомнились на всю жизнь огромная лампа на металлическом постаменте, тончайшие кружева салфеточек, альбомы из кожи и бархата, лежащие на изящных столиках, их инкрустации из слоновой кости и перламутра и их генералы и полковники с пышными усами и густыми эполетами.

Точно под знаком этой гостиной – уютной, затейливой и жеманной – прошла вся моя жизнь с ее бурными страстями, ошибками, взлетами и падениями.

*Опубликовано и печатается по: Харбин в зеркале прессы.
Ежегодник объединения русских журналистов в Маньчжу Ди Го. 1937. С. 44-46.*

ВРУБЕЛЬ

И было ко мне Слово Господне.
Пророк Иезекиль.

1

Павильоны всероссийской выставки в Нижнем Новгороде, открытой в 1896 г., раскинулись на обширном участке земли. Выставка открылась в ознаменование коронации императора Николая II. Всероссийская выставка в Нижнем должна была показать весь блеск, всю роскошь мощного цветения России, – наследия Александра III, – огромного государства, где кипела индустриальная и торговая жизнь, где экономикой ведал гениальный Витте, где кристаллизовалась постепенно, как класс, крупная

буржуазия, где начинали говорить громким голосом науки и искусства университеты и театры.

И выставка была грандиозна. Отдел промышленности был заставлен блестящими машинами, завален образцами фабрикатов, тюками и грудями всевозможных товаров. В отделе торговли были диаграммы роста продуктивности и расширения рынков.

Громадный художественный отдел вмещал сотни полотен лучших российских художников. И только рядом со зданием художественного отдела одинокий павильон, построенный в русском стиле, невольно резал глаза, был он каким-то отщепенцем в общем стройном хоре выставочных помещений, построенных по строгому плану.

Это московский купец-миллионер Савва Иванович Мамонтов, железнодорожный подрядчик, эстет и меценат, построил отдельное здание для картин своего любимца Михаила Врубеля. Картины были забракованы художественной комиссией для выставки. Было что-то невероятное в этих картинах: вакханалия красок, странные циклопические фигуры и необыкновенное настроение, которое, пожалуй, можно назвать космическим. Члены жюри разводил руками. Они привыкли к строгому классицизму рисунка, к реальным фигурам, к фотографичности пейзажей. Врубель казался им сумасшедшим. Но Савва Иванович не захотел считаться с мнением судей. Врубеля он отыскал в Киеве за росписью собора и навсегда был покорен его живописью.

- Не хотят - не надо... - сказал он. - Построю для Михайлы отдельный павильон, - и построил. «Микула Селянинович» и «Принцесса Греза» мало привлекали публику, а кто приходил, тот уходил, пожимая плечами и неопределенно улыбаясь:

- Декаденщина какая-то...

Но Савва Иванович не обращал внимания на посетителей. Для него важно было выставить Врубеля, а как к нему относится публика - безразлично. И в это ясное летнее июльское утро, когда с Волги тянул свежий приятный ветерок, а за Волгой зеленели яркие от солнца луга, Савва Иванович входил в свой павильон, как всегда, с особенным душевным подъемом.

- Входи, Федя, не стесняйся... - говорил он высокому белобрысому молодому парню в поддевке, в смазанных сапогах и в картузе, типичному выходцу из Вятской губернии. - Нечего в своем отечестве стесняться.

Парень заморгал белесыми ресницами и проговорил приятным баритоном:

- Да я не стесняюсь, Савва Иванович. И без вас сюда много раз заглядывал. Сначала было как-то странно смотреть на эти картины. А потом ничего. Точно обтерпелся. А вот теперь жить без них не могу. И с вами, и без вас только и торчу здесь, смотрю на этого былинного Микулу

Селяниновича вместе с Вольгой, на «Принцессу Грезу», от которой в голове какая-то ослепительная радуга... Что это такое?

- Это гений, дорогой Федя, вот что это, - ответил Савва Иванович, проталкивая Федю в павильон. - Это влияние гения, которое еще не поняли, не разобрали как следует, забраковали... Ну еще бы. По сравнению с этими гладкими академическими картинами врубелевское художество - кричащая наглость. Пятна, блики, хаос красок, нелепые изломанные или невероятной сказочной мощи фигуры. Разве поймут все эти члены жюри? Кто они такие? Красильщики, и больше ничего.

- То-то, чем больше я смотрю, тем сильнее меня сюда тянет. Видите, разница между обыкновенными картинами и врубелевскими такая же, как между музыкой Мусоргского и «Травиатой», - Федя даже пристукнул кулаком по ладони.

- Ага! - сказал Савва. - Понял-таки... А все потому, что ты сам большой артист по натуре. Смешно было бы, если бы ты не понял Врубеля.

- Да ведь и вы артист, Савва Иванович, даром, что занимаетесь железнодорожными подрядами. Недаром в молодости, живя в Италии, хотели сделаться певцом. Когда я ехал в Москву знакомится с вами - мне заранее было сказано: «Это один из крупнейших меценатов Москвы, натура глубоко артистическая».

- Ах, Федя! - со вздохом сказал Савва Иванович. - Что вспоминать прошлое... Хотел стать певцом, а стал подрядчиком. Человек предполагает, а Бог располагает. О, я знаю, что будучи подрядчиком, я оставлю свое имя России, как имя человека, тесно связанного с расцветом русского искусства.

- Еще бы... - сказал Федя, любовно оглядывая Савву Ивановича. - Когда я увидел вас в первый раз, вы сидели за столом - плотный, коренастый человек с монгольской головой, с живыми глазами, энергичный в движениях. Одно ваше слово, и я понял, что я - ваш. Такое чувство испытывают все артисты, знакомясь с вами.

Савва Иванович приосанился, и глаза его засверкали.

- Да, искусство для меня - все. И люди искусства чувствуют это бессознательно. Вот, видишь, создал сейчас оперный театр, пригласил туда тебя. А ты и понятия не имеешь, о том, что такое ты. Вот пройдет десять лет, и Шаляпин загремит по всему миру. И все потому, что я его открыл. Сейчас это никто не понимает. А потом поймут. То же и художники. Сейчас вокруг меня вот какие люди: Серов, Васнецов, Коровин, Якунчинова. И вот - Михайла Врубель. Врубель - это целая эпоха. И никто этого не понимает сейчас. А я это чувствую не головой, а всем нутром своим. Вот почему, когда художественное жюри выгнало картины Врубеля с выставки, ибо не считает его художником, я построил для него специальный павильон, независимо от их выставки. И ты увидишь, скоро увидишь, что русский купец не ошибся, поставив на ноги русского

художника. Кстати, ты слышал, что Государь, осматривая художественную выставку, несколько дольше задержался именно на врубелевском павильоне.

- Как же, как же... - оживился Шаляпин. - Во всем Нижнем только об этом и говорят. Государь заинтересовался картинами Врубеля, которые жюри и за картины не признало.

- Видишь? - сказал Мамонтов. - На такого человека как Государь картины Врубеля произвели впечатление. Значит, что-то в них есть. В общем, мне вся история с затиранием художника своими же собратьями надоела. С удовольствием бы уехал в свое Абрамцево отдохнуть на лоне природы, покататься, половить рыбу, забыть дразги.

- Это ваше имение?

- Да. В Московской губернии. Там когда-то сам Сергей Тимофеевич Аксаков ловил рыбу. Абрамцево было его подмосковной дачей. При Аксакове в Абрамцево наезжали гостить Гоголь, Загоскин, Тургенев, Грановский. А теперь, когда я приобрел это имение, у меня всегда в гостях все художники. И Серов бывает, и Коровин, и Антокольский, и Врубель. Эти ребята построили там по своему вкусу маленькую церковку. Можешь представить, какая это красота. Церковь, сделанная Антокольским и Васнецовым. Я уже и в завещании написал: когда умру, пусть меня похоронят в этой церкви. Заезжает ко мне в Абрамцево и милый человек - Антон Павлович Чехов. Однако что же не идет наш художник? Время обедать.

- В самом деле, куда же запропастился Михайла Иванович? - сказал Шаляпин, оглядываясь на дверь.

Шаляпин с Мамонтовым уселись в глубокие покойные кресла и погрузились в созерцание «Микулы Селяниновича». Циклопический богатырь глядел на них каменным нездешним взглядом и точно давил всей своей сказочной мощью.

В это время в павильон вошла молодая изящная, худощавая дама вся в сиреневых тонах, в шляпке с весенними цветами, с нервным подвижным лицом.

- А где мой муж? - недоуменно спросила дама, остановившись перед собеседниками.

- Мы его ждали вместе с вами, - ответил Шаляпин.

- А я была у сестры, думала, что вы все трое здесь, потому и заглянула в павильон. Однако очень жаль, что Миши нет. Я уже успела о нем соскучиться.

- Вот влюбленные друг в друга супруги, - сказал Мамонтов.

- Точно попугайчики-неразлучники, - подтвердил Шаляпин.

- Ах, и не говорите. Ведь еще году не прошло, как мы женились. Где же тут разлучаться. Я не могу полчаса без него пробыть.

- А скажите, Надежда Ивановна, быстро произошло ваше сближение? Вероятно, Михайла Иванович ухаживал за вами, подносил цветы, рисовал портреты, - полюбопытствовал Шаляпин. - Я думаю, год прошел прежде, чем состоялась ваша свадьба.

- Что вы, что вы... Мы и виделись-то всего два раза,- энергично запротестовала Надежда Ивановна. - Первый раз на банкете, а второй - у нас в театре, когда шел «Фауст». Я пела Маргариту. Миша пришел ко мне за кулисы, в уборную, и буквально обрушился на меня, как буря, со своей любовью. Это было что-то стихийное. Как все, что он делает.

- Такое же стихийное, как его живопись? - спросил Федя.

- Да, вы правы, именно такое. Как вот все эти яркие пятна, блики, хаос красок на его картинах. Он заявил, что умрет, если я не буду его женой. Что он так меня любит, что по первому моему слову выпрыгнет немедленно из окна, а окно на пятом этаже. Что я для него - единственное в жизни. Все остальное - прах, тлен, вздор, чепуха, даже искусство. Что, если я немедленно не соглашусь, он уйдет домой и зарежется бритвой. Я была буквально ошеломлена, поражена, сбита с толку; перед таким горячим натиском безумной страсти не устоит ни одна женщина. Надо было видеть его глаза, мечущие искры; его лицо, искаженное судорогой; его молящие жесты... И я, конечно, сейчас же дала согласие быть его женой. Нужно было видеть его радость. Она, как молния, пронзила все его существо. Он весь вспыхнул, точно электрическая лампа. И наш первый поцелуй был такой, какой больше не повторится.

Савва Иванович с напряженным вниманием слушал речь жены художника.

- Да, натура стихийная... - сказал он. - Недаром он художник, художник с большой буквы. Он не только для России: он для человечества.

В это время скрипнула дверь, и в светлом четырехугольнике появилась темная фигура.

Вошел Врубель и повернул лицо в сторону разговаривающих. Всклокоченные волосы, небольшая русая бородка и седые тревожные глаза - все это сразу осветилось лучом солнца, падавшим из окна.

- Я сейчас сделал новый набросок моего «Демона», - сказал Врубель. - Отлично удался.

- Дай посмотреть, - сказала Надежда Ивановна.

- Смотри, муза... - и художник протянул ей картон, на котором углем был набросан эскиз. Все сгруппировались около Врубеля и стали рассматривать рисунок. Эскиз изображал летящего Демона - угловатого, с острыми крыльями, с резкими дугами бровей, с пронзительными, нездешними глазами. Художник, весь уйдя в созерцание своей картины, вдруг зашипел низким голосом:

Лишь только ночь своим покровом

Верхи Кавказа осенит,
Лишь только мир волшебным словом
Завороженный замолчит,
К тебе я буду прилетать
И на шелковые ресницы
Сны золотые навевать.

Он крепко обнял жену и с нежностью заглянул ей в глаза.

- Миша, ты эдак задушишь свою музу, некому будет тебя вдохновлять, - сказал Мамонтов.

- Нет, Савва Иванович. Я свою музу не задушю. Меня моя муза задушит, пророчески это предсказываю. А теперь... вы видите, как я люблю свою женушку, - он страстно обнял Надежду Ивановну и поцеловал ее.

- Ну, голубки, достаточно наворковались, - ворчливо заметил Савва Иванович. - Пора обедать. Мы вас ждем здесь Бог знает сколько времени.

- Идем, идем обедать, - весело затараторил Врубель, - мой «Демон» хочет есть, хотя он и дух бесплотный.

- Почему вы так упорно пишете «Демонов», Михаил Александрович? - спросил Шаляпин. - Почему эта тема так завладела вами?

- Как, неужели вы не понимаете? - искренне удивился художник. - Вы - артист, вы - большой художник. Человек как объект - вот тема эстетическая. Тема искусства вообще. А человек - это падший ангел. Человек - это «Демон». Разве вы не ощущаете в себе заклятого демонизма, который незаметно мучит человека всю жизнь? Быть может, это отклик первородного греха - я не знаю. Как только человек захочет быть самим собой, захочет быть своим «я», резко очерченным индивидуумом, его начинают терзать демонические ощущения. Ибо упавший и разбившийся «Демон» - это трагедия лучших сынов человечества. Вот почему я занят этой темой; буду занят ею всю жизнь, и с таким наслаждением пишу иллюстрации к лермонтовскому «Демону». Кстати, мой любимый поэт - Лермонтов. Выше, гениальней, глубже, чем он, я не вижу никого в мировой поэзии.

Федя Шаляпин все время с напряженным вниманием вслушивался в слова художника.

- Но если так, - сказал он, - если человек подвержен закланию, если он упавший и разбившийся «Демон», к чему тогда искусство, к чему творчество, которым мы все дышим? Значит, все это ненужно, бесполезно и бесцельно?

- Конечно, цели искусства - неизвестны, - сказал Врубель. - Но оно, значит, тем и велико, что оно не подчиняется ни природе, ни логике. Для чего растет, скажем, дуб? Какая ему польза сто лет тянуть из земли соки?

Что ему за интерес каждый год покрываться листьями, потом терять их и, в конце концов, кормить желудями свиней? Вся польза и интерес жизни этого дуба именно в том и заключаются, что он просто растет, просто зеленеет, так, сам не зная зачем... Таково искусство.

- Довольно философии, - басом провозгласил Савва Иванович. - Обедать, обедать, господа. За кофе еще можем поговорить об искусстве. Надежда Ивановна, руку...

Он подхватил Надежду Ивановну под руку и энергично двинулся к выходу, с шумом отодвинув кресло. Шаляпин и Врубель последовали за ними. Художник, заломив шляпу набекрень, взял под руку Шаляпина, а последний тихим, но замечательно выразительным голосом стал напевать:

На воздушном океане,
Без руля и без ветрил,
Тихо плавают в тумане
Хоры стройные светил...

И вся компания направилась к Савве Ивановичу Мамонтову на квартиру обедать.

2

Много воды утекло. Россия, как мощный локомотив, все сильнее и сильнее развивала свою скорость на путях прогресса. Начало девятисотых годов было ярким расцветом во всех областях российской жизни. В области искусства завоевал право на существование символизм. Русские символисты-поэты - Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Блок - зазвенели своими музыкальными стихами. Книжный рынок запестрел многообразными обложками декадентских книжек. Декадентский стиль зданий был как-то по-особенному покрашен своим собственным, российским, московским декадансом - по существу, чрезвычайно утонченным и оригинальным. В музыке появился Скрябин. В театре - Шаляпин. Появились политехникумы, построенные по последнему слову науки. Появилась блестящая профессура. Михаил Александрович Врубель стал знаменит.

О его творчестве помещали большие статьи солидные эстетические журналы. Вокруг его имени зашумели споры жрецов искусства. Выставки его картин ломались от публики. Его полотна знала за граница и восхищалась им. Но жизнь его уже клонилась к закату. Злая болезнь терзала гениальный мозг художника - он был на грани безумия. Ни самоотверженный уход безумно любящей Надежды Ивановны, ни миллионы Саввы Мамонтова, ни знаменитые врачи - ничто не помогало. Художник угасал, как свеча, у которой выгорел весь воск. И в это лето Надежда Ивановна решила приехать вместе с ним в подмосковное имение

Саввы Ивановича Мамонтова, знаменитое Абрамцево.

– Там тишина, покой, деревенская обстановка – это успокоит его измученную душу... – так решила Надежда Ивановна, и с ее решением тотчас же согласился знаменитый профессор, лечивший Врубеля.

В подмосковном имении Саввы Мамонтова Абрамцево был просторный деревенский помещичий дом с верандой, откуда открывался вид на реку, с огромным садом, откуда веяло свежестью, ароматом цветов, запахом трав. В это яркое, солнечное июльское утро на веранде в уютных креслах-качалках сидели Врубель и его жена. Перед ними стоял стол, покрытый белой скатертью. Блестящий самовар горел на солнце. Вкусно дымились кузнецовские чашки, наполненные ароматным кофе. Ветчина, масло, сыр соблазняли своей деревенской свежестью.

Врубель сидел нахмуренный, мрачный. Иногда вдруг лицо его прояснялось, и светлая улыбка блуждала по губам. Надежда Ивановна, как зеркало, отражала его лицо своим собственным лицом.

– Пей, Миша, кофе. Хочешь, я тебе бутерброд сделаю?

Миша не пил и не ел. Взор его рассеянно и бессмысленно блуждал по блестящей излучине реки, видневшейся за садом.

– Кто это сидит там на реке с удочкой? – сказала Надежда Ивановна, слегка прикрыв глаза ладонью и взглядывая в даль за садом.

– Кажется, это Савва Иванович, – сказал Врубель.

– Да, несомненно, он. А правее его в широкополой шляпе – Федя Шаляпин. Слышишь? Поет.

Действительно, послышалось отдаленное пение. Мощный бас Шаляпина красиво вибрировал в свежем прозрачном утреннем воздухе. С реки отдаленно зазвучала волжская бурлацкая песня – широкая и раздольная, как сама эта русская великая река.

Эй, ухнем,
Эй, ухнем.
Волга, Волга, мать река.
Глубока ты, широка.
Эй, ухнем.

Песня все ширилась и ширилась, и вдруг замерла на высочайшей ноте, мастерски взятой певцом.

– Хорошо, – вздохнул полной грудью Врубель. – Замечательно поет парень. А давно ли был белобрысым вятским мальчишкой с белесыми ресницами. Талантище. Так и видишь простор Волги, тяжело груженую баржу, гурьбу бурлаков, которые тянут ее бичевой, ноги вязнут в желтом песке. Лица измученные. Пот каплет с загорелых лбов.

– Эй, ухнем! – в последний раз донеслось с реки.

- Миша! - шепотом, умоляюще вдруг сказала Надежда Ивановна.

- Что? Что, Надя?

- Согласись немного полечиться. Тебе нужен полный покой. В Москве в Петровском парке есть лечебница доктора Усольцева, замечательная лечебница, там идеальный уход, врачи, сиделки, тишина... Если бы тебя туда, хотя бы ненадолго...

Врубель встревожился.

- Ты, кажется, в самом деле думаешь, что я схожу с ума. Нет, Надя, не верь тому, кто обо мне рассказывает эти сказки. Я не схожу с ума, а действительно слышу голоса с неба. Это - откровение мне, художнику, откровение, которое я ждал всю жизнь. Недаром всю жизнь я писал картины. Я творил, чтобы найти истину... И вот теперь - голоса с неба...

- Миша, ты опять?

- Ну, не буду, не буду. Ты не сердись на меня. Ужасно не люблю, когда ты сердишься. А вот и наши рыболовы идут.

Тяжело отдуваясь, забирался по ступенькам на веранду Савва Иванович Мамонтов. Он был в белой расшитой русской рубашке-косоворотке; на голове широкополая соломенная шляпа. За ним шел Федор Шаляпин - могучая фигура в холщевой поддевке и в высоких сапогах. Оба с удочками, в руках ведерки, в которых плескалась и трепыхалась пойманная рыба.

- Уф! Жарко! - охнул Савва. - Десять карасей, пяток карпов. Вот моя добыча. А у Феде язи.

- А у меня язи, - отозвался Шаляпин. - Вы, Савва Иванович, подсекать не умеете. У вас раз пять срывалось.

- Ты думаешь, что раз ты знаменитый певец - значит, и знаменитый рыболов! Врешь, брат. Добычи-то у тебя меньше. Не удишь, а лапти плетешь.

- Да вы не сердитесь, Савва Иванович, - сказал Шаляпин. - Ведь в самом деле у вас срывалось.

- Ну, и срывалось... - действительно рассердился Савва. - Ну и Бог с ним. Налейте-ка мне, Надежда Ивановна, кофейку. Хорошо сейчас кофейку да с густыми сливками, да с пенкой.

- И мне тоже... - низким басом сказал Шаляпин.

Надежда Ивановна захлопотала.

- Пожалуйста, пожалуйста, господа. Савва Иванович, хотите бутерброд с маслом? Федя, вон там свежие пирожки с мясом. Горячие, только из печи.

- Благодарствуйте, - сказал Шаляпин. - А все-таки, Михаил Александрович, ты мне объясни, почему мне не нравятся портреты Серова, а твои нравятся. В чем тут секрет?

- Секрет простой... - отвечивал Врубель. - Есть такое немецкое слово «aufschwung». По-русски его можно перевести «натиск». Такая

особенная, молниеносная динамика в портретной изобразительности. У Серова нет совсем *aufschwung*. И еще – восторг. Это яркое, до боли острое чувство восторга, которое пронизывает художника, когда он создает портрет. Особая, подсознательная острота зрения, которой в обычном состоянии нет. И восторга у Серова нет. А у меня есть и *aufschwung*, и восторг. Вот поэтому тебе нравятся мои портреты и не нравятся серовские.

– А пейзажи как? – спросил Шаляпин.

– Да и в пейзаже почти также, – ответил Врубель. – Вот этот натиск есть, например, у Гоголя и Чехова.

– Ты рассуждаешь о писателях как о художниках.

– А как же!

И Врубель удивленно взглянул на Шаляпина:

– Гоголь и Чехов – два великих русских пейзажиста. Гоголь воспел дорогу, Чехов – степь... Вспомни-ка...

– М-да... действительно.

И Шаляпин замурлыкал серебряным басом какой-то неведомый напев, раздумчиво разглядывая свои ногти.

– Ну, господа, – сказала Надежда Ивановна, – вы пейте кофе, кушайте все, что есть на столе, а мы с Мишей пойдем погулять. Ему врачи предписали прогулки в такие солнечные, светлые утра на деревенской природе. Это хорошо действует на нервы, успокаивает душу... Пойдем, Миша...

– Да, да... Пошли, Надя. Где моя шляпа?

Художник с женой встали. Врубель взял Надежду Ивановну под руку, и оба спустились по ступенькам веранды в сад. Вскоре их фигуры в белых платьях исчезли за поворотом дорожки в ближайшую боковую аллею.

– Да, жаль человека, – сказал Савва Иванович, глядя им вслед. – На наших глазах разрушается. Какого художника теряет мир!

– Да, Врубель накануне полного безумия, – сказал Шаляпин. – Врачи говорят, что положение его безнадежно. Хорошо бы его устроить в лечебницу.

– Не соглашается, – с досадой произнес Савва. – Он не верит в то, что сходит с ума.

– Для него, пожалуй, нет грани между безумием и здоровым мышлением, – сказал Шаляпин. – Ведь с общечеловеческой точки зрения все его творчество – безумие, хаос красок, странные, нездешние лица, необычайные фигуры, испещренный какими-то знаками фон. Я, например, во всем его художестве ощущаю нечто космическое. Вспомните, Савва Иванович, глаза его портрета или картин: нет живых глаз. «Муза», «Пан», даже собственная жена – все они смотрят какими-то остановившимися, нездешними глазами и смотрят прямо в вечность. И что-то видят... Что?.. Видят какую-то надмировую истину, которая нам

непонятна...

- А вместе с тем такая любовь к жизни... - задумчиво заметил Савва. - Столько солнца, яркости, улыбок, движения. Вспомни его панно «Венеция».

- Да. И в то же время космическое довременное начало. Вот его картина «К ночи». Лошади, ярко-красные цветы, фавн в углу... Все овеяно чем-то нереальным, нездешним, жутким...

- Да, Врубель должен сойти с ума. Вы посмотрите, какое несоответствие - такой великий дух в таком тщедушном теле. Тело не сможет выдержать. Оно слишком хрупко, чтобы бытьместилищем необъятного и мощного гения.

В это время послышался какой-то шум в кустах, растущих у веранды, треск сучьев, потом тяжелые, быстрые шаги. На веранду, прыгая через две ступеньки сразу, вскочил растерзанный, бледный, взлохмаченный Врубель. За ним бледная, с перекошенным лицом, бежала по дорожке Надежда Ивановна. Мамонтов и Шаляпин мгновенно вскочили со стульев, точно ошпаренные кипятком.

- Опять... опять... - закричал пронзительным, визгливым голосом художник. - Опять он - дух-искуситель с каменными глазами, с крыльями, опаленными пламенем измученной мысли. Он зовет меня, он кричит мне: «Пора, пора, пора». Я вижу его дьявольское лицо, искривленное усмешкой. Он смеется надо мной, Врубелем. Он говорит, что я также упаду с неба и мое бедное, изломанное, истерзанное тело будет истекать кровью на голых острых скалах. Помогите мне, помогите. Помнишь, Федор, ты пел «Бориса Годунова». Борис умирает, к нему идет патриарх, чтобы постричь его в монахи. Он видит это, он в ужасе, он еще не умер, он кричит: «Я царь еще, не подходите. Я царь еще...». Вот тогда я в первый раз услышал голос с неба, увидел искусителя и ужаснулся, ужаснулся... О, Боже!

Врубель упал на пол веранды и забился в судорогах. На губах его показалась пена.

- Воды, воды скорей. Доктора! Доктора! - истерически завопила Надежда Ивановна. - Миша! Миша! Очнись, дорогой, любимый, это я, твоя жена. Это я держу твою голову в своих руках, я глажу твои волосы, целую твои глаза. Никого нет. Тебе просто почудилось.

- Бегу, бегу за доктором... Не пугайтесь, Надежда Ивановна, - засуетился Мамонтов. - Федя, немедленно беги к телефону. Кричи Антипу, чтобы запрягал. Немедленно на станцию. Телеграфируйте Усольцеву - пусть тотчас же выезжает. Все расходы беру на себя. Скорее, скорее.

Мамонтов и Шаляпин торопливо разбежались в разные стороны. Врубель слегка успокоился. Судороги перестали его мучить. Он затих. Через некоторое время послышался его слабый голос:

- Надя, это ты? Ты – любимая, муза моя? Да, я узнаю твои руки, твои теплые нежные руки, я не вижу тебя. Почему? Я ослеп. Да, я ослеп. Но разве ты не слышала голос с неба, грозный голос, который повелительно говорил: «Умри». Да, я умру... я должен умереть... А жизнь так прекрасна... Краски, звуки, запахи... О, земля, земля. Как я обожаю тебя. И разве не изобразил я всей твоей прелести в своих картинах? Впрочем, вся ты – земная жизнь – только символ. Только прекрасный радостный символ будущей жизни, о которой говорит Христос. И этот символ – это то, что я видел, создавая свои картины. Мои картины – символ будущей жизни. А как она не вяжется с действительностью. Нет... смерть... смерть... смерть лучше. Только смерть примеряет все противоречия. Но... Боже. Опять голос с неба... Опять Демон с каменными глазами, с изломанными крыльями... Опять он кричит. Виденье... виденье... Я вижу виденье свыше... Пророк Иезекииль... Истерзанный страшными муками пророк... Я писал с него картину... Вокруг него – мечи, цветы... и драгоценные камни... Надя! Надя, спаси меня!..

- Бедный, бедный мой... Страдалец... Мученик...

И Надежда Ивановна с рыданиями опустилась на колени, прильнула к помертвевшему лицу своего мужа.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 20. С. 1-10.

ВЕЛИКИЙ ПОСТ

Хозяйственный и крепкий мужик Иван Сидорыч Воронов скоро вышел в купцы. Дом его был ладный, пятистенный, с дворовыми пристройками, амбарами и стайками для скота, крытый железом.

С сотню десятин заседал он пшеницей, разводил хороший убойный скот, торговал на всех ярмарках Приуралья, занимался по малости «золотишком», т. е. кустарной золотопромышленностью, продавал лес, скупал меха, словом, работал не покладая рук.

В результате в селе Караульском не было зажиточнее, дельнее и хозяйственнее его человека. Считался он тысячником, имел пару дорогих рысистых коней, до которых был вообще большой охотник; имел большую семью – красавицу жену Дуню, тещу Авдотью Марковну и пятерых ребятишек. Женился он по любви. Не такой был человек Иван Сидорыч Воронов, чтобы жениться по расчету. Жена Дуня, кроме своей красоты, ничего ему не принесла. Да еще, пожалуй, пылкую, горячую супружескую любовь. Все было хорошо. Жизнь текла, как по маслу, – сытно, привольно, спокойно. Одно только портило все дело – характер Ивана Сидоровича Воронова. При огромной силе воли, работоспособности, настойчивости и

уме он был невероятно азартным человеком. В азарт его вводило все, что только способно было ввести в азарт: карты, ссоры, лошадиные бега, драка «на кулачках», даже самый невинный спор.

Бывало, разгорячившись, выходил он из себя, клялся, божился, делал разные глупости.

И вот тут-то выступала на сцену Дуня с ее красотой и ангельской кротостью. Стоило ей подойти, обнять мужа, шепнуть пару ласковых, умиротворяющих слов, и Воронов успокаивался, отходил, делался прежним рассудительным человеком.

В последний день масленицы широко развернулся Иван Сидорович Воронов. Устроил он российские обильные блины в огромном количестве, с балыками, семгами, икрой, со сметаной и маслом. Выставил к ним несколько четвертей водки, заграничного коньяку, пива. Позвал гостей, все дружков, таких же лихих дельцов и купцов, как и сам. И заварил пир на славу.

Гости пили, ели, развязывали хмельные языки, похваливали хозяина, отпускали шуточки хозяйке и делались все веселее и веселее. Иван Сидорович, хватив изрядно хмельного, расхвастался.

– Все у меня есть! – кричал он, стуча кулаком по столу. – Дом есть, хлеб есть, деньги есть, и только самому себе я обязан своим благополучием.

Он поднял свои жилистые, мозолистые руки.

– Вот этими руками все сделано. И вот этой головой, – он указал на свою бородатую большую голову. – Никому не обязан!.. Только самому себе... Вот каков есть человек Иван Сидорович Воронов!

Гости слушали, поддакивали; хозяйка усердно подливала в рюмки и стаканы; гости чокались с хозяевами и провозглашали: «Во здравие хозяина и хозяйошки!». И шли лобызаться с подгулявшим хозяином. А один из гостей, молодой холостяк Парфен Григорьевич, налил свою рюмку, чокнулся с хозяином да и крикнул на весь стол:

– Гости дорогие и хозяева дорогие. Верные слова сказал Иван Сидорович, золотые слова. Все свое благолепие создал он собственной головой и собственными руками. Умный мужик, деляга, что и говорить. Только в одном он обчелся. Есть у него пара тысячных кровных рысаков. Хорошие лошадки, что и говорить! А только супротив моего Сокола не устоят. Куда им! Мой Сокол их, как стоячих, обойдет!

– Что-о-о?! – побагровев и задохнувшись, протянул Иван Сидорыч, войдя внезапно в азарт. – Как ты сказал?! Обойдет, как стоячих? Это чтобы моих Паву да Коршуна обошли, как стоячих! Врешь, парень!!! – и он так стукнул кулаком по столу, что разбил тарелку и уронил бутылку с драгоценной влагой, и порасплескал все рюмки. – Этому не бывать! – крикнул он во все горло. – Какой угодно ставлю заклад, что обойдут твоего Сокола! Всем имуществом отвечаю.

- Идет! - сказал Парфен Григорьевич. - Согласен, ставлю пятьсот в заклад.

- Принимаю! - крикнул Воронов. - Еду на Коршуне - он слабее Павы, а даром, что Коршун твоего Сокола обойдет.

Хозяин и гости, облачившись, вышли на крыльцо; работникам был отдан приказ, и через двадцать минут на двух санках, запряженных рысаками, мчались оба единоборца по широкой трактовой дороге.

Парфен Григорьевич победил. На Воронове лица не было от злобы и азарта.

- Бери свои деньги! - кричал он, отсчитывая пятьсот рублей. - Но помни! Если еще раз поедешь со мной - я поеду на Паве, ставлю против тебя дом, пятьсот рублей и... и жену.

Как это слово сорвалось у него с языка, он и сам не понимал. Но слово не воробей, вылетит - не поймаешь. Молодой Парфен Григорьевич, чернобородый красавец и известный в округе сердцеед, лукаво ухмыльнулся и промолвил:

- Принимаю. Смотри только не спячься на слове.

Но тут вступилась в дело Дуня, жена Воронова. Гневная, растрепанная, в наспех наброшенной шубейке на плечах, еще более красивая, чем всегда. Она выскочила на крыльцо и накинулась на обоих соперников.

- Да вы оба с ума сошли! Парфен Григорьевич, как тебе не стыдно! Или не видишь, что человек пьян и ума решил? Как ты можешь принимать такой заклад - есть на тебе крест или нет?!

Она покраснелась, разругалась на морозе и была неописуемо хороша.

- Иван! Муж ты мне или не муж! Как ты можешь меня, свою жену, в заклад поставить? Столько лет жили душа в душу, пятеро ребятишек у нас, а вдруг: доверяешь своей кобыле. Обойдет - я твоя; нет - я его. Сумасшедший пьяный дурак. Чтобы ничего этого не было.

- Ну, ладно! - сказал озадаченный Иван Сидорович. - Видишь! Жена не позволяет. Ставлю пятьсот, как и в первый раз.

- Согласен! - ответил Парфен Григорьевич. Соперники снова помчались в санках по тракту, и снова Сокол обошел Паву.

Воронов выложил новые пятьсот рублей, широко перекрестился, вытер вспотевший лоб и сказал:

- Ну, спас Бог от разоренья и позора.

* * *

Наступил Великий пост. Зазвенели печальные колокола, засинели задумчиво весенние сумерки, заалела заря на западе, меланхолично и проникновенно, окрашивая в пурпур талый снег и белые березы. Казалось,

вся природа переживала особенную тишину, умиротворенность и смирение.

Сидел в своей комнатухе-кабинетике перед столом, где валялись конторские счета и разные бумаги, Иван Сидорович Воронов. Сидел, вздыхал и с раскаянием вспоминал угарные, пьяные, буйные дни масленицы. Вспоминал, как он – солидный, деловой, женатый человек, отец большого семейства – бахвалился пред людьми, кичился самим собой, спесивился своим богатством, непристойно превозносил себя до небес и многим гостям вместо полной пятерни протягивал два пальца.

– Ох, грешен, грешен, грешен... – шептал, кряхтя и морщась, Иван Сидорович. – Как еще только земля держит меня, окаянного.

И вспомнил он разгульную картину своего масленичного состязания на рысаках. Вспомнил и схватился за голову от стыда.

– Боже мой! – говорил он сам себе. – Ведь был бы сейчас нищим, голым и голодным. Не вступишь жена, и дом, и деньги – все бы пошло прахом из-за пьяного дикого чванства. Столько лет труда, столько лет напряженных усилий – все ради одного глупого слова, все полетело бы в пропасть. А все она ангел-хранитель – Дуня моя ненаглядная. Не будь ее, я бы не человеком был. А я еще, низкий грешник, вздумал и ее на заклад поставить! Доколе же Бог будет прощать мои прегрешения, все мои низкие, недостойные человека поступки?! Загордился я! Возвысил себя не в меру! Думал, что выше меня и человека нет на земле... Ну вот и наступило Божье предупреждение – опомнись, Иван! Ты на краю гибели...

Так сидел в своей клетушке Иван Сидорович Воронов, горько каялся и терзался муками совести.

А великопостный вечер медленно плыл над оттаявшей весенней землей, навевал тихие грезы, смиренные мысли о тщете всего земного, о страданиях Христа, Великого Испытателя всего человечества.

Строго, тихо и печально было в природе. То же было и в человеческих сердцах, точно вовеки не царил в них варварский масленичный разгул с блинами, тройками и балаганами. Когда же поплыл гулкий величественный великопостный перезвон колоколов и встрепенул ожившие исканием Бога человеческие души, Иван Сидорович Воронов встал, оделся и, выйдя на улицу, тихонько побрел к церкви.

Церковь стояла белая, скромная и сиротливая, в черных ветвях не проснувшихся еще от зимней спячки берез... Войдя на паперть, Воронов оглянулся и – точно встретился с вечерней зарей, печально догоравшей раскаленным углем на сиреневом небе. В благоуханном синем дыму чуть сверкала позолота иконостаса. Теплились лампы перед строгими ликами икон. И священник, вставший на амвоне, проникновенно провозгласил простые и мудрые слова молитвы Ефрема Сирина:

– Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния,

празднословия и любоначалия не дождь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, смирения и любви даруй ми, рабу Твоему!

И пал на колени Иван Сидорович Воронов и, припадая к холодным плитам пола, всей душой почувствовал величие смирения и целомудрия.

В русскую простую мужицкую душу вошел Великий пост с его стенаньями, покаянием, смирением – с его очищением человеческого сердца накануне великого чуда Воскресения Христа.

Умиленный, просветленный, точно вымывшийся в бане вернулся Иван Сидорович Воронов домой. Дома царило великопостное настроение – пахло маслом, рыбой, редькой.

Дуня деловито возилась в кухне, гремя горшками и ухватами. Иван Сидорович прошел в горницу, где тихо теплилась красная лампадка перед образом Спасителя. Иван Сидорович взглянул на образ, и невольно рука поднялась для крестного знамения. Столько было скорби, любви и всепрощения в страдальческом взгляде огромных глаз, над бровями которых нависли капли крови, бегущие из-под тернового венца.

– Боже, прости, помоги и помилуй! – зашептал торопливо Иван Сидорович, отбивая земной поклон. – Дуня, Дуня! – крикнул он. – Иди сюда, голубка.

Дуня вышла из кухни, раскрасневшаяся, с засученными рукавами.

– Что тебе, Сидорыч? От работы отрываешь – не до тебя сейчас.

– Дуня! Голубка! – повалился ей в ноги Иван Сидорыч. – Прости ты меня, окаянного, за мой масленичный грех. Вот сейчас был в церкви: отмаливал его и не могу успокоиться, пока ты сама меня не простишь. Как только подумаю, что бы было, если б тебя пришлось отдать чужому человеку, – даже волосы дыбом становятся. Грешник я, окаянный, нет мне названия на земле... Родную жену в заклад поставил, точно вещь какую, точно рубль с копейками... Пожалей ты меня, окаянного. Прости. Без твоего прощения с колен не встану. Голубка моя ненаглядная... Бог спас тогда и меня, и тебя.

Дуня стояла над мужем, призадумавшись. Хороший человек был Сидорыч, хороший муж и семьянин, но пагубная страсть, дикий азарт губила его. И Дуня поняла, что настал момент, когда она может исцелить мужа от этого злого порока, портящего жизнь им обоим.

– Хорошо! – сказала она. – Я прощаю тебя, но только тогда, когда ты мне дашь слово, что не будешь больше играть в карты, ставить заклад на лошадей, биться об заклад. Не будешь больше азартничать. Дай мне такое слово, и вот тебе мое прощение.

Сидорыч встал с колен и торжественно направился к иконе Спасителя.

– Вот, Дуня, видишь, перед иконой Творца, Господа нашего Иисуса Христа, даю тебе честное слово, что никакими азартными делами больше

заниматься не буду. Будь я проклят, если не сдержу этого слова. Христос тому свидетель.

Дуня обняла своего грешного мужа и крепко прижала его буйную голову к своей трепещущей груди.

И с этого дня жизнь их потекла спокойной, могучей, полноводной рекой: дом – полная чаша; хорошо налаженное хозяйство; большие неторопливые коммерческие дела; во всем изобилие и щедрость; хозяева, полные здоровья и радости жизни. Точно кто-то задумал нарисовать с них обоих картину сочного, красивого, богатого русского быта – купеческого быта, такого яркого, основательного и красочного.

И никогда больше не вспоминали супруги своей злосчастной масленицы.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1944. № 10. С. 1-4.

ДИТЯ ПРИРОДЫ

Дядя Егор Коркин, первый промысловый охотник деревни Тайга, имел совершенно квадратную внешность. Если прямо взглянуть на него, получалось впечатление, что из колоссального квадратного куска картона выкроили очень неудачно фигуру широкобородого, серого, как кремь, мужика.

Ноги, линия рук и туловища представляли почти одну прямую линию. Рыжая, лопатой, борода, чрезвычайно мясистый нос, дремучие рыжие брови и узкие синие глазки, пронзительно впивающиеся во все предметы, – вот дядя Егор Коркин.

От него всегда пахло сосновой хвоей, сырым мясом освежеванной дичины и ужасной махоркой-самосадкой, которую он выращивал на собственных плантациях за баней.

Плантации эти представляли из себя квадратную сажень скверной земли, почти голый песок, но тем не менее дядя Егор Коркин собирал с них табаку ровно на год, чем весьма гордился.

В ясное тихое утро в глухом бору, верст за двадцать от деревни, тихо брел он по сосновым прошлогодним шишкам, выставив вперед громадную бороду, не стукнув, не звякнув, изредка прислушиваясь и обегая острыми глазками каждую сосновую ветку и каждый чернеющий в дебрях бурелом.

На ногах его были одеты поршни-сапоги из конской кожи, подтянутые к бедрам ремешками, на плече, как копьё, тянулась длиннейшая берданка старого солдатского образца, винтовка, рассверленная под дробовой патрон.

Егор стрелял из нее и пулей, и дробью, бил и глухарей, и медведя, даже белку и рябчика – бил без промаха, устраивая животным ужасные раны по вершку и по полтора шириной, т. к. сэкономил порох, почему пуля била боком и слабо.

Называл он свое оружие «бердяной», ухаживал за ним, как за ребенком и берег пуще глаза.

Длинная сермяга под цвет прошлогодней травы и сосновых стволов, такая же войлочная шляпа, рыжая борода и серое лицо – все это совершенно сливалось с красно-серо-зеленым колоритом угрюмого урамана.

Разве только очень острый глаз мог отличить дядю Егора Коркина от сосен и буреломов, когда он шел по следу в лесу.

Точно сохатый или олень, он имел покровительственную окраску и мог идти, все видя и оставаясь невидимым.

Тихо шел дядя Егор Коркин, прислушиваясь к каждому звуку и наблюдая каждое движение в лесу.

Солнце ярко бросало желтые лучи на темную зелень трав и деревьев. Вверху по синему небу лебедями плыли белые облака. Вершины сосен звенели и пели свою старинную могучую песню.

Попалась быстрая, клокочущая, покрытая пеной, лесная речонка Моховка.

Она фыркала, плевалась, злилась и мчала куда-то на север свои сердитые воды вместе с кувшинками и листьями лопушника.

Егор снял свою «бердяну» с плеча, отстегнул от пояса жестяную кружку, перекрестился, зачерпнул воды и выпил.

Поглядел на солнышко.

– Четыре часа.

Шагнул два раза по серым камням, лежащим в русле, и снова углубился по ему известной звериной и утоптанной тропе в дебри.

II

Компас ему был не нужен.

По тому, как растут вершины деревьев, – где больше и длиннее сучья, – по мху на коре стволов, по солнцу, Егор безошибочно определял направление севера и юга. Подняв свою бороду, как красную лопату, кверху, он нюхал воздух своим мясистым носом и шел туда, куда ему было нужно.

Если бы ему завязали глаза и отвели от родной деревни верст за триста в глухой урман, он через четыре дня был бы дома, ибо чутье его и инстинкт действовали всегда безошибочно, как хорошо намагниченная стальная стрелка.

Перейдя Моховку, наткнулся Егор на медвежий след.

Встав на колени и рассмотрев его, определил, что прошла самка, видимо, тяжелая медвежонком или плотно пообедавшая, прошла всего часа четыре назад.

Подумал и решил пойти по следу.

Серебристые березки с зеленым мхом на белой коре и черностволовые, темно-хвойные сосны трепетали над быстро мчавшейся речкой Моховкой, струи которой вели торопливый разговор.

И казалось Егору, что и березы, и сосны, и речка Моховка славят великого урманного Бога, имени которого он не знал, но грозное дыхание и могучую всевластность чувствовал всегда.

Остановился Коркин, вынул из кармана лепешку, испеченную на сохатином сале, и благоговейно положил ее на обугленный листовичный пенёк.

– Вот тебе приклад, хозяин.

Сказал, поклонился пенёчку и, совершив жертву, неслышно заскользил дальше, маяча своей длинной «бердяной» на плече.

Идя по медвежьему следу, незаметно вышел он на большую широкую поляну, услышал человеческие голоса и остановился в тени огромного кедра.

Посмотрел. Женщина. Белое платье и алая шапочка на голове.

«Э, да это нашего лесничего дочка!..».

С ней стоял какой-то молодой, вихрастый, в маленькой фуражке, с двустволкой на плече. На краю поляны мирно пощипывали траву стреноженные оседланные лошади.

Егор прислонил свою «бердяну» к стволу кедра, сел на землю, свернул козью ножку, набил ее своей ужасной махоркой, задымил и стал наблюдать.

«Должно, любовь крутят», – подумал он, видя, что молодые люди, оживленно жестикулируя, горячо о чем-то разговаривают.

«Господа всегда язык чешут. У нас не так».

Вихрастый взял руку девушки, горячо и выразительно пожал ее, поднес к губам и почтительно поцеловал.

«Эка! Да чтоб я своей Авдотье руку целовал. Какая сласть?», – искренно удивился Коркин и продолжал наблюдать.

Вихрастый взял под руку девушку, и они медленно направились к лошадям, продолжая разговаривать.

«Значит я Авдотье руку должен совать под мышку? Зачем? Что она охромела что ли... или больная какая. Ежели больная, так на что такую бабу? Чудеса!».

Наблюдая дальше, Егор увидел, что парочка подошла к лошадям. Несколько мгновений они стояли, смотрели друг на друга, точно любясь собой, освещенные желтым солнцем на яркой зелени поляны, на

темном фоне сосновых стволов.

Потом вихрастый раскрыл объятия, она упала ему на грудь, и они слились в долгом горячем поцелуе.

Затем сели на лошадей и тихо направились вглубь леса.

«Только-то и всего!.. – хмыкнул Коркин. – Так и не слюбились. Э-э-эх! Так ни зверь, ни птица, ни человек не делают. Одни господа. Как только у них ребята рождаются?..

И на что такие живут...».

Он презрительно выплюнул «цигарку» изо рта, встал и снова заскользил своим оленьим шагом по свежему следу медведицы. Снова зачернели мрачные бурые отводы сосен, пихт и кедровника, затаились в делях осторожные звериные тела и загудела суровая, затаенная, беспощадная лесная душа в перезвонах высоких деревьев.

Только там, наверху, весело смеялось желтое солнце, прячась за белые облака, лебедями плывущими по синеве.

Впервые опубликовано: Логинов В. Ял-Мал: Сборник рассказов. Харбин, 1930.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 281-284.

ТРОЙКА

Помню широкую радость и ощущение крепкой, как вино, силы, которые я испытал тогда, в золотой разгар осени, в один из военных годов в России. Дело было в глухом лесу на Урале, на берегу громкой, как водопад, горной речонки Каменки, на кордоне у Васюхи-полесовщика.

Румяным вечером солнце обзолотило верхушки сосен, елей, пихт, небо с одной стороны стало сиреневым, а с другой – красным, как раскаленный уголь.

Я и Васюха сидели на завалинке у тесовых, свежеструганных ворот, которые сладко пахли. Вдруг по тракту из-за пригорка задымилась пыль. В плетушке-коробке ехал стражник Юдин. Стражник – как жук. Черный, с большой кудлатой бородой, цыганскими вороватыми глазами. Таких много было тогда по деревням. Шашка торчала наружу – для показа, чтоб все знали, что едет начальство. Стражник откозырял. Стражник охнул, как полагается. Стражник слез с плетушки. Стражник зыкнул начальственным басом:

– Здорово, Васюха, и вы, Илья Ильич.

– Здорово, Юдин. Зачем пожаловал?

– Привез тебе, Васюха, повестку. Твой год собирают. Готовься завтра ехать в заводское управление. Повоюй за царя и отечество.

Из окна выглянула Таньша, молодуха Васюхина, русоволосая, крепкотелая, полногрудая.

– Свет ты мой...– завопила она. – Убьют тебя на войне, не ходи ты туда, миленок мой.

– Брось, Таньша, – сказал Васюха. – И получше нас умирают, ежели смерть придет. А я умирать не хочу. А воевать буду, ядрена-зелена.

И он крепким словом точно припечатал немцев.

– Поезжай, Юдин, к Фоме. Пущай приезжает. Скажи, что рекрута отправляют. Проведем ночку повеселей. Да у него запас пива и водки – пущай все везет. За все плачу.

Юдин застегал Воронка, тронулся шибкой рысью дальше, к соседу Фоме, а мы стали готовиться к пиру.

И вот тут я увидел, как весело, озорно и храбро собирался Васюха на войну.

– Таньша! – покрикивал он. – Ходи веселей. Мы ему покажем, ядрена-зелена.

А Таньша ходила – веселая, полногрудая, крепкотелая – и такой же плясала с красным платочком под залиvistый визг трехрядной гармоникки.

I

А рано утром у крыльца стояла тройка гнедых жеребцов, молодых и горячих, запряженных в плетушку, и на козлах сидел Гайнутдин, татарин, Васюхин батрак, перебирал вожжи и чмокал толстыми губами, чуть проросшими колючими серыми усиками.

– Садись, хозяин... И ты, садись...

Мы с Васюхой уселись в плетушку. Таньша стояла рядом и не выпускала Васюхиной руки.

– Поминай, Таньша, нашу лавочку в баньке почаще да смотри, не шали без меня. Писать буду – отвечай. Айда, залетные!

Кони рванулись, плетушка загремела коваными колесами, пыль за клубилась сзади, исчезла и Таньша, и кордон, мелькнули седые струи речки Каменки, и в свежее, ясное осеннее утро стрелами вонзилась широкая раздольная радость. Вздохнули – и грудь наполнила крепкая, как вино, сила.

Воздух свистал навстречу, точно буря поднималась; пар шел из лесу; сырость клубилась над придорожными канавами; веяло от травы утренними ароматами, точно травы кто-то полил крепкими духами; сосны стояли в тихих туманах; на красных, синих и желтых цветах блестели капельки обильной росы. Желтый край солнца только что показывался на востоке.

Тишина кругом звонко вспугивалась нашими бубенцами и колокольчиками.

А небо было такое же сиреневое, как и вечером, и на нем – ни облачка.

Сзади тарактел Юдин на своем Воронке.

– Валяй, Гайнутдин, по всем по трем. Рекрута везешь. Вези веселей.

– Латна, хозяин. С горы пойду – держись, – Гайнутдин подстегнул ретивых коней еще лишний раз, и мы окончательно превратились в птиц.

И вот взлетели на высокую гору, чье имя – Поклонная, откуда вид на все четыре стороны, где на вершине стоит каменный идол неизвестно с каких времен, откуда синее в глаза круглое горное озеро с островами, с утесами, со стаями уток, плавающими у мшистых берегов, с табунами лебедей, точно играющими на арфе – так музыкальны и звонки их крики.

Взлетели. Как будто остановились на минутку. И ринулись вниз.

II

И вот тут началось.

Пять верст был спуск. Спуск был по каменистой, кремнистой почве. Спуск был извилистый и колеистый. Спуск был ухабистый – весь в рытвинах и ямах. Словом, это была русская дорога. Звон наших бубенцов и колокольчиков слился в один пронзительный тонкий визг, снизу шла частая дробная бомбардировка острыми мелкими камнями в дно плетушки, кони распластались, вытянулись, превратились в один гнедой вихрь, и двенадцать ног бешено, почти неуловимо выбрасывали заряды пыли и твердых комков земли.

– Ух ты-ы-ы... – визжал, как одержимый, Гайнутдин. – Имянинники!..

И ременный длинный кнут сумасшедшей змеей вился в воздухе.

Васюха встал, схватил Гайнутдина за кушак, глаза его расширились, лицо побледнело, он ревел что-то невообразимое и махал левой рукой в воздухе, точно отсчитывал такт.

А такт был, и был ритм – бешеного, безудержного веселья, широкой, невыразимой радости и крепкой, как вино, силы.

Мускулы напрягались, кулаки сжимались, грудь, как мехами, забирала воздух.

– У-ух-х ты... – завыл снова Гайнутдин.

Васюха уже обнимал его за плечи. Я также оказался на ногах и обнимал Васюху. И вся эта странная группа летела странной бескрылой птицей бомбометно в неизмеримое пространство.

Мелькали какие-то зеленые кусты. Пара ворон круто замахали над нами крыльями. Какой-то полубелый зайчонка в ужасе заскакал рядом и вдруг пропал в придорожной канаве. Воздух свистал в уши, как гигантская дудка.

– Ух ты-ы-ы... – еще тоньше, пронзительнее и восторженнее завыл Гайнутдин.

Гнедой вихрь в своем бешеном вихревом движении, казалось, втягивал в себя серую ленту дороги. Дальше... Дальше... Дальше...

«Ры-ры-ры-р-р-р-р...», – рычали колеса. Визг татарина, вопли Васюхи и белая пена, вдруг клочьями полетевшая с коренника, – все это создавало почти религиозный экстаз. Должно быть, хлысты нечто подобное чувствуют во время своих радений.

И – вдруг...

Татарин повернул к нам свое жидкоусое рябое лицо:

– Вась, а Вась... о-обры-ыв...

– Де-ержи-и-и... – закричал Васюха и разом сел в плетушку. Грохнулся и я рядом с ним.

И тут Гайнутдин показал себя.

Вдали мерещился желтый почти отвесный обрыв, видимо, сделанный во время ремонта тракта и еще не засыпанный.

Серая лента дороги вдруг прекращалась, грозно чернела гранная черта.

И дальше опять начинала виться – каменистая, ухабистая, колеистая.

Татарин был в красной кумачевой рубахе. Татарин был в плисовой поддевке-безрукавке. Татарин был в лиловой, шитой золотом тюбетейке. Татарин был с засученными рукавами. И его руки – узловатые, мускулистые, жилистые, синие даже при розовой утренней заре – стали, точно отлитыми из чугуна.

Они затвердели, окоченели, застыли в одном гигантском непередаваемом усилии. Несколько толстых синих жил набухли, налились кровью, стали похожи на крепкие канаты. Бицепсы и двуглавые мускулы задышали неровно, точно гигантские жабы. Откинув весь свой жилистый, крепкоплечий, тонкопоясный торс назад, Гайнутдин тянул вожжи, как паровая лебедка. От него запахло едко и пронзительно человеческим потом. Шея его побагровела, стала ужасной, потому что казалось, что вот-вот лопнет на ней кожа и фонтаном брызнет оттуда красная горячая кровь. Из горла рвался басовый прерывистый хрип. Под ногами трещали от свирепого упора рябиновые дроги.

И вот, когда обрыв уже налез вплотную, когда мы должны были вертящимся и грохочущим кубарем стремглав полететь в бездну, когда смерть спокойно и просто заглядывала всем в глаза, разом вздыбились все три коня.

На дыбах повернул их Гайнутдин вправо и на дыбах же заставил отвести плетушку на роковой шаг назад.

И мы спаслись.

III

На берегу того горного озера, что было видно с Поклонной, где острова, утесы, табуны уток и табуны лебедей, играющих на арфе, остановилась наша взмыленная тройка с дымящейся плетушкой.

Хрестоматия

Пар шел от коней. Бока были круто втянуты. Гнедые борзые жеребцы, час тому назад такие ярые, стояли, понутив гривастые огромные головы.

Мы сидели, еще полные экстаза и предсмертного ожидания.

– Таньшу бы сюда... – прохрипел Васюха, стараясь улыбнуться.

– Куда вас черт гнал? – послышался начальственный голос Юдина, и крепкое слово зазвучало сзади.

– Таньшу бы сюда... – мечтательно прохрипел снова Васюха. Я лежал рядом с ним и понемногу отходил.

Гайнутдин слез с козел, постоял неподвижно, потер себе плечи и поясницу, взглянул на дымящихся жеребцов, взглянул на нас.

– Уф!.. – вздохнул он широченной грудью. И пошел купаться.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1930. № 9.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:

В 10 т. Пекин, 2005. Т. 9. С. 314-318.



**Венедикт Николаевич
МАРТ
(1896-1937)**

Поэт и прозаик Венедикт Март (настоящая фамилия Матвеев) родился 27 марта 1896 г. в городе Владивостоке в семье известного писателя, краеведа Н.П. Матвеева (Амурского). Писал стихи, поэмы, прозу, занимался переводами. Автор около 20 книг. Первые известные стихотворения датированы 8 августа 1913 г., а первая книга стихов «Порывы» вышла в 1914 г. в типографии отца. В конце 1914 г. выехал в Москву, в 1915–1917 гг. жил в Петрограде. В 1918 г. путешествовал по Японии, писал танка и хокку, посылал путевые заметки и этнографические очерки в дальневосточные журналы. Являлся активным участником группы футуристов «Творчество», редактировал журналы «Искусство», «Великий Океан», сотрудничал в изданиях «Бирючь», «Воскресенье», «Заря», «Неделя», «Петроград» и др. В 1919 г. уехал из Владивостока в Харбин, где прожил около 5 лет и опубликовал несколько книг собственных стихов и переводов древнекитайских поэтов. В 1923 г. (по другим сведениям, в 1924–1925 гг.) вместе с сыном вернулся в СССР, издал ряд прозаических книг, в том числе, на восточные темы. В 20-е годы В. Март в соавторстве с Н. Костаревым (под общим псевдонимом Никэд Мат) написал приключенческий роман-трилогию «Желтый дьявол» о Гражданской войне на Дальнем Востоке. В 1928 г. в Москве вышли сборники его рассказов «Логово рыжих дьяволов» и «Сборник рассказов». В этом же году был впервые арестован, сидел в Бутырском политизоляторе. Выслан на 3 года в Саратов. В начале 1930-х гг. жил в Ленинграде, где вышли его книги «Речные люди: Повесть для детей из быта современного Китая» (1930), «Золотой поезд» (1931), «Китайские рассказы» (1932). Активно участвовал в неофициальной литературной жизни Ленинграда, сблизился с Д. Хармсом, стал прототипом «поэта Сентября» в романе К. Вагинова «Козлиная песнь» (1926). С 1934 г. поселился в Киеве. Здесь В. Март опубликовал книгу «Дэрэ – водяная свадьба». Повторно арестован 12 июня 1937 г. по обвинению в шпионаже в пользу Японии. 16 октября 1937 г. расстрелян. Реабилитирован посмертно в мае 1989 г.

Ист. и лит.:

Гребенюкова Н. Прочитай, как был изъят человек из жизни... // Рубеж. 1998. N3. С. 217-224.

Евтушенко В. Пощечина самолюбию // Евтушенко В. Древо плодоносящее: Биография уникальной литературной династии Матвеевых. Владивосток, 2004. С. 32-47.

Катеринич В. Футуристы на Дальнем Востоке // Дальний Восток. 2002. N 5-6. С. 287-297.

Кириллова Е.О. Дальневосточная гавань русского футуризма. Владивосток, 2011. С. 116–137.

Кузнецова Т. Март Венедикт // Кузнецова Т. Русская книга в Китае (1917-1949). Хабаровск, 2003. С. 224-225.

Розенблит В. Не канул в лихолетье... // Утро России. 1997. 10 октября. С. 7.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 198.

Забияко А.А., Левченко А.А. Художественная этнография В. Марта: образы китайцев в прозе 1920-х гг. // Россия и Китай на дальневосточных рубежах // Вып. 10. Благовещенск: Амурский ун-т, 2012. С. 219–237.

Забияко А.А., Левченко А.А. Художественная этнография В. Марта: дальневосточный период // Гуманитарные исследования в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2014. № 4. С. С. 150–165.

Забияко А.А., Левченко А.А. «Кошмарная чужь» японского бестиария: образ Каппы в русской литературе начала XX в. // Религиоведение. 2014. № 3. С. 187–196.

Забияко А.А. Ментальность дальневосточного фронта: литература и культура русского Харбина. Новосибирск, 2016. С. 283–308.

РАСПЕЧАТАННЫЕ ТАЙНЫ
(Миниатюры)

Женщина

Я много ласкал их – и всегда они были непонятны мне. Если я понимал на миг, то не мог ласкать больше, – ибо тогда моя ласка унижала их и пригибала...

Я целовал ноги, колени, живот, руки, глаза, рот – все у женщин, но никогда не целовал их пятки и за ушами...

Когда поцелую пятки и за ушами, тогда женщины будут скучны мне и больше не нужны.

Впрочем, я люблю горбатую и шестипалую.

* * *

Женщина под одеялом всегда виновата пред тобой, если ты думаешь молча.

– Зажги лампу или спроси ее о чем она думает. Это ее отвлечет и утешит.

* * *

Когда женщина зевнет, спроси ее о любимом цвете платья – она растеряется и полюбит тебя на миг – до следующего зевка... Тогда ты зевни вслед за ней, и она будет ревновать и бояться тебя...

Ты победил ее.

Можешь тушить лампу...

* * *

Женщина, если умна, – несчастна или скучна, как пень. Умную женщину надо ласкать при свете...

* **

Женщины любят любовников, когда те спят. Они тогда присматриваются к ним жадно и знойно.

Спящий возбуждает женщину, но она боится его, пока не оглянется или не разбудит.

** *

В темноте женщину ласкаешь иначе, чем при лампе. Лампа как-то мешает и заставляет думать. Лампа заставляет лгать или уверять даже телом. Тело устраивается лучше, чем душа. Тело не оправдывается, а душа доказывает что-то.

Женщина отдает тело любовнику и тянется к его душе. А он возьмет

ее тело и переляжет на другой бок – спиной к ее телу и лицу.

Женщина плачет.

Старая дева

Старая дева отражалась в зеркале.

Пышные красноватые волосы падали на лоб, и от этого лицо казалось не в меру чувственным. Синие глаза в темных рамках век горели желанием. На щеках ярко рдели лепестки румянца. Губы пылали.

...Вошел юноша и поцеловал руку старой девы.

* * *

Когда они лежали утомленные, юноша неожиданно сказал:

– Зачем ты говоришь о своих летах!.. Поверь, мне вовсе не интересны молодые женщины – они такие неопытные в страсти... Вот ты...

– А ты разве знаешь женщин?!

– Конечно! – и он удивленно усмехнулся, а она разрыдалась. Отошла от него. Быстро одела платье. Села у камина. Задумалась.

Заговорила тихо, медленно:

– А я думала – ты девственен. Я хранила себя так долго! Моя чистота стоила слишком дорого: несколько жизней. Умирили влюбленные, потому что никому не отдавались... Все мое очарование скрывалось в этом... в чистоте...

Юноша смущенно слушал. Вдруг рассмеялся:

– Вот видишь... а ты говоришь о летах!.. Разве молодая девушка придумает что-нибудь подобное... Ну иди же – я хо-чу...

Старая дева прогнала юношу.

* * *

Через час она целовала грудь и бедра юной приятельницы, у которой были серые глаза, пепельного цвета волосы и маленькие, тугие, неразбутовившиеся губки.

Камень безымянный

В тонкий мизинец левой руки вдето кольцо. Хризолиты окаймляют красный безымянный камень.

Она говорит, что это капли крови в прозрачной капсуле.

Если ее белые руки обнимают возлюбленного, красный камень загорается ярче, и алый отблеск играет на хризолитах.

Когда она умрет – красный камень примет цвет ее глаз. И тринадцать следующих владельцев кольца рано умрут от безумной, неудовлетворенной страсти к неизвестной безымянной.

После тринадцатой смерти камень вновь станет красным.

Так сказал странный китаец, который подарил ей это кольцо.
У нее синие глаза.

Уют

Белые шторы и свет лампы спугнули сумерки. В зеркале отражалась голая стена.

- Войдите?

- У вас так неуютно!.. Можно на диван?..

Сняла боа и шубку.

* * *

Когда ушла, подумал: «Если б было уютнее, она отдалась бы... Надо повесить японские циновки над кроватью, а в углу – между «Христом в терновом венце» Гвидо Рени и «Богоматерью» Мурильо – привешу розовую лампадку.

Прислуга внесла молоток и гвозди и безразлично тупо сказала:

— Только гвоздочки маленькие...

Засыпая вспомнил, что в чемодане есть несколько оригинальных офортов.

За окном

Вот кто-то опустил веки, и краски стыдливо вспыхнули на серых лохматых странниках неба.

Снег бледный, синеватый лежит на дороге, перерезанный только что умчавшимся куда-то зеленым автомобилем. С голой ветки березы у самого ствола свесилось, как растерзанная черная голова чудовища, забытое воронье гнездо и, точно одурманенное чарами чутких сумерек, смотрит безглазое, жадное на перерезанный снег.

Вот на дорогу вступает лошадь с санями, в которых дрова, две корзины и человек с заспанным лицом – он дремлет. Лошадь, упрямо понуриив голову, смотрит на снег, и кажется: она угрюмая не хочет поднять голову – боится увидеть кровь заката.

Печально и медленно удаляются, словно кортеж лошадь, сани, дрова, две корзины и человек.

И краски на небе бледнеют.

Новые шрамы на снегу еле заметны: сумерки, как заговорщики, сбегаются, крадутся и скрывают их.

Снег темнеет.

Впервые опубликовано и печатается по: Окно. 1920. № 2. С. 8-10.

ЛАПА МИН-ДЗЫ

Так и состарилась на чужбине Мин-дзы.

Лет тридцать назад – еще бойкой, расторопной – выбралась она случаем из родной деревушки. Зазвал ее на чужбину заезжий проходимец Ван-со-хин, бывалый делец, не однажды посетивший и таежный Амур, и тихие берега спокойной Кореи, и дальний приют белого дьявола Хай-шин-вей.

Ван-со-хин развозил по китайским незатейливым селеньям побережья, ближайшего в Чифу, всякую ходкую всячину: и спрессованную морскую капусту, и лакомые трепанги, и чечунчу прочную, и напраздничные раскрашенные картины театрального действия с изображениями длиннобрадых старческих ликов богов, и наряды готовые, и безделушки любимые, и всякую неожиданную чужестранную невидаль.

А иной раз Ван-со-хин умело припрятывал и завозил страшный драгоценный таян – опийные слитки.

В то время черный дурман яро свирепствовал, сочился по всей стране.

Чадный дым пьяного невидного дракона густо и смутно выстилался, проползал из синих развалин – затаенных фанз – по всему побережью...

Запекшиеся в комьях почерневшей крови, отрубленные головы уличных опийщиков все чаще свешивались на придорожных столбах в назидание еще не уличенным опийщикам.

Эти кошмаром чернеющие угрозы вовсе не смущали отчаянного Ван-со-хина. Он даже пошутил как-то над одной из таких выставленных голов: хлопнул ладонью по выбритому лбу мертвой головы и нараспев прокричал:

- Вот ты этак не треснешь, Ван-со-хин, когда его забубенная головушка будет отдыхать на твоём почетном возвышении!

* * *

Покидая родную фанзу китайского побережья второпях, Мин-дзы захватила всего лишь несколько пестрых, цветистых обмоток ножных и две пары остроносых прочных туфель для своих уродливых крохотных ножек. Это Ван-со-хин предупредил ее: в Хай-шин-вей, мол, мало женщин и трудно достать хорошую пару остроносок.

Захватила еще Мин-дзы кое-какие нарядные пустяки.

Особенно бережно Мин-дзы увернула в старую материную материю наследную, почерневшую, уже ссохшуюся тигровую лапу.

С необычайным вниманием и осторожностью, пуще всего берегла Мин-дзы эту вещь. Еще дед завещал отцу, а отец ей передал тигровую лапу.

С детства далечайшего запомнила Мин-дзы множество родовых рассказней о целительных, чудных свойствах тигровой лапы...

* * *

Так и покинула фанзу родимую Мин-дзы с проходимцем Ван-со-хином.

И только в чужом неприветливом Хай-шин-вей опомнилась она и досыта оплакала свою жестокою неладною участь.

Ван-со-хин, заманивая Мин-дзы, насулил, наболтал ей полное благополучие и обилие в новой жизни; ожег ее доверчивое воображение заманчивым будущим, в ее настороженном сердце вспалил радостную тревогу и жгучее выжидание.

Очутилась же Мин-дзы в темной, неприютной конуре какого-то затхлого, грязного дома.

Каждый вечер Ван-со-хин натаскивал в эту конуру чужих, грубых людей, которые делали с ней все, что хотели.

Нередко Ван-со-хин уезжал куда-то по каким-то темным делам и оставлял ее на произвол судьбы или – еще хуже – на произвол своих подозрительных приятелей.

Однажды, исчезнув так же, Бог весть куда, Ван-со-хин не возвратился вовсе.

Мин-дзы не удалось и разведать-то толком о судьбе своего тирана: была ли отрублена голова Ван-со-хина, и болталась ли она где-нибудь на придорожном столбе, или же его труп был сожжен и схоронен почеловечески. Никто из приятелей Ван-со-хина ничего не мог сказать о его судьбе.

Впрочем вскоре Мин-дзы перестала интересоваться этим. К тому же она подружилась с богатой китаянкой Кун-ны, с которой впервые на чужбине поговорила словами открытого, уязвленного сердца о своем тусклом, убогом житье.

Встреча с Кун-ны была точно послана незабвенной душой умершей матери Мин-дзы – так решила несчастная женщина.

Кун-ны оказалась доброй и ласковой и по доброте великой приютила Мин-дзы у себя в богатой теплой фанзе на краю города. С годами Мин-дзы привыкла к Хан-шин-вей, примирилась с чужбиной.

Иная, спокойная, ровная жизнь вовсе стерла с ее памяти жестокое время, пережитое с беспутным обманщиком Ван-со-хином.

И только однажды, когда в темный вечер набросилась на нее собака и разорвала ее ножные новые обмотки, Мин-дзы вдруг остро и четко вспомнила исподлобного, всегда вздорно придиричивого Ван-со-хина, который почему-то особенно сильно раздражался от какой бы то ни было ее удачи или обновки.

«Наверное, душа Ван-со-хина перенеслась в этого злого щенка», - подумала с ужасом Мин-дзы, убегая от назойливого лая.

Благодарная Мин-дзы охотно помогала по кухне, в хозяйстве своей ласковой покровительнице и со временем выучилась легко и бойко готовить изысканные, затейливые кушанья из свинины, водорослей всяких, из всевозможных морских животных, чилимсов, крабов, сушеной мелкой рыбы и прочих продуктов. Мин-дзы прославилась даже в кругу обширных знакомых богатой китаянки удивительно удачным и острым приготовлением особого лакомства из сушеных трепангов в соусе с какими-то твердыми морскими растениями, а также и заваркою – ю-цао-мяо – китайского кофе.

И так до старости прожила, тихо и спокойно, поварихою Мин-дзы у доброй Кун-ны.

* * *

Но вот несказанное горе постигло вдруг Мин-дзы: ее покровительница умерла.

Не могла больше оставаться в богатой фанзе Мин-дзы без своей дорогой, незабвенной Кун-ны.

И снова очутилась в грязи и нищете. Правда, Мин-дзы была уже исполнена чужбинного опыта; к тому же за долгие годы службы у Кун-ны в ее тряпицах появилось несколько денежных сверточков и кой-какие пригодные вещицы.

Но не было у нее прежней бойкости и расторопности, и потускнела сила в костях, поослабла и пригнулась Мин-дзы, и превратилась в неуклюжую, без толка кропотливую старушенку.

К зиме приютилась Мин-дзы в соломенном уголке нар черного таян-гвана – ежедневного приюта опиекурильщиков.

* * *

И теперь-то пригодилась старушке наследная тигровая лапа, уже ссохшаяся и почерневшая.

С детства далечайшего запомнила Мин-дзы множество родовых рассказней о целительных чудных свойствах тигровой лапы...

И вот что особенно запомнилось ей:

Ничто не может спасти человека, проглотившего рыбью кость, если кость эта застрянет в самом горле.

Так и будет торчать в горле.

Ни туда, ни сюда.

Не умрет несчастный, но жизнь его превратится в сплошную, безысходную муку. Вечная жестокая помеха – застрявшая кость, жутко отравит остатки дней его.

Все знают старые люди – мудрые китайцы – белобородые, почтенные.

Знают, как быть и в такой беде.

Нужна тигровая лапа, лапа, срезанная толком в кисти, ниже локтя.

Только она может спасти несчастного человека с костью, застрявшей в горле.

Только лапа тигровья.

Пусть хоть стара, хоть и застолетняя – чудодейство целебное ее не иссякает от времени.

Только цельною надо сохранить ее – с несбитыми, ровненькими когтями.

А лечить-то ею – легче легкого.

Лапа ласково берется в горсть руки, держать ее надо когтями растопыренными, выставленными к горлу человека с застрявшей костью.

И, вот, легонько, в чуть-чутьочку проводится лапа – цап-царап, цап-цапыньки, сверху вниз – и снова – сверху вниз, и еще, и опять, и потом... проводится лапа расправленными когтями по горлу.

А человеку-то с застрявшей костью в горле должно стоять вытянуто, горлом напрягаючись, выжидаючи, головой вскинута, кадыком на выступ выдвинутом и так терпеть, пока лапою проводится по горлу.

Цап-царап, цап-цапыньки – сверху вниз, и снова – сверху вниз, и еще, и опять, и потом... минута, другая – глянь! И кость-то выскочила из места насиженного...

Как рукою сняло!

Свободно человеку несчастному, легко и радостно по-небывалому...

Все это понаслышала и запомнила Мин-дзы из родовых рассказней, перечетов и насказов нараспевных на тигровую лапу при дарениях от деда – отцу, от отца – ей.

И теперь, настари, и пригодилась Мин-дзы наследная ссохшаяся лапа тигровья.

О лапе этой разузнали люди, и ходила весть среди китайцев Хай-шин-вей.

На несчастье, где зазывали иногда старуху, кость вынималась из горла. И старая Мин-дзы сбиралась без толку кропотливо, сжимала в морщинистых, в трещинах скорюченных пальцах старую черную лапу тигровью, пробиралась на эти зевы – кость вынимать из горла...

Цап-царап, цап-цапыньки – сверху вниз, и еще, и опять, и потом... водит, проводит старушенка без толку кропотливой рученкой... минута, другая – глянь! – кость-то и выскочила из места насиженного...

И заплатят на радостях старухе. Тут же и накормят тем, что и без зубов – лакомо.

И прославилась Мин-дзы лапою в Хай-шин-вей.

Грамотный весельчак Сян-шин, прислужник таян-гване, так тот даже в уголку над лохмотьями постели Мин-дзы набил затейливую иероглифическую надпись: «Знаменитая и единственная специалистка по

вытаскиванию рыбных костей из горл – Мин-дзы».

Смышленный Сян-шин забил это объявление вместо гвоздей целую рамочкой острых рыбных костей, различнейших форм и размеров, чтобы это служило наглядным доказательством старухино искусства: она, мол, вытаскивала из горла эти кости. Впрочем, в таян-гване отлично знали, что все эти кости были однажды выбраны предприимчивым Сян-шином из котла соседней рыбной харчевки. Посмеивались над старушкой, но тайну ее обмана хранили ненарушимо.

По близ рамочки свешивалась тоже на вбитой в стену кости ловко завернутая в материную материю тигровая лапа.

Эту затею с рыбьими костями Сян-шин перенял у китайских зубных врачей, которые на подоконниках своих приемных, вместо витрин, обычно слаживают все вырванные зубы своих пациентов, и, чем больше и выше зубная гора – красноречивей памятник дантиста, тем знатнее считается он и пользуется соответствующим почетом и должным доверием пациентов.

* * *

И доньне, до сегодняшнего дня, где-то в черных, сумрачных провалах среди бесконечных грязных пристроек, надстроек и построек одного из затхлых, потускневших домов китайского Владивостока – великого града трепангов, Хай-шин-вей, – в тусклом, незатейливом уединении уютится зябка уже слепнущая, еле движущаяся крохотная старушонка Мин-дзы – «знаменитая и единственная специалистка по вытаскиванию рыбных костей из горл».

Впервые опубликовано и печатается по: Март В. Тигровые чары. Владивосток, 1920. С. 3–10.

ДОЛГ ПОКОЙНОГО

– Туго придется – возьмешь у соседа, что ж делать! Пуще всего помни об этом долге, то и знай: соображай, как вернуть бы... чем платить-то?! Так и не забывай, шевели мозгой, – учил с ворчью седой Ку-юн-сун племянника, подростка Син-дзы. – Ой, никогда не отбивайся, не отпирайся от долга, что бы ни приключилось – худо будет! Говори лучше: «Завтра отдам, сегодня нет денег». А если и завтра не станет, опять скажи: «Прости, соседка, нет денег, повремени, соседка, посла верну...»

Подолгу Ку-юн-сун поучал Син-дзы.

И вот что узнал племянник от своего дядюшки.

Умер человек, не выплативши долг, – все равно. И после смерти не выкрутится, как раз до копеечки отдаст, не деньгами, так работой отработает...

Три души у человека. После смерти расходятся они.

Одна душа уходит в иной, загробный мир и повторяет земную жизнь усопшего.

Душа другая остается в могиле с мертвецом.

А третья душа покидает прах, вселяется в родную фанзу, ютится в дощечке родовой с начертанным именем покойного.

Как будто бы и умер человек – ан, нет! Жива его душа и бродит в мире...

Бродит, ходит, переходит – бродит душа, пока не приткнется куда, в брюхо какое, разбухающее от пледа: в коровье ли нутро, в лошадиное ли чрево, в собачий живот што ли...

И вот, с теляткой, жеребеночком ли, щенком что ли и выродится душа снова на землю – жить-поживать, сызнова канителиться да плодиться на той же земле, под тутошним солнышком.

Таков наказ бытовой! Шиворот-навыворот в оборот пущать душу никогда неутратную и вовсе безысходную.

Одно душе снисхождение положено: не один путь открыт ей, а пути...

Брод душий...

Куда свернет, туда и вынырнет.

Не путь, а пути.

Есть птичий полет – перелет: на испугу – огляда фазана, на курей, домоседок заботниц, на ласточку косолеточку-стремглавку, на серяка воробья-перескоку, на воронье – гниль-лакомье, на коршуна-быстроглаза, на синицу, хрупцу, на иных, на всю лететь-перелететь-крыль небоходную – высью путь душе прокрылен, расстиляется...

Есть и зверий след – на фанзовый скот: на коровушку добробрюхую, на коня-зоркоуха, на собаку-покорницу, на кошку-проворницу, на мышь-тишь, на того и другого, и на зверя полевого, на обезьянку-глазехлопку, передразницу, на дикого зверя зубастого и волка выжидалу, на медведя-растопырю, хоть на самого тигра-жуть исподтишка лютого – во все норы, во любую прореху, всякую ноздрю-щель – след-копыть душе значитя, дебритя, выложена.

А то есть и сновий путь, плавь-ползь-скользь-взлазь чуткая – в водяных глыбах, в недрах: на рыбу-сленоморду, на краба задомладного, на чилимса-усача, расторопу, к трепанге-сочнице, в страшного спрута-многолапа; на капусту-непритрогу, на инаку, плавающую тварь, в подкаменную водь, в нырливую живь, в поджабрую чудь – волна душе приоткрыта.

А и четвертая – крылья тропа значитя: на мелюзгу, мельк летучую, на мошку расторопную, на мошкарку непокойную-трескщелкучую, на комара, сверляка тупоногого, на муху-соньлакомку, на жука дремnochинного, на бабочку-бесполезницу, на стрекоз-проворниц – душе

перепутать-лечь-перекрыль попутчица.

Одно душе снисхождение положено: не один путь открыт ей, а пути.

А душа выбирай: куда свернет, туда и выпрыгнет.

Не сама – так выкружит-выкинет с разгона в брюхо какое разбухающее от плода иль в яйцо, в плод, в семь, в икру – в меть какую, в скидь, снос – в плод попутную...

Выворачивайся покойничек на жизнь сызнова, канителится да плодится на той же земле, под тутошним солнышком.

Таков наказ боговий.

И вот теперь, после многих лет, когда Син-дзы окреп необычайно, возмужал и обзавелся своим хозяйством, теперь ему слово в слово вспомнились рассказы Ку-юн-суна о долге.

И вот почему.

Только на днях Син-дзы одел белый наряд и в косу вплел белый шнурок: умер почтенный любимый дядюшка Ку-юн-сун, который заменял Син-дзы родного отца.

И вот теперь не дают покоя Син-дзы рассказы дядюшки именно о долге умершего человека: ведь недавно, незадолго до смерти Ку-юн-сун, как нарочно, занял у него деньги и так не вернул вовсе свой долг...

* * *

Приснился сон Син-дзы – будто кто-то говорит ему: «А дядя-то вернулся к тебе с долгом – ишь!»

Чудно стало Син-дзы – он и пронулся как раз в ту минуту, когда в комнату вбежал работник его – Гун-дзы.

Впопыхах говорит Гун-дзы – себе на перебой:

– Новость у нас, хозяин... Только что кобылка жеребеночком разрешилась...

И побег с работником в конюшню.

Бежит, сердце придерживает – рука на груди...

Ну и порешил Син-дзы, что дядя покойник выютился в жеребенка-то и явился в его двор – отрабатывать долг свой.

Порешил, так и жеребеночка Дядей прозвал.

* * *

Дядя подрастал в заботе неотрывной Син-дзы и его работника.

Приказал Син-дзы кормить его только отборным овсом, не утруждать, лаской встречать, слова нежные перебирать, ладонью по мордочке проводить и пуце всего, всей скотинки беречь, холить.

И выходили Дядю в стройного, уверенного красавца-жеребца на восхищение всякого, кто взглянет, – так заглядится, на радость достойную Син-дзы.

Пришла пора приучать к работе Дядю – не стоит, а ходуном пляшет без делу, просится, на волю подбивается.

И вывел Син-дзы коня на пашню.

Ходит в полосе Син-дзы за Дядей, улыбается, радуется: что за конь! Как человек, все понимает, ко всему догадывается. И обойдет, где след, остановится-то вовремя и свернет толком, как раз у межи – никак на чужь соседу не переступит и не помнет, чего мять – не дело, и нет в нем устали! Ну, такой конь ладной! Степенная тварь!.. Не конь, а наваждение!..

Подойди кто чужой не так – с обидою – и не отступится, ухом не дотронется, не дрогнет. Куды!.. Нет! А вот скажи ласково, с сердцем: «Отойди, Дядюшка», – и отойдет в сторонку, смотрит натянуто, выпрашивает: «Не надоть, де, еще чего?». «Назад, Дядька», – и отступит, повернется, как надо... Такая тварь суразная!

* * *

Засуетился как-то Син-дзы на ярмарку – через два села объявлялась.

Кобыла как раз занемогла – пасмурнется, неможится: куды там через два села, на село не доскачет.

«Ну, – думает Син-дзы, – что задумываться – Дядю впрягу, хоть и даль, пристанет Дядюшка, что ж станешь, коль «надо» угораздило».

* * *

Вкруг припоселкового колодца на поле пораспахнулась большая бойкая ярмарка – на году первая.

Народу – ни пройти, ни проехать...

Распряг Син-дзы передышать Дядю и так пустил, без привязи, – уж больно надеялся на него. «Никаких хлопот не допустит – умный конь!», – думал Син-дзы.

И как раз, точно человек, переступая в суতোлке промеж людей, телег и товаров всяких, запросто по земле накиданных, заходил Дядя важно так по ярмарке, словно к чему-то прицениться желая.

Люди дивятся, толкуют на него:

– Ладной конь!

– Добрый конь!

– Крепкий конь!

Так со всех сторон сыплется.

Тот в зубы заглядит.

Иной по морде к ноздре растопыренной ладонью проведет...

Этот шлепнет, любя, по заднице опрокинутой пятерней костяшками.

А вот и овса в горсточке к зубам сунут...

– Не продажный ли коняга?!

– Дурной продавать такого...

Увлекся Син-дзы закупками да сговорами с купцами, Дядя отстал от

него в сторону.

И не думает о коне.

Только вдруг зазвенело, зашумело, затрещало поодаль. А потом – и крик, и шум неладный с того же места... разобрал: коня на чем свет косят...

Вздогнуло сердце. Син-дзы – ну на шум.

Так и есть Дядю за уздечку сдерживает кто-то, а Дядя отбивается, по черенкам горшечным перебитым переступает боком – не дается...

А вокруг народ ходит, без толку переспрашиваясь...

Пропустили Син-дзы к коню, узнали – его конь.

Не успел протискаться, с криком налетел к нему горшечник, старый знакомый из соседнего села, корявый Ван-вей...

– Это твоя, сказываешь?! Эх, ты пень расторопный!.. Разве можно шалопаю такому волю отпускать? Голова твоя сучковатая! Коня такого спелого по чужим товарам хозяйствовать допускать, голова твоя молодая!.. Ишь, он все мое добро распотрошил – три горшка пощадил. Поплатишься ты, голова твоя заштопанная! Не то коня отберу!

– Не кипятись, Ван-вей. Ведь ты не конь – горшки разбивать! Проглоти на минуту язык, коль отпирает, аль откуси малость... Что ж делать – заплачу тебе сполна, мой конь! Сосчитай расход – займи язык, чтоб зря на воздухе не болтался...

– Ну и заплатишь!

Горшечник принялся пересчитывать цену перебитой посуды. Насчитал семь рублей двадцать копеек и вымолвил.

Впервые огорчил Дядя Син-дзы. Син-дзы взял коня под уздечку, отвел печально и замотал головой:

– Что же, Дядюшка, ты сделал со мной. В какой расход ввел меня! Отдам, вот, деньги и не останется на покупки – так с голыми руками и вернусь в фанзу!.. Ох, Дядя, Дядя!

Подслышал и любопытствовал горшечник:

– А к чему ты его Дядей называешь? Ведь я с твоим покойным дядей в ладах жил. Не пристало обижать покойника – лошадю обзывать, голова твоя молодая.

Син-дзы порассказал Ван-вею все: и про дядины рассказы о долге, и про себя, и про сон, и про рождение дядево через жеребца...

Полез было Син-дзы рукой за пояс – деньги вынуть, но горшечник вдруг обмяк, схватил его за руку, остановил:

– Не трудись, Син-дзы... Не надо мне вовсе твоих денег... Я, вишь, твоему дяде-покойничку так и остался, не выплатил, а был должен как раз 7рублей 20 копеек – копеечка в копеечку... Вот он и пришел за своим долгом... квиты теперь...

НА ЧЕРНОЙ НИТКЕ

Шутка покойника

- Ну, вот, я расскажу вам о последней шутке деда Евдокима.

Чудной был деда: шутник из шутников... По гробовую доску не мог угомониться, набалагурить досыта... Что я по гробовую доску! Доску уже вытесали, гроб сколотили для него, - умер когда деда... - так он и в гробу покойничком не успокоился... и в гробу!!

Не верите?! Так, вот, поверите.

Слушайте.

Умер это деда Евдоким. Ну, честь честью, как полагается - пообмыли прах, переплакались, все такое. С утра скончался деда, а в вечер - как сейчас помню - точно и не умирал вовсе: совсем как живой лежал наш деда в гробике. А вокруг - Бог весть откуда только - старушья понабралось, точно вся окрестная дряхлость свои морщины приволокла, а вокруг гробика дедова старуший плач да хнучь ходуном стоит, неречет шепотком, гулом нараспевным не умолкает.

И все-то «старушье» перепрелое... Толечко я один в комнатухе - молодой, я только да еще какая-то не в моготу сутулая, желтолицая, рыжьекуцая - ну прямо лампадное масло - какая-то монахинька Перепетуя, хоть и молодая не по годам, да ни с какого бока не живая - не живь, а окись человечья... Затхлая, костлявая - ну только грибку или плесени на ней не заводится... Так вот, промеж старушья я да монашенка Перепетуя, из молодежи возле дедова гробика преем. Правда, был еще в доме Петенька, деда покойного Евдокима внук, - совсем еще нерослый мальчуга, годков под тринадцать. Так тот с обеду куда-то стерся вовсе, да и так не показывался... К тому о нем и не заметили - уж больно не к лицу было в старушечьем гнезде путаться, канителиться на покойнике...

Темно так... - все сумерки на гроб в окна всочились... полумрак какой-то душный, тяжелый, затхлый. Темно, только лампадка маячит, баюкается, да три свечи зябко вздрагивают, словно не фитильки, а нервы в огоньках корчатся из телесного воска!.. Свечи мерещат, вздрагивают, и от них по углам да по кропотливым старухам тени и пятна желтые - смутные отсветы отпрыгивают, путаются, перескакивают... Смотришь - будто темень в отсветах, как с перепуга, ежится, словно кошка, хохлится, сжимается взъярено перед расходившимся псом... Жутко так, на спине муравьи позавелись, муравейник налаживают...

Темно все... Толеньки деда Евдоким один озарен со свечей... - но этого куды не веселей.

Старухи перешептываются, ворочаются по углам, локотятся на подоконниках возле горшков с гераньками, платками ерзают старухи, хнычат, извиваются, носами истекают, дергаются. Ну, кромешная

канитель, право!.. И все точно по уговору какому-то кладбищенскому, угрюмому...

А монашка... и откуда с такого жилья прыть этакая выскочила?! – терещит. Разогналась, губы в приплюс пустились, перенотные листья Псалтыря так и скачут в раскаленных, прытких пальцах. Монашка не читает, а наплясывает, нашептывает своим сухогубьем щелкучим... Язык без костей, говорят. А у ней словно гольная кость заместо языка по зубам терещит... Кажется, покойник и то не выдержит этакую пулеметную расторопь.

Гладкая прическа моя – под полку в ежика норовит соскочить: именно волосы на дыбы лезут... Кожа с губ от пересоху того и гляди шелушиться станет... Жу-у-утко-о что-то, не в моготу... В груди – словно мышь промеж ребер копошится: так, кажется, сердце и выскользнет на поту под пояс...

Ну, думаю, подошло... Не выдержу!..

Круги у меня от глаз расходятся... матовые такие, желтые шершавые: как огонь в угаре, в чаду, круги сквозь старух липко проступаются, от глаз мутятся... словно кто в гладкую гладь озера камнем запустил...

Нет, думаю. Встану, от духоты все это: надышали старые дрожжи... от ладана в голове неладь вязкая... тяжесть...

Думаю, в сени сойду, не то – так рядышком к дедушке-покойничку выкачусь, застыну...

Привстал было...

А-а-а-ах!

Вот тут-то и шутнул покойничек-то – дедок Евдоким...

Ну, и не сказать, что случилось...

Уж такое... Ну, по-ни-ма-е...

Вдруг дедова – покойника – рука приподняла надгробный покров, и заходила мертвая рука за бортом гроба!!!

В первый момент вся старушечья свита в один ком посередь комнаты спуталась, перемещалась и закружилась...

Только вижу – одна монашенка особняком; как стояла – в руках псалтырь, так и прилипла в угол, под иконы... Зубами высунутый язык цедит, стиснула... а глаза так и норовят на лоб выбиться-соскочить.

А деда-мертвец словно дирижирует всем этим – по воздуху рукой плавно проводит...

Кое-как кто куды порасталкались, распугались старухи...

Тетка Аграфена с перепугу выхватила из сеней полено, и ну покойничка поленищем по руке хлестать, пока не выломала по локоток дедову руку, мертвяги... только тут ее и оттащили, спохватившись...

О-о-ой, и что это было!

Ну никак не распотрошить языком – растопырей... Ну-у... О-ой.

- Не верите?! Так, вот, поверите!

По утру все выяснили на заднице Евдокимова внука... Уж и высекли же Петеньку, хоть и покойник возле лежал... очень просто...

Оказалось-то вот че.

Гроб с дедой как раз у окна стоял. Петенька смастерил щелочку, протянул черную нитку (при лампадном освещении и не приметно)... Заранее привязал нитку к дедовой руке одним концом, а другой – вытянул во двор... Вот когда стемнело вовсе, он и начал подергивать ниточку – ну рука и заходила... ожила мертвь.

Хотя Петок и уверял, что это дедова затея, что, де, дед перед смертью ему эту штуку завещал выполнить, да так никто мальчугану и не поверил: уж, больно сурьезным был покойник, лежа в гробу, и точно упрек даже выступил на его губах после поломанной руки...

Почем знать... а может быть, Петька был и прав...

Уж такой шутник был этот деда Евдоким – ну всем шутникам шутник, и тому шутник.

Опубликовано и печатается по: Вперед // ХККМ. Ф. 10. Оп. 1. Д. 1225.

ХУН ЧИЭ-ФУ

Хун Чиэ-фу – старик. И если изо дня в день, с утра до поздней ночи он добывает свою чумизу и гаоляновые лепешки парой жилистых упругих ног, то можно подивиться крепости и гибкости его организма.

Рикша, этот человек-лошадь, редко может проработать пятнадцать-двадцать лет. Самая могучая грудь, самое крепкое здоровье не выдержат ежедневной тяжелой пытки лошадиного бытия. Ведь рикша впрягает себя вместо лошади в коляску и непрерывно бегом развозит пассажиров.

Всего три года бегаёт со своей коляской по пыльным, загаженным улицам Хун, как раз с того мучительного времени, когда он нацепил белую шишечку на шляпу и надел белые туфли¹ в знак траура по казненному сыну – единственному Ли.

Всего три года, а уже все чаще и чаще кажется ему, что вот-вот разорвется его сердце, не выдержит грудь... Намедни его плевки окрасились кровью, и Хун ждет того неизбежного часа, когда на трудовом посту, где-нибудь в торгашеской сутолоке грохочущих улиц он вдруг грохнется замертво наземь.

Смерть ничего, она – единственная желанная последняя встреча на осиротелом тупике его жизни. Волнует и пугает старика забота о

¹ Траур у китайцев обозначается не черным, а белым цветом.

деревянной дощечке с его именем. Умрет Хун, и некуда будет приткнуться его опустошенной душе¹.

О, Хун знает: будь сын Ли жив, он преподнес бы ему драгоценный подарок – сосновый гробик для останков².

Проклятые белые дьяволы-чужестранцы! Из-за англичанина топор разлучил голову с туловищем Ли, и отца с сыном...

Хун везет ненавистного белолицего чужестранца. Вот почему так мучительно четко в его памяти проплывают кошмарные видения недавнего прошлого...

Мальчика Ли Хун отдал в бойки³ к богатому англичанину – мистеру Стеку.

При редких свиданиях с отцом Ли неизменно жалостно выл, как собачонка, прижимаясь к Хуну, и умолял взять его обратно в фанзу.

Для каждой такой встречи у мальчика скапливалась груда обид, и он в жалобах нараспев выплакивал отцу свое горе. Изю дня в день мальчик переносил побои и издевательства в барском доме своего хозяина.

Прошли годы.

Ли вырос в забитого, покорного юношу-раба. Казалось, он смирился: теперь при встречах с отцом сын не жаловался, а только угрюмо молчал, глядя исподлобья.

Хун вспоминает последнюю встречу с сыном.

Грязному рабочему-старика отцу было вовсе запрещено появляться даже во дворе возле дома мистера Стека. Но когда Хуна постигло несчастье – из Чифу пришла весть о смерти жены – не выдержал Хун и пошел к сыну поделиться общим горем...

Задним ходом, как вор, прокрался отец к сыну на кухню.

У порога его встретил Ли.

– Мой сын, тебя постигло несчастье, – скорбно-торжественно заговорил Хун, – умерла твоя мать Кун-ня, моя достопочтенная жена, которая...

Но старик не успел закончить.

В воздухе просвистела плеть... Мистер Стек незаметно подошел сзади и набросился на старика.

¹ В китайской темной массе до сих пор не изжит культ предков. Они верят, что у человека три души и после смерти одна из душ вселяется в особую дощечку, на которой написано имя покойного. Такие дощечки с «душами» обычно сохраняются в семье покойного на почетном месте.

² У китайцев еще при жизни отца сын заготавливает гроб для старика, и это является доказательством особой сыновней почтительности.

³ Бойка – мальчик, слуга.

Напрасно что-то выкрикивал Хун, напрасно силился слабый Ли удержать сильную руку озверелого англичанина, – пока Хун не сбежал с лестницы, на каждой ступени на него опускалась плеть.

Дверь захлопнулась...

Только на другой день узнал Хун, что Ли заступился за отца. Не успела еще захлопнуться дверь, как он схватил топор и ударом в лицо встретил поднимавшегося по лестнице мистера Стека.

Стек упал, обливаясь кровью.

Уже впоследствии Хун узнал, что у англичанина, которого все-таки «починили» искусные европейские врачи, лицо было обезображено сплошной впадиной шрама и отсутствием правой ушной раковины.

Конечно, Ли казнили на площади, как разбойника... И в тысячной толпе сновал безумевший Хун...

Как в бреду, в его памяти встает картина казни.

...Ли, со скрученными назад руками, склонил голову над небольшой ямой. Палач взметнул топор... Ах! Ли дернулся в сторону, и топор врезался ему в плечо... Ли грохнулся наземь. Но он жив. Он судорожно скидывает голову...

Толпа, как море, волнуется, ревет...

Нечеловеческим голосом кричит Хун:

– Добей! Не мучь мое дитя!

И крик этот точно повис одиноко среди сдержанного человеческого шума.

Палач опускается на одно колено. Новый удар – и от лежащего тела откатывается голова и останавливается почему-то на самом краю ямы. Палач ногой небрежно поддевает под щеку, и мертвая голова – в яме...

Хун отчетливо вспоминает каждый миг этих страшных минут. Он помнит даже, как палач сразу же после казни впихнул себе в зубы сигаретку и о сукно брюк чиркнул спичкой...

Все до последней мелочи помнит Хун...

Пот градом стекает по лицу за ворот, голова точно вымазана липким жиром, редкие волосы слипаются в сальном поту... На лбу, на шее, точно надутые резиновые трубочки, прыгают в такт бега вздувшиеся жилы.

И Хун бежит, бежит, бежит... точно убегает от своей памяти.

Ноги ноют, горят.

Руки будто прикованы к коляске. Пальцы врезаются в дерево.

Вокруг звенят, жужжат, кувыркаются в звуках и красках пестрые вертявые улицы.

Пассажир Хуна с сигарой в зубах развалился удобно и уютно в коляске, в руках у него газета. Он не видит, он забыл, ему нет никакого дела до старика рикши.

И Хун бежит... бежит... бежит...

И вдруг в памяти прорываются последние судороги воспоминаний.

...Хун расталкивает толпу, пядь за пядью пробивается к обезглавленному сыну. Ему в человеческой гуще уже не видно, что делается там, на кровавых подмостках публичного зрелища.

Наконец он прорвался к первым рядам. Увы! – и голову и туловище уже уволокли нищие калеки – хоронить...¹ Он видит лишь свору этих человеческих отрешьев... Они сняли одежду с его сына Ли и делят между собой...

И бежит... бежит... бежит Хун, человек-лошадь.

Сегодня Хун с утра не может найти седока.

Пасмурный день. Люди сидят в домах. К тому же на днях появились эти проклятые автобусы. Они отнимают последний кусок хлеба у бедного рикши.

«Машина скорей бегаёт, чем старые ноги», – с горечью думает Хун...

Насквозь продрогший, Хун устал бегать в поисках седока и остановился у огромного дома. Здесь много европейцев – здесь их клуб.

Хун не один. Десятки рикш стройно вытянулись от подъезда вдоль стен.

То и дело выходят белые люди, садятся в коляски, и рикши впрягаются и везут их.

Наконец, очередь дошла и до хуновой коляски.

Заболтался Хун с молодыми рикшами и не заметил, как в его коляску сел страшный англичанин, мистер Стек.

Кровь бросилась к шее, затылку и залила все лицо Хуна. Забегали судорожно в узких щелях раскосые глаза китайца. В них промелькнуло что-то зловещее...

«Как хорошо, что мой сын, незабвенный Ли, оставил на твоём лице "пометку"», – думал Хун, вглядываясь в обезображенное, безухое лицо мистера Стека, пока тот указывал ему, куда ехать.

Стек вовсе не узнал Хуна. Да ему было и не до этого, он торопился и уже весь спрятался в коляску, со всех сторон закрытую стенками.

Старик впрягся и повез седока.

Трудно передать, что делалось в возбужденной голове, в уязвленном сердце Хуна.

Никогда он так быстро не вез седока, как в этот раз. Теперь за его спиной, всей своей тяжестью надавливая на его грудь, был тот, кто лишил его сына, кто принес ему так много горя...

¹ В Китае труп казненного нередко достаётся нищим – курильщикам опия и морфинистам. За вознаграждение натурой (одеждой, обувью) они зарывают труп.

Надвигалась гроза. Хун торопился. Вот уже раздался раскат грома. Как-то сразу ударил порыв ветра, и вдруг крупные капли хлынувшего дождя застучали по коляске, застрекотали по улице, по домам.

Насквозь промок Хун.

И старик не мог бежать уже так быстро по взрыхленной дождем грязной дороге. То и дело приходилось обегать лужи.

Надвигался самый настоящий свирепый тайфун. А англичанина надо было еще далеко везти.

Хун остановился, чтобы перевести дух. Но тотчас же приоткрылась передняя стенка коляски, и острый конец зонтика несколько раз подряд вонзился в тело китайца – это мистер Стек подгонял выбившуюся из сил «скотину»...

...И откуда только взялись вдруг силы у старика. Не успела коляска закрыться, как Хун, точно ужаленный, отпрянул в сторону и снова впрягся, но уже не обычно, а задом наперед – лицом к седоку.

Хун знал теперь, что ему делать...

Он быстро покатил англичанина, но не туда, куда нужно, не вперед, а в боковую улицу, которая упиралась в крутой берег реки.

Англичанин, видимо, почуял это. Но не успел он еще приоткрыть переднюю стенку коляски, как Хун выпустил ее из рук, и она с грохотом покатила вместе с седоком по крутому каменному откосу вниз, в самую пасть разбушевавшейся от тайфуна реки...

Один Хун с пустынной набережной видел, как дважды над волнами взметнулись колеса его тележки...

Опубликовано и печатается по:

Март-Матвеев В. Сборник рассказов. М., Л., 1928. С. 5–13.

В ЯПОНСКОМ МЕШКЕ

Корейская быль

В безлесной степной низине разбросался Чжин-Чу – выселок корейцев-хуторян.

Только окраинная мазанка Чон Чу-чына висит на пригорке.

С утренней прохладой, на росе, Чон выходит медленной важной походкой за порог домика, усаживается на корточки лицом к восходящему солнцу и кропотливо закуривает длинную, в два локтя, камышовую трубку.

Чон щурит блеклые глазенки, любовно обозревая маленькие поля-гряды и мазанки выселка.

Семьдесят семь лет старику, но он крепок, здоров, сам справляется с огородом, засеянным чумизой, гаоляном, картофелем и кукурузой. Сам возится в рисовом болоте, ковыряется мотыгой в земле...

С тех пор, как пришли ненавистные японцы и превратили «Страну утреннего покоя» – Корею – в свою провинцию Чосен, – все пошло прахом в семье Чонов.

Японцы убили единственного сына старика Бен-чу Чона. До полусмерти замучили палачи чудовищными пытками и сына Бена, внука старика – Як-су Чона, оставив жуткие следы-шрамы на лбу и щеках...

Это было семь лет тому назад. И с тех пор скрывается где-то обездоленным и мстит за отца и родину Як-су японцам. Как затравленный зверь, Як-су не может придти даже к любимому очагу – его схватят и бросят в тюремную яму.

«Только увидеть Як-су!» – последняя мечта Чона.

Долгих семь лет разлуки, каждый день думает старик о единственном, последнем детище рода Чонов, и с каждой новой луной Чон относит в ближайший храм молитвенные записки, прикрепляет их к статуям богов, просит даровать встречу с внуком.

Сегодня утром, когда Чон по обычаю сидел на корточках за порогом мазанки, мимо трижды – волной – пронырала юркая сорока.

«Весть!» – и улыбка задержалась на мудро-спокойном лице Чона.

В тот же день к полудню из хутора в хутор, из уст в уста сельские странники передавали новость: умер последний император Кореи – И-ван.

В народе шептались о каких-то событиях, о свержении власти японцев, о похоронах императора И-вана всем народом...

Из хутора в хутор, гуськом ходили какие-то чужие люди и зазывали хуторян в Сеул, на похороны-восстание.

И к Чону пришли чужаки.

Кто-то шепнул:

– Старик, в Сеуле твой внук Як-су. Он будет на похоронах в толпе людей Тхендошо – «Небесного пути».

И вестник исчез.

Небывалой тревогой забилося сердце Чона. Старик тотчас надел белый парадный траурный наряд и на шишку волос напялил высокую шляпу с металлической сеткой.

А вечером Чон на трясуцей арбе уже ехал в Сеул.

Восемнадцать лет Чон не отъезжал от родного поселка дальше ближайшего храма, с тех пор как насильники-японцы захватили родину.

И не узнал встречные хутора, селения, города. Пядь за пядью вся страна в трауре. Всюду незванные японцы.

Там, где прежде зеленели поля хлеборобов, Чон увидел дымящиеся заводские трубы. В заводах, как в аду, в грохоте машин трудились корейцы для пришельцев-поработителей.

Ближе к Сеулу все дороги, все тропы, как в плотном тумане – в поднимающейся пыли от тысяч пешеходов и арб, запряженных волами... И селяне, и хуторяне, и горожане спешат на великие похороны своего последнего императора И-вана.

Мудрый Чон знает: скорбь, плач и траур объяли страну вовсе не из-за смерти императора... Нет, это – скорбь, плач и траур поработенных корейцев, потерявших национальную свободу.

На окраине Сеула Чон оставил в постоянной харчевне арбу и быстро-быстро понесся по городу... Он бестолково расспрашивал людей, где прах И-вана, где демонстрация, где люди «Небесного пути»...

Но вскоре человеческий поток увлек Чона, и не надо было расспрашивать людей – все стремились на похороны.

Только один юркий рябой кореец прислушался к стариковым расспросам.

Он с вежливым, церемонным поклоном обратился к Чону:

– Вам нужны люди «Небесного пути» – революционеры? Кого вы ищете?

– О, здесь столько людей, что вряд ли вы знаете, любезный человек, Як-су Чона из Чжин-Чу.

– А кто вы?

– Чон Чу-чын...

Рябой кореец зачем-то полез в боковой карман, вынул незаметно какие-то списки, просмотрел их за спиной старика... Глаза его загорелись жадно, он заулыбался и, спрятав списки, стал шептать скороговоркой Чону:

– Я вас сведу с Як-су... Я тоже из революционеров, из союза «Небесного пути»...

Рябой кореец ласково взял, мизинец о мизинец, старика и уже не покидал его...

Весь город казался громадным военным лагерем: всюду сновали отряды полицейских, тянулись цепи японских солдат, пожарные команды, грозные жандармы.

Толпы корейцев в белых нарядах текли по всем узким улицам, заливали площадь, сливались на перекрестках... И Чону казалось чудом

встретить в недрах этих сотен тысяч людей родного Як-су. Но он верил юркому спутнику, бывалому городскому человеку.

Ссохшимися губами старик, как в бреду, твердил возлюбленное имя внука.

– Як-су... Як-су... Як...

Вдруг где-то возле Чона, над древними ярко-красочными хоругвями, религиозными и национальными знаменами, взвились, вспыхнули красные флаги, и разом грянул революционный марш...

И все смешалось.

Выстрелы... Крики... Стон... Невероятная давка...

И Чон помнит остро лишь последний момент: что-то тяжелое опустилось на его голову, и вдруг перед глазами искаженное злобой лицо рябого юркового спутника...

И все потухло...

Очнулся старик в страшном полицейском чонно.

В бреду Чон не помнит, сколько дней и ночей он томился в человеческой гуще, среди стонов и криков обезумевших, истерзанных людей, в смраде и духоте человеческого пота и испражнений... Иногда чья-то товарищеская рука совала ему в запекшийся рот чашку чумизы или ломоть гаоляновой лепешки.

Однажды, когда сознание стало возвращаться к Чону, он услышал свое имя в маленькое отверстие кованой двери.

Полицейские пинками вывели старика из общей камеры и втолкнули в полное света помещение.

Освоились глаза после тьмы...

Возле столов у стен стояли связанные, окровавленные люди, лежали без памяти в лужах крови, висели, привешенные за два пальца к потолку...

Каким-то странным, неведомым инструментом (электричеством) пытали юношу-корейца.

В углу висел вниз головой человек со стеклянными, бессмысленными глазами, раздутым лицом, и палачи вливали в его ноздри горячую воду...

Редкие волосы заходили от ужаса на голове старика – он попал в кабинет пыток.

Чона подвели к столу, за которым в ворохе бумаг рылся человек.

Старик остолбенел – это был юркий рябой кореец, его спутник.

– Чон Чу-чын, родом из Ян-Яна, разыскиваемый японской сыскной полицией, восставший против существующего государственного строя, член преступной тайной организации «Хваехой» – революционного «Союза огня». Последние годы проживал в Китае, в городе Кантоне. К похоронам императора И-вана ожидается с партией агитаторов в Сеуле...

Рябой остановился и злорадно взглянул на старика.

– Говори толком: кто прибыл с тобой из Кантона?

Чон заулыбался жалкой рабской улыбкой, помялся и робко вымолвил:

- Любезный господин, я действительно Чон Чу-чын, но родом не из Ян-Яна, а из Чжин-чу, откуда и прибыл... Это ошибка, любез...

Рябой вскочил и наотмашь ребром ладони ударил старика по лицу.

- Говори, разбойник, кто прибыл с тобой из Кантона, старая крыса?!

- Любезный господин... Я - Чон Чу-чын, родом... это ошибка... любез...

- Накалить железо!.. А пока - камышовых игл под ногти, чтобы вспомнил, откуда родом! - приказал рябой палачам.

Вторую неделю больной Чон в камере тюрьмы.

Он не помнит пыток чонно. Но на теле старика четко начертаны японские знаки... Вывернуты суставы, все тело в побоях, ожогах, ссадинах...

Вокруг Чона такие же изуродованные люди «Северного ветра», «Союза огня», «Небесного пути» и других революционных тайных организаций...

Как-то старик узнал от соседей, что его скоро освободят: его смешали с другим Чон Чу-чыном, ныне пойманным японцами.

И каждый раз, когда открывалась дверь, Чон ждал: вот-вот войдут тюремщики и отпустят его на волю... Тогда он уйдет навсегда в свою далекую мазанку - в Чжин-Чу, чтобы умереть на родной земле.

Последняя мечта Чона - встретить внука Як-су - рушилась.

Прошел уже месяц, и Чону объявили об ошибке палачей.

- Завтра ты будешь освобожден, старик! Твой однофамилец найден и уже распрощался с этой землей для настоящего небесного пути, - сказал старший тюремщик, - а пока иди поработай за даровой хлеб...

И старика, как безопасного, случайного арестанта, повели на уборку в тюремный кабинет пыток.

Чон с ужасом вошел в страшное помещение. Ему дали воду и тряпку смывать с полов и стен кровь человечью...

А к вечеру старика повели во внутренний двор тюрьмы подмести его.

Чон бамбуковой метлой мел просторный тюремный двор, залитый сочным электрическим светом.

В углу копошились тюремщики с мешками.

Чон вздрогнул - в кожаном мешке, туго стянутом шнурами, билось живое существо.

Тюремщики подвесили на поперечную балку мешок, принесли воду и принялись обливать мешок водой.

Кожаные стенки мешка, облитые водой, стали быстро съеживаться, стягиваться, морщиниться, и из мешка слышался нечеловеческий сдавленный крик-хрип...

Вдруг в мешке смолкло.

- Привести его в сознание! – крикнул старший.

Тюремщики расшнуровали слегка мешок, и металлические палки с острыми наконечниками зашарили куда попало в теле жертвы.

Но в мешке было так же тихо.

- Вываливай прочь эту пададь! – опять скомандовал старший.

Как туша, выпало тело наземь и вдруг точно ожило на миг, и сквозь хрип вырвались крики:

- Мы-сы!.. Мы-сы!.. Мы-сы!..

Чон вздрогнул. Мы-сы – имя покойной жены его сына, матери Як-су.

И старик бросился в сторону крика.

Раздутое окровавленное тело, висящие клочья мяса, вырванный истекающий глаз, седые клочья волос не скрыли незабвенных черт и шрамов на лбу и щеках Як-су – Чон наконец встретил внука...

Старик без памяти грохнулся на бездыханное тело замученного революционера.

Утром чуть свет старика выгнали из тюрьмы.

Первая фигура, показавшаяся на безлюдной улице, был японский полисмен.

Подойдя к полисмену, Чон упал на колени к его ногам, заулыбался рабской жалкой улыбкой и, вынув из-за пазухи казенную бумагу, которую дали ему в тюрьме при освобождении, раболепно произнес:

- Любезный господин полицейский, разрешите вытереть стены и полы вашего мундира... на них много... очень мно-ого крови...

Чон Чу-чын потерял рассудок.

Опубликовано и печатается по:

Март-Матвеев В. Сборник рассказов. М., Л., 1928. С. 14–23.

РЕЧНЫЕ ЛЮДИ

Повесть

На Голубой реке

Лодка Ку Юн-суна остановилась на ночлег как раз у зеленого островка около города Чжень-Цзяна.

С лодки жадно смотрят черные глазенки маленького Ку-Сяо, сына Ку Юн-суна.

На реке так много развлечений и все интересно для Ку-Сяо.

Вот быстрыми стайками проносятся расторопные джонки – большие парусные лодки. На носгах у них выступают вырезанные из дерева два рыбьих глаза. Сяо слышал, что эти глаза нужны лодкам, чтобы они видели опасность.

А вот проплыла почтовая лодка. Письма, вложенные в непромокаемые сумки, привязаны к веслам. Весла – как спасательные круги: если и разобьется в бурю лодка – они уцелеют, всплывут, и их подберут.

Шмыгают туда-сюда от берега к берегу неутомные, вертлявые лодочки-шампунки. На каждой шампунке по одному веслу, которое прикреплено к лодке сзади, как хвост у рыбы. В этих лодочках живут речные люди, бедняки, у которых нет ни земли, ни дома. Они работают, едят, спят в лодках. Как крестьяне питаются тем, что дает им земля, так и эти люди питаются тем, что дает им вода.

Сяо родился в такой же лодке-шампунке. У него, как и у всех речных людей, не было родины. Родина для него везде, где может уместиться маленькая плавучая фанза – изба-лодка.

В лодке Ку Юн-суна живет семь человек: сам Ку Юн-сун, отец его – старик Ку Ляо-ин, жена Ку Юн-суна – Ку Нюй-ля и его дети: восемнадцатилетний сын Ку-дзы, шестнадцатилетняя дочь Ку-Ня, тринадцатилетний сын Ку Син-дзы и самый младший – Ку-Сяо, которому всего-то семь лет.

Ку-Сяо помнит – ему кажется, что это было совсем недавно – как он, крошечный, только-только начинал ходить по неровным доскам лодки. Мать тогда привязывала его одним концом веревки за ногу, другой же конец был прикреплен к борту лодки. Несколько раз Ку-Сяо вываливался в воду, и всегда его быстро втаскивали в лодку за эту веревку.

Теперь Ку-Сяо самостоятельно двигается не только по лодке, но и на воде. Он плавает и ныряет, как рыба.

Иногда случается семье бывать в больших городах, где стоят иностранные пароходы. Белые матросы, европейцы и американцы, забавляясь, бросают медные монетки в воду, и Сяо, с ватагой таких же ребят, с лодок ныряет в воду под самый пароход и нередко со дна реки достает одну из брошенных монет.

...Жадно смотрит Ку-Сяо на птиц, у которых в клювах большие куски рыбы. С утра в лодке никто ничего не ел. Проклятый тайфун – сильный ветер – сорвал ночью с лодки рыболовную сеть и унес ее. Нечем теперь ловить рыбу. И все запасы пищи съедены.

Вдруг Сяо радостно вскрикнул: со стороны зеленого островка, огибая неровный берег, показалась знакомая шампунка с золочеными рыбьими

глазами на носу. Так и есть: у кормы стоял, ворочая с боку на бок веслом, корявый Ван-Вей, старый друг семьи Ку Юн-сунов.

Ку Юн-сун оторвался от удочки. На его мрачном лице заиграла улыбка: он забыл о нужде и голоде при виде старого друга, с которым не встречался больше года.

Лодки столкнулись бортами, Ван-Вей, не покидая своей шампунки, поздоровался с друзьями, низко поклонившись всем в пояс¹.

С лодки Ку Юн-суна также все одновременно отвесили низкие поклоны, отчего лодка чуть было не перевернулась: ведь семь человек наклонились разом в одну и ту же сторону.

Через час на лодках пировали: у Ван-Вея оказались большие запасы всякой провизии. Тут были и трепанги – бородавчатые морские черви – и водоросли, морские травы и сумейная каракатица, плавники акулы, бобовый сыр, тухлые голубиные яйца, ласточкины гнезда и, конечно, рис, без которого не обходится настоящий китайский обед. Ван-Вей жил одиноким бобылем в лодке, и ему было, конечно, легче, чем большой семье, заготавливать запасы пищи.

Вся семья вместе с гостем жадно съедали одно блюдо за другим из маленьких глиняных чашек. У каждого в руках было по две тоненьких длинных палочки, которыми они ловко и быстро опоражничали из чашек вкусную снедь.

После обеда, когда посуда была уже вымыта в реке и чашечки поставлены вверх дном на корме сушиться, Ван-Вей рассказывал о своих путешествиях.

Оказалось, за год он успел проехать чуть ли не весь Ян-Цзы-Цзян – самую большую реку в Китае.

Ван-Вей рассказывал, как он был наверху реки, где вода мчится со страшной быстротой среди подводных камней, утесов и скал.

Теперь он возвращался снизу, из Шанхая, громадного города, в котором живет много «белых дьяволов» (так называют китайцы иностранцев).

В Шанхае ходили тревожные слухи: говорили, что весь юг Китая восстал против иностранцев и китайских генералов. С юга, с Ян-Цзы-Цзяна, на Шанхай шла большая революционная армия.

Напряженно слушала речная семья новости. На реке никто не знал толком, что делается у себя же на родине. Ведь сюда почти никогда не попадали газеты, а если бы и попадали, все равно некому было бы их читать. Каждое китайское слово пишется особым знаком, и сколько слов – столько и знаков. Чтобы научиться как следует читать, нужно заниматься десятки лет. Конечно, бездомным беднякам негде и некогда было учиться.

¹ Китайцы не здороваются за руку, как у нас, а кланяются друг другу при встречах, складывая на груди ладони рук.

Особенно жадно слушал рассказы Ван-Вея маленький Ку-Сяо. Он только издали на пароходах видывал «белых дьяволов», когда они бросали монетки в воду, но он много наслышался о них.

Когда на лодках вокруг уже горели маленькие коптилки-лампочки с бобовым маслом, а наверху, в небесах, сияли звезды, Ван-Вей объявил Ку Юн-суну, что он пробудет вместе с семьей до окончания речного праздника Драконов. Был конец апреля, а праздник Драконов начинается 1 мая и тянется до 5 мая.

Праздник Драконов

Чтобы веселее провести праздник, обе лодки, по предложению Ван-Вея, направились к самому городу Чжень-Цзяну. Сюда съехались тысячи разнообразных лодок.

Над всеми лодками, а на берегу, в городе, над дверями всех фанз (домов) были развешаны пучки древесных листьев, камыша и чеснока. По поверью, эти листья, камыш и чеснок могут отогнать страшных злых духов и чертей, в которых еще верят китайцы.

Возле самого берега стояли в ряд несколько десятков узких, длинных лодок. Какие-то люди спешно украшали их флагами, разноцветными материями и лентами. Издали лодки были похожи на громадные букеты ярких цветов.

Сяо, как и все речные люди, знал, что эти лодки украшают по случаю праздника Драконов. В пятый день пятой луны, то есть 5 мая, в последний день праздника будут устроены интересные гонки: чья лодка приплывет первой к назначенному месту.

1 мая Ку-Сяо проснулся чуть свет в своих лохмотьях под соломенным навесом. Рано утром весь город и река принарядились по-праздничному, и всюду было весело и оживленно.

Семья Ку Юн-суна расположилась на двух лодках, которые стояли рядом: взрослые – у Ван-Вея, младшие – у себя. На маленькой жестяной печурке уже кипел чай.

Когда разлили всем горьковатый чай без сахара, Ван-Вей на миг нырнул в свою крошечную лодочную спаленку и выполз из нее с большой корзиной, в которой оказались подарки для семьи. Тут были сладкие рисовые лепешки, завернутые в бамбуковые листья, рыба, соленые яйца и «пи-ба» – особые китайские плоды, которые очень любят ребята. Все это обыкновенно ставится на стол как раз в праздник Драконов.

За чаем и вкусной праздничной снедью Ван-Вей рассказывал о том, как произошел праздник Драконов... Сяо в соседней лодке было слышно каждое слово рассказчика.

– Очень, очень давно, больше двух тысяч лет назад, в Китае было царство Чжоу. Владел этим царством жестокий, злой царь, который

всячески издевался над народом. У царя был добрый министр, знаменитый поэт Цюй-Юань.

Однажды Цюй-Юань сказал всю правду в лицо царю о его жестокостях и несправедливости. Разгневанный царь сослал поэта-министра в далекую ссылку.

Поэт не хотел больше жить в рабской стране, бросился в реку и утонул в ней. Долго жители реки, которые любили справедливого человека, искали труп Цюй-Юаня, но так и не нашли его. У поэта осталась четырнадцатилетняя дочь. Когда все поиски оказались напрасными, она по примеру отца бросилась в реку и утонула в ней. Через несколько дней жители нашли на берегу два трупа вместе: мертвая дочь держала в руках мертвого отца.

Оба трупа были с почетом похоронены как раз здесь в Чжень-Цзяне. И теперь каждый год в пятый день пятой луны, то есть 5 мая, в тот же день, когда поэт Цюй-Юань бросился в реку, народ празднует праздник Драконов.

Сяо жадно слушает каждое слово Ван-Вей и, конечно, верит всему этому, хотя в этой народной китайской легенде больше выдумки, чем правды.

Едва кончил Ван-Вей свой рассказ, как со стороны города послышался сильный шум, и вскоре на набережную с маленьких переулочков выступила громадная толпа людей. Над толпой развевались красные флаги, знамена.

- Это кули, китайские рабочие, студенты и городская беднота празднуют по-своему праздник Драконов. У них сегодня свой рабочий праздник - 1 мая, - объяснил бывалый Ван-Вей речным людям.

С лодок хорошо видно, что делается на берегу. Вот толпа разом грянула песню. Песня новая, какую еще не слышали речные люди: в этой песне рабочий люд проклинает врагов китайского народа - «белых дьяволов» - иностранцев и генералов.

Маленький Сяо дрожит. Взрослым жутко. Насторожились на лодках: что будет?!

«Как люди могут петь такие песни? - не понимает Сяо. - Ведь вот стоят иностранные суда со страшными пушками, обращенными на город. А в городе, должно быть, много солдат, которые служат у генералов!»

И только Сяо подумал о солдатах, как с другой стороны набережной, с таких же маленьких переулочков, быстро-быстро, один за другим, цепями выбежали полицейские, а за ними солдаты. В руках у них - ружья.

На реке тревога - как перед грозой. На джонках наспех разворачиваются паруса. На шампунках люди бросаются к веслам.

Трах... рах! – на берегу раздались первые выстрелы. Как испуганные стаи птиц, вверх и вниз по реке понеслись тысячи лодок. Мирные речные люди уплывали подальше от выстрелов, от пуль, оберегая свои семьи.

И среди этих лодок рядом плыли шампунки Ван-Вея и Ку Юн-суна. Ку-Сяо было так обидно, так досадно: ему ведь хотелось увидеть настоящую войну. Войну людей с красными флагами и солдат, вооруженных настоящими ружьями.

Первый раз на земле

Ку-Сяо так и не удалось увидеть настоящую войну.

Не удалось ему посмотреть и на гонки разукрашенных лодок. Отец отплыл далеко-далеко вверх по течению, и обе лодки остановились у обычной речной стоянки лодок, близ небольшой деревушки Хон-Да.

Одно было развлечение Ку-Сяо: смотреть на плавучие пашни.

Такие пашни, кроме Китая, во всем мире не увидишь.

Люди, у которых нет земли, устраивают на реке большие плетеные плоты. Эти плоты покрыты толстым слоем ила и земли, и на них сажают хлебные зерна.

Плоты выстроились в длинный ряд. С них брошены в воду тяжелые якоря, чтобы «поле» не унес ветер.

Сяо смотрит, как полуголые люди в лохмотьях возятся на своих водяных плавучих пашнях.

«Вот бы хорошо нам такое поле!» – думает китайчонок.

Ведь только что уплыл Ван-Вей, и в лодке опять наступил голод. С каждым днем все хуже и хуже. Отец и старшие дети с раннего утра до позднего вечера удили рыбу. Мать с малыши ребята вылавливали из воды большими шестами арбузные корки, бананную шелуху. Иногда удается нацепить на шест и трупы маленьких животных или выброшенные с берега гнилые овощи. Этими подаяниями реки и кормились речные люди.

Как-то однажды, проснувшись ночью в своих лохмотьях, Сяо услышал странный разговор.

– Надо раздать детей: продать Ку-Ню; за нее дадут хорошие деньги: таэлей (рублей) двадцать. А Сяо можно подбросить к какой-нибудь богатой деревне. Он не умрет с голоду: его подберут, – говорил хриплым голосом отец.

– Я не отдам своих детей, – рыдала мать.

– Ну, тогда мы все сдохнем с голоду вместе с твоими детьми. Куда мне столько ртов! Сяо будет лучше. Его научат какому-нибудь делу, и он не будет влачить проклятую жизнь речных людей.

– Не отдам... не отдам... не отдам! – захлебывалась мать в слезах.

Всю ночь ворочался беспокойно в куче тряпья маленький китайчонок и никак не мог сомкнуть глаза...

Через полмесяца голодная семья распрощалась с Ку-Ней: девушку продали на шанхайскую шелкопрядильную фабрику за 25 серебряных таэлей.

Каждый день совещалась семья; куда употребить такую уйму денег.

Наконец, Ку Юн-сун объявил семье: завтра он вместе с Сяо сойдет на берег, чтобы в ближайшей большой деревне купить рыболовную сеть.

Небывалой радостью забилося сердце мальчика: Сяо, рожденный на воде, ни разу еще не ступал на землю.

На другой день лодка причалила к берегу близ «плавающих пашен». Маленький Сяо спрыгнул вслед за отцом на зеленый берег, как раз у большого камня, похожего на черепаху.

Земля! Китайчонку было так чудно, так забавно стоять на неподвижной земле. Ведь он и вынырнул-то на волнах, в лодке, как в люльке. С непривычки даже закружилась голова.

Высокие роскошные травы подходили к самой реке, а выше росли кустарники, узорные папоротники и над ними вековые деревья, обвитые диким виноградом.

Отец с сыном прошли узенькой тропинкой между скалами.

Вот потянулись поля хлопка, за ними ряды тутовых деревьев, целые леса абрикосовых, персиковых и ореховых деревьев.

Дальше пошли рисовые поля, залитые водой, и, наконец, показалась большая деревня. Жители далеко вокруг славились искусной выделкой рыболовных сетей.

Сяо не уставал идти за отцом: ему было так весело, так интересно ступать по земле.

Отец купил сеть, зашел с сыном в харчевню, где они вкусно пообедали, и Ку Юн-сун прикупил целый мешочек гаоляновых лепешек и всякой снеди.

- На, неси мешок, Сяо: он не очень тяжел. Это будет гостинец для братьев и деда.

И они покинули деревню, но не с той стороны, с которой пришли, а с противоположной.

- Куда мы еще идем? - спросил Сяо, которому показалось странным, что отец идет с ним не обратно к лодке, а куда-то дальше.

- Мы обогнем деревню, спустимся и пойдем по берегу, тут ближе, - ответил Ку Юн-сун.

Когда деревня оказалась далеко позади и они вышли в открытое поле, отец вдруг спохватился:

- Ай, ай, ай, сынок! - вскрикнул он. - Я совсем забыл: ведь я обещал купить матери новое платье, которого она ждет вот уже несколько лет! Ты

посиди здесь и обожди меня. Без тебя я скорее справлюсь, а я сбегаю обратно в деревню.

- Папка, ты оставь сеть-то, а то тебе тяжело таскать ее туда и обратно, - сказал Сяо.

- Нет, нет! Сеть нельзя оставить с тобой. Ты маленький - у тебя могут ее отобрать.

Ку Юн-сун повернулся обратно в деревню, остановился вдруг и крикнул:

- Но только ты не отходи ни на шаг от этого места, пока я не приду.

Сяо показалось, что на глазах у отца выступили слезы, и голос его почему-то не был похож на обычный, отцовский. И ему стало жутко оставаться одному на незнакомой земле.

Но китайцы терпеливы - и взрослые, и дети.

Сяо поставил мешок с гостинцами на землю и уселся ждать отца.

Как-то сразу стемнело.

А Сяо все еще сидел на тропинке между рисовыми полями.

Уже прошел не один час с тех пор, как отец ушел «за обновкой для матери»...

Вместе с темнотой росли тревога и страх.

Вдруг где-то близко на деревьях, между полями, вскрикнула ночная птица. Крик ее был похож на жалобный плач ребенка... Сяо не знал, что это кричит ночная птица, - ему стало страшно.

Не выдержал Сяо и заплакал... Все громче и громче плакал мальчик и плачем отпугнул птицу: теперь она кричала где-то далеко-далеко.

Глазенки Сяо слипались. Он тер личико кулачком и плакал все тише и тише.

Утомленный первым необычным днем на суше, китайчонок незаметно для себя скатился головкой на мешок с гостинцами и заснул.

Снилась ему родная лодка. Тесно в ней, но зато здесь мать, дед, отец, братья... и даже проданная сестра Ку-Ня по-прежнему живет в лодке.

Добрый Ван-Вей раздает гостинцы из большого-большого мешка. Что-то говорит, улыбаясь, корявый Ван-Вей, но слов его не слышно: где-то кричит птица - страшно кричит и мешает слушать Ван-Вея.

Мечется и бредит мальчик на голой земле.

- Где я, где?.. Мама!

И почему-то только теперь, спросонья, перед мальчиком ясно-ясно в памяти выплыла картина.

Ночь в лодке. Он пробуждается в лохмотьях постели и слышит шепот:

«А Сяо можно подбросить в какую-нибудь богатую деревню», - шепчет отец.

«Я не отдам своих детей!» - рыдает мать.

И Сяо так захотелось теперь прижаться к матери, согреться теплом ее тела. Холодно-холодно в утренние сумерки в поле!

Сяо вскочил и бросился бегом в деревню – туда, куда ушел вчера отец.

«Добегу до берега и прямо – в лодку, к маме! Мама не даст отцу бросить меня!»

Мальчик бежал и сквозь слезы твердил одно и то же слово:

– Мама... мама... мама...

Вот и деревня. Заспанные крестьяне с мотыгами через плечо уже стоят возле своих фанз (изб) и молча покуривают длинные тонкие бамбуковые трубки. Они собираются на поля.

Китайки еле-еле плетутся, переваливаясь с боку на бок на своих крошечных уродливых ножках, как на ходулях... Они спешат к общественному колодцу за водой.

Никто не обращает внимания на мальчика. Часто через деревню пробегают ребята в сельскую школу: школьник торопится не опоздать, чтобы не рассердить учителя. Китайские учителя жестоко наказывают детей бамбуковыми палками.

Быстро-быстро бежит мальчик. Вот и деревня позади.

Впереди блеснула серебристая река. Солнце только-только выглянуло краешком из-за гор. Сяо спустился к реке.

Направо – лодки рыбаков, плавучие пашни на плотках.

Налево должна быть отцовская лодка.

Но вот и камень, похожий на черепаху. Здесь отец с сыном сошли на берег.

Лодки возле этого камня не было!

Все пропало! Сяо остался один на страшной незнакомой земле.

И мальчик упал на камень. Слезы смывали грязь с желтого лица.

Как бы сильно ни было несчастье – все равно; когда наступает время, человек хочет есть.

Так и Сяо... Проголодался, расшнуровал мешок, вытащил первую попавшуюся гаоляновую лепешку и жадно принялся за нее.

«Значит, отец для меня купил эти гостинцы, чтоб я не умер с голода». И чувство благодарности проснулось у Сяо к отцу, бросившему его на чужом берегу.

Солнце высушило слезы на лице мальчика, и он с лепешкой в зубах вовсе не казался брошенным на произвол судьбы.

Встреча с Красной бородой

Сяо не заметил, как к нему подошел какой-то человек.

– Дай и мне лепешку, – раздался голос за спиной. Сяо испуганно оглянулся.

За ним стоял высокий китаец в отрепьях. Человек похож был на скелет: кожа да кости.

Сяо раскрыл мешок и протянул незнакомцу лепешку.

Не успел Сяо зашнуровать мешок, как незнакомец уже проглотил лепешку и потянулся опять к мешку.

Сяо дал вторую лепешку.

– Кого ты ждешь, мальчик? – спросил голодный человек, доедая третью лепешку.

Сяо всхлипнул: горе с новой силой охватило его. И мальчику захотелось вдруг рассказать о том, что он оставлен отцом и не знает, что ему теперь делать, куда идти.

Бродяге стало жаль мальчика, когда он услышал его печальный рассказ.

– Как тебя зовут? – спросил он.

– Сяо, сын Ку Юн-суна.

– Ну, Сяо, сын Ку Юн-суна, зови меня просто «хунхузом». Так меня зовут и друзья за то, что я в молодости, когда был здоровым и сильным, разбойничал.

Сяо стало страшно. Он много слышал рассказов о хунхузах. Хун – это значит красный, хуз – борода. В старину они нацепляли красные бороды, чтобы быть страшнее. И раскрашенные, с нацепленными красными бородами, они нападали на богатых купцов.

Сяо так испугался, что даже отодвинулся подальше от незнакомца, который тоже присел на камень. И мальчик спрятал мешок с гостинцами за спину.

Красная борода рассмеялся, когда заметил, как Сяо прячет мешок.

– Не прячь, не бойся... Сяо, сын Ку Юн-суна! Хотя и страшно я называюсь, но тебя не обижу! Э-эх, если б знал я раньше твое горюшко, то и голодный не съел бы лепешки – тебе нужнее. А теперь к делу: ты хорошо посмотрел мешок, знаешь ли ты толком, что тебе оставил отец? Нет?! Ну, покажи-ка мне, маленький бродяжка, свое богатство!

И Красная борода так хорошо улыбнулся, что мигом у Сяо рассеялись все страхи.

– Разворачивай! Разворачивай!

В мешке оказалось десятка два лепешек и несколько сладких рисовых пирожков, замотанных в бамбуковые листья. На дне мешка лежали связки денег и два письма.

– О, да ты, дружок, богатей! – вскричал Красная борода, потрясая в воздухе связками монет.

Среди бедняков-китайцев до сих пор в ходу круглые медные монетки с дырочками посередине. За серебряный рубль можно получить до 1 000 таких монеток. Обычно китайцы нанизывают их, как бусы, на веревку и связывают штук по 100-200, чтобы удобнее носить.

– А теперь возьмемся за письма. Я-то ведь немного грамотный!

Эти письма, видимо, были написаны уже давно, тайно от семьи, каким-нибудь лодочным грамотеем: сам Ку Юн-сун был неграмотен.

– В этом конверте твой документ. Береги его! – и Красная борода протянул первый конверт.

– А это – письмо тебе от отца.

«Мой дорогой сын. Я тебя оставляю одного на берегу. Но ты не вини старого, бедного отца. Если бы я не продал твою сестру Ку-Ню и не оставил тебя на земле, то все мы вместе с матерью и старым дедом умерли бы с голода.

Когда ты останешься одиноким на берегу, не пугайся. Иди в деревню, где мы купили сеть. В этой деревне много богатых людей, и, может быть, кто-нибудь бездетный возьмет тебя в приемные сыновья или же в ученики. Ты научишься плести невода и сети, это хороший и прибыльный труд.

Когда ты подрастешь и накопишь денег, отправляйся в Шанхай. Там много людей работает в больших-больших фанзах (домах) на иностранных фабриках. Там же работает твоя сестра на японской шелкопрядильной фабрике Кину-но-Учи. Отыщи ее, и помогайте друг дружке.

Будь всегда во всем бережлив, не вини, а почитай своих бедных родителей, бросивших тебя из-за нужды великой.

Твой отец Ку Юн-сун».

Слезы катились по лицу мальчика, пока Красная борода читал отцовское письмо.

– Знаешь что, Сяо... Теперь, когда я прочел это письмо, мне еще больше жалко тебя. Поверь мне: не ходи в эту проклятую деревню! Там ты не найдешь работы. Послушай меня: иди прямо в Шанхай. В этом громадном городе много-много людей, и для тебя там найдется горсточка пищи и кров. А может быть, ты отыщешь сестренку. Ей легче будет с тобой.

Старый бывалый бродяга и бездомный мальчик, только вчера впервые вступившей на землю, решили вместе пойти на большую побережную дорогу, ведущую в Шанхай.

Весь день шли Красная борода и Сяо по пыльной дороге в сторону Шанхая.

Под вечер странники остановились перекусить возле моста, под которым журчал быстрый ручеек с чистой ключевой водой.

Сяо улегся ничком на землю и жадно прильнул губами к холодной воде. Красная борода набирал воду в горсть и подносил ее ко рту.

Нищий на собаках и мальчик с обезьянкой

Только что пройденная дорога далеко была видна отсюда: она, извиваясь, поднималась все выше и выше; мост же с ручейком лежал на самом низу, в овражке.

Поэтому, когда сверху по дороге показалась странная, причудливая группа, Сяо легко мог ее различить.

В деревянной тележке, запряженной восьмеркой собак, среди отрепьев и всякого хлама раскачивалась фигура человеческого обрубка – старика без ног. Вокруг калеки в неуклюжем просторном коробе телеги барахтались лохматые слепые щенки, по бокам и сзади повозки плелось еще несколько псов, которые были навьючены котомками и мешками.

Несколько поодаль собачьего каравана едва поспедал тощий китайчонок. Он был нагружен длинными шестами, веревочной лестницей, ящиком через плечо и цветными побрякушками.

Шествие замыкала нарядная обезьянка, которая бежала, подпрыгивая, за китайчонком.

Сяо первый заметил странную группу. Она показалась мальчику настолько необычайной, что он растерялся.

Красная борода в это время подремывал, сидя на корточках.

– Красная борода, что это такое? – мальчик дернул за лохмотья бродягу и указал пальцем на дорогу. Глаза Сяо были расширены не то от испуга, не то от изумления.

Красная борода протер глаза, отшатнулся от неожиданности и радостно заулыбался.

– Сун! Здравствуй, «песий мандарин»! Откуда и куда? – крикнул он.

Обрубок тоже что-то кричал беззубым ртом, улыбался и радостно кивал головой.

Оказалось, пеший бродяга, Красная борода, и безногий старик, бродяга на собаках, были давнишними приятелями.

Ради такой неожиданной встречи Сун, как звали безногого старика, и мальчик Ли-Тай, акробат с обезьянкой, остановились у моста.

Так и решили бездомники: отдохнуть и переночевать всем вместе возле ручейка.

– Вот и горячий чаек будет! – проговорил Красная борода, завидя большой чайник, привязанный к спине одной из собак.

Но Сяо не слышал слов спутника. Он смотрел на смешного зверька – обезьянку в выцветшей лиловой рубашонке, с бубенцами на шее.

Обезьянка, по-видимому, привыкла к собакам из своры Суна и ничего не имела против их соседства. Но, впрочем, когда какая-нибудь осмелевшая собака подходила уж больно близко к ней, чтобы понюхать ее

сзади по собачьему обычаю, обезьянка неожиданно оборачивалась и метко была по морде или по уху четвероногого нахала.

Расправа обезьянки с собаками забавляла Сяо больше всего.

Тем временем у старика закипела своя работа. Он, оставаясь в тележке, распряг упряжных собак. Собаки-носильщики подступили к самой тележке, ложились под ее бортами, и Сун развязывал веревки, освобождая их от ноши.

По какой-то смешной команде старика, похожей на кашель, собаки вдруг рассыпались по окрестностям. Через некоторое время они со всех концов несли в зубах добычу – щепки, валежник, сучья.

– Смотри-ка, Сяо, как собаки помогают Суну! Это они несут топливо на костер, – пояснял Красная борода.

Все делали собаки за безногого Суна, и ему оставалось только командовать своей песьей артелью и распределять отдельные поручения между смышленными четвероногими работниками.

Вскоре под мостом, у самого ручья, где собрались бродяги, весело потрескивал костер, над которым покачивался большой прокопченный чайник.

Сяо уже узнал, что старик Сун и мальчик-акробат Ли-Тай случайно встретились несколько дней назад на этой дороге и направлялись в Шанхай.

А когда чай вскипел, Сун согласился взять себе в попутчики и Сяо. У бедных людей, которые легко понимают друг друга, такие дела решаются сразу: если нужно помочь, значит, помогай, чем можешь!

– Вот тебе и спутники, мальчонка! – радостно промолвил Красная борода.

Вскоре у костра шел пир горой... Правда, это был пир нищих бродяг. У старика Суна нашлась припрятанная в телеге под лохмотьями бутылка гаоляновой водки «ханшин», которую и распили взрослые, закусывая сушеной морской капустой и ласточкиными гнездами.

Ли-Тай извлек из походного ящика засахаренный жареный ячмень и бобы в патоке, а Сяо решился по такому случаю распотрошить из зеленых бамбуковых листьев сдобные пироги из липкого риса...

За чаем, по предложению Красной бороды, каждый из спутников по очереди рассказывал о своей жизни.

– Я покину вас, – сказал Красная борода, – а вам троим долго придется вместе брести до Шанхая. Вот почему вы должны знать друг друга.

Первым рассказывал о себе калека Сун. И многое узнал Сяо от словоохотливого старика.

Сун рассказывал, как двадцать лет блуждает он по миру нищим – с тех пор, как проклятый паровоз «белых дьяволов» – иностранцев – перерезал ему обе ноги...

Живучий и смысленый человек-обрубок окружил себя такими же, как сам, никому ненужными бродячими собаками и выдрессировал их для своих нужд.

Вот уж, поистине, «всякая собака знает» Суна! По всему Ян-Цзы-Цзяну и даже в далекой Маньчжурии, родине старика, у него друзья: сотни и сотни собак! Китайцы так и называют шутя Суна: «Кочевой песий мандарин» (мандарин – это важный китайский чиновник).

Тысячи километров вдоль и поперек по полям и через сопки избородил калека на своих псах.

У старика для каждой встречной собаки в запасе дружеское слово, добрый взгляд, ласковый привет, вкусная кость или ломоть хлеба. Для всякого пса своя кличка, особая затея, отличная шутка... Упряжные собаки и собаки-носильщики были подобраны им щенками и верно служили ему. На привалах Сун вступал с ними в беседу. Кроме призывного горлового крика и команды, похожей на кашель, – «за сучьями», у старика было много «слов» для собак: восклицания, высвисты, постуки, чмокание, цыцкание и др. И собаки охотно слушали и, казалось, понимали его.

Уже стемнело, когда к рассказу своей жизни приступил Ли-Тай, мальчик-акробат, которому шел уже тринадцатый год.

Родился Ли-Тай близ Желтой реки – Хуань-Хо. Это – вторая по величине (после Голубой реки – Ян-Цзы-Цзяна) река в Китае. Она также впадает в Тихий океан, как и Голубая река, но севернее ее. Страшная это река, в народе ее за непостоянство зовут «Печалью Китая»: иногда она меняет свое направление, и тогда вода сносит все на своем пути – крестьянские хозяйства, поля, сотни деревень, тысячи людей и скот.

Там, где течет река, на много-много километров кругом лежит «желтая земля», которая называется «лессом»...

Есть черная земля – чернозем, лесс же – это желтозем, жирная плодороднейшая земля...

Но такая земля требует много влаги... Вот почему вся родина Ли-Тая вдоль и поперек изрезана канавами, водоемами, каналами и водными бассейнами.

И там есть особые деревни, каких нет во всем мире: деревни под землей.

Желтозем достаточно крепок, чтобы не похоронить под собою людские жилища вместе с их обитателями. Вот почему бедные люди решаются рыть свои фанзы (избы) в самой утробе земли.

В таких деревнях под землей вырыто много улиц, которые в дождливую пору похожи на ручьи, устроены земляные лестницы – выходы на поверхность земли.

Деревня «Тигровая ловушка», в которой родился Ли-Тай, была одним из таких подземных селений.

Все было в подземельи «Тигровая ловушка»: подземные трактиры, подземные парикмахерские, школа и даже подземный маленький храм.

В маленькой земляной норке-фанзе, без окон и дверей, с входным отверстием на крутую улочку, появление на свет младенца Ли-Тая никого не обрадовало: в семье уже копошилось четверо детей мал мала меньше.

В своем детстве Ли-Тай знал лишь постоянный голод, колотушки со всех сторон, кротовую тьму да слезы матери...

Далекая теперь родина кажется Ли-Таю смутным желтым сном: все там желто – и люди, и глиняные фанзы, и Земля, и редкие придорожные деревья, покрытые желтой пылью, и ручьи, размывающие желтозем.

Особенно ярко помнит Ли-Тай «желтые ветры», когда со степей бешенно неслись тучи плотной желтой пыли, которая заслоняла иногда само солнце. Как снежная пурга забивает все снегом, так и эта пыль покрывала все на своем пути.

Совсем крошечным ребенком голодная семья продала Ли-Тая на учебу бродячему старому акробату, фокуснику Утеги...

Утеги взял мальчика и повел его в чужие села и города, обучая по пути ремеслу акробата. Вместе с ними бродила обезьянка.

О, эта учеба! Кости трещали от нее. Как беспощадно бил Утеги маленького Ли-Тая, чтобы сделать из него искусного акробата. И каким только цирковым номерам и трюкам ни обучал старый акробат мальчика.

Особенно страшным и ненавистным для Ли-Тая был номер с кинжалами. И теперь, когда он рассказывает об этом номере, раскосые глазенки, освещенные отсветами костра, сверкают ненавистью к «учителю» Утеги, который обращался с ними куда хуже, чем старый Сун со своими собаками.

Утеги ставил оголенного по пояс Ли-Тая с вытянутыми по сторонам руками к широкой доске и на расстоянии нескольких шагов метал, казалось, прямо в мальчика, острые страшные кинжалы... Кинжалы вонзались глубоко в доску, как раз вокруг головы, груди, подмышек мальчика, на расстоянии медной монетки от самого тела... Промахнись хотя бы раз Утеги, и кинжал пригвоздил бы китайчонка к доске.

Все заработанные гроши Утеги неизменно уносил в тайные притоны, где люди курят опиум – яд, который страшней и разрушительней водки. А мальчик с обезьянкой питались впроголодь случайными подаваниями.

Вот почему, когда год тому назад умер Утеги, Ли-Тай впервые вздохнул свободно и тотчас же продал мяснику ненавистные кинжалы.

С тех пор Ли-Тай сам себе хозяин, бродил только с неразлучной обезьянкой по селам и городам необъятного Китая, устраивая свои уличные представления.

Последним рассказывал свою жизнь маленький Сяо-дзы, «речной человек».

Красная борода отказался почему-то и слово вымолвить о своей жизни.

- Вот теперь я совсем спокоен за тебя, мой маленький Сяо-дзы, сын Ку Юн-суна, - весело заявил Красная борода. - Ты нашел себе хорошего товарища - Ли-Тая... Для вас обоих не хватило места родиться на земле: один родился под землей, в норе; другой - на воде, в плавучей фанзе... Хорошая пара. Такие товарищи должны понять друг друга и крепко сдружиться.

Не успел Красная борода закончить своих слов, как далеко по дороге послышался топот множества лошадиных копыт: так скакать мог лишь солдатский конный отряд...

Заслышав топот, Красная борода насторожился тревожно, наспех простился с друзьями и вдруг шмыгнул в заросли гаоляна.

Солдаты проскакали мост, вовсе не обратив внимания на бродяг у костра: они, видимо, куда-то спешили.

- А ну-ка, кликните Красную бороду, - предложил Сун ребятам, когда лошадиный топот стал утихать далеко впереди.

Напрасно ребята кричали во тьму: Красной бороды и след простыл.

Логово «рыжих дьяволов»

С памятного вечера под мостом, когда наши путешественники потеряли Красную бороду, прошло много дней.

Странная группа - безногий старик на собаках, мальчик с обезьянкой и Ку-Сяо - приближалась к логову «рыжих дьяволов», к Шанхаю.

Чаще попадались незарытые человеческие трупы на полях, падаль животных, рвы свалок, мусорные бугры.

- Вот скоро город, - сказал Сун, когда среди мусора и свалок показались люди.

Эти люди собирали в отбросах кости, истлевшее тряпье, заржавелые гвозди, консервные банки, битое стекло, никому ненужную рухлядь... И сами эти люди, кой-как завернутые в лохмотья, прикрытые джутовыми мешками, казались отбросами, выволоченными сюда вместе с мусором.

При приближении суновых собак с придорожных чахлых трав лениво поднимались отъевшиеся вороны и с недовольным карканьем отлетали вперед.

Возле самого города в дорожной пыли лежали страшные люди – без носов, с отвалившимися пальцами, с гниющими телами. Это были нищие-прокаженные.

Только когда Сун бросил им несколько медных дырявых монеток, прокаженные пропустили старика и мальчиков в город.

Въехали они в Шанхай со стороны утреннего солнца.

С самой окраины безногий старик приступил к работе: он стал нараспев попрошайничать. И тотчас толпы зевак облепили его необычайную повозку.

Ку-Сяо и Ли-Тай простились с Суном и быстро-быстро побежали по узким шумным улицам громадного города.

Перед мальчиками мелькали прилавки, заваленные фруктами, сахарным тростником, кореньями, снедью, сладостями, затейливыми безделушками.

Вот они пробежали улицу, где люди в синих нарядах торговали только колясками для рикш, которые впрягаются в коляски и развозят пассажиров.

Свернули на улицу гробов... За этой улицей – улица чемоданов, улица шляп. В Китае в больших городах существует множество улиц, на которых торгуют исключительно только одним каким-нибудь товаром.

Люди что-то делали на глазах у прохожих, что-то продавали, предлагали, о чем-то кричали, кого-то останавливали... И Ку-Сяо казалось, что весь город торгует.

По узким улицам бесконечной вереницей проносились люди-лошади – «рикши», сновали бродячие торговцы, кочевые ремесленники: цырюльники, швеи, сапожники, массажисты, музыканты, фокусники, лудильщики, акробаты. И все эти люди, каждый по-своему, выкрикивали, свистели, тренькали, барабанили, пищали, пиликали, гудели в свои смешные ремесленные инструменты, стараясь обратить на себя внимание.

Ку-Сяо, впервые очутившемуся в громадном городе, пестрые шумливые улицы казались сказочным сном. Он еле-еле поспевал за своим товарищем.

На улице харчевен с мальчиками встретился белый человек – англичанин. Белый держал за руку девочку в богатом голубом наряде. Голубая девочка забила в ладоши, увидев обезьянку.

Белый знаками приказал мальчикам следовать за ним.

Миновав вонючие, тесные и грязные китайские кварталы, они вошли в роскошный сетлмент – европейскую часть города.

Китайчата, хотя и побаивались «рыжего дьявола», все же покорно следовали за ним.

Белый человек открыл золоченую калитку. В пышном тенистом саду стоял его мраморный дом. Возле самого дома оказалась прекрасная

площадка, посыпанная цветным песком. В лучах солнца искрились и перевивались синие, красные, оранжевые квадраты, треугольники – узоры цветного песка.

Англичанин с девочкой поднялись в тень на террасу, а китайчатам палкой было указано место для представлений – на площадке возле белокаменной лестницы.

К двум зрителям на террасе присоединились вышедшие из дома три нарядные белые женщины и до десятка слуг богатого англичанина.

Голубая девочка не могла найти себе места от нетерпения: хлопала в ладоши, взвизгивала, смеялась до слез. Ли-Таю приказали приступить к представлению, и на площадке мигом закипела привычная работа.

Обезьянка открыла ящик; деловито, не торопясь, отыскала смешную широкополую соломенную шляпу, надела ее на голову. Затем она вынула из ящика платье балерины и нарядилась в него. Наконец, из этого же ящика были извлечены веер и зонтик.

И обезьянка-«танцовщица» с веером и зонтиком в лайках взобралась мигом на канат, который натянул Ли-Тай на двух высоких шестах, воткнутых в песок.

Обезьянка проделала на канате ряд забавных номеров и головокружительных трюков.

Вслед за «канатной плясуньей» начался номер с быстрыми переодеваниями. Обезьянка скинула наряд танцовщицы, и из ящика одна за другой появлялись маски и необходимые предметы той или иной профессии.

Обезьянка натягивала маску на мордочку, и перед зрителями выступали самые разнообразные лица.

То белобородый поп, перебирая четки, усердно на все четыре стороны отмахивал молитвенные поклоны.

То парикмахер со страшной бритвой в лапах свирепо брил кого-то невидимого.

То водонос с ведрами на коромысле вытанцовывал забавные «калачи» под тяжестью своей ноши.

То кокетливая девица приводила в порядок свой сложный туалет перед воображаемым зеркалом.

То кули, грузчик, сгибался под рогулькой, нагруженной непосильной тяжестью.

Смерть обезьянки

Голубая девочка прыгала от удовольствия по террасе. Кто-то дал ей орехи, и она принялась швырять их в обезьянку.

Как раз в это время обезьянка кончила свой номер и отдыхала. Ее заменял Ли-Тай, который показывал свое акробатическое искусство.

Ли-Тай кувырчался в воздухе так быстро, что трудно было разобрать отдельные части его гибкого, проворного тела... То он кружился по земле, как волчок, сделав из своего тела «колесо»... То расхаживал вверх ногами на руках...

Сяо больше всех волновало мастерство товарища, и он гордился им.

У обезьянки образовался целый ореховый склад: в горстях лап, на зубах, даже в карманчиках кофты у нее были орехи.

Орехи, наконец, привлекли внимание Ли-Тая. Он набрал до десятка орехов и принялся ловко жонглировать ими...

Голубая девочка выбежала на площадку.

Напрасно Ли-Тай, который не умел говорить по-английски, силился предупредить девочку, чтобы та не подходила к обезьянке и не дразнила ее.

Голубая девочка подскочила к зверьку и для забавы потянулась отобрать орехи из цепких лапок.

Обезьянка прыгнула прямо на обидчицу.

Раздался пронзительный крик, перешедший в неудержимое рыдание.

Вмиг англичанин подскочил к обезьянке и наотмашь ударил ее палкой как раз по темени.

Ли-Тай страдальчески скорчился, точь-в-точь как обезьянка, одновременно с ней, словно удар с той же силой пришелся и по его темени...

Англичанин удалился на террасу. Девочку на руках унесли в комнаты.

На обезьянку точно столбняк напал: она так и осталась неподвижной и скорченной на оранжевом треугольнике песка среди рассыпанных орехов.

Ли-Тай смотрел на зверька, и слезы прыгали из раскосых глаз; на лице выступили желтые полосы смывтой грязи... Испуганный Сяо тоже плакал: ему было жаль и обезьянку и акробата.

Мальчики принялись собирать свое достояние. Напрасно обезьянка попыталась помочь своему хозяину-товарищу: ей не удалось даже донести до ящика зонтик... Зонтик, который так легко и ловко кружился в ее лапках, когда она плясала на канате, выпал из ослабевших лапок.

Когда Ли-Тай вскинул ящик на плечи и все привел в походный порядок, с террасы к его ногам мелькнула большая серебряная монета: целый даян (китайский доллар, немного больше рубля).

Никогда в руках Ли-Тая не было таких денег. Но щедрость «рыжего дьявола» вовсе не обрадовала мальчика. Он с тупым безразличием нагнулся и поднял монету.

Китайчата быстро-быстро зашагали прочь.

Обезьянка не могла идти сама: она на каждом шагу как-то странно валилась набок. Ли-Тай поднял ее и бережно усадил к себе за плечи на ящик. За золоченой калиткой обезьянка вдруг закашлялась; ее тело трепетало в лихорадочной дрожи.

Ли-Тай не на шутку встревожился.

Обезьянка была единственным живым существом, близким Ли-Таю. Она – его кормилица: не будь ее – что бы делал подземный мальчик-сельчанин, заброшенный в чужие края?..

Подымался ветер. Ударили первые крупные капли дождя... Мальчики прибавили шагу, хотя толком не знали куда идти.

И вдруг сразу косой стеной хлынули воды тайфуна...

Китайчата шмыгнули в первую попавшуюся харчевню...

В харчевне приветливо пахло вареным, пареным, жареным кушаньем. Из кухни тяжело стлался густой ползучий пар: готовились пельмени на пару.

– Давай проедем сразу все эти проклятые деньги «рыжего дьявола», – предложил Ли-Тай, когда мальчики уселись за один из столиков, покрытых красным лаком,

– Разве два мальчика смогут проесть сразу целый даян?

Даян казался Сяо громадной суммой.

– Проедем! – и Ли-Тай заказал дорогой соус с мясистыми бородавчатыми морскими червями – трепангами, отбивной медузы в приправе с сочными водорослями, бобового сыра, огромного краба и две больших чашки пельменей. Для обезьянки особо: порцию моченых бобовых орехов и сладких лакомств.

Мяо жалобно всхлипывала и лапкой беспомощно показывала на темя... учащенно моргала, корчила плаксивые гримасы и то и дело тянулась к Ли-Таю, капризно требуя от него неотступного участливого внимания.

Обезьянка дрожала. Ли-Тай снял с себя верхние отрепья и бережно укутал больного зверька. Пересели ближе к теплу кухни.

Толстый маленький татарин с круглым бабьим лицом подал на двух подносах богатый обед.

Ли-Тай ласково погладил обезьянку, провел ладонью по ее дрогнувшей мордочке, придвинул к ней лакомства, приглашая к трапезе.

Но Мяо не дотронулась до лакомых блюд. Казалось, ее раздражал даже вид пищи.

И когда Ли-Тай поднес к ее мордочке горсть моченых орехов, обезьянка вдруг снова закашлялась, и из горла и ноздрей обильно хлынула густая горячая кровь.

Желтый мальчик задрожал от страха... На омытом недавними слезами лице выступила меловая бледность.

Обезьянка забилась в мучительных судорогах.

Несколько раз, через короткие ровные промежутки, вздрогнула Мяо, всхлипнула глубоко и протяжно и издохла...

...Все кончено... Все! Все! Все... Кончено... Кончено... Кончено...

Ли-Тай не верил глазам.

На руках у желтого мальчика покоилось желтое тельце обезьянки... И сам мальчик, вместе со своей ношей, упал на руки взрослых китайцев... Возле потерянной Мяо Ли-Тай потерял сознание.

Как собачонка, выл Сяо: ему казалось, он никогда не видел такого горя...

№ 3737

Когда Ли-Тай пришел в сознание, мертвая обезьянка лежала рядом с огромным многолапым красным крабом. Кто-то в суматохе выхватил ее у мальчика и положил на лакированный стол.

Надо сказать, что наши китайчата очутились в Шанхае в очень тревожное время. В городе каждый день происходили облавы, аресты и массовые казни.

- Облава... Гоминдановцев ловят! - крикнул кто-то в харчевне.

И тут произошла невообразимая суматоха. Мирные люди, среди которых, может быть, не было ни одного гоминдановца, бросились кто куда, оставляя на столах вкусную ароматную пищу, опрокидывая табуретки. Прыгали в окна, теснились к дверям, кто-то шмыгнул в кухню и скрылся среди пельменьевого пара.

Сяо не помнит, как его оттеснили от Ли-Тая, как он оказался на улице, где люди носились во всех направлениях. Весь квартал кишел встревоженным муравейником.

Из-за угла выскочили солдаты. Теперь и Сяо знал, куда ему бежать: пустился в противоположную сторону от людей в серых военных куртках.

Тысячи лет китайский народ знал лишь несправедливость и произвол мандаринов и прочих властей. Еще недавно в Китае, когда убегал преступник, в тюрьму сажали его родственника, а если не было родственника, сажали соседа сбежавшего преступника.

Вот почему китайцы, как от чумы, разбегаются от какой бы то ни было облавы.

«Что случилось с Ли-Таем?» была первая мысль Ку-Сяо, когда он остановился где-то за несколько кварталов от злополучной харчевни перевести дух.

Вокруг спокойно. Люди медленно проходили возле домов под черными, золочеными и красными вывесками. Облава не докатилась до этих мест.

Сяо отдышался и повернул назад к харчевне искать Ли-Тая. Улицы, по которым проходил он, были похожи одна на другую... Еще и еще улицы, а знакомой харчевни не видать. Затревожился Сяо.

- Скажите, сударь, как пройти на улицу харчевен? - остановил прохожего китаичонок.

Прохожий улыбнулся.

- В Шанхае, мальш, сотни улиц с харчевнями. Вот тут направо три таких улицы. Да и налево с полдесятка.

Так Сяо и не нашел харчевни, где оставил Ли-Тая с мертвой обезьянкой.

Толпа на улицах редела. Тушили огни. Время подходило к полуночи. Но где-то впереди, словно пожар, темно-фиолетовое небо было насквозь пронизано светом. На этот свет бежал одинокий мальчик.

И Сяо оказался на берегу реки Вампу, на которой стоит Шанхай.

С двух сторон по набережным тянулись громадные грохочущие фабрики, из окон которых лился яркий электрический свет. На реке светились тысячами разноцветных огней громадные суда с рядами пушек. Здесь были океанские великаны - пароходы американцев, канонерки французов, крейсера англичан... На мачтах ветер разворачивал японские, немецкие, итальянские, голландские флаги. С некоторых судов по городу шарили быстрые полосы света прожекторов.

Рядом с громадными судами иностранцев к берегам жались тысячи крошечных лодчонок речных людей.

На Вампу светло, как днем. И даже вода казалась насквозь пропитанной сочным электрическим светом.

Сяо захотелось вздремнуть. На набережной лечь было рискованно; китаичонок видел, как полицейские бамбуковыми палками поднимали спящих кули.

Сяо то и дело шнырял под мосты, в закоулочки, по канавам, в неожиданные подземные щели, которых немало на побережье большого города. Но увы! Всюду, где мог уместиться хотя бы один человек, ночлеги были заняты: свернувшись калачиком или прижавшись тесно друг к другу, спали бездомники.

Наконец и Сяо нашел свое гнездо. Он шмыгнул под мост, влез в отверстие широкой сточной трубы, нащупал нишу и улегся на каком-то возвышении...

Сяо не знает, сколько времени он проспал в своей затхлой норе. Проснулся он от громкого свистящего храпенья, которое заглушало

несмелый щебет катящихся по трубам вод. Сверху глухо доносился ворчливый грохот пробуждающегося города.

Выбраться Сяо из углубления ниши оказалось невозможно. Поперек ниши, как раз у выхода, крепко спал взрослый человек, храпение которого разбудило китайчонка. Сяо пытался пролезть и между ног, и поверх живота спящего великана, но не тут-то было.

Сяо неосторожно задел соседа по носу. Сосед привскочил испуганно, стукнулся о какой-то выступ головой и крикнул яростно:

- Кто посмел забраться в мою квартиру?

Китайчонок не на шутку струсил.

- Это я, маленький Сяо, сын Ку Юн-суна, - пропищал сквозь слезы Сяо.

- Вот и хорошо, я тебя тут же съем в этой конуре вместо завтрака. - И сосед расхохотался хриплым громким хохотом.

Видимо, только спросонья он был свиреп, а когда очухался от сна, зашутил.

- Ну, рассказывай, головастик, как ты тут завелся в водосточной трубе? Да не бойся. Если ты воришка, говори всю правду: у меня в хоромах паспортов не проверяют.

- Нет, я не воришка, я речной мальчик...

И Сяо подряд рассказал о своей жизни.

- А теперь полезем наверх, - заявил сосед, выслушав рассказ мальчика.

Озираясь по сторонам, бездомники нырнули под мост, поднялись на набережную и смешались с многолюдной толпой. Утренние косые лучи солнца уже бороздили холодные камни набережной.

Сяо рассматривал спутника.

Это был рябой, подвижный, на редкость рослый китаец. В узкой косой щели век сверкал черный юркий смеющийся глаз. Казалось, этот человек должен был и родиться одноглазым, чтобы его лицо приобрело то хитрое, насмешливое выражение, с которым он смотрел на мир.

КуТе-ги то и дело балагурил, шутил, сыпал прибауточки. Но в его весельи не было доброй беспечности; это было ехидное хищное веселье человека, в себе что-то замышлявшего, кого-то перехитрившего.

- Ку-ку-ку, - закуковал Ку Те-ги, и в его единственном глазу заерзала хитро-хищная мысль. - Из ку-ку-ку мы сделаем дело. Ты говорил, что у тебя сестра на фабрике Кину-но-Учи работает. Пойдем, я тебя сведу к ней.

- Пойдем, - вне себя от радости крикнул Сяо.

- Но это дело нелегкое. Ты должен будешь молчать и не удивляться, что бы я ни говорил на фабрике, и называть меня «дядей». Если ты скажешь хоть одно слово не вовремя, нас могут палками выгнать с фабрики.

Вскоре они сидели уже в конторе громадной фабрики.

Сяо от счастья не понимал, что делалось вокруг него. Он даже не слушал толком, о чем шептался «дядя» с белыми людьми и нарядными китайцами-конторщиками. Сердце мальчугана билось радостью ожидания. Скоро-скоро он увидит родную сестренку. Мальчик мечтал о том, как он будет жить вместе с ней, помогать ей в работе.

- Как тебя зовут? – перебил его мечты один из конторщиков.

- Ку-Сяо.

- А как зовут твоего дядю?

- Ку Те-ги.

- Ну, иди сюда, Ку-Сяо, и распишись на этой бумаге рядом с подписью дяди... Не умеешь писать – поставь тушью черточку.

Рябой «дядя» хитро мигал китайчонку единственным глазом и мотал одобрительно головой.

- Ляй-Ляй! – один из конторщиков громко хлопнул в ладоши, и, как из-под земли, возле Сяо выросли две китайки. Одна быстро-быстро остригла Сяо волосы, другая скинула с мальчика отрепья и обрядила его в новые синие бумажные штаны и кофту. Мигом к кофте была вшита сзади большая красная заплатка, на которой четко значилось: № 3737.

Пока стригли и обряжали Сяо, «дядя» огреб с прилавка в карман горсть серебряных рублей, поклонился раболепно конторщикам и незаметно для Сяо улизнул из конторы.

- Ну, а теперь марш на работу. Ведите его в шестой корпус на фосфор, – крикнул китаец-конторщик.

Сяо почувал что-то недоброе.

- Где дядя?

- Его ты не увидишь пять лет, пока не кончится срок твоей работы.

- А кто поведет меня к сестренке Ку-Не?

- Какая там сестренка? Вот твоя сестренка, – и китаец показал мальчику плетть. Конторщики захохотали.

- Вот договор: твой дядя продал тебя на нашу фабрику ровно на пять лет.

Сяо вскрикнул, пытался рассказать правду, но его вовсе уже никто не слушал, вытолкали пинками из конторы во внутренний двор фабрики и поволокли в шестой корпус.

Побег с фабрики

В Шанхае сотни фабрик. В Шанхае больше полумиллиона рабочих; среди них множество женщин и детей.

В Шанхае бывают случаи, когда дети рождаются за фабричным станком и их детство проходит в угарных фабричных помещениях, среди грохота и визга машин.

Одиннадцатилетний Тин, новый приятель Ку-Сяо по шестому корпусу английской спичечной фабрики, принадлежал именно к таким фабричным детям.

Его родиной была иностранная текстильная фабрика; его первой колыбелью оказалась куча сырого хлопка; его первый крик врезался в гул прядильных веретен.

Грудного ребенка, Тина мать привязывала к себе за спину и так работала с живой ношей по двенадцати часов в сутки.

Детство Тин проползал на каменном полу среди груд неразобранного хлопка. Хлопковая пыль забивалась в нос, рот, в глотку. Вместе с Тинем с места на место ползали по хлопковой массе такие же маленькие грязные детишки, мешая матерям перебирать хлопок.

Подрастая, Тин помогал матери в ее кропотливом труде. Но недолго пришлось ему быть возле матери. К семи годам мальчик осиротел: мать умерла от непосильного труда.

Сиротку перевели в шелкопрядильню той же английской компании.

По двенадцати часов в сутки изо дня в день работал Тин на новой фабрике. Особенно трудным было чесание коконов в метательном отделении. Работать приходилось над чаном с кипящей водой. Пальцы, размачивая коконы, поневоле касались кипятка, покрывались болезненными волдырями-ожогами, с них слезала кожа.

Нестерпимо трудно было работать в атмосфере, наполненной горячим паром, запахом мертвых коконов.

«И моя бедная сестренка Ку-Ня работает так же» – с горечью думал Сяо, когда Тин рассказывал ему о шелкопрядильне.

– Три года я работал на коконах. Не выдержал и сбежал... Проходил с месяц голодным по городу и снова продался к белым дьяволам на эту проклятую спичечную фабрику. Ничего, Сяо, и отсюда сбежим, – закончил рассказ Тин.

Мальчики подружились, так как им пришлось работать рядом. Спали они тоже рядышком на общем собачьем мате, на грязных соломенных нарах.

И на этой фабрике работали по двенадцати часов кряду в смрадной атмосфере ядовитого белого фосфора.

Надо сказать, что белый фосфор – страшнейший яд. Употреблять его запрещено на европейских фабриках. Но для Китая закон не писан. Иностранцы заставляют работать с белым фосфором даже и малых ребят.

Длинными рядами возле рабочих столов стояли сотни маленьких ребят. Они перебирали спички, коробки, наклеивали этикетки. От непрерывного стояния ноги отекали; ребятки поочередно поджимали в коленках то одну, то другую ногу, подтягивая их к тощим животам.

К концу трудового дня на зеленых лицах липла холодная испарина. Вялые движения казались искусственными движениями мертвых театральных кукол, которых дергают со стороны за ниточку.

Сяо уже третью неделю работает на фабрике, и не будь возле Тина, кажется, не выдержал бы он и умер от изнурения, тоски и обиды.

Как жестоко обманул его одноглазый «дядя»!

Прижавшись измученными телами друг к другу, мальчики по ночам мечтали о побеге с фабрики.

Убежать невозможно. Вокруг – высоченные заборы. У ворот – круглые сутки страшные бронзолицые бородатые люди в оранжевых тюрбанах. Это – свирепые сикхи, туземцы, вывезенные из Индии для охраны английских фабрик. С фабрики детей не выпускали вовсе во весь срок их работы.

– А все-таки убежим, – утешал Тин маленького друга, – а если и не убежим, нас все равно скоро освободят южные революционеры, – таинственно добавлял он.

Тину, как более взрослому мальчику, часто приходилось работать в фабричном дворе, где бывало немало кули – рабочих-поденщиков с воли. Мальчику удавалось подслушать разговоры рабочих о каких-то надвигающихся революционных событиях.

Как-то вечером Тин вбежал в фабричное общежитие в сильном возбуждении. Расстилая собачий мат, он отчаянно корчил таинственные гримасы Сяо – говорить было трудно: возле стоял надсмотрщик.

Вечером ребята забились под драные одеяла из джутовых мешков, и Тин тотчас, прильнув к уху приятеля, быстро-быстро зашептал:

– Сяо, ты заметил, надсмотрщики сегодня вышли не только с плетью, но и с ружьями через плечо... Говорят, к Шанхаю уже подходит революционная армия... Завтра, говорят, сюда пригонят много кули: хозяева будут вывозить товары на пароходы.

Вокруг так же таинственно шептались на собачьих матах маленькие пролетарии. Встревоженные ребята заснули только под утро.

Чуть свет Сяо и Тина с группой других ребят прогнали во внутренний двор, где уже стояла толпа оборванцев-кули возле грузовых автомобилей.

Сяо и Тин оказались рядом в крытом складе. Ребята укладывали в большие ящики пачки спичек, приклеивали наклейки к ящикам.

В самый разгар работы – в открытую дверь склада было видно – во двор вбежали стройными рядами несколько сот вооруженных солдат, английских стрелков и индийцев. Сердце Тина упало.

– Ну, Сяо, теперь мы пропали, – шепнул он товарищу, – эти заморские разбойники будут защищать фабрику!

В ворота вкатывали пушки и пулеметы.

На склад то и дело вбегали оборванцы-грузчики, забирали наполненные ящики и относили их на грузовики.

- Красная борода? - вскрикнул вдруг Сяо, не веря своим глазам.

Один из кули взглянул на него. И старые друзья кинулись друг к другу.

На фабрике происходила небывалая суматоха. Надсмотрщики бегали, как угорелые, размещая прибывающих солдат... Поэтому нашим друзьям легко и просто удалось примоститься на ящике и мирно потолковать.

- Ну, Ку-Сяо, сын Ку Юн-суна, велика наша Поднебесная страна, но и в ней могут встретиться добрые друзья... Рассказывай, рассказывай, речной человек, как ты попал в это дьяволово пекло?

- А ты, Красная борода, как оказался здесь? - перебил Сяо, цепляясь за большую руку бродяги.

- Как я оказался в Шанхае - долго рассказывать... А как на фабрику попал - очень просто: подвело живот, а тут работа сама в руки лезет... Ну и нанялся к белым дьяволам на поденную работу...

Торопясь, захлебываясь, то и дело озираясь по сторонам - не увидели бы надсмотрщики - Сяо рассказывал старому другу о своих последних злоключениях.

Когда мальчонка говорил об обмане Ку Те-ги, его пальцы сжались в кулачки, на глазах загорелись слезы:

- О, попадись он мне теперь, я бы выбил ему последний глаз!

Закончил Сяо рассказ встречей с Тинном и поделился мечтами о побеге.

- А где твой Тин?

Сяо показал на мальчика, расклеивающего рядом этикетки на ящиках.

В это время в склад вошел надсмотрщик. Сяо вмиг возился уже со спичками, а Красная борода взвалил ящик за плечи на рогульку и бросился к выходу...

Когда Красная борода снова показался на складе, надсмотрщика там уже не было. Хун стукнул обоих ребят ладонями рук по плечам и тихо скомандовал:

- Бегом к стене за ящики, там никто не увидит нас.

И все втроем оказались за ящиками.

- Мы закончили беседу на вашем желании бежать из фабрики. Дело хорошее... Будем продолжать наш добрый разговор: лезьте оба в этот пустой ящик!..

Ребята растерялись, ничего не понимая.

– Что я вам говорю? Лезьте живо, а не то я вас сам запихаю туда! – свирепо прошипел Красная борода и вдруг так хорошо улыбнулся, что и у ребят на изнуренных лицах, отвыкших от смеха, показались улыбки.

Тут-то ребята поняли, в чем дело. Миг – и они уже сидели на дне ящика.

– Вас повезут с товарами далеко. Будут везти около часа, – скороговоркой нашептывал Красная борода сверху. – После отъезда через минут десять-двадцать приоткройте крышку и – кубарем на дорогу... Немного побьете носы, но зато будете свободными... Я поставлю ящик с вами в самом верхнем ряду, сзади, на самый последний открытый автомобиль... Ну, до следующей встречи, Ку-Сяо, сын Ку Юн-суна.

Красная борода хлопнул крышкой, взвалил ящик с ребятами на рогульку за плечи и бегом-бегом пустился по мосткам.

Лэй-ла, хуа-ла, ханд-ла...

Лэй-ла-хуа-ла, ханд-ла...¹

Весело напевал тоненьким фальцетом Красная борода песенку китайских грузчиков, пронося через огромный двор, мимо англичан и надсмотрщиков, свою живую ношу.

На баррикады

Неуклюжий грузовой автомобиль быстро мчался по гладкой пыльной дороге.

Китайчата, как спрессованные, тесно-тесно прижавшись друг к другу, лежали на дне ящика. Оба отсчитывали минуты:

«Раз... два... три...» – до шестидесяти и снова... Отсчитали пять минут с момента отхода автомобиля с фабрики... И вдруг издали послышались крики:

– Сто-о-ой!.. Держи их!..

– Подпаливай!

– Стреляй!

...Трра-та-та-трах!

Ребята замерли в ужасе...

– Оой-ой-ой!.. Погоня за нами!.. Сейчас изловят и растерзают нас!..

Прощай, Сяо!..

...Тррах... тзззы!..

Что-то лопнуло и зашипело под ними... Обдуманый выстрел: пуля пробилла шину, и автомобиль, заковыляв колесом, остановился.

Ребята взвыли... Лица горели в липких жгучих слезах... На лбу от испуга холодная испарина...

Ближе крики. Выстрелы. Топот сотен ног бегущих людей...

¹ Я иду, дайте мне пройти...

Я иду, дайте мне пройти...

Вокруг автомобиля уже бесновались люди... Как мертвые, неподвижно распростерлись китайчата на дне спичечного ящика.

- Подпалим!.. Сожжем это дьяволово добро! - надрывался кто-то в толпе.

Обезумевшим китайчатам казалось, что вот-вот разом вспыхнут ящики со спичками.

К горлу подступала давящая спазма, как от едкого удушливого дыма...

- Стой! - взревел могучий голос. - Пусть эти ящики будут нашей трибуной и нашими баррикадами!

И мальчики расслышали, как кто-то вскочил на автомобиль, взобрался на ящики и остановился как раз над тем крайним ящиком, в котором находились они.

- Товарищи! - раздался тот же могучий голос. - Слушайте меня. Я - представителе вашего штаба - Сун-Фу... В этот великий час мы должны быть рассудительны и организованы. Не надо погромов, которые могут привести к замешательству... Вместо того, чтобы сжигать зря эти товары белых собак, мы их раздадим нашей бедноте, а ящики, автомобили пойдут на баррикады!..

Ребята не понимали, что происходило вокруг автомобиля.

- Сяо, ты слышишь?! - шептал в самое ухо соседу изумленный Тин. - Кто это там такие?! Почему они до сих пор не трогают нас?

И вдруг пронеслось где-то близко:

- Да здравствует революция!

- Долой иностранных собак!

Крышка самого крайнего ящика, как раз под ногами оратора Сун-Фу, приоткрылась, и, как из игрушечного ящика, вынырнули две стриженные головы.

Толпа шарахнулась от неожиданности, загудела в недоумении.

Сун-Фу наклонился к ребятам:

- Вы, пострелы, как сюда попали?! - добродушно воскликнул он.

- Мы: - рабочие спичечной фабрики... Убежали от проклятых белых дьяволов, - разом ответили Сяо и Тин.

Сун-Фу сообразил, в чем тут дело... Его раскосые глаза превратились от смеха в маленькие прыгающие щелочки... Но он тотчас же оборвал неуместный смех.

Оратор, жестикулируя, загремел над толпой:

- Товарищи! Вот, вот видите: на их спинах номера, как на мешках с бобами!.. - Сун-Фу ловко повернул ребят спиной к толпе. - Это - наши китайские дети, занумерованные белыми собаками! Они только что сбежали с фабрики...

- Хао! Хао!! Хао!!! - неистово приветствовала толпа юных беглецов.

- Это – наши дети, которых тысячами скупают белые дьяволы, чтобы, выжав из них все соки, выкинуть больных, как мусор, на улицы или мертвых на свалку. Эти два маленьких пролетария – наше будущее, и если мы зальем своею кровью улицы Шанхая, поверьте, что они продолжат наше правое дело!

- Хао! Хао!! Хао!!!

- Если мы не увидим, они, наши дети, увидят свободный советский Китай!..

Ребята уже забыли недавние страхи и ликовали вместе с народом.

- К оружию! Русские белогвардейцы и генеральские солдаты!

Сун-Фу метнул ребят в толпу в протянутые руки кули и сам ловким упругим прыжком спрыгнул наземь и смешался с толпой.

Это были боевые дни знаменитого шанхайского переворота... Сяо и Тина толпа отгеснила назад. Ребята очутились на окраине китайских кварталов.

Опять на реке

В европейском селтменте, опутанном со всех сторон изгородью проволочных заграждений, притаились самые страшные враги китайской революции – иностранцы-империалисты. На европейских улицах стоят пулеметы, сверкает оружие.

Сяо опять один. Тин только что убежал добровольцем в революционную армию.

Сяо разузнал о фабрике Кину-но-Учи: она в европейском квартале. Но напрасно он рыщет вокруг селтмента – всюду на пути металлический терновник, колючие шипы непроходимой проволоки... Не пробраться к сестре!

Когда «речной мальчик» попадал на берег реки Вампу, ему становилось тяжело: с новой силой выступала тоска по родимой семье...

Среди речных людей, маячащих по грязным волнам в скорлупах шампунках, мальчонка различал знакомые фигурки... То ему казалось: у весла, юлы, раскачивается большое тело угрюмого отца; то в оборванной китаянке, свесившейся через борт черпнуть воды, мерещилась мать; седые лохмы рыбака напоминали ворчливого деда; в полуголых ребятах он различал знакомые черты братишек.

Часто бывает так: идешь по улице и думаешь о ком-нибудь. И вот, то там, то тут, среди прохожих, видишь человека, как будто очень похожего как раз на того, о ком думаешь...

Так случилось и с Сяо. Однажды ему показалось, что в шампунке, отходящей от берега, он действительно видит родную семью.

- Мама! Мама! Подождите! – не своим голосом закричал мальчик...

Лодка скрылась за гигантским пароходом...

Раздался плеск воды, и среди шампунук, шаланд, джонок и судов над водой запрыгала головка китайчонка: Сяо вплавь бросился за «родной» лодкой...

Речной мальчик, рожденный на Ян-Цзы-Цзяне, казалось, в воде чувствовал себя уверенней, чем на земле... Он быстро-быстро плыл, подгребая руками под себя...

Вот уже и гигант-пароход... Сяо юркнул возле самого носа судна... Перед глазами – лодка, за которой погнался Сяо... Она почему-то остановилась... Китайчонок ясно различил: в лодке были чужие люди!..

Силы от отчаяния оставили мальчика. Слезы застилали глаза. Обессиленные руки не повиновались, но он – на середине реки... Надо возвращаться на берег...

Сяо, еле-еле перебирая руками, проплыл мимо гиганта-парохода... Вдруг, как на зло, навстречу быстрый катер пронесся в нескольких саженях от Сяо. Высокая волна захлестнула мальчика. Он попытался что-то крикнуть.

...Буль-буль... В рот, в ноздри хлынула вода...

С невероятными усилиями Сяо вырвался на поверхность... Его заметили. На английском крейсере матросы, развлекаясь, хлопали в ладоши, хохотали... Спорили: доплывет ли китайчонок.

Судорога свела ноги Сяо... Точно какую-то тяжелую вещь привязали к пяткам, и эта тяжесть потянула обезумевшего мальчика на дно реки...

...Приторный едкий запах жареного бобового масла, острый аромат чеснока щекотали ноздри... Это были первые проблески сознания... Казалось, через нос в Сяо входила жизнь.

...Приподнял отяжелевшие веки. Заморгал. Перед глазами запрыгали, замаячили мачты, небеса, паруса, облака, какие-то люди, тюки товаров... Сяо лежал на палубе, возле судовой кухни.

– Ну что, мальчонок, наглотался водички, а? – над Сяо склонилась забавная фигура толстого кока – судового повара.

– Где я?.. – еле слышно пролепетал Сяо.

– О, маленький друг, ты уже далеко от Шанхая... но мог бы быть еще дальше, на том свете, если бы я тебя вовремя не вытащил за уши со дна реки на этот свет.

Добродушный повар с веселыми прибаутками рассказал мальчику, как перед самым отходом парохода он заметил утопающего китайчонка. Повар быстро сбросил с себя халат, нырнул прямо с борта судна в воду, и через несколько минут Сяо уже был на палубе.

– Совещались мы: куда тебя деть? «Уж коли я его подобрал на дне реки, пусть он будет моим помощником», – заявил я капитану... Ну вот, и будешь ты судовым мальчиком, в помощь мне. По рукам? – Повар

приподнял Сяо с палубы и усадил его на бочонок с соей. – А пока что очухайся как следует. Мне недосуг: пойду поварить!

Так Сяо вновь оказался на родной реке Ян-Цзы-Цзяне.

Вниз-вверх проплывали несметные, самые разнообразные суда. Вниз – с плодородной богатейшей долины Ян-Цзы-Цзяна сплавляли в чудовищную пасть прожорливого Шанхая сырье: лес, руды, кожу, щетину, шелк, чай, бобы, рис... и все это – иностранцам!

Вверх по реке направлялись суда, нагруженные готовыми изделиями: мануфактурой, папиросами, опиумом...

Богатое китайское судно, на котором так неожиданно очутился наш китайчонок, было одним из таких торгово-пассажирских судов, переправляющих готовые изделия иностранцев вверх и сырье вниз по реке.

Сяо впервые попал на такое большое судно. И едва он пришел в себя, как уже принялся, по ребячьему обычаю, исследовать вдоль и поперек судно...

Наступало время ужина. Озабоченный кок с трудом отыскал его где-то в пекле машинного отделения: Сяо пучил глазенки на громадные машины...

– Ну, паренек, пора и за дело приниматься!.. Живо на кухню!

Вскоре Сяо разносил пассажирам ароматную парную снедь в цветочных чашечках на лаковых красных подносах.

Забегался Сяо и в суматохе не заметил, как стемнело. На реке запрыгали отраженные звезды...

Было тревожное время, и капитан не решался ночью идти вверх по реке. Всюду, особенно в узких местах реки, можно было ожидать засады... По берегам разбойничали одичавшие солдаты; тайные боевые отряды крестьян нападали на богатые суда.

Капитан приказал причалить к берегу. Стали на якорь.

К бортам парохода подплывали шампунки, джонки... На китайских реках так принято: суда и лодки по вечерам собираются тесней к берегу, чтобы вместе переждать ночь...

Капитана радовало множество лодчонок: он боялся за богатый груз...

Но опасность притаилась как раз там, где ее меньше всего мог ожидать капитан.

Ровно в полночь, когда на судне четырежды пробили склянки, в маленьких лодчонках вдруг, как по команде, вспыхнули факелы, и сотни людей, вооруженных пиками, ринулись с гиком на палубу парохода.

Под видом мирных «речных людей» на ночлег к самому судну пробрались «Красные пики»...

...Вскоре капитан, команда и пассажиры, в большинстве – купцы и торговые агенты – сидели связанные друг с другом в кучке на берегу реки... Даже мальчонку Сяо привязали веревкой к развесистому баньяну...

Несколько «Красных пик», с ружьями на изготовке, охраняли зябнувших молчаливых пленников.

С судна в джонки наспех перегружали тюки с мануфактурой, ящики сигарет и опиума, консервы. Нагруженные доверху джонки одна за другой быстро уплывали куда-то вверх по реке и исчезали во тьме.

Сяо прозяб... Он со страхом разглядывал загорелых, полуголых людей, вооруженных пиками и ружьями...

– Ван-Вей! – неожиданно вскрикнул Сяо и рванулся от дерева. Веревка больно врезалась в обнаженное тело.

Из группы «Красных пик», освещенных факелами, выделилась давно знакомая нам фигура Ван-Вея...

И старый друг семьи Ку Юн-суна, радостно оскалив большие лошадиные зубы, бросился к маленькому Сяо.

«Красные пики»

Много врагов у китайского крестьянина.

И вот в среде многомиллионного народа возникают тайные боевые общества: «Красные, Черные, Желтые, Белые пики», «Большие ножи», «Тройная польза», «Твердые сердца», «Старшие братья» и пр.

Конечная цель всех этих тайных обществ, объединяющих преимущественно крестьянскую бедноту, – полнейшее освобождение Китая от помещиков, генералов и, наконец, от иностранцев.

Среди крестьянских тайных обществ ярче всего выделяются «Красные пики», которые так называются потому, что на оружии членов этого общества, на пиках, привязаны ленты красного цвета – символа революционной борьбы.

«Красные пики» – детище старинных тайных обществ. У «Красных пик» сохранились обычаи средневековья, таинства и обряды старины. В некоторых местах кандидат в общество проходит длинный искус под руководством наставника: в течение ста дней искусства он выполняет сложные обряды, непонятные ему испытания.

Однако в последнее время «Красные пики» приобретают все более и более характер современной революционной боевой организации, кой-где эти общества отбросили даже вековой таинственный покров, и в селах, на которые распространяется их влияние, открыто развеваются красные флаги.

Отряд «Красных пик», который напал на судно, был одной из таких боевых организаций крестьянства провинции Ань-хой.

На английском крейсере и миноносцах, которые поднимались из Шанхая к Ханькоу, заинтересовались необычайным ночным оживлением, горящими факелами на пустынном берегу.

Электрические огни на черной массе реки показались ближе: военные суда взяли направление на берег.

В это время пароход был весь разгружен. Последняя джонка с тюками скрылась во тьме.

- Туши факела! По шампункам! - скомандовал старшина.

И мигом «Красные пики» вскочили в лодки.

Только один Сяо из всех пленников был отвязан Ван-Веем от дерева и взят на шампунку. Остальные так и остались, привязанные друг к другу, на берегу...

Расторопная флотилия «Красных пик» легко вспорхнула вверх по реке и неслышно скрылась во тьме.

Не пройдя и километра, лодки одна за другой вильнули веслами и юркнули в маленькую, узенькую Ган-пу. Это была одна из несчетных речонков, впадающих в гигантский Ян-Цзы-Цзян...

- Ну, Сяо, тут уж до нас ни один белый черт не доберется, - переводя дух, наконец вымолвил Ван-Вей.

Это были его первые слова за все время пути. Ван-Вей стоял на «юле»: работал веслом, и ему было не до разговора.

Сяо притулился на дне лодки, в ногах у Ван-Вея.

Нужно было хорошо знать путь и быть ловким гребцом, чтобы ночью плыть вверх по извилистой, взбаламученной, каменистой речонке. То и дело лодка скользила по песку и плоским камням.

Уже светало, когда живописная пестрая флотилия «Красных пик» остановилась среди каменистых скал и ущелий.

«Красные пики» ловко и быстро втащили лодки на берег, перевернули их и замаскировали ветвями тальника среди камней и песка.

Гуськом - один за другим - вооруженные люди поднялись вглубь леса по еле приметной звериной тропе...

Шли молча.

Трудно было представить, что здесь, в этой глуши, можно было бы встретить человека. И вдруг Сяо увидел в дикой, может быть, несколько столетий тому назад заброшенной каменоломне множество людей... Полуголые, с бронзовыми загорелыми телами, с красными галстуками или красными шарфами на голых шеях и грудях, эти люди возились с оружием, которое состояло из ножей, серпов, вил, кос, пик и старинных неуклюжих ружей.

Здесь был тайный привал, главная база «Красных пик».

В глубине каменоломни, в искусственной пещере, в синих сосудах, наполненных золой, торчали курящиеся ароматные свечи. На каменных стенах в нишах – революционные красные флажки крест-накрест свисали над лысыми черепами веселых добродушных толстяков-божков.

Возле божков прямо на стене был приклеен большой лубочный портрет белого человека. Белый человек, прищуря умные глаза, казалось, подсмеивался над Сяо, который не понимал: «Зачем "белого дьявола" повесили в кумирню?»

Если бы Сяо был грамотен, то он разобрался бы в иероглифах. Эти иероглифы под портретом лысого белого человека, с хитрецою в улыбке, означали: «Ленин – друг китайского народа».

У входа в пещеру над жертвенником виднелись скрещенные пики и огромные заржавелые кривые мечи, разукрашенные ярко-алыми бантами.

Ван-Вей подтолкнул Сяо:

– Смотри: вон в глубине пещеры старик. Это наш Великий учитель «Красных пик».

Несмотря на то, что Сяо стоял близ самой пещеры, он только теперь различил неподвижную, точно приросшую к каменной нише фигуру старца с серебряной по пояс бородой...

Чтобы никто им не помешал, Сяо и Ван-Вей пробрались на бугорок над каменоломней и укрылись в гуще дикого винограда.

– Ну, Сяо, сын Ку Юн-суна, теперь я могу рассказать все подряд о себе и кое-что о твоей семье... Вскоре после того, как отец оставил тебя на земле, я встретился с твоей семьей. Мы соединились и вместе занялись рыбным промыслом. Наши дела неожиданно пошли настолько хорошо, что мы решили спуститься в Шанхай, выкупить твою сестренку Ку-Ню из фабрики и отыскать тебя... На этом особенно настаивала твоя мать... Она поседела с тех пор, как потеряла вас.

И вот мы уже были в пути к Шанхаю. Как раз в это время в Шанхае произошел революционный переворот... Мы добрались до древнего вольного города – Нанкина и – стоп... Дальше нас не пустили... Трудно тебе рассказать, что происходило в Нанкине в эти дни. В городе еще стояли северные войска, а в это время южане уже заняли нанкинскую гавань Сягуань...

Мы, мирные речные люди, были сбиты в кучу и жались к берегам, не смея сдвинуться с места... Над городом нависала гроза...

На Шечешанском холме, приблизительно в двух километрах от гавани Сягуань, собралась кучка англичан, американцев и других иностранцев. Им нельзя было переправиться через реку: они оказались в двойном кольце. Первое кольцо образовали северяне, а второе – окружившие северян южно-революционные войска... И вдруг в панике северяне подняли беспорядочную стрельбу... Шальными пулями,

попавшими на холм, был убит англичанин и ранен другой английский консул.

Этого было достаточно для белых собак. Стоящие на реке чудовища, английские и американские военные суда, открыли по городу бешеный огонь... В двадцать минут белые собаки разгромили город!.. Семь тысяч беззащитных женщин, детей трудящихся Нанкина залили своею кровью улицы города!

Как я очутился без лодки на левом берегу Ян-Цзы-Цзяна – не знаю...

Славный Нанкин был разрушен... Вокруг громадными кострами пылали целые кварталы...

О, Сяо, целую неделю бродил я диким зверем, голый, голодный, по опустошенному краю!.. И тогда я поклялся всю свою кровь, все свои силы отдать революционной борьбе с проклятыми белыми собаками... Истерзанного, издыхающего от голода меня подобрала на границе провинций Ань-Хой и Цзяньсу люди из этого отряда «Красных пик», среди которых ты меня нашел...

– А мой отец? Моя мама?.. Дед?.. – перебил Сяо, предчувствуя новый удар.

– Не падай духом, Сяо! Смерть пришла и к нам, речным людям, когда несколько снарядов ударили к самому берегу, где теснились наши нищенские лодки... Люди камнями попадали в покрасневшие волны... Как я, оглушенный, очутился в воде – не помню... Что случилось с твоей семьей, поверь мне, мой маленький друг, не знаю!..

Ван-Вей глубоко-глубоко вздохнул и стал рассказывать еще что-то, но Сяо едва слушал Ван-Вея. По лицу растекались обильные горькие слезы. Перед мальчиком неизменно стоял образ матери. Его мысли были полны семьей.

– Мужайся, Сяо, – успокаивал его Ван-Вей. – Может быть, они и живы. Вот тебе, Сяо, деньги. Их хватит надолго, и с ними ты, может быть, найдешь семью.

Ван-Вей долго рассказывал мальчику, как безопасней выбраться отсюда, где скорей всего можно найти семью.

Снова в семье

Чтобы не обратить на себя внимание, Сяо решил отойти пешком подальше от каменоломни и на обыкновенной попутной шампунке подняться вверх по реке.

В эти дни на всех пристанях происходили непрерывные обыски, облавы, следили за всяким прибывающим и уходящим судном.

Так Сяо и сделал. Вышел пешком. И, конечно, никто не обратил внимания на шагающего по берегу малыша.

Весь день Сяо шел по вязкому, илистому берегу вверх по реке.

Как нарочно, все встречные близ берега лодки направлялись не в ту сторону. Несколько шампунков прошло вверх, но все они шли на противоположный берег или куда-нибудь к ближайшей пристани. Некоторые шампунки хотя и плыли далеко вверх, все же их хозяева отказались взять странного маленького пассажира, направляющегося в далекий У-хан.

Так весь день Сяо без толку искал попутную лодку и все дальше и дальше удалялся от каменоломни.

Уже темнело.

Усталый Сяо остановился в безлюдном месте отдохнуть и перекусить. Скинул с плеч маленький мешочек, набитый всякой снедью и связками чохов – медных дырчатых монеток, намененных на дорогу.

Сяо отыскал удобный камень и уселся на него. Вынул вкусную засахаренную мучную лепешку и жадно принялся грызть ее.

Ему вспомнилось почему-то, как он так же на берегу великого Ян-Цзы-Цзяна сидел на камне и грыз лепешку. Это был первый день на земле оставленного семьей речного мальчика... И камень показался Сяо похожим на черепаху. Но теперь знакомая земля не страшила его. За короткую жизнь маленький мальчик перевидал и пережил больше, чем другой взрослый человек.

Выступили звезды над Ян-Цзы-Цзяном, и их серебристые отражения рассыпались по воде. А маленький Сяо все сидел на камне и вспоминал свою большую, необычайную жизнь.

Вдруг он заметил огонек на реке. Это, безусловно, плыла лодка вверх по реке.

Огонек поравнялся с Сяо.

Мальчик вскочил и что есть сил крикнул:

– Подождите! Подвезите меня! Я хорошо заплачу!

По огоньку видно – лодка задержалась.

– Хао! (хорошо!) – донесся голос с лодки.

Сяо задрожал от этого голоса: в нем было что-то до боли знакомое.

Лодка повернулась и пошла к берегу.

– Ты опять, незаштопанная твоя голова, наступил мне на ногу!

Сяо замер, ясно расслышав ворчливый голос деда.

«Померещилось!»... – не верил Сяо ушам.

Недалеко от берега гребец ловко вильнул широким веслом, лодка повернулась тупой кормой и влипла в самый ил берега.

Сяо не мог вымолвить и слово от радостной неожиданности: перед ним в освещенной тусклым мерцанием фонаря лодке была вся его родная семья.

Даже заспанная сестренка Ку-Ня выглядывала из-за соломенного навеса... Сяо плакал и смеялся, переходя с рук на руки.

ДЭРЭ – ВОДЯНАЯ СВАДЬБА

Мохнатые, взъерошенные ветрами-тайфунами ели, пихты и кедры точно лапами уперлись друг в друга; обнялись, перепутались в тесноте иглистыми, коленчатыми ветвями.

Кроны могучих деревьев – сплошные зеленые кровли, крепко сплоченные иглами. И лучу солнца не просверлить эти дремучие заросли, чтобы разбрызгаться золотистыми зайчиками среди тяжелых теней, на мясистые влажные травы, на причудливые ковры кружевных папоротников, на оранжевые саранки и бледные ландыши.

Змеи ползучих лиан, гибкие лозы дикого винограда свивают северную сосну с тропическим пробковым деревом.

Тайга подступила к самым тальниковым берегам путанной бестолковой реки. Китайцы-охотники и искатели целебного корня женьшеня издавна величают этот извилистый приток амура «Бешеной змеей». Река – таинственная дорога в непроходимом темно-зеленом царстве уремы¹.

Кой-где сваленные бурей хвойные великаны нырнули кронами в самую пасть реки, и их мохнатые зеленые лапы хлопают и хлопают по серебряной глади. Целые плоты разбухших кедровых шишек прибиты и собраны волной к берегам.

Тайга только что встрепенулась: с моря хлынули первые стайки «матери края» – жирной кеты.

Нерест...

По реке быстро скользит юркий легкий долбленный челнок – улемагда. Улемагду на днях купил гольд Амба у орочена²-рыболова за несколько соболиных шкурок, банку спирта и плитку кирпичного чая.

На дне улимагды – богатство Амба: меха, редкостные вещи в мешках из оленьей кожи, блестящие безделушки, спирт, два чугунных котла, китайский шелк – «чечунча», невиданные у туземцев две костяные щеточки и продолговатые жестяные тюбики с белой ароматной массой, которая, извиваясь, жирным червем выползает в узкую щель, если надавить легонько тюбик. Это – таинственный, могучий «хлородонт», от которого даже у стариков могут вырасти зубы. – Так думает счастливый Амба: так сказал ему кореец, продавший за беличьи шкурки два тюбика зубной пасты.

¹ Урема – туземное название лесной чащи.

² Орочены – тунгусское племя, обитающее на Совет. Дальн. Вост.

Там, – «где птицы не поют, где цветы без запаха, а женщины без сердца», – там, в таежной глубине – мечта Амба: раскосая, скуластая, синеволосая гильдячка – Дзябжя-Змея¹.

Ради нее Амба несколько лет плутал по Амуру, Сахалину и Камчатке. Ради Дзябжя бедняк Амба расставлял в снежных лесах соболиные ловушки; добывал редкостного голубого песка; бил на льдинах неповоротливых усатых «морских лошадей» – моржей; промышлял черных белок и лису-огневку; ловил горбушу, кижука, кету и огромную лососевую рыбу-чавыча.

Тысячи и тысячи километров – в лодках, на собаках, по мшистым тундрам и снежным холмам избороздил неутомимый охотник-рыболов Амба, чтобы добыть счастье свое: собрать тори² для жадного отца Дзябжя...

Плывет Амба в быстрой улемагде, смотрит на зеленый пир природы, а мысли его вокруг красавицы-невесты...

– Скоро добуду жену...

Тайга вздохнула, ожила. Ее обитатели потянулись из темных нор, горных гнезд к речным берегам.

Кой-где Амба изредка видел с лодки группки гиляков-кетоловов, которые расставляли рыбные сетяные ловушки с одношестыми кулями, возле «глаголя»³ – рыболовного заездка.

По соседству – в сотню шагов выше человека – мирно рыбачил медведь. У него свои охотничьи замашки.

Он выхватывает лапой из воды близко подошедшую кету и выбрасывает ее на берег... И тут же отгрызает и съедает голову, а тушки обезглавленных рыб стаскивает в кучу и забрасывает их хворостом валежника и песком. Так деловитый хозяин тайги заготавливает запасы свои про черный день.

По берегам подкарауливали ходовую кету хорьки, лисицы, россомахи. Сверху, стремглав – камнем скатывались на водяную взволнованную поверхность меткие орлы, большущие крикливые прожорливые чайки.

А в одном прибрежном скалистом уступе Амба вдруг заметил своего страшного тезку – священного тигра⁴...

¹ Приводимые в рассказе имена все действительно гольдские, – рядом с гольдским именем автор ставит перевод имени на русский язык.

² Тори – калым, выкуп за невесту, которая у гольдов продается в жены за определенную сумму или за обусловленные вещи.

³ Глаголь – заломанная углом по течению реки деревянная изгородь, – таков способ туземного лова кеты.

⁴ Тигр по туземному «Амба».

Молодой гольд быстро замотал головой, отвешивая поклоны в сторону «начальника» тайги. Губы задергались в бессмысленном наборе слов заклинательной молитвы.

Тайга вышла на добычливую охоту.

* * *

Стойбище «Лисья прореха» расположилось на издавна облюбованном гольдами глухом живописном месте, возле самой реки.

В гуще деревьев, то тут, то там выступали коврыги хаморанов¹ с заплатами цветной древесной корой стенами. Тут же возле хаморанов, над ними, возвышались на сваях, точно на ходулях, маленькие покатые амбары.

Над жилищами гольдов, в пышных ветвях перепрыгивали, точно летали, бурундуки; по корявым отводам однообразно постукивали и расхаживали вверх-вниз цепколапые дятлы; в пестрой зелени, над кронами великанов-деревьев ныряли сойки; в самой гуще леса кувыркались, гонялись друг за дружкой разнокрасочные маленькие птицы.

Завидя чужую улемагду с незнакомым человеком, со всего стойбища к берегу сбежались собаки и неугомонным лаем и воем провожали Амба. Собачья цепь растянулась вдоль неровного берега и продвигалась вперед вместе с улемагдой.

Много дней провел на воде, на веслах Амба; ладони рук очерствели мозолями. А вот теперь, возле родного стойбища, усталость свалилась с плеч, и он весело и бойко врезался веслом в податливую волну... Ведь, несколько лет кряду Амба только в непокойных снах видал эти родные коврыги хаморанов... И лай собак – привычный с детства слуху – радовал, бодрил молодого гольда.

На самом краю стойбища, у крутого поворота путанной реки, Амба повернул улемагду и направил прямо к берегу...

Затревожился Амба: вместо маленького берестяного хаморана отца, обычно стоящего в этом насиженном месте, как раз на вершине прибрежного бугорка, обсыпанного багульником, – возвышалась незнакомая, большущая круглая юрта. Серую юрту окаймлял поперечный красный плакат, испещренный белыми буквами лозунга.

– Неужто отец и мать перекочевали с этого насиженного места?! А может быть, их нет уже в живых?

Улемагда скользнула в илистый песок покатога берега.

Амба втащил улемагду на берег и, отбиваясь веслом от подоспевших собак, быстро зашагал к большой юрте на бугре.

¹ Хаморан – летнее гольдское жилище.

В просторной юрте находился лишь старик Еода-Шумящий – бывший сосед семьи Амба по стойбищу. Шумящий сидел на корточках за порогом внутри юрты и сосал тонкую, в два локтя, китайскую металлическую трубку.

– Бачкафу¹, – приветствовал Амба старика.

Старик даже не поднял голову, а лишь закатил выцветшие глазки под белобрысый лоб, чтобы разглядеть вошедшего.

Затем медленно и кропотливо всыпал свежую щепотку зеленой табачной пыли в трубку, раскурил ее и, собрав пучки мельчайших морщинок вокруг прищуренных глаз и поперх носа, неторопливо и безразлично заговорил:

– Эээ, ты есть Амба – сын покойного корявого Сигахта-Овода и его покойной жены – шестипалой Тинхэ-Давящей Вниз... Три весны тому назад ты покинул стойбище «Лисья прореха»...

Старик так же безразлично, неторопливо, в растяжку продолжал говорить обо всем, что касалось Амба и его рода... Слушая старика, можно было подумать, что он говорит сам с собой, испытывая свою старческую память.

Почтительность не позволила сразу же перебить Шумящего.

– «Покойный?» «Покойная?» – эти страшные слова относились к самому дорогому, родному и любимому – к родителям Амба.

– Сигахта-Овод ушел в подземный мир сразу же после прошлогоднего очихэ уйлэори²... – продолжал Еода. – Крепкий был старик: вечером он плясал вместе со всеми однофамильцами, под звуки бубен и ямха³... а на другой день Тинхэ-Давящая Вниз – жена его полезла под одеяло к трупу и спала с мертвецом, по старинному обычаю нашему.

Еода выбил о борт нар прогоревшую пыль из трубки и опять заговорил вяло и безразлично:

– Тинхэ омыла тело Овода, обрядила его в «сопка каче» и «сабоота»⁴, уложила в кедровый гроб и похоронила корявого Овода. Над могилой отца твоего мы закололи его любимую собаку – «Моржа»... Да, я забыл сказать, – спохватился Еода, – в гроб к Оводу мы положили, кроме разной домашней утвари, царские бумажные деньги. Хоть теперь ничего нельзя купить на земле на эти деньги, все-таки, может быть, в подземном царстве они еще в ходу и пригодятся покойнику...

¹ Бачкафу – гольдское приветствие, соответствующее по смыслу нашему «здравствуйте».

² Очихэ уйлэори – ежегодное осеннее родовое моление гольдов рода (хала) – однофамильцев (эмухала).

³ Ямха – гремющий металлический пояс шамана.

⁴ Сопка каче и сабоота – халат и сапоги из рыбьей кожи.

- Через два месяца после похорон твоего отца Тинхэ пригласила родичей-однофамильцев на малые поминки; шаман отыскал блудную душу Сигахта-Овода и уложил ее в «фанью»¹... Успокоилась Тинхэ, собрала свои пожитки, запрягла собак и по первопутку направилась на далекую реку – Уссури – к своим родичам-однофамильцам.

Старик насовал в трубку зеленой пыли табака, вдавил глубже пыль подушечкой большого пальца и продолжал свой рассказ:

- Этой весной охотники-соболевщики нашли мертвое тело твоей матери на проталине – она, старая женщина, замерзла в пути – (эта зима была на редкость сурова...) замерзла старая вместе со своими старыми клячами собаками...

- Падем дэрэди гру! (счастливо сидеть!), – не своим голосом, глухо, точно поперхнувшись комом твердой пищи, с трудом прохрипел Амба.

- Падем энэхэна... (счастливого пути), – донесся безразличный голос Шумящего.

Амба, сквозь заросли багульника и колючего чертова дерева, бросился, задыхаясь, к берегу и навзничь упал на дно улемагды.

Собаки, окружившие лодку, усилили лай, заслышав вой, всхлипывания и рыдания человека.

* * *

Собакам надоело безрезультатно крутиться и лаять возле улемагды Амба. К тому же на реке показалась большая выездная лодка, которая держала путь напрямик – к берегу.

Лодка была необычайна для этого глухого места: на ней не было видно весел. Пять человек пассажиров лежали в бездействии, в самых непринужденных позах на скамейках, на каких-то тюках и мешках; лишь один управлял лодкой, держась за руль. Все ясней и ясней раздавался равномерный стук мотора...

Амба по-прежнему неподвижно лежал, уткнувшись лицом в дно улемагды. Даже тучи назойливого гнуса², казалось, не могли его сдвинуть с места.

Только когда мотор остановился и лодка врезалась в берег рядом с улемагдою, Амба поднял голову.

Перед моторной лодкой шумно суетились шесть молодых гольдов, необычно наряженных в косоворотки, пиджаки, унты³ и меховые штаны.

¹ Шаман, по поверью гольдов, отыскивает душу покойника и укладывает ее в фанья – особую подушку, которую время от времени родные покойного угощают разной снедью.

² Гнус – таежная мошкара, которая иногда даже заедает зверя.

³ Унты – типичная туземная мужская обувь, из бараньей или лосиной кожи.

Молодые гольды, казалось, не замечали Амба и его улемагду. Но вдруг один из шестерых бросился вперед:

– Амба!

Амба быстро поднялся навстречу.

Это был Бямби-Боб – коренастый, худощавый, черноволосый парень. Его плоское, скуластое лицо, приплюснутый нос и узкие, косые, черные глаза были слишком знакомы и дороги Амба: с раннего детства Амба жил бок о бок с соседом Бямби-Бобом и был с ним в неразлучной дружбе. Боб заметно отличался от своих товарищей густой татуировкой: на лице между глаз, на переносице, на лбу и на маленьких руках его синели точки крестообразных узоров.

Еще подростком Бямби-Боб дал изуродовать себя шаману, который вдоль и поперек проколол его смуглую кожу иголкою с продетой сквозь нее ниткой, намоченной в ягодном соке и в китайской туши...

– Бямби!

Молодые гольды неуклюже обхватили друг друга маленькими руками, топтались по вязкому песку и, казалось, что-то выплясывали, на радостях, вокруг улемагды.

Вскоре Амба узнал, что Боб с товарищами привез продукты и товары для впервые открывающегося кооператива в «Лисьей прорехе».

Узнал Амба, что Боб – один из первых гольдов вступил в комсомол и сейчас работает в Ивановском охотничье-рыбацком колхозе, в ста километрах от стойбища...

– Хочешь, Амба, мы и тебя возьмем в колхоз?

– Ах, Бямби, я еще не опомнился даже. Всего несколько часов назад я прибыл на родное стойбище. На месте, где был мой родной хаморан, я увидел эту большую чужую юрту... А в юрте я встретил лишь одного старого Еода-Шумящего, который поразил меня страшными новостями, – Амба всхлипывающе вздохнул, – я остался один... совсем, совсем одинок... одинок...

Бямби провел ладонью по лицу Амба:

– Я знаю о смерти твоих стариков, дружище... Тем более тебе нечего делать в «Лисьей прорехе», а колхозу нужны такие, как ты, крепкие люди...

– Нет, Бямби, я не уйду из опустошенного гнезда... построю себе новый хаморан... Бямби, ведь здесь моя невеста, для которой я изъездил годы пути, чтобы добыть тори.

Товарищи Бямби не мешали встрече давнишних друзей; они дружно и скоро разгружали лодку, перетаскивали товары в большую фанзу на бугре к Еода.

– Только она одна осталась у меня на всем свете – невеста моя, с которой я посватан еще мальчиком семи лет... Ты должен знать ее – это дочь Челока-Похлебки и Майла-Трудной... Зовут ее Джябжя-Змея.

- Джябжя? Амба! Да ведь Джябжя продана старому безносому шаману... На днях будет дэрэ¹, на котором мы собираемся гулять...

Последних слов Амба не слышал. Он, как подстреленный, упал на песок и завыл, завыл нечеловеческим голосом.

Напрасно Бямби пытался утешить друга; касался рукой его лица, рук... Слова утешения не доходили.

Но вдруг Амба вскочил, стиснул до хруста руки Бямби и голосом, полным решимости сказал:

- Никому не отдам Джябжя. Убью старого колдуна, а не отдам Джябжя... Джябжя будет моей...

- И мы тебе в этом поможем, - воскликнул Бямби-Боб и, точно спохватившись, добавил, - но только убивать никого не надо, даже эту собаку-шамана.

* * *

От Еода-Шумящего Амба узнал все до мельчайших подробностей о том, что происходило в доме Челока-Похлебки.

Старик неторопливо, медленно, бесчувственно рассказал, что действительно в доме Челока-Похлебки уже все готово к последней свадебной церемонии - дэрэ.

Уже давно - в прошлом году - прошел первый свадебный обряд-модэрку². Как-то к Челока в дымный дже³ приехал на собаках старый шаман Фолдо-Дыра, привез пять бутылок спирта и, напоив всю родню Челока, получил согласие отца - отдать Джябжя.

- Весело было на этом модэрку, - вспоминает Еода, - не было ни одного человека, который не вывалился бы в собственной блевотине... Всех от мала до велика напоил богатый Фолдо-Дыра, у которого денег больше, чем блох на моих собаках...

Прошла и вторая часть свадебного обряда - токтолку⁴. Отец продал 17-тилетнюю дочь 68-летнему шаману за 20 червонцев деньгами, 2 чугунных котла, 2 китайских халата, 3 куса мануфактуры и 5 банок контрабандного спирта... И обряд токтолку был залит водкой.

- На токтолку было куда веселей, чем на модэрку, - добавляет Еода, - в однофамильцев (эмухала) нашего рода вошел дух войны, и они

¹ Дэрэ - последний свадебный обряд у гольдов. Об этом обряде будет подробно сказано в дальнейшем, в процессе рассказа.

² Свадьба у гольдов разделяется на четыре части, иногда отделенные друг от друга длительными промежутками времени. Первая часть свадьбы, модэрку, соответствует сговору, помолвке.

³ Дже - зимнее гольдское жилище.

⁴ Токтолку - вторая часть свадьбы, состоит из сговоров родителей невесты и жениха о размере тори (калыма) за невесту.

набросились на однофамильцев жениха. В драке досталось и нашим и ихним... Но жениховы пострадали куда больше наших: одному выбили совсем глаз – окривел; второму – два ребра, а третьему – скрутили ногу так, что он до сих пор хромает и ходит носками в разные стороны... О вышибленных зубах и побитых носах и говорить не приходится – никто их и не считал...

– Совсем недавно прошла 3-я часть свадьбы – сарин¹. Старик-жених и девушка-невеста, стоя на коленях и схвативши друг друга правыми руками, одновременно выпили по рюмке водки. И за этим главнейшим обрядом – «дыра-очини» – несколько дней кряду в доме Челока лилась водка. И снова все были пьяны.

– Ведь во время сарина всех обносят вином без конца, и никто не имеет права отказаться от чарки. А водку пьют без всякой закуски, – так полагается по старому обычаю гольдов, – поясняет Еода. – Осталась последняя четвертая часть свадьбы – дэрэ (умыкание) – мнимое похищение гьямакты². После этого обряда Джябжя должна стать женой шамана Фолдо...

– Вовремя ты приплыл, Амба, хоть и нежданно и негаданно: погуляешь, как отроду не гулял: не покусится Фолдо на водку, ведь у него денег больше, чем блох на моих собаках...

Амба по-своему согласился со стариком – вовремя приехал!.. Молодые ребята, товарищи Бямби, и сам Бямби подбодрили его, вселили в него крепкую надежду.

Амба, которому некуда было деться, остался с товарищами в большой юрте на бугре, предназначенной для кооператива ловца и охотника.

Молодые гольды с увлечением совещались вечером: как бы помочь Амба отбить невесту у шамана.

Наконец был готов полный план.

– Как хорошо, что никто из стойбища не видел, что мы прибыли на моторе! – воскликнул Бямби.

Надо сказать, что в день приезда Амба и Бямби с приятелями стойбище пустовало – почти все население отправилось, по древнему обычаю, на общественную работу по устройству заездка рыбной ловушки, так как со дня на день ожидался массовый ход кеты.

Только потому в день приезда молодежи в большую фанзу на бугре не нагрянули обитатели «Лисьей прорехи» – общительные и падкие до всякой новости гольды.

¹ Сарин – третья часть свадьбы. В старой русской свадьбе сарину соответствует до некоторой степени девичник.

² Гьямакта – невеста.

- Ложись спокойно спать, Амба, – посоветовал Бямби, – родителей твоих воскресить мы не можем, а гямакту твою отобьем для тебя.

Но Амба не мог спокойно спать: всю ночь ворочался и только на рассвете забылся тяжелым сном.

Утром товарищи снарядили Амба в дальний хаморан к Челока – отцу Джябжя.

- Только ты не подавай виду, что знаешь о предстоящей свадьбе Джябжя с Фолдо.

- Не забудь, что старик скуп, как черт, и стяжателен, как шаман. Добейся, какой угодно ценой добейся, чтобы Джябжя была в нашей лодке во время дэрэ... иначе нам трудно будет добыть твою гямакту, – напутствовал Бямби.

* * *

- Бачкафу, – с обычным приветствием вошел молодой гольд в хаморан Челока.

Изумленный Челока, точно не веря своим глазам, в припрыжку подбежал к Амба; стал щупать в плечах, касаться рук и груди молодого гольда.

- Амба?!! Ай-хаа-хаай! Амба? Сын покойного корявого Сигахта-Овода и покойницы шестипалой Тинхэ-Давящей Вниз... он и есть... А мы третью весну считаем Амба спутником своего отца и матери – за гробом – в подземном царстве – «буни». Ай-хаа-хаай!

- Нет, Челока, я жив и явился сюда с богатым тори, чтобы взять в жены твою дочь Джябжя.

Челока пришел в еще большее волнение. Его маленькое старушье безволосое лицо собралось в кулачок; среди несметных морщинок еле-еле можно было разобрать щелки безволосых ресниц, из-под которых чуть-чуть выглядывали узкие желтые влажные глазки.

Челока замахал быстро и бессмысленно кистями вытянутых вперед рук и не скоро нашел подходящие слова для разговора с молодым гольдом.

- Нет, нет, нет... Ты поздно явился, Амба: Джябжя больше не гямакта тебе... Это потому, что мы считали тебя мертвым. А кроме того шаман Фолдо-Дыра сказал, что имя «Амба» – начальника тайги – несчастно, когда его носит человек... И я не мог бы отдать дочь свою за человека с несчастливым именем...

Челока попятился от сурового, мрачного Амба.

- Отдай мне дочь. Отдай мне Джябжя, старик... Я привез тебе из дальних мест голубого песка, соболей, мехов разных, чугунные котлы, китайскую чеченчу, шелка, спирт... много разных вещей... и еще я привез тебе жирного белого волшебного червя... этот червь могучей и чудодейственной и «жень-шеня» – человеческого корня и «хай-шеня» –

морского корня¹... Если этим червем мазать десны, то и у старика вырастут новые зубы. (Амба искренне верил в чудодейственное свойство зубной пасты «Хлородонт»).

Глаза старика загорелись, уши потемнели от волнения...

– Хороший тори ты добыл, Амба. Но я не буду обманывать тебя: Джябжя на днях будет женой шамана Фолдо – я уже прожил с семьей часть тори, который уплатил шаман за дочь... А кроме того, мы уже отгуляли и модэрку, и тактолку, и сарин... Осталось отгулять только дэрэ... И ты сможешь с нами погулять на дэрэ. Вот все, что я могу сказать тебе.

– Челока, Челока, что ты наделал... Ты был другом моего покойного отца; ты обещал ему отдать Джябжя мне... Тысячи, тысячи верст по снежным безбрежным полям, через льды, реки, моря я носился три года, добывая богатый тори за Джябжя... Много-много раз я был на пылинку от смерти, добывая тори за Джябжя...

Челока чувствовал правду и справедливую обиду в словах Амба. Только жадность и любовь к водке заставили его продать дочь старому шаману, не дожидаясь приезда Амба.

Старику стало неловко.

– Слушай, Амба: я никак не ожидал увидеть тебя живым – нехорошие вести были о Камчатке и Сахалине, куда отправился ты, по рассказам охотников... Но теперь ничто не может изменить дела. Джябжя будет женой Фолдо...

– Лысого, грязного, злого, безносого обманщика-колдуна...

– Не говори таких слов, Амба. Беда случится, – шаман может слышать и на расстоянии. Он все знает...

– Почему же шаман не сказал тебе, что я жив, если он все знает...

– Дело кончено. Оставь шамана... Но ты можешь погулять с нами на дэрэ – много, очень много будет водки на дэрэ. Я сказал все.

Амба, точно покорившись неизбежному, прижал подбородок к груди и начал тихо:

– Ладно, я уступлю Джябжя шаману; я не испорчу кровавой мезьей ваш праздник – дэрэ... Но за это ты должен дать мне повеселиться как следует на свадьбе Джябжя: пусть Джябжя на дэрэ поедет в стойбище к жениху на лодке со мной и моими друзьями из Ивановского колхоза, чтобы шаман всех напоил водкой до рвоты... Ведь у шамана много денег – больше, чем блох на собаках старого Еода.

Старик задумался; опустил на корточки. И Амба опустил на корточки против Челока. Оба молчали.

¹ Жень-шень – корень растения, который собирают китайцы и туземцы на Дальнем Востоке. Хай-шень – трепанг – морской червь. Оба они считаются лечебными средствами.

- Но ведь по нашему обычаю гямакта на дэрэ едет с молодыми парнями родственниками-однофамильцами, - наконец нашелся старик...

Амба порывисто вскочил. Выпрямился и старик.

- Челока! И твой язык не отсохнет говорить такие слова. Обычай, обычай... Ты сам первый нарушил обычай, отдав мою невесту шаману, а теперь из-за пустяка вспоминаешь обычай.

Челока вновь опустил на корточки. И Амба опустил за ним.

- Если бы ты дал мне того червя, чтобы я отрастил себе зубы, я, пожалуй, разрешил бы тебе отвести Джябжя к шаману.

- По рукам, - вскрикнул Амба, - хлородонт твой.

Челока и Амба одновременно вскочили с корточек, и Амба так крепко стукнул ладонью по протянутой ладони Челока, что рука старика отлетела за спину, и сам старик кой-как удержался на ногах, круто повернувшись на бок.

И снова на прощание оба опустились на корточки.

- Падем дэрэди гру (счастливо сидеть), - вымолвил Амба.

- Падем энэхэна (счастливого пути), - ответил Челока.

* * *

Быстрой походкой приближался Амба к большой фанзе. Под ногами трещал сухой валежник; от тупых носков обуви из кабаньей кожи отскакивали кедровые шишки; к меховым штанам из кабарги липли, цеплялись прошлогодние семена растений. Амба напевал несложную песенку, которую тут же придумал. В этой песенке он рассказывал, как отобьет Джябжя у злого шамана; как счастливо заживет с ней; как построит для нее новый берестяной хаморан... Джябжя родит ему сына, которого он назовет Отнятым... Он будет из тайги, с охоты приносить подрастающему сыну всякие диковинки...

Выдумывая и тут же забывая слова незатейливой песенки, Амба не заметил, как подошел к большой фанзе на бугре.

Навстречу к нему вышел Бямби.

- Ну как, согласился? - были первые слова Бямби.

Амба понял - Бямби спрашивает: согласился ли старый Челока отпустить с ними Джябжя на дэрэ.

- Согласился...

- Так слушай: я нарочно вышел тебе на встречу, - в большой фанзе - много ушей, - там собрались погалдеть люди со всего стойбища. Не нужно ничего говорить о нашей затее... Слушай, Амба: все готово, - к счастью никто не знает о том, что на нашей лодке мотор; мы пока что сняли его и спрятали. Все идет гладко и хорошо... потерпи немного - и Джябжя будет твоей... Тссы!

Амба выслушивал бесконечное число раз одни и те же рассказы стариков о покойных родителях, о предстоящем дэрэ – последнем свадебном обряде его бывшей невесты, Дзябжя, со старым шаманом.

Время от времени в эти рассказы вставлял слово невозмутимый Еода:

– Весело будет! Веселей, чем на модэрку, на токтолку и на сарине...

Шаман не пожалеет водки для дэрэ – у него денег больше, чем блох на моих собаках, – и старик напихивал новую порцию зеленой пыли в трубку.

Дэрэ – самая веселая, самая забавная и шумная часть гольдской свадьбы. Родители и родственники невесты и жениха назначают особый день для проводов невесты, шуточного «похищения» ее и перехода из дома родителей в дом жениха.

Только после всех этих церемоний дэрэ невеста становится действительной женой уплатившего за нее тори человека.

В летнее время дэрэ проходит на реке. Гяматку – невесту обряжают в богатые подвенечные наряды и везут ее к жениху в большой выездной лодке. На весла в лодку с невестой садятся молодые парни в нарядных костюмах. За лодкой с невестой и молодежью плывут лодки с родителями, родственниками-однофамильцами.

Свадебная шумная флотилия направляется к стойбищу жениха. Жених знает время прибытия невесты и уже заранее готов к встрече ее – возле его фанзы на берегу реки выстроены лодки.

Показалась водяная свадебная процессия, и в миг в самую богато убранную лодку впрыгивают жених и гребцы – молодые ребята женихового стойбища. Лодка жениха и вслед за ней лодки родичей отчаливают от берега наперерез к лодке невесты.

Начинается «погоня»... Лодка невесты круто поворачивается и «убегает» от жениховой лодки... Невеста прячется на дно, и ее покрывают яркокрасочным одеялом.

По реке гоняются лодка за лодкой... И лишь только тогда, когда женихова лодка настигнет лодку невесты, а жених коснется рукой борта лодки, – вся свадебная флотилия направляется с шумом к берегу к жениховому стойбищу, к его фанзе – пировать.

Обычно погоня бывает короткой, так как гребцам всех лодок одинаково хочется поскорей начать пиршество.

На берегу свадебную процессию встречает криками и ликованием все стойбище; охотники салютуют из ружей, ребята трещат китайскими новогодними ракетами.

Все участники свадьбы направляются в фанзу жениха; лишь только тогда, когда жених остается один на берегу, он подбегает к невестиной лодке, срывает с невесты покрывало и ведет ее в свою фанзу.

Еще несколько обрядов: моления идолу Дюлина, или столбу Гуси-на-Мало; жертвоприношение богам продовольствием и русской горькой – и начинается свадебный пир. Таковы вкратце церемонии дэрэ.

Несмотря на то, что шаман был стар, и старики чаще не выполняют полностью обряды, Фолдо решил выполнить дэрэ от начала до конца.

На третий день после приезда Амба все стойбище «Лисья прореха» чуть свет было уже готово к дэрэ.

На рассвете к хаморану Челока подлетела большая разукрашенная лодка молодых гольдов-колхозников; среди них были Амба и Бямби... Борта лодки пестрели свежими ярко-оранжевыми саранками, желтыми, синими лютиками, светлым багульником, белыми большими колокольчиками, розовыми ландышами, лесными розами, фиолетовыми ирисами и множеством других цветов тайги. Лодка, залитая первыми косыми лучами солнца, казалась громадным пестрым букетом на воде. На дне лодки лежали ковры, меха и шкуры.

Даже Челока, которому не совсем нравилась затея Амба, просиял при виде богато убранной лодки. Губы его, окаймленные засохшей пастой «Хлородонт», собрались в довольную улыбку.

– Ай-да, Амба! Ай-да, Амба! Угодил старику. Не забуду твоих забот: разукрашенной лодки и белого червя... Когда обрастет мой рот свежими зубами, я отдам тебе, Амба, за богатый тори свою старшую дочь, которая овдовела и которой нет еще и сорока лет...

В кругу подруг вышла из хаморана гямакта – Джябжя, и вся девичья группа направилась к цветочной лодке.

Амба впервые узнал Джябжя, после нескольколетней разлуки. Кровь подкатила под кожу его лица. Черные горящие глаза застыли на любимой девушке.

– Ай, красавица!

– Вот так Джябжя!

– Такое солнце отдать безносому хрычу, обманщику-колдуну!

Ребята на лодке в один голос восхищались Джябжя.

На Джябжя было платье из кожи сазана, обшитое тонкими, затейливыми узорами: причудливые фигуры раскрашенных птиц и рыб пестрели на ее наряде. При каждом движении невесты раздавался металлический шум, так как ее наряды были вдоль и поперек украшены несметными побрякушками, безделушками; на обеих руках болтались ряды браслетов... луч утреннего солнца играл, дробился у нее под носом на металлической пластинке, которою оканчивалась прорехая через носовую перепонку тоненькая, из серебряной проволоки сережка. Из ушных мочек свисали по самые плечи гирлянды пышных серег.

Джябжя нервно брякнула всеми своими украшениями. Носовая серьга задергалась, заплясала под разохшимися, взбудораженными ноздрями.

Но Джябжя быстро собрала себя, приосанилась и легко впрыгнула в свадебную лодку.

- Отчаливай!.. - скомандовал Челока.

И вслед за невестиной лодкой с берега отскочили лодки, битком набитые подружками, родичами, однофамильцами и друзьями невесты.

Под смех, шутки, песни и гиканье свадебная флотилия выплыла на середину реки и направилась к стойбищу жениха.

Громче всех раздавались песни, крики, смех в невестиной лодке. Веселье это было искреннее, но это преследовало и тайную цель: непрерывный шум должен был служить ширмой для тайной беседы Амба с Джябжя.

Джябжя, по предложению Бямби, пересела на возвышенное место, покрытое соболевыми шкурами, ближе к рулю, за которым стоял Амба.

- Джябжя, - начал Амба, - ты ведь знаешь, что твой отец и мой покойный отец еще в детстве нашем решили отдать тебя мне... Ты помнишь, как мы дружно и весело играли в Джяпака чури¹... Помнишь наши думхубури². Мы всегда были вместе; я всегда выручал тебя в игре и в беде... Я называл тебя «гямактой», а ты величала меня - хозяином-мужем... мы были так дружны... так дружны...

- Зачем, Амба, ты вспоминаешь все это, когда я еду в дом будущего мужа?

- Джябжя! Джябжя! У твоего будущего мужа нет волос на голове... и рот его без зубов... и нос его провалился... Он злой и грязный старик... Перед смертью решил взять себе третью жену и выбрал тебя, нетронутый цветок, красавицу, невесту мою.

- Зачем, Амба, ты говоришь такие слова? Ни к чему они. Сегодня ночью я буду под одеялом у старого Фолдо-Дыры.

- Нет! Нет! Нет! Если ты только захочешь, я увезу тебя далеко-далеко отсюда и ты будешь моей женой, - и Амба зашептал знойно и быстро-быстро:

- Джябжя, ты сидишь над машиной... Там под соболевыми шкурками спрятан мотор, который без весел может умчать нас - быстрее рыб и птиц - далеко-далеко, туда, где нет шамана, где девушка становится женой того, кого она любит. Скажи только слово, что ты согласна стать

¹ Джяпака чури - чисто детская гольдская игра, состоящая в бросании и ловле пучка травы (джяпка).

² Думхубури - тоже ребячья гольдская игра, состоящая в прыгании через веревочку, вращаемую двумя детьми.

женой моей, и ты не достанешься старой собаке – безносому шаману... и ты будешь моей женой...

– Правильно ли ты говоришь?

В сердце смущенной девушки происходила борьба.

И опять задергалась серьга под носом.

– Ах, Амба. Зачем только ты уехал из «Лисьей прорехи» на несколько весен, – вместо ответа, сквозь слезы, прошептала девушка.

Амба торопливо рассказывал Джябжя о своих смелых рискованных охотах, блужданиях и промыслах...

И все это ради нее, ради тори за нее, за Джябжя.

– О, я был так далеко, – там, где кончается земля и до самого неба плывут льдины по океану. Там я бил для тебя «морских лошадей» (моржей)... Для тебя я добыл голубого песца на Камчатке... Для тебя я расставлял сети на соболя, для тебя я промышлял черных белок и лису-огневку... О, Джябжя, в горах Сахалина я в рукопашную, с ножом в руках, боролся со страшным медведем и не отдал ему жизнь свою, которую сохранил для тебя... Я убил медведя... И неужели теперь я отдам тебя старому псу – блудному шаману... Я убью его, Джябжя, если ты не согласишься уехать с нами на быстром, как птичьи крылья, моторе.

– Делай как знаешь, «хозяин», – по-детски назвала девушка Амба, – ты мужчина, и мой живот через край полон любви к тебе.

– Амба, – вне себя от счастья вскрикнул Амба, – тигр возьмет змею из-под самого носа... безносой Дыры.

– Тише ты, дуралей соболиный, – шикнул Бямби на забывшего всякую осторожность влюбленного гольда, – ты нам все дело испортишь, – видишь: в десяти взмахах весла за нами лодка Челока.

Конечно, молодые гребцы догадались о результатах беседы Амба с Джябжя, – и, точно им поставили новые глотки, – принялись еще громче, веселей и задорней распевать безудержные песни.

«Старик Бибу!

Дай им жизнь хорошую и долгую.

И детей им пошли много-много», – подхватили гребцы правого борта невестиной лодки.

«Мать Фадзя!

Дай им жизнь хорошую и долгую.

И много-много пошли им детей»¹, – еще задорней, точно в ответ, раздалось с левого борта той же лодки.

Старики с наслаждением слушали древние свадебные напевы.

– Ладно поете, ребята. Шаман не поскупится на водку за этакие слова, хоть вы и не вовремя их вспомнили, – кричал Челока из своей лодки.

¹ Обе эти молитвы-свадебные песни поются на дэрэ, но значительно позднее, у фанзы жениха.

Ребята продолжали задорно выкрикивать песни «старикку Бибу» и «матери Фадзя»: так они по-своему «венчали» Амбу с Джябжя, вовсе не думая о шамане.

Свадебная флотилия подъезжала к стойбищу жениха.

- Подпускай, - тихо скомандовал Бямби, пересадил невесту на середину лодки, сбросил шкурки с мотора и завозился над ним.

Ребята отпустили весла, еле-еле перебирая ими по воде.

- Гребь шибче, - командовал расходившийся шаман своим гребцам, - гребь, не пожалею водки молодцам.

Расстояние между жениховой лодкой и лодкой невесты быстро уменьшилось...

Несколько дружных взмахов весел, и лодки столкнулись.

Шаман был доволен тем, что невестина лодка так легко и быстро «сдалась»: его тянуло обратно в фанзу - к водке.

Фолдо схватился рукой за борт невестиной лодки и торжественно вымолвил:

- Готово!

Но тут произошло то, что вовсе не предусмотрено обычаями гольдской свадьбы.

Амба со всего маху веслом ударил по вытянутой руке шамана. Дыра взвыл.

- И у нас тоже «готово», старая собака... Тебе не видать, негодяй, моей Джябжя, как волос на своей сухой голове...

На реке произошло невообразимое замешательство.

Гребцы невестиной лодки налегли на весла. За ними бросились все лодки: и жениха, и со стойбища «Лисьей прорехи». На воде носился шум, крики, проклятия, угрозы.

С берега друзья шамана - свидетели всей этой сцены - вместо ожидаемого салюта в воздух, выпустил заряд в убегающую лодку.

Ничего непонимающие дети некстати пачками поджигали китайские ракеты, которые своим треском заглушили нестройные крики.

И точно в ответ на эти выстрелы и ракетную стрекотню пулеметом затрещал налаженный мотор.

- Бросай весла, - скомандовал Бямби, и лодка без весел стрелой помчалась по реке, все дальше и дальше удаляясь от разъяренных, неистовствующих людей.

«Старик Бибу!

Дай им -

Джябжя и Амба -

Жизнь хорошую и долгую

И детей много-много», - затагнули все ребята разом.

«Мать Фадзя!

Дай им –
Джябжя и Амба –
Жизнь хорошую и долгую
И детей много-много»...
Но последний припев не был слышен в лодке Фолдо-Дыры.

* * *

В глухой амурской тайге, на верховьях рек, нет еще радио и телеграфа, – вести быстры, как улемагда рыболова, как пуля охотника.

С уст в уста кочует весть за тысячи верст по следам охотника, искателя жень-шеня, кочевого туземца.

В самый разгар осеннего лова кеты в стойбище «Лисья прореха» и в стойбище шамана все отлично знали, чем кончилось дэрэ.

Амба с молодыми товарищами увезли Джябжя в Ивановский охотничий рыболовный колхоз...

И древнейший обычай «похищения» девушки, дэрэ, был благополучно завершен в колхозном Загсе.

Амба и Джябжя – первая таежная гольдская пара новобрачных, которые записались в Загсе.

*Впервые опубликовано и печатается по:
Март В. Дэрэ – водяная свадьба: Рассказ. Киев, 1932. 39 с.*



**Аполлинарий Дионисович
НЕНЦИНСКИЙ**
(1893–?)

Беллетрист Аполлинарий Ненцинский родился в 1893 г. в городе Благовещенске. Окончил Благовещенскую гимназию (предположительно в 1912 г.). С 1928 г. жил в Шанхае. Писал рассказы, стихи, пьесы. Участник содружества «Понедельник». Член содружества художников, литераторов, артистов и музыкантов (ХЛАМ), в 1942 г. его вице-председатель. Публиковался в журналах: «Рубеж», «Прожектор», «Парус»; альманахе «Понедельник». Автор сборников рассказов «Человек во фраке» (Шанхай, 1937), «Сильнее любви» (Тяньцзинь, 1938). Увлекался театром, играл на сцене (участник Русского кружка любителей

драматического искусства в Шанхае). Выступал в качестве конферансье, был организатором концертов, постоянным импресарио А. Вертинского в Китае (ездил с ним в гастрольные поездки в Харбин и Тяньцзинь). После издания Указа о реэмиграции подал заявление о принятии советского гражданства. Однако в СССР (г. Омск) выехала только его жена, а сам он продолжал оставаться в Шанхае. Дальнейшая судьба писателя неизвестна.

Ист. и лит.:

Жиганов В.Д. Русские в Шанхае: Альбом. Шанхай, 1936. С. 113, 135.

Забвению не подлежит. Книга Памяти жертв политических репрессий Омской области. Т. 1. Омск, 2000.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 218.

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ

Сухо звякнули костяшками равнодушные счеты жизни. Звук дошел до сознания, зигзагом пробежал по мозговым извилинам и, достигнув центра восприятия эмоций, ясно отпечатал слово «банкрот». Рассудок насмешливо добавил еще одно слово: «жизненный».

– Жизненный банкрот.

Покрываясь седым пеплом, потухали в камине угли. Настольная лампа ярко освещала сидевшего у стола смуглого, с приятными чертами лица человека, одетого во фрак. Его гладко причесанная, с тщательно сделанным пробором, голова низко склонилась над листом бумаги, исписанным бесконечными рядами цифр.

Разбившись о лицо сидящего, свет оставлял всю комнату в полутьме. На стенах, слегка поблескивая позолотой, висели китайские панно. Недалеко от камина – широкая тахта со множеством подушек самых причудливых форм. Небольшой стол для бриджа и медный курительный столик примостились между двух глубоких кожаных кресел. Плотный пекинский ковер покрывал полкомнаты. Через раскрытые двери виднелась часть ярко-освещенной спальни.

Приподняв голову, мужчина встретился взглядом с глазами висящего над столом портрета седого господина в судейском, с погонами, мундире. Глаза портрета смотрели вопросительно и строго. Запнувшись о слова

«жизненный банкрот», мысль побежала дальше, и вскоре, нарушив тишину, прозвучали слова:

– Я знаю, это – грань. И я знаю, что я должен делать. Ты можешь быть спокоен – я никогда не забывал, что ты мой отец.

Человек во фраке встал. Хрустнули тесно переплетенные пальцы. Глаза блеснули не то гордостью, не то презрением. Взглянул на часы – было ровно девять. Вспомнил: гости приглашенные в Мажестик Отель, к столу мистера Коврова, соберутся к одиннадцати.

Значит, осталось два часа. Всего только два часа он имеет на размышление. Но ведь думать больше нечего. Не два часа, а два месяца он бился, изворачивался, думал, комбинировал – все было напрасно. Рука судьбы с убийственной точностью подводила баланс. Как приговоренный к смерти, апеллировавший во все инстанции, он все еще надеялся на помилование. Петля туго захлестнула шею, уже колеблется под ногами табуретка, вот-вот ее вышибут, а он все еще верил, что этого не случится. И только сейчас, с беспощадной ясностью, он почувствовал, что это, действительно, конец. Можно было мириться со всем, можно было пускаться на всевозможные уловки, можно было тянуть, но всему есть предел. Через два часа он принужден будет открыто признаться, что он – ничто.

В течение нескольких минут перед глазами Коврова пробежала вся его жизнь, в этом международном, холодном ко всему, кроме денег, равнодушном городе.

Вот, он молодой мичман, прибывший в Шанхай с флотилией Старка – последними остатками белых армий. Не было ничего, кроме смены белья, новенького кителя и огромного запаса сил и энергии.

Недоверчиво хмуро встретил никому не нужных пришельцев закованный в гранитную броню банков город. Было пасмурно на душе. Больно хлестало по самолюбию, когда после разговоров на безукоризненном английском или французском языке спрашивали о национальности и потом разочарованно тянули: «Ах, вы – русский». Но после всего пережитого, ничего не пугало.

Десятки профессий переменил Ковров, со звериной настойчивостью отвоевывая себе право на жизнь. Только во время забастовки судьба как будто улыбнулась ему. Ковров вновь попал в свою стихию.

Громадный «Президент» несколько раз перебрасывал его с мутных волн Вампу к смеющемуся солнцу Калифорнии. Только данное капитану слово после бегства с парохода трех человек команды, не позволило ему остаться в Америке.

Кончилась забастовка, но Ковров быстро нашел себе место в крупной фирме. Жизнь приветливо взглянула на пришельца. Стали появляться деньги. Кто-то посоветовал попробовать счастье на бирже. Повезло. Вскоре бросил службу. Удача шла за удачей. Но Ковров был осторожен, не гнался

за большим. Игра на бирже давала возможность жить, ни в чем себе не отказывая. Появилась своя квартира, текущий счет в солидном банке, двухместный светло-оранжевый «Моррис».

Коврова любили. Выдержанный, с интересной наружностью, он был принят в лучших домах. Однажды у кого-то на вечере он встретился с ней.

Маленькая, гибкая, она несколько раз взглянула на него из-под лениво приподнятых век, большими карими глазами. Он попросил представить. Мадам Бахман – жена крупного коммерсанта. Пара незначащих фраз. И долгий, пристальный взгляд манящих глаз. Оставшись один, Ковров долго думал о маленькой, гибкой женщине. Ему казалось, что лениво приподнимающиеся веки умышленно не хотят показать, что скрыто на дне ее глаз. Казалось, что там должен был существовать неисчерпаемый запас тепла и ласки.

Было много встреч, порой случайных, порой умышленно случайных. И с каждым разом Ковров все больше и больше убеждался, что он был прав, эта женщина напомнила ему спящую царевну. Еще никто не разбил ее хрустального гроба. Ее мужа Ковров видел раза два или три. Мясистый, самодовольный, не молодой делец, он резко отличился от своей «спящей красавицы».

Как-то, во время танца, ее рука слабо вздрогнула и внезапно широко открывшиеся глаза обдали Коврова снопом искр. Искры упали на давно подготовленный горючий материал и зажгли его. Это было начало любви.

Робко, боязливо перешагнула она в первый раз порог его квартиры. Судорожно обвилились вокруг шеи ее тонкие, почти детские руки. Маленькая женщина только теперь поняла, что такое жизнь и любовь.

Почти каждый день были встречи. И с каждым днем все сильнее и сильнее Ковров чувствовал, что эта женщина, войдя в его жизнь, стала единственной целью и смыслом. Дела, знакомые – все отошло на задний план. Все мысли только об очередной предстоящей встрече.

Но вместе с любовью в сердце проникало и другое чувство. Ковров стал ревновать. Ревновать к ее мясистому, самодовольному собственнику. Сердце больно ныло, когда он начинал думать, что кто-то другой имеет право на его «маленькую». Порой бессильная злоба рассыпала перед глазами зеленые искры бешенства, и он не мог найти себе места. Она клялась ему, что только он один имеет на нее право, что муж всецело подчиняется ее желанию. Ковров не верил. Нередко она стала уходить от него с распухшими от слез глазами.

– Неужели ты не видишь, неужели ты не можешь понять, что я не в состоянии делиться? – говорила она, зажимая поцелуем готовые сорвать с его губ оскорбительные, жестокие слова.

Часто Ковров ловил себя на мысли, что он не должен ничего требовать, так как он не в состоянии дать и десятой доли того, что дает ей

муж.

Ковров хорошо жил, удачно зарабатывал, но все же, в материальном отношении, он, по сравнению с Бахманом, был нуль. Любая безделушка, купленная тем для жены, равнялась чуть ли не недельному заработку Коврова.

Конечно, он мог бы значительно увеличить свои доходы, но это повлекло бы за собой изменение все системы. Ковров должен был бы начать рисковать, ставить на карту и свое благополучие, и покой.

Однажды, во время ненужной сцены ревности, Ковров сказал:

– Я больше не могу. Или ты должна уйти от него, или я ни за что ни ручаюсь.

– Уйти, куда?

– Конечно ко мне.

– Но... – начала, было, она и не закончила. Ее взгляд растерянно прошелся по стенам комнаты. Ковров понял и замолчал. Расстались не так, как всегда. Что-то надломилось, и каждый чувствовал, что теперь всегда будет недоговоренное. С этого дня любовь и ненависть тесно переплелись в душе Коврова. Как и прежде, он с нетерпением ждал встречи, как и прежде ненасытны и жадны были поцелуи, но, кроме этого, хотелось сделать больно, оскорбить, заставить страдать.

Со злобой смотрел Ковров на стены своей уютной квартиры, мысленно сравнивая ее с роскошным особняком Бахмана.

Фальшью звучали ласковые слова, Ковров не мог забыть, не мог простить взгляда, сказавшего, что есть нечто более ценное, нежели его любовь. Часто Ковров сознавал, что он идет к гибели, что его чувство приняло настолько уродливые формы, что рано или поздно это кончится Бог знает чем. И он решил. Он должен добиться. Должен дать ей все.

Жизнь не любит, когда от нее требуют. Ковров начал делать ошибки. Неудача лишила хладнокровия. Через два-три месяца он был нищим. Но еще не все было потеряно. Ему доверяли, а если бы он взял себя в руки, можно было бы медленно вернуться к прежнему благополучию. Но Ковров не мог смириться с мыслью, что он должен уйти, хотя бы на время, от окружающего его общества, отказаться от привычной, дорого стоящей жизни и, следовательно, отказаться от нее. Кому угодно, но только не ей, он смог бы признаться в своих неудачах. Уже были исчерпаны все возможности. Через три дня должен был вернуться не оплаченным его крупный чек. Это означало крест на доверии, крест на всей его биржевой деятельности.

Сегодня встреча Нового Года. Ковров давно, по ее просьбе, пригласил большую компанию, в том числе и ее с мужем.

Он в течение недели искал деньги и не нашел.

Одетый во фрак, с безукоризненным пробором на голове, любимец

публики, пригласившей в самый дорогой в городе ресторан компанию в двадцать человек, он имел в кармане пять долларов.

Ковров встряхнул головой. Очнулся от охватившего его оцепенения.

– Значит конец, – почти спокойно подумал он. – В восемь обещал прийти индус, которому он и так много должен, и принести еще денег, но не пришел. Ковров знал, что он не придет. Знал, что все равно не спасет положения, но ему хотелось эту последнюю ночь в жизни провести с ней, провести шумно, угарно, чтобы потом было не страшно.

Он мысленно представил, как медленно, удивленно будут вытягиваться физиономии приглашенных по мере того, как часовая стрелка начнет приближаться к двенадцати. Как настойчиво зазвонит телефон в его квартире и как он, будучи здесь, около телефона, не будет слышать звонка, не сможет к нему подойти.

– В сущности, что произойдет? – думал Ковров. – Маленький треск, падение, и уже ничто не будет страшно. Не нужно будет любви маленькой женщины, не нужно будет ее дурманящих поцелуев и, что самое главное, не нужно будет по ночам просыпаться и, сжигая одну сигарету за другой, думать, мучительно думать, как найти выход.

Ковров усмехнулся. Интересно, что сказала бы она и все его друзья, если бы они узнали, что он три месяца не платил за квартиру, что его машина не в ремонте, а взята компанией, где он ее заложил и не смог выкупить в срок, что, может быть, через несколько дней ему просто нечего будет есть. Он уволил на днях повара, так как ему было стыдно признаться китайцу, что он не в состоянии давать столько на ежедневные расходы. И, что через три-четыре дня, когда откроются банки, его могут посадить в тюрьму.

Нет, он, Ковров, чересчур горд, чтобы показать им все это, чтобы дать возможность возмущаться, удивляться или жалеть. Жалеть его живого. Нет!

Вспыхнула мысль:

– А вдруг она приедет сюда за ним? Если ее муж будет занят или не захочет, она непременно заедет. У нее есть ключ.

– Я могу не успеть, – подумал Ковров. – А если успею, – значит, сделаю достоянием всего города наши отношения. Так жестоко отплатить ей за любовь и ласку. Ведь, увидев труп, она не станет рассуждать, что прилично, что можно и чего нельзя. Мало того, на нее вообще может быть брошена тень подозрения. Она первая найдет, и первая даст знать. Кто будет свидетелем, что она нашла, а не убила сама?

– Нет, нужно бежать. Где-нибудь вдали от дома, чтобы не так скоро нашли...

Ковров нагнулся, быстро выдвинул ящик стола, вынул из него небольшой браунинг. Строго-вопросительно смотрели на сына глаза седого господина в судейском мундире.

– Прощай, отец!

Ковров с секунду в раздумии постоял у телефона, затем вызвал машину. Через несколько минут внизу раздался призывный гудок. Набросив на руку пальто, Ковров бодро сбежал по лестнице.

Он не знал куда ехать. Почему-то захотелось к тому месту, где он впервые молодым мичманом вступил на шанхайский берег.

Рявкая на растерянно мечущихся рикш, машина быстро мчалась по Авеню Фош. На Эдвард Севен автомобиль часто тормозил. Улица как всегда была залита светом, заполнена суетящейся, шумливой толпой. На Банде мертвыми громадами застыли банки – цитадель города, посвятившего себя деланию денег. На рейде сверкали бесчисленными лампочками иллюминированные махины иностранных крейсеров.

Отсыревший от близости воды, воздух заставил зябко поежиться. Ковров бездумно смотрел на вьющуюся ленту асфальта. Горбом вырос мост. У спуска пришлось остановиться. Индус, дирижируя палочкой, пропускал к Астор Хаузу вереницу автомобилей. Где-то совсем близко, разрывая воздух, затрещали хлопущки.

В конце Бродвея Ковров вышел из машины. Забыл, где находится пристань, на которую он высаживался. Долго морщил лоб, стараясь вспомнить, как будто это было очень важно. Затем, поймав себя на ненужности раздумий, нырнул в узкий темный проход. Проход, несколько раз вильнув, вывел его на маленькую плавучую пристань. Под ногами тихо плескалась вода. Было холодно. Ковров хотел было надеть пальто, но раздумал. К чему?

Встав на край пристани, начал доставать из кармана револьвер.

С точностью часового механизма, без перебоев, работала мысль.

– После выстрела, если он и не будет смертельным, упаду в воду, значит все равно конец. А, кроме того, может быть, провидение будет ко мне милостиво и волны не выбросят меня, а унесут далеко от людей в море. Никто не будет знать, никто не будет видеть.

Ковров поднял руку, вдруг откуда-то из темноты вынырнул маленький сампан. На ломаном английском языке лодочник стал предлагать перевезти, указывая рукой на середину реки. Ковров машинально посмотрел по направлению руки. Саженьях в ста от берега стоял, пуская клубы густого дыма, готовый к отплытию какой-то грузовик. Ковров отрицательно покачал головой. Лодочник не уходил. Взобравшись на пристань, стал медленно раскуривать короткую, тонкую трубочку. Огонек от спички осветил старое, сморщенное лицо. Китаец раскурил трубочку, втянул в себя дым, по лицу расплзлась довольная улыбка. Спичка погасла. Блеснувшая из тьмы улыбка на старом сморщенном лице вывела Коврова из оцепенения. Долго, сосредоточенно думал Ковров, глядя на сидевшего на корточках китайца.

– Умение довольствоваться тем, что дает жизнь, – пронеслось в мозгу

Коврова. Вдруг, что-то решив, он прыгнул в лодку. – Вези!

Капитан, сухой, костлявый швед, с секунду недоумевающе осматривал поданную матросом карточку. Затем отрывисто бросил:

– Позови в кают-компанию.

Войдя туда, он с еще большим изумлением взглянул на вежливо поклонившегося ему элегантного мужчину в безукоризненно сшитом фраке, с небрежно заброшенным на руку пальто.

– Чем могу служить? – холодно спросил по-английски незнакомца капитан. – Только попрошу вас покороче. Через десять минут мы снимаемся.

Мужчина, еще раз поклонившись, произнес:

– Простите, капитан. Моя просьба может показаться вам дикой или, по меньшей мере, странной, но я прошу вас взять меня в число вашей команды. Я – моряк. Русский офицер. Я не боюсь никакой работы. И я уверен, что я не буду вам здесь в тягость. Я не прошу жалования. За право жить я согласен делать все, что угодно. Это же право, в данный момент, можете дать мне только вы.

Капитан хотел было что-то сказать, но незнакомец его перебил:

– Капитан, я не хочу вас запугивать, но вот вы видите револьвер. – Он вынул из кармана браунинг. – Несколько минут назад я оборвал все нити, связывающие меня с прежней жизнью. У меня не было выбора. И я твердо решил умереть. Но при виде вашего, готового в отплытие, парохода, у меня внезапно блеснула мысль, что я еще смогу начать новую жизнь, но только при одном условии, если я внезапно исчезну, немедленно порву со всем и всеми. Для них я должен умереть. Я молод. У меня достаточно сил для борьбы. Но не здесь. Но, капитан, даю вам слово русского офицера, что я не затаю в своем сердце обиды, если вы мне откажете, я пойму вас.

Говоривший замолчал.

Насупив косматые, седые брови, капитан долго осматривал по-военному вытянувшегося перед ним человека во фраке. Задумчиво пошевелил губами, и, встретившись с глазами незнакомца, резко произнес:

– Вы остаетесь. Отдайте револьвер.

Глухо ворча, разбрасывая снопы искр, двигался пароход. Низкие берега все более расширяющейся Вампу, сливаясь с водой, становились неприметными. Стоя на корме, с раздувающимися по ветру фалдами фрака, Ковров смотрел на зарево, стоявшее над скрывшимся за поворотом городом. Зарево жутким пятном, сгустком крови, висело над темным беззвездным небом. Ветер крепчал, но Ковров не чувствовал холода.

Сердце порой замирало, разливая по телу ноющую, тупую боль. Но Ковров чувствовал, что он победит эту боль. И что эта боль поможет выковать надежную броню, которая навсегда защитит его сердце и его самого. Только холодный, бесстрастный ум может руководить человеком.

Подошедший матрос прервал его мысли:

– Капитан просит вас в кают-компанию.

При появлении Коврова из-за стола поднялось несколько офицеров. Подойдя к Коврову и протягивая стакан с пуншем, капитан произнес:

– С Новым Годом, мичман!

Взяв стакан и стукнув каблуками, Ковров ответил:

– С Новым Годом, господин капитан!

Впервые опубликовано: Ненцинский А. Человек во фраке: Сб. рассказов. Шанхай, 1937.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 10. С. 248–256.

СИЛЬНЕЕ ЛЮБВИ

Ключ упорно не попадал в замочную скважину. Срывался, скользил, царапая медный кружок замка. В конце концов, он заметил, что ключ ни при чем. Предательски дрожала рука. Напряг мускулы, остановил дрожание. Зазубренное стальное лезвие плавно вошло в темную щелку. Дверь открылась. На пороге задержал готовую шагнуть ногу. На секунду задумался, – как же быть. Быстро решил – пока все должно остаться по-старому. Нужно во всем разобраться. И тут же поймал себя на мысли, что, конечно, ничего не будет по старому, что от прежнего ничего не осталось. Он в этом не виноват. Прекрасно сознавал только одно, что он уже не в силах что-нибудь изменить, ввести в прежнее русло.

Умышленно долго снимал пыльник. Знал, что там, за закрытой дверью, самое страшное. В столовую вошел тяжелыми шаркающими шагами. Ноги с трудом отрывались от пола. После полутемной передней в глаза больно ударил яркий, радостно-желтый свет, бьющий в широко раскрытые окна. Зажмурился. От этого прозвучавшие рядом слова показались не естественно звонкими.

– Как я рада, что сегодня так рано.

Открыл глаза, прямо перед собой увидел ее лицо, как всегда оживленное, радостное. Попробовал улыбнуться. Понял, что вышло неудачно, так как лицо напротив моментально изменилось.

– Ты что – нездоров? Что случилось? Ты чем-нибудь расстроен? – град вопросов, на которые немислимо ответить.

Успокоился. Еще раз напомнил самому себе, что должен взять себя в руки.

Обедали. Жена оживленно рассказывала о встрече с подругой

детства.

— Представь себе, ведь мы не виделись двенадцать лет. Понимаешь, что мы обе из себя представляли. Двенадцать лет! Мы были во втором классе, когда они уехали. Казалось, чтобы могло остаться от наших физиономий. И чтобы ты думал? Мы моментально друг друга узнали. Потом мы сами не могли понять, как это случилось, так как, приглядевшись друг к другу, мы пришли к заключению, что от прошлого не осталось ни малейшего следа. Чем ты это объяснишь? Не правда ли странно?

Он соглашался. И в тот момент ловил себя на мысли, что вот, напротив него сидящая женщина – его жена, ничего не имеет общего с той, которую только вчера, нет – сегодня утром, он боготворил.

Внимательно, из-под полуопущенных век, он разглядывал ее. Сочный небольшой рот. Большие серые, с слегка зеленоватым отливом глаза. Тонкие, сильно загнутые книзу без помощи карандаша дуги бровей. Золотистые от пронзивших их солнечных лучей волосы, мягкие и нежные, пересеченные широкими волнами. Ямочка около левого угла губ, углубляющаяся при разговоре. Все то же самое. Все вчерашнее, и все-таки не то. Что-то переменялось. Что-то стало новым. Даже ямочка, всегда приводящая в умиление, показалась неестественной. Если не приподнимать при разговоре щеки, то она не будет углубляться.

Жена встала, вытерла губы салфеткой, оставив на ней ярко-красный свет. Подошла к нему, обняла за шею руками, прижала мягкие ладони к его лицу. От ее рук шел аромат, тонкий, чуть осязаемый «Блюнарцисс». И вдруг показалось, что они пахнут сигаретным дымом. Не поцеловав, отвел от лица.

Равнодушно произнес:

— Я очень устал, хочется отдохнуть.

— Ну, ляг. Ты хочешь в спальне или в гостиной на диване? Я открою радио, тебе не будет мешать?

— Нет, ничего, пожалуйста.

Устроившись на диване, ощущая тепло спины сидевшей около него жены, он попробовал вернуться к истокам мыслей. Но при одном воспоминании делалось до того больно, что хотелось кричать. Чтобы не разговаривать, не отвечать на вопросы, сделал вид, что уснул.

Около двух, осторожно целуя его в лоб, жена напомнила, что пора идти.

Прощаясь, пересилил себя и поцеловал протянутые, чуть-чуть приоткрытые губы. Целуя, ощутил влажность ее проткнутого между зубов языка. Вдруг стало противно. Вспомнил, что этому научил сам. Жена долго не могла понять, что он хочет и почему нужно помогать языком. Поняв, вошла во вкус. Невольно вспыхнула мысль – он ли научил? Не было ли это

искусным притворством, желанием показать свою неопытность. Может быть, этого и не было, но он знал, что теперь всегда и во всем он будет видеть неискренность и наигранность.

На службе все время ловил себя на мыслях о ней, о том, что только что узнал. Временами чувствовал, как по всему телу разливалась горячая волна. Новое, совершенно неизвестное ранее ощущение злобы. Злобы к самому близкому, к самому дорогому существу. Старался успокоить себя, что все это было до него, что Ирина досталась ему нетронутой, незапятнанной. Что она, несомненно, любила его, что за три года их жизни он никогда не имел ни малейшего повода к ревности. Знал, что Ирина вполне довольна той жизнью, которую он ей дает. Знал, что она никогда не бросит его, никогда не променяет на кого-либо другого.

Было всегда приятно сознавать, что он, только один он, имеет на нее право. Что он превратил скромную, застенчивую Ирину в женщину, послушную его желаниям, всегда жадно тянущуюся к его ласкам.

Вначале Ирина испугала своей холодностью и замкнутостью. Несомненно, любя его, она не могла побороть в себе чувства почти физического отвращения к близости, к ласке. Оживленная и радостная, с наступлением ночи она притихала, сжималась, уходила далеко вглубь себя. Никогда не протестуя, она безропотно сносила все, что он с ней делал, всегда оставаясь холодной и чужой. Беспokoясь, нервничая, он никогда не показывал ей, что замечает ее состояние, никогда не спрашивал – почему. Осторожно и нежно он старался найти тщательно скрытую струну, прикосновение к которой заставит зазвучать весь сложно сконструированный инструмент. Медленно, шаг за шагом, он отвоевывал доверие к себе, борол страх и отвращение, будил любопытство. Никогда не бывая грубым и настойчивым, он прибегал к различным уловкам, иногда тонко развратничал, стараясь разбудить в жене крепко спавшую женщину. Постепенно подтаивал лед. Ирина начинала теплеть, любопытно прислушиваться к нарождающимся в глубине ее чувствам. Перестала бояться ночей, близости чужого тела. Прикосновение нежно-ласкающих рук уже не вызывало неприятной дрожи. Хотелось бесконечности прикосновений, напружинивающих тело. Постепенно пропал и страх к самому главному, но она знала, что это еще не все. Он чутко прислушивался, ни на секунду не выпуская ее из поля наблюдений. Осторожно, как заблудившуюся, вел все дальше и дальше по темным, все еще непонятным для нее лабиринтам восприятия новых ощущений. Где-то очень далеко начинала маячить светлая точка. Ирина уже не была тяжелым грузом, она старалась идти с ним в ногу, чутьем угадывая направление, но, все еще, не видя цели. Совершенно внезапно для него, Ирина увидела свет, пропали, сгнули темные, давящие стены лабиринта, теперь это была яркая, радостная дорога жизни, на которой она нашла

себя. Ирина бурно переживала переход из тьмы. Перерожденная, ликующая, она часто спрашивала его:

– Что это? Неужели это правда? Неужели я действительно чувствую все это? Какое счастье. Все ты. Все это сделал ты...

Сильные, молодые, они цепко схватились за подаренное жизнью счастье. Цепко. Ничто не в силах было его вырвать. Но сегодня его не стало.

Счастье Белова, мужа Ирины, сегодня, в одиннадцать с небольшим часов дня, выскользнуло из рук, упало, он никогда не предполагал, что оно могло оказаться таким хрупким, и вдребезги разбилось. Никакие силы мира не в состоянии собрать миллионы искрящихся осколков, ни собрать, ни склеить.

Утром, как всегда рано, Белов завтракал, просматривая газету. Благоухающая пудрой и мылом, подававшая ему завтрак, миниатюрная Сестко-сан радостно сообщила ему, что в их саду за ночь расцвели вишни. Белов был обрадован этим сообщением не менее Сестко-сан. Прожив в Японии около шести лет, он научился любить и ценить многое из того, что любили эти маленькие, всегда упорно идущие к своей цели, самолюбивые люди.

Вишня, нежно-розовая, скромная, как японская девушка, немного неживая, порой кажущаяся искусственной, напоминала ему далекую, бесконечно-родную яблоню русских садов. Цветение вишни всегда было праздником. Глядя на розовые гроздья на тонких голых ветвях, он всегда начинал чувствовать прилив какой-то необыкновенной энергии и силы. Все вокруг начинало казаться приветливым и хорошим. В праздник цветения вишни он встретился с Ириной в Мариама-парке, в Киото.

Белов поспешил поделиться радостной новостью с Ириной. Она только что проснулась, поеживалась, щурилась от солнца. Услышала о вишне, захлопала в ладоши, быстро соскочила с кровати, тонкая, высокая повисла на шее у мужа. В голубом кимоно, с растрепанными волосами, она сбежала с ним по ступенькам невысокого крыльца в их маленький садик. Три небольших вишневых дерева – это все, что смогло в нем поместиться. Белов, Ирина и часто почтительно приседавшая Сестко-сан долго разглядывали только что лопнувшие чашечки бутонов, выпустившие кончики нежно-розовых, почти белых, лепестков.

Выйдя на улицу, Белов несколько раз обернулся. Через низкий палисадник перевесились голубые крылья рукавов кимоно Ирины. Жена посылая ему вдогонку воздушные поцелуи.

В конторе он узнал, что нужно съездить в Осака. Быстро закончив дела, назад он поехал не в трамвае, а в поезде. В вагоне первого класса, он по ошибке купил вместо второго билет первого класса, кроме него было еще только двое иностранцев, по-видимому, приезжих, так как всех

живущих в Кобэ он знал в лицо. Один из них, довольно высокий, рыжеватый, молодой, другой – немного постарше, с сединой в слегка волнистых волосах. Сидели они с другой стороны дивана, на котором поместился Белов. Почти все время говорил рыжеватый. Расспрашивал. Из разговоров Белов узнал, что рыжеватый только что вернулся из Европы, где прожил около трех лет, другой был жителем Токио. Глядя в окно на быстро бегущие навстречу поезду домики, телеграфные столбы, миниатюрные кладбища с маленькими, как бы игрушечными, каменными памятниками, Белов лениво прислушивался к разговору англичан. И вдруг насторожился, ясно услышав имя и девичью фамилию жены. Рыжеватый спрашивал своего соседа, тот попросил повторить фамилию. Рыжеватый повторил. Белов убедился, что он не ослышался.

– Эта девочка служила, если я не ошибаюсь, у Брандель, Смис и Ко, – сказал англичанин.

Белов вспомнил – жена как-то рассказывала, что когда она жила с родителями в Токио, что около года прослужила в крупной экспортной фирме, название ее он забыл, но сейчас он отчетливо вспомнил, что она называлась «Брандель, Смис и Ко».

– Нет, я не знаю, – ответил англичанин с проседью. – А что, почему вы так интересуетесь?

– О, это замечательная девушка. Я хотел бы ее разыскать и возобновить наше знакомство. Действительно, эти русские какой-то особенный, совершенно непонятный народ. С этой девушкой у меня произошел исключительный случай, если хотите, расскажу. Должен сознаться, что она была чертовски хороша. Такие глаза, от которых холодные мурашки бегут по спине. Откровенно говоря, русские женщины в большинстве очень интересны. Эта же выделялась даже среди своих. Мне часто приходилось бывать по делам в ее фирме. Там я с ней познакомился. Она говорила по-английски не хуже меня. Кончила в Японии конвент. Как-то пригласил ее потанцевать. Она поехала, стали довольно часто встречаться. Скажу откровенно – она дьявольски мне нравилась, но всегда держалась с таким достоинством, что у меня пропадала охота быть особенно развязным. Не думаю, чтобы я ей не нравился, но, во всяком случае, она никогда не давала мне повода думать, что это так. Наши встречи, прогулки в машине, посещения кино продолжались месяца три. Мне начало надоедать это сухое времяпрепровождение. Хотя бы один поцелуй. Честное слово, ни одного. Может в этом я был виноват, но она буквально парализовала мою малейшую попытку на активность взглядом своих громадных глаз. Нравилась она мне все больше и больше. Будь она англичанкой, я бы еще сумел разбить лед, сделав просто-напросто предложение, она была из породы тех девушек, на которых женятся. Но, слуга покорный, жениться на русской. Боже сохрани! Русская женщина – это вечно чего-то ищущая душа, полюбив которую, вы невольно попадаете

под ее влияние, отказываетесь от привычного уклада вашей жизни и отдаете ей всего себя целиком, в противном случае она или перестанет вас любить, или, что еще хуже, превратит вашу жизнь в пытку своими бесконечными славянскими страданиями и эмоциями. А кроме того, приближался срок моей поездки в Европу, которую я хотел провести в одиночестве, ничем не связанным. Но и отказаться от такого лакомого кусочка я тоже не мог. Если бы она была из другого теста, я просто предложил бы ей пожить со мной, дал бы некоторую сумму и обещал бы впредь поддерживать, но с ней на такую тему нельзя было говорить – это для меня было ясно. Поэтому пришлось всю игру играть в любовь. В конце концов, я добился поцелуя. Это было колоссальным достижением, хотя я должен сознаться, что целовалась она преотвратительно, но со временем, под моим руководством, она стала подавать надежды. Только дальше поцелуев дело не шло. Для моих рук поле деятельности ограничивалось пожатием ее рук. Но однажды мне удалось ее подпоить. Почти всегда она пила только Кока-Кола и Орандж-Сквош. Я уговорил ее выпить Бренди Лемонейд. За первой порцией последовало еще и еще, щеки ее порозовели. Танцуя, она уже не отстраняла меня, а наоборот, как будто даже начала прижиматься сама. В ее глазах запрыгали такие чертики, что мне самому стало страшно. Я не верил своему счастью. Когда она вышла на минутку в дамскую комнату, я намешал ей в стакан всякую всячину и по возвращении заставил ее это выпить. И я увидел ясно, как я сейчас вижу вас, что она готова, что это единственный шанс, который я ни за что не должен выпустить. Предложил прокатиться и увез ее к себе. Только войдя ко мне в комнату, она сообразила, куда она пропала. Начала было протестовать, но я быстро ее успокоил, усадил на диван, заставил выпить еще, на этот раз Стрет-Бренди. А затем поцелуи, от которых можно было сойти с ума...

Не двигаясь, крепко вцепившись руками в ручку дивана, слушал Белов. Тяжелым молотком били по голове слова, раздававшиеся за его спиной. В голове не было никаких мыслей. Слушать, слушать, что дальше. А голос, сюсюкающий, противный голос, безжалостно срывал покровы с божества, которому молился Белов.

– Короче говоря, довел ее до той точки, когда любая женщина перестает соображать, что она делает и что делают с ней. Руки мои тряслись, пальцы не слушались. Но вы сами понимаете, что в такой момент трудно владеть собой. Я запутывался в каких-то тесемках и рвал их. По инерции она еще слабо сопротивлялась, когда я снимал с нее платье, а потом я уже мог делать, что хотел. Когда упала на пол последняя принадлежность ее туалета, я буквально остолбенел, созерцание ее поистине божественного тела вышибло из моей головы весь хмель. Нет слов описать ее фигуру, белизну ее кожи, форму груди, бедер, изумительность линии стыдливо тесно сжавшихся ног.

Взять ее так просто, грубо, как какую-то уличную девку. О, нет! Это должно быть торжеством, священнодействием.

С мясом вырывая пуговицы, разрывая белье, я стал сбрасывать с себя одежду. Каждой частицей своего тела я должен чувствовать ее. Слиться в одно, без конца ощущать ее всю.

О, дурак! Жалкий дурак! Откуда пришла мне в голову эта идиотская мысль, как я мог терять драгоценное время. Всю жизнь я не прощу себе этого. Совершенно раздетый, я наклонился над ней, смертельная бледность покрывала ее лицо. От длинных загнутых ресниц закрытых глаз падали узорчатые тени. В нижнюю губу впились зубы, казалось, что она в глубоком обмороке, но порывистое и тяжелое дыхание говорило, что это только кажется, от порывистого дыхания слабо вздрагивали пунцовые соски ее груди. Холодными, как лед, руками я осторожно разнял ее ноги, она слабо застонала, я наклонялся к ней все ниже и ниже, лег. Переплел свои ноги с ее, обвил рукой ее шею. Почти каждой частицей своего тела я чувствовал ее, горячую, вздрагивающую до судорог, желанную. И когда до окончательного блаженства победителя оставалась десятая доля секунды, вдруг с невероятной для нее силой, она толкнула меня обеими руками в грудь и сбросила меня с себя. Не ожидая нападения, я не удержался на краю дивана и упал на пол. Я моментально вскочил на ноги, но было уже поздно, она стояла рядом со мной, стараясь руками прикрыть свою наготу.

Совершенно потеряв голову, я как зверь бросился на нее, началась дикая постыдная борьба. Молчаливая, и от этого еще более страшная, борьба ни на живот, а насмерть. Я выламывал ее руки, душил ее за горло, хватал за волосы. Кажется, даже бил по лицу. Она впивалась ногтями мне в шею, кровавыми бороздами разрывала лицо, кусала мои руки, плечи, грудь. Несколько раз ей удавалось вырваться от меня, отбежать в противоположный конец комнаты, но я нагонял ее, схватывал, мы падали на пол, и опять продолжалась борьба. И вдруг, когда она уже начинала обессиливать, я увидел себя в большом, до самого пола, трюмо. Из зеркальной глубины на меня смотрело чье-то звериное лицо. Всклопоченные волосы, оскаленные зубы, кровоточащие полосы, пересекавшие все лицо, ото лба до подбородка. Неужели это я. Мне стало до ужаса страшно и стыдно. Я поднялся с полузадавленной тяжестью моего тела девушки. Теперь я видел себя в зеркале во весь рост. С волосатыми ногами и грудью, тяжело дышащий, позорный и жалкий в своей наготе. Почти бегом я бросился в соседнюю комнату. Закрывая за собой дверь, я еще раз посмотрел в ее сторону. Она еще продолжала лежать, уткнувшись лицом в ковер. Золотым сиянием рассыпались вокруг ее головы волосы. От сдерживаемых рыданий сотрясались мраморные, с бурыми пятнами кровоподтеков, плечи.

Сколько просидел у себя в комнате, я не знаю. Хлопнула выходная

дверь. Я вошел в гостиную, на полу валялись обрывки кружев и лент. На ручке кресел сиротливо повисли позабытые ей чулки. Я до сих пор храню этот сувенир. Больше я ее не видел. Она не вернулась на службу. Говорили, что уехала из города совсем.

Англичанин замолчал.

– Да-а-а... – как-то неопределенно протянул его сосед. – Я бы на вашем месте не захотел бы еще раз встретиться с этой девушкой.

Последние слова вывели Белова из охватившего его оцепенения, он тяжело поднялся и, громко ступая, подошел к разговаривающим. Те удивленно посмотрели на молча остановившегося перед ними европейца. Белов быстро нагнулся, левой рукой крепко схватил за лацканы пиджака рыжего англичанина и легко приподнял его с сидения. И в ту же секунду с невероятной силой ударил его в лицо. Моментально окрасившаяся кровью голова англичанина бессильно откинулась назад. Белов ударил его еще два раза. Обмякшее тело англичанина бессильно закинулось назад. Белов ударил его еще два раза. Обмякшее тело англичанина стало страшно тяжелым. Белов разжал пальцы, крепко зажавшие лацканы пиджака. Тело грузно упало на пол. Другой, испуганно соскочивший с дивана припадении Белова, растерянно смотрел на него, не зная, что делать. Почти безумные глаза Белова задержались на его лице. Медленно, как бы с трудом, ясно разделяя одно слово от другого, Белов произнес:

– Скажите ему, что в следующую нашу встречу я его убью.

Повернулся и пошел к выходу. Поезд подходил к Кобэ.

Проводник, стоявший на площадке вагона, вежливо вняв фуражку, поблагодарил его за поездку и открыл перед ним двери, когда заскрипев тормозами, поезд остановился на Саномия-Стейшен. Отсюда Белову было ближе всего идти к дому.

Когда закончились офисные часы, Белов долго в раздумье стоял около выхода из конторы. Жена каждый вечер ждала его коло Рекрейшен-Граунд, вместе они гуляли около часу, иногда заходили в Ориенталь-Отель выпить чашку кофе и послушать музыку, и только потом отправлялись домой.

Но сегодня Белов чувствовал, что он не в силах встретиться с женой. Он еще не успел собраться со своими мыслями, не успел прийти к какому-либо определенному решению. Он знал, что что-то нужно сделать. Но что? Все время вспоминались слова, сказанные им тому, другому:

– В следующую встречу убью его.

Много раз за сегодняшний день Белов думал о том, почему он действительно не сделал этого еще там, в вагоне. Почему, как змею, как самую последнюю гадину, не задушил этого человека, не только

осквернившего его Ирину, но и продолжающего позорить ее и теперь.

Придя после обеда в контору, Белов ловил себя на том, что ему начинало казаться, что все окружающие, все служащие, приходящие в контору клиенты соболезнующе-презрительно смотрят на него. Будто хотят сказать – жаль, а мы не знали, что ваша жена...

Но моментально Белов сознавал всю абсурдность этих мыслей. Но все же он определенно знал, что теперь всегда и везде ему будет казаться, кто-то сказал, что тайна, которую знают двое – уже не тайна. А теперь, кроме него, Белова, об этом уже знал и тот, другой. А кто даст гарантию в том, что этот рыжий мерзавец не рассказал об этом уже десяткам лиц. И теперь каждый встречный может ткнуть пальцами по направлению прошедшей по улице Ирины и, наклоняясь в сторону соседа или соседки, многозначительно подмигнув, сказать: «А вот с этой особой произошла занятная история...». И Белову начинало казаться, что повсюду несется подозрительный шепот: «С этой особой...» И все сильнее и сильнее чувствовал Белов, как в нем нарастает дикая, ни с чем не сравнимая ненависть к женщине, которую он любил больше всего на свете.

– Фактически, что сделала Ирина? Ее напоили, – старался трезво во всем разобраться Белов, – под влиянием алкоголя, никогда до этого не пившая, она не соображала, что с ней делают, но как только у нее на секунду просветлело сознание, она вступила в смертельную борьбу за свою честь.

Белов ясно видел картину этой жуткой борьбы. Видел, как били по лицу его Ирину, как обнаженную таскали за волосы по полу. Его Ирину! Белов до боли, до ломоты в скулах стискивал зубы, сдерживая готовое сорваться с губ дикое рычание бессильной злобы: почему он не убил? И в тот же момент вспыхивала мысль, что тот не так уж виноват, что, может быть, многие на его месте поступили бы точно также. Вся тяжесть вины на Ирине, ведь она проводила с ним целые ночи, танцевала, целовалась, в конце концов, поехала к нему на квартиру. Она не была настолько глупа, чтобы не соображать, к чему это все может привести. Да и, кроме того, ведь не была же она пьяна до бесчувствия. В ней также разгоралась похоть, она хотела этого человека. И вдруг, в самый последний момент, инстинкт сохранения, помимо ее собственной воли, уже подчиненной проснувшемуся желанию, заставил ее бороться. Если бы тот, другой, так грубо не набросился на нее, а применил бы тактику ласки, уговора, осторожных, не пугающих действий, и возможно, что он сумел бы усыпить бдительность инстинкта. Действие рождает противодействие. Об этом, распаленный похотью, англичанин забыл.

Значит, вина ее. Невольно он вспомнил ее. Боязнь жены его близости. Почти панический страх перед постелью. Это был нервный шок. Прикосновение чужого тела в ее мозгу автоматически ассоциировалось с

борьбой, насилием, болью пережитых в течение нескольких минут, там, тогда. А он-то, влюбленный до самозабвения, думал, что новизна всего испугала Ирину, что какой-то неправильный шаг в самом начале сделал он сам.

Вспомнилась первая брачная ночь, когда изнемогая от страсти к лежащей рядом с ним женщине, напуганный ее страхом, он боялся себе позволить лишнее движение, боялся лишней раз прикоснуться к ней. А потом, как часто Белову мучительно хотелось зажечь свет и увидеть жену, но страх, что этим он оскорбит ее стыдливость, не позволял ему это делать. Часто утрами притворялся спящим, а сам, чуть-чуть приподняв веки, все время боясь, что жена может заметить, он наблюдал за ее туалетом. Мог ли он когда-нибудь предполагать, что кто-то другой не только видел Ирину обнаженной, но даже шарил руками по ее телу, обнимал ее, лежал рядом с ней, чувствовал ее всю. Что в том, что он не взял ее, – это почти то же самое.

Белов ясно сознавал, что он никогда не простит этого жене и никогда не сможет забыть. Но что же делать, как быть? Как продолжать жизнь? Вот сейчас он должен пойти и встретить поджидающую его жену. И вот даже этого он уже не в силах сделать. Час, проведенный дома во время обеда, стоил ему колоссального напряжения воли. Сейчас нужно как-то отдалить эту новую встречу с женой. Постараться успокоиться, прийти к какому-то решению.

Озираясь по сторонам, хотя он прекрасно знал, что жена ждет его в другом месте, Белов вышел из конторы. Секунду подумав, он пошел в сторону Дай-мару. Не заметил, как очутился на всегда шумной, заполненной беспрестанно движущимися потоками людей Мото-мачи. Громкоговорители радио оглушительно гремели со всех сторон, расхваливали товары, приглашали зайти в кафе, сообщали последние новости, исполняли оперные арии.

Раньше Белов не любил и, даже после того, что пережил в России, немного боялся толпы. Толпа, случайное сборище совершенно различных людей, конгломерат почти всегда чуждых по настроению элементов, всегда полна неожиданностей и случайностей. Почему именно в сборище себе подобных человек очень часто забывает, что он человек. И почему именно это случайное собрание людей, именуемое толпой, особенно благоприятно действует на пробуждение в людях низменных, порой просто звериных инстинктов? Почти под всеми широтами земного шара толпа одинакова. Но совершенно обособленно отстоит от всех народностей, что особенно ярко бросилось в глаза Белову, японская толпа. Как велика она бывает, врожденная вежливость каждого японца занимает в ней первое место. Двое, случайно столкнувшихся, стараются опередить один другого в принесении извинений. В кинематографах, храмах, на улице никогда не бывает давки, всюду царит дисциплина, желание помочь соседу.

Женщины, дети, старики всегда пользуются особенным вниманием. На самых многолюдных улицах Японии вы никогда не сможете стать зрителем уличного скандала. Даже в увеселительных местах, в парке, во время народных гуляний, встречая подвыпившую, распеваящую песни группу, вы можете быть совершенно уверенным в том, что вас никто не заденет, никто не оскорбит, никто не затеет драку.

Присмотревшись к японской толпе, заметив ее особенности, Белов полюбил окунаться в ее гущу, часами бродить внутри нее, жить жизнью вечно куда-то спешащих, всегда занятых людей. Любил прислушиваться к отрывкам фраз разговоров, любил затевать беседы с первым встречным, наблюдая, как куда-то спешивший до этого человек старается как можно более и обстоятельно ответить на заданный вами самый пустяковый вопрос.

Но сегодня Белов не замечал снующих вокруг него людей. Иногда встретившись с чьим-нибудь удивленным взглядом, он приходил на секунду в себя. Взгляд говорил о том, что по всей вероятности, он кого-то толкнул и не ответил на извинение человека, которого толкнул сам.

Уже зажглись большие матовые шары, гроздьями наклепленные на вытянутые столбы, образующие что-то вроде светящегося навеса над всей улицей, а Белов все еще продолжал свое бесцельное блуждание. Не заметил, как сделав колоссальный крюк, вышел к Кобе-Тоуэр. Совсем стемнело. Посмотрел на часы. Было поздно. Белов сел в трамвай.

У калитки их сада ждала его жена. По ее лицу он видел, что она расстроена, взволнована. Заметив его, Ирина радостно всплеснув руками, бросилась к нему навстречу. Повисла у него на шее, по-детски дергая недостающими до земли ногами.

– Где ты был? Я так волновалась. Ждала тебя на улице больше двух часов. Ты ушел после обеда какой-то хмурый, я боялась, не заболел ли ты, или с тобой что-нибудь случилось. Я даже плакала. – Застенчиво улыбнувшись, добавила она.

Белов осторожно разнял обвившиеся вокруг его шеи руки жены. Стараясь придать своему голосу всегдашнюю теплую интонацию, он произнес:

– Пришлось опять ездить в Осака, думал, что вовремя вернусь, но задержался. – Но с голосом справиться не удалось, он звучал тускло, деревянно, а глаза, посмотревшие на Ирину, были холодны и злы.

– Послушай, что с тобой? – с тревогой спросила жена. – Что-то случилось, ты совсем другой. Почему ты не хочешь сказать? У тебя неприятности по службе? Сегодня тебя как будто подменили.

– Ах, оставь! – резко оборвал ее Белов. – Ничего не случилось. Что за глупые предположения. Меня, – он особенно подчеркнул это слово, – никто не менял.

Быстро взбежав по ступенькам крыльца, он вошел в дом. Растерянно глядя ему вслед, Ирина продолжала стоять в их маленьком садике, в котором, в ночь не сегодня, распустились вишни. В углах ее серых потемневших глаз медленно увеличивались прозрачные капли. За всю их совместную жизнь муж никогда с ней так не разговаривал.

К ужину Ирина вышла с красными заплаканными глазами. Белов уже сидел за столом и машинально тыкал вилкой в лежащий перед ним на тарелке винегрет. Оба почти ничего не ели. На лице всегда жизнерадостной, суевающейся вокруг стола Сестко-сан застыла недоумевающая улыбка. Она никогда не видела своих господ такими серьезными и молчаливыми. Никогда не приходилось ей уносить со стола совсем нетронутые блюда, и никогда не было случая, чтоб хозяин не пошутил с ней и не сказал бы ей что-нибудь смешное.

Тягостное молчание не нарушалось. Ирина с болью и недоумением думала о том, что же, в конце концов, случилось? Но гордость оскорбленного самолюбия не позволяла обратиться к мужу. Изредка она бросала короткие взгляды в его сторону. Белов сидел, низко опустив голову, казалось, что он усердно разглядывает рисунок скатерти. Его, как и Ирину, угнетало молчание, но он боялся его прервать. Боялся начать говорить, так как знал, что говорить сейчас он может только об одном. А что сказать и как? Допытываться подробности – он знает почти все. Заставить ее пережить еще раз то, что она уже однажды пережила? Унизить, оскорбить? Он прекрасно сознавал, что если Ирина узнает об этом, то для нее это будет невероятной мукой. Что от их прежней жизни, прежних взаимоотношений не останется и следа. Что жизнь навсегда будет разбитой. Должен ли он это сделать, имеет ли право? Не обязан ли он попробовать пережить все наедине с самим собой? Попробовать перебороть себя, постараться забыть, вычеркнуть из памяти то, что было вписано туда раскаленными буквами. Ради, если не светлых солнечных дней, которые они пережили с Ириной.

Неужели он такой эгоист, неужели он не в состоянии простить того, что когда-то было? Было до него. Разве не женятся люди на женщинах с прошлым? А если бы Ирина была вдовой, если бы до него она была бы замужем, разве он стал бы любить ее меньше? Или не смог бы любить вообще. Разве сам он до Ирины не имел десятков романов? Разве, даже сегодня, гуляя с Ириной по улицам, он не встречает тех, которые когда-то принадлежали ему, которых он ласкал так же, как Ирину, которых он даже называл такими же ласкательными именами, как ее теперь? И, наконец, разве Ирина не досталась ему нетронутой, девственной? И в ту же секунду перед глазами Белова вставала страшная картина: голое тело Ирины и того, другого. Белов сильно стискивал челюсти, заставляя быстро шевелиться желваки на его щеках.

Белов не слышал, как Ирина встала из-за стола и вышла из комнаты. Когда, наконец, он поднял голову, ее уже не было.

Он вышел на крыльцо. Было свежо. В темно-синий бархат неба впивался светлый столб прожектора с крыши Даймару. Вокруг застывшая тишина, изредка прерываемая звоном пробегающих внизу трамваев. Чашечки цветов на голых ветвях вишни раскрылись еще больше, они казались пушистыми большими снежинками.

Ирина долго лежала в постели. Широко раскрытыми глазами вглядывалась в темноту комнаты, настороженно прислушивалась к тому, что делает муж. Он долго шагал по их маленькому садику. Слабо скрипел под его ногами мелкий гравий на единственной дорожке сада. Ирина ждала. Она чувствовала, что не сможет выдержать характера, что вот еще немного, и она соскочит с кровати и побежит к нему. Ее мозг усиленно и напрасно трудился над тем, чтобы понять, что случилось. Что-то подсознательно нашептывало ей, что произошло что-то очень серьезное, что иначе он никогда бы не был таким грубым и жестоким. Но причем тут она, разве она в чем-нибудь виновата? Разве она не самый близкий для него человек, что он не хочет с ней поделиться тем, что его заботит? Нет. Может быть, он просто не хочет ее огорчать? Может быть, она сама поступила неправильно, обидевшись на него и замолчав?

Белов вошел в спальню. Не зажигая света, стал медленно раздеваться. Приподняв одеяло, лег на самый край постели.

Ирина поняла, что он не хочет, чтобы к нему прикасались. С трудом сдерживая себя, боясь разрыдаться, глотая противные соленые слезы, она с тоской думала:

— Господи, за что?

Двадцать восьмого марта, в одиннадцать с небольшим часов утра, душа Белова заболела страшным тяжелым недугом, название которому вряд ли можно найти. В течение трех недель организм Белова прилагал все усилия для того, чтобы побороть болезнь. Но все старания были напрасны. Все принимаемые Беловым меры оказывались паллиативами. Причиняя мучительную боль, прогрессируя с каждым днем, недуг уже поразил важные душевные и мозговые центры. В минуты редкого трезвого мышления Белов ясно сознавал, что с минуты на минуту наступит кризис, в исходе которого он не сомневался.

Три недели страшной, напряженной, молчаливой борьбы. Измученная неизвестностью, напуганная, Ирина с тревогой наблюдала за мужем. Она видела и чувствовала происходящую внутри его борьбу. Ни просьбы, ни слезы, ни отчаяние не помогали – Белов не говорил о том, что с ним происходит. На особенно настойчивые просьбы Ирины он отвечал

резкостью, грубостью, иногда просто отталкивал ее от себя и уходил из дому. Иногда до утра. Часто Белов приходил домой пьяным. В такие дни он бывал особенно страшен. Угрюмый и молчаливый, он с какой-то звериной жестокостью набрасывался на Ирину, исступленно ласкал ее, почему-то всегда стараясь причинить боль, то осыпал ее тело бесчисленными поцелуями, то извращенно и цинично чуть ли не разламывал ее тело, заставляя ее принимать самые невероятные позы, от одного воспоминания о которых краска стыда заливала лицо Ирины, то вдруг грубо отталкивал ее от себя, поворачивался к ней спиной и не произносил ни слова. Прекрасно сознавая, что он мучает жену, что рано или поздно он должен будет заговорить, что молчание еще более усложняет положение, что он сам уже не в силах, физически не в состоянии носить все то, что он переживает в самом себе, вместе с тем он определенно знал, что разговор с женой ничего не решит, ничего не изменит, не принесет никакого облегчения, наоборот, еще более усложнит их взаимоотношения.

Целыми днями, в свободное от службы время, Белов колесил по улицам Кобе. Заходил в бары, рестораны, кафе, не отдавая себе ясного отчета, что будет потом, Белов искал встречи. Долгими бессонными ночами, он замучивал себя мыслью, что он поступил не как мужчина. Он не имел права дать тому уйти. Что даже Ирине он сейчас не может ничего сказать, так как он, единственный, кто был обязан вступить за ее честь, за свою собственную жену, наконец, поступил как какой-то халуй, ударил, разбил физиономию и спокойно ушел. Уважающий себя человек за такие вещи не бьет. Он или убивает или подставляет под выстрел свою собственную грудь. Но где найти, как встретить? Он не знал ничего. Ни имени, ни где тот человек работает. Ничего. Даже не знал, живет ли он сейчас здесь или вообще куда-то уехал.

Единственный выход – спросить ее. Но как? Он боялся, что во время разговора, он не сможет сдержать себя. И тогда вместо этого погибнет Ирина. Иногда Белов ловил себя на жуткой мысли, что может быть это лучший выход из положения. Что от прежнего все равно ничего не осталось, что рано или поздно все равно произойдет что-то страшное. Что никогда ни у него, ни у Ирины больше не будет счастья, что попытка молчанием, которой он подвергнет ее и себя, в конце концов, сведет с ума или его, или Ирину.

Любил ли он Ирину – Белов не знал. Если любовь перегорела, умерла, рассыпалась от прикосновения чужих слов – значит, нет страдания. Нельзя страдать, когда втаптывается в грязь то, что ты уже не любишь – мучительно думал Белов. Но если безумно болит сердце, если все твое внутреннее «я» заполнено диким, звенящим не могущим вырваться наружу криком нечеловеческой боли – значит, ты продолжаешь любить. Да, да, соглашался Белов. Но почему же, рядом с любовью –

символ прощения и забвения всего, почему рядом с ней выросло другое страшное чувство, которое в тысячи раз сильнее любви – чувство невероятной злобы, ненависти, обиды, ревности, презрения, комплекс всех отрицательных чувств, которые могут родиться в человеческой душе. Но почему они, все взятые вместе, могущественные и ужасные, почему они не растопчут в прах сиротливо стоящую неподалеку от них любовь? Почему каленым железом презрения и ненависти они не выжгут ее из измученного сердца Белова? Сильнее любви, как вандалы, победители, прикованную цепями к колеснице, они тащат ее, полуживую, за собой.

Пробуя быть посторонним наблюдателем за тем, что творится в его собственной душе, Белов все больше и больше убеждался в том, что он не в силах разобраться в этом невероятном хаосе чувства. Да, он любил и ненавидел, жалел и презирал, готов был, временами, молиться, глядя на ее затуманенные горем глаза, и втоптать в грязь, еще более чем когда-либо, хотел ее как женщину, и старался ласками причинить боль, унижить, вызвать краску стыда на ее лице.

Видя ее страдания, хотел расплакаться, как ребенок, у нее на груди и, как самого близкого, самого родного человека, попросить помочь ему пережить боль, исковеркавшую его душу. И в тоже время, еще упорнее продолжал молчать, почти злорадно наблюдал за ее страданиями.

Кризис в его болезни наступил неожиданно.

Однажды, вернувшись домой, когда жена уже спала, он зажег свет и начал раздеваться. С треском швырнул на пол снятые с ног туфли, шум от их падения разбудил жену. Его глаза встретились с испуганным взглядом Ирины.

Как внезапный хлынувший поток прорывает плотину, так испуг, мелькнувший в глазах жены, отразившись в его мозгу, как будто задел какую-то сложную пружину, до сих пор мешавшую ему заговорить.

Белов почти закричал:

– Ты что уставилась на меня? Испугало появление собственного мужа? Может ты ждала кого-нибудь другого? Своего любовника, рыжего англичанина? Говори!

Полураздетый, с горящими от бешенства глазами, он подскочил к кровати, сдернул с жены покрывало, и больно вцепившись руками в ее плечи, с силой посадил Ирину на постели.

Ничего не понимающая, ошеломленная, чувствуя сильную боль в плечах, Ирина не могла ничего ответить. Слезы градом сыпались из ее глаз.

– Говори, – продолжал кричать Белов. В его голове все перепуталось, перемешалось. Он совершенно не мог владеть собой. Только где-то далеко, в отуманенном яростью мозгу, как сигнальная лампочка радио отправителя, коротко вспыхивала мысль – сейчас убью. Вспыхивала и

потухала. Боялся разжать руки, крепко сжимавшие плечи жены. Знал, что следующим, во что они вцепятся, – будет ее горло. Чтобы как-нибудь разрядить нарастающее несокрушимое желание задушить, сильно ударил ладонью ее по лицу. От удара Ирина потеряла сознание, упала на подушки. Из угла разбитых губ на ее подбородок стекала тонкая струйка крови. Белов схватил с ночного столика кувшин с водой и выплеснул всю воду на лицо Ирины. Слабо застонав, она пришла в себя.

– За что? – захлебываясь от слез, слабо произнесла Ирина, – за что?

– За то, что ты – гадина, мразь, проститутка, – продолжал кричать Белов. – Я все знаю, не притворяйся невинной мученицей. Я все знаю, там, в Токио, к кому ты ездила на квартиру. Кто раздевал тебя? – голос Белова, сорвавшийся на высокой ноте, перешел в шипящий шепот. Отойдя на шаг от кровати, судорожно сжав кулаки своих больших сильных рук, он пронизывал Ирину переполненным ненавистью взглядом. Видел, как смертельная бледность покрывала лицо Ирины, от этого еще ярче выступала красная полоска крови на ее подбородке.

Слова, произнесенные мужем, были сильнее удара. Ирина почувствовала, как куда-то поплыла комната и где-то, совсем рядом с ней, открылась бездна, в которую она вот-вот упадет. «Он знает», – произносилось в ее мозгу. С мучительной ясностью встал весь ужас пережитого тогда, пять лет тому назад. Ужас, о котором она старалась забыть, вырвать из своей памяти. Никогда не вспоминать. О, как трудно было забыть. Только встреча с Беловым, их жизнь, обретенное счастье стуседали картину, сделали нереальной. Помогли поверить в то, что это было кошмарным сном. И если иногда, вдруг неизвестно почему, всплывали образы того, омерзительного, она старалась внушить себе, что этого не было никогда.

В первый же момент, выбежав из квартиры англичанина, Ирина твердо решила умереть. Жить после всего, что случилось, быть так опозоренной, униженной, – нет, она не в состоянии после этого жить. Ирина не помнила, как добралась до дому, в мыслях было только одно, как можно скорее умереть. Она не спала всю ночь, а утром зашла мать, у Ирины был жар, она металась по постели и, может быть, почти в бреду, она рассказала все матери. Сказала ей о том, что больше не будет жить. Помнит, как плакала мать, как на коленях умоляла ее остаться жить ради нее и отца, клялась, что она никогда не расскажет об этом отцу. Ирина пожалела мать, а потом, как только она немного оправилась от пережитого, они уехали все вместе из Токио. Больше года Ирина по-настоящему не могла прийти в себя, окружающие боялись за ее рассудок. Но время, молодость помогли побороть отвращение к жизни. А потом Белов и, наконец, настоящее счастье.

Ирина верила в его бесконечность. Верила в свои силы, в любовь

Белова. Тогда, три недели тому назад, она впервые столкнулась с темной, пугающей изнанкой людей. Впервые в душу запало сомнение в прочности счастья на этой земле. Но она всеми силами гнала от себя эти думы, со страхом глядя на перемену, происшедшую в муже, мучаясь, не в состоянии найти ответа и объяснения, она почти силой заставляла верить в то, что это скоро пройдет, что у него какие-то личные переживания, что, может быть, она не должна бы была замечать происшедшей в нем перемены и, тем самым, углублять ее еще больше, а должна была быть по-прежнему ласковой, внимательной, любящей женой. Быть особенно чуткой, не надоедать своими расспросами. Раз он упорно молчит, значит, он имеет на это основания, нужно было терпеливо ждать, когда все опять станет по-прежнему. Ирина ни одной минуты не могла думать, что она в чем-нибудь может быть виноватой сама, и все же, несмотря на все старания, она не могла заглушить в себе голоса, властно кричавшего ей в душу, что их счастье на краю гибели, что не может человек, готовый молиться на нее, всегда готовый исполнить каждое ее желание, живущий только ей, вдруг, ни с того, ни с сего, совершенно переродиться, стать абсолютно чужим, грубым, резким, жестоким. Но она прекрасно видела, что его жестокость приносит страдания ему самому, что он мучается не менее ее. Что делать, как быть? Сломленная неожиданно упавшим на нее испытанием, с тоской думала Ирина, у кого спросить совета. Ведь она совершенно одна. После смерти матери и отъезда отца, у нее никого, кроме Белова, не было. Он заменил ей всех и все. И с ним, под его надежным крылом, она никогда не чувствовала себя одинокой. И вдруг, что-то страшное вошло в их жизнь, кто-то выхватил ее из-под опекавшего крыла, и Ирина осталась одна, совершенно одна. Похудевшая, осунувшаяся, она с ужасом ждала развязки, не понимая, не видя причины, она чувствовала неизбежность чего-то ужасного. Все, что угодно, могла предполагать Ирина, что Белов разлюбил ее, встретил другую женщину, которая похитила его сердце, он все еще продолжает бороться с новым, всепобеждающим чувством, умышленной грубостью и резкостью старается оттолкнуть от себя жену. Что, наконец, он просто заболел. Переутомление, неприятности или что-нибудь еще отразились на его психике, и он просто не в состоянии владеть собой, не в состоянии взять себя в руки. Все, что угодно, могла предполагать Ирина, но только не это. Он прочел позорную страницу ее жизни. Кто раскрыл ее перед ним? Да важно ли, в конце концов, кто и как. Важно то, что он знал. И она с мучительной ясностью поняла, что никогда в жизни стоящий перед ней человек, с крепко сжатыми в кулаки руками, пронизывающий ее взглядом, не будет больше ее любить, никогда не простит. Такие натуры, как Белов, отдают себя целиком, требуя в ответ то же самое. Они никогда в жизни не идут на компромисс со своей совестью, никогда не делают людям зла и никогда не прощают зла, причиненного им.

Ирина силилась что-то сказать и не могла. Мысли, с быстротой молнии пронизывали ее мозг, парализовали волю, способность к сопротивлению, защите себя и своего счастья. Молча, с ужасом, смотрела Ирина на ставшее совершенно чужым, не похожим на себя, лицо самого близкого, самого дорогого ей человека. Ее губы судорожно вздрагивали, тщетно стараясь открыться, что-то произнести. От этого все лицо Ирины кривилось какой-то неестественной судорогой, похожей на жалкую, виноватую улыбку.

В больном мозгу Белова уже все воспринималось не так, как следует. Grimасу боли на лице жены он по-настоящему принял за улыбку.

— Ах, ты еще можешь смеяться, ты еще в состоянии издеваться надо мной! — исступленно закричал он, бросаясь к Ирине.

Ярость тесным жгутом затянула его шею, сдавила, бросила в голову кровь. От шумящего потока крови потемнело в глазах, и Белов грузно повалился на пол перед кроватью.

От пронзительно крика Ирина проснулась Сестко-сан, стремглав вбежавшая в комнату в распахнувшемся кимоно, проснулись соседи, прибежали в сад и, заглядывая в окна, перебивая один другого, предлагали свои услуги, спрашивая, что случилось.

С помощью соседей и Сестко-сан Ирина положила тело Белова, с побагровевшим лицом, на широкую тахту, стоящую около стены. Долго и тщетно старалась привести Белова в чувство. Кто-то из соседей побежал за доктором. И когда ломающая руки, упав на колени перед телом мужа, Ирина с ужасом прислушивалась к хрипам, несущимся из его полуоткрытого рта, показывающего оскал зубов, — в комнату вошел доктор. Тщательно одетый, с маленьким чемоданчиком в руке, он моментально взял в руки пульс Белова, долго и внимательно выслушивал его сердце, а затем, достав из чемоданчика шприц, сделал Белову укол камфары. А потом, участливо глядя в лицо Ирины, он сказал, чтобы она не волновалась. Что нет ничего опасного, что этот припадок вызван сильным нервным потрясением, что сейчас больного не нужно беспокоить, он будет спать, а утром встанет совершенно здоровым.

Доктор ушел, а затем, один за другим, на цыпочках, вышли и все остальные. Около Ирины осталась бледная встревоженная Сестко-сан, но и ее Ирина отослала спать, сказав, что если что-нибудь будет нужно, она позовет ее.

Постепенно хрипы Белова перешли в порывистое шумное дыхание, а потом он стал дышать все тише, спокойнее.

Белов спал. Не спуская взгляда с его лица, Ирина продолжала сидеть около него. Лицо мужа уже не было таким красным, рот закрылся. Ирина облегченно вздохнула. Уже больше не было страха за его жизнь. Но сердце не переставало мучительно ныть. Боязнь потерять Белова на некоторое

время заглушила, отодвинула на задний план все остальное. Но вот теперь опять, все рельефнее и чудовищнее вставала картина грядущей неизбежности.

— Я должна умереть, — с тоской думала Ирина.

После того, что случилось, после того, как он узнал, — нельзя жить, так как больше никогда не будет счастья, никогда она больше не увидит ласки и любви в глазах Белова. Неужели он не сможет простить. Не сможет понять, что она не была так сильно виновата, что она ничего не соображала, что это может случиться с каждым, помимо его воли. Что ведь он знает о том, как она боролась, хотя, вдруг спохватилась Ирина, почему она думает, что он знает, может, перед ним все было представлено в ином виде. И если об этом начнет говорить она сама, разве он поверит ей. Никогда, никогда в жизни он больше не будет ей верить, никогда не поймет. У нее нет возможности защищаться, бороться за свое счастье.

Все ниже опускается голова Ирины. Затуманенными от слез глазами она смотрит на лицо Белова, от пелены на ее глазах лицо мужа кажется далеким-далеким, нереальным. Кажется, что постепенно оно растворяется, уходит куда-то. Кажется, еще немного и совсем исчезнет Белов и в неуютной холодной жизни останется только она одна — Ирина. Совсем, совсем одна.

Назавтра Белов вышел из квартиры только после обеда. Целое утро он лежал на тахте. Во всем его теле была страшная слабость, в голове пусто и бездумно. С каким-то ленивым любопытством он, молча, приглядывался к бесшумно скользящей по комнате, страшно за одну ночь похудевшей Ирине. Она часто подходила к нему, трогала его голову, тихо спрашивала, не хочет ли он чего-нибудь. Меняла компресс на его сердце. Он не протестовал, хотя уже не чувствовал никакой боли и был страшно спокоен. А потом, вдруг, неожиданно для самого себя, он также совершенно спокойно, попросил ее сесть и, не волнуясь, рассказать ему все.

Видал, как внезапно залилось краской, а затем моментально побелело лицо Ирины. Захваченная врасплох его словами, судорожно втянув в себя воздух, как бы задохнувшись, она растерянно остановилась около него. А потом, торопясь, рассказала ему все то, что он уже знал.

Белов слушал. И опять-таки странно картины, нарисованные словами Ирины, уже не будили в его сердце ни гнева, ни ненависти, но не было и любви. Все, абсолютно все, стало безразличным и ненужным. В мозгу начинало что-то постепенно вырисовываться. Сперва неясно, а потом все более и более рельефнее. Почти не слушая слов Ирины, Белов напряженно вглядывался в то, что выкристаллизовывалось в его мозгу. И, наконец, увидел и понял. Увидев, он прервал Ирину:

– Ты не сказала мне главного, его фамилию и где он служит.

Ирина ответила, его фамилия – Лесли Блексмит. Раньше он служил в «Бермингам Стил Воркс».

Услышав, Белов вдруг забеспокоился, начал подниматься. Ирина хотела удержать его. Но он ответил, что он совершенно здоров и что ему непременно нужно быть на службе, что он и так полдня провел дома, никого не предупредив.

Уходившего Белова Ирина вышла провожать на крыльцо. Нерешительно, робко смотрели ее глаза. Печальный взгляд Ирины на секунду вывел его из оцепенения, где-то в глубине души дрогнули какие-то струны, их слабое дрожание сказало Белову, что он все еще любит Ирину, но любовь задавлена внезапно свалившейся на нее тяжестью новых больших чувств, и только тогда она будет прежней, когда он сможет сбросить эти тяжести, совершенно очистить свою душу. А для этого он должен сделать то, что сейчас целиком заполнило мозг.

Есть только один выход, иначе навсегда погибнет в его сердце любовь, захватанная чужими грязными руками.

Белов притянул к себе Ирину, поцеловал ее в лоб и сказал:

– Ничего, все будет хорошо, крепись.

Но когда он спускался с крыльца, он ясно и определенно понял, что никогда и ничего не будет хорошо, что он напрасно лжет. Что, чтобы ни случилось и чтобы он сейчас ни сделал, всегда, как только он будет видеть и чувствовать тело Ирины, перед ним будет вставать образ того, другого.

Выйдя на улицу, он взял такси и поехал в магазин старинных вещей. Приказчик, одетый в европейское, с высоким крахмальным воротничком, подпиравшим его короткую шею, услужливо разложил на прилавке перед Беловым целый ассортимент старинных кинжалов. Белов сосредоточено осматривал их, перебирал, вынимая из ножен, пробовал пальцем острие. И все время ловил себя на мысли, что все это совершенно лишнее, что не играет абсолютно никакой роли, каким именно будет убивать, и все же продолжал выбор. В конце концов, он остановился на коротком, в деревянных ножнах, совершенно прямом, с незаметно сливающейся с ножнами ручкой. Издали кинжал можно было принять за изукрашенный резьбой плоский кусок дерева. Раньше их носили в рукавах кимоно.

Вытащив стальной клинок, жирно смазанный салом, Белов долго смотрел на него. Затем, не торгуясь, заплатил и, взяв положенную в картонную коробку покупку, он попросил дать ему английский путеводитель по городу. Найдя нужный ему адрес, он вышел из магазина и, сказав его шоферу, поехал в «Берминам Стил Воркс».

В машине он развязал покупку, бросил на пол коробку, а кинжал заткнул за пояс и застегнул на все пуговицы пиджак.

Подъехав к высокому серому зданию, он попросил шофера

подождать, по привычке бросив взгляд на счетчик. Счетчик показывал одну иену, восемь сен. В вестибюле здания, найдя на доске нужную ему фирму, он вошел в автоматический лифт и поднялся на третий этаж. Перед дверью с матовым большим стеклом, на котором черными жирными буквами было написано «Бермингам Стил Воркс», он на секунду задержался, а затем, потрогав через пиджак, на месте ли оружие, быстро раскрыл двери в контору и вошел. Белобрысый маленький англичанин, на вопрос Белова, может ли он видеть мистера Лесли Блексмита, ответил, что мистера Блексмита нет.

– Что, он еще не пришел? – спросил Белов.

Но клерк вежливо пояснил, что мистера Блексмита нет вообще в Японии, что он действительно только недавно вернулся из Европы, но через неделю после возвращения он попал в автомобильную катастрофу, которая, как видимо, повлияла на его нервную систему, и врачи посоветовали ему немедленно вернуться на родину.

Ошеломленный услышанным, Белов не хотел и не мог поверить.

– Не может быть, я знаю, что он здесь, – продолжал он настаивать. – О какой это автомобильной катастрофе вы говорите, о ней ничего не было в газетах?

Но англичанин перебил его:

– Уверяю вас, – сказал он, – мистер Блексмит действительно уехал, а катастрофа произошла где-то между Осака и Кобэ, о ней я знаю точно, так как я сам видел забинтованное лицо мистера Блексмита, когда он приходил с нами прощаться.

Не произнеся ни одного слова, Белов вышел из конторы. Спустился вниз и, только сев в машину, он сообразил, что произошло самое ужасное и самое непоправимое.

Шофер несколько раз оборачивался в сторону молча сидевшего пассажира, не отдающего никакого приказа. Природная вежливость мешала ему напомнить чем-нибудь о своем присутствии. Почувствовав, что молчание может продолжаться долго и, не желая пользоваться странным состоянием пассажира, он закрыл мерно постукивающий счетчик.

В конце концов, Белов пришел в себя.

– Поезжайте, – произнес он и запнулся. Он не знал, куда ехать. В контору он не мог, домой тоже. Сказал первое пришедшее в голову название: Кобэ-Тоуер.

Машина быстро понеслась, лавируя между трамваями, на всех парах несущимися мотоциклетами, с доверху нагруженными товарами прицепными платформочками. Через десять минут быстрого хода, она нырнула в темный провал тоннеля и, выскочив из него, как вкопанная остановилась у подножия холма, на котором возвышалась Кобэ-Тоуер.

Белов вышел из автомобиля, заплатил и стал медленно подниматься на холм.

– Для чего я приехал сюда, – старался понять Белов, – а впрочем, не все ли равно куда. Теперь все окончательно безразлично.

У маленького окошечка кассы он купил билет на право входа в башню.

Поскрипывающий лифт долго понимался его наверх. Маленькая лифтгерл, в кимоно с большими желтыми цветами и ярко красным с золотым шитьем оби, спросила, хочет ли он остановиться на предпоследнем ярусе или на самом верхнем.

– Нет, – ответил Белов, – поезжайте до конца.

Неширокий балкон, кольцом охватывал верхушку башни.

Выйдя из темного колодца, по которому скользил лифт, Белов зажмурился от слепящей голубизны неба. На балкончике никого не было. Белов сказал лифтгерл, что его не нужно ждать, что он потом позвонит. Облокотился на перила и стал смотреть вниз.

Совсем маленькими, игрушечными казались суetyающиеся там, у подножия холма люди, бегущие автомобили, трамваи. Как на ладони, если смотреть вдаль, раскинулось все Кобэ. Направо голубело море, а налево, поднимались ввысь сопки с как бы вскарабкивающимися на них домиками. Черной лентой перевязала город наземная железная дорога с часто пробегающими по ней в разные стороны поездами.

Белов с грустью смотрел на город, который он любил, как свой родной, где он был счастлив, где все улыбалось ему, где счастье его должно было быть бесконечным.

– Неужели ничего нельзя вернуть, неужели нельзя направить на прежние рельсы их общую жизнь, – мучительно думал Белов.

И вдруг, с безжалостной отчетливостью встала картина, как он ударил по лицу Ирину, струйка крови, сбегавшая по ее подбородку из разбитых ударом губ.

А затем – сцены ночных оргий, когда он со злорадным цинизмом издевался над телом Ирины так, как он никогда не позволил бы себе что-либо подобное по отношению к самой последней проститутке.

Лицо англичанина с волнистыми темными волосами с проседью, который тоже «знал».

И Белов окончательно понял, что счастья не будет. Не будет ничего вообще. Что оно умерло почти месяц назад в вагоне надземной железной дороги, по которой случаю угодно было заставить поехать Белова, всегда до этого пользовавшегося только электрическим трамваем.

Как-то особенно внимательно глядя вниз, на мелкими букашками ползающих людей, как будто стараясь отвлечь от чего-то другого, Белов растегнул пиджак.

Внезапно похолодевшими, с трудом согнувшимися пальцами крепко зажал деревянную с тонкой резьбой ручку кинжала, быстрым коротким движением вырвал из ножен блеснувшее на солнце стальное, жирно смазанное салом лезвие, и со всей силой ударил им себя в живот.

Впервые опубликовано: Ненцинский А. Сильнее любви: Рассказы. Тяньцзинь, 1938.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 10. С. 3–30.

ПОСЛЕДНИЕ ПОЛЧАСА

Генерал Воронов был занят весь день, а день начался очень рано. Сразу после семи утра, когда его подняли с постели спешным вызовом в Реввоенсовет. Бесконечные аресты и расстрелы командного состава Красной Армии заставляли и Реввоенсовет, и РКК работать днем и ночью. Шла беспрестанная переброска лиц с одного места на другое. Всюду были бреши, которые нужно было затыкать. Но не было достаточно подготовленных кадров, а главное, не было уверенности, что сегодня назначенные – завтра не будут уже обвинены в каком-нибудь очередном уклоне и не будут сняты, арестованы, сосланы, просто расстреляны.

Генерал был целый день на совещаниях, назначал, отстранял, без конца сносился по телефону, даже не смог поехать домой обедать.

А в восемь часов вечера он узнал, что накануне были расстреляны Чернов и Рукавишников. Собрав все присутствие духа, стараясь ничем не выдать волнение, он полуудивленно сказал:

– Вот не ожидал. Казалось, что вернее их нет товарищей.

Начдив, сообщивший новость, процедил сквозь седые усы:

– В старое время, батенька мой, была хорошая привычка, когда кажется – креститься.

Начдива вызвали по телефону, и он вышел из кабинета, задумчиво ероша жесткую, несколько дней не бритую щетину. Воронов остался один. В мозгу настойчиво выстукивало – товарищей уже нет. Погибли. Теперь очередь за мной. Но есть ли за что зацепиться.

Встав из-за стола, нервно потянувшись, он начал шагать по диагонали по комнате. На его переносицу легла вертикальная глубокая линия – признак того, что генерал сосредоточенно думал. Серые холодные глаза прищурились, перед ними разворачивался длинный клубок доказательств его алиби.

Документов никаких. Переписки тоже не было. Только однажды Чернов, заехав к нему, оставил записку, которую ему передала жена. В записке было всего несколько слов – «Там же, где всегда, только не в восемь, а в девять, Ч.»

Воронов сейчас же порвал белый клочок на мелкие куски, а на вопрос жены – в чем дело, ответил, что его вызывают в Штаб Дивизии. Больше не было ничего.

С обоими расстрелянными он встречался только в официальных местах и всегда в присутствии посторонних. А о других встречах никто не мог знать. Двадцать лет революции научили дьявольской конспирации. Мелькнула мысль – а вдруг перед расстрелом сумели выпытать, но сразу же, как живые, вставали лица тех – нет, таких нельзя заставить говорить. Они не Зиновьевы. Да, кроме того, если бы их сумели заставить, то так просто не вывели бы в расход. А сперва – публичное покаяние, предательство правых и виноватых, а потом уже стенка.

Было жаль товарищей не только как людей, но и как немногих, способных на действительно что-то серьезное. Почти все было подготовлено. Осталось совсем немного. Над Михельсом, Ежевым и даже над «самим» уже была занесена разящая рука, которую, казалось, ничто не могло уже остановить. Как вдруг чья-то шулерская рука ловко передернула карты.

Воронов на секунду задержался около письменного стола. Затемненная сверху синим абажуром лампа бросала столб света на разбросанные по столу циркуляры, приказы, рапорты. Взглянув на них, Воронов почувствовал дикую ненависть к этим бумагам, которые мертвой чернотой букв были сильнее любого из них. Достаточно одной только строчки, равнодушно отстуканной на каком-нибудь исковерканном старом Ремингтоне – и нет Чернова, Рукавишникова, а завтра может и не быть его, генерала Воронова который только накануне сам отдавал приказы. Хотелось сгрести в кучу эти бумаги, сбросить на пол. Топтать ногами. Зазвонил телефон. Вызывали Начдива. Повесив трубку, Воронов посмотрел на часы. Было больше десяти, решил ехать домой.

Шофер долго отогревал застывший мотор.

Глубоко надвинув на лоб «богатырку», морщась от сильного ветра, бросающего на встречу быстроидущей машине пригоршни колючего снега, зажмурив глаза, Воронов посматривал картины, заснятые при его непосредственном участии в течение последних двадцати лет. Не задерживаясь, мелькали кадры. Завод, революция, опьянение, угар, дикая жестокая бойня. А затем учеба. Упорная, с надсадой. Хотелось все узнать, всему научиться. Учась, не замечал, что творилось вокруг. И только после того, как закончил Академию, он вдруг как бы прозрел. Все казалось не тем, к чему стремились. И не ради этого шел он, Воронов, и убивал своих же русских людей. Чувствовалось, что кто-то жестоко обманул, предал. Что все нужно менять. Но как, этого он не знал. Но задумываться над тем, что и как делать, было некогда, на гимнастике появился золотой ромб.

Воронов, по его собственному выражению, здорово залюбил военное

дело, и отдавшись ему всей душой, решил в политику не вмешиваться, стараясь не замечать того, что особенно было немило. Частые командировки, смена впечатлений, новые лица и новые места помогали.

В 35-м, когда он был отозван в Москву и окончательно прикреплен к РКК, на одно из концертов познакомился с молодой, подающей большие надежды балериной Зырянцевой. Он увлекся балериной и как-то удивительно скоро, он даже сам этого не ожидал, получил от нее согласие стать его женой.

Балерина была стройной, сухощавой брюнеткой с почти синими глазами. Через два месяца законного сожительства, она вдруг бросила сцену, которую, несомненно, любила, генерал был очень удивлен. Но жена объяснила свой уход разочарованием и еще тем, что нет в себе сил стать звездой первой величины, а довольствоваться вторыми ролями или ехать в провинцию она не хочет.

Почти целыми днями жена сидела дома, много читала, всегда была очень серьезной, замкнутой, как бы ушедшей в себя. Воронов знал, что она не особенно его любит, зная, что он не был первым, но жена никогда не давала ему повода опасаться за целостность семейного очага, ничего не требовала, ничем не бывала недовольна. И ему, занятому с самого утра до позднего вечера, не приходилось желать лучшей подруги. Генерал все больше и больше привязывался к жене, только иногда ловил себя на грустной мысли, что в их жизни не хватает самого главного – задушевности. Часто, утомленный работой, возвращаясь домой, он хотел поделиться с женой тем, что было у него на душе, – просто, по-приятельски поговорить. Но всегда холодный взгляд синих глаз останавливал. Каждый жил своей жизнью, отгородившись один от другого высоким забором. Но жена все-таки знала, чем интересуется и чем живет Воронов, он не имел ни малейшего представления о том, что заполняет жизнь живущей рядом с ним женщины. Ни родных, ни знакомых у Зырянцевой не было. Даже о ее прошлой жизни он ничего не знал, жена не любила расспросов. Как-то однажды, он сказала, что она круглая сирота и что у нее вообще не было юности.

Вот и сейчас, подъезжая к дому, Воронов подумал, как он одинок. Даже не с кем поделиться тем, что его заботило. Погибли приятели. Где-то совсем рядом притаилась смертельная опасность, угрожающая ему.

Трехлетнее, безвыездное пребывание в Москве окончательно открыло глаза Воронову на творящийся вокруг произвол.

Страны не было, не было государства, не было ничего. Была огромная вотчина начинавшего, а может быть уже сошедшего с ума, деспота, залившего страну потоками крови. Лакеи и палачи творили расправу над своими же вчерашними друзьями по одному мановению страшного властелина. И сегодняшней палач никогда не был уверен, что

завтра он сам же не будет валяться где-нибудь в подвале с простреленным черепом. Закованная в цепи, захлебывающаяся в крови, сгнивающая в лагерях страна замерла. Ужас, смертельный страх за свою жизнь парализовал волю. Не было сильных, смелых людей. Каждый из 170-ти миллионного населения с предсмертной тоской ждал чуда, избавления, которое должно прийти, которое не может не прийти, ибо всему в этой жизни есть предел.

Больше года, как Воронов ушел в конспирацию. Но что-то в корне всех организаций было неправильно. Десятками, сотнями стальные клещи вырвали из недр конспирации очередные жертвы и бросали под ноги тирану.

Агонизируя, Россия ждала Наполеона. Его не было.

Каждый с трепетом смотрел на Восток и на Запад – может быть, спасительный смерч налетит оттуда.

Подъехав к дому, отряхивая в подъезде с шинели снег, Воронов заметил несколько темных фигур, прижавшихся к подворотне на противоположной стороне улицы. Беспризорники – подумал он. Перескакивая через две ступени, быстро вбежал на третий этаж. Не успел притронуться к пуговке звонка, как жена открыла дверь. В столовой был приготовлен ужин, жена его ждала. Лицо ее было какое-то особенно грустное, под синими глазами черные полосы.

– Тебе что, Катюша, нездоровится?

– Нет, ничего, немного знобит, – кутаясь в шаль, ответила жена.

– Ты почему ничего не ешь, напрасно ждала меня. Сейчас почти одиннадцать, – сказал Воронов, когда они уже сидели за столом.

– Мне не хочется.

Разговор не клеился, молча пили чай.

– Ты чем-нибудь расстроен? – вдруг спросила Катюша.

– Нет, ничего, – оторвавшись от своих дум, ответил Воронов. – Просто я устал.

Поднявшись из-за стола, он подошел к радио и повернул выключатель. Комната сразу наполнилась крикливым неприятным голосом: «Наш дорогой любимый вождь товарищ Ста...» Воронов в сердцах щелкнул выключатель. Захлебнувшись, голос замолк. Чтобы как-нибудь оправдать резкое движение, сказал:

– Здорово устал, не хочу ничего слушать, пошли лучше спать.

В кровати почувствовал, как от мелкого озноба сотрясается тело жены, хотел встать, чтобы разыскать аспирин, но Катюша непустила.

– Ничего, скоро пройдет. Ляг поближе, обними меня, я быстро согреюсь.

Прижав к своему сильно большому телу жену, он почувствовал, как постепенно затихает дрожь.

Где-то в глубине сердца Воронова была большая нежность к доверчиво прижавшейся к нему женщине, которая днем всегда казалась немного чужой. Освободив одну руку, он стал осторожно гладить ее по голове. В темноте его губы потянулись к ее рту. Губы были почти сухие. Обожгли. По телу пробежала теплая волна. Катюша редко баловала его инициативой со своей стороны. Сегодня она была особенно жадной. Удивленный и довольный Воронов думал – что с ней случилось, но спросить боялся. Утомленный, засыпая, он крепко прижал к себе стройное и горячее тело жены.

Генерал проснулся от яркого света, больно ударившего в глаза. Перед кроватью, одетая в платье, стояла жена. Между неплотно задвинутых на окнах штор, проглядывали синие полосы ночи. Жена пристально смотрела на Воронова, в ее глазах он прочел совсем новое выражение, не то жалость, не то боль.

– Что случилось? Который час? – спросил он.

– Сейчас половина четвертого, ты должен встать, – в ее голосе, как и в глазах, было тоже что-то чужое. Она отошла от кровати. Глядя куда-то вверх его головы, тихо произнесла:

– Ты должен приготовиться, в четыре за тобой придут.

– Кто? – порывисто сев на постель, спросил Воронов.

– Они.

Спрыгнув на пол, схватив ее за руки, он почти крикнул:

– Откуда ты знаешь, говори.

Лицо жены сморщилось от боли, его руки почти раздавили ее хрупкие ладони.

– Я служу у них. Я – сексот. Я предала тебя. Одевайся. Сперва я все расскажу тебе, а потом ты можешь делать со мной все что хочешь, – руки жены показались скользкими и противными, как змеи. Он с отвращением отбросил их от себя. В голове стало как-то странно пусто. Как будто кто-то внезапно вынул оттуда весь мозг и заполнил только одним настойчиво звенящим: «Я предала тебя, и я сексот». Воронов почти машинально, быстро оделся, старательно застегнул на гимнастерке все пуговица, надел португепю и кобуру с наганом. Грузно сел на жалобно заскрипевший стул. По всему его телу пробежали холодные мурашки. С трудом выдавил:

– Ну... только не подходи ко мне близко.

И она заговорила, судорожно сжав руки. Стройная, худощавая, похожая на монашенку в черном строгом платье. Стоя посередине комнаты, боясь сделать хотя бы один шаг в его сторону. Боясь не смерти, не

расправы, а того, что она не успеет сказать ему все. Черные борозды под глазами сделались еще глубже. Побледневшие щеки часто кривит нервная судорога, как бы застыв на месте, слушает ее генерал.

- У нас есть полчаса. Всего полчаса. Собери свои силы и постарайся выслушать меня. Дай мне за всю жизнь сказать всю правду. Ты от меня ее никогда не слышал. Я всегда лгала тебе. Я всегда притворялась. Только в одном я не сумела достаточно хорошо сыграть свою роль. Я не сумела показать тебе, что я тебя люблю. Ты это знал. Это не я захотела стать твоей женой. Мне приказали. Это они связали наши жизни. Я лгала тебе, говоря, что я сирота. Все, все неправда. У меня есть брат, есть отец, который дороже мне всего на свете. Только за то, что мой отец когда-то был чиновником, только за то, что он имел неосторожность быть дворянином - ему никогда не давали покоя. Десятки раз он бывал на волосок от смерти, десятки раз его арестовывали, держали в подвалах, мучили, а затем выпускали, чтобы через некоторое время взять опять. Я сказала тебе, что у меня не было юности, и на этот раз я не лгала. Я родилась за два года до революции. И сколько я себя помню - я не видела ни одного светлого дня. Как только я стала соображать, мой детский мозг всегда был заполнен только одним вечным страхом за отца, мать, а потом за брата. Мать не выдержала и умерла, когда мне было только одиннадцать лет. Часто по несколько месяцев, а иногда и по году, мы с братом оставались совершенно одни. Отец где-то сидел, куда-то ссылался, а мы, дети, должны были сами заботиться о себе. О, как часто, по-детски наивно я спрашивала окружающих, за что мучают моего папу, почему не дают ему жить с нами. Что сделал он плохого этим страшным людям в кожаных куртках, которые приходят к нам в комнату, разбрасывают все наши вещи и, грубо толкая, уводят отца. С годами я поняла, что сделал отец. Он совершил страшную ошибку, он не имел права пережить революцию. Он должен был давно умереть. А он, странный, не мог этого понять. Он хотел жить. Жить, может быть, только ради нас, детей. Вот сейчас я совершенно не могу понять, как мы все-таки существовали, как мы ухитрились даже учиться. У меня с братом выработался какой-то звериный подход к жизни. Мы твердо знали, что нам никто и никогда ничего не даст, и мы, крепко сжав зубы, сами отвоевывали для себя право на корку хлеба. Если нас, как детей лишенца, социально-чуждого элемента, гнали из одной школы, мы хитростью, обманом, пробирались в другую, пока нас не выгоняли оттуда. И так без конца. Мы ловчились, лгали, унижались и с нетерпением ждали очередного возвращения отца. Каждый раз он возвращался к нам все больше и больше постаревшим, измученным и от этого делался нам еще дороже и еще более усиливался мучительный страх потерять его опять. А последний раз, это было пять лет тому назад, взяли не только его, но и брата. Я никогда не забуду ужаса, охватившего меня, когда я поняла, что

осталась совсем одна. Я ползала на коленях, я охватывала руками сапоги людей, уводивших от меня отца и брата. Я билась головой об пол, кричала диким, не своим голосом: «Не уводите, они не сделали ничего плохого». А потом, целыми днями, я просиживала в приемных различных Лубянок и Бутырок, без конца обивала пороги кабинетов. Просила и плакала. Плакала и просила. Меня выгоняли. Я приходила снова и снова. Однажды я почти силой пробралась в кабинет к самому Шпигелю. Ты прекрасно знаешь этого страшного, обрюзгшего, стоящего по горло в человеческой крови латыша. Вначале он хотел меня выгнать, а потом почему-то разрешил остаться, и даже предложил сесть. Выслушав меня, спросил, сколько мне лет и сказал, чтобы я пришла на следующий день. Я была у него несколько раз. Он все обещал, а однажды заявил мне, что отца и брата должны расстрелять, но что в его силах заменить расстрел Соловками, при условии, что я стану: во-первых, его любовницей, а во-вторых – секретной сотрудницей ГПУ

Голос Катюши дрогнул. Как будто стараясь спрятаться от чего-то неотвратимо страшного, она на секунду закрыла лицо руками. Потом руки бессильно упали вдоль ее тела.

– У меня не было выбора. Жертва. Да, но то, что я отдала себя, не было такой страшной жертвой. Да, в первый момент это был ничем не передаваемый ужас, когда его потные и мясистые руки срывали с меня старенькое заштопанные платье, а потом жадно бегали по моему телу, сжимали мне грудь, делали больно, цинично прикасались к самым сокровенным местам. Дикая, нечеловеческая боль от звериного напора. Полураздавленная, я задыхалась под тяжестью громадного тела, а он все продолжал меня мучить, облизывая своими губами мое залитое слезами лицо. А потом гадливость и навсегда, на всю жизнь, сознание своей загрязненности. Но все-таки самое ужасное было потом. Клятва, которую я дала. Я поклялась до гроба всеми своими мыслями, действиями, поступками, принадлежать только им. На этом свете у меня не должно было быть ничего, кроме долга перед ними. Вечными задолжниками моей клятвы, моей рабской преданности им – те двое. Их они пощадили. Я купила их право на жизнь. Каждые две недели мне передают письма. Письма «оттуда». Почти с того света. И всегда это ответ на мое последнее. Это гарантия того что они живы. Что я обязана хорошо служить. Один неправильный шаг, одна оплошность по отношению к хозяину и за это заплатят те двое. И смерть будет казаться блаженством, по сравнению с теми муками, которые им придется испытать. Ради них я продолжаю жить, ради них я совершаю подлость за подлостью. Они ничего не знают. Мое загрязненное тело ничто по сравнению с моей душой. О, если бы ты смог хотя бы на секунду заглянуть в нее. Шпигель приказал мне идти в балетную школу. Артистке легче всего проникнуть туда, куда не сможет

попасть простая советская служащая. Шпигель же приказал мне понравиться тебе, а потом выйти за тебя замуж. Около каждого, занимающего ответственный пост, должен быть свой человек. Что может быть лучше жена-шпионка. Я не любила тебя. Больше – я так же тебя ненавидела, как всех, имеющих какую-то власть. Вы все, без исключения, прямые или косвенные порабитатели русского народа. На остриях штыков вашей армии зиждется благополучие тиранов. И когда вас всех пачками начали выводить в расход – я торжествовала. Подходили сроки, бил час возмездия. Год назад мне было приказано удвоить бдительность. Ни одно слово, сказанное тобой, чье-либо посещение, телефонный звонок, письмо, записка – не должны были быть оставлены без внимания. Больше года ты был на строжайшем учете. Два раза в неделю я приходила к Шпигелю с докладом, иногда после доклада он милостиво вел меня на диван. Я все переносила. Я давно перестала быть человеком. Записка от Чернова, прежде чем попасть к тебе в руки, была сфотографирована ГПУ, а потом уже была передана мной тебе. Я знала, что это твой смертный приговор, поданный на подпись моей собственной рукой. Неужели не дрожала моя рука? За годы нашей с тобой жизни я переменила к тебе отношение, может быть даже по-своему полюбила тебя. И все же я должна была предать, иначе я не могла поступить. Ты не можешь себе представить сознание того, что за каждым твоим шагом идет беспрестанная слежка. Ты никогда не бываешь уверен, что тебя не спровоцируют. Телефонный звонок, присланная кем-то записка, о которых ты немедленно должна донести, могут оказаться гнусным трюком твоего хозяина, испытывающего твою верность. Сегодня я могу сознаться, и я не ищу сострадания. Я обо всем передумала, я твердо решила – это моя последняя работа. Я не в силах продолжить низкую игру, я больше не буду жить. Я поняла всю бесцельность того, что я делала. Все равно я не спасу брата и отца. Рано или поздно я поскользнусь на этом залитом кровью пути, и их конец один. А у меня нет больше сил держаться. Пойми, я больше не в силах жить. Я долго старалась уверить себя, что скоро все кончится, что откуда-то придет избавление, но больше не могу ни верить, ни ждать. Я много прочла книг, я многое узнала о том, как было раньше. Я знаю, что, несмотря на то, что в России никогда не было такого произвола, несмотря на то, что раньше каждый мог жить своей личной жизнью, делать то, что он хотел, несмотря на то, что никогда над людьми не висело страшного бича, не позволяющего им даже думать, – все же были недовольные. И эти недовольные шли и убивали. Но страной правили странные люди. Тогда как теперь, даже за несказанное слово, выводят в расход сотни и тысячи, раньше даже за убийство их министров редко казнили. Но среди недовольных были такие, которые все же шли на верную смерть, бросая бомбы, многие из них знали, что эти бомбы разорвут и их самих, и все же

бросали. Надевали мелинитовые жилеты, шли и взрывали сами себя только для того, чтоб от этого взрыва погиб и негодный им человек. Где же среди вас такие люди? Вы, любящие говорить, что революция закалила вас, сделал из вас бесстрашных борцов, вы трусливо подставляете под топор свои шеи жалкой кучке палачей. Разве вы не видите, как в корчах и муках гибнет ваша страна. Почему вы, обвешанные с ног до головы оружием, бывая в обществе изверга, цепко хватившего Россию за горло, почему вы создаете какие-то детские заговоры, позволяете расстреливать себя за какие-то нелепые уклонения. Почему не найдется среди вас ни одного, который, пожертвовав самим собой, просто не убьет «несравненного, любимого вождя Сталина». Ведь одно сознание, что, разрядив свой наган в голову грузина, он переворачивает страницу в истории России, должно быть дороже жизни, дороже всего на свете. Но до сих пор среди вас не нашлось ни одного, и я знаю – не найдется. О, как я презираю вас всех, таких больших и сильных и таких жалких и никчемных людей.

Все бледнее и бледнее становилось лицо Катюши, голос ее то срывался, доходя до шепота, то становился громким, звенящим в притаившейся тишине комнаты.

Воронов не спускал широко раскрытых, полных ужаса глаз со стоящей перед ним женщины. Хрупкая, почти ребенок, она росла, заполняла всю комнату. Казалось, Катюша – сама Россия, изможденная, измученная, но великая в своем горе и страдании, пришла сюда, для того, чтобы обличить его, Воронова, в том зле, которое он причинил ей. А она все говорили и говорила.

– Да, я самая низкая из низких. Я самая подлая из подлых. Но я не одна. Нас десятки тысяч, если не миллионов, разбросанных по всей стране. Мы задыхаемся, захлебываемся от собственных слез, пролитых наедине, когда мы начинаем думать о тех ужасах, которые мы сотворили. Но кто нас заставил пойти по этому пути? Кто? Вы, только вы. Пойми, я любила тебя. Теперь мне не стыдно сознаться. Да я уже любила тебя. Но я никогда не показывала тебе этого, так как я определенно знала, что рано или поздно ты погибнешь от моей собственной руки. Вчера расстреляли Чернова и Рукавишникову. Вернее просто пристрелили, когда при аресте они оказали сопротивление. Тебя решили взять живым. Мне приказали оставить дверь в прихожую открытой. Ровно в четыре они придут. Будет сам Шпигель. Они должны взять тебя сонного. Они знают твою силу, знают, что без борьбы ты не дашься, а им ты нужен живой, им нужен язык, нужен человек, который стал бы каяться, бичевать себя, топить других. И я решила – сегодня мой день. Ты должен дорого продать себя, я помогу тебе, а потом мы оба умрем. Слышишь? Мы очень дорого должны продать наши жизни. Слышишь?

Как будто что-то надломилось в Катюше. Подогнулись ноги. Сделав

шаг, она стала падать. Воронов успел подхватить падающее тело жены, крепко прижал к себе.

- Не надо, не надо, - тихо шептали губы Воронова, - крепись, ведь ты сильнее меня. Не надо, моя родная, потерпи немного. Прости меня, прости за все. Да, ты права, мы виноваты во всем. Только мы.

Он бережно посадил Катюшу в кресло. Налил в стакан воды, дал ей выпить. Слышал, как зубы жены выстукивали по краю стакана мелкую дробь. Посмотрел на часы - было без семи четыре. Подошел к столу, достал из нижнего ящика большой кольт и запасную обойму. Подойдя к жене, сказал:

- Ты будешь стрелять из него. Хорошо. Из него легче. - Пристально посмотрел ей в глаза, увидел, как в синей глубине зажглись огоньки, понял - рука у Катюши не дрогнет. Взял ее за плечи:

- Катюша, сейчас я счастлив, как никогда в жизни. Счастлив от сознания, что ты любишь меня, что я не одинок. Я давно уже прислушивался к шагам бродящей вокруг меня, что я не одинок. Умирать не было страшно, страшно было сознание, что никому не был нужен, что никто не прольет по тебе ни одной слезы.

Привстав, Катюша обняла Воронова за шею, прижалась щекой к его лицу.

- И я счастлива. Кончился весь ужас. Больше не будет страданий, унижений, бессильной злобы. Счастлива от сознания, что вместе с нами погибнет тот, кто надругался над моей душой... Подожди, слышишь... Мотор...

Воронов потушил свет. Вместе с женой подошел к окну, отдернул шторы. Оба прижались лицами к холодному стеклу. Внизу, из-за угла, глухо стуча моторами, вынырнули одна за другой три машины, остановились на противоположной стороне. Из каждой вышло по шесть человек. Воронов вспомнил - а он-то думал, что беспризорные. Один из приехавших, высокий и грузный, что-то говорил окружившим, затем махнул рукой и пошел через дорогу. Десять человек двинулось за ним.

- Ну, пора, - почему-то шепотом сказал Воронов, - поцелуй меня и пойдем. Да, не забудь - последний патрон себе. Если я буду ранен, ты должна пристрелить меня. То же самое сделаю и я, если будешь ранена ты.

В передней, настежь открыв дверь на площадку лестницы, они замерли, прислушиваясь к шуму, доносящемуся снизу. Те, молча, поднимались вверх. Казалось что громадная подкованная сороконожка, тяжело сопя, поднималась по лестнице. На площадке второго этажа поднимавшиеся остановились, начали вполголоса переговариваться. До Воронова и Катюши ясно донеслись слова, произнесенные с сильным иностранным акцентом:

- Главное, товарищи, быстрота. Приготовить веревки и немедленно

набросить на руки и на ноги. Он здоровый, как бык, а если ноги будут связаны, он превратится в младенца. Имейте в виду, стрелять в крайнем случае. Ну, пошли.

Притаившись в темном провале передней, Воронов и Катюша не спускают глаз с широкой площадки, слабо освещенной десятисвечевой лампой. В их вытянутых руках крепко зажаты револьверы. Где-то совсем близко раздался прежний голос:

- Что за черт, дверь открыта, но там темно. - Говоривший вышел на площадку. Грузный, обрюзгший, с обвисшими щеками на гладко выбритом лице. Тяжело отдуваясь, он остановился шагах в десяти от открытой в квартиру Воронова двери. За ним столпились остальные. Все в коротких кожаных куртках с меховыми воротниками. У каждого в руке кольт. У троих длинные, толстые жгуты веревок.

- Что делать? - шепотом спросил один из них. - Придется освещать фонарем.

- Зачем, - вдруг прогремел голос Воронова. - Я посвечу вам сам, - и в тот же момент из темного провала передней, один за другим засверкали молнии выстрелов.

Охнув, выронив револьвер, схватившись за живот, тяжело упал на пол Шпигель. За ним еще трое. Беспорядочно отстреливаясь, остальные бросились вниз по лестнице. Выхватив из рук Катюши кольт, с треском вставив в него новую обойму, Воронов выскочил на площадку и, перегнувшись через перила, выпустил в пролет еще пять пуль, в ответ на которые несколько голосов слилось в диком крике боли. А затем он вернулся к Катюше, стоявшей у порога, не спускавшей оцепеневшего взгляда с бесформенной груды тел. Обнял ее за плечи, ввел в квартиру, запер на ключ дверь. Внизу глухо шумели голоса. Шум все нарастал. За закрытой дверью генерала Воронова, один за другим, резко стукнули два выстрела.

На часах-браслете, на мертвой желтой руке Шпигеля, было пять минут пятого.

Впервые опубликовано: Ненцинский А. Сильнее любви: Рассказы. Тяньцзинь, 1938.

Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае: в 10 т. Пекин, 2005. Т. 10. С. 31-44



**Арсений Иванович
НЕСМЕЛОВ**
(1889-1945)

Поэт, прозаик, литературный критик, фельетонист Арсений Несмелов (настоящая фамилия Митропольский) родился 8 июня (ст.ст.) 1889 г. в городе Москве в семье статского советника и литератора И. Митропольского. Учился в Кадетском корпусе. Участник Первой мировой и Гражданской войн. Весной 1920 г. после Великого Сибирского Ледяного похода оказался во Владивостоке. Печатался в газетах «Голос Родины», «Владивосток-Ниппо». В 1924 г. перешел советско-китайскую границу и поселился в Харбине. Сотрудничал с периодическими изданиями «Рубеж», «Рупор» и др., в том числе, печатался под псевдонимами

(Н. Арсеньев, Мпольский, Анастигмат, Тетя Розга, Н. Рахманов, Гри, Коготь, Н. Дозоров и др.). Печатался в журналах Европы и США: «Современные записки» (Париж), «Русские записки» (Париж-Шанхай), «Вольная Сибирь» (Прага), «Воля России» (Прага), «Москва» (Чикаго), «Земля Колумба» (Сан-Франциско) и др. Автор книг «Военные странички» (Москва, 1915), «Стихи» (Владивосток, 1921), «Уступы» (Владивосток, 1924), «Кровавый отблеск» (Харбин, 1929), «Без России» (Харбин, 1931), «Рассказы о войне» (Шанхай, 1936), «Полустанок» (Харбин, 1938), «Белая флотилия» (Харбин, 1942) и др. В августе 1945 г. был арестован и отправлен в СССР. Умер в пересыльной тюрьме близ Гродеково от инсульта.

Ист. и лит.:

Агеносов В.В. «Прошедший все ступени»: Арсений Несмелов // Агеносов В.В. Литература русского зарубежья (1918–1996). М., 1998. С. 265–279.

Агеносов В.В., Дякин И.А. Генезис военной прозы А.И. Несмелова: от «военных страничек» к «окопной правде» // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Благовещенск, 2012. С. 148–166.

Витковский В. Формула бессмертия // Несмелов А. Собрание сочинений: В 2 т. Т. 1. Владивосток, 2006. С. 3–34.

Забяко А.А. «Ледяная гибель» Арсения Несмелова: Между «молотом» пропаганды и «наковальной» искусства // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 6. Благовещенск, 2012. С. 132–147.

Забяко А.А. «Сердце жаждет поединка...»: Арсений Несмелов // Забяко А.А., Эфендиева Г.В. «Четверть века беженской судьбы...» (Художественный мир лирики русского Харбина). Благовещенск, 2008. С. 217–254.

Забяко А.А., Забяко А.П., Ливошко С.С., Хисамутдинов А.А. Русский Харбин: опыт жизнестроительства в условиях дальневосточного фронта. Благовещенск, 2015. 465 с.

Забяко А.А. Ментальность дальневосточного фронта. Новосибирск, 2016. 447 с.

Забяко А.А., Эфендиева Г.В. Прозаическая Арсениана: забытый архив русской жизни // В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелов: Научное издание: В 3-х томах. Т. 1. В 2-х ч. Материалы к творческой биографии. С. 3–10.

Литературная энциклопедия русского зарубежья (1918–1940) / ред. А.Н. Николюкин М., 1997–2006. Т. 1.

Словарь поэтов Русского Зарубежья / под ред. Крейда В. СПб., 1999.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке. Владивосток, 2000. С. 218–219.

В художественном мире харбинских писателей. Арсений Несмелов: Научное издание: В 3-х томах. Т. 1. В 2-х ч. Материалы к творческой биографии / Сост. А.А. Забяко, В.А. Резвый, Г.В. Эфендиева, Благовещенск, 2016. 800 с.

ШПИОН

Платье на нем простое, крестьянское, и не подходит оно к его интеллигентному «тонкому» лицу. Штиблеты в грязи; видимо, не одну версту пришлось шагать по размытой проселочной дороге.

Большое красное солнце низко висит над городом, и холмистая равнина залита розовато-золотым светом. На перекрестке, возле крошечной «каплицы», часовенки со статуей Божией Матери, сидит наш

патруль...

- Стой, пан, ты откуда? – спрашивает прохожего рыженький унтер-офицер.

Прохожий останавливается.

- Я не розумем, цо пан муви, – отвечает он, спокойно глядя на подходящих солдат.

- Мы спрашиваем, откуда ты идешь? – повторяет по-польски солдат-еврей, и незнакомец словоохотливо отвечает солдату:

- Я здешний, из Ржевиц, работал там у пана на цеглярни (на кирпичном заводе), но работы больше нема, и вот я иду к себе в Томашов...

На лицах солдат появляется выражение скуки и равнодушия.

- Отпустить, что ли? – обращается один из них к унтер-офицеру, но черненький еврейчик нацелился взглядом на руку хлопа и ядовито спрашивает:

- И на цеглярни пан заробил-таки персценек?

Прохожий резко рванул руку, на которой красовалось золотое с красным камнем кольцо, и вдруг совершенно неожиданно побледнел.

Солдаты сдались тесней и угрюмо засопели.

- Обьщи-ка его, Хейфиц, – приказал еврею унтер-офицер, но едва тот двинулся, наш незнакомец опустил руку в карман и блеснул на солдат никелированной сталью тяжелого браунинга. Но люди мотнулись вперед, и человек упал, протяжно и жалобно застонав.

Через полчаса офицер головного отряда, удостоверившись, что среди бумаг, взятых у незнакомца, поставленного сейчас между двух солдат у дверей темной и грязной хаты, были кроки местности, строго спросил:

- Ты шпион?

Арестованный пожал плечами.

- Разведчик, если позволите, – ответил он по-русски. – Я лейтенант австрийской армии.

- Садитесь, – мягче сказал офицер и прибавил. – Через час вы будете отправлены в город, где вас...

- Повесят, вероятно? – довольно спокойно попытался догадаться лейтенант и попросил папиросу.

Опубликовано и печатается по:

Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 3-4.

ДЕТИ

Он вышел на крыльцо своей халупы, и, засунув в рот грязный палец, с интересом наблюдал за белыми облачками, которые, треща и визжа, с утра метались над их деревней. Мальчик удивлялся, почему у солдат, проходивших улицей, такие суровые, строгие лица...

Владек к ним очень расположен. Он знает, что это русские, которые пришли сюда бить «пруссков», еще вчера владевших деревней.

Поэтому он чувствовал себя оскорбленным совершенно несправедливо, когда из серых солдатских рядов ему то и дело кричать непонятные слова.

- Эй, ты, шибзик, марш в избу! - и прочее.

Владек не знает, что значит странное слова «шибзик», но понимает, что это, во всяком случае, не похоже на приветствие.

И вдруг...

Из строя выбежал маленький пожилой офицер, взял мальчика подмышку и понес в хату. А солдаты в это время громко, громко засмеялись...

В хате офицер посадил Владека на лавку и строго спросил:

- Где твоя матка?

- Або я веем? - имел мужество ответить мальчик и объяснил офицеру, что мать ушла еще вчера утром и больше не возвращалась.

Офицер рассердился, запретил Владеку выходить на улицу и сейчас же убежал. Но в хате, такой пустой, без мамки, было скучно, и, посидев в ней с полчаса, мальчик снова вышел на улицу.

Белые облачка над крышами домов появлялись еще чаще, чем раньше, а вправо слышалась непрерывная беспорядочная трескотня.

Солдат на улице не было. Изредка лишь они проходили в обратную сторону с забинтованными руками и повязками на голове.

Владеку стало одиноко и грустно. Он решил уже вернуться в хату, как вдруг впереди что-то зажужжало и загудело.

- Неужели у пана молотилка стала работать? - подумал мальчик и удивился. Но жужжание разом оборвалось, и что-то похожее на черный столб выросло в двух шагах и подняло ребенка...

А потом все исчезло...

Скоро выстрелы стихли, через деревню повели солдат в серо-синих шинелях и низеньких касках. Они отворачивались от ямы, вырытой снарядом, на краю которой лежало что-то маленькое, кровавое и наполовину засыпанное землей.

Два бородатых уральских казака, проезжая мимо, сурово нахмурились, прищпорили лошадей и пронесли в ту сторону, где над лесов странно-неподвижно повисло красное заходящее солнце.

*Опубликовано и печатается по:
Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 4-5.*

СТОРОЖЕВКА

I

Поле с далекими перелесками потонуло в белой мути падающего снега; ночь наступала быстро и незаметно.

Укрепленьице для взвода почти готово... Солдаты выравнивают бруствер, похлопывая лопатками по мокрой глине, и снег маскирует его своим белым пушистым покровом.

Кто-то подходит и кричит на солдат, едва различимый в наступающей темноте. Это – офицер; он закутан в башлык, и плечи его белеют от снега.

Солдаты торопятся.

Вот притащили солому для ночующих в окопе и гуськом потянулись к деревне. Она – рядом, в ста шагах, но в вихре кружащегося снега не различить ее построек; лишь желтеет слабый огонек в окне ближайшей хаты.

Лениво, дремотно падают снежные хлопья...

Впереди в полуверсте от линии взводов полевой караул, а перед ними бушующая снегом ночь и в ней – наступающий враг. Где он? – близко или далеко – не знает солдат-часовой...

По скользкой тяжелой дороге тащатся люди в синих намокших шинелях, один ряд, другой, много рядов... Громяхают пушки, скрипит обоз...

Так же, как и у нас...

В такую темь разве увидишь его передовые отрядики! На десять шагов подойти может – не увидишь. Слушать надо, словить каждый звук, каждый шорох!

Чу!.. что такое?

Солдат вздрогнул.

Нет, это собака завyla. Или волк. Есть ли они здесь, он не знает, но в Костромской губернии их сколько угодно.

...Будто тень промелькнула... Мерещится. Ночью всегда так, если пристально всматриваться в темноту. А как не глядеть! Так и тянет к себе взгляд эта черная шевелящаяся шепчущая ночь. Покурить бы, да нельзя... Как раз на огонек прилетит свинцовая птичка...

Приятно в такую ночь наступать! Покуда на штык не упруешься, не увидишь. Тоже, лезут... Мало их били!

Вздрогнул: сзади шаги.

Смена.

II

В просторной избе на полу спят вповалку солдаты, храпят, уткнув головы в солому... Винтовка под боком у каждого.

В соседней каморке за столом, над которым тускло горит крошечная лампочка, сидит офицер. Он не раздевался – только башлык снял, – и не спит, чтобы в случае тревоги каждая секунда была использована вовремя. Но клонит ко сну, борет дрема, и иногда, на мгновения, исчезает храп людей, черное окно напротив и стол с голодным тараканом на углу.

Еще папиросу.

– Так и не купил велосипеда Лене, – думает офицер. – Досадно... Ему очень хотелось.

Но досадное совсем не в этом, а в чем-то другом, – в чем именно – лень разбираться.

Лучше выйти на улицу – сон пройдет.

Снег все идет, и его холодные прикосновения освежают лицо. Но это только вначале. Пронизывающая сырость снова гонит в хату.

Бр! Ну, и ночка! Не могли, проклятые, выбрать получше! А ведь у них сегодня Рождество...

– Ваше благородие, – вырастает рядом солдат. – С третьего караула...

– Ну?

– Так что шляющийся человек замечен. Мы окликнули, а он убег.

– Выслать дозор.

Скоро пять человек молчаливо проходят мимо офицера и исчезают в темноте. Затихли шаги. Сонно шепчет снег, лениво кружась.

– Ук! – мягко падает где-то одинокий винтовочный выстрел.

Офицер ждет... Как поднял руку вытереть мокрую щеку, так и замер, прислушиваясь. Может быть, часовому почудился еще какой-нибудь «шляющийся» человек и он выпалил наудачу – не стоит будить людей.

Но вот второй выстрел, третий... еще и еще – по всей линии полевых караулов.

– Вставать! Живо!

Сгибаясь к земле и еще как следует не проснувшись, бегут солдаты к окопу.

Прыгают в ров и, ложась грудью на бруствер, звонко заряжают винтовки. И ждут, все молчаливые, сосредоточенные и готовые к встрече. Караулы, сделав свое дело, отходят к окопу и сливаются с кучкой зорко всматривающихся в темноту людей.

Наступает тишина. И вот в ней, где-то близко-близко – осторожный, зловещий шорох, позвякиванье, отрывок речи, команда...

Еще секунда, другая...

– Взво-од!

И стало страшно тихо, даже снег будто перестал падать...

– Пли!

Тр-р-р... Разорвалась ночь рвущим звуком залпа, и в ответ ему впереди раздались крики, стоны и отдельные беспорядочные выстрелы.

Бой начат.

Противник залег и стал отвечать огнем...

- А что, ведь его можно отогнать, если сейчас перейти в атаку, - подумал офицер и вылез на бруствер.

- Ура-а! - загремело в темноте.

III

Деревеньки в двух верстах за сторожевым охранением спят сном непробудным. Все хаты темны, все набиты солдатами... Изредка скрипнет дверь, выбежит полураздетый воин и, зябко поеживаясь, спешит назад.

В ночной тишине так ясно слышно все приближающееся шлепанье лошадиных копыт по размякшей дороге.

Скачет казак.

Остановился у ближайшей хаты, соскочил с коня и забарабанил, что есть мочи в окошко.

- Штаб полка. Что надо?

- К командиру, донесение...

В чистенькой комнате, где на широкой деревянной кровати спит красивый старик, вспыхнул свет.

- Что? - спрашивает полковник, разом садясь на кровати.

- Донесение... Неприятель встречен, - отвечает казак, снимая папаху.

И, еще не прочитав записки, командир отдает приказание поднимать людей и через десять минут выстроиться у западной околицы.

Ожила деревушка.

Вспыхнули огоньки в окнах; загудели солдатские голоса.

- Выходи, пятая рота! Равняйся... Девятая напра-во!.. Смирно!..

Черная масса, тяжело шурша ногами, двинулась по деревенской улице. Прогромыхал пулеметный обоз...

И через несколько минут деревушка опустела.

Стало тихо, и в этой тишине родились странные звуки: будто где-то далеко перекачивали горох. Это долетали непрерывные ружейные выстрелы с линии сторожевого охранения...

Снег все падает; медленный и дремотный, окутывает поля пушистым теплым одеялом.

На порог хаты выходит военный доктор и, слушая нарастающие выстрелы, спокойно думает:

- Будет работа!

*Опубликовано и печатается по:
Митропольский А. Военные странички. М., 1915. С. 11-14.*

ДОМИК НАД БУХТОЙ

Эмигрантское

Из казармы, полуразрушенной снарядом с японского крейсера и покинутой солдатами народной армии, ушедшими в сопки и разбежавшимися, Петровский перетащил тяжелые железные кровати и стал устраиваться. Он выбрал для жилья маленький офицерский флигель, застеклил окна в двух комнатах и поправил плитку.

В первой, маленькой, поселился он сам, вторую же, побольше, отдал старой генеральше, жене своего комполка, которую он вместе с ее десятилетней дочкой в полуразбитой крушении санитарной теплушке через тиф и большевиков дотащил до Владивостока.

Домик стоял на горе, под ним голубела бухта, а за ней и над нею поднимался на сопках прекрасный большой город.

Дни были страшные и кровавые.

Огромные иностранные корабли чернели на бухте, как крокодилы в болоте, лениво дымили трубами, и на бортах их матросы говорили на всех языках, от японского и филиппинского до французского.

Генеральша нищенствовала, продавала вещи, которые сумела вывезти, и должна лавочникам-китайцам. Делать она ничего не умела и не хотела, и в комнате ее было не подметено, а от тазика, стоявшего под кроватью, дурно пахло.

Петровский ловил рыбу и кормил женщин.

Брала камбала, ленивая, как ладонь широкая, одноглазая, остро и неприятно пахнувшая. Ловилась и скумбрия, но лучше всего брала морская красноперка, похожая на нашу плотву.

Из красноперки делали котлеты.

Генеральша чистить рыбу не могла: нервы не выдерживали острого рыбьего запаху.

Она пила кофе из великолепного кофейника, единственной вещи, с которой она не могла расстаться. Пила раз семь в день, немилосердно разбавляя кофе водой, угощала Петровского и за жидким пойлом своим становилась разговорчивой, вспоминая Петроград и кутежи с шампанским.

Худенькая Верочка бегала к лавочнику-китайцу, выпрашивая в долг масло и керосин. Раз, придя в лавку, Петровский увидел, как китаец-приказчик мял девочку в углу лавки.

Матери об этом Петровский не сказал: ни к чему!..

Свистнул только:

- Девкой будет!

Вечерами садились на крылечко и смотрели на бухту, на огни города, на зеленые и красные сигнальные фонарики на бортах и мачтах крейсеров.

Слушали музыку, долетавшую из города и с кораблей, и глубоко вдыхали влажную синюю морскую мглу, в которой вспыхивали уже фосфорические точки светящихся мух.

Генеральша рассказывала. Петровский, не слушая, думал о своем.

От Колчака ничего не осталось, но и большевиков иностранцы почти уже вышибали из Приморья. Надо было начинать что-то делать.

- Раз из Омска добрался сюда и не погиб, - думал, - так и здесь не пропаду. Если жизнь тяжела, так есть еще молодость, а она все скрашивает!

И однажды, сходя в город, Петровский вынул спрятанный в подполье наган и сказал генеральше:

- Будем переворот устраивать. Ухожу я...

И ушел из домика навсегда.

* * *

Прошло семь лет. На башне морского штаба, на остром как игла флагштоке давно уже развевался красный флаг Советского Союза.

Уже и выгореть он успел, обсосанный соленым морским тайфуном, уже собирался заменить его новым директор морской обсерватории, помещавшейся в башне.

Давно и крокодилы иностранных крейсеров уползли из бухты, и советский миноносец держал брандвахту. В домике по ту сторону бухты давно уже не было ни Петровского, ни генеральши с ее дочкой.

Школа первой ступени разместилась в отремонтированном офицерском флигеле.

Да, прошло семь лет.

Петровский шел по залитой витринными огнями шумной харбинской улице.

Он был в штатском и одет хорошо, тепло и прочно.

Была зима...

- Театр, кинематограф, кабак? - спросил он себя.

Он выбрал последнее. Потом по скользкой железной лестнице спустился в подвал модного фокстротного ресторанчика, отдал пальто рябому китайцу, вошел в зал и остановился у дверей, потирая озябшие руки.

Танцевало несколько пар. Мимо, обдав запахом разгоряченного тела и духов, скользнула женщина, почти перекинувшая свое тело в руке кавалера, и Петровский подумал, как легко она идет и как красивы ее ноги, тонкие, перехваченные в щиколотках черными лентами шелковых туфель.

Затем он сел за столик, спросив вермут, горько-сладкий итальянский Чинзано, и стал его пить большими рюмками, не разбавляя водой. И скоро ему захотелось танцевать.

Когда вспыхнул свет и девушка, которую он заметил, прошла в угол

зала, где сидели кельнерши, и села, Петровский взглянул на нее и увидел, что она улыбнулась ему как знакомому.

И едва Петровский привстал, как она поднялась ему навстречу.

- Здравствуйте, Василий Петрович! - сказала она, когда он обнял ее, чтобы начать танец. - Не узнаете? Верочка!

- Домик над бухтой! - вскрикнул Петровский, уже скользя по навощенному линолеуму и чувствуя, как гибко талия девушки перегибается в его руке. - Неужели вы? Боже мой, ведь уже семь лет. А мама?

- Она умерла.

Они скользили по залу, лавируя между парами, и в этой алой полумгле, в этих воющих звуках танца разговаривать было просто и легко.

Петровский чувствовал грудь девушки, и ноги ее почти перешлетались с его ногами.

Танцевали долго, а когда вспыхнул свет, Петровский посадил девушку к своему столу.

- Ну, как вы живете? Рассказывайте! - сказал он, рассматривая милое личико девушки, очаровательное молодостью и тем идущим изнутри оживлением, имя которому - юность.

- Знаете что, - начала Верочка, как-то наивно, еще по-детски, складывая губы бантиком. - Лучше пойдем в кабинет. Или?..

Петровский понял значение недоговоренного.

- Нет, - сказал он, - деньги у меня есть. Если хотите, пойдемте.

В маленькой отдельной грязноватой комнате они сели рядом на раздавленный неровный диван. Пришел лакей, старик, похожий на гнома, и спросил, чего желают господа.

Появилось вино и шашлык.

А через час Верочка сидела у Петровского на коленях, и он целовал ее голое плечо, спустив на руку легкую надушенную ткань платья.

Потом он напился совсем, ему казалось, что кто-то обидел его, и он кричал, махая руками:

- А помнишь ли ты домик над бухтой? Помнишь, как я камбалу для вас ловил?

И Верочка, побледневшая, скучная и тоже пьяная, сердито отвечала ему:

- Не ори! Лучше закажи еще бутылку Аи.

И узнав, что у него больше нет денег, убежала и уже не вернулась.

* * *

Спотыкаясь, Петровский шел домой. Была злая ночь. С Хингана дул резкий ветер.

- Домик над бухтой, камбала, девочка, играющая в мяч. Когда это все было? Не помню!.. Да и было ли. Лучше забыть!..

Он уперся лбом в фонарный столб и заплакал тяжелыми пьяными слезами.

С Хингана, по-волчьи подвывая, дул жесткий железный ветер. Он звал к борьбе и к мужеству.

Но усталые люди не любят холодного ветра.

*Впервые опубликовано (под псевдонимом «А. Арсеньев»): Рунор. 1927.18 декабря. С. 2.
Печатается по: Сибирские огни. 2009. № 1.*

БЕЗУМИЕ

Сумасшествие приходит столь же неожиданно, как и смерть.

Правда, врачи, заглянув в зрачки человека, над которым, неведомо для него, нависла шершавая кошма безумия, что-то угадают и о чем-то начнут предупреждать, но ведь не все же вовремя обращаются к врачам.

Да и как связать, скажем, неравномерность зрачков с тем страшным процессом распада разума, который превращает человека в скота, заставляя его, как сумасшедшего фаворита Екатерины II, есть собственный кал.

Никак не свяжешь.

Ведь этот процесс похож на гудение молекул пара в котле, готовом разорваться.

Только специалисты понимают, что значит красная черта на циферблате манометра и как опасно, когда его стрелка переходит эту черту.

* * *

Александр Иванович Смирнов, человек бесцветный, как его фамилия, третью неделю чувствовал странное недомогание.

Да и недомоганием ли это было?

Раньше каждое свое движение тело делало естественно, просто, рука поднималась и опускалась, ноги шли, рот жевал или говорил.

Теперь все это стало трудным. Для каждого движения требовалось повторное приказание воли, которая нашла себе в сознании Александра Ивановича Смирнова грозного и сильного врага в виде какой-то особой лени, на каждое требование действия отвечавшей:

— Да полно! Не стоит!.. К чему все это?

И только в эти дни Александр Иванович Смирнов дорос до понимания страшных слов Екклезиаста:

— Все суета сует и всяческая суета!

Правда, иными путями пришел к этой истине еврейский царь Соломон, путями, на которые и не ступала нога российского обывателя

Александра Ивановича Смирнова, но ведь *и пути сует*, ведь и они ведут в небытие, в смерть.

В Александре Ивановиче умирала душа.

Умирала, отгнивая одной частицею за другой, превращая человека лишь в чрезвычайно сложный комплекс клеток, еще подчиняющийся общим законам прозябания.

Но когда и этим клеткам стала грозить гибель, в опустевшем сосуде души родился страх.

Он был косматым, как лес под осенним ветром, и бесформенным, как осенние тучи.

* * *

Когда царь Давид умирал от дряхлости, к нему на одр положили юницу, чтобы она передала ему свою молодость и бодрость.

Умиравшее хватается за живое.

Темный страх, гудевший в груди Смирнова, как сосновый бор в сумерках, погнал его к женщине.

Он нашел ее.

Она была полуитальянкой-полурусской, светлой блондинкой, с кожей нежно-розовой, просвечивающей молодой кровью.

Женщину побеждает не красота и не богатство, а сила желания самца, захотевшего ее. Желание самца гипнотизирует их, связывает их волю и ведет на ложе, может быть, и нежеланное, как лунатичку луч лунного света.

А Смирнов желал.

— Завтра я приду к тебе!

В этот вечер, идя к себе домой, Смирнов искал в своей душе волчьих завываний страха.

Их не было.

* * *

Утром Смирнов проснулся бодрым и жизнерадостным.

Сосед по номеру в гостинице, где жил Смирнов, слышал, как он пел, чего никогда не было.

Вовремя Смирнов ушел и на службу.

Но на углу Китайской и Диагональной он вдруг остановился, озадаченно повертелся на месте и вдруг бросился в противоположную сторону, к магазину, где потребовал себе шерстяной купальный костюм.

Была зима, и приказчик удивился:

— В теплые края едете?

— Какие там края! – жизнерадостно замахал руками Смирнов. – Для управления мне нужен!.. У нас там без купального костюма теперь

совершенно невозможно!

— Уж известно! — согласился приказчик, полагая, что в словах покупателя скрыт какой-то политический намек. — Какого цвета прикажете? Вот розовый. Настоящий устряловский цвет. Или оппозиционный — зеленый. Такой костюмчик товарищ Лашевич летом у нас брали. Под «лесного брата».

Александр Иванович выбрал костюм и поехал в управление.

Там он усердно работал, и только конторщик Власов, человек мрачный и нелюбимый сослуживцами, заметил в поведении Александра Ивановича некоторую странность.

Когда он с нужной бумагой или за нею пробирался между столов к месту зава, — он у крайнего стола всегда делал широкий шаг, словно перешагивал через лужу.

— Что, ножки боитесь замочить? — ехидно спросил Власов.

— А как же! — охотно ответил Смирнов. — Ботинки-то новые, лаковые... Жаль... Хотя сегодня поуже стало, высыхает, что ли...

— Шутник! — угрюмо и с завистью сказал Власов и мрачно подумал: «С утра наклюкался... И с чего бы?.. Кажется, не пил человек».

* * *

Женщина пришла, как обещала, в девять.

Подошла к двери номера, на которой висела белая эмалированная дощечка с цифрой «17», и постучала.

«Войдите!» — глухо услышала она и робко отворила дверь.

Ведь даже опытные женщины робеют, входя в комнату мужчины, которому они в первый раз должны отдаться.

Смирнов встретил ее пылко, настолько пылко, что она даже не сразу заметила, что он был... в одном купальном костюме.

Но, разглядев одеяние Смирнова, женщина обиделась.

— Конечно! — сказала она. — Ты знал, что я пришла, чтобы стать твоею, но все же ты должен был бы встретить меня как порядочную женщину.

В том, что она сказала, была оскорбительная для нее бессмыслица, но она не заметила ее, как не поняла безумия в ответе Смирнова:

— Милая, но разве ты не чувствуешь, ведь льет же, льет...

— Не валяй дурака! — строго сказала она. — Я знаю, у каждого из вас свои причуды. Не прикидывайся сумасшедшим!

Но все-таки женщина не ушла от Смирнова. Зеленый костюм шел к нему; у него было сильное белое тело, возбуждающее, пахнувшее. Он был силен.

* * *

Женщина ушла в полночь.

Когда Смирнов затворял за нею дверь, в комнату, как черная мохнатая собачонка, проскользнул страх.

«Он» забился под кровать.

Смирнов долго выпихивал его тростью, но он, сделавшись крошечным, забился в щель.

Всю ночь Смирнов не спал, слушая, как страх скулит под кроватью.

Два раза в комнате сам собою зажигался свет и сам гас.

Утром, все еще в своем купальном костюме, Смирнов выполз из своего номера и «на саженках» поплыл к телефону, преследуемый отчаянно кричавшим от страха боем Василием.

Завладев телефоном, Смирнов повертел диск и, думая, что говорит с завом своего отдела, крикнул:

– Я Ной. В моем ковчеге среди нечистых есть два места. Беру вас с вашей супругой с собою. Торопитесь! Льет все сильнее!..

Потом Александра Ивановича Смирнова отвезли в шестой барак.

В отделе с полчаса поахали.

А дальше Власова посадили на место Смирнова с прибавкой.

– Только смотрите, тоже с ума не сойдите! – ласково пошутил зав.

– Не сойду! – мужественно отшутился Власов. – Мне не с чего сходить!

Жизнь шла своим чередом.

Впервые опубликовано (под псевдонимом «А. Арсеньев»): Рунор. 1927. 25 декабря. С. 2.

Печатается по: Сибирские огни. 2009. № 1.

ЛЕДЯНАЯ ГИБЕЛЬ

Повесть

Разговор на льду

Багровое солнце, опускавшееся на вершины скалистого хребта, протянувшего за бухтой свою драконью спину, предвещало на завтра тайфун. О нем же, указывая его силу и направление, предупреждали и сигналы, – деревянные ромбы и кресты, поднятые на каланче порта.

Зеркальный лед бухты, оочевнейшей два дня тому назад, казался стеклянным, освещенным снизу голубым и красным светом.

– Такой пол, – сказал художник Сормов, из-за кормы зазимовавшей шкуны, выбегая на скользкий паркет бухты, – вот, точно такой же пол, как этот лед, я видел в Шанхае, в их шикарном «Мажестике»...

– Ресторан? – спросил Алеша Грызин, весело забалансировавший на льду.

– Дансинг, – ответил Сормов. – Там и едят, но, главным образом,

танцуют. Понимаешь, женщины в коротких легких платьях. Свет снизу... Если красивые ноги...

Ледяной ветер, бросившийся в лицо, заставил Сормова повернуться спиной к приятелю, и он не окончил фразы. Мельчайшая, стекляннорезвящая пыль понеслась по льду. Метла приближающегося тайфуна еще раз начисто подмела бухту.

Алеша Грызин и Сормов (первый – репортер Владивостокской газеты, другой – художник, работающий при Помголе, – дело происходило в 1922 году) из города, через бухту, перебирались на Чуркин мыс к приятелю, прозванному ими «Камчадалом».

Сормов, разбежавшись по зеркальному льду, покатился как на коньках, затем, споткнувшись о примерзший кусок человеческого помета, – «И здесь уже нагадили!», – чуть не упал, наклонился, замахал руками, выпрямляясь, а когда выпрямился, то восторженно закричал:

– Алексей, смотри! Ну и солнце же, черт его задави!..

Солнце было, действительно, необыкновенное. Обещая тайфун, оно висело, огромное, отяжелевшее, словно вишня в золотистом вермуте коктейля.

Прикрыв глаза черными, побелевшими теперь ресницами, похожими на обмотанные ватой проволочки с загнутыми вверх концами, Сормов, любуясь солнцем, сказал:

– Посмотри, словно чужая планета всходит над землей.

Грызин молча смотрел на светило, которое, коснувшись круглой вершины черной горы, тихо поползло по ее склону, растворяясь в аспидно-синей мгле долины и заливая эту мглу потоками багрового огня.

Но долго любоваться закатом не позволял тайфун. Тысячами колких струек ветер прокалывал демисезоны молодых людей, так что тело уже не чувствовало теплоты одежды и ощущалось как голое. Преодолевая упругий напор воздуха, приятели побежали к скалистой черной стене противоположного берега бухты, возвышавшейся уже близко.

– А представь себе, что солнце завтра не взойдет, – сказал Сормов, карабкаясь на обледенелые камни.

– То есть как? – удивился Алеша.

– А так. Не взойдет да и только. Вот бы рассказ написать. Занятно!

– Не напечатают, – профессиональным тоном ответил Грызин. – Теперь такие темы не в моде. Требуется, брат, производственное.

И молодые люди по скользким камням стали выбираться на дорогу, много лет назад проложенную крепостными инженерами для подвоза снарядов к бетонным казематам ближайшей береговой батареи, увенчавшей мыс еще в то время, когда Владивосток был крепостью, угрожавшей Японии.

Вечером, вернувшись в город с рыбой и червонцем, занятым у

«Камчадала», приятели жутко напились в кабачке «Утиная Голова».

«Солнце забастовало»

В шесть часов утра на судостроительном заводе прогудел первый гудок. Еще не светало: декабрьская ночь бархатной синевой придавила город; звезды горели ярко, спокойно.

Но жизнь уже пробуждалась. Заработали динамо-машины городского трамвая; выполз из парка и подошел к павильону станции первый вагон; открылись хлебопекарни; затопили печи жены рабочих, готовя завтрак мужьям... Завыл второй гудок на заводе – половина седьмого...

Еще не светало.

В типографии «Рабочего дня» гудела ротационная машина, допечатывая последнюю, двадцать шестую, тысячу газеты. На дворе и в смежной с «машинной» комнате уже дожидались газетчики, – целый батальон оборванных мальчишек, юрких, вертких, крикливых, ругающихся из-за очереди. Тут же были и старики, – пять-шесть ветхих старцев, одетых в рубище, по-бабьи под шапками подвязавших от мороза платками головы; старики ругались, били мальчишек сверху по головам и, покрикивая, втихомолку продирались к дверям.

– Дяденька, дай покурить! – попросило лохматое существо, затерявшееся в коричневой латаной женской кофте; голосишко был хриплый, простуженный.

Старик, растолкавший ребятишек, зло посмотрел вниз.

– Я те покурю! – проворчал он. – Таковую те сигару отсыплю!..

Не договорил: мальчишка вырвал вертуху и, под общий хохот, исчез в толпе ребятишек.

– Так и надо: не сбивай очереди!

Теперь стариковой вертухой угощались у окна трое: махорка была крепкая, духовитая, пьяная на голодный желудок. Затягивались до отказа.

С завода в порту донесся очередной вой: это был третий гудок, семичасовой. Мальчишки взглянули в окно, – стекла чернели непроницаемо.

– Чего это совсем не светает? – удивился кто-то. – Часы в порту перевели, что ли?

А мальчуган, ограбивший старика, и еще полный лихости и задора, по-рыбьи открыв рот, выпустил серый едкий махорочный дым, сплюнул на пальто соседу и лихо ответил:

– И вовсе не переводили... Солнце забастовало, от того и не светает!

Кругом засмеялись. Потом всей массой затискались к белым, пахнувшим краской, газетным кипам, загорланили, зазвякали медяками и совсем забыли о том, что на дворе, несмотря на восьмой час утра, стояла

непроглядная ночь, и звезды на черном холодном небе горели так же ярко, как и в полночь.

Рассвет еще не наступал.

Художник Сормов

Проснувшись, Саша Сормов посмотрел в окно: было абсолютно темно, и голова очень болела.

- Обязательно брошу пить, вчера - это последний раз, - подумал художник и вновь заснул. Через некоторое время он опять проснулся, - стекла были по-прежнему непроницаемо черны.

- Рано, - подумал Саша. Но за стеной уже ворочались, даже очень усиленно, и, что всего удивительнее, слышался плач.

- Хозяйка! - решил Сормов. - Значит, опять муж приревновал и отутюжил... Не могут днем драться, идолаи!..

Завернулся с головой и попробовал еще раз заснуть. Но теперь это уже не удалось: во-первых, мучило похмелье (кошки скребли внутренности), во-вторых же, оказалось, выспался. Да и плач за стеной не прекращался: теперь рыдала не одна хозяйка, - ноющий, причитающий бас мог принадлежать только хозяину, лысому бухгалтеру из финотдела.

Хозяйка, воя, говорила:

- Ты бы, хоть вышел, посмотрел... Соседка-то, может, и врет еще!

- Иди сама, если хочешь. Я никуда не пойду!

- Боюсь я, - отвечала хозяйка, - еще пристукнет сем сверху-то!

- Так, ведь, и меня может пристукнуть! - не сдавался хозяин.

- Тебя!.. Ты - мужчина...

Еще ничего не понимая, но чувствуя, что произошло что-то интересное и совершенно необыкновенное, из-за чего стоит преодолеть мертвое похмелочное состояние, Сормов стал поспешно одеваться. Через три минуты он уже был на хозяйской половине.

- Переворот? - спросил он, блестя глазами и уже ликуя при мысли, что теперь, следовательно, не надо срочно отрабатывать аванс, взятый в Помголе под плакат «Пожертвуйте полтинник, и вы спасете голодающих».

- Переворот? Кто захватил власть?

Хозяин, он был в одном белье и даже не подтянул вверх сползающих кальсон, только носом шмурыгнул. Но хозяйка досадливо мотнула головой.

- Какой там переворот! Светопреставление!.. Довели большевики...

Сормов вытаращил глаза, весь загораясь любопытством:

- Ради Бога, в чем дело?

- Да в чем, - очень просто: богохулили, церковь Божию позорили, вот, оно и отпелось, - солнышко-то сегодня и не взошло.

- Как, не взошло?!

- А так: двенадцатый час дня, а на дворе как в полночь! - и она залилась слезами. - Хоть вы, Александр Петрович, выйдите на улицу, поспрошайте у людей, что такое творится... Может, телеграммы какие есть, - мой-то совсем раскис...

Бухгалтер, действительно, выглядел плохо. Ужас распустил его тело, как тесто.

- Что там - телеграммы! - сопел он. С неба телеграмм не бывает... В церковь Божию теперь надо, вот куда... И всем миром чтобы... «Всевышний граду Константина землетрясение посылал!» - хриплым, плачущим басом продекламировал он вдруг и упал лицом на стол. Завыла и женщина: не старая, недурная собой, она сейчас была страшна и противна.

У Сормова захватило дух, как от холодной воды. Страх он не чувствовал; гибель, которая была неминуема, если солнце навсегда покинуло землю, - еще не представлялась, но был безумно любопытен город, - люди и вся жизнь в нем, - лишенном света, с огнями, горящими в домах в первом часу дня, с толпой, которая, - он слышал, - уже гудела за стенами дома, со всем, что должен он был увидеть сейчас, в эти дни, может быть, последние для человечества.

Невероятные картины зверского, мгновенного одичания уже рисовались в воображении Сормова. От этого и вздрогнуло его тело, словно облитое ледяной водой. Он схватил пальто и выбежал на улицу.

Сумасшествие улицы

Звезды были необыкновенно сочны. Безветренный горячий мороз обжигал щеки, заставляя непрерывно хвататься за лицо. Главная улица, гудевшая толпой, была темна: электрическая станция, как всегда, в семь часов утра остановила моторы. Магазины не открылись. Окна квартир робко желтели свечами и керосиновыми лампами, принесенными из кухонь, из чуланов.

Люди в толпе уже не могли говорить, - они кричали.

- Кара Божия! - утверждали одни и звали в церкви, отворенные, освещенные, загудевшие похоронным звоном колоколов.

Другие смеялись.

- Затмение! - просто объясняли они. - Солнце закрыто пролетающим небесным телом. Это не может быть продолжительно. Через час, через сутки, наконец, солнце опять появится на небе.

Все злее становились крики. Вспомнилась вражда, еще не изжитая в сердцах. Прогремел выстрел, второй... толпа шарахнулась, завопила и опять сомкнулась, в своем движении ничего не понимая и уже всего боясь. Особенно страшно было оставаться в домах; в куче, на улице, страх не так щемил сердце...

Но появились конные разъезды и оттеснили толпу с мостовой на тротуары. Сначала всадники с трудом разбивали слипшуюся человеческую массу, но лошади, понуждаемые шпорами, упрямо протискивались между людьми, и те останавливались, сдавали, отступали, и улица, отбросив толпу на тротуары, постепенно очищалась.

Вспыхнули и загудели электрические фонари, – электрическая станция получила приказ пустить в ход динамо-машины. Стало веселей и спокойнее, – ведь, можно жить и без солнца, лишь бы не делалось холоднее.

– Товарищи! – крикнул с лошади молодой голос. – Приказано приступить к обычным дневным занятиям. Прошу расходиться. Из Москвы получено радио, что солнце завтра взойдет.

– Что – Москва! – крикнул кто-то. – Откуда она может знать?

– Там все знают! – весело кричал кавалерист. – Расходитесь, товарищи.

– А в церкви почему больше не пускаете? – кричали женщины. – Молиться теперь надо, а не телеграмм ждать!

Действительно, колокольный звон оборвался. Собор был окружен войсками, и молящиеся оттеснены: идея о светопреставлении дезорганизовывала восприимчивые уже к панике массы.

Бешено светя ацетиленовыми глазами, пронесся автомобиль. Военный, в шинели и в богатырке, стоя в нем, бросал в толпу летучки. Сормов поднял одну и прочел:

«Товарищи! Ревком призывает к спокойствию!»

Явление исчезновения солнца не может быть долговременным и не носит характера мировой катастрофы. Можно предположить, что солнце заслонено от земли неизвестным астрономии мировым телом, гигантским метеором, пролетающим в междупланетном пространстве и заслонившем от нас светило. Продолжительность этого полета не может быть велика, и нашей планете, а следовательно, и СССР, затмение ничем угрожать не может.

Мы призываем пролетариат сохранять спокойствие и верить своим вождям. Будьте, товарищи, на своих местах!

Попы и буржуазия пытались бросить в массы идею о «кончине мира», скликая колоколами в церкви своих приспешников и, может быть, подготовляя там открытое выступление против рабоче-крестьянской власти.

С этим, товарищи, покончено.

Предупреждаем притаившуюся контрреволюцию, что с ней будет поступлено беспощадно. Все бандитские выступления будут караться расправой на месте.

Да здравствует мировой пролетариат!

Да здравствует мировая революция!».

Сормов прочел воззвание, сунул его в карман и сразу успокоился.

Солнце исчезло; может быть, земля через несколько дней превратится в стальной от мороза кусок льда, но пока в городе ничего не изменилось и, следовательно, надо было подумать об обеде. Улицы принимали нормальный вид; казалось, наступил обыкновенный вечер, и только башенные часы на здании комхоза, словно издеваясь, показывали половину второго часа дня.

По приказу ревкома открылись магазины нарпита и рестораны. Начались занятия в учреждениях. Газетчики бежали по темным улицам с экстренным выпуском «Рабочего дня».

- Интервью с астрономом Заксом! - кричали они. - Закс о солнце! Солнце завтра взойдет!

- Все абсолютно по-старому, - разочарованно подумал Сормов. Ожидание необыкновенных картин, очарование непередаваемым драматизмом момента - не сбывались. Что оставалось художнику? Нужно было дописывать плакат и просить аванс на обед. Он так и сделал.

В кабачке «Утиная голова»

В угловом кабинете собрались завсегдаи. У Павла Васильевича профиль был таким же каменным, как всегда; очки поблескивали так же холодновато, и водку он пил тем же аккуратным движением, опрокидывая рюмку в рот и вежливо ставя ее на стол.

Павел Васильевич придерживался мистической версии, но высказывался больше междометиями, местоимениями и жестами. По его словам выходило, что это совсем другое, что виноват вовсе не метеор, что оно давно уже носилось в воздухе, и некоторые о событиях знали и даже предупреждали. Затем следовали флюиды, выделенные некоей злой волей и на три дня окутавшие солнце непроницаемой оболочкой.

Все помалкивали. Ведь гипотеза о метеоре, заслонившем солнце, тоже никого не удовлетворяла, а потому всякому объяснению были рады, особенно, если оно через три дня обещало возвращение солнца с его светом и теплом.

Было немного жутковато, но вечер наступал самый обыкновенный, жареное мясо насыщало по-прежнему, водка по-прежнему пьянила, и, следовательно, была надежда, что все обойдется.

Когда пришел Сормов, все были уже навеселе.

Лобастый и широкоскулый Зыбин, в резиновом дождевике, несмотря на декабрь, - единственное его верхнее одеяние, не снимаемое ни зимой, ни летом, - Зыбин этот, уже пьяный до покраснения глаз, декламировал новые свои стихи «Об украденном солнце», в такт ритму стиха ударяя пальцем по клавишам облезлого пианино.

Хозяин кабачка, толстый, огромный Сократий Димитрадзе плакал навзрыд. На темном грузинском лице слезы блестели, как стеклянные шарики. Крахмальная грудь сорочки вздулась пузырем и раскрылась по клапану, обнаруживая розовое, волосатое тело в жирных складках.

- Термометр падает, - сказал Сормов, протягивая руку к графину. - Уже около сорока по Реомюру.

- В Реомюре и столько-то градусов нет, - попробовал состричь Зыбин. - Это ты о водке вспомнил.

Сормов пожал плечами.

- Ртуть замерзла.

- Что ртуть! - кричал грузин. - Не в ней дело, господа. Пищи скоро не будет. У меня есть пять бычьих туш и муки на полгода. Завтра закрываю кабак, и буду жить, пока хватит кушать... Потом... - он сделал круглый жест вокруг шеи, - секир башка. А сегодня всех угощаю. Чего хочешь, говори: виски пить будем, бенедиктин... Все пить будем, душа мой. Васька!

Из-за плюшевого рыжего драпри, закрывавшего дверь, выскочил малый в лакейском смокинге. Согнулся, оттопырив зад, и заулыбался.

- Садись, душа! - сказал хозяин, - и ты сегодня тоже мой гость.

Малый сбросил фартук, кинул его, скомкав, в угол и сел против хозяина. Павел Васильевич, блеснув на него стеклами очков, налил рюмку золотистого желтого шартреза.

- Пей, Вася! - сказал он ему. - Пей в последний раз в жизни!

- Мы еще поживем, Павел Васильевич! - обидчиво сказал Василий. - У нас шуба теплая. Не как у прочих.

Это был намек на обтертый бушлатик соседа; но Павел Васильевич не пожелал принять намека на свой счет, - сделал вид, что не понял. Его заняла сцена в углу.

Рыжеволосая Ядвига, - та самая, которой грузин предлагал остаться с ним «зимовать», - пьяная, кричала, расстегивая кофточку, что перо, - «вот, это, на костяной ручке», - брошенное вертикально с высоты аршина, не вопьется, а отскочит от ее груди.

- Душка! - хохотал Зыбин, - уверяю тебя - оно вопьется.

- Никогда! Моя грудь упряма, как резина.

- Во-первых, не упряма, а упруга, несчастная полька! Упряма не твоя грудь, а ты!

Кудлатый, завсегда-тай «Утиной головы», - фамилию его забыли, а звали пуделем, - единственно с провокационной целью, поддержал Ядвигу. Она стала раздеваться. Груды выскочили из-под прошивки рубашки, как два розовых каучуковых баллона, наполненных воздухом.

- Бросай!

Зыбин встал на колени и поцеловал грудь.

- Ведь раскровяню же!

– Бросай, иначе, ботинком в нос!

– Хоть перо-то спиртом вымой, – заметил Сормов.

Зыбин улыбнулся.

– Неизвестно, что лучше, – замерзнуть через три дня, или умереть от заражения крови? Да и не успеет она, кровь-то, заразиться.

Он поднял перо высоко над округлым возвышением женской груди и разжал пальцы. Белая тяжелая костяная ручка скользнула вниз, и сейчас же раздался женский вскрик: перо глубоко вошло в тело.

Все засуетились. Грузин кричал низким и глухим басом, схватил столовый нож. Был момент, когда Зыбина могли убить, – круглая красная капля крови на женском теле взорвала мужчин, как крошка гремучей ртути взрывает динамит.

Спасла Ядвига.

Она вскочила, заслонив собою поэта, выставив на грузина свою окровавленную грудь.

– Спятил! – крикнула она. – Думаешь, если солнце погасло, так и убивать можешь, армянская колбаса?! Я, ведь, сама просила.

Она увела Зыбина в угол, и там они занялись друг другом.

Хлопнула дверь в общем зале, соседнем с кабинетом. Там было пусто. Кто пойдет в ресторан в ледяной вечер кошмарного дня? Васька по привычке сорвался с места и исчез за драпри. Через несколько минут он вернулся, пропустив вперед всю заиндевелую, повязанную башлыком женскую фигуру, нерешительно вошедшую в кабинет.

– Погреться просится, – хихикнул он. – Шла, говорит, и замерзать стала... Термометр падает.

– Садись, девушка, ешь и пей, – ласково сказал грузин, медленно двигая пьяными выпученными глазами. – Раздевайся, душа. Сегодня всех угощаю.

Но у пришедшей застыли руки, и Сормов встал – помочь ей раздеться.

Здесь он и познакомился с Раисой Николаевной.

На радиостанции

– Ну, поймали?

– Сейчас... Очень трудно. Со всех сторон вызовы... Сбивают... Есть!

Карандаш быстро забегал по бумаге, принимая депешу, начинавшуюся обращением:

«Всем, всем, всем...».

Телеграфист с телефонным приемником на голове весь ушел в слух; даже глаза, когда ухо изменяло ему, прятал куда-то под лоб, словно и их отправлял на помощь ушам. Был он молодой и старательный, но совершенно измученный работой за сегодняшний день. Председатель

ревкома всем своим большим, в кожу одетым телом навалился на стол. Двое других затаили дыхание сзади; у рябоги жгло от мороженную щеку, но он, боясь помешать телеграфисту, терпел, хотя надо было ее растереть.

- Ну?

- Готово! - телеграфист в изнеможении откинулся на спинку стула.

Все трое сгрудились над депешей. Косыми, неразборчивыми буквами телеграфист вывел:

«Всем, всем, всем!

18 декабря, около двух часов дня по московскому времени...».

- По-нашему - в восьмом вечера, - прошептал предревкома.

«...земля, по неизвестной причине вышла из солнечной орбиты и со скоростью, все возрастающей, движется по направлению созвездия Геркулеса. Все человечество стоит перед возможностью гибели. В этот момент перед нами единственная задача, - везде на местах создать условия возможно дольшего сохранения человеческой жизни. Миллионы обречены на неминуемую гибель; для единиц, не теряя ни секунды времени, можно создать условия, при которых они еще могут некоторое время существовать. Приспосабливайте здания по несколько в городе. Москва будет поддерживать радиосвязь до последней минуты. Не теряйте бодрости. Пусть рабоче-крестьянская власть покажет вселенной свою железную волю к жизни. Совнарком».

- Ехать! - крикнул предревком.

Выросла медвежья, в дохе, фигура шофера.

- Нельзя ехать: карбюратор замерз!

- Тогда - пешком.

Телеграфист, сбросив с головы приемник, тоже стал собираться.

- А вы - куда? - спросил, оцетиниваясь, председатель. - Ваше место здесь!

- Мы еще в прошлом году требовали ремонта печей, - слезливым голосом сказал телеграфист. - А теперь на себя пеняйте.

И ткнул варежкой на термометр. В тонкостенной будке радиотелеграфа градусник показывал «- 26°».

Идите ко мне

Раиса Николаевна ночевала у Сормова. Город коченел от холода, и было немисливо идти на улицу Мучеников Революции, удаленную от кабака на несколько верст. Квартира художника была рядом.

Добрались не без труда. Зажгли свечу и, не раздеваясь, сели на диван, отдыхая от огненных укусов мороза. За стеной спали; бухгалтер во сне бормотал хриплые жалобы; под полом скреблись мыши, обеспокоенные заползающим в щели морозом.

Пар дыхания выходил изо рта, как плотный серый табачный дым.

Кто она, – замужем ли, девушка ли? – Сормов не спросил у Раисы Николаевны: все эти вопросы уже утратили смысл, как паспорта во время землетрясения. Разве не все равно?

Еще волновало и радовало, что женщина, обреченная эти последние дни существования человечества прожить с ним, – Сормов был уверен, что это так, и что завтра Раисе Николаевне не удастся добраться до своей окраинной улицы, – что женщина эта молода и красива и, несомненно, если он этого захочет, будет принадлежать ему.

Но уже отмирало животное, телесное. Страх перед гибелью, даже забытый на время, не переставал давить подсознательно на психику, отрезая от нее вчерашнее, – то недавнее, что гибко и живуче извивалось в ней при властительном солнце. Так веревка с тяжестью, незаметно для глаза, перерезает цельную глыбу льда.

Может быть, поэтому, несмотря на вопросительный взгляд женщины, Сормов отдал ей постель и одеяло, а сам лег на диване. Раиса Николаевна сняла шубу, бережно, чтобы не смять, расправила ее поверх одеяла, сняла сырые с меховой опушкой ботики и стала расшнуровывать высокие ботинки.

Потом Сормов закурил и погасил свечу. Долго еще гас и разгорался от затяжек красный уголек папиросы; потом он, описав дугу, полетел на пол. По ровному, спокойному дыханию женщины Сормов решил, что она заснула. Но сам он не мог: было холодно и тяжело от одежды. Промаявшись с полчаса, он потянулся к папиросам и спичкам и, закуривая, взглянул в сторону кровати.

Раиса Николаевна не спала, – огромные темные глаза спокойно смотрели на художника.

– Идите ко мне, – сказала женщина. – Вам, ведь, холодно.

И они легли рядом.

Разделись; благостным показалось ласковое тепло чужого, прикоснувшегося и сейчас же прижавшегося тела.

Заснули крепко и сладко.

Проснулись в такой же темноте, но, должно быть, наступили уже дневные часы, потому что бухгалтер за стеной уже возился у печи.

– Ты слышишь? – сказала Раиса Николаевна.

На улице, время от времени, стрекотал пулемет и гулко бухали разрывы ручных гранат.

Дома-термосы

Мороз подошел к грани, за которой жизнь вне домов должна была скоро прекратиться. Всякое движение на воздухе становилось затруднительным, легкие обжигались воздухом, ноздри закупоривались ледяными пробками и, отмораживаясь, ломались, как гнилое дерево. Улицы были покрыты трупами замерзнувших.

Три четверти домов, – деревянные жалкие постройки бедноты, – вымерзли за ночь со всем своим населением. Жизнь в умиравшем городе судорожно билась лишь около трех огромных зданий, – политехникума, дворца труда и правления трансазиатской железной дороги.

По плану власти, эти здания должны были занять члены профсоюзов с их семьями и там, запасаясь углем и продовольствием, отсиживаться, борясь до последней минуты с замерзанием.

Вечером, вернувшись с отмороженным лицом с радиостанции, председатель ревкома сейчас же принялся за осуществление своего плана, но выполнить его, конечно, не удалось,

Телефонная связь еще была, но люди, получив приказание собираться в определенные места и бросившись на улицу, гибли от холода по дороге, чем и объяснялось огромное количество трупов на улицах.

«Термические укупорки», естественно, заполнились жителями соседних домов, захватившими оружие и продовольствие в свои руки, и лихорадочно, всю ночь работавшими над герметической изоляцией их от домов внешнего мира. Вновь прибывающих не впускали. Толпа замерзавших выла у подъездов, но двери были уже заперты, обложены войлоком и заделаны изнутри. Тогда толпа стала вышибать их, но мороз ликвидировал все быстрые движения, требовавшие глубокого вдыхания смертоносного воздуха, – двери даже не пошатнулись. Люди, лишённые надежды спастись, решили погубить и спасшихся: они стали бить огромные стекла окон. Это было равносильно гибели для захвативших термические укупорки.

Но осаждающие успели разбить только несколько стекол... Осажденные ответили метанием гранат и пулеметным огнем.

Окна были заделаны. С углов в обложенные войлоком щели просунули пулеметы и непрерывным, всю ночь длившимся огнем отбрасывали пытавшихся подойти к зданиям.

Жители города, не потерявшие рассудка, стали принимать все меры к укупорке своих собственных домов. Но такие дома-термосы должны были быть снабжены углем, а его не везде было в достаточном количестве. Каждый термос, сосредоточив значительное количество защитников, предпринимал набеги на соседние дома. Разыгрывались потрясающие по драматизму сцены.

Нападение всегда начиналось с уничтожения стекол в окнах соседнего дома-термоса. Затем, перебив защитников, нападавшие врывались в дома и с величайшим трудом перетаскивали уголь в свои кладовые. Для облегчения работы деревянные постройки, не угрожавшие укрепленному дому, зажигались. При полном безветрии это было не опасно, и, к тому же, дома укреплялись исключительно каменные.

Кровавое пламя столбом вносилось в черное небо. Треск горевшего

дерева смешивался со стонами раненых, умирающих от холода, сторающих в огне... Закутанные в меха люди, отбрасывая черные шаткие тени на розовый плавящийся снег, торопливо катили тачки с топливом, переносили жестяные банки с керосином, перекачивали бочонки с нефтью...

Ночь трещала выстрелами. Со всех сторон зарева размахивали багровыми веерами, а над ними, в северо-восточной части неба, перекачивало синие, розовые и фиолетовые столбы – великолепное северное сияние, никогда еще не виданное в городе.

Западный склон неба был, как и вчера, немного светлее, – мутновато серел, готовый слиться своим цветом с общим, иссиня-черным тоном небосклона, уже изменившего карту созвездий.

Три выстрела

Отброшенные холодом обратно в квартиру, художник и Раиса Николаевна задумались. В комнате горела свеча. Казалось, была полночь, но часы показывали десятый час утра.

– У хозяина есть оленьи дохи и много мехов, – сказал шепотом Сормов.

– Надо взять, – также тихо ответила Раиса Николаевна. От огненного укуса мороза она все еще дрожала.

– Не даст.

– Надо взять.

– Хорошо! – художник пошел к двери.

– Погодите. Возьмите вот это...

Раиса Николаевна подала маленький браунинг.

Когда голоса за стеной стали неистовы, – особенно женский, визгливый и страстный, – женщина села на диван и зажала себе уши. Все-таки выстрелы, – их было три, – она услышала...

Подождала четвертого, не дождалась и опустила руки. Была совершенно спокойна.

Вошел художник, швырнул на пол груды меховых вещей и опять вышел. Вернулся, с трудом протиснув в дверь новый ворох мехов и большой бумажный сверток. За стеной хрипло стонал мужской голос...

Около часу потратили на пригонку камчатской одежды. Надели мехом внутрь и наружу, совершенно закрыли рты, соединив их с маховыми мышками, куда положили угольные японские самогрелки: прежде, чем поступать в легкие, воздух там должен был обогреться. Рассовали самогрелки по всему телу, между меховыми слоями.

Самогрелки, – они были в свертке, – бухгалтер особенно защищал.

– Теперь, – сказала Раиса Николаевна, – так укутанные, мы можем пробыть на воздухе часа два. Остальное зависит от судьбы.

И они вышли.

- Не надо!.. - шепнула женщина, когда Сормов хотел затворить за собой дверь.

- Почему? - удивился он, но, услышав за собой стоны раненого бухгалтера, упрямо не хотевшего умирать, понял:

- Так скорее.

Над городом металась зарява. Догорающие пожарища рдели рубиновыми россыпями; но тишина была такая, что каждый маленький треск слышался уже издали и заставлял настораживаться. Снег под ногами хрустел, как стеклянный, его иглы ломались со звонким и решительным звуком. Северное сияние на северо-востоке бесшумно перекатывало свои фиолетовые столбы.

Раиса Николаевна и Сормов шли, почти не ощущая холода: японские грелки прекрасно делали свое дело. На улицы было достаточно светло от мигающих зарев, настолько светло, что путники не спотыкались о валявшиеся вокруг трупы замерзших. Мертвецы лежали в самых неожиданных позах, как застала их смерть. Те, что погибли от пули, были особенно страшны. Поднятые и сжатые в кулаки руки говорили о бессильной злобе; открытые рты словно не вытолкнули последнего крика и одеревенели в судороге.

Впереди был дворец труда. Окна высоких этажей, освещенные изнутри керосиновыми лампами, краснели тускло. Островерхая кровля уходила в розовый веер зарява и отблескивала красным.

Едва Раиса Николаевна и Сормов вышли из-за прикрытия ближайших зданий, как, укрытый где-то внизу, застрекотал пулемет, и пули, с трудом преодолевая металлический от холода воздух, как ленивые пчелы, заныли у них над головами.

- Туда идти бесполезно, - подаваясь назад, крикнула Раиса Николаевна. - Они все равно не впустят!

Они отбежали за угол. Сормов поднял и развернул валявшийся у ног красный флаг и замахал им, - пули посыпались еще чаще. Так же реагировал дом-термос и на белый платок, поднятый Раисой Николаевной.

Было ясно, что политические группировки со всеми их окрасками уже не играли роли в глазах защитников домов-термосов.

К тому же, из темноты цвета сигналов едва ли можно было угадать.

Кабачок-термос

Сормов решил добраться до ресторана грузина и укрыться в нем. Иного выхода не было.

Дом «Утиной головы» небольшой, - теплой кирпичной кладки, имел цементированный подвал, набитый углем и продовольствием.

В нем-то и предполагал отсиживаться грузин, причем сам дом,

закупоренный изнутри, играл роль пробки.

Грузин поставил внутри подвала великолепный непрогорающий чугунный камбуз, – он хвастался им в последний вечер, – а дымовую трубу вывел во внешние, прилегающие к стенам, комнаты, герметически закупорив две внутренние. Люк в подвал был в одной из них.

Еще накануне, слушая грузина, Сормов сообразил, что внешние комнаты должны были иметь выход для дыма: иначе в подвале задохнулись бы. Этим выходом могла оказаться простая форточка.

– Если грузин сейчас топит, мы эту щель найдем, – подумал Сормов.

Взяв Раису Николаевну за руку, он, наклоняясь к ее закрытому лицу, крикнул: «Утиная голова». Женщина поняла, кивнула и пошла рядом. Еще раз они перебежали улицу, боясь подвергнуться вторичному обстрелу из дома-термоса и уже шагом, – физическое напряжение не прошло даром, они задыхались, – пошли по знакомой дороге.

Город был мертв.

Северное сияние мерцало, не рассеивая мрака. В той стороне, где пылало несколько домов, еще слышались стеклянные хлопнушки выстрелов, но уже надвигалась бездыханная тишина ледяной смерти.

Свернули в переулок; здесь трупов почти не было, но зато и тишина царила невыразимая. В одном окне нижнего этажа, совершенно обледенелом, был виден свет, – жалкая, мерцающая желтизна. Кто-то боролся со смертью, сжигая последние остатки угля.

Раиса Николаевна замедлила шаг и постучала в окно.

Постучала так, просто: жизнь, последняя жизнь на земле, подала знак другой жизни. Но за окном свет сейчас же погас: человек, сидевший у огня, испугался.

Вышли на главную улицу и приблизились к пожару. Пересекли ее. Сормов на минуту замер...

На каменном приступке подъезда великолепного особняка иностранного консульства в своем сыром дождевике сидел и смотрел на пожар поэт Зыбин. По лицу ползали красные отсветы зарева, глаза были открыты, руки зябко засунуты в рукава и прижаты к груди.

Раиса Николаевна, вздрогнув, схватилась за рукав Сормова. Потянула в сторону...

Лицо мертвеца, казалось, улыбалось...

Опять переулок, поворот на широкую базарную улицу и, наконец, между цинковыми низкими пакгаузами, – тупая крыша «Утиной головы». Дом был невредим, – не было охотников проникнуть в эту малонаселенную часть города, да и небольшие, в сущности, запасы кабачка никого особенно не привлекали.

Путники остановились. Над крышей дома, со стороны двора, спокойная, прямая, поднималась струя дыма. Но как было войти во двор?

Ворота оказались заперты изнутри, высокие железные ворота в гладкой ледяной стене. Осталось одно, – разбить звено стекол в ближайшем окне, пролезть в отверстие и затолкать его меховыми мешками, приспособленными для дыхания. В них не было теперь надобности.

Так и сделали...

Во внешнем кольце комнат от каменноугольного дыма першило в горле, но уже было значительно теплее.

– Кажется, спасены! – еще не веря, но уже радостно вслух подумала Раиса Николаевна. Но Сормов оставался угрюмым; в струе выходящего дыма он отогревал маленький замерзший браунинг.

А под полом, в угольной яме, у жарко топившейся печки-камбуза в одном белье сидел грузин и, время от времени, отхлебывая из горлышка бутылки терпкое вино, – хриплой фистулой напевал грузинскую песню.

Вдруг он поднял выпученные белки к потоку, – в них блеснули страх и недоумение: над своей головой он услышал шаги. Выругавшись, он стал быстро одеваться.

Ощупью, опасаясь нарочитых препятствий и ловушек, вытянув вперед руки, продвигался Сормов; за ним, держась за его доху, следовала Раиса Николаевна.

Они прошли через гулкую общую залу, и теперь перед ними был узкий коридор с выходящими в него дверями маленьких кабинетов. Он пугал путников, но нужно было продолжать поиски лазейки во внутренние комнаты. Сормов понимал, что грузин не имел причин радоваться гостям. Прежде всего, это были лишние рты, во-вторых же, он, ничего не зная о намерениях посетителей, мог заподозрить в них угольных грабителей и разделаться с ними, расстреляв из какого-нибудь отверстия, преднамеренно открывающегося.

Поэтому Сормов решил дать знать о себе.

– Сократий! – закричал он. – Гоп, гоп!.. Сократий!

Так дело, по крайней мере, ставилось на чистоту.

Голос художника гулко прокатился по пустым комнатам: где-то скрежещущим шорохом посыпалась штукатурка. Сормов почувствовал, что женщина прижалась к нему и дрожит.

– Кто там? – после короткой паузы слышали они почти рядом с собой.

Впереди была дверь, – художник вспомнил ее, – с падающим люком-столиком, через который из буфетной подавали в ресторан посуду. Видимо, грузин сторожил, приоткрыв люк.

– Художник Сормов и женщина!

Щелкнула дверца, открытая совсем: желтый колеблющийся свет свечи широким косым столбом лег на противоположную стену коридора.

– Лезьте! – спокойно сказал грузин. – Женщина – это хорошо.

Комната, в которой оказались Сормов с Раисой Николаевной, была

превращена в кладовую, наполовину заваленную углем; тут же стояли мешки с мукой, вино в бутылках и бочонках, жестянки с маслом и консервами; мясные туши занимали целый угол.

Хотя через эту комнату проходила, местами докрасна накаленная, железная печная труба, температура здесь была ниже нуля: вода в огромных цинковых баках – их было шесть – подернулась льдом.

Но из соседней комнаты, дверь в которую осталась открытой, тянуло благодатным теплом. В полу красным четырехугольником зиял люк, как провал в преисподнюю.

Грузин, поставив свечу на бочонок, поспешно закрыл люк. Он был в дорогой песцовой шубе, накинутой поверх белья. В правой руке он держал длинноствольный тяжелый револьвер.

– Женщина – это очень хорошо! – повторил он. – Очень хорошо! Ядвига убежала с этим, с Зыбиным. Теперь, конечно, – сосулька... Но и ты пригодишься, душа, – снисходительно обратился Сократий Иванович к Сормову. – Ты слугой будешь.

Сормов взглянул на Раису Николаевну: она спокойно освобождалась от внешних меховых покровов, вытряхивая наполовину истлевшие японские самогрелки. Казалось, ничего не поняла.

Они вошли во вторую комнату, столь же заставленную, как и первая. Здесь было очень тепло: из люка подземелья шел сухой багровый жар.

Грузин объяснял: сначала он пользуется лишь припасами и углем из первой комнаты, затем, если холод станет невыносимым, он закупорит дверь и сосредоточит все запасы во второй.

– Потом – туда! – ткнул он пальцем в подземелье. – Можно долго продержаться!

Говоря это, он резал мясо, хлеб; потом налил две большие рюмки коньяку.

– С морозу – хорошо!

Раиса Николаевна уверенно поднесла рюмку к губам и выпила залпом. Потом стала жадно есть. Взгляд художника отметил острую красоту ее профиля и твердость движений.

– Предаст она меня или нет? – подумал он и только сейчас, впервые за все это время, вспомнил о трех выстрелах из револьвера, данного ему Раисой Николаевной. Теперь этот револьвер, уже согретый, лежал, в его кармане, и рука, как бы привычным жестом, тянулась к нему. Сормов знал, что слугою он не будет. Он знал, что эту темнолицую, молчаливую женщину он, живой, грузину не отдаст.

И словно поняв все, что делается в душе спутника, Раиса Николаевна повернула к нему голову и, заглянув в глубину его глаз, в расширенные злобой зрачки, ласково спросила:

– Устал, родной?

Сормов вскинул на нее благодарные глаза. Но она взглядом же остановила его, словно сказав: «Тише!»

Сормов понял и разом успокоился. Грузин был огромен и страшен яростью и физической силой; но их двое, – с ним женщина, любящая и безжалостная, как дьявол. Они сильнее.

– Половина второго дня! – зевая, говорил грузин. – А может быть, ночи. Все время пил и спал, спал и пил... Спутался.

Он тяжело дышал от жары, от выпитого спирта. Багровое круглое лицо текло вниз складками сорокалетнего жира. Щеткой седеющей щетины пробивались щеки, и пахло от него чем-то острым, как от зверя в клетке.

Вот он полез вниз, подкладывать уголь в камбуз, потрескивающий и завывающий внизу. Выло в трубе над головами. Сормова клонило ко сну. Нестерпимо хотелось спать; он пересел на какие-то мешки, готовый рухнуть в сон, как камень в колодезь.

Засыпая, он слышал голос Раисы, становившийся неясным, как бы удалявшийся:

– ...Подумай, в два-три дня исчезнет все, что накапливалось миллионами лет. Может быть, останутся жить инфузории, микроскопические споры, жизнь будет тлеть в состоянии анабиоза и уж никогда не поднимется на высоту организованности солнечной эпохи. А может быть, землю тянет к себе огромное мертвое светило, и скоро, от невероятного толчка, земля превратится в бледное пятнышко туманности...

– Она – умная, – подумал Сормов и уснул.

– Спит? – спросил грузин, вылезая из подземелья.

– Уснул, – тихо ответила женщина.

Ее глаза были зорки; грузин приближался, распахивая шубу и обнажая сползающее с жирного тела белье.

Суд

Шли третьи сутки сиденья; вторую комнату пришлось еще накануне заделать: холод в ней становился нестерпимым. Оттуда перекатили баки со льдом из питьевой воды.

Окончательно спутали дневные часы с ночными; просыпались и вставали, как попало, и все-таки, по привычке, заводили карманные часы. У Сормова была половина шестого, у грузина шел третий час. Наконец, напившись, грузин швырнул свои часы в камбуз.

Художник, чтобы упорядочить жизнь, предложил вставать и ложиться в определенный час. В зависимости от этого назначалось и время обеда. Сормова категорически поддержала Раиса Николаевна. Жизнь требовала определенной организованности, иначе подземелье грозило

превратиться в зловонную звериную конуру.

Напиваясь, грузин был нестерпим.

Кроме того, его тянула женщина. Огромное жирное тело, позабывшее стыд, откровенное во всех своих естественных отправлениях, ставило вопрос ребром. Проснувшись после своего сна в первый день прибытия в кабачок, Сормов понял, что между грузином и Раисой что-то произошло.

Грузин был свиреп и настойчиво предлагал Сормову сейчас же приняться за переноску угля из второй комнаты в первую. Раиса Николаевна казалась спокойной, но глаза ее, – Сормов ясно видел это, – сторожили каждое движение грузина.

Потом – как будто обошлось. Грузин непрерывно пил, напившись, – плакал, но даже в пьяном виде к женщине не приставал: казалось, он боялся ее. Грязный, полуголый, он отравлял жизнь.

В момент, к которому относится наш рассказ, в подвале все спали. Раиса Николаевна и Сормов лежали по одну сторону камбуза, грузин – по другую, Камбуз выл огнем; сквозь щели в дверце, сквозь неплотные круги выюшек вырывался красный мерцающий свет; несмотря на жару от печи, из углов, где высились груды угля, острыми, колючими струйками пробирался холод, – земля начинала промерзать.

Грузин проснулся и натянул на себя сползшую шубу. Потянулся к бутылке, отпил несколько глотков и, открыв себя к стороне печи, стал греться. Огромные рачьи глаза красновато отблескивали.

Грузин слушал и смотрел.

На соседнем матрасе, покрытая мехом, свернувшись, спала Раиса Николаевна. Блестящие глаза упрямо уставились на нее.

– Мой дом, мой уголь, мой хлеб, – думал грузин, – женщина – моя. Теперь она не хочет, потому что – Сормов. Если его не будет, она станет моей.

Воображение грузина приподняло доху над женщиной. Мягкое, молодое, теплое тело. Душистое, как только что выпеченный кавказский хлеб. И он, хозяин, привыкший так просто брать женщин, заходивших в ресторан, не может даже приблизиться, пересесть на соседний матрас... А через несколько суток – несомненная гибель от холода, от ледяной смерти.

Грузин не в силах был этого вынести.

Стараясь не скрипеть пружинами, он приподнялся на матрасе.

Сделал вид, что поправляет огонь в камбузе, подложил угля. Взял маленький стальной топорик, которым колол растопку. Пять-шесть шагов вправо, верный удар по голове, – и художник забьется в последних конвульсиях.

Шаг...

Раиса Николаевна повернула голову; глаза по-кошачьи пристальны.

Шаг... Грузин ясно видит всю фигуру спящего.

Шаг... Грузин приподнимает топорик... Но за ним – развернувшаяся пружина: гибкая, наклонившаяся назад для удара, фигура Раисы Николаевны...

Грузин рухнул, чуть не опрокинув камбуз. Бутылка разбилась вдребезги; кровь смешалась с кахетинским. Вскочил проснувшийся художник.

– Зажги свечу! – крикнула женщина. Она, нагнувшись, завладела уже револьвером грузина.

– Он – на тебя?.. Он... – бормотал Сормов, опуская предохранитель браунинга. – Будет!.. К черту его!..

– Осторожней, – он может очнуться.

Действительно, грузин застонал, приходя в себя. Замотал головой, под которой на матрасе расплылось темное пятно. Но он был совершенно обессилен.

– Что же теперь? – весь дрожа, спросил Сормов.

– Что? Убить! – крикнула женщина.

– Не могу! – простонал Сормов, опуская револьвер. – Может быть, не надо? Он истекает кровью. Он беспомощен.

– Пусть так! Я не хочу, чтобы он был здесь. Пойми, мы живем последние часы. Это ужасное животное мешает мне любить тебя.

– Но, Раиса, мы же перестаем быть людьми.

– Неправда! Мы без него забудем то, что превращает нас в животных, – страх перед гибелью. Этот человек своей нечистоплотностью, скотством отравляет мне последние минуты жизни. Ты... не можешь?

– Раиса... Ведь, это будет третий!

– Те все равно бы умерли.

– Родная!..

Но зашевелился грузин. Застонал, плача:

– Я – хозяин, а не вы... Мой хлеб, мой дом... Как же меня можно убивать?.. Вы ответите, – разбойничать не велено никому!

Огромный, в окровавленном белье, он был до слез жалок и отвратителен.

Лупоглазые белки поворачивались медленно, с прискорбной укоризной; вялое тело медленно и страшно поднималось на матрасе, стараясь сесть. Может быть, он сошел с ума...

Слова из черного, по-рыбьи открывающегося рта вылетали нелепые, детские. Грузин грозил.

– Вы ответите, – настаивал он: – разве можно бить хозяина!?

Становилось нестерпимо. Раиса Николаевна презрительно улыбалась.

Сормов выстрелил...

Кошмар бреда

Был день – или ночь? – Счет времени, связанный с солнцем, окончательно запутался, – были жестокие, медленные часы, когда, казалось, ледяная смерть решительно опускает в подвал свою беспощадную руку, ища спрятавшихся. Словно в агонии, металось пламя в камбузе: казалось, даже оно замерзло; бледно-желтые языки огня, вытянутые тягой в узкие жала, превращались в мертвые, негреющие ленты, цветом напоминающие серу.

Сжавшись под мехами, Сормов и Раиса Николаевна были уверены в близком смертном часе. Что могло отвлечь гибель? Откуда можно было ждать чуда?

Вдруг температура выровнялась; камбуз завыл уверенно и низко; огонь окрасился в обычный красноватый тон. В погребе стало жарко, открыли люк; опять явилась возможность пользоваться первой комнатой, за время приступа холода превратившейся в настоящий ледник, в ледяную пещеру: лед местами едва ли не на четверть покрыл стены и теперь медленно таял.

Откуда шло тепло? Маленький камбуз уже решительно боролся с морозом, и победа, по всем признакам, была на его стороне. А это могло случиться, конечно, лишь в том случае, если температура воздуха поднялась.

К Раисе Николаевне вернулась любовь к порядку.

Хаос, внесенный в их жизнь нечеловеческим холодом, уступил место обычным требованиям. Вновь комфортабельно расположили сдвинутые к печи матрасы, освободили среднюю часть подzemелья, сделали постель из груды мехов, которыми укрывались.

– Как думаешь, что значит это тепло? – спрашивала Раиса Николаевна, она откупоривала консервную банку с замерзшим персиковым компотом. – Я верю, что мы приближаемся к солнцу.

Сормов не думал этого. Температура не возростала непрерывно. Слегка поднявшись, она, все-таки, за стенами дома была, вероятно, нестерпимо низкой.

– Ну, не солнце!.. Пусть – что-нибудь другое... Во всяком случае, мы можем любить друг друга, не корчась под одеялами.

Для Раисы Николаевны это было уже много.

Беззаботно веселая женщина извлекала из своего сильного тела все возможности необыкновенной любви. О мертвом городе, о ледяном доме, о трупке над ними, – обо всем, что в часы самого острого наслаждения не переставало угнетать Сормова, – она не помнила. Багровый зной, гудение камбуза, прикосновения обнаженного тела к нагретым мехам, мертвая тишина, распростертая над ними и даже, быть может, самая обреченность,

делающая нелепой бережливость здоровья, – все это заставляло тело искать непрекращающихся наслаждений. Оно пело, как скрипка в руках сумасшедшего виртуоза, готового последним ударом смычка оборвать струны.

Когда усталость овладевала телом, Раиса Николаевна зажигала в рюмке зеленый шартрез и, как инкуба, глотала синее пламя ликера, чтобы быть опять неутомимой.

Иногда, в минуты все чаще приходившего упадка духа, в минуты тоски о солнце, в тягучие приступы сердечного страха, – Раиса Николаевна казалась Сормову ведьмой: но черные глаза, уже глубоко запавшие в синеву, приближались, нагое, красное в отблесках печи, тело двигалось нежными округленностями, и страсть, казалось, утоленная, опять требовала того, что казалось до дна не исчерпанным.

– Пусть не угаснет память во вселенной о страсти, перешедшей за предел! – продекламировала Раиса Николаевна.

– Что? – удивился Сормов, пораженный жестокой приложимостью строк к их смертельному заточению.

– Это – Брюсов, – ответила Раиса Николаевна. – Разве ты не знаешь?

И она прочла все стихотворение о помпеянке, в объятиях возлюбленного забывшей о гибели города.

– Ты понимаешь, – медленно, словно смакуя, говорила Раиса Николаевна, – они были так счастливы, что забыли Везувий со всей его лавой. Перед великолепием наслаждения – чем была эта глупая гора с ее огнем и пеплом? Собачонкой, лающей на большого задумавшегося человека. Взглянул – и забыл...

Она губами перелила жгучей, маслянистый ликер в рот художнику. Легла в его руки тяжелым теплым телом. Продолжала почти во сне:

– Я любила лишь людей, забывающих о необходимом. Не все ли равно, что заставляет человека незаметно вступать в гибель? Архимед, под мечом воина думающий лишь о чертеже; офицер, пускающий карьером коня на проволочный редут; врач, пробующий на себе чумную прививку, – они равноценны...

Угадала по движению Сормова, что он хочет возразить.

– Знаю, милый!.. Они жертвовали собой ради другого... Человечество, наука и еще что-то. Нет!.. Порыв не допускает мыслей, рассуждений, он – только жест, дающий удовлетворение.

...И опять темная дыра подвала запылала багровыми огнями. Маленькое, верткое слово «страсть», – затертое миллионами губ, вновь приобретало свою первоначальную значимость – наслаждения, сочетанного с болью разрушаемого им тела.

Сколько ночей, сколько дней, ничем не отличавшихся от ночей?!

Два тела, крутясь, полетели в лишенный времени провал. В нем –

испепеляющие ощущения, острые, как глубоко вонзающиеся иглы; и – душная тьма.

А потом что?..

Раиса упала навзничь...

Охваченный страхом, желая помочь и еще не веря тому, что вторично шло в душную угольную яму, – Сормов неловкими движениями стал поднимать Раису Николаевну.

– Оставь, – тихо сказала она.

– Дай воды...

Грудь ее то высоко поднималась, то почти на минуту оставалась без дыхания. Глаза были открыты, – внимательно, ласково смотрели на художника.

– Милый, ты останешься один. Прости меня... – и, после паузы – Не клади меня рядом с грузином... – Грудь невероятно высоко рванулась вверх, и вдруг глаза, сразу разрушая всю красоту молодого женского лица, безобразно, как у давленника, выступили из орбит. Грудь упала и осталась неподвижной... Тяжелые, словно слоновьи, затопали над головой ноги.

– Грузин!.. – взвизгнул Сормов, отскакивая от трупа. Надо было бежать, и художник, почти расплющиваясь, повалив стоймя поставленный диванный матрас, прижался к холодным угольным глыбам.

А грузин уже лез в люк. Ноги в окровавленных кальсонах свесились вниз и неуверенно искали упора. Вот он появился весь... Белый, с темными кровавыми пятнами на рубашке, со страшной изуродованной головой.

– Вот, и опять будем жить втроем, – сказал он, садясь на свое обычное место, справа от печки. – Разве можно убивать хозяина?!

Медленно, с трудом, хрипя и ворочая белками закатившихся глаз, – словно ища ими Сормова, – приподнималась и Раиса Николаевна.

– Боишься? – хриплым, старушечьим голосом спросила она. – Подойди же, дурачок. Теперь тебе со мной будет лучше.

– Ложись!.. – крикнул Сормов. – Это позор!.. Ложись! Будь мертвой...

Еще сильные отпрянув, он до острой боли вдавил в тело шершавые зубья угольных глыб.

Мертвецы смеялись тихим, ласковым смехом. Они повернулись друг к другу и уже не обращали внимания на Сормова.

– Теперь ты будешь меня любить? – вялым голосом спросил грузин.

– Конечно, – Раиса Николаевна говорила также вяло. – Ты мне всегда нравился. Ты лучше его. Он верит в Бога, а я – ведьма. Он не догадывался об этом...

Покойница встала, шатаясь, и, нагая, злобно взглянув на Сормова,

заскользила к грузину.

– Я знал, что ты ведьма! – крикнул Сормов. – Мертвые – при живом!..
Если хоть минуту любила, – оставайся мертвой!..

Он бросился на покойницу...

Раздался грохот, – женщине показалось, что это вскочил грузин.

Красное светило

Люди в легкой меховой одежде с треском выломали дверь в первую комнату. Растаявший лед образовал огромные лужи на полу. Желтые световые конусы электрических фонариков сосредоточились на белой, уже разлагающейся, груди.

– Труп, – сказал первый из вошедших. Голос был скрипучий, профиль каменный, эсквайерский. Поблескивали очки.

– Это ведь Сократий, Павел Васильевич! – равнодушно заметил второй из вошедших, заглядывая через плечо. – Нужно ломать дальше. Судя по дыму, люди, все-таки, есть.

Затрещала вторая дверь. Подавалась легко.

Опять забегали желтые световые конусы фонарей. Но вошедшие не успели ничего разглядеть. Они услышали женский голос.

– Кто там?

– Люди, – ответил Павел Васильевич.

– Тогда помогите! Меня душит сумасшедший!

Каждая женщина, уцелевшая на земле, – была драгоценностью. Давя друг друга, вошедшие бросились в яму. Мужчина, совершенно нагой, душил нагую женщину. Он рычал и кусал ее, и наносил удары.

– Ты – мертвая! – кричал он. – Зачем же ты встала!? Любовь мертвецов при живом, – ведь это же мерзость!..

В левой руке у женщины был револьвер.

– Почему же вы не стреляли? – спросил скрипуче Павел Васильевич, когда Сормов был связан.

И женщина тоскливо ответила:

– Я тоже боялась, что два мертвеца придут любить меня.

– Вас будут любить живые, – не понимая, заметил спаситель.

– На много тысяч верст спаслось едва ли более пятидесяти женщин. И это – на семьсот мужчин. Вы – самая красивая из них.

О том же, что он в сумасшедшем узнал приятеля, Павел Васильевич не счел нужным заявлять: кого это могло интересовать?

Сормов, связанный, дрожал в углу; волчий взгляд его был жалок и затравлен.

Но людей так мало осталось, что даже сумасшедший представлял ценность. Поэтому его и не пристрелили. А может быть, о нем забыли, глядя на прекрасное тело медленно одевающейся женщины.

А над городом стояло большое желтовато-красное светило. В тени

было еще холодно, но на припеке снег плавился, и по улицам повесенному бежали ручьи, омывая скорченные, всюду валяющиеся трупы.

Земля, пролетев огромное пространство, нашла новое солнце и уже вращалась вокруг него... Лето ли было, или зима, спасшиеся еще не знали, но светило правильно всходило и заходило; – только сутки стали теперь короче.

И, все-таки, земля была пустынной. Погибли звери и птицы: уцелело лишь несколько пар овец и коров. Они спаслись в глубокой каменноугольной шахте, в двадцати верстах за городом, куда их затащили люди. Шахта сохранила жизнь большей половине спасшихся. Впрочем, остались и птицы, – голубь и голубка: ребенок на своей груди пронес их в шахту.

– Ну, как? – спросил Грызин, когда Сормов, дочитав последнюю страницу рукописи, подравнял листы на ладони и положил их на подушку кровати, на которой сидел.

Опустив на прекрасные глаза свои черные изогнутые ресницы и наблюдая сквозь их решетку за натянуто-спокойным, окаменевшим в ожидании приговора лицом репортера, художник ответил:

– Очень хорошо, но...

Напряжение, судорогой «тетануса» сковавшее мышцы лица Грызина, мгновенно исчезло. Он вздохнул, как человек, скинувший с плеч тяжесть. Заулыбался радостной и чуть-чуть жалкой улыбкой. Он был награжден, «но» его не смущало.

Что бы ни стояло за этим «но», оно было уже второстепенным: самолюбие писателя уже не пострадает.

– Хорошо, но, знаешь ли, эту вещь «Красное Знамя» не напечатает! – решительно сказал художник.

– Ты прав! – торопливо от нервности и как будто даже радостно заговорил Грызин. – Товарищ Скоблин, ты знаешь его, – наш редактор... Он то же самое сказал: «Хорошо, но напечатать не могу».

– Вот, видишь. Тебе надо было бы показать, какую организованность проявил пролетариат в момент этой катастрофы, так мастерски тобой изображенной. Ведь, он это тебе сказал?

– Да, да! – озабоченно развел руками Грызин. – Именно – это. «Вы, говорит, центром повествования сделали эротические переживания этой дамы и Сормова»...

– Мою фамилию, пожалуйста, выброси! – вспомнил художник.

– Хорошо... «эротические переживания этой дамы и Сормова, а о героизме рабочих, об их организованности, несомненно, проявленной в эти минуты, вы почему-то ни слова не сказали». По его мнению, повесть надо переделать, и тогда она станет замечательным произведением. Он так

и сказал, ей Богу!

– Ну, что же, – за работу? – равнодушно спросил Сормов, уставший от чтения и от мало интересовавшего его литературного разговора. Грызина он считал бездарным, и рассказ его ему не понравился.

– Да, я рассказ переделаю, – с готовностью согласился Грызин. – Как же, обязательно! Да, да, я покажу героизм рабочих...

Он соглашался, потому что был благодарен Сормову за его «Очень хорошо!». Повесть его уже не интересовала, да и знал он, что не сумеет ее переделать так, как ему советовали.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 35. С. 1-2, 4-5; № 36. С. 1-2, 4; № 37. С. 1-2, 4-5; № 38. С. 1-4; № 39. С. С. 1-2, 4-5.

ЗОЛОТОЙ ЗУБ

Комендант тыла 25-го армейского корпуса, мрачный, всегда угрюмый полковник Сотов говорил почтительно вытянувшемуся перед ним командиру комендантской роты, узколищему, стройному подпоручику Быстрицкому:

– Предприятие, как сами изволите видеть, довольно безнадежное. Примета единственная: три золотых зуба в верхней челюсти, слева... У кого теперь нет золотых зубов! Даже цвет волос не указан... Хотя и правильно: долго ли волосы перекрасить?

– Но, господин половник, там ведь и еще кое-что есть, – вежливо остановил начальника подпоручик. – В бумаге указано: молодая, хорошенькая, выдает себя за сестру.

И Быстрицкий указал рукой на белевшую на столе четвертушку исписанной бумаги с четко выведенным и подчеркнутым вверху, над текстом: «Совершенно секретно».

Сотов кисло улыбнулся.

– Вы сколько времени не были в отпуску, поручик? – неожиданно спросил он.

– Более полгода... Да, восемь месяцев! – высчитав в уме, несколько удивленно ответил молодой офицер.

– То-то и оно! – вскинув седые косматые брови, многозначительно буркнул комендант. – Скажите, пожалуйста, какая не очень старая и не слишком безобразная женщина не покажется вам привлекательной? А?

Быстрицкий улыбнулся, качнув вперед стройное, вытянувшееся «по уставчику» тело, и от этого движения серебряные савельевские шпоры издали жалобный подтверждающий звук.

– Однако, – вдруг свирепо закричал комендант, звонко шлепая ладонью по секретной бумаге, – хоть данные контрразведки и ничтожны,

но поймать бабу надо... И вы, поручик, ее поймаете. Что?

- Есть, господин полковник! – по-морскому, что было модно в штабе, отрубил Быстрицкий.

- Конечно! – прохрипел Сотов. – И каждый день, пожалуйста, докладывайте мне, что предпринимаете.

И офицеры расстались.

Сотов отправился обедать в собрание, где солдат-официант предложил ему на выбор «бивштекс» или «строганов», а Быстрицкий пошел совещаться с фельдфебелем своей роты, хитрым, щуплым сибиряком Иваном Трофимовичем, что он обычно делал в трудные минуты жизни.

Прежде чем продолжать рассказ, необходимо познакомить читателя с содержанием той бумажки с надписью «Совершенно секретно», что мы видели на столе коменданта.

Содержание ее было немногословно, несложно и даже не очень необычно. Каждый месяц армейская контрразведка рассылала по штабам корпусов бумажки приблизительно аналогичного содержания.

В данном случае контрразведка писала:

«По сведениям агентуры, через Швецию в Россию два месяца назад прибыла германская шпионка Эльза Шрирер. Германским генеральным штабом указанной женщине дано задание обслуживать Владимиро-Волынский участок фронта, а следовательно, она должна появиться в районах расквартирования 25-го или 43-го армейских корпусов. Приметы Эльзы Шрирер: три золотых зуба вверху рта, слева. Молода, хороша собой. Говорит с легким польским акцентом.

При совпадении вышеуказанных примет на какой-либо из женщин (так и сказано), проживающих в районе расположения корпуса, означенную предлагаем немедленно задержать и препроводить в контрразведку штаба армии».

Иван Трофимович, сухонький, седенький и чистенький, даже в форме фельдфебеля все еще похожий на лавочника (он им и был в Томске, где до призыва из запаса торговал бакалеей), выслушал Быстрицкого строго и минуты две молчал, не торопясь высказаться.

- Что же делать-то, Трофимыч? – побеспокоил его наконец офицер, уважавший старика за ум и находчивость. – Надо бы того, поймать бабу! Сам понимаешь, за такое дело и к чину представят, орден дадут. Ну, что скажешь?

Облизнув сухонькие коричневые губки острым язычком и помолчав еще с полминуты, Трофимыч ответил так:

- Это, ваше благородие, дело не трудное. Даже, можно сказать, плевое дело. Однако на него требуется время.

- Ну-ну, а как? - заторопил фельдфебеля Быстрицкий. - Что ты надумал? Говори!

- Да что надумал, ясное дело! - степенно стал докладывать Трофимыч. - Много ли баб живет в тылу корпуса? Сестры в госпиталях, мамзели на питательных пунктах да приезжий элемент, - щегольнул словечком Трофимыч, - разные там невесты да жены господ офицеров. Я пошлю ребят побойчее - пошарить, которые из них с золотым зубом. Старух, конечно, тревожить не будем...

- Ты прямо Бисмарк, Трофимыч! - пришел в восторг Быстрицкий. - Прямо министерская голова! И до чего ведь все просто. Ну действуй!

И Быстрицкий ушел, пообещав Трофимычу на целый месяц отправить его в отпуск, как только шпионка будет найдена.

Через три дня командир комендантской роты уже держал в руках первые плоды работы фельдфебеля. Аккуратно разграфленный лист бумаги носил заголовок:

«Список дамского полу с золотым зубом, проживающим в районе тыла 25-го армейского корпуса».

Быстрицкий впился глазами в листок, даже не обратив внимания на безграмотность заголовка.

Лист был разграфлен на три столбика. В первом - имя и фамилия, во втором - внешние качества в оценке, сделанной «парнем побойче», подосланным Трофимычем, и в третьем - адрес или «часть».

Примерно так:

Анна Сдобышева, сестра. Очень прекрасная. Волосом черна. Дивизионный госпиталь.

Клавдия Пикуль. Личностью не особенная. Пит. Пункт Пуришкевича.

И так далее - всего семнадцать женщин с золотыми зубами.

Внизу подписка:

«Насчет коренных зубов неизвестно, какие они, природные или золотые, потому что в рот антилигентной даме солдату никак не заглянуть. Тут способнее будет действовать г.г. офицерам».

Быстрицкий помчался к Сотову.

Тот к работе Трофимыча отнесся критически.

- По обыкновению своему вы, поручик, к поручению отнеслись легкомысленно, - строго сказал он, поверх очков взглянув на офицера. - Да-с, легкомысленно! Ведь сказано же три золотых зуба, вверху рта, слева. Понимаете?

- Но как же проверить, господин полковник? - взмолился Быстрицкий. - Фельдфебель правильно докладывает. Блестит во рту, а сколько там золотых зубов, кто его знает. Женщина не лошадь, зубов у нее не сосчитать, тем более солдату.

- А вот вы сами и возьмитесь за это дело! - отрубил комендант. -

Небось до трех считать умеете?!

Старый черт! – Чуть не вслух ругался Быстрицкий, выходя от начальника. – «До трех считать умеете!» Я-то умею, да не зубы во рту у посторонних женщин. Сам считай, чертова кукла!

Но того, что началось, остановить уже было невозможно.

Через день фельдфебель доложил:

– В передовой госпиталь, ваше благородие, прибыла новая сестричка. Слева во рту блестит золото, но на сколько оно зубов – никак не мысленно узнать!

– Слева-то вверху или внизу? – недовольно осведомился поручик, которому уже надоела вся эта история.

– Однако, вверху... И собой пригожа. Придется, ваше благородие, вам самим поехать.

Быстрицкий полетел к коменданту.

– Немедленно же поезжайте! – приказал тот. – Как только сосчитаете зубы, установите наличие акцента и прочее, немедленно же – арест...

– Но это же все не так просто, господин полковник! – взмолился обескураженный офицер. – Инструктируйте меня, как технически это осуществить.

– Представляю дело выполнения вашей собственной инициативе! – напыщенно заявил комендант. – Мало ли как! Вы молоды и интересны. Ну прикиньтесь влюбленным или еще что-нибудь. Ну поцелуйте там, того-этого!.. Словом, это дело вашей находчивости и сообразительности!

– Но ведь время же для этого надо, чтобы влюбленного из себя разыграть... Да и взаимности же надо добиться!

Но комендант уже не слушал.

– Отправляйтесь немедленно... И даю вам три дня сроку. Каждый день присылайте донесения. И помните, что комкор уже два раза спрашивал меня, почему я держу вас командиром комендантской роты – вас, еще ни разу не раненого! Что?

– Ничего, господин полковник. Я через час еду.

– Да-с, поезжайте. И помните новый приказ по армиям фронта: на тыловые должности необходимо назначать лишь офицеров, признанных после полученных ранений годными к службе по третьей категории. Что-с?

– Так точно! Через полчаса выезжаю. Ввиду специальных особенностей поручения необходимо же мне хоть побриться и надеть новый френч.

– Конечно, конечно! Я так комкору и заявил. Виду исключительных способностей оставить его на занимаемой должности.

И Быстрицкий уехал.

Передовой госпиталь имени одной из великих княгинь квартировал в деревушке Георгиевке, в двенадцати верстах за штабом в тыл. Прифрантившийся Быстрицкий прибыл в деревню к вечеру, когда начинало уже темнеть, и, расположившись халупе, которую занимал караульный пост от комендантской роты, отправился с визитом в госпиталь.

Главный врач, веселый военный доктор, встретил Быстрицкого очень радушно. Конечно, офицер был приглашен ужинать и вообще «бывать», причем были обещаны и спиртяга, и пулька.

Более удобных условий для выполнения «деликатного поручения» Быстрицкий и желать не мог. В этот же день – вернее, в этот же вечер – он должен встретится и познакомится с новоприбывшей сестрой, и самолично убедится в количестве золотых зубов в ее рту, в наличии польского акцента и прочего.

Так и случилось.

К ужину собрался весь «сестрянник». Свежевыбритый, надушенный щелкающий шпорами Быстрицкий был немедленно представлен всем дамам. Молодой поручик, галантный и веселый, имел определенный успех, но явно очарован был лишь одной из них, правда, изящной и стройной, Анной Осиповной Загржецкой, всего лишь три дня как прибывшей в госпиталь из Киева.

Многие сестры даже обиделись.

– И что он в ней нашел? – удивлялись некоторые из них, разойдясь после ужина по палатам и, по женскому обыкновению, шушукаясь. – Конечно, хорошенькая, но ни тела, ни души. Тонка, как жердь, и все молчит. Да и зубы... Девятнадцать лет, а уже вставные!

– Да уж! – соглашались другие. – Уж эти мужчины! Ни капельки у них вкуса!

Быстрицкий же, сидя за столом в халупе комендантского взвода, строчили на листке полевой книжки донесение коменданту. «Господин полковник, – писал он, – с Загржецкой познакомился и, кажется, произвел на нее благоприятное впечатление. Акцент есть. Зуб золотой есть. Блестит во рту как проклятый, но что за ним – ничего не известно. Надеюсь, что завтра зубы сочту. Поручик Быстрицкий».

Написав донесение, Быстрицкий запечатал его в конверт и, обозначив аллюр тремя крестами, отправил письмо в штаб корпуса с ординарцем.

В это же время Аня Загрженская, готовя шприц с камфарой для раненого солдата, только что привезенного с позиций, не без гордости думала о впечатлении, которое она произвела на молодого интересного офицера.

- Глаз от моих губ не отрывал! - замирая сердцем, думала она. - Значит, правда, что у меня рот красивый. И стиль, конечно, у меня декадентский, строгий. Так и буду держаться - интересничать. Без улыбок, этак - разочарованно...

И, вспрыснув камфару стонавшему солдатику, все время просившему пить:

- А он, видимо, из хорошей семьи... штабной, к тому же. Ну, что ж!..

Пусть теперь читатель разрешит мне привести четыре полевых записки: две - от Быстрицкого к коменданту и две - в обратном направлении, которыми обменялись за два следующие дня Георгиевка и штакор.

От Быстрицкого к коменданту:

«Доношу, что сегодня прогуливался с известной вам особой по деревне Георгиевка и вел разговор о любовных чувствах, и даже жал руку, но известная вам особа хотя и идет, видимо, навстречу, но грустит о чем-то или напускает на себя меланхолию и вовсе не улыбается. Зуб обозначается только один. Жду дальнейших инструкций».

От коменданта Быстрицкому:

«Атакуйте в лоб. Объяснитесь в любви и добивайтесь поцелуя. После этого, если вы не окончательно глупы, нет ничего легче пересчитать не только зубы, а и все прочее. Помните, что комкор два раза справлялся у меня, почему вы не на позициях».

От Быстрицкого к коменданту:

«Вчера на прогулке объяснился в любви и поцеловал. Сейчас же после этого спросил, сколько у нее золотых зубов. Хотя, кажется, обиделась, но ответила, что у нее только одна золотая коронка. Врет она или нет, не знаю. Не могу же я, господин полковник, просить ее открыть рот и залезть туда пальцами. Большого, господин полковник, я сделать не в силах. Как говорили египтяне: «Я сделал что мог; пусть, кто хочет, делает больше». Не жениться же мне, в самом деле, на ней из-за ее золотых зубов. По-моему, надо сделать так: командир корпуса приказал дантисту всем сестрам осмотреть рты... Я же, господин полковник, не дантист, в конце концов!».

От коменданта к Быстрицкому:

«Если же вы столь недалеки, что не можете сосчитать золотых зубов во рту у любимой девушки, - завтра утром возвращайтесь в штаб. Предписание о возвращении вас в полк уже готово. Остается его только подписать».

В этот вечер Быстрицкий пришел в госпиталь к ужину мрачный, как туча. Хотя, ввиду его явного ухаживания за Анной Осиповной, место за столом было ему оставлено рядом с нею, но он занял его без всякого

удовольствия.

- Что это вы сегодня такой мрачный? – спросила девушка. – Совсем как будто вас подменили. Что случилось?

- Эх, – вздохнул офицер. – Неприятности! В полк меня отправляют!

- Но почему? Из-за чего?

- До трех считать не умею! – махнул рукой Быстрицкий. – Так...

Интриги!

- Вы мне все расскажете после ужина? Мы ведь пойдем гулять, я сегодня не дежурю, – заботливо и участливо сказала девушка, пожимая под столом руку офицера. – Вы ведь не забыли мой вчерашний поцелуй?

- Что поцелуй! Ты бы мне лучше зубы показала! – чуть не выпалил офицер, но вовремя спохватился и, чтобы отделаться, ответил:

- Да, да, конечно... Только... У меня маленький разговорчик с вашим доктором будет.

- Надолго?

- Два слова.

- Ну, я буду ждать вас у крыльца. Хорошо?

И одними губами:

- Милый, милый, ты покори мое сердце!

«Знаем вас, шпионки! – хмуро подумал офицер. – Небось зубы-то не показываешь».

* * *

У Быстрицкого остался в руках один шанс, последний: откровенно признаться во всем главному врачу и попросить его под каким-нибудь предлогом заглянуть в рот Загржецкой.

Но, доверяя тайну врачу, Быстрицкий рисковал многим. Если об этом узнает беспощадная контрразведка – ему не поздоровится.

Но другого пути уже не было: возвращаться в полк от тихой, безопасной штабной жизни – тоже не сладко...

- Доктор, на два слова, но – по секрету.

- Ради Бога, милый! – с охотой согласился врач и увел офицера за печку. – Ну?

- Доктор, – начал офицер шепотом. – Дело государственной важности! Разрешите взять с вас слово, что то, что я вам скажу, так и умрет с вами?

- Можете вполне! – твердо сказал врач.

Но Быстрицкий не рассказал еще и половины, как врач разразился неудержимым хохотом.

- Ха, ха, ха... – завизжал он. – Зу...зубы считали у Ани? В... в... любви объяснялись? Же... же... женихались? Ха, ха, ха... Шпионка?! Господи, вот насмешил! Лет пять так не хохотал... коньяком за это напою. Ха, ха, ха!..

Быстрицкий стоял совершенно обескураженный.

Справясь со смехом, главный врач наконец заговорил:

- Эх вы, Шерлок Холмсы! Да знаете ли вы... Нет, погодите, стойте... Вам ведь все равно необходимо знать, сколько у нее золотых зубов?! Да?.. Эй, кто там, позовите сюда сестру Загржецкую!

- Доктор, что вы... Ради Бога!.. Вы меня губите! Хоть без меня! - взмолился офицер. - Ради...

Но было уже поздно.

- Я здесь, Иван Петрович, - томно пропела Загржецкая, появляясь в комнате. - Что случилось?

- Ровным счетом ничего. Вы или кто-нибудь другая. Лучше вы, ведь вы, кажется, подружились с этим галантным офицером.

- Да в чем дело, доктор? Ей-богу, я ничего не понимаю!..

- А вот в чем. Солдаты нарочно, чтобы уйти с фронта, портят себе зубы. Офицерам приказано знать, какие зубы как называются. Кто не знает, из штабов - на фронт. Так вот вы и спасите своего приятеля, который так ухаживал за вами эти три дня. Можете вы ему показать свой ротик, а я буду называть зубы.

- О, конечно! - согласилась девушка. - Отчего же нет? Я теперь понимаю, почему он был такой грустный ужином. Бедненький!..

В довершение комедии главный врач дал Быстрицкому карандаш и лист бумаги и заставил записывать латинские названия зубов.

- Знаете, милый мой, что Анну Загржецкую я знаю с детства. Никогда она за границей не была, зуб золотой у нее один, как вы сами убедились, а что самое главное, так это то, что отец ее, известный киевский нотариус, богат, и Анна для вас - подходящая невеста. Продолжайте-ка, дружок, за ней ухаживать!

В этот вечер Быстрицкий писал коменданту:

«Известная вам особа - дочь уважаемого человека. Золотой зуб у нее в ротике только один. Я сделал предложение и получил согласие. Прошу вас, господин полковник, дать мне отпуск на неделю - для поездки в Киев на предмет получения согласия на брак от родителей моей невесты. Так как я секретное поручение выполнил - смело могу сказать - блестяще, то полагаю, что мне не откажете в исполнении этой просьбы».

Комендант ответил:

«Возвращайтесь в штаб. Отпускной билет готов. От контрразведки получена новая бумага, в которой сказано, что в первой она сообщила неверные сведения агентуры. У этой чертовой Эльзы не три золотых зуба, а два, и не наверху, а внизу. Пусть сами и ищут: мы им не зубные врачи!».

Всю эту историю мне рассказала сама Анна Осиповна Быстрицкая

(конечно, я фамилию изменил), дама, хорошо известная Харбину. Ее супруг, уже отрастивший брюшко, имеет на Китайской небольшой магазин.

Под сердитую руку, когда муж возвращается домой навеселе или когда она найдет в его кармане подозрительную записку, написанную женским почерком, Анна Осиповна презрительно фыркает:

- Эх ты, золотой зуб! Туда же!

И все же живут они неплохо.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1930. № 11. С. 1-2, 4-5, 7-8.

ЗОЛОТО

I

Дим выбежал на крылечко и, заложив ручки за спину, – зеленая сарпинковая комбинация обтянула сытый животик, – стал любоваться морем, таким легким и голубым в утренние часы, с маленьким черным пароходиком, уходившим к горизонту и тянувшим за собой коричневую косицу дыма. Глаза у Дима были такие же, как и это июльское море, – бледно-голубые, с легкой белесинкой...

Но море было слишком пустынным, и оно скоро надоело Диму. Он перевел взгляд на домики, рассыпавшиеся на сопках по другую сторону бухты. Он знал, что эти домики называются Владивостоком, а он, Дим, живет на Чуркине. Когда же надоели и домики, Дим задом, упираясь ладошками о ступеньки крыльца, слишком высокие для него, спустился в садик и, осторожно ступая босыми ножками, направился к кусту сирени, за которым, он знал, была скамеечка.

Конечно, Дим немного боялся, – ведь не часто ему приходилось путешествовать по садику одному, да и неизвестно еще, как примет его этот косматый шелестящий куст, не сидит ли на скамеечке за ним то неведомое, что в тайфунные вечера грубым голосом воеет в трубе... И Дим недоверчиво покосился на кадку под водосточной трубой – в кадке что-то булькало и шуршало.

Дим шел долго и очень тихо, как котенок, – ставил босую ножку и замирал, выжидая. Несколько минут он стоял над травинкой, на которой качался жучок с бронзовой спинкой, долго следил глазами за бабочкой, отыскивавшей над клумбой свою медовую пищу. Из-за куста к скамье он вышел так тихо, что сидевшие на ней хозяин дома Николай Иванович и жена его Липа, Олимпиада Васильевна, даже не заметили приближения ребенка.

- Перекапывать не надо, – похрустывал шепчущим баском Николай

Иванович, повернув к жене конопатое лицо. – Не надо перекапывать, и не думай об этом!.. Лежит у забора – и пусть лежит...

– Ближе-то к дому покойнее, – молящим шепотом возражала супруга. – Прямо, Коля, ночей я не сплю – все думаю... Седни видела во сне, будто пес подошел к месту и лапами землю роет... Как хочешь, не к добру это!

– Глупая! – любовно притянув к себе жену, засмеялся Николай Иванович. – Золото не кость, чтобы пес его копал... А у забора лежать ему покойнее – кто туда сунется?..

Дим глядел на супругов, как на жучка, как на бабочку: неотводно, чуть раскрыв ротик. Так смотрят котята, недавно прозревшие.

Потом в белесой голубизне его глазок что-то дрогнуло, осмыслилось, и, всплеснув ручонками, с криком: «Испугал, испугал!..» – он выбежал к скамейке.

И шаловливый крик ребенка был истинной правдой: оба супруга побледнели ужасно...

II

Все в повести было ходульно и лживо. Энтузиасты-ударники восхищались новой бетономешалкой в выражениях школьников, которым задано сочинение на тему о наступлении эры социализма. Благонравная рабфаковка словами очередного циркуляра ЦК растолковывала своему мужу значение пятилетки. Влюбленный в рабфаковку инженер-американец начинал прозревать и благоговейно впитывал в пролетаризирующийся воздух сталинского ренессанса...

Ольга Николаевна бросила книгу на пол и вслух сказала:

– А ну вас к черту... Какая тоска!

Вытянувшись на кровати, она закрыла глаза. Нет, больше так жить невозможно. Бедность и ложь, ложь, бедность и тоска. Собственно, что она такое, она, Ольга Николаевна Рыбникова? Безработная – раз, любовница носатого латыша из Дальрыбы, спеца-инструктора по запаиванию консервных банок, – два. Да и не любовница вовсе. Какая уж тут любовь!.. Всего-навсего – конкубина, «женщина для здоровья», как острят дружки Яунзема, то есть – почти вещь; проститутка по нужде, ибо надеется, что баночник протащит ее на постоянное место в учреждении, – не вечно же лишь случайная работа по вызову биржи труда... Да, жалкие подачки, жалкая плата, нужда и недоедание, ибо последний кусок хлеба, последний метр ситца – не себе, а ему – розовому, кудрявому Димику, ее любви и гордости...

Но где же он?

– Димик!..

Дима не было.

– Дим! – громче крикнула женщина и, сев на постели, прислушалась.

Но уже топали ножки по коридору, и, как всегда, от этого мягкого торопливого стука у матери сладко и тревожно сжалось сердце. Сладко: вот ходит, бегают – значит, здоров и растет. Тревожно: а что будет завтра, послезавтра, через месяц? И ребенок казался ей, давно покинутой жене, сладкой, но непосильной ношей.

А дверь уже задергали снаружи слабые ручонки, едва достигавшие до дверной ручки, и наконец справились с усилием: матери приятно было видеть, как Дим сам открывает легкую дверь. Вот и он – вкатился зеленый комочек с улыбающимся милым ртом, сейчас перепачканным чем-то коричневым...

С ужасом в голосе и глазах:

– Дим, что ты ешь?

И тут же удивленно поняла: шоколад!..

– Кто тебе дал, Дим?

– Тетя! – Дим с трудом ворочает языком в размякшей сладости. И, проглотив ее: – Ма-мо-чи-ка, что такое золото?

– Золото и есть золото. – Мать никак не ожидала такого вопроса. – Знаешь, такое... Ну, блестит, как эта дверная ручка...

– А зачем дверную ручку закапывать в землю?

– Дим, что ты бормочешь? – испугалась мать, опускаясь перед сыном на колени и одной рукой, с платком, вытирая ему ротик, а другой, левой, щупая лоб: не жар ли?

Но лобик Димика был прохладно-теплым, жара не было.

III

Июльский полдень переполз через бухту и сжег все тени. Трехконный домик белел под скалою неистово, и неистово звенели кузнечики. Диму казалось, что это звенит у него в ушах, как полгода назад, когда он сильно был болен. И Димик ковырял мизинчиками то в правом, то в левом ухе, думая выковырять отсюда звон. Но на мизинчиках ничего не было, а звон все звенел. И тогда, чтобы перекрыть надоевший звон, Дим запел песенку, которую тут же сложил:

Золото, золото,
Золотое золото,
Золотая мамочка,
Золотая тетичка,
Золотой воробушек...

Голос ребенка был звонок – песенка была услышана на кухне. Чистившая красноперку Олимпиада Васильевна закусила толстую красную нижнюю губу и затаила дыхание – сердце от волнения подпрыгнуло к самому горлу и стукнуло перебоем.

Ольга Николаевна даже обрадовалась – «так оно и есть», – но и виду

не подала. Засмеялась:

- Сегодня, знаете, мой Димик с утра о золоте болтает... Даже вот песенку сложил.

И обе женщины внимательно посмотрели друг на друга. Ольга Николаевна ласково и спокойно, словно спрашивая: «Правда?».

Олимпиада первая опустила глаза, выдала себя и лишь через секунду - такую долгую - усмехнулась, колыхнув обильной грудью:

- Уж дети, они такие... Услышат слово и носятся с ним.

И, справившись, наконец, с сердцем, рассказала, как какой-то мальчуган, при котором родители не поостереглись, разболтал своим сверстникам, что у его отца есть припрятанное золото. Ребятишки разнесли это дальше, и пошла писать губерния...

- Полгода по тюрьмам мотали, - закончила Олимпиада свой рассказ, очень довольная тем, что сама перешла в наступление: не про мамашино ли золото болтает мальчишка? Ольга Николаевна смотрела на хозяйку просто и открыто, и та, успокаиваясь, подумала:

«Нет, не разболтал еще Димка про то, что услышал. Забудет, поди... Обойдется».

Но вечером, когда муж вернулся из порта, где он служил по охране, и супруги пили чай в садике, Дим вышел на крылечко, постоял, поглядел на море, вздохнул и сказал:

- Тетя, а золото, оно какое? Всегда золотое?

Николай Иванович поперхнулся, у Олимпиады опустились руки, и заныло внизу живота. Надо было что-то предпринимать, и предпринимать, не останавливаясь ни перед чем.

IV

Ночь пришла красивая, синяя, со светящимися мухами, вспыхивающими как крошечные электрические фонарики. Далеко за бухтой сиял город, и отражения его огней каплями золотого масла растекались по черной воде. Иногда из города долетал мягкий рокот медных труб, игравших «Интернационал».

Уходя в свою комнату, Ольга Николаевна сказала хозяйке:

- Завтра я на биржу пойду, Олимпиада Васильевна... Уж вы не откажите посмотреть за Димиком...

- Хорошо, - ответила та и вдруг испугалась так, что задрожали руки, и, чтобы не выдать себя, она спрятала их под передник, крепко сцепив пальцы.

- Конечно, присмотрю... Не впервой!

«Что это она будто в лице изменилась?» - подумала Ольга Николаевна, но ничего не сказала, только молочную бутылку без нужды переставила со стола на окно. И, пожелав спокойной ночи, ушла к себе.

Дим уже давно спал, голенький, – сбросил с себя одеяльце и раскинул ручонки. Дышал глубоко и спокойно. Ольга Николаевна хотела его поцеловать, но побоялась разбудить и только блаженно на него посмотрела.

Стала раздеваться, стараясь не шуметь. Снимая кофточку, почувствовала ладонью твердую тяжесть своих грудей, и мелькнула грустная мысль о нелепо уходящей молодости. Вздохнула. Провела ладонями по прохладным бедрам. Подумала с горечью:

– Вся продажная!

Погасила свет и легла. Лежала с открытыми глазами и представляла себе: стоит на коленях у забора в садике и роет землю большим кухонным ножом, каким Олимпиада рубит мясо на котлеты. Вот нож чиркнул по твердому...

Ах, даже вздрогнула и чаще задышала.

...Не жалея ногтей, рвет землю руками, и вот он – клад... Наверно, круглая жестяная банка из-под монпансье... Ах, какая тяжелая, какая сладостно тяжелая, – едва вытащила из ямы! Скорей, скорей! Крышка не снимается, прижавела. Поддела острием ножа, и она, не звякнув, скатилась в яму. И вот рука глубоко, почти по локоть, погружается в холодные, скользкие золотые монеты...

«Возьму только одну горсть, – задыхаясь, думает Ольга Николаевна, – только одну горсть, и то не для себя ведь, а для Дима... Имею же я право! Все равно это не их – все это награблено: он ведь в чека раньше служил, все знают... Нет, одной горсти мало, что – одна горсть! Зачем им так много денег!..».

Ольга Николаевна уже сидит в постели; рука ее судорожно загребает байковое старое, давно не греющее одеяло – загребает воображаемые пятирублевики и империалы. Женщина тяжело, как в припадке, дышит, и глаза ее, устремленные на синий квадрат ночного окна, блестят даже в темноте. Она шепчет что-то и похожа на бредящую больную...

* * *

Но шепчутся, шуршат, как мыши, и в соседней комнате, куда в одно из окон заглянула луна и уперлась голубым лучом в портрет лобастого Ленина. Другой глаз портрета в тени, и от этого кажется, что вождь иронически подмигивает...

– По-твоему, она, стало быть, не догадалась? – спрашивает Николай Иванович, укладывая голову на обвившую его шею руку жены. – Не выпрашивала, не подбиралась со стороны, обиняком?

– Нет, этого нету, – шепчет жена. – Ей, кажись, и в голову не пришло. Конечно, ежели ее пащенок будет и завтра талдырить о золоте – тут уж и дурак догадается... И такая у меня злоба на него – своими бы руками задушила!.. Как кутенка, об угол бы!..

Олимпиада от злости задергала ногами.

- Дела! - вздохнул муж. - Чего делать-то теперь? Ежели бы откупиться, например, дать ей, скажем, рублей сто, и пусть катится в Харбин.

- И не говори ты мне про это! - в злобе вскрикнула Олимпиада и, опомнившись, торопливо зашептала: - Еще чего!.. Самим в пасть лезть? Лучше уж ты выгони меня и живи с ней, с образованной... Только так и знай, - она отпихнула мужа, - и тебя, и себя погублю: донесу!

- Что ты, что ты! - лоя жену, испуганно забормотал муж. - Разве же я к тому!

- То-то, смотри у меня!.. И до чего же я этого сопливого Димку видеть не могу - прямо трясусь!.. Секачом котлетным пузо бы ему распорола! И распорю, ей-богу, распорю, заикнись только он завтра про наш капитал...

Олимпиада трепетала, как от вожделения, и муж жадно потянулся к ней.

Затихли. Лунный луч медленно переползал через лицо Ленина, и вот портрет подмигнул уже другим глазом, левым. Тикал будильник на столе. Посвистывал носом Николай Иванович, безмятежно дышал Дим. Не спали только две женщины, но лежали тихо, не шевелясь, боясь нарушить каждая ход своих мыслей. А на полке в кухне тускло поблескивал лезвием огромный котлетный нож.

V

Утром, через полчаса после того, как Николай Иванович ушел в порт, Ольга Николаевна поцеловала еще спящего Дима, попрощалась с хозяйкой и, завернув в газетную бумагу пару картофельных лепешек, отправилась на биржу, сказав, что, быть может, не вернется до вечера.

Но до города она не дошла. Когда домик скрылся за поворотом дороги, она, убедившись, что никого вокруг нет, повернула обратно, но уже не старым путем, а карабкаясь все выше по сопке, которая крутым скалистым склоном нависала над домиком. Чтобы не быть слишком заметной в кустах, Ольга Николаевна сняла свой старый дождевик, от времени и приморских дождей из синего ставший бледно-голубым, почти белым.

Скоро домик выглянул снова, но уже внизу, чернея старой железной кровлей, с квадратом садика впереди него. Прячась в кустах, женщина подошла совсем близко и теперь, никем не видимая, наблюдала за собственным жилищем...

Расчет ее был чрезвычайно прост и, казалось бы, безошибочен: Ольга Николаевна думала, что хозяйка, потревоженная болтовней Димика, оставшись одна и не ожидая за собой слежки, так или иначе обнаружит место, где зарыт клад. Может быть, она захочет убедиться, цело ли золото, не вскопано ли место; может быть, просто бесцельно подойдет к нему...

Пусть даже этого сегодня не случится – Ольга Николаевна придет сюда завтра, послезавтра, через неделю... Но она добьется своего – узнает, где зарыты деньги... Она сумеет быть терпеливой!

И выбрав место, удобное для наблюдения, Ольга Николаевна села на траву, подстелив под себя плащ. Моральной оценки того, что она затеяла, совесть ее не делала – ни одной мысли не было об этом. Наоборот, в женщине проснулся азарт охотника, выслеживающего добычу, – темный инстинкт. Ей даже стало весело и очень спокойно, потому что в душе ее зрела крепкая вера в удачу.

Далеко в море дымил пароход, уходивший в Японию.

– Буду и я там! – прошептала Ольга Николаевна. – Буду с Димом. Буду, буду, буду!..

И женщина стала упорно глядеть на домик, словно гипнотизируя живущих в нем. Звенели кузнецы в траве, солнце, поднимаясь выше, начинало жечь землю, и шоссированная дорога, проложенная еще царскими военными инженерами, зажелтела атласно, словно шелковая лента. В одном месте недалеко от домика дорогу пересекал белый бетонный мостик, и по обе стороны его, как спичечные головки, торчали столбики. Ими с левой стороны дорога ограждалась от десятисаженного обрыва к морю, которое шумело внизу, темно-синее, почти черное, цвета спелой сливы.

На руке Ольги Николаевны тикали старые часики, звенели, как кузнечик: это шествовало время.

VI

Солнце поднялось уже высоко над сопками Владивостока, когда в садик выбежал Дим, и Ольга Николаевна, увидев его, подумала:

«Хорошо спал сегодня... Как поздно встал!».

Потом вышла на крыльцо и Олимпиада, и Ольга Николаевна инстинктивно подалась назад, хотя снизу ее, спрятанную в кустах, никак нельзя было заметить. Олимпиада сказала что-то Диму, и Дим побежал за нею снова в дом.

На секунду стыд бритвенным лезвием скользнул по сердцу Ольги Николаевны. «Ведь вот, – подумала она, – Олимпиада заботится о Диме, доглядывает, а я, как сыщик, караулю ее опрометчивый шаг».

Но стыд был подавлен, ибо сейчас же всплыло в памяти носатое лицо спеца по заделыванию консервных банок, который будет ее ждать сегодня после службы на скамеечке у бывшего памятника Невельскому. У спеца необходимо было выпросить хотя бы два червонца – на башмачки Диму, – а это было затруднительно, ибо скупой латыш только на прошлой неделе дал ей пятнадцать рублей и предупредил, что до получки у него денег не будет...

В то время, пока мысли эти суетливо сталкивались в голове Ольги Николаевны, Олимпиада стояла на кухне и соображала. За десять минут до этого мальчишка, лоя на стене солнечный зайчик, опять пролепетал что-то о том, что этот зайчик золотой и его надо закопать в землю...

Вне себя от ярости и в то же время имитируя порыв нежности, Олимпиада схватила Дима с пола и так сильно прижала его к горячему жиру своих скатившихся к животу грудей, что ребенок запищал, отпихиваясь ручонками. Тогда, тяжело дыша, с потемневшими глазами, Олимпиада стала целовать Дима в ротик, и ребенок доверчиво отвечал ей на поцелуи. Потом, не выпуская Дима из рук, женщина почти упала на стул и, посадив Дима на колени, сначала легко, потом все сильнее стала сжимать рукой его нежное горлышко с артерией, пульсирующей как раз под ее большим пальцем.

Сначала Диму было приятно, и он, жмурясь, поднимал подбородок, но когда стало немного больно, он неожиданно, ловко оттолкнувшись ручонками, вырвался и убежал в сад. В этот момент его и увидела мать, прятавшаяся на сопке... Олимпиада была даже рада, что Дим убежал, – от волнения она едва не потеряла сознания.

Придя в себя и успокоившись, Олимпиада поняла, что едва не совершила безумного поступка. Безумие было не в том, что она едва не задушила ребенка, – это доставило бы ей лишь наслаждение, и, гарантируйте ей безопасность, она бы повторила все сначала, но уже с роковым для Дима концом... Не в этом было дело – Олимпиаду устрашало наказание.

Тогда на глаза ей попал тяжелый, блестящий на полке котлетный нож, и она, достав его, взвесила на руке и представила себе, как это холодное широкое лезвие полоснет по горлу Дима... Но в глазах мелькнула струя крови, и кровь напугала женщину...

– Ох, задушила бы, ох как задушила бы!.. – простонала она и заплакала, вытирая слезы полосатым передником. И вдруг простой и совершенно безопасный способ избавиться от ребенка был ею найден.

Утерев слезы, Олимпиада вышла на крылечко и кликнула Дима, – и это видела Ольга Николаевна и чуть было не растрогалась заботливостью об ее сыне... Олимпиада же была теперь спокойна: садистический порыв, неожиданно опрокинувшийся на нее, был исчерпан слезами.

– Димка, – крикнула она, – ступай домой!.. Сейчас пойдем – покажу тебе золото.

И подумала: «Будешь доволен, паценок лягавый!»

Собственно, звала она Димика домой напрасно – могла бы и сразу вывести на дорогу. Минуты три Олимпиада все-таки медлила, бесцельно передвигая посуду на полке: собиралась с силами.

VIII

Со своей горы Ольга Николаевна увидела, как Олимпиада, держа Дима за ручку, вышла из садика, и удивилась:

- Куда же это они?

Даже встала и машинально подняла с земли свой выгоревший, почти белый дождевичок. И чем дальше от домика удалялась Олимпиада с ребенком, тем напряженнее, тревожнее становилось лицо матери. Подозрение недоброго властно захватывало ее сердце, и, уже не боясь, что ее увидят, вся на виду, Ольга Николаевна шла по горе за ними.

Дойдя - пред бетонным мостиком - до столбиков, охраняющих дорогу от обрыва, Олимпиада остановилась...

- Ну, Димка, сейчас и золото увидишь! - сказала она. - Интересное золото!

- Золотое? - поворачивая к женщине личико, улыбнулся Дим.

- Самое настоящее золотое, - хриловато ответила Олимпиада. - Девяносто шестой пробы... Вот я камушек брошу, а ты что есть силы - за ним... Кто кого догонит?

И, подняв с дороги камень, Олимпиада бросила его за столбики.

Розовый, сияющий Дим, взвизгнув от радости игры, бросился за ним - в пропасть.

И одновременно с этим длинный крик, как необыкновенно высокая по тону, с ума сошедшая сирена маяка, вонзился в голубое небо, и, в ужасе подняв голову, Олимпиада увидела как бы огромную белую птицу, несущуюся на нее с высоты горы.

И Олимпиада бросилась бежать, оглашая пустынные сопки воем звериного страха и бешенства...

А белая птица, докатившись с горы до дороги, на секунду задержалась над пропастью и ринулась туда, где бездыханным кровавым комком лежал трупик Дима.

*Впервые опубликовано: Рубеж. 1932. № 39.
Печатается по: Новый журнал. 2006. № 245.*

КОНТРАЗВЕДЧИК

I

Осенью пятнадцатого года в Москве, в госпитале при Вдовьем Доме находился на излечении молоденький поручик Бубекин Анатолий Сергеевич. Было у него сквозное ранение в мякоть бедра. На третью неделю пребывания в госпитале рана затянулась, и Анатоша, как называли хорошенького Бубекина сестры, хоть с палочкой, но уже похаживал по палатам. А еще через неделю стал Анатоша болтаться и по Москве,

побывал в Художественном, в Большом и Малом, раз-два посетил и уютные, все в бархате, отдельные кабинеты Мартьяныча, где ужинал и пил портвейн. И, конечно, в кабинетах бывал он не один.

Офицер спешил, как мог и умел, наслаждаться жизнью, потому что знал – скоро госпитальная комиссия препроводит его на эвакуационный пункт, а там дня через четыре – опять фронт, тошная окопная жизнь-жестянка.

И вдруг такое происшествие...

Возвратясь в госпиталь к ужину, Анатоша нашел на тумбочке у своей кровати казенный пакет со штемпелем штаба округа – поручика Бубекина приглашали в среду, то есть на другой день, явиться в штаб к дежурному офицеру.

Анатоша удивился и даже испугался. Что такое? Зачем и почему? Уж не натворил ли он чего-нибудь, шатаясь по Москве? Нет, тогда бы вызвали к коменданту, – тут что-то другое. Посоветовался Бубекин с сотоварищами постарше, что лежали с ним в палате, с соседом своим, кубанским войсковым старшиной, но никто, конечно, ничего определенного сказать ему не мог.

– Всего скорее, – предположил старшина, – тут какое-нибудь назначение. Чего-нибудь такое приятное даже. Тебе, поручик, беспокоиться нечего.

Словом, на другой день был Бубекин в штабе. Дежурный офицер взял у Анатоши его бумажку, прочитал, заглянул в какую-то книгу и сказал:

– Вас вызывает генерал. Обождите. Присядьте.

И, не объяснив даже какой генерал, занялся своим делом. А минут через пятнадцать Бубекин с несколько одеревенелым от волнения лицом – еще с корпуса стал бояться разговоров с генералами – уже входил в большой и светлый кабинет...

Генерал сидел за письменным столом и что-то писал. Бубекин, остановившись у двери, видел его черноволосую голову, склоненную над столом. Через всю нее белел аккуратный пробор. Дописав и промокнув написанное, генерал поднял на Анатошу веселые глаза – выглядел он молодо и был румян.

– Так! – сказал генерал. – Поручик Бубекин? Садитесь.

Анатоша сел в кожаное кресло неудобно, на краешек, чтобы и сидя можно было бы выпячивать грудь, держаться молодцевато.

– Так! – повторил генерал. – Из военной семьи, кончили корпус и Александровское училище... – посмотрел, щурясь, на потолок, потом ласково, с улыбкой, на Анатошу. – Знал вашего батюшку – однокашники по училищу... И маму знал: танцевал с ней на балах в Елизаветинском институте.

«Стало быть, ровесник с покойным папой, а ни одного седого волоса,

- подумал Бубекин. - Крашенный». И деревянно сказал:

- Мамаша в Казани живет.

- В письме передайте ей поклон от юнкера Васи, - улыбнулся генерал. - Но, милый мой... Да сядьте вы, ради Бога, по-человечески. Даже мне неудобно, когда я смотрю, как вы уселись... Ну? Вот так! Курите? Прощу. Вы Н-ского полка?

- Так точно.

- И вот-вот возвращаетесь на фронт?

- Так точно.

- Вы нам нужны. Нам понадобился офицер вашего полка, которому мы могли бы доверить одно поручение. Наш выбор остановился на вас. Вы из прекрасной русской семьи, военного воспитания, отличной аттестации. Спиртными напитками не увлекаетесь... Два посещения Мартьяныча с сестричкой Симочкой не в счет...

- Ваше превосходительство!..

- Не удивляйтесь. Вы нам нужны, мы вами заинтересовались, и, конечно, вы были нами проверены. Словом, так... Завтра вы отчисляетесь в команду выздоравливающих, потом... Впрочем, обо всем дальнейшем вам расскажет капитан Такулин. Но, черт возьми, я ведь еще не спросил вас о самом главном: согласны ли вы вообще помочь нам?

- Ваше превосходительство... Конечно!

- Ну, так я и знал.

Генерал нагнулся и где-то под доской письменного стола нажал кнопку звонка. Вошел вестовой.

- Проведи его благородие к капитану Такулину.

Генерал приподнялся, пожимая руку Анатоше.

II

Голова капитана Такулина была седлообразна.словно два лба: один обыкновенный и другой - на затылке. Маленькие рыжие глазки стремительно скользнули с лица Бубекина по всей его фигуре, на какую-то долю секунды задержались на носках его отлично вычищенных сапог и снова устремились к его лицу.

«Ишь, хорек, точно сфотографировал!», - подумал Анатоша, представляясь.

- Очень, очень рад, Анатолий Сергеевич! - капитан сделал такое движение, будто собирался вскочить навстречу Бубекину. Казалось даже, что он уже вскочил и засуетился, но все это лишь оттого, что рыжие его глазки бегали и прыгали по всей комнате, в то время как сам он всего лишь приподнялся и протянул руку Анатоше.

- Прощу вас! - и той же ручкой - на стул по другую сторону письменного стола.

Бубекин сел. Сейчас же успокоились и рыжие глазки. Теперь они как бы нарочито старательно избегали глаз посетителя. Но когда все же этот рыжий взгляд попадал в голубые бубекинские буркалы, то тому делалось как-то не по себе. С генералом было по-другому.

Медленно, раздельно, точно диктуя, капитан стал говорить:

- На Петровке, Анатолий Сергеевич, рядом с рестораном «Трехгорный», где вы уже несколько раз изволили побывать... – укол зрачков. – Рядом с этим рестораном есть гостиница «Прогресс». Гостиница вполне приличная, уверяю вас. Там вам приготовлен номерок, да-с, номер тринадцатый. Вы, надеюсь, не суеверны? Такая жалость, понимаете, – во всей гостинице не нашлось другого номера, а этот, видимо, потому и свободен, что тринадцатый. Неприятная цифра, но я полагаю...

- Пустяки! – пожал плечами Бубекин. – Что вы, капитан!..

- Никак нет-с! – рыжие глазки с откровенной предупреждающей строгостью впились в глаза Анатоше. – В нашей работе нет-с пустяков... Помните из физики Краевича про фраунгоферовы линии?

- Что-то помню, – почему-то испугался Анатоша. – Какие-то черточки. Сначала думали, что они в солнечном спектре случайно...

- Вот-с! А потом оказалось, что линии эти не случайность, а закономерность. В нашей работе тоже не должно быть случайностей – это запомните раз и навсегда. Я приготовил для вас номер тринадцатый, потому что при нем, единственном из свободных, есть маленький чуланчик, где будет спать ваш денщик...

- Но у меня нет денщика! – улыбнулся Бубекин. «Имя-отчество знают, про Симку знают, а тут напутали!».

Но рыжие глазки уже опять строго наставляли Бубекина:

- У вас есть денщик, господин поручик, – снова задиктовал капитан. – У вас обязательно есть денщик, и он уже там, на Петровке, в номере тринадцатом. Его зовут Клим Стойлов. Клим Петров Стойлов, если желаете.

Тут вся эта история, в которую его вдруг начали втягивать, стала Анатоше не нравится. «Какой-то еще солдат будет около меня, – подумал он с отвращением. – Какой-нибудь переодетый жандарм. Ну их! Не отказаться ли?». Но рыжие глазки уже поняли, что происходило в душе юноши. В них что-то не без хищности сверкнуло, метнулось, затрепетало.

- Никаких беспокойств! – заторопился капитан. – Он – ваш денщик. Понимаете, настоящий денщик. Вы даже ему морду можете бить, если будет за что...

- Этого я никогда не делал, – недовольно сказал Бубекин. – Но я не понимаю... Что, собственно, вам от меня угодно?

- Сейчас.

Рыжие глазки исследовали дверь, плотно ли закрыта, глянули за угол большого шкафа, не прячется ли там кто, с той же целью был брошен

взгляд и за плечо, и затем со строгой внимательностью он остановился на лице Бубекина. Глаза медлили, выжидали, думали. Потом спустились на листок бумаги с какими-то заметками.

- Поближе, пожалуйста, поближе...

Бубекин придвинулся. Из рта капитана пахло гнилыми зубами и табаком.

Разговор длился около получаса, но уже через несколько минут на лице Бубекина появилось растерянное и даже испуганное выражение. Рыжие же глазки, наоборот, смотрели теперь на Анатошу ласково и успокаивающе. Два раза длинные худые пальцы капитана даже коснулись руки поручика. Капитан шептал:

- Все это значительно проще на деле, уверяю вас!

- Но вдруг мне не удастся, и он уйдет? - с отчаянием в голосе ответно шептал Анатоша.

- Даже это ничего, - успокаивал капитан. - Пусть он даже уйдет, уже этим он провалился, и вся сеть вот-с где! - тонкие пальцы, только что поглаживавшие руку Анатоши, энергично сжались. - В кулаке-с! Самое же главное - не обнаружить себя. Не об-на-ру-жить! - отдельно произнес Такулин. - Понимаете? В этом-то вы уверены?

Уверен в этом Анатоша никак быть не мог, но опасное, страшное дело, о котором он только что узнал, уже влекло к себе его двадцатитрехлетнюю душу, влекло по-детски, как, бывало, в корпусе - строго запрещенное удираание с прогулки за ворота плацов, в Анненгофскую рощу, - и он сказал твердо и решительно:

- Да. В этом да, я уверен. Ах, сукины дети!..

- Почему же сукины дети?.. - даже как бы обиделся капитан. - Они тут, наши там... Профессия! Никогда не следует горячиться. Значит, так: пакет для командира полка я вам вручу на вокзале. Будьте готовы к отъезду в любой день, но живите, ни о чем не беспокоясь: гуляйте, ходите в театр, к Мартьянычу, хе-хе, в кабинеты... Но только лучше не с Симочкой...

- Почему? Что вы, право, все с ней...

- Хе-хе... Она уже занята по другому делу. Но не влюблены же вы, надеюсь?

- Конечно, нет. Но... неужели?

- Именно. Доверяю вам как уже своему человеку. Теперь вы - наш.

И рыжие глазки с веселой внимательностью в последний раз пырнули в дрогнувшие глаза Бубекина. Капитан отлично знал, что это «вы - наш» всегда в данном случае неприятно и даже страшно своей окончательностью и бесповоротностью. И Анатошу покорило, поежило.

«Но ведь все это я для России!», - мысленно сказал он себе сейчас же...

Но и то, что он сказал себе, капитан тоже знал. Он вынул из ящика

стола пакет.

– Это вам подарок от нас, – сказал капитан, – тут триста рублей. Теперь вам полагаются суточные, так тут за месяц вперед, – и, передав деньги, капитан пододвинул Анатоше четвертушку чистой бумаги. – Распишитесь на любую фамилию.

III

Звон шпор, мельканье мерлушковых папах и над всем этим по временам зычное, меднотрубное вещание обшитога в галуны швейцара у двери на перрон:

– На Вязьму, на Смоленск, на Минск!..

Это усиливало движение в наполнявшей залы толпе; к перронной двери бросались носильщики с вещами, денщики с офицерскими гинтерами, какие-то веселые и нарядные или заплаканные и плохо одетые женщины. И опять до нового меднотрубного выкрика все как бы несколько успокаивалось.

Анатоша пил чай в буфете. Накануне Стойлов сказал ему:

– Ваше благородие, завтра мы едем. В шесть тридцать. Просили вас на вокзале пообождать в буфете.

За двенадцать дней пребывания в конуре при номере – в первый раз это «мы», устанавливающее некую особую общность между ним, денщиком, и его барином, офицером. Невысокий ростом, но широкоплечий и с могучей грудью, Клим Стойлов ничем не отличался от подлинного денщика. Лицо и не мужичье, и не городское, не задерживающее внимания русопятское лицо с носом-дулей. Хохлацкая мягкость говора при литературно правильной русской речи. Несколько сонный взгляд при быстроте и точности ответов на вопросы. И изумительная аккуратность в исполнении несложной денщицкой работы – сапоги почистить, кипяток принести и чай заварить, сходить за папиросами. Аккуратность, вызывавшая уважение и устранявшая возможность недовольств со стороны барина. Аккуратность, говорившая: «Ты там, а я здесь, – и кончено». И именно это подчеркнутое размежевание парализовало у Анатоши желание заговорить с этим человеком по-иному, хоть и не о *деле*, конечно, но все-таки не как с денщиком. Но врожденная, еще маменькина осторожность («Никогда не лезь, куда не спрашивают») удерживала: так, как оно есть, – все очень определенно, просто, и в будущем должно само собою разворачиваться. Стоит ли разрушать то, что уже кем-то обдуманно и закреплено?

Сейчас Стойлов, предъявив у коменданта отзывы, устраивал вещи барина в офицерском вагоне, заботился о месте. Анатоша же сидел за столиком в буфетном зале, позвякивая ложечкой в стакане остывающего чая. Чаю ему не хотелось.

– Ну, вот и отправляемся!

Около столика остановился господин в хорошей шубе с поднятым каракулевым воротником шалью. Поручик не сразу признал в подошедшем Такулина. Признав, привстал.

– Позвольте присесть, – капитан говорил громко. – Так уж вы будьте добры, Анатолий Сергеевич, передайте письмецо прапорщику Командирову. Не затрудню?

– Пожалуйста! – усмехнулся Анатоша. – Однополчане. Трудно ли?

Рыжие глазки успели уже с рысьей зоркостью осмотреть соседей. Довольные, видимо, результатами своего осмотра, они усмехнулись. Придвигаясь ближе и передавая письмо, Такулин тихо сказал:

– Подтверждение из штаба армии командир лично, с глазу на глаз, получит от наших людей. А пожалуй, уж и получил. Может быть, по рюмке коньяку? За успех?

– Можно! – принимая письмо, согласился Бубекин.

Но появился Стойлов.

– Можно садиться, ваше благородие, – доложил он. – Устроил. На верхней полке.

Сказал с улыбкой удовольствия на лице – вот, мол, как все хорошо сделал. Не взглянул на Такулина, и тот не взглянул на него.

– Ну, что поделать, отставим коньяк до новой встречи! – поднимаясь и застегивая бекешу, Анатоша еще раз попробовал, хорошо ли легло письмо во внутреннем кармане френча. – Будьте здоровы, дорогой мой...

Меднотрубый голос уже возглашал:

– На Вязьму, на Смоленск, на Минск...

Офицер и штатский в хорошей шубе пожали друг другу руки и расстались.

IV

На стенных крюках у окна купе висели шинели, бекеша и поверх них оружие и полевые сумки, снятые вместе с ремнями походного снаряжения. Шашки и револьверы раскачивались от тряски вагона. В черной зеркальности оконного стекла отражалась желтая дверь и уже поднятые верхние места с матрацами в чехлах из тика в белую и красную полоску. Белый свет из матового стеклянного полушара на потолке ровно лился на разложенный на вагонном столике, передвинутым от окна на середину купе, расчерченный для преферанса лист белой бумаги.

– Торгуйтесь, господа!

Прапорщик Собецкий, сдав карты, придерживал прикуп двумя пальцами, чтобы тот не сполз и не упал с подрагивающего столика. Пальцы были длинны и тонки, с хорошо отделанными ногтями. На одном из них сияло бриллиантом золотое кольцо. Было прапорщику лет

тридцать. Черные усики над тонким ртом парикмахер подстригал, видимо, только еще сегодня. Среди своих новых знакомых этот офицер держался со сдержанной самоуверенностью. Так держатся в общественных местах коммивояжеры больших фирм, считающие себя безукоризненно одетыми. Глаза у него не были умными.

- Пики, - нерешительно сказал военный врач, сидевший на руке, и поднял стекла пенсне на рыжеусого капитана.

- Пас! - капитан недовольно сложил растопыренные веером карты. - Опять вы, доктор, выбили меня из масти! - капитан все еще видел перед собою заплаканные глаза жены и дочери. - Куда вы лезете? Ведь опять заремизитесь...

Доктор хотел что-то сказать, но раздумал и промолчал. Играл он плохо, рассеянно...

- Два втемную, - отрубил Бубекин.

Мысль, что вот перед ним военный шпион, ради которого он поставлен на секретную работу, совершенно пришибла его. И самое удивительное, в этом прапорщике, сидевшем напротив него, не было совершенно ничего классически-шпионского: таинственности в облики, пронизывающих глаз, недоговоренности в речах. Абсолютно ничего от того, чем романисты наделяют шпионов. Но ведь ошибки быть не могло - не стало бы столько умных и важных людей городить весь этот огород из-за пустого подозрения! Стало быть, так, - шпион.

Но как мило и естественно обрадовался прапорщик Собецкий, когда узнал, что он, Бубекин, офицер как раз того же полка, в который и он получил назначение. Собецкий успел в последнюю минуту даже познакомиться Анатошу со своей женой, молодой красивой женщиной в шапочке из крота, тоже полькой. В суতোлке отправления, раздевания и, наконец, размещения в купе все это было еще ничего, но теперь, когда оба они сидят друг против друга и надо разговаривать как ни в чем не бывало, теперь это ужасно трудно... Лицо Собецкого так и тянет к себе глаза Бубекина. Против воли своей он явно больше, чем следует, задерживает на нем свой взгляд и сам этого пугается. Но ведь не выдерживать ответного взгляда глаз Собецкого - это тоже недопустимо...

Ужасно, как быть?

И Анатоша решительно говорит:

- Два втемную!

Без азарта, без всякого интереса к игре, а лишь бы сбить то дурацкое состояние духа, которое его мучит и мутит, как похмелье.

- Вы рискучий? - и с любезной улыбкой Собецкий подвигает Бубекину карты. - Надеюсь, к масти?

Две маленькие пики, шеперки. В пренебрежении к игре Анатоша открыл их и отбросил.

- Ну вот! - рыжеусый капитан очень доволен. - А темните! Эх вы, молодежь!..

Карты ужасные, но Анатоша доволен уже тем, что теперь его смущению и дурацкой неловкости есть естественное объяснение.

- На фронт едем, капитан, - говорит он, притворяясь беззаботным. - Что о деньгах думать!.. Все равно убьют.

Капитан недоволен такой философией.

- Уж это вы зря, фендрик! Мировая скорбь по поводу неудачной темной - чепуха. В картах и в бою - береженого Бог бережет. А как о деньгах не думать, если, например, у меня жена, дочь и сын кадет?.. И все-таки - сколько?

- Что же поделывать, пики играю.

- Семь-с!

- Так точно.

- Вист. Доктор?

Доктор, наводя на капитана стекла пенсне, нерешительно:

- Я тоже вист.

Бубекин остался без трех. Капитан развеселился. Собецкий же, вопреки интересам стола, искренно посочувствовал Анатоше.

- Зачем вы, поручик? Я, например, никогда не покупаю втемную, - сказал он.

- И напрасно.

- Почему, господин капитан?

- Неинтересный партнер. Пусть каждый по-своему веселится, не надо мешать людям свертывать себе шею, если они этого хотят. Просторней будет на земле...

Кончили играть поздно. Тут же за картами и поужинали. Денщики (их было двое - у капитана и Стойлов у Бубекина) принесли на остановке кипятку. Доктор и капитан кушали домашнее жаркое, у Бубекина же с Собецким были закуски. Зато у этих двух нашлось вино и коньяк. Доктор не пил, но предложил всем отведать своей утки. Капитан же, выпивший водочки, от вина и коньяку отказался, но и жаркого никому не предложил.

Странное дело: после своей карточной неудачи - порядочно проиграл - и душевного сочувствия Собецкого Бубекин успокоился. «Раз пожалел, значит, ничего не заподозрил!». Анатоша прикинулся, будто опечален проигрышем, и обрадовался ноткам пренебрежения в голосе прапорщика.

«Вот и отлично!», - и стал легко глядеть в глаза своего визави. С удовольствием подумал, как охотник, подкрадывающийся к зазевавшемуся зверю: «Теперь ты от меня не уйдешь!».

Перед сном отворили дверь, чтобы проветрить купе. Стойлов сидел на откидной скамеечке у окна и курил. Увидав офицеров, он встал.

- Славный у вас солдат, — похвалил Собецкий.

- Хороший... - согласился Анатоша и вдруг, почувствовав себя неловко, прибавил, потрепав Клима по плечу, - ...когда спит.

Стойлов учтиво ухмыльнулся на господскую шутку.

Поезд громыхал на стрелках, подходя к станции. В черном зеркале оконного стекла промелькнули огни.

- На воздух, поручик? Хорошо перед сном!..

- Ну что ж!

Собецкий шел впереди, легко и уверенно ступая по как бы ускользящему из-под ног полу. Бубекин не без зависти подумал, как хорошо сложен и крепок телом этот человек.

Колюче пахло морозом. Придержась за поручень, Собецкий прыгнул на перрон прямо с площадки и сейчас же, не ожидая Бубекина, заскрипел по снегу легкими своими ногами. Бубекин должен был надавать, чтобы поспевать за ним. И опять он подумал, что мелькнувшее в глазах Собецкого пренебрежение к нему - факт. Прапорщик им, поручиком, неглижировал: значит, он уже сделал ошибочную оценку и успокоился: «Очень хорошо!».

Станция была маленькая и безлюдная. Над вокзальным зданием высились деревья, все в инее. И иней сиял в ослепительно-белых лучах большого шипящего фонаря.

- Как чудесно, а? Поручик, правда, хорошо?..

Бубекин видел, как у Собецкого раздувались ноздри, - так он жадно дышал.

- Как пусто, как мало людей на земле! - продолжал Собецкий. - Как это сказал ваш Лермонтов: «Под солнцем места много всем...» - как это?.. - «...но беспрестанно и напрасно один воюет он... Зачем?».

- Почему *наш* Лермонтов? - не удержался Анатоша. «Что-то, мол, ты ответишь, как вывернешься?».

- Потому ваш, что я ведь - поляк.

Отвечая, Собецкий даже не повернул к Анатоше лица.

Снег скрипуче пел под ногами. Собецкий негромко декламировал какие-то польские стихи. Кажется, что-то о звездах, потому что глядел на небо. С небрежностью старшего, беседующего с подростком, заговорил о Каноусе, солнце мира. Спросил, слышал ли Бубекин что-нибудь об этом светиле...

При других обстоятельствах такой тон прапорщика по отношению к нему, поручику, взбесил бы Анатошу, и он неминуемо резко оборвал бы собеседника. В данном же случае он, еще сам не понимая почему, с неким даже сладострастием радовался этому своему унижению и, простецки, как неуч, болтая, в то же время думал:

«А не попросить ли мне у него рублей десять займы - будто бы я

проиграл все, что имел?.. Тогда, пожалуй, он совсем на меня рукой махнет... Попросить или нет?.. Нет, не стоит, – решил он, – уж слишком настойчиво я буду ему навязывать определенность моего облика».

– Чехов сказал, – говорил Собецкий, идя так же быстро, – что через триста лет все небо будет в алмазах... Вы, русские, восхищаетесь этими словами, а по-моему – неумно: звезды прекраснее алмазов. Мицкевич...

Из станционного здания вышел человек в валенках и три раза ударил в колокол. И не успел еще улететь в синеву ночи последний удар, как позади офицеров пронзительно заверещал свисток кондуктора, и в ответ, тяжело дохнув, паровоз оглушил ночь громогласным гудком. Кондуктор пробежал мимо, маша кому-то рукой. Поспешили и офицеры к своему вагону. У его площадки стоял солдат в папахе, без шинели. Анатоша узнал в нем Стойлова. Подсадив господ, денщик уже на ходу вскочил вслед за ними. Маленькая станция с фонарем-луной скрипуче поплыла назад, колеса долго не хотели раскатываться.

«Пух, пух!», – натужно вздыхал паровоз. Потом он выправил дыхание.

V

Без всяких приключений, благополучно добрались до полка. Бубекин был назначен командующим 12-й роты, а Собецкий – к нему субалтерном.

– Знаю! – поморщился командир полка, прочитав письмо из штаба, врученное Бубекиным. – Этакая мерзость и в моем полку... Нужно вам было соглашаться, боевому офицеру? – и недовольно посмотрел на Анатошу.

– Но, господин полковник, ведь государственная необходимость, – растерялся Бубекин.

Полковник фыркнул в седые усы.

– А на кой черт им надо было впутывать мой полк и моих офицеров в эту необходимость? – недовольно ворчал он. – Не могли иначе устроить? Тут на всю жизнь запачкаться можно. Назначаю этого стервеца к вам в роту, возитесь с ним. Ступайте! – совсем сердито закончил он.

И вот Бубекин с Собецким оказались на позиции 12-й роты, пересекавшей шоссе, несколько возвышавшееся над полем своей насыпью. Так как начальство почему-то не разрешило перекапывать шоссе окопом, то обе полуроты оказались отделены друг от друга. И землянок офицерских было две: ротного, при первом и втором взводах, и субалтерна – по другую сторону шоссе, при остальных.

Такое положение вещей Бубекину не понравилось: а вдруг Собецкий убежит к противнику?.. Он даже на командира полка посетовал, словно нарочно тот усложнил дело. Но Стойлов, с которым Бубекин решил поделиться своими опасениями, успокоил его:

- Как же он убежит? - усмехнулся денщик. - Он же, ваше благородие, при деле, при своей работе. Он теперь рад-радешенек, что остался один, совсем без присмотра. Нет, положение для нас совсем благоприятное...

«Положение благоприятное, - усмехнулся про себя Бубекин. - Этот тип может выражаться и вполне интеллигентно. Действительно, может быть, и нарочно мне дали роту с таким участком. "Случайностей в нашей работе быть не должно!"», - вспомнил он такулинскую фразу.

Началась окопная жизнь. Позиция противника была далека, ружейного огня почти не было, между нашими и австрийскими окопами лежала болотистая летом долина речки Сервича, и осенью, когда выбирались позиции, противники окопались далеко друг от друга.

Несмотря на отдельные землянки, Анатоша, конечно, проводил почти весь день, да и часть ночи, вместе с Собецким. Вместе обедали, вместе ужинали и расходились по своим норам только поздно ночью.

Собецкий оказался офицером исправнейшим, не лодырем: аккуратно поверял полевые караулы, ползал за проволоку по ночам, занимался в землянках с солдатами словесностью. В одном он только не участвовал - в любимом развлечении Бубекина: подкарауливать с винтовкой в руках одиночных шляющихся австрийцев и постреливать в них. Бубекин, бывало, увидит живую цель, выхватит винтовку у наблюдателя-солдата и садит из нее пулю за пулей...

Садит пулю за пулей и кричит Собецкому:

- А ну-ка, Станислав Казимирович... Берите винтовку - давайте бить дуэтом!

Собецкий отказывался:

- Когда боя нет, как-то неприятно... - говорил он. - Ведь вы же *в людей* стреляете! - подчеркивал он значительно. - Вот когда они сами на нас полезут, тогда другое дело...

- В каких людей! - неистовствовал Бубекин. - Не в людей я стреляю, а во врага... Интеллигент вы!

- Ну какой я интеллигент! - оправдывался Собецкий. - Всего-навсего и окончил только реальное в Варшаве...

- За границей-то вы тоже учились?..

- Нет, там я по коммерческой части работал.

Бубекин уже совершенно освоился с Собецким и часто из озорства задавал прапорщику щекотливые вопросы, задавал их просто и самым невинным тоном: почему, например, не поинтересоваться, что делал Собецкий за границей? И Анатоша уже не боялся, что может вызвать подозрение. Но иногда бывало хуже, иногда Бубекину просто хотелось сказать в глаза Собецкого: «Э, да полно вам вола водить! Я ведь отлично знаю, что вы - австрийский шпион!»

Временами это желание было так сильно, что Бубекин даже пугался.

В такие минуты он торопился уйти от Собецкого и, расставшись с ним, начинал придирается к Стойлову – капризничал.

Стойлов же капризы барина переносил покорно, лишь в глазах его появилось какое-то особое, как бы нечто понимающее выражение. И тогда он начинал говорить с Бубекиным тоном врача, разговаривающего с впечатлительными больными. Но этот тон денщика еще более выводил Бубекина из себя.

Ко всему этому прибавилось и то еще, что отношение к Анатоше командира полка, прежде такое отечески-дружественное, теперь явно изменилось. Полковника словно несколько корежило при встрече с Бубекиным, и в жесте, которым он протягивал ему руку, была медлительность, говорившая о неприязни.

«Хоть бы шальная пуля убила этого Собецкого! – мечтал Анатоша. – И на кой мне черт все это!..»

Но Собецкий был жив, здоров и чувствовал себя отлично. Всей этой поганой истории и конца не предвиделось.

Анатоша возненавидел Собецкого, возненавидел ненавистью жгучей, но тщательно скрываемой. И однажды он не мог отказать себе в удовольствии достать у полкового фотографа и показать субалтерну несколько снимков с процедуры приведения в исполнение смертного приговора над двумя шпионами – мужчиной и женщиной, тоже австрийцами и тоже поляками. Они были приговорены к смерти в первый год войны, и приговор приводился в исполнение их полком.

Ах, с какой жадностью ухватился Собецкий за эти фотографии! Анатоша видел, как изменилось, словно вдруг осунулось его лицо, какими человеческими, жалеющими стали глаза и как искренно у него вырвалось:

– Ах, бедная!..

«Почему он пожалел именно ее? – не отрывая жадных глаз от лица Собецкого, подумал Анатоша. – Неужели он ее знал? А ведь может быть... Ну, скорее, скорее, говори еще что-нибудь!».

Но Собецкий молчал, не спуская глаз со страшного изображения повешенной. Он даже лампочку-коптилку переставил так, чтобы лучше осветить фотографию.

– Как вытянуты ноги! – шепотом, в котором слышались ужас и горе, сказал он наконец. – И голова... совсем упала на грудь!.. Почему это?

– Позвонки же сломаны, оборвались...

– Как? – Собецкий поднял страдальческие глаза на Бубекина.

– Ну, как! – жестко засмеялся Бубекин. – Очень просто... – он дотронулся пальцем до шеи Собецкого и почувствовал, как тот вздрогнул. – Вот тут петля, этот позвонок ломается, и голова падает на грудь...

Собецкий сделал быстрое движение, чтобы отодвинуться, но Бубекин уже убрал руку.

- Бедная! - опять сказал Собецкий. - Ведь женщина!..

- Что это вы, право! - со злобой и злорадством стал наступать Бубекин. - Противник у вас человек, шпионка - женщина. Не офицер вы, а какой-то толстовец...

- Видите ли, - стал поспешно оправдываться Собецкий. - Я правда очень чувствительный, даже сантиментальный... Я же вам уже говорил - рано остался без отца... женское воспитание... я, как говорится, маменькин сынок.

«Как ведь врет, стерва!», - возмутился Бубекин, и острая ненависть горячей волной залила его сердце. И опять захотелось крикнуть: «Врешь ты, не маменькин ты сынок, а сволочь, шпион!». Крикнуть, ударить в лицо кулаком и застрелить из нагана.

Бубекин даже отдернулся от стола, но вдруг в темном углу землянки, там, где топилась железная печурка, от которой полыхало жаром, что-то грохнуло и зашипело, обдав офицеров паром.

- Виноват, ваше благородие! - испуганно вскрикнул Стойлов из полумрака. - Я чайник опрокинул, - и он быстрым движением распахнул дверь в землянку. Пахнуло декабрьским морозом. Бубекин пришел в себя.

VI

Выбрал денщика себе Собецкий не сразу. Он долго приглядывался к тем солдатам, которых фельдфебель предлагал ему в слуги. Сначала его выбор остановился было на жуликоватом ярославце Ядрилине, но вскоре он оказался им недоволен и взял себе полячка Бржезицкого. С солдатней своей полуроты Собецкий явно старался сдружиться - никогда никого не наказывал и подолгу засиживался в землянках, беседуя, не брезгуя писанием писем неграмотным и прочее. Но странное дело, солдаты не любили Собецкого - все в нем было для них чужим...

Постепенно начал Бубекин привыкать к Собецкому, стал как-то забывать о том, что за человек у него субалтерн. Да и командир полка, видимо, позабыл об этом, потому что как в былое время стал хорош с Анатошей. Иногда лишь насмешливая улыбка змеилась под седыми усами полковника - не верил старик в проницательность нашей контрразведки, думал, поди, зря оклеветали полячка - исправный офицер...

Раз только заставил Собецкий Бубекина вновь насторожиться.

Как-то раз сказал он Анатоше просительно:

- А не подарите ли вы мне, Анатолий Сергеевич, те фотографии, помните?.. Или продайте...

- Какие фотографии?..

- А помните, вы мне повешенных показывали...

- Вот еще! - насторожился Анатоша. - А мне самому не надо? Нет, дорогой мой, таким снимкам после войны цены не будет!

- После войны им никакой цены не будет, - усмехнулся Собецкий. - После войны их будут целые альбомы... Впрочем, я готов купить их у вас.

- Четвертной за каждую!..

- Вы шутите.

- Нет, вы заплатите! - Бубекин не спускал глаза с лица субалтерна.

- Почему вы так думаете? - пожал плечами Собецкий и опустил глаза.

- Потому что я помню, какое впечатление они на вас произвели, - Бубекин захохотал, он был удовлетворен. - Конечно, я шучу! - ласково сказал он. - У нашего фотографа вы можете достать сколько угодно копий по гривеннику за штуку. Но зачем они вам?

- Затем же, зачем и вам... Для альбома.

- В гостиной на стол?

- Ну нет! - и в этом «нет» прорвалась значительность...

А уж наступил март, прошел март, и позицию развезло весенней ростепелью. Стали поговаривать о скором наступлении.

В эти дни пришла Стойлову телеграмма. Телеграмму при Собецком принесли из штаба, и было в ней только четыре слова: «Мамаша вчера скончалась. Варвара». Стойлов прочитал телеграмму, вздохнул и вышел из землянки.

- Хороший у вас денщик, Анатолий Сергеевич, - сказал Собецкий. - И не дурак, кажется.

- Ничего. Только угрюм очень.

А вечером, стаскивая с барина сапоги в окопной грязи, Стойлов сказал:

- Телеграмма условная, ваше благородие. Требуют бдительности.

И опять стало Бубекину нехорошо.

- Какой еще, к черту, бдительности! - выругался он. - В отхожее место мне с ним вместе ходить, что ли? Застрелить бы его, негодяя...

- Зачем стрелять! - усмехнулся Стойлов. - Тут тонкая работа нужна, ювелирная. Ну да уж теперь скоро...

- Что скоро?

- Скоро он себя должен будет обнаружить, - и, стащив промокший сапог. - Наша работа трудная, ваше благородие! Тогда с фотографиями-то вы на них нехорошо наседали.

- Ты нарочно опрокинул чайник?

- Конечно. Случайностей в нашем деле быть не должно.

- Иди ты к черту!..

- Слушаюсь, ваше благородие...

Вскоре что-то загрузил и Собецкий. Стал говорить о неприятных письмах из дому: жена очень скучает. Конечно, молодая женщина, как бы не набедокурила. И опять он переменял денщика.

В один из этих дней Стойлов сказал Бубекину:

- Такое дело, ваше благородие... Прапорщик Собецкий ищет себе подходящего человека в помощь и никак не находит. Не решается открыться. А без помощника он не может работать: ему нужно с нашего участка организовать перекидку своих людей к австрийцам. Ему пишут, его уже торопят, потому что весна, теплое время настало. Придется мне к нему перейти...

- Но как?

- Таким образом, ваше благородие... Завтра или послезавтра вы принесете свое и солдатское жалование. Положите деньги под подушку, а я будто украду и спрячу в сапог...

- Фу ты, черт, какая гадость!

- Ничего не поделаешь. Иначе нельзя. Необходимо.

- Да иди ты к черту! Кто кем распоряжается: я тобой или ты мной?..

Стойлов взглянул на Бубекина строго.

- В этом вопросе мы после разберемся, когда дело будет кончено, - сказал он.

- Да как ты смеешь, каналья, так со мной разговаривать? Стань смиренно!

Стойлов беспрекословно вытянулся. Он твердо и спокойно смотрел на Анатошу. Помедлив несколько секунд, солдат сказал:

- Ваше благородие, я докладываю вам лишь о том, чего требует дело. Если вы против моего предложения, я снесусь со штабом армии.

- Ты?

- Так точно.

- Каким образом?

- У меня есть для этого возможности. Но только вы можете провалить работу четырех месяцев... Вас за это тоже не похвалят - с капитаном Такулиным шутки плохи...

- Черт! - выругался, сдаваясь, Бубекин. - Ну, стало быть, деньги найдут у тебя в сапоге. А дальше что?

- Вы на меня должны накричать. Браните меня как угодно. Потом напишите рапорт, чтобы меня под суд. Я же попрошу заступничества у прапорщика Собецкого. Он будет у вас просить за меня, я уверен в этом, вы простите, но прогоните меня из денщиков...

- И все?

- Все. Будьте покойны - он меня возьмет в денщики. Ему надо торопиться...

Все задуманное удалось как нельзя лучше. Бубекин, обнаружив исчезновение денег, приказал обыскать Стойлова. Деньги были найдены в сапоге. Бубекин, накричав на денщика-вора, намахавшись перед его носом кулаками, посадил его под арест в землянку телефонистов, а сам сел за писание рапорта.

Вошел Собецкий, уже побывший у арестованного.

- Анатолий Сергеевич, - сказал он. - Рапорт писать пишете, но отправлять его пообождите до завтра. Ведь Стойлова за воровство в боевой обстановке полевой суд-то расстреляет... Вы подумали об этом?

И, поломавшись, сколько было нужно, Бубекин согласился замять дело, - пусть только Стойлов полностью отстоит под винтовкой, сколько может дать ему ротный командир всей полнотой своей власти. И пусть ему на глаза никогда больше не попадается.

А уж через неделю Собецкий попросил у Бубекина разрешения взять Стойлова к себе в денщики. Бубекин, якобы в сердцах, плюнул, но согласие дал.

VI

Была тишайшая майская ночь, безлунная, теплая, совсем уже летняя. Вечером отгрохотала первая гроза, и на западе, куда ушла туча, еще вспыхивали зарницы. На позиции не раздавалось ни единого выстрела, лишь с чуть слышными хлопками высоко взлетали выпускаемые австрийскими часовыми белые шарики осветительных ракет.

Бубекин стоял с Собецким на шоссе, или, как они говорили, на водоразделе их владений. У обоих ноги были мокры от окопной, после ливня, грязи, и теперь обоим было приятно чувствовать под ногами щебенной, прочно утрамбованный грунт шоссе.

У противника вспыхнул прожектор и повел своей голубой метлой по нашим холмам; потом упер ее в заголубевшее шоссе - наблюдатель заметил на нем людей. И сейчас же затарахтел пулемет, и пулевой вихрь высоко просвистал над головами стоявших...

- Ну, покойной ночи! - Бубекин спрыгнул в окоп, зацепился за что-то зазвеневшей шпорой - глупое франтовство на позиции - и заскользил в грязи. Чтобы не упасть, он протянул вперед руки и больно ударился ладонью о корень, торчавший из сырой стенки ямы.

- Черт! - выругался он.

Собецкий хохотал с шоссе - пулемет смолк. Луч прожектора полз влево, туда, где зачернели развалины сожженной деревни.

- Чего торчите? - спросил Бубекин, стряхивая грязь с руки. - Спать пора!..

- Мечтаю, - с тихим смехом ответил Собецкий. - Не хочется спать в такие ночи. О жене думаю...

- Эх вы, женатик, - и Анатоша, звеня злополучными шпорами, побрел к себе.

А часа через два Бубекина кто-то разбудил, потрянув за плечо. Анатоша раскрыл глаза и испугался - землянка была полна людьми. Со сна офицер подумал, что это австрийцы, что он взят в плен. Он вскочил и тут только узнал в человеке, разбудившем его, Стойлова. А среди солдат стоял и трясся так, что слышно было, как стучали зубы, молодой паренек в

русской солдатской шинели.

- Что такое?

- Вот, привел, - ответил Стойлов, и Бубекина поразил волчий, хищный блеск его глаз. - Прямо в землянку как миленький за мной пришел: думал, что я его к Собецкому веду. Вставайте, поручик, необходимо сейчас же Собецкого задержать. Теперь он действительно может уйти. А вы, ребята, смотри, - Стойлов кивнул на паренька, - чтобы он ничего не выбрасывал или, Боже сохрани, не глотал...

Не обратив внимания на вольное обращение своего бывшего денщика - «поручик», как равный, а не «ваше благородие», - Бубекин уже ринулся к двери землянки, а Стойлов за ним.

Ночь уже похолодала, и зарниц не было, ярко сияли звезды. Шли быстро и от торопливости спотыкались и скользили в размокшей глине окопа. И оказалось так, что Стойлов теперь шел впереди.

Когда подходили к шоссе, опять у противника вспыхнул прожектор и пополз по нашим холмам. И в его свете оба увидели на шоссе силуэт. Человек стоял неподвижно и, вероятно, услышав шаги, смотрел в их сторону.

- Собецкий! - узнал и тихо сказал Бубекин и подумал: «Стало быть, еще не ложился, ждет!»

Теперь в душе Анатоши было лишь нетерпение охотника, приближающегося к зверю. И офицер на ходу расстегнул кобуру и выгацил наган.

Продолжали идти, не ускоряя шага. Собецкий на шоссе не шевелился. Вдруг он громко спросил:

- Кто идет?

- Я, ваше благородие! - ответил Стойлов. - Тише, тише...

- А кто с тобой?

- Со мной... - начал было Стойлов, но уж Собецкий уловил в тишине ночи знакомый звон бубекинских шпор.

- Поручик Бубекин со Стойловым? - строго сказал он. - Так!

Он поднял руку, и в его руке сверкнул огонь.

Стойлов всей спиной повалился на Анатошу и сбил его с ног. Скользя в грязи свободной рукой и наганом, офицер выкарабкивался из-под упавшего, а на шоссе вспыхивал и вспыхивал огонек, и пули сочно шмякались то в грязь, то в прикрывавшего Бубекина бездыханного Стойлова. Наконец Бубекин все-таки освободил руку с наганом и, словно заледеневший от ярости, выцелил силуэт и выстрелил.

Тогда Собецкий бросился бежать по шоссе в сторону проволоки и рогаток, преграждавших путь к врагу. Там был зигзагообразный ход, который он знал хорошо. По этому ходу выслались секреты и выходили разведчики.

Там ему преградил было путь часовой, но, узнав в бегущем своего

офицера, солдат растерялся, и Собецкий застрелил его. Но за проволокой шпион все-таки был задержан нашим полевым караулом и при приближении к нему с криком подбегавшего Бубекина застрелился, выпустив в рот пулю из последнего патрона, оставшегося в обойме его браунинга.

VIII

Перед отправлением Стойлова в тыл Бубекин зашел в полковой околоток.

Стойлов, – впрочем, он оказался поручиком Рублевым, в удостоверение чего и предъявил соответствующий документ, – этот Стойлов-Рублев был трижды ранен Собецким, но серьезным из этих ранений было лишь первое – пуля пробила правое легкое. Офицер лежал навзничь, как опрокинутая статуя. Голова его низко и мертво лежала на маленькой и жесткой подушке.

– Почему, поручик, – конфузясь, начал Бубекин, – почему вы не сказали мне, что вы – офицер, не доверились мне? Ведь я же сапоги заставлял вас стаскивать – такая гадость!

– Пустяки! – сучливо-деревянно ответил контрразведчик. – Сапоги, подумаешь! – усмехнулся он невесело. – В нашей работе и не то еще приходится делать...

– Вы не доверяли мне?

– Не доверял? Нет, не то. Так было удобнее и вам, и мне. Надел на себя маску, и баста. Не доверял? Нет! Но, конечно, я не был в вас очень уверен. Да и как можно быть уверенным в новичке? Тем более вы нервноваты, да, – Рублев повернул голову в сторону Анатоши и усмехнулся. – Что он нас так встретил там, на шоссе, в этом, пожалуй, вы виноваты. Зачем вы ему карточки-то повешенных показывали?.. Не надо было. Вы его взвинтили ими на это – умереть, но не даваться в руки. И вообще, в нашей работе чем больше шуму, тем меньше результат. Между прочим, – Рублев опять выпрямил голову и стал смотреть в потолок, – между прочим, баба-то эта, повешенная, знаете кто?

– Кто? – вздрогнул Бубекин.

– Он говорил, сестра его, – с полнейшим равнодушием словно выдавил из себя Рублев. – Сказал – сестра, а может, и соврал. Он очень хотел эти карточки на ту сторону переправить.

– Неужели сестра? – даже задохнулся Бубекин. – А я-то ему...

– А какая разница, – усмехнулся Рублев. – Сестра, брат, мать... Вы ведь очень правильно тогда ему говорили... Помните, когда я чайник-то опрокинул: нет ни человека, ни женщины – есть враг... Все-таки ничего, все-таки как помощник вы были удовлетворительны, я так и доложу...

– Помощник? Чьим же я был помощником? – удивился и даже

несколько обиделся Анатоша.

- Моим, конечно, - усмехнулся Рублев. - Но я вас, да, я вас похвалю - задатки у вас есть.

- Вы думаете, что я буду продолжать работу? - и пугаясь, и уже довольный, спросил Бубекин. - Видите ли, я хочу с вами поделиться... Я со стороны командира полка замечал какое-то как бы неприязненное ко мне отношение: контрразведчик, мол, что-то вроде жандарма. А теперь вот... Выполнили мы с вами нужное и опасное дело, ведь то, что мы сделали, это не пулемет взять наскоком, - это и труднее, и сложнее, а мои приятели, ей-Богу, морды от меня воротят. Ну, не прямо, а все-таки чувствуется. Словно я сразу им всем стал несколько противен.

- Это всегда так, - зевнул Рублев. - Болит немного, - дотронулся он до правой стороны груди. - Да, к такому отношению со стороны окружающих привыкнете. Это оттого, что все нас побаиваются. Мысли-то у людей разные, мыслей-то больше поганных, - вот люди и думают, что мы и мысли их можем читать. Примерно так. А от нас вы уж теперь не уйдете, наша работа затягивает.

В тот же день Рублев был отправлен в тыл. А через два дня вызвали и Анатошу в штаб армии. И в полк он больше не вернулся.

Впервые опубликовано: Рубеж. 1938. №№ 9, 10.

Печатается по: Несмелов А. Собрание сочинений: в 2 т. Т. 2. Владивосток, 2006. С. 140-160.

СТОРУБЛЕВКА

Перед праздниками, недели за две до Нового года, редактор вечерней газеты Яков Львович давал своим сотрудникам специальные задания для двух праздничных номеров - новогоднего и рождественского. Призван он в свой кабинет и репортера Костю Кранцева. В хорошей, дружно склоченной редакции «вечерки» отношения между старшими и младшими служебными рангами были самые товарищеские, - все с друг с другом были на «ты».

И редактор Яша сказал репортеру Косте:

- Ну, тебе, Кранцев задание стандартное. Соберешь анкету новогодних пожеланий. Есть?

- Есть! - ответил Костя.

- Конечно. Тебя не учить, ты наш премьер. К балерине Андогской заглянешь. Понимаешь?

- Конечно! - мотнул головой Костя. - За ней же наш издатель ухаживает. К доктору Крошкину тоже надо будет зайти, он мою жену лечит.

- Валяй, он поговорить любит. Коммерсантов не забудь, которые

дают нам рекламу. К Ивану Ивановичу Рогозинскому загляни, он нам всем вроде папаши. К Степану Гавриловичу тоже надо будет. Кто из нас Ощепкову не должен?

Словом, в пять минут редактор и репортер наметили всех анкетизируемых, и Костя уже хотел было покинуть кабинет, как вдруг у Яши, помешанного на желании оживлять газету, то есть снабжать ее оригинальным материалом, блеснула в голове новая мысль.

- Стой! - сказал он Кранцеву. - Вот что, Костя. Ты уголовный репортер, сколько твоя память хранит всевозможных необыкновенных случаев из городской жизни. И страшных, и смешных. Не напишешь ли к рождественскому номеру рассказик, понимаешь, рассказик из нашей городской жизни? Сможешь?

- Смогу, конечно! - не подумав даже, ответил Кранцев. - Случаев у меня, конечно, за десять лет работы в вечерке накопилось сколько угодно. А рассказ написать, что же, долго ли? Например, о гайке, помнишь?

- Нет, о гайке не годится, - поморщился Яша. - Тут, понимаешь, что-нибудь этакое, рождественское надо. Высокое даже, но с ужасом, с нечистой силой, что ли. С призраками!

- Есть и с призраками, - тотчас же откликнулся Карцев. - В Московских-то казармах, помнишь? Дом с приведениями? Когда еще я, по твоему поручению, всю ночь привидение подстерегал в коровнике. И подстерег. Привидение-то соседом оказалось. Романтическая история.

- Ну, хотя бы в этом роде. Но ты постарайся! Может быть, у тебя талант беллетриста обнаружится. Многие репортеры так в большие писатели выкарабкались, например, Диккенс, а у нас Леонид Андреев. Вот и все.

- Ладно! - усмехнулся репортер. - Ты меня славой Леонида Андреева не прельщай, ты лучше хороший гонорар заплати, скажи там в конторе, - и Кранцев отправился в сотрудическую отписываться.

II

Косте, пареньку неглупому и даже с образованием, казалось, что написать рассказ также просто, как «верхушку» в газете - т. е. большую сенсационную заметку о каком-нибудь ограблении, людоедстве или пожаре с человеческими жертвами. Однако дело оказалось не так. Заметка требовала лишь точного описания того, что видели глаза и слышали уши. Вот и все. Для построения же рассказа этого оказалась недостаточно. Надо было описать то, что глаза не видели, надо было создать жизнь: быть хотя бы маленько, но все-таки творцом.

Это во-первых. Но это было еще, так сказать, полбеды. В описаниях, в «разговорах», т. е. в диалоге, помог бы Яша, известный беллетрист, автор нашумевшего романа, переведенного на несколько иностранных языков. Было и нечто другое, что мешало Косте выполнить прибыльное задание

шефа.

Это другое заключалось в том, что те сюжеты, которые были интересны в пересказе немногими словами, при попытке уложить их в распространенный рассказ сразу же становились скучными. Интриги не получалось, завязка не завязывалась, не было неожиданности и в развязке.

- Ничего не выходит у меня с рассказом! - жаловался Костя своей супруге Раичке. - Какая-то жвачка получается, а не рассказ.

- Ну, и плюнь! - утешала Раичка мужа. - Очень тебе нужно возиться! Пойдем лучше ужинать к Татосу.

- Жалко! Все-таки четвертную за рассказ заплатили бы. Как раз к праздникам!

И хотя Костя, прервав муки творчества, шел к Татосу кушать купаты, шашлык и пить кахетинское № 5, но все-таки, в конце концов, написанный рассказ, - так и не увидел света. Но это случилось уже по совсем другой причине.

Собирая новогоднюю анкету пожеланий, Костя, как и хотел, заглянул к доктору Крошкину. Крошкин был богатым человеком и считался в городе лучшим эскулапом. Конечно, как это всегда бывает в отношении врачей, кое-кто поругивал его коновалом, но разве на всех угодишь?

Во всяком случае, если другие врачи отказывались лечить, то шли к Крошкину, рассуждая так:

- Уже или уморит в раз, или вылечит. Решительный мужчина!

Но на вид Крошкин не производил впечатления решительного человека - скромный, тихий и даже застенчивый, большой любитель поговорить на высокие темы: об искусстве, о литературе и науке и даже о вечности и о Боге.

Между прочим я хочу предупредить читателя, что рассказ наш относится ко временам давно прошедшим, еще гомидановским. Все с той поры в нашем городе радикально изменилось, улучшилось, конечно; и событие, давшее репортеру Кранцеву сюжет для рассказа, в наше время, к счастью, уже произойти не может. Другими словами, все это дело давно минувших дней и старины глубокой. Давно уже нет в городе и симпатичного доктора Крошкина.

Так вот, Костя сидит в его кабинете.

Между доктором и Костей обширный стол, прикрытый поверх традиционного зеленого сукна еще толстым зеркальным стеклом. Под этим стеклом какие-то фотографии, картинки, - все это Косте уже не в первый раз посылаемому к Крошкину, хорошо знакомо. И вдруг он среди подстекольного содержимого видит нечто новое: не первой свежести кредитный билет в стоиенного достоинства.

В те времена в городе ходили блаженной памяти даяны, курс иены был высок; кто имел к этому возможность, иены приберегал, скапливал. И, конечно, сторублевка, да еще как на показ, положенная под стекло

письменного стола в докторском кабинете, не могла не заинтересовать репортера даже чисто профессионально.

- Фальшивая? – спросил он.

- Нет, самая настоящая, – ответил Крошкин. – Храню как память. Это мой гонорар из недавних визитов. Замечательный случай!

- Медицинский случай замечательный? – спросил Кранцев, навастривая репортерские уши.

- Нет, в медицинском отношении случай самый заурядный – абсцесс на ладони, вызванный занозой. Замечателен он в ином смысле. В смысле необыкновенности положения, в какое у нас в городе могут попадать врачи.

- Расскажите, доктор! – попросил Костя, вытаскивая из кармана блокнот. – Вы за сколько же визитов получили эти сто йен?

- Всего за один, – ответил Крошкин. – Но он мог мне стоить жизни!

- Доктор, ради Бога, я слушаю, – даже затрепетал Костя, предчувствуя наличие сенсации, «верхушки» на третью страницу вечерки строк на 250 с заголовком «квадратным» на все семь копеек.

И доктор не стал томить репортера.

- Дней десять назад, – начал он, – когда я уже заканчивал прием, ко мне явился китаец. Одет хорошо, даже богато, но как-то не по росту, точно не в свое. Ботинки явно велики, а штаны короткие, пиджак тоже сидит на могучих плечах так, что сразу видно, что он едва натянут, вот-вот по швам треснет.

Вы знаете, я по-китайски не говорю. Знаю всего слов десять: тунда-путунда, ю-мею. У меня переводчик. Зову его. В чем дело? И вдруг замечаю, – я ведь человек наблюдательный, – что мой Ли, который приступая к исполнению своих обязанностей, обычно с пациентами-соотечественниками держится гордо, надменно, чем меня, скромного человека, часто заставляет сердиться, – теперь вдруг словно переродился. Кланяется, сгибается в три погибели, лепечет униженно. А с прочими он словно сам доктор, а я у него за помощника. Что такое, думаю, и спрашиваю:

- Что это за человек, Ли?

- Его, – отвечает тот, – шибко важный люди!

- Генерал?

- Нетуля. Его не казенный люди, его купеза. Но очень важный купеза. Шибко богатый.

Меня это удовлетворило. Зная, как китайцы преклоняются перед богатством, перед деньгами, я поверил Ли.

- Что у него болит? – спрашиваю я. – На что жалуется?

- Его нету больной, – отвечает переводчик. – У него мадама больная есть. Он вас просит поехать к нему. Его машина ждет.

- Далеко ли?

– В Чэньхэ.

– Такая даль! Впрочем, машина есть?

– Машина есть, – повторяет Ли. – Его говорит, что он, сколько ваша проси, столько и заплатит. Только просит поскорее ехать. У мадам рука распухла, она кричи есть.

– Хорошо, скажи ему, что через полчаса я закончу прием, и мы поедем. Ты поедешь со мной.

Мне показалось, что предложение ехать со мной, которое Ли принимал обычно с охотой, ибо от больных перепадало кое-что и ему, на этот раз было принято им без удовольствия. Он почтительно сказал несколько слов посетителю, который, отвечая, отрицательно затряс головой. Ли перевел мне, что в переводчике нужды нет, что, мол, капитанов бойка хорошо говорит по-русски.

Я попросил посетителя подождать меня в приемной и скоро к нему вышел. В прихожей, надевая пальто, он вытащил туго набитый бумажник и дал Ли десять даянов.

У подъезда моей квартиры стоял автомобиль. Это была карета с шофером-китайцем. Мы сели и помчались. Садясь так вот, с неизвестным мне человеком, я часто думал, что в условиях нашего теперешнего быта с разными убийствами, ограблениями и похищениями, – врач совершенно незащитный человек. Вот везут вас будто бы к больному, а завести могут черт знает куда. И все концы в воду – ищи ветра в поле. Но на этот раз даже этих мыслей у меня не было, – на душе у меня было совершенно спокойно.

Едем. Добрались по ужасной дороге до Чэньхэ. Думаю, ну, сейчас увижу дворец этого самого ходеньки. Добираемся до окраины поселка. Шофер уменьшает ход. Наконец-то! Уже совсем темно. Останавливаемся. Я собираюсь вылезать и поднимаю свой чемоданчик со шприцами, некоторыми инструментами и лекарствами, который я всегда беру с собой, когда собираюсь визитировать.

Машина остановилась. Обе дверцы распахиваются, в карету вскакивает несколько китайцев, одетых простонародно, и я бьюсь в их, вдруг схвативших меня, руках. Пытаюсь кричать, но мне уже зажимают рот, мне завязали глаза.

И мы снова мчимся.

Вы можете представить, что я переживал? Я, конечно, тотчас же понял, что я попался на их примитивную хитрость, что я почти пропал. И я отлично понимал, что о сопротивлении нечего и думать, что при первой же попытке, скажем, к бегству я буду моментально убит. Мне оставалось только одно – покориться. В таком случае за мое освобождение на меня будет наложен выкуп, вернее, ограбление, но что же делать, жизнь дороже денег.

Так мы и мчались. Я молчаливо, с завязанными крепко глазами, мой

же пленитель о чем-то говорил с китайцами, заскочившими в машину. Ни какой враждебности они ко мне не проявляли. Даже наоборот, кто-то из них сунул мне в рот сигарету и сказал:

- Ваша кури, пожалуйста! - и дал мне огня. Закурил я с наслаждением. Табак успокоил нервы.

Сколько прошло времени? Ах, не спрашивайте! Мы мчались и мчались, а может быть, были уже за его чертой.

И вдруг - стоп, остановка.

Я слышу голоса многих подбегающих к машине людей, их китайскую речь, и думаю на оперный мотив:

- Что час грядущий мне готовит?

Дверь нашей кареты раскрывается. У меня все еще завязаны глаза, но я чувствую это по волне пахнувшего холодного воздуха. Мне снимают повязку, закрывавшую глаза. Я выхожу.

Темно, но не так уж чтобы не различить ближайших предметов. Передо мной фанза и около нее несколько землянок. Два окошечка фанзы освещены. Китаец, привезший меня, жестами указывает, что я должен следовать за ним. Я повинуюсь.

И тут, у самых дверей фанзы, я вижу невысокий столб, врытый в землю. К этому столбу привязан китаец в халате.

Выражение его глаз, когда он глянул на меня, до сих пор не могу забыть: так могут смотреть, такой взгляд может быть лишь у приговоренных к смертной казни! Ну, конечно, замерзнуть через несколько часов привязанным к этому столбу. И только тут я по-настоящему испугался, я понял, что дело нешуточное, что может быть, и меня ждет такая же участь. Не окажусь ли я через час рядом с ним у этого же самого столба?

Но как я мог изменить свою судьбу? Я должен был делать то, что мне приказывают.

Я вошел в фанзу.

Она была дурно освещена маленькой керосиновой лампочкой, и я не сразу разобрал, кто поднялся из-за стола мне навстречу. Лишь через несколько секунд глаза мои освоились с обстановкой, и я мог разглядеть того, перед кем так подобострастно склонился китаец, похитивший меня из дому и привезший в эту трущобу.

Это был китаец огромного роста, одетый просто, но тепло - на нем была ватная куртка, крытая хорошая материя, и ватные штаны, запрятанные в сапоги. На боку его болтался деревянный ящик - кобура маузера. Глаза с изрытого оспой лица смотрели смело, мужественно.

- С изрытого оспой лица? - спросил Кранцев, на секунду приостановив свой бегающий по бумаге карандаш.

- Да, да! - доктор значительно поднял глаза. - С изрытого оспой

лица. Передо мной был сам Корявый!

– Господи, Господи, – пролепетал Костя. – Сам Корявый! Да ведь это же вот какая сенсация!

III

Сделаем маленькое отступление. Теперь имя, вернее кличка «Корявый» нашим молодым читателям ничего не скажет. Но лет пятнадцать тому назад наводила она трепет на жителей Харбина.

«Корявый» – это была кличка атамана шайки хунхузов, терроризировавший не только Харбин, но и его окрестности. Никакой особенной храбростью бандиты из шайки Корявого не отличались, даже больше того, они были трусами и убегали при малейшем же намеке на возможность сопротивления их жертв. Весь ужас для населения заключался в том, что Корявый работал в полном контакте с существовавшей в то время гоминдановской полицией.

Именно это и делало Корявого неуловимым (его никто не пытался ловить) и действительно грозным для незащитного населения.

Но продолжаем рассказ доктора Крошкина.

– Мы рассматривали друг друга, я – с душевным трепетом, он – довольно добродушно.

– Здравствуй, – сказал мне он, – Ваша доктор Крошкин?

– Да, – ответил я. – Я доктор Крошкин.

– Моя мадама больная есть, – пояснил бандит. – У него рука ломайла, – и только тут я обратил внимание на то, что в фанзе кто-то стонет. Взглянув направо, я увидел на канне лежащую человеческую фигуру.

– Ваша моя мадама лечить могу? – опять обратился ко мне Корявый.

– Могу, – ответил я. – Но надо осмотреть больную.

– Конечно, – Корявый сказал несколько слов по-китайски. Женщина с канна стонущим голосом ответила ему. Вероятно, это означало, что она не в силах подняться, потому что привезший меня китаец, уже скинувший с меня пальто, бросился к канну и стал помогать больной.

Я попросил Корявого посветить мне. Он бросил кому-то несколько слов по-китайски. Чьи-то услужливые руки схватили лампочку со стола и приблизили к больной. Я увидел совсем юное женское личико, весьма привлекательное – китаянке едва ли было больше 16-17 лет. Это личико пылало от жара.

Кисть левой руки у больной оказалась замотана грязной тряпкой.

Я стал возиться с ее рукой. Попав в профессиональную плоскость, я спокойно занялся своим делом, совершенно забыв о том, где нахожусь. Я обнаружил абсцесс на ладони, вызванный как мне сказали, занозой. Вся рука была вымазана какой-то черной мазью, остро пахнувшей керосином. Кроме того, кисть руки оказалась перетянутой шнурком, что и усложнило

воспалительный процесс.

Я выругался, перерезал шнур, потребовал горячей воды и стал обмывать отвратительную мазь. Теперь уж я распорядился, как и подобает. Затем я достал из своего чемодана все, что мне требовалось для маленькой операции, т. е. для вскрытия нарыва: инструменты, вату, марлю, дезинфицирующие средства.

Увидев ланцет, китайночка испугалась и стала хныкать.

- Ваша режь хочу? - спросил меня Корявый.

- Да, - ответил я.

- Ее говори не надо резать.

- Тогда ее помирай есть, - строго сказал я. - Обязательно помирай.

Китайночка еще похныкала, но помирать не захотела.

- Ее говори, режь могу, - дал разрешение Корявый.

Я приступил к делу. Не прошло и получаса, как нарыв был вскрыт, гной удален, рана промыта и рука забинтована. Китайка сразу же почувствовала облегчение; когда же я еще дал ей проглотить таблетку укрепляющей патентики, то она совсем воспрянула духом и попросила кушать.

Тут я сказал, что свое дело я сделал, что больная через несколько дней будет совсем здоровой, но что ей ежедневно надо делать перевязки, пока ее рука совсем не заживет. Я с полчаса еще растолковывал Корявому, как надо делать перевязки, и снабдил его запасом марли, ваты и бутылочкой риванола.

Корявый поблагодарил меня и пригласил к столу: подали очень вкусные пельмени и предложили горячей ханы.

Тут Корявый сказал мне:

- Ваша видел люди у столба?

- Видел, - ответил я.

- Его тоже доктор есть. Китайский доктор. Его плохо моя мадам лечи. Моя думаю совсем кончай его. Моя так думай: хороший доктор - хорошо, плохой доктор - совсем плохо. Такой люди совсем не надо живи.

Итак, пока я возился с больной, разговаривал с Корявым и угощался его пельменями, в десяти шагах от меня замерзал человек. Я, конечно же не мог отнестись к этому равнодушно. Но, с другой стороны, я и сам еще не знал, что будет со мной. Отпустит меня домой с миром или Корявому все-таки захочется взять с меня выкуп? А то, может быть, меня еще заставят жить в этом разбойничьем гнезде до тех пор, пока рука бабенки совсем не заживет. Вы понимаете меня, мое положение?

- Еще бы. Конечно! - не отрываясь от записывания, ответил Костя. - Дальше, доктор, пожалуйста!

- И вот, - продолжил Крошкин, - я самым вежливым и даже нежным тоном, каким говорят с капризными детьми или со слабоумными, стал доказывать моему хозяину, что вины за китайским доктором большой нет,

что он просто неуч, как большинство китайских врачей-самоучек. Лучше, мол, было бы простить его, взяв с него обещание никогда больше не заниматься врачеванием.

Но на Корявого моя логика не подействовала.

Он отрицательно мотал головой. Он говорил, что если бы отпустил его, но только бы за хороший выкуп. Но доктор беден, взять с него нечего, поэтому пусть лучше он замерзнет.

– А ваша, – закончил он свою речь, – может теперь ехать домой. Ваша от наша спасибо. Моя сразу видит, что теперь моя мадам хорошо есть, – тут он вытащил из своего пояса толстенную пачку денег, выбрал из нее вот эту самую сотенную бумажку, – Крошкин постучал по стеклу, – и, протянув ее мне, сказал: «Ваша скоро праздник, пожалуйста, возьми за работу».

Я бы, конечно, с удовольствием отказался от этого гонорара, но мой отказ обидел бы, быть может, бандита. За стеной фанзы уже затарахтел заводимый мотор автомобиля, привезшего меня в это разбойничье гнездо.

Я поблагодарил и взял сторублевку. Один из бандитов предупредительно держал мое пальто. Я должен был одеваться.

Но ведь в десяти шагах от меня за стеной фанзы погибал человек! Нет. Я не мог уехать, я должен был сделать еще попытку спасти его.

Ведь человеческая жизнь! Эту жизнь надо было спасти во что бы то ни стало! Ей-богу, я бы встал на колени перед разбойником, если бы имел хоть малейшую надежду размягчить его бандитское сердце. Но разум мне подсказывал, что тут надо было действовать иначе.

– Ведь китайцы народ практичный, – подумал я, и блестящая мысль осенила мою голову.

Я сказал:

– Слушайте, начальник! Давайте мне этого доктора. Я буду с ним заниматься, обучу его, и он станет врачом. Тогда он будет работать для вас и заплатит вам выкуп. Так вам будет от него польза. Если же он замерзнет, то пользы вам не будет от этого никакой.

Корявый подумал и сказал:

– Это правильно. Ваша хорошо говорит.

Словом, несчастный эскулап через несколько минут был введен в фанзу. Ему дали горячей ханы, пельменей. Видимо, живучий от природы, он быстро отошел и, когда ему рассказали, в чем дело, бухнулся в ноги сперва перед Корявым, а потом передо мной. Мой отъезд, таким образом, несколько задержался.

Скоро я, опять с завязанными глазами, уже несся домой. Рядом со мной сидел и вырученный мной китайский лекарь. Нас довели до первых домов Чэньхэ и здесь высадили. Машина унеслась куда-то, я же знаками объяснил лекарю, чтобы он шел куда хочет, что мне теперь нет дела до него.

– Моя не касайся! – сказал я, и он меня понял.

Еще раз бухнулся передо мной в ноги, он исчез в темноте, а я дошел до остановки легковых машин и поехал домой. Вот и все.

IV

Дня через два Костя принес свой рождественский рассказ, – он понравился и Яше, и всем нам.

– Из тебя, Костя, – говорили мы приятелю, – если не Диккенс, то уж Леонид Андреев обязательно выйдет. Вот оно, где таланты скрываются, оказывается!

Но, увы! Чудесный рассказ Кости так и не увидел света – в печать он не попал.

И вот почему: доктор Крошкин вдруг обратился к Яше со слезной мольбой – рассказа о визите его к хунхузам не печатать. Оказалось, что спасенный им китайский лекарь все-таки явился к нему и потребовал, чтобы он исполнил обещание, данное Корявому, то есть учил бы его всем тайнам европейского врачевания.

Крошкин прогнал нахала. Лекарь ушел, но сказал, что будет жаловаться Корявому. А тут еще это рассказ! Вдруг о нем узнает Корявый – что тогда будет!

Доктор так нервничал, что решил даже покинуть Харбин навсегда, переехать в Шанхай, что позже им и было выполнено. Правда, Костину работу он все-таки оплатил, выдал ему за ненапечатание рассказа двадцать пять Гоби, что автора несколько утешило. А то уж он начал было ворчать:

– Вот и сделайся тут, в Харбине, Леонидом Андреевым. При наличии Корявых, управляющих нашей жизнью!..

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1938. № 12.

ЛЮДОЕД

Лет двадцать тому назад еще во Владивостоке пришлось мне встретиться с людоедом и при этом не с «профессиональным», так сказать, каннибалом, не с дикарем из недр Африки или с какого-нибудь Богом забытого островка в Тихом океане, а с соотечественником и даже стихотворцем, а именно – фельетонистом из владивостокской коммунистической газеты «Красное Знамя». Настоящую фамилию его я не знаю, имени тоже не помню, стихотворные же фельетоны свои он подписывал псевдонимом Игорь Северный.

Мой Северный явился во Владивосток в двадцать втором году из тайги, где он партизанил с красными. Это был высокий мужчина, худой, жилистый, очень физически сильный. Судя по тому, как он владел пером стихотворца-фельетониста, он был не без образования, писал грамотно. Но

ударения в иностранных именах и фамилиях он перевирал ужасно, что говорило о том, что даже средней школы он не окончил, *интеллигентом* не был.

Словом, о прошлом Северного я знаю очень мало. И вот почему: кто-то из общих приятелей мне шепнул, что новый знакомец мой в прошлом каторжанин, освобожденный от многих лет наказания революцией. Но что касается своего прошлого, то Северный не был разговорчив, в откровенности не пускался.

Но он мне нравился. Очень добрый, отзывчивый, всегда готовый помочь, услужить, выручить из беды. Как боец в партизанских отрядах в прошлом и сотрудник коммунистического органа в настоящем Северный должен был быть партийцем или кандидатом в члены партии (об этом тоже я его не спрашивал), но ничего подчеркнуто коммунистического или даже просто советского ни в речах его, ни в поведении не было. Просто хороший мужик, рубаха-парень, такой же представитель богемы, как и я сам. Пришел Северный на помощь и мне, когда меня как бывшего офицера и сотрудника белых владивостокских газет никуда на службу не принимали. Надо было стать членом профсоюза, а для этого требовались рекомендации. Северный дал мне свое поручительство, и так началось наше знакомство.

Встречались мы не часто, но всегда дружески, причем обычно обращаясь ко мне с душевным: «Ах, милый поэт мой!» – Северный всегда тащил меня куда-нибудь «посидеть», т. е. выпить, закусить, поболтать. Я не отказывался. Материальные дела его были во много раз лучше моих, ибо, несмотря на его рекомендацию, меня все-таки в профсоюз не приняли, и существовал я только на случайные литературные заработки. Да и приятели у меня все были такие же, как и я, неприкаянные в советских условиях люди, та самая «компашка», с которой я позднее бежал в Маньчжурию.

И вот однажды летом 1923 года сидим мы с Северным на «Веранде», как назывался чудесный ресторан над самым морем, над голубой, уже вечеряющей бухтой. Низкое солнце освещает ее справа, и паруса рыболовных судов, входящих в нее на отдых, нежно-розоваты, и розоваты вершины пологих, тихих волн. И дальше море, уже злое, и на границе его пурпура, уже у горизонта, чеканятся хребтастые очертания острова.

Столик наш у самых перил террасы и накрыт на двоих. В лица нам веет с моря йодистая соленая свежесть, сменившая тяжелый зной городского дня. И сиди я с кем-нибудь другим, а не с Северным, было бы мне удивительно хорошо. Но к Северному у меня всегда почему-то держится в душе настороженность, и я сам не могу объяснить себе ее причину. Почему бы? Отчего? Ведь человек этот ко мне расположен, и, конечно, искренно. Но я, разговаривая с ним, словно как бы оглядывался

на то, что сказал. Нет у меня к нему полной веры, чужой он мне, но с другой стороны, – нужный человек для меня, висящего в советских условиях на волоске, на *липочке*... Как же его избегать?

И вот мы сидим, и официант подходит к нам с карточкой:

– Выбирайте, граждане!

На водочке и на закуске к ней сходимся единогласно.

– Дай ты нам, дорогой товарищ, – говорит Северный, ко всем обращающийся на «ты», – дай ты нам грибков да огурчиков, да кеты отварной. И скумбрии еще дай маринованной – толковая рыба.

– А из горячего чего?

Северный думает, а я говорю:

– Мне, пожалуйста, телятины дайте.

И вдруг моего знакомца передергивает, будто я его этими словами как пилот по больному месту провел.

– Пожалуйста, милый мой поэт, – пылко говорит он мне, – не заказывай телятины: видеть я ее не могу! Чего хочешь бери, но только не ее. Очень прошу тебя!

Я, конечно, не стал возражать: мало ли каких блюд некоторые не переносят; я, например, вымя видеть не могу, от вкуса его меня с души воротит.

– Хорошо, – говорю, – Бог с ней, с телятиной. Дайте мне, официант, солянку по-московски.

И стали мы выпивать и насыщаться, поглядывая на отличное море, любуясь им. У Северного же, когда он становился навеселе, был такой жест: выпьет рюмку и ножкой ее постучит по голове. При этом он как-то так надувал щеки, что получался гулкий звук. И, постучав, Северный, дурачась, говаривал:

– Пустовато, еще малость влезет! – и наливал рюмку снова.

Все это проделал он и сейчас, и потом, зорко взглянув мне в глаза (бывал у него иногда этакий острый, въедчивый взгляд), сказал мне:

– А почему, милый мой поэт, ты меня никогда ни о чем не спросишь, никаких вопросов мне не задаешь? Я к тебе, прямо скажу, всей душой, а ты все как будто побаиваешься меня. Словно с прирученным медведем обходишься: приручен-то, мол, приручен, а как бы не укусил.

Этими словами он, конечно, если говорить правду, попал в точку, и я несколько смутился и не совсем толковое ответил насчет воспитания, кажется; с детства, мол, меня приучили не напрашиваться на откровенности.

Впрочем, Северный на мои слова не обратил внимания, а приказав еще подать водки, он сказал:

– Вот хотя бы о телятине. Каждый бы на твоём месте спросил, что такое, почему телятины не ешь? А ты, как валдайская девица, глазки вниз и молчишь. А между прочим тут бо-ольшущая вещь открывается. Тут для

настоящего писателя сюжет. Ты ведь с кем сидишь, а? – и он поднял на меня строгие глаза.

На взгляд его я ответил непонимающим взглядом, и он продолжал:

– Ты ведь с людоедом сидишь, милый мой поэт. С настоящим людоедом! Не с человеком, которому человеческого мяса пришлось отведать по случаю или по незнанию, а с таким, что мясом этим сознательно напился!

– Ты шутишь, – ответил я, хотя отлично видел, что никакой шутки в словах моего собеседника нет. Но как бы я иначе мог реагировать на такое признание? Когда вам вдруг признаются: я – вор, я – предатель, я изнасиловал малолетнюю, и прочее, и тому подобное, – во всех таких случаях полагается встать и сказать: «Если так, то простите, я должен вас оставить, так как с таким человеком (вор, предатель, насильник) порядочному человеку общения иметь не полагается».

Но... людоед? Ведь это какая-то совершенно особая категория человеческого падения, к которой нельзя подойти трафаретно. Тут или безумие, разновидность садизма, или озверение, вызванное муками голода. А может быть, даже извращение чувств, в основе своей глубоко героических: например, мать в Поволжье убивает умирающего от голода ребенка, чтобы мясом его накормив его брата или сестру, *своих же детей*, которых она еще надеется вырвать из когтей голодной смерти. Может быть, – возможно представить, – что для спасения этих же детей она и сама подкормится этим мясом, ибо если она умрет от истощения, ее детей сожрут озверевшие соседи. Так что к факту людоедства надо подходить с осторожностью.

– Да нет же, не шучу я! – даже гневно вырвалось у Северного: он понял, что своим «ты шутишь!» я хочу отклонить от себя некий нелегкий суд над тем, что произошло с ним когда-то, отклонить, отстранить, как трудное, сложное и неприятное дело. И я должен был выслушать рассказ моего приятеля.

Необходимое вступление к этому рассказу я передам своими словами и возможно короче. Отряд, в котором партизанил Северный, принадлежал к Тряпицынской группе, уничтожившей город Николаевск-на-Амуре. Группа эта не была однородной в отношении изуверств и кровавых дел, не все составившие группу партизанские отряды одобряли бешеную линию поведения руководителей – Тряпицына и Нины Лебедевой, но все же под угрозой обвинения в измене и собственной гибели линии этой в той или иной мере все должны были следовать. Но к весне, т. е. к началу навигации, стал нарастать страх и перед возмездием за все содеянное со стороны Ниппона, его военного флота. И тогда тот отрядик партизан в числе около шестидесяти бойцов, в состав которого входил и Северный, решил уйти от Тряпицына, чтобы самостоятельно пробраться в те

населенные пункты, где была уже стабилизированная советская власть.

Я не помню маршрута, который избрали для своего следования эти отколовшиеся партизаны, да и не в этом дело. Уход их осуществился благополучно – они покинули Тряпицынский лагерь, выбрались из охраняемых пространств и углубились в тайгу. Конечно, ими были взяты с собою некоторые запасы продовольствия, но в достаточном количестве провиантом разжиться не удалось, так как сборы проходили потаенно. Легкомысленное русское «авось» и надежда на мясо, которое можно добывать в пути охотой, – все это положило конец колебаниям: отряд на походе.

Но пусть рассказывает сам Северный.

Сверля меня тем своим острым, буравчатым взглядом, о котором я уже упомянул, он, многое, видимо, упуская, подходил к главному.

– Заголодали мы, – говорил он, – очень скоро, и оттого, главное, что все мы были народом недисциплинированным и начальнику нашему – каторжанину старому Александру Арефьевичу по прозвищу Старик – почти не подчинялись. В бою, конечно, другое дело: в бою или, скажем, перед боем, в виду белых, он нам как царь был. Убить, кого надо, – убьет, и все молчат. А как из боевой обстановки выйдем – все равны, хоть самого Старика за бороду таскай. Словом, сам знаешь, какова партизанская дисциплина.

Правда, Старик предупреждал нас. Старик говаривал:

– Для ча, – ворчал, – запасы зря жрете? Когда еще до местов жилых дотащимся. Смотрите, друг друга свежевать начнете!

А мы ему:

– Не трепись, Арефьич! Мало ли в тайге мяса? Изюбря уьем, сыты будем!

– А ты поищи его в тайге, изюбря-то!

И действительно, что-то нам дичины в тайге не попадалось на глаза, но мы думали – оттого это, что пока мы сами за дичиной не доглядываем. Однако, милый мой поэт, прав был Владимир Клавдиевич Арсеньев, когда писал, что тайга зимой пуста от зверья, хоть шаром в ней покати. Лишь местами зверье держится, по окраинам урмана что ли. Ведь Арсеньева-то ты, чай, знаешь или читывал?

– И читал, и знаю лично, – ответил я.

– Хорошо о тайге пишет, по-настоящему, – похвалил писателя Северный. – Но это так я, между прочим, – о себе я буду говорить. Так вот, заголодали мы. Пришел такой день – нечего жрать. А кругом лес и мороз. Мороз и лес – тьма, холод, глушь. И глушь эта гудит, стонет. Ветер издали тяжелой волной идет, волну эту несет и вдруг, деревья закачав, пронесет над тобой дальше.

– Красиво! – вырвалось у меня.

Северный взглянул на меня почти с ненавистью.

- Красиво! - злобно вырвалось у него. - Свистун ты стихотворный! Не красота - пытка этот шум тайги, если он изо дня в день над тобой. Даже для нас, привычных, да еще на голодное брюхо! Как зубная боль он. Впрочем, может, тебе этого и не понять. Но дальше. Лошаденка с нами шла, тащила во вьюках снедь. Тащить нечего стало - зарезали. Едим - суп варим. Однако на шестьдесят-то человек надолго ли лошаденки хватило? Два что ли, три дня - и нет лошаденки, и вот он, голод, уже перед каждым, не угодно ли кору глотать! Белок, правда, стреляли, раз глухаря удалось найти и снять, но что это все на шестьдесят голодных мужиков - варево это только раздражит! Каждый на другого, который в котел ложку опускает и на ней голову беличью тащит, как на врага смотрит. А котлов у нас было два, и по их числу на две группы мы разбились. И у каждой группы свои охотники, стрелки лучшие. Но не каждой группе одинаково везло. Той группе, с которой Старик был, лучше везло, лучшие стрелки в ней оказались, я в ней был.

Получилась вражда, и она-то разбила нас надвое, с особыми начальниками у каждой. Старик не возразил.

- Хорошо, - говорит, - идите своим путем. Разберемся. Может, это и к лучшему. Только уж пусть никто из вас на нашем ходу не попадается.

- Да и вы тоже, - отвечают, - на нашу мушку не садитесь!

- Знаем! - и разошлись.

Теперь, милый мой поэт, ведаешь ли ты, что такое голод? Нет, не знаешь! Кушать хочется, аж мутит! Совсем другое! Ты вот, скажем, курить бросил, потому что тебе это строжайше запрещено доктором. И ты согласился с ним, понял, что папироса для тебя - что ровно яд, что сулема. И ты решил твердо: не курю. И не куришь там час, или два, или день даже. И думаешь: вот какой я молодец, не курю ведь, поборол, кажется, свою страсть. И гордость в тебе. Но вдруг идешь ты и видишь - лежит на столе чей-то паршивый окурочок с желтым, замусоленным, мокрым от слюней мундштуком. И вид этого окурочка разом все в тебе переворачивает. Впрочем, даже и не переворачивает, ибо никаких чувств, мыслей, внутренних борений и всего прочего в тебе даже и нет вовсе, а просто чужая сила, табачная сила, тянет тебя к этому окурочку, и ты хватаешь его, ищешь в кармане спичек и жадно, одним махом докуриваешь. А потом уж начинается всякая психология, раскаяние, стыд, страх и прочее. И ты снова даешь себе слово не курить, не повторять малодушного поступка. До нового окурочка, конечно, до того, милый мой поэт, пока ты не поймешь, что бессилён бороться со своей дурацкой страстью.

Это - первое. А второе вот еще что. Вот ты, например, голоден, то есть тебе очень хочется кушать. Ну-ка, что ты, например, тогда в своем уме представляешь?

- Я? Горячую, хорошо поджаренную котлету. Знаешь, нажмешь ее

вилкой, а из нее сок!

- Вот! Один котлету себе представляет, а другой, скажем, просто краюху хлеба. Но так скажем: идет перед тобой, голодным, здоровая чушка. Идет, хвостиком своим вертит, хрюкает. Представляется ли тебе в аппетите твоём кусок ее кровавого мяса, мяса кровоточащего еще, теплого, на тарелке лежащего?

- Нет! - с отвращением и решительно сказал я.

- Так, стало быть, ты и голода еще не знал! - торжествующе заметил Северный. - Голод, дорогой мой поэт, начинается тогда, когда в человеке кровожадное существо пробуждается, когда его даже к сырому мясу *потянет*. Вот! Когда до этого человек дойдет и когда *этого* ему как курить захочется, тогда он и людоедом становится.

- Но каждый разве? - с отвращением спросил я.

- Этого не знаю. Я ведь не проповедую и не лекцию читаю, а о живом случае говорю. *О себе говорю*.

- Я сырого мяса, как и каждый из нас, сначала тайком попробовал, - продолжал Северный. - Убил как-то три белки и думаю: утаю одну, поем вдосталь. Но как утаить? Да просто же: сырую съесть, благо соль в мешке солдатском имеется. Только бы никто из товарищей не увидал, а то убьют еще! И как пес голодный, забежав в чашу, за кустом ободрал и сожрал ее. Только уж очень жестко сырое мясо, ох, жестко, не по зубам человеческим! Где тут разжевать его второпях. А потом отрыгать стал парной свежинкой, чуть не сорвало, но скрепился, волей рвоту преодолел, страхом: вырвет кусками мяса - улика. Так, значит, я сырого мяса отведал, а на другой, на третий день уж и по привычке к нему.

А потом, так как все это делали и, конечно, дознались до того, то и вошло у нас в обычай, коль принес ты на табор четыре или более белки, то одну отдавать добытчику - пусть, если хочет, сырьем жрет. И стали мы входить во вкус сырого мороженого мяса.

Все-таки слабели мы, да и белка кончилась, когда вышли к одной реке и пошли по ней, замерзшей, вверх. Кедровника нет, и белки нету, да и сил нету подалее от становища отходить. Отощали очень. А о другом отряде, как разошлись, ни слуху, ни духу. Сначала их охотничьи выстрелы все-таки слышали издали, потом, когда дальше разминулись, не слышать их стало. Но однажды на привале услышали два выстрела. Один, потом минут через пять - другой: значит, где-то поблизости пробираются, дичь постреливают. А в эти дни нам уже очень плохо пришлось, совсем заголодали.

Один из нас и говорит:

- А не податься ли нам к Безухому? - так атамана их звали. - Может, у них лучше, чем у нас? Так все-таки будет поддержка.

Старик, однако, не соглашается.

- Не думаю, - ворчит. - Тем более раз они по обиде на нас отошли.

Предупреждаю, только неприятности могут быть. Однако раз в той стороне они что-то постреливают, в ту сторону и нашим бы охотникам сунуться. Может быть, хоть белка там есть. Такое дело правильное.

Однако никто особой охоты идти на выстрелы не выказал. Дело под вечер, костры разложили, трех каких-то птиц в котле развариваем – все-таки и тепло, и хлебово. Но один все-таки встает, берет винтовку, говорит:

– Посмотрю малость. Только похлебки мне оставьте.

Это говорит партизан по прозвищу Иван Кайло – мощный такой и веселого нрава мужчина, отлично свыкшийся с сыроедением. Из каторжан сахалинских, убийца.

– Свирепый? – спросил я.

– Как тебе сказать? – пожал плечами Северный. – Если, скажем, в театральном смысле, то вовсе нет. Веселый, говорю, и даже добродушный. Взгляд только у него был нехороший: стоячий взор. Уставится, умолкнет и смотрит. И нехорошо становилось каждому от такого взора.

Вот он и ушел. Сколько проходит времени с его ухода, не скажу – не помню, но только не так далеко от нас вдруг раздается выстрел. Немного погодя – второй и потом еще два. Что такое? Это же ясно, не по дичи. Почему такая перестрелка?

– Не на сохатого ли напали? – соображает кто-то. – Или на медведя?

Старик же, подумав, говорит:

– Нет, это, пожалуй, не то. Однако надо идти: помочь надо, а может, и выручить.

Тут несколько человек поднялись, и я с ними. Пошли. Уже чуть светло в тайге – вечереет. Проходим некоторое расстояние и слышим, кто-то нам навстречу тяжело тащится. Маленько опосля видим, что валит на нас сам Иван Кайло и тащит что-то за собой на лямке. И до чего же все мы в тот момент обрадовались! Вот, думаем, убил Кайло кабана или медведя и к нам волокет, – кончено наше голодание!

Но не кабана и не медведя тащил к нам Ваня Кайло, а застреленного им сотоварища нашего из другого отряда, мужичка по фамилии Кульбасов, неизвестно как и зачем к нам приставшего.

Старик спрашивает Ваню:

– Зачем убил?

Тот рапортует:

– Так и так, мол. Шел я по тайге, скоро на следы набрел. Иду по следу. Иду и вдруг замечаю, что на крики мои: «Эй, добрый человек, свои идут», – который впереди не то что не выходит, а закруживать меня начинает, норовит позади меня выйти. Мать честная, думаю, что такое, что сей сон значит? И я тоже тогда кружить начинаю, и кружим мы друг вокруг друга, точно два тигра. Потом он меня высмотрел все-таки и выстрелил. Вон она, пуля-то саданула, – и Ваня показал нам срезанный

пулею лопоух ушанки. – Тогда я, конечно, в него. И еще раз он в меня, и я в него. Тут он и пал.

– Да для ча же он в тебя палил? – помолчав, с сомнением спросил Старик.

– Это уж сами рассудите. Не иначе как на мясо меня метил, – хмуро ответил Кайло.

– А ты зачем его тащишь к нам? – это кто-то из нас спросил, не помню кто, и Ваня Кайло не ответил на этот вопрос, да и не ждали мы ответа. Только бросил он тут убитого с развороченной пулей головой и угрюмо сказал:

– Как хотите. Тащить больше не буду – устал.

И пошли мы к табору, оставив мертвеца неподалеку в тайге.

В таборе костры горят, народ спать устраивается. Каждый покалечен, поморожен, брюхо пустое – в чем душа держится. Погаснут невзначай костры, и никто не проснется, потому что клонит ко сну смертельно, и нет от него спасения. А вокруг тишина мертвая, лесная, снежная, и звезды что подсолнухи по небу рассыпаны. Заснул я сразу, но спал, наверное, мало. А проснулся я от такого сновидения: приснилось мне, что будто какая-то женщина из горла русской печи противень вытаскивает, и на нем здоровенный кусок жареного мяса, и дух от мяса чудесный идет. Вот это-то дух меня и пробудил.

Пробуждаюсь и что же – весь сон исчез, конечно, а запах жареного остается. Поворачиваю голову вправо, к костру, и вижу, что Кайло Ваня сидит у костра и жареное мясо ест, а другой кусок на углях жарится, и от него-то и дух.

И тут, как курильщик к окурку, потянулся я к этому мясу: ничего не соображая, ничего не думая, только дай! И, представь себе, милый мой поэт, ведь охотно дает мне Ваня порядочный кусок мяса, и я его проглатываю, чувствуя вкус телятины, и еще прошу. И еще дает мне Ваня мяса. Но на просьбу мою в третий раз говорит:

– Поди сам и отрежь.

– Куда поди?

– А туда, – и головой на тайгу, – в ту сторону, откуда мы вечер пришли.

Рассказчик умолк и с жалкой, несчастной улыбкой, мучительно искривившей его бритые губы, посмотрел на меня. Я молчал. Я отвернулся и смотрел на море – уже заведеревшее, ближе к нам темно-синее, но еще алое вдали.

Но все-таки надо же было что-нибудь сказать, и я, преодолев отвращение, взглянул на Северного и заговорил о голоде в Поволжье. Потом я сказал, что мне некогда, что я очень тороплюсь, и, расплатившись, мы вышли из ресторана.

После этого я с Северным долгое время не встречался; до известной степени избегал его, – кому приятно общение с человеком, который пусть даже против своей воли однажды людоедствовал? Однажды? Нет! Не сам ли Северный, приступая к рассказу, заявил, что он человеческим мясом (видимо, в дальнейшем) питался *сознательно*.

Но все же меня очень интересовало недосказанное в его мрачайших из повестей о человеческом падении. Неужели, думал я, человек, насытившийся мясом себе подобного, только тем и отреагировал на это ужасное дело, что теперь «не может есть телятины», вкусом своим напоминающей ему те куски человеческого мяса, что он глотал ночью у костра? Неужели же Северный не был наказан чем-то или как-то?

И все-таки мне пришлось встретиться с Северным и дослушать его рассказ. Небезынтересно, что он, увидав меня, даже с некоторой горечью посетовал на мое уклонение от его *исповеди*. Именно так он и сказал:

– Вы, мол, интеллигенты, – чистоплюи, вам бы только самим не запачкаться, не попасть в отходники. Оттого вас так народ и ненавидит. Ты вот даже исповедь мою прослушать не хочешь. Тебя с души воротит.

– Если уж исповедь, так исповедуйся, – хмуро ответил я. – Но гожусь ли я в духовники? Ты бы лучше к священнику пошел.

– Нет! – ответил Северный на это. – Мне отпущения не нужно. Может быть, я грех-то свой уже искупил? Мне высказаться хочется. Только пойдем куда-нибудь подальше от людей.

И мы пошли на ту высоченную сопку, что поднимается за морским штабом, вправо от улицы Петра Великого. Винтообразная дорожка вела к ее вершине, увенчанной каким-то метеорологическим сооружением вроде башенки. Была там и скамья, на которую мы уселись. С этого высокого места открывался чудный вид на город, на убегающие на запад сопки с бетонными, блестящими на солнце как серебряные, очертаниями фортвов. А на восток было море, голубое, дымчато сливавшееся с горизонтом. И у горизонта чернела точка уходящего парохода, и за этой точкой тянулась тонкая и длинная ниточка дыма.

Мы сели на скамью, но Северному не удалось сразу приступить к рассказу. Снизу раздался тоненький детский голосок, что-то лепетавший, смеявшийся. На сопку по нашему следу поднималась молодая женщина с шести-семилетней девочкой: мать и дочка. Девочка, прелестный, упитанный, розовощекий ребенок с сытыми, точно ниточками перетянутыми в запястьях ручками, запыхавшись от подъема, побежала к нашей скамье и упала на нее животиком, крича матери:

– Мама, мама, а все-таки я первая, ты опоздала! – и, поглядев на нас, недовольно, – Но скамейка уже занята какими-то дядями!..

– Ничего, малюлька, мы уйдем! – ласково сказал Северный и погладил ребенка по голому плечу. – Ишь какая пышка!

Мне стало до тошноты отвратно. «Уж не оценивает ли этот людоед девочку как хороший кусок мяса?», – враждебно подумал я и поспешно встал, чтобы уступить скамью матери и ее чудесной дочке. Мы обогнули метеорологическую башенку и, несколько спустившись, сели на каменном скате сопки.

И тут я дослушал окончание рассказа Северного.

– Ты представь себе такое, – начал он. – Ты представь себе, милый мой поэт, тридцать мужиков, уже две недели досыта не евших и с неделю по-настоящему голодающих. Все они исхудали, поморозились, и еще ест их вошь, Бог знает откуда взявшаяся. Спят они между кострами, и спят только потому, что сон их – все равно что обморок. Обморок этот продолжается часа два – голод снова приводит их в чувство, и ощущение его похоже на то, что в желудке твоём сидит крыса и этот твой желудок грызет, поедает внутренности: такая в кишках боль! Говорят, что вот даже от зубной боли с ума сходят, петлю на себя накидывают... Так ведь зуб-то вышибить можно, а кишки из себя не вытащишь! Конечно, голодать можно и по сорок суток, как некоторые голодают, – так ведь это в тепле, лежа на постели, да еще с горячим чайком. И главное, по доброй воле: надоело или не под силу показалось – и покушал. И сознание пользы тебе от этого голода есть: я, мол, потерплю, а потом мне зато хорошо будет. И к тому же не надо тебе из последних сил, да и не из сил уже, а от крайнего твоего изнеможения, – сухостой для костров рубить и ветки для подстила. И вши тебя не грызут, и одичалого рычащего соседа рядом с тобой нет, и главное, может быть, – нет у тебя мучительного сознания, что продержишься ты еще неделю или полторы – и кончатся все твои муки в первой же избе встречного поселка, и жив останешься.

Страх смерти и муки голода очень быстро превратили каждого из нас в зверя. И мы стали смотреть друг на друга как волки. И, как потом выяснилось, не одни мы с Ваней Кайло попробовали тогда человеческого мяса. И другие его отведали, но только все молчат об этом. И вот однажды на рассвете один из нас не поднимается: умер ночью, замерз, может быть. Самый бессловесный был, истощенный, и его на дальний край от костров оттесняли. Фамилию его не помню, а звали его Митяем. Так мы этого Митяя и скушали.

– Как? – вырвалось у меня.

– Поделили по руке, по ноге, по мягким местам – одно название, конечно, мягкие-то, кожа только, – и сварили. И когда дух супяной из котла поднялся, так крыса-то, которая в брюхе у нас сидела, чуть не загрызла каждого. Едва сырым человечину из котла руками не повытаскали. Старик с маузером над котлом встал. «Убью, – кричит, – благо все равно теперь друг другом нам придется кормиться, раз уж мы до людоедства дошли». Осадил он нас, дождались варева, насытились. И

представь себе, милый мой поэт, подлость человеческую – ведь повеселели все.

Молчим, конечно, о том, что сделали, но в головах такие мысли: он, мол, Митяй-то, все равно мертвый, ему все равно, мы ли его съели, медведь ли. А нас он поддержал. Не помирать же! Может, это и предрассудок, что человечину при нужде есть нельзя. Больше, пожалуй, от попов такие рассуждения, а попов революция раскассировала. Вот живого убить и съесть – это конечно, это другое дело! Так и тому подобное.

И дальше пошли.

Тут по речке нашей стали мы подниматься на перевал. Старик, знавший эти места, говорит:

– Теперь, если хребет перевалим, до первого жилья не больше, чем сто верст. Теперь по нашей ходьбе с неделю ходу осталось. Эх, дичину бы Бог послал – дотащились бы, подхарчившись!

Ваня Кайло замечает:

– На перевал поднимемся. Тут самые пустые, безличные места. Голое место! Тут только изюбри ходят, да разве занесет его на нас.

– Это ты к чему каркаешь? – строго спрашивает Старик.

– Между прочим, – отвечает, – говорю. А соображать сами на утро будете.

И замолчал. А мы понимаем, к чему он эти слова подвел.

Должен я тебе, милый мой поэт, еще одну главную вещь сказать, а именно, что ведь один-то из нас все-таки Митяя не ел! Партизан Шкурин его не ел и к котлу даже не подошел. Никто из нас не спросил его, почему не ешь; ясно, конечно, почему: не хочет поганиться. Только Ваня Кайло над ним пошутил:

– Не кушаешь, Шкурин, значит, самый первый ты кандидат в котел!

И на это Шкурин ответил:

– Я не в осуждение не ем, жрите как псы. А я образа и подобия терять не хочу.

– Ну, говорю, – и попадешь в котел!

– А это мне, мертвому, без значения будет.

Строгий был мужик.

А нам, парень, после того, как мы человечины отведали, совсем плохо стало. Она в нас разврат сделала. Пока голодали и не дошли до нее – все-таки терпели. Кору жевали, ремни варили, корни какие-то к вареву прибавляли, откопав: обманывали голод! А здесь, после мертвечины, невтерпеж стало. Ведь вот оно, мясо-то, телятина-то эта самая человечья – рядом с тобой шагает. И полезут в голову мысли, как бред вязкие: а не садануть ли пулей в затылок того, кто перед тобой шагает?

– Но, – начал я, чувствуя ужас и отвращение к рассказчику, – но Шкурин-то как? Ведь он-то сохранил себя. Разве из другого теста был человек?

Северный развел руками.

- Этого и мы не понимали, - ответил он. - Мы ведь даже обыскали его, думая, что он сухари таит.

- Ну?

- Ни крошки не нашли. Кору грыз, как и мы. Но наконец стало и его покачивать. И это только и спасло меня.

- Спасло вас? Как?

- А вот слушай. Ведь бросили мы все-таки под конец жребий на мясо, не выдержали! Под вечер это уже было и в месте страшном. Совсем уже почти на самом перевале были. Речка в ручей превратилась, в три сажени ее русло стало. И с одного берега скалища над ней навесилась, почитай, до пяти саженой. Голо кругом и ветер как стальная плеть - хлещет и замораживает. Тут, в русле, под скалой, мы и затаборили. Скала-то - прикрытие от ветра. И представь себе - даже топлива для костров достаточно нет. Все-таки кое-чего набрали, развели огоньки, положились около них.

Ваня Кайло говорит:

- Если не поедим - завтра пропали. Не протащиться нам эти сто верст, хотя с перевала и пособнее будет идти.

- Это так, - соглашается Старик, и сам у костра, что лесовик белобородый, вся в сосулях да в инее борода!

- Так что же делать? - спрашиваем мы.

- Известно что, - отвечает Старик. - Кто-то один за всех должен положиться. Верстов сто всего до места-то. Обидно теперь всем погибать. Одного теперь хватит, - с перевала сойдем, все-таки птица будет попадаться.

- Да, - говорит Ваня Кайло. - Не иначе как надо нам жребий метать!

И, парень, жребий этот мы все потянули. Все, кроме Шкурина, - его не неволили: не ешь, если брезгуешь человечинной, так и голову свою не подставляй. Кроме того, что греха таить, совсем уж плох был Шкурин в этот вечер, многие думали - не дотянет до утра, стало быть, на него смотрели как на мясной запас. Однако все-таки жив человек, и на насильное убийство никто из нас идти не хотел. Сотоварищи ведь! Этого у нас не было.

И вынул Ваня Кайло из мешка своего старую засаленную колоду карт, стасовал, Старику дал снять. На туза пик загадали.

- Тащи, командир, потом я потащу, - говорит Ваня Кайло.

Запротестовал Старик.

- Мне, - говорит, - атаману вашему, тащить карту не полагается. Нет такого устава, чтобы командиров жрать, не для этого я с вами мытарился, выводил вас из тайги, от Тряпицына увел. А если не согласны, так сначала, пока я еще карту не потянул, нового командира себе выберите.

Тут малость поспорили. Одни согласны, другие возражают. Но ведь

надо нового атамана выбирать – канитель, до того ли? И порешили: пусть Старик карту не тащит, освободить его от этого. Поручили Старику держать колоду, чтобы обмана не было.

Потянул карту Ваня Кайло: десятка трэф – пронесло. Другой руку тянет.

И вот что я тебе, милый человек, скажу: в этот момент, на время это, даже про голод мы забыли, крыса рвать нам внутренности перестала. Такого страха никогда я в жизни своей не испытывал. Говорят вот, что когда все свое состояние на карту ставят, так трясет таких людей. Что там состояние! За жизнью или смертью потянул я руку свою и вытащил из колоды пикового туза!

И тут все замолчали и от меня отошли. И остался я один. Постой, парень, дай-ка я закурю.

Достав из кармана папиросы, Северный долго не мог закурить: дрожали руки, он, взволнованный воспоминанием, все ломал спички. Наконец, закурив, он стал продолжать свой рассказ.

– Я один остался, – начал он. – Понимаешь, один, хотя вокруг меня были все те же люди, хорошо известные мне ребята. Но они как бы не замечали меня, избегали встречаться со мной глазами, отворачивались, когда я смотрел на кого-нибудь из них. Меня, как Северного, как их товарища, для них уже не было. Я стал мясом, убойной скотиной, которая может мычать, ржать или хрюкать, но никому уже нет дела до того, какие именно и как она будет выражать чувства.

И я как-то на четвереньках отполз от костров к самому навесу скалы и сел, прижавшись спиной к ее ледяному камню. Мне хотелось что-то сказать, обратиться к товарищам с какими-то словами, но я понимал, что этого делать не нужно, что я, пожалуй, даже не имею на это права. Ведь сам, милый мой поэт, подумай: к врагу еще можно обращаться с какими-то словами, ну хотя бы бранить его. Ведь враг все-таки *человек*, он только убьет тебя, а не съест! Но разве можно вступать в разговоры с волчьей, например, стаей, которая кружит вокруг тебя, как кружили вокруг меня мои товарищи, может быть, уже сговариваясь о том, как убить меня, чтобы пожрать. Я уже со страхом смотрел на каждого из них, если он приближался ко мне, я *зыркал* глазами, как потом мне рассказывал неунывающий Ваня Кайло.

Разве можно обращаться с человеческими словами к людоедам, которые видят в тебе только мясо? Представь себе чушку, которая вдруг обратилась бы с человеческой речью: «Не режь меня, я жить хочу!». Такая просьба убоины вызвала бы в мяснике только смех – ведь чушка и создана для того, чтобы идти на мясо! Да, мясник захохотал бы... Но мои *мясники* пришли бы в ярость, если бы я обратился к ним с этими же простыми и естественными в человеческих устах словами: ведь я же *сам* ел человечину

и сам тянул карту, участвуя в мясной лотерее. Этим я сам дал право на собственное съедение.

Заскули я, заканючь, и меня бы с яростью немедленно же убили! Я это очень понимал. Ведь оставить мне жизнь значило не только не съесть меня, но еще и накормить меня человеческим мясом, то есть убить кого-нибудь другого из нашей же среды, ибо иначе не позже чем завтра мы должны были бы все погибнуть.

Мое положение было безвыходно. Страх смерти, охвативший меня, даже убил во мне чувство голода, родил ту подсердечную тошноту, что заставила смолкнуть все мучительные ощущения моего желудка и кишечника. Но я знал, что мой покорный вид, моя угнетенная поза только разжигают эти самые ощущения во внутренностях моих товарищей. Мне спасения не было, ибо если в ком-нибудь из моих товарищей-людоедов и пробудилось бы вдруг чувство отвращения к убийству и людоедству, то на протест его другие бы ответили:

- Ладно, пусть Северный живет, но тогда мы тебя заколем!

Смерть и пожирание другого – вот какова была цена моего спасения, цена невероятная!

Но меня все-таки медлили убивать, видимо, еще не сговорившись окончательно, как это сделать. Ведь если мы уже пожирали человеческую падаль, то убийство, да еще своего товарища для этой цели, – было еще делом новым, являло собою новую и уже глубочайшую черту оскотинения. Следовательно, еще требовалось некоторое преодоление того последнего человеческого, что еще в нас оставалось.

И в эти ужасные для меня минуты, когда Ваня Кайло отозвал уже в сторону Старика, и они о чем-то зашептались (обо мне, конечно), вдруг раздался слабый голос Шкурина, лежавшего около самого костра.

- Товарищи! – начал он. – Товарищи, послушайте, что я вам скажу. Дюже худо мне, и не доживу я до утра. Верно говорю – не доживу.

- Ну и что? – равнодушно спросил кто-то.

- А вот что... Не убивайте Северного... Падло человеческое ели – туда-сюда. Смалодушничали, не вытерпели – Бог простит. Живого человека засвежете, хуже псов себя на всю жизнь чують будете. Меня поутру съешьте, даю мое согласие и ваш грех отпускаю. Послушайте меня, образ и подобие не теряйте! – и Шкурин умолк, утомленный с трудом произносимыми словами.

А для меня, поэт мой милый, эти слова как музыка зазвучали, одним словом, они во мне отдались – *спасение!* И тут я уже смело стал искать глаз моих товарищей, упираться в них взглядом своим – неужели, мол, и теперь меня убивать на мясо будете? А товарищи глаза свои от меня отводят, смущаются.

Старик же, подошедший к костру, молчит. То на меня, то на

Шкурина смотрит.

Первым Ванька Кайло, удивительный человек, слово подал. А удивительным я его вот почему назвал – веселей и храбрей парня в отряде не было. И подлее тоже. И все ему как с гуся вода. На убийство первый и на песню первый, ни мысли, ни жалости, ни колебаний, кайло железное! Ни кусочка души в нем не было, оттого и лихость его шла.

И Ваня Кайло говорит:

– Ты, Шкурин, стало быть, как вроде на подвиг идешь для спасения души. Против этого мы, конечно, не возражаем, но только чего ради мы ждать будем твоей отходной? Половина-то нас до утра без пищи, глядишь, и поколеет. Вы понимаете, товарищи, к чему я эти слова произношу?

Тут меня опять страх смертный скрутил, аж закорезило всего. А товарищи молчат. Шкурин же чуть этак слышно говорит в ответ:

– Что ж, добейте, если надо, если вам невмоготу. Все равно жизни я уж не чувствую, не надо мне ее... Пострадать хочу! Очиститься...

И умолк. И моя жизнь висит на липочке. И чувствую я, что надо мне молчать в тряпку, ибо хоть на самую малость выдай я желание спастись ценою жизни Шкурина, как озлобятся все ужасно, и тут мне конец. Чувствую я, что надо мне молчать, героем быть, будто и не обо мне речь.

И вот Старик, лесовик белобородый, гмыкнул носом, шагнул вперед. И такие, мне показалось, тут молчание и тишина настали, что слышно, как у каждого сердце стучит. А Старик еще раз гмыкнул и говорит:

– Вольному, – говорит, – воля, а спасенному рай. И такой мой будет постанов. До утра подождать, не подохнем! Северного пока что от жребия освободить, но пусть жребий за ним остается: до жилья еще сто верст, – и глазами всех обвел, нет ли, мол, возражений. Однако никто не сопротивляется. И тогда я встаю и низко всем кланяюсь. И говорю, *степенно говорю*, сдерживая запрыгавшее от радости сердце:

– Как товарищи велят, так тому и быть. Мое дело маленькое.

И беру топор, чтобы рубить сухостой да подстилку себе устраивать на ночь. Я возвращен в человеческое общество, пока это общество опять не проголодается, сожрав Шкурина, и не вспомнит обо мне. Но иронизирую я сейчас довольно подло, конечно, ибо разве я не член этой же банды людоедов? И еще неизвестно, буду я или нет пожирать мясо моего спасителя? Ведь если рассуждать холодно и строго логично, без давления того, что называется совестью, то почему бы мне и не подкрепиться мясом этого святого человека? Ему уж все равно, и тем более он сам добровольно отдал свое тело на съедение, а меня это спасет от смерти. Хотя, конечно, спасет, может быть, лишь только для того, чтобы на втором или на третьем привале неунывающий Ваня Кайло раздробил мне череп топором, подкравшись сзади.

Но истощение ли мое, дошедшее уже до того предела, когда чувство

голода гаснет, или нервное потрясение, вызванное пережитым, когда я сидел обреченный на немедленное съедение, – но то, что было всего мучительнее, а именно боль во внутренностях, похожая на терзание их небольшим, но свирепым животным, совершенно утасла. Мной овладело безразличие, чувство полного равнодушия ко всему – такая лень, такое желание покоя, сна, что когда удаленная от пламени костра спина начинала мерзнуть, во мне не было уже сил переменить положения тела, повернуться спиной к огню.

А наступила уже ночь. Здорово вызвездило, как всегда в мороз. Я засыпал, может быть, замерзал. Память хорошо сохранила тонкий и высокий звук в стеклянном, ледяном воздухе. Словно кто-то на заунывной трубе подал далекий сигнал. Потом еще и еще – несколько труб, и вой их сливается вместе, становится слышнее, отчетливей, может быть, ближе. Кто-то рядом со мной встает, ясно вижу черный силуэт на фоне отсветов костра. Вставший щелкает затвором винтовки, кричит: «Волки!». Поднимается еще партизан. А вой волчьей стаи все ближе.

Он обрывается над самой моей головой. Я тоже пытаюсь подняться, встать. И в этот миг черное огромное существо пролетает над нашими головами и, издав тонкий вопль, падает за кострами, вздымая облако снежной пыли.

Я хотя и испуган, но все еще ничего не понимаю, товарищи же мои уже палят в черную тушу, которая бьется на снегу. Другие открывают огонь по парным огонькам, что замелькали вправо и влево от нас, по волкам, обежавшим скалу и уже спустившимся в овраг. Преследуя изюбря, парень, стая эта загнала его на скалу и заставила прыгнуть вниз!

Северный замолчал, его утомил рассказ. Глаза его устало глядели вдаль, на море, совсем бирюзовое. Потом он долго закуривал, но уже пальцы у него не дрожали.

– Собственно, и все, – начал он опять. – Дальше уже ничего особенного не случилось, только вот Шкурин все-таки умер, хоть мы его и отпаивали горячей кровью зверя. Да с волками еще бой пришлось выдержать – нахально они лезли на нас, на свежий мясной дух. Но которых мы подстреливали, тут же на наших глазах остальные разрывали и жрали. Вели себя, в сущности, совсем так же, как и мы до этого времени. А потом мы наелись и спали, спали чуть не сутки. И когда сытые стали вспоминать наши голодные дни, как мы мертвую человечину ели, то было нам и стыдно, и противно, и дали мы друг другу слово никому об этом никогда не рассказывать. И, может быть, только я один это слово нарушил, рассказав тебе про наше людоедство. Да Ваня Кайло посмеивался, называя всех нас нервными барышнями.

– Чего ж особенного? – искренно удивлялся он. – Если человек по подлой охоте человечину жрет и даже для этого людей убивает, так его,

конечно, истребить надо. А если, как нас вот, нужда заставляет, так что ж, погибать что ли? Да гори оно синим огнем, чтобы я от голоду сдох, когда мясо, хоть и человечье, рядом! Я твой окорок, Северный, вот как бы еще обглодал! – и, сытый, довольный, веселый, он хохотал вовсю.

А потом мы Шкурина похоронили – это, парень, сделали от всего сердца. Не о себе только говорю, а каждый понимал и благодарен ему был, что он нас от убийства остановил... Набросали мы на него, покойного, камня с гору. Только опытные партизаны говорили, что ни к чему это, – все равно волки разгребут кучу-то, доберутся до мяса, как и мы добирались до него через все запреты Божеские и человеческие. Так-то, дорогой мой поэт, вот отчего я теперь телятину не ем – скотство она мне мое напоминает, людоедство мое. А суди ты меня, как хочешь, я тебе уж за то благодарен, что ты имел терпение эту пакостную историю выслушать. А слушал ты ее хорошо, даже в лице менялся. Спасибо тебе, сердцем вижу, исповедь мою ты принял и меня облегчил. А теперь, если хочешь, пойдём водочки выпьем...

И мы поднялись и стали спускаться в город.

Впервые опубликовано и печатается по: Рубеж. 1942. № 45.

ИГРА НА МЯСО

В.К. Арсеньеву, исследователю Уссурийской тайги

Партизанский отряд, оперировавший в районе Имана, был окружен и уничтожен японцами.

Только двоим удалось спастись, но и им угрожала гибель. С коробкой спичек и краюхой хлеба ушли они в тайгу и блуждали по ней.

Мучил гнус. Днем мошкара слепила глаза, и от укусов ее на коже открывались кровоточащие ранки. А в сумерках появлялся мокрец. Эти мельчайшие, невидимые для глаза насекомые забирались под белье и ползали по телу, ожесточая и мучая.

Тайга опустела, спасаясь от гнуса; звери ушли к морю или забрались на высокие горы, где ветер защищал их от москитов.

Симаковский и Бочкарев голодали.

Их путь лежал к китайскому охотничьему поселку в верховьях реки Имана, уже на половине хребта Сихоте-Алинь, откуда было недалеко до моря, до бухты Ольги, а там были свои.

Шли по тропе.

Вся тайга в тропах, но это была тропа не звериная, а людская. Следы топора, затесы и то скрученные, то надломленные ветки — язык тайги, ее иероглифы — говорили, что тут путь к жилью.

Было уже за полдень, когда оказались у первых фанз поселка. Первым, что увидели, была обращенная к югу ляо-е-мяо — маленькая кумирня. В ее крошечном окне стояли деревянные чашечки, грубые и черные, с золой и огарками свечей. Тут же, около вареного риса, лежали и позолоченные палочки: для еды богу.

Снаружи мотались по ветерку красные тряпки, и на них тушью были начерчены обращения к духам тайги, рек и умерших.

Дальше — поляна с двумя фанзами.

Путники вошли в двор первой. Посредине двора стояла арба, тяжелая, двухколесная. Массивные колеса ее, обитые огромными гвоздями с коническими шляпками, напоминали колеса старинных пушек.

Залаяли собаки. На лай вышел манза¹.

Он был в наколенниках из грубой синей дабы² и в синей же куртке. В зубах трубка. Лицо цвета темной меди.

— Лайла! — крикнули партизаны приветствие.

— Гуй-ля-ла! — ответил китаец. Так отвечают только возвратившимся из отлучки друзьям: партизаны поняли, что их встретили хорошо, а могло быть всяко.

Чувствуя, что наконец-то нервное напряжение упало, партизаны сели на край колоды-кормушки.

Вышло еще несколько китайцев. Горланно галдя между собой, они подошли к гостям:

— Ваша какие люди есть?

Бочкарев показал на красную звезду на фуражке.

— Пауртизаны?

— Партизаны, красные солдаты, — по-китайски пояснил Симаковский. — Мы идем через горы. Проживем у вас сутки и за все заплатим.

Нет большего удовольствия для китайцев, как слышать родной язык из уст иностранца: они задвигались и засмеялись, дружелюбно похлопывая гостя по плечу.

— Твоя шибко хорошо говори! — сказал один.

Он был получше и поподтянутее прочих одет, а русский военный подсумок на поясе и патронташ через плечо — досказал остальное: хунхуз³.

¹ Манзы (пидж.) — местное именование китайского и маньчжурского населения Уссурийского края, в первую очередь, оседлого.

² Даба — китайская хлопчатобумажная ткань.

³ Хунхузы — банды пришлых китайских налетчиков на Дальнем Востоке России и в Маньчжурии, которые занимались грабежом, захватом в рабство и таким

Да хунхуз и не скрывал этого. Похлопав по подсумку ладонью, китаец сказал:

– Моя твоя товарищ есть. Весте японцев и офицерей бей есть. Ходи в фанзу.

Он оттолкнул руку Бочкарева, протягивавшего деньги.

– Это не надо. Моя шибко богатый, моя угощай товарища.

И они вошли в фанзу.

Тут, на хозяйской половине, был и еще один хунхуз. Огромный, сопящий (Симаковский никогда не встречал среди китайцев таких гигантов), он валялся на кане¹. Но и он поднялся при входе неожиданных гостей.

II

Завечерело.

Манзы возвращались с работы, мылись горячей водой, ужинали, разбирали свои постели и ложились. Из печки последний раз выгребли угли и перенесли в котел. Пусть, засыпанные золой, тлеют и греют фанзу.

Большая фанза среди полной темноты кажется иллюминированной. Во всех концах ее светятся огоньки курильщиков опиума и вспыхивают трубки, раскуриваемые угольками.

Недолго длится беседа. Китайцы засыпают, а спят они голыми и ногами к стене, головой же внутрь фанзы. Только двое спят по-нашему, по-русски – партизаны. Сморенные путем, сытой жирной пищей и горячей китайской водкой, они уже уснули: Симаковский – вздрагивая во сне и постонывая, Бочкарев – спокойно.

А за перегородкой, в хозяйской половине, разгорается игра. Играют, как всегда, шумно, горячась, теряя самообладание. Игра – сай-цзы, кости.

На столе большой квадрат, разделенный диагоналями, с нумерацией. Белые костяные кубики с точками. Точки черные, очки, от одного до шести.

Высокий, худой и стройный хунхуз, тот, что встретил гостей, кладет их в деревянную чашечку, закрывает ее такой же чашкой и, потряся, бросает кости на стол.

Ему не везет, и лицо его передергивается, словно резиновое.

образом терроризировали местное население. Состояли в основном из беглых китайских солдат, крестьян, деклассифицированных и ссыльных. Действовали с XIX в. до победы народной революции в Китае. Название происходит от кит. «honghuzi» – «краснобородый». Любимым прибежищем хунхузов были непроходимые леса, где они жили в землянках, шалашах из ветвей, одиноких фанзах и т.п.

¹ *Кан* – кирпичная или глиняная лежанка, пристроенная к печи как дымоход; нагревается горячим воздухом.

Выигрывает гигант. От азарта, жадности и водки его круглое жирное лицо в поту. Крупными каплями он блестит на лбу и скатывается по щекам, оставляя мокрые глянцевитые дорожки.

Гигант поспешно вытирает огромной мягкой ладонью подбородок, рот и над носом, и кричит ставки. К нему уже переходит последнее достояние товарища: заветные, зашитые в пояс пять русских золотых десятирублевиков.

Кривляясь лицом, хунхуз распарывает пояс большим поварским ножом.

Пять желтых кружков звенят на столе.

И уходят в карман к гиганту.

Пауза.

Хунхуз, поворачиваясь, хватает из угла свою винтовку — хорошо смазанный японский карабин, срывает подсумок и патронташ и кладет на стол.

Кости падают, партнеры смеются; их сочувствие на стороне выигрывающего. А гигант берет винтовку и переставляет ее в свой угол.

И вдруг вся рабочая половина фанзы, уже спавшая, вскакивает и бросается за перегородку. Манзы услышали страшные слова:

— Та-хула-цзы!

Молодой хунхуз ставит на кон себя самого; если он проиграет, он на год переходит в разряд рабов.

III

В хозяйском углу фанзы тишина. Манзы затаили дыхание. Сжатый ими высокий Симаковский, загнанный сюда общим движением фанзы, смотрит на стол, где сейчас должна решиться участь молодого разбойника. Рядом, сопя, почесывается Бочкарев:

— Я уж думал: белые! — шепотом говорит он товарищу. Он бы ушел, да назад через дверь не протискаешься.

Теперь мечет кости гигант. Подняв чашечки и тряся ими, он говорит, пытаясь разубедить товарища.

Молодой ударил кулаком по столу. Кости сухо шелкнули по доскам. Симаковский видит: пять, четыре, шесть... много! Теперь черед молодого. Три раза тряхнул чашками и бросил кости на стол.

Молодой выскочил из-за стола, стоя стаскивает с себя рубашку.

— На мясо! — услышал Симаковский крик китайцев. Игра на мясо!

Молодой хунхуз выпячивает вперед желтый вздрагивающий живот и вдруг, согнув спину дугой, захватив в кулак порядочный кусок кожи на животе, ударом ножа обрезает ее и бросает на стол, заливая его кровью, которая хлещет из раны.

Мясо шмякнулось и перевернулось кровавой стороной...

Гигант побледнел. По законам тайги он должен был сделать то же самое, иначе ему грозила смерть, так мстил обычай за удачу в игре. Теперь, если игрок откажется от ставки, только что выигранный им раб имел право отрезать от его живота столько мяса, сколько сможет захватить рукой.

Бедный великан дрожал. Сказал что-то... И вдруг все китайцы с неожиданной яростью бросились на него.

Вход освободился, партизаны выскочили и метнулись к своим местам.

— Как бы они... потом... и на нас! — крикнул в ухо Симаковскому Бочкарев. — Идем к винтовкам.

Душераздирающий гвалт на хозяйской половине затих. Затем раздался визг, словно большую свинью резали, и падение чего-то: операция была окончена, человек умирал.

Крича и горланя, манзы-рабочие возвращались на свою половину.

На русских они даже не взглянули. Многие смеялись, тонко повизгивая. Через несколько минут через рабочую половину проволокли труп гиганта. И опять темнота расцветилась огоньками трубочек.

Утром, когда партизаны собирались покинуть фанзу и увязывали в мешок купленные на дорогу чумизовые лепешки, манза-повар сказал:

— Наша капитана зови ваша... Туда ходи! — мотнул он головой на хозяйскую половину. Партизаны вошли.

Молодой хунхуз, бледный, но веселый, лежал на кане. От живота его, покрытого тряпьем, шел пар и пахло кислым: лежала горячая припарка из теста.

Он приветливо закивал головой.

— Ваша плати не надо! Совсем не надо! — говорил он слабым, но радостным голосом. — Моя опять богатый есть и ваша любит. Моя к вам в гости ходи.

Другой китаец, улыбаясь, подал ему плоскую маленькую чашечку с черным напитком: лекарство, настой чудодейственного женьшеня. Он выпил и опустился с локтя навзничь — больно было.

— Моя японцев шибко не любит! — шепотом, гортанно, продолжал хунхуз. — Моя вместе с вами бить их будет.

И он протянул руку, прощаясь.

Когда партизаны снова шли тайгой, давно уже миновав поселок, Бочкарев сплонул, искоса весело посмотрел на товарища и сказал:

— Ну и люди! А в общем ничего... Только дикари очень... На мясо играть!

— Так ведь иначе хунхуз бы рабом стал, — ответил Симаковский.

— Положим, — согласился Бочкарев. — Выхода ему иного не было.

И оба стали думать о том, как, блуждая по тайге, иногда они падали духом. Приползала изредка и мыслишка о сдаче... Но теперь этого не было, и, хотя впереди лежала пустынная тайга и неизвестность, шли они спокойно и весело и были уверены, что и свою «ставку на мясо» они сделают не робея.

И счастье им сопутствовало.

Впервые опубликовано: Советская Сибирь. 1926. № 117 (23 мая). С. 4.

БОЛЕЗНЬ НИНЫ ПАВЛОВНЫ

I

Когда первые комья земли гулко грохнули о крышку гроба, Нина Павловна вскрикнула, откинулась назад и, подхваченная окружающими, упала на их руки. В карете автомобиля она пришла в себя, и вновь в ее душе повторился этот ужасный звук удара земли о пустоту, о страшный ящик гроба, в котором, скрестив руки на груди, лежит дорогой человек... И Нина Павловна снова залилась слезами.

Те, кто везли ее, давали ей нюхать спирт, от бьющего запаха которого она откидывала голову назад, что-то, утешая, говорили ей, а дома пришел доктор, сделал Нине Павловне укол морфия, и она заснула.

Проснулась Нина Павловна поздно ночью, проснулась страшно слабая, обо всем забывшая. И снова, откуда-то из глубины их большой квартиры, принеся, хлынул в душу женщины ужасающий звук, опрокинувший ее днем, и из тьмы, как из могильной ямы, засеребрилась крышка гроба, на которую лился поток черной земли.

И с ясностью необыкновенной, с четкостью фотографической Нина Павловна увидела, как мертвый ее Сережа лежит под нависшей над его лицом гробовой доской, как он, разбуженный ударом земли по этой доске, медленно открывает глаза и ищет глаз жены тем уккоризненным взглядом, которым он стал смотреть на нее, Нину Павловну, после того дня, когда понял, что болезнь неизлечима, что он должен скоро, очень скоро умереть.

И это было все, о чем Нина Павловна помнила, о чем она на другой день могла рассказать родным и доктору... Когда на ее крик перепуганные домашние вбежали в спальню, они нашли Нину Павловну, бившуюся в истерическом припадке, на ковре около кровати. Несколько успокоившись, молодая женщина пыталась что-то рассказать, объяснить, но речь ее была так бессвязна, что домашние ничего не могли уяснить и заметили лишь, что Нина Павловна боится даже называть по имени своего покойного мужа и говорит о нем, как простонародье о нечистом, в третьем лице: «он».

Никто так и не понял, что же, собственно, напугало Нину, никто, кроме Аграфенушки, шестидесятилетней старушки, выкормившей и вынянчившей молодую барыню. Старуха вдруг охнула, закачала седой головой, разлохмаченной от ночной беготни за водой и мокрыми полотенцами, а потом, когда все перешли из спальни в столовую и, не расходясь по комнатам, стали шептаться о припадке, — Аграфенушка вдруг появилась с бутылочкой святой воды в руках и стала кропить ею порог и дверь в комнату «выкормышки».

— Стало быть, Сергей Александрович приходил! — мрачно бормотала она, сторбленная, похожая на ведьму. — Стало быть, так, не иначе! Обязательно надо завтра молебен отслужить — так ведь и замучить он Ниношу может... Свят, свят, свят, да воскреснет Бог и расточатся все враги его!..

И никто из домашних не возражал против таинственных действий старухи, никому не показалось странным, что кроткий Сергей Александрович, которого все так искренно жалели и чью смерть от сердца оплакали, вдруг превратился в духа вредоносного и страшного, против которого надо было применять эти жуткие заклинания.

А старушонка уже рассказывала об одном покойнике, который (Аграфенушка-то тогда еще молода была, девчонка совсем) каждую ночь прилетал к своей вдове в виде огненного змея и совсем было замучил бабенку, если бы не надоумила мужиков одна старушка — вбить в могилу осиновый кол.

И все — барышни Валя и Сима, студент Павлик, Марья Степановна и даже Илья Павлович, старший брат Нины, юрист, — все они, ежась в халатах от жути и ночного холода, недоверчиво поглядывая на дверь в гостиную, где еще вчера стоял гроб с мертвецом, покорно слушали зловеший шепот старухи.

А в спальней, на широкой кровати, на краешке ее, боясь того места, которое занимал живой Сергей Александрович, — беззвучно плакала молодая вдова.

Комната посерела от рассвета. И вместе с его первыми лучами прошел страх. Ах, как Нина Павловна стыдилась теперь своего припадка, своего испуга! Она кляла себя за него, называя свою болезнь позорной и отвратительной. Как смеет она гнать своими истериками кроткую тень покойного мужа, если бы тень эта и вправду покинула холодную, ужасную могилу и появилась здесь. Ведь Сережа вернулся к себе, в ту комнату, где он спал вместе с ней, Ниной Павловной, своей любящей и любимой женой! Как позорно бояться, отвергать его, гнать его снова в холод могилы, под нависшую над его лицом гробовую крышку! И все-таки Нина Павловна знала, что она не останется больше в этой милой и в то же время ужасной

комнате, где она впервые отдалась мужу и из которой его унесли на стол в гостиной.

II

Так началась болезнь Нины Павловны.

Припадком этой ночи душа ее оказалась как бы разрезанной на две половины. Одна из них — и в ней была прежняя Нина Павловна — укоряла и порицала новую душу, отделившуюся от прежней и зажившую самостоятельной, враждебной жизнью. Прежняя душа говорила: «Как можешь ты бояться тени человека, который так тебя любил и которого сама ты искренно любила? Ну не позорно ли это, не стыдно ли? И чего боишься, чего пугаешься ты по ночам? Разве можешь ты верить в то, что мертвецы встают из своих гробов и ходят по ночам, чтобы терзать живых? Подумай, как нелеп твой страх, и разве не стыдила бы ты сама ребенка, который проявил бы такого же рода боязнь?..»

— Да, да! — печально соглашалась женщина. — Все, что ты говоришь, совершенно верно. Мне мучительно стыдно, что я могу бояться Сережи; я сама не знаю, откуда поднимается страх, но он сильнее меня, сильнее воли моей и моего разума.

Бедной женщине казалось иногда, что ее душа больна гангреной, что она наполовину сгнила, почернела, и страх таится именно в этой отмершей части души. Со страхом, посылаемым ею, невозможно было бороться рассуждениями, доводами, потому что с ним в мозг не проникало никаких мыслей,плыли лишь обрывки каких-то образов, ощущений, может быть, виденных и испытанных еще в детстве, может быть, когда-нибудь лишь приснившихся.

И, пытаясь разобраться в своих переживаниях, докопаться до основы их, увидеть то, что кроется за страхом, что возвращает его, Нина Павловна добиралась лишь до чрезвычайно смутного *нечто*, до уверенности, что это нечто таится где-то поблизости, подкрадывается и по ночам готово вот-вот обрушиться и задушить. И за всем этим, над всем этим был опять страх.

Стоило Нине Павловне проснуться ночью, как сейчас же в ее душе появлялось ощущение присутствия в комнате мужа, возникал страх, и женщина будила криком кого-нибудь из тех, кто теперь должен был спать в ее новой спальне. Прежнюю, где умер муж, доктор велел ей оставить.

Затем у Нины Павловны появился *страх перед страхом* — боязнь того, что она вдруг испугается, и болезнь стала быстро прогрессировать. Нина Павловна не решалась уже оставаться одной в комнате даже днем: страх совершенно парализовал ее волю, все движения ее души протекали под вызванной им депрессией. Пошатнулось и физическое здоровье.

Молодую женщину стали серьезно лечить, но лечение не приносило пользы. Как бы ни называли врачи ее болезнь, каких бы новомодных наименований ни выкапывали они из своих журналов для обозначения ее

недуга и каких бы средств ни применяли, — ничто не помогало. Да и сама Нина Павловна чувствовала, что не туда, куда следует, направлено их усердие, не во впрыскиваниях дело, не в обтираниях и не в режиме, который врачи ей предписывали, что надо лечить самую душу, ее сокровенные глубины...

Но врачи лишь снисходительно улыбались на ее слова и объясняли, что дело не в душе, а в том, что в ее крови и в нервной ткани нет такого-то нужного вещества, и достаточно будет Нине Павловне попринимать вот этого нового лекарства, как нужное вещество появится, и все как рукой снимет.

И все-таки врачи, сколько ни было их, не помогли, и Нина Павловна, измученная своею болезнью, стала думать о самоубийстве.

— Хорошо! — говорила она, мысленно обращаясь к тени Сергея. — Пусть будет так. Если ты хочешь, чтобы я умерла, если ты не можешь простить мне того, что я живу, когда ты лежишь в могиле, — я умру. Мы будем лежать вместе, наши гроба поставят рядом...

Но это решение, которого требовала отмершая половина души, вызывало бурный протест со стороны половины еще здоровой.

— Разве ты виновата в том, что живешь, а он умер? — кричала эта половина души. — Разве ты желала смерти Сергея? Зачем же ты должна губить себя, молодая, красивая, добрая? Губить себя в угоду гниющему трупу!..

И тогда в сердце Нины Павловны начинала шевелиться ненависть к покойному мужу; женщина ощущала его демоном, угнетающим и страшным. В одно из таких мгновений она схватила фотографический портрет Сергея и разбила его, в ярости бросив на пол.

Этот поступок Нины Павловны очень напугал домашних. Они сочли его за признак начавшегося буйного умопомешательства и стали серьезно подумывать о помещении больной в специальную больницу.

В этот день Аграфенушка была особенно ласкова с Ниной Павловной и даже всплакнула над ней, что делать ей было строжайше воспрещено.

— Голубушка ты моя бедная! — причитала она над своей выкормышкой, глядя ее по волосам. — Не дам я тебя в обиду, ой, не дам больше покойнику мучить тебя! Есть средство. Согрешу, сделаю!..

И ушла, отпросившись к знакомой старушке, но, уходя, улучила минутку и шмыгнула в комнату, бывшую раньше кабинетом Сергея Александровича, на которую теперь усиленно метил Павлик...

Все в этой комнате осталось еще как было и прежде... Большой письменный стол сиял бронзовым прибором, слева лежали книги и папки, и на них огромный карандаш — карандаш-чудовище, кем-то подаренный покойному.

Старуха перекрестилась, прислушалась и решительно шагнула к письменному столу.

III

В этот день, как всегда теперь, отообедали молча, угрюмо. Происшествие с портретом испугало всех не на шутку, и Марья Степановна, всегда, между прочим, недолголюбивавшая красивую Нину, уже намекнула родным, что «псих» золовки переходит, вероятно, в настоящее сумасшествие, и, следовательно, надо поторопиться с разрешением вопроса о санатории.

И вот, за обедом, Валя и Сима с нескрываемым испугом посматривали на сестру, одиноко сидевшую на противоположном конце стола, Илья же Павлович, пытавшийся, с целью поднять настроение обедающих, шутить и рассказывать анекдоты, делал это так неудачно, что больная скоро поняла причину всеобщей натянутости и, крикнув:

— Вы, господа, ведете себя так, точно я сумасшедшая!.. Могу избавить вас от своего общества! — швырнула салфетку на стол и убежала в свою комнату.

Все молча переглянулись.

— Да, кажется, надо ее в больницу... Она становится совсем невозможной! — вздохнул Илья Павлович. — Что поделаешь, жалко, но надо...

— Я же давно говорила. Там ей лучше будет, — напомнила Марья Степановна мужу свои недавние речи. — Не навсегда же!

И, обращаясь к Симе, сказала:

— Поди, посиди с ней. Сейчас, верно, опять кричать начнет.

IV

Но, к удивлению всех, Нина Павловна на этот раз отослала сестру, пожелав остаться одна.

— Опять причуды! — пожала плечами Марья Степановна. — Не сделала бы чего над собой... Надо присматривать.

Но она опасалась напрасно. В этот день Нина Павловна была далека от мыслей о самоубийстве — ее болезнь подошла к переломному моменту, обозначился кризис.

Темный страх, в течение всех этих недель наполнявший все ее существо, вдруг, после выходки с портретом покойного мужа, сменился новым страхом, уже не темным, непонятным, а вызванным теперь реальной причиной, опасением за себя самое, сознанием отчаянности своего положения. За всем этим стояло страстное желание освобождения, исцеления.

И как кризис телесной болезни сопровождается резким повышением температуры тела, так и этот, несомненно, наступивший кризис болезни душевной был сопутствуем своеобразным явлением: приступом

сильнейшей ненависти к покойному мужу, столь мучительно терзающему ее из-за гроба. С наслаждением мщения вспоминала Нина Павловна предсмертные страдания мужа, с отвращением — его беспомощность, нуждавшуюся в самых некрасивых услугах с ее стороны, вспомнила все это и поняла, что в укоризненном взгляде умиравшего мужа не было ничего, кроме зависти и злобы к ней, здоровой, молодой, красивой, остающейся жить.

И снова земля грохнула о крышку гроба, но теперь этот звук не испугал уже Нину Павловну. С гримасой злобы на лице она вскрикнула:

— И слава Богу! Умер — и конец!

И, откинувшись на подушки, почти мгновенно заснула, и сон ее теперь был освежающим сном больного, только что справившегося с болезнью.

Проснувшись Нина Павловна часа через два и с радостным удивлением почувствовала, что душа свободна, что в ней нет и следа от того, что столько времени угнетало ее и терзало. Больше того, об этом, так тяжело заполнявшем душу, теперь трудно было даже вспомнить, как о мучениях зубной боли уже через пять минут после того, как она прошла. В первый раз за много дней Нина Павловна поднялась с постели легко, без вздохов, без тоски в теле и подошла к туалетному зеркалу. Из его овального оконца на нее глянуло исхудавшее лицо, но глаза на этом лице светились, блестели.

Потом, все еще наслаждаясь ощущением покоя и свободы, возвратившимся в душу, она снова легла на кровать и взяла с ночного столика книгу, которую утром прислали из библиотеки. И первые же строки английского романа заинтересовали ее так, словно были написаны именно о ней...

V

...По обычаям племени, после смерти Каталу жена его Аула, оплакивавшая мужа и прикасавшаяся к его трупу, была объявлена табу и на семь дней заключена в хижину, выстроенную нарочито для запрещенных на противоположном берегу реки. Вода считалась преградой: дух Каталу не смел переправляться через нее и не мог, следовательно, вредить бывшим односельчанам.

Теперь, завистливый к тем, кто наслаждается жизнью, он мог мучить только Аулу, если она не будет соблюдать всех правил запрещения. В течение многих месяцев, чтобы обезопасить себя от духа мужа, вдова не должна была брать пищу руками, ибо руки ее были осквернены прикосновениями к трупу. Кроме того, она не должна была, даже в мыслях, произносить имя мужа, а если мысли о нем все-таки появлялись, она могла называть покойника лишь в третьем лице: «он».

Как собака, ложась на живот, Аула хватала пищу прямо ртом, — лишь через семь дней ей будут протягивать ее на длинной палке. Но и это было еще не все. Спать Аула должна была на ложе из ветвей терновника, чтобы дух ее мужа побоялся бы острых колючек и не возлег бы с ней ночью; а чтобы он не набросился на нее, когда она выйдет из хижины, ее бедра были опоясаны своеобразными «панталонами» из очень крепкой сухой травы.

В течение этих семи дней Аула только в сумерках может выходить из хижины, чтобы избежать случайных встреч с кем-нибудь из односельчан, ибо, если она увидит мужчину ближе, чем на тридцать шагов, — смерть ей от духа Каталу. Вечером, идя к реке, чтобы напиться, Аула должна стучать палкой по стволам деревьев, предупреждая всех, что идет женщина табу; и от ударов ее палки засыхают деревья.

И Аула строго выполняла все запреты.

Правда, днем она не испытывала особенных неприятностей от своей изоляции: днем она или спала, или, сквозь щели в плетеных стенах своей хижины, наблюдала за жизнью деревни. Днем Аула даже иногда улыбалась и думала о том, кто же из односельчан возьмет ее в жены, когда кончатся сроки табу. Ведь ей было только четырнадцать лет, и мужчины при жизни старого Каталу всегда жадными глазами посматривали на ее приподнятые груди и круглый живот. Днем было бы совсем неплохо, если бы не запрет касаться руками головы, волос, а голова ужасно чесалась от насекомых.

Но здесь Аулу выручила догадливость: женщина нашла острую ветку, высунувшуюся из плетенки стены, и с наслаждением драла ею зудящую кожу на темени...

Да, днем было, в общем, сносно, но ночью, когда смолкали крики попугаев и обезьян, когда лес наполнялся таинственными, осторожными звуками, — на Аулу напал обезволивающий, потный ужас. Женщина знала, что дух Каталу вышел теперь из чащи и бродит вокруг хижины, пробует, приперта ли дверь изнутри колом, и мертвыми пальцами, на которых отросли уже когти ягуара, подкапывается под стены.

И Аула начинала еженощную беседу с мертвецом:

— Почему ты ненавидишь меня? — спрашивала она, не произнося запрещенного имени. — Что я сделала тебе? Чем заслужила я твой гнев? Не я ли до последнего твоего вздоха усердно трудилась для тебя и исполняла каждое твое желание?

Но Каталу молчал, иногда тяжело вздыхал, иногда свистел, как большая змея, или выл, как гиена.

И опять говорила Аула:

— Даже табу не побоялась я! Я не оставила тебя даже мертвого, осквернив себя плачем по тебе и прикосновениями к твоему дурно пахшему телу. Почему же ты ненавидишь меня?

И Каталу отвечал:

— Ты желала моей смерти, скверная Аула! Когда я просил пить, когда я просил тебя отгонять от меня moskitov, ты говорила про себя: «Я ненавижу тебя, Каталу, я очень устала от тебя, почему же ты так долго не умираешь?»

— Я никогда не говорила этого! — уверяла мертвеца Аула. — Я не говорила этого даже про себя. Это дурной дух иногда вселялся в меня и шевелил моими мыслями. Я не виновата в этом!

И до зари говорили так женщина и мертвец, до первых криков попугаев и обезьян, и лишь после того, как скрывался в чащу дух Каталу, Аула засыпала на своем вдовьем терновом ложе.

В шестой, то есть — предпоследний день своего заточения, уже под вечер, Аула, сквозь щели в стенах хижины наблюдавшая за жизнью деревни, увидела, что молодой Тодду, тот самый, которому белые охотники подарили ружье, стреляющее пять раз подряд, неустрашимый Тодду, помогавший чужестранцам ловить ягуаров и пантер, — переплывает в челноке реку и все время поглядывает на ее хижину. Так как до Тодду было во много раз больше, чем тридцать шагов, то женщина могла любоваться красивым охотником, не боясь нарушить запрета табу.

— Тодду тоже всегда смотрел на меня! — не без удовольствия подумала Аула. — Он очень красив, особенно когда надевает белую курточку и головной убор из пробки, которые подарили ему белые. Я была бы очень рада, если бы он взял меня в жены... Но куда он спешит, когда скоро уже вечер и на этом берегу бродит «его» дух?

Когда стемнело настолько, что не стало видно деревни, скрывшейся в тумане, поднявшемся над рекой, но ночь не пришла еще окончательно, и зверье не полезло еще из всех своих нор и берлог, — Аула вышла из хижины и направилась к реке, чтобы напиться и запастись водой. Сосуд для воды она подняла с земли зубами и так понесла его, постукивая палкой по стволам деревьев.

И все-таки Тодду появился перед женщиной, неожиданно выйдя из-за дерева, и Аула упала перед ним ниц. Она увидела его рядом с собою и, следовательно, должна была теперь умереть.

— Ты погубил меня, Тодду! — сказала Аула.

— Неправда! — ответил Тодду. — Ты не умрешь! Я верю белым, а они не боятся табу. Они ничего не боятся, и я тоже у них научился быть храбрым. Не боюсь я и духа Каталу. Видишь, здесь, на его стороне реки, я произношу имя твоего мертвого мужа, а он даже не отзывается.

— Ты погубил меня, Тодду!

— Не дрожи так и встань. Все равно ты уже видела меня. Я дотрагиваюсь до тебя и становлюсь тоже табу. Я проведу с тобой в хижине всю эту ночь. С первыми криками дневных птиц я покину тебя, поплыву к белым, ты же в полдень вернешься в деревню. Когда я

возвращусь, я привезу для тебя много прекрасных вещей и после возьму тебя в жены. Идем!

— Ты погубил меня, Тодду! Он ждет нас в запрещенной хижине и растерзает меня.

— Я прогоню его моим ружьем, которое на двести шагов убивает пантеру!

— Я не могу идти, Тодду, я уже в смертном поту. Он мстит мне за то, что ты приглянулся мне еще при его жизни, и, подавая ему, больному, пищу, я однажды пожелала, чтобы он поскорее умер. Ты погубил меня, Тодду, — ты не подождал одного дня!..

Тодду поднял Аулу на руки и испугался ее неподвижной, неживой уже тяжести — так тяжел становится человек только тогда, когда из него уходит душа. И храбрый Тодду подумал, что что бы ни говорили белые, а вот на его глазах умирает женщина, нарушившая табу, и теперь уже два духа будут мстить ему, и, наверно, умрет и он, если не бросит сейчас же Аулу, не побежит скорее к челноку, чтобы, сгибая весло, плыть на фабрику белых, у которых есть огненная вода, прогоняющая страх, и прозрачные сосуды, заключающие в себе маленькие солнца, от лучей которых бегут духи и тьма...

* * *

Дальше Нина Павловна читать не стала, не могла читать дальше... Весь роман не мог ей дать больше того, что дали эти две страницы, прокричав ей, что то, что убило Аулу, могло легко убить и ее, что в ее душе, душе культурной женщины, таилась та же самая тяжелая полночная жуть, что и в робком сердце несчастной дикарки. Борьба с этой жутью так же тяжело в этой комнате с электрической проводкой и паровым отоплением, как и в тростниковых хижинах африканской деревушки...

Скрипнула дверь. Это вернувшаяся Аграфенушка любопытствовала, как чувствует себя ее доченька. Старушка подкатилась к кровати довольная, сияющая...

— Поспала, говорят? — зашептала она, припадая губами к щеке любимицы. — Не боялась одна, вот и умница! Теперь уж не будешь больше пугаться, вот тебе мое верное старушечье слово!

— Не буду! — тоже почему-то шепотом ответила Нина Павловна, обнимая старуху и счастливо закрывая глаза. — Я так, Аграфенушка, сама себя теперь стыжусь!..

VI

В конце мая Нина Павловна, в первый раз после похорон, поехала на могилу мужа. На кладбище было хорошо — тихо, солнечно; над могилами порхали белые и желтые бабочки. Веселая, легкая, радостная, вся в белом, Нина Павловна и сама была похожа на одну из этих бабочек, порхавших

над могилами. От того, что принесла с собой болезнь, не осталось и следа, — как гроза нахлынула, как гроза пронеслась.

Вот и голубая ограда вокруг могилки Сережи, в ограде скамеечка. Как хорошо будет приходить сюда, чтобы тут погрузиться, подумать о большом, вечном, может быть, поплакать у этого креста, на сером камне которого сияют золотые буквы: «Инженер путей сообщения Сергей Александрович Калязин. — Спи спокойно, милый, любимый муж!..» Да, как хорошо здесь, как тихо и спокойно. И прокрадывается мысль: как, должно быть, интересна со стороны она, Нина Павловна, загрузившая над этой нарядной могилой.

Но могила сегодня не особенно нарядная. Дождь, прошедший этой ночью, размыл немного холмик, и один из горшков с цветами вот-вот упадет набок...

— И как только я могла бояться его, моего милого Сережи! — удивляется Нина Павловна, наклоняясь к могиле, чтобы поправить цветы. — Совсем, совсем как та жалкая дикарка из английского романа...

И вдруг ее рука касается странного предмета: из желтой земли высовывается коричневый конец какой-то не очень толстой палки, может быть, трости... Что это такое?

— Господи Боже! — холодеет Нина Павловна. — Ведь это же тот самый огромный карандаш, который кто-то подарил Сереже незадолго до его смерти... Огромный, больше, чем в аршин... Еще Сережа так смеялся, показывая его мне... Потом его спрашивал и искал Павлик, но карандаш пропал...

Эти мысли вихрем проносятся в голове молодой женщины, и вот она, осмысливая нечто, бледнеет и беспомощно опускается на скамью. Она вспоминает последний день своей болезни, таинственное путешествие Аграфенушки к знакомой старушке, свое внезапное исцеление и многозначительные уверения возвратившейся старухи, что никаких страхов больше не будет.

— Надо вытащить, надо сейчас же убрать! — побелевшими губами шепчет Нина Павловна. — Ведь это — то же, что и осиновый кол. Боже мой, какой ужас, какой позор!..

Но воспоминания о страшной, только что переборенной болезни всплывают в памяти, и она отдергивает руку от вбитого в могилу карандаша, словно от опасного предмета, могущего обжечь, убить. А через минуту Нина Павловна встает, крестится, выходит из ограды и торопливо идет по аллеям к воротам кладбища. Больше она никогда не придет к этой могиле.

**Людмила Алексеевна
НИКИФОРОВА**
(1881?-1965?)

Писательница и журналистка Людмила Никифорова родилась предположительно в 1881 г. в городе Петербурге в семье корабельного инженера А. Грехнева. Печаталась под псевдонимом «Л. Никитин» и др. Дебютировала в литературе рассказом «Ветка герани» («Нива». 1903. № 35). Выйдя замуж за студента Н.В. Никифорова, жила трудно, сотрудничала в журналах в жанре стихотворной политической сатиры, частушек-лубков, стихотворных шаржей. В 1908 г. познакомилась с М. Горьким, переписывалась с ним и под его влиянием обратилась к прозе, однако рассказы этого периода остались неопубликованными. С 1913 г. жила в Чите, сотрудничала в местных газетах, публиковала рассказы в журнале «Театр и искусство». В Харбин приехала с мужем и дочерью в 1920 г. из Читы. Публиковалась в местных газетах и журналах («Русский голос», «Китеж», «Архитектура и жизнь», «Рубеж» и др.). Один из ее рассказов был премирован на конкурсе Союза писателей и журналистов. Автор романа «Сила Земли» («Русское обозрение». 1920). Осенью 1934 г., после продажи КВЖД, с эвакуацией советских граждан вернулась вместе с дочерью Ольгой (1909 г.р.) в СССР (будучи к тому времени в разводе с Н.В. Никифоровым). Жила в Ленинграде. Литературным трудом в СССР не занималась (по другим сведениям – писала пьесы). Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Голоса Архипелага. Письмо №4. «Жить невыносимо. Хочу бежать. Помогите» // Голос Эпохи. 2011. № 2. Письмо печ. по автографу: ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 1481. С. 139-140.

Крадин Н.П. Н.В. Никифоров – издатель архитектурного журнала в Харбине // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Вып. 5. Благовещенск, 2003. С. 268-274.

Невалённая Т.А. Поэтика юмора в рассказах Л. Никифоровой // Русский Харбин, запечатленный в слове. Вып. 2. Благовещенск, 2008. С. 98-104.

Писатели, ученые и журналисты на Дальнем Востоке за 1918-1922 гг. Владивосток, 1922. С. 47.

Писательницы России: Материалы для библиографического словаря / Сост. Ю.А. Горбунов // Свердловская областная универсальная научная библиотека им. В.Г. Белинского. Екатеринбург, 2004-2011. URL: <http://book.uvaic.ru/elib/Authors/Gorbunov/index.htm>

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 221.

КИТАЙСКИЙ БОГ

1

...Если революция отняла у человека все: здоровье, веру в жизнь, состояние, – это можно было бы простить во имя блага многих. Но блага от революции не получил никто. Даже те, ради которых она совершалась. И вот, за бессмысленность перенесенного страдания в душе поднимается бунт, порыв гнева... Когда улягутся гневные чувства, – в душе становится тихо и пусто. Хочется просто уйти от страдания, уйти к чужим небесам, окунуться в чуждую жизнь – и там найти примирение и покой...

Так думал Михаил Гернет, сидя в вагоне «Orient-Express'a», который мчался по просторам китайских равнин все далее и далее, вглубь страны. Он решил уехать в Китай, чтобы там успокоиться, отдохнуть, попытаться как-нибудь наладить жизнь. У него сохранились остатки состояния в заграничных банках, что давало ему возможность исполнять свои прихоти. Пережив много горя, он стремился уйти от европейской культуры, с ее

аффектами, эксцессами, мудрствованием. Его давно уже тянуло в Китай, – как будто изученный, знакомый, столько раз описанный, – но все-таки загадочный и грозный.

Он перечитал о Китае все, что ему удалось достать. И в его обостренной фантазии уже выявлялся облик этой страны, такой неподатливой к чужой культуре, с крепкой верой, с любовью к старине. В укладе китайской жизни ему нравилось даже то, что обычно принято было порицать. Китайская письменность, требующая для усвоения ее долгого упорного труда, внушала ему уважение. – Там, у нас, отлынивают от дела, стремятся всячески облегчить усвоение знания, а у них труд – основа жизни. Для них знание – награда, а не ступень к чинам, окладам, командировкам...

...В чем они черпают свою силу? Кто им дает ее? Какой бог? Какая вера? – мысленно задавал он вопросы, вглядываясь в убегающие дали.

Убаюканный тряской вагона, он закрыл глаза и задремал. Дремота его была тревожной и чуткой. В забытьи все время вривалась действительность, путаясь с набегавшей волной грез. И смутно казалось ему, что тесноту купе окутывает какой-то сумрак и в затененности внезапно сгустившегося полумрака выступило вдруг чье-то лицо, – изжелта-коричневое, с высоким лбом, с раскосыми глазками, с тонкими губами, на которых змеилась загадочно-презрительная улыбка. В темных, глубоко запавших глазах чувствовалась мудрость, сознание власти и спокойная, безгневная жестокость...

...Китайский бог! – смутно промелькнуло в сознании. И Михаил Гернет с трепетом стал вглядываться в загадочное лицо. В нем была такая властность, такая нравственная сила, что Михаил Гернет, европеец, скептик и атеист, – упал к ногам китайского бога.

– Научи меня жить! – с глубокой тоской шептал он. – У нас все разбито, все отнято. Мы так жалки со своей мудростью, со своей гордыней! Мы не могли, не сумели ничего спасти... А без святынь, без заветов – мы не знаем, как жить. Помоги же мне!!

И он молил, метался и плакал. Целовал холодный камень грубо изваянных ног... Но китайский бог был недвижим и бесстрастен. Только еще презрительнее сжались тонкие губы, и огонек ненависти блеснул в темных звериных глазках.

Тогда в сердце европейца загорелся безумный гнев. Он бросился на китайского бога, сдавил его шею, налег на него всем телом, с неистовством, с бешенством... Но бог не дрогнул, не пошатнулся. Он продолжал улыбаться той же насмешливой, каменной улыбкой. Михаил Гернет изо всех сил толкнул его и от этого усилия... свалился с дивана. Ничего не понимая, он поднялся, сел. С недоумением оглянулся кругом. В купе было тихо и пусто. Косые лучи заходящего солнца вырывались из-под низко

нависших туч и бросили в окно поток ало-золотистого света. В этом свете дрожали и искрились мириады пылинок. Горячим отсветом было залито все купе... Михаил Гернет глубоко вздохнул.

- До чего у меня нервы расшатались! - с усмешкой прошептал он. - До заправских галлюцинаций дошел! Но жутко как-то... И лик этот запомнился. Так и вижу перед собой это темное лицо, с презрительной улыбкой на губах...

Он встал, вышел в коридор и стал закуривать папиросу. Руки его дрожали, сердце сильно билось. Он невольно оглянулся, не покажется ли в узком проходе загадочное, каменное лицо китайского бога. Стараясь успокоиться, он стал смотреть на мимо бегущие равнины, с пятнами фанз, огородов, кукурузовых порослей... И ему казалось, что дух загадочного божества должен неотходно реять над молчаливыми просторами бескрайних равнин...

2

Невыносимо жаркое солнце озаряло своеобразную жизнь огромного, пестрого, вонючего огорода. Колорит пейзажа был резким и ярким, контуры - грубыми и четкими. Ярко-синее небо упиралось на скаты ярко-желтых гор, низкими склонами уползавших вдаль. Ярко-пестры были дома с приподнятыми углами крыш, с тонкой резьбой, со змеями, с крылатыми драконами, увешанные фонарями, пестрыми лоскутьями. Улицы кипели жизнью. Дикий, адский гвалт стоял в раскаленном воздухе. Ревели ослы, им вторили погонщики, хлопавшие длинными бичами. Кричали носильщики паланкинов, невыносимо скрипели арбы, визжали продавцы с кувшинами воды, с чашечками риса, с корзинками плодов, - ловко сновавшие среди густой толпы.

Михаил Гернет с жадным любопытством вглядывался в течение чуждой для него жизни, присматривался к суетливой толпе. В каждом лице он улавливал сходство с тем загадочным ликом китайского бога, которого он видел во сне. И в его возбужденном сознании рождалась мысль, что этот бог живет среди китайской толпы, что дух его витает над нею, зажигая на желтых лицах тупое любопытство, странно близкое к ненависти. Гернет порою думал, что этот бог - мудрый, жестокий, властный - уходит иногда из тишины и мрака раззолоченной погоды, бродить по смрадным путям жизни. Бродит - и с жаркой ненавистью смотрит на то, что творится в пределах его земли, оскверненной пришельцами. Видит он, как страну наводнили чужеземцы, своими обычаями осквернили крепкую старину, ревниво хранимую многие тысячи лет. И в сердце бога загорается глухой гнев, желание отомстить за поругание заветов старины... И те же отсветы затаенной ненависти чудились ему порой в глазах многоголовой толпы, объединяя ее одним мощным, всеобъемлющим чувством...

...В чем сила, в чем тайна этой наивной культуры? – не раз спрашивал себя Гернет. – Почему они сумели сохранить свой национальный облик, всю колоритность своего быта? Почему наша высокомудная культура так-таки и не могла проникнуть в толщу их жизненного уклада, освежить его новыми сказаниями? И тщетно на эти вопросы искал ответа он, так гордившийся образованностью, мудростью, знанием и опытом...

И потому-то он все более поддавался очарованию окружающей его жизни. Целыми днями бродил он по улицам, подолгу сидел в лавчонках, где старые, точно высушенные, китайцы торговали редкостями и безделушками. Там он любовался амулетами чудесной чеканной работы, вазами, пестро разрисованными, чашками, статуэтками. Он перебирал китайские шелка, то мягкие, нежные, то упругие, жесткие, расшитые золотом. Мало-помалу банальный комфорт его отельной комнаты затушевывался нашествием «китайщины». Венская кровать скрывалась за ширмами темно-лилового шелка, с вышитыми золотом драконами. На этажерке стояли китайские божки из темной бронзы, на стенах – наивные китайские пейзажи, где живопись мирно уживалась с вышиванием.

Он заходил во все пагоды и кумирни, куда только пускали иностранцев, и подолгу простаивал перед загадочными изваяниями богов – властителей жизни и дум этой страны. И он чувствовал, что власть их была огромна, непостижима для скептика европейца. Гернету казалось, что могущество этих богов создает здесь особую среду, где жизнь еле тащится медлительным движением. Атомы жизни прошедших веков здесь не расплываются в пространстве, а оседают в толщах бытия, напитывают воздух, овевают собой людей, все предметы, подчиняя все власти прошлого. Здесь прошлое – владело настоящим, здесь талисманы, амулеты – не выдумка, а сила... И если где можно обрести примиренность духа, растворение своего «я» в море жизни – то это именно здесь, в этой загадочной стране. С возрастающим вниманием он вглядывался в загадочные лица идолов, такие похожие на желтые, бесстрастные лица бонз, с истовой важностью исполнявших наивные обряды китайского культа. И все чаще и чаще в его мятущейся душе европейца зажигалась зависть к этим желтолицым куклам, напряженным в такие странные, пестро-расшитые балахоны, но достигшим такого великолепного спокойствия.

3

Однажды Гернет забрел далеко на окраину города. Среди ужасающей грязи и вони, где кишмя кишела китайская детвора, среди жалких лепившихся друг к другу хижин, – он увидел небольшую кумирню. Эта кумирня представляла собой навес в виде купола

яйцевидной формы, стоявшего на четырех, разукрашенных резьбою, столбах. Под этим навесом возвышалась какая-то огромная глыба камня, гладко обтесанная, но матовая, без малейшего блеска. Подойдя ближе, можно было рассмотреть, как из недр каменной глыбы выступало подобие человеческой фигуры, огромное, грубое, внушающее трепет огромностью массы. А лицо... Гернет вздрогнул, когда увидел это лицо. Темное, как земля, с желтоватыми отсветами сожженного зноем камня, с глубоко-впалыми глазами и змеящейся улыбкой каменных губ, – оно имело жуткое сходство с лицом китайского бога, когда-то виденного им во сне...

К этому идолу благоговейно стекались почитатели, перед ним жгли бумажные, пестро изукрашенные полоски, душистую смолу, навевая голубой дымок на каменное лицо большими веерами. Гернет видел, как старый калека-нищий с трудом полз по пыльной дороге, положил к ногам божества горсточку риса и благоговейно припал головой к каменному подножию.

Все китайцы с враждебным любопытством смотрели на чужеземца, которого так часто видели задумчиво стоящим около их божества. Иногда бросали ему в лицо частую дробь каких-то непонятных слов... И Гернет, находясь среди потных, грязных тел, пахнувших чесноком и бобовым маслом, не чувствовал ни брезгливости, ни отвращения. Он подолгу всматривался в загадочное каменное лицо, и порою ему казалось, что под толстым покровом камня живет и бьется странной таинственной жизнью дух народа, великий дух этой загадочно-грозной страны.

Не сразу осмелился Гернет ближе подойти к идолу, коснуться его каменного тела... Но когда он робко дотронулся до его сложенных на груди рук, то это прикосновение произвело на него странное впечатление. Солнце за день так накалило камень, что даже к вечеру он еще был теплым, как живое тело. И Гернет почувствовал, как суеверный страх охватил его, как сильнее, тревожнее забилось сердце.

С этого дня он стал часто приходить к этой кумирне, куда влекла его какая-то странная прихоть. Подолгу простаивал перед каменным изваянием, жадно всматривался в его лицо, изучал в нем каждую трещинку, каждую шероховатость и углубление. И от этого напряженного всматривания он улавливал странную «жизнь» этой материи, преображенной в подобие человеческой фигуры...

Каменное лицо бога не было застывшим, однообразным. Вот, уста его сомкнуты в спокойном бесстрастии, темные глаза величаво взирают на человеческую жизнь. Так же взирали они на мир много веков тому назад. Здесь тысячелетие было мгновением, здесь над жизнью неотходно реяло дыхание вечности... Многие тысячи лет тому назад здесь лепились друг к другу такие же хижины, около которых копошились такие же полуобнаженные, смугло-желтые тела. Так же высились здесь груди

отбросов, гнили, человеческого праха. И в этой жизни лучились отблески великой космической правды, – того вечного завета, который вещает человеку: «ты – земля еси!» Вещает, что человек должен жить той же безхитростно-мудрой жизнью, какой живет Земля. А тот, кто в гордыне мудрствования ушел от этой жизни, – тот ушел от покоя, от счастья...

А порой каменное лицо, казалось, трепетало каким-то странным волнением. В углах каменных губ залегали тени, складки и морщины делались резче, в глубоких впадинах глаз теплились какие-то искристые блики. В такие минуты чудилось, что китайский бог вот-вот заговорит глухим рокотанием каменных недр:

– Что тебе нужно, чужеземец, среди наших святынь? Зачем ты пришел осквернять их своими нечистыми помыслами, жадными, беспокойными глазами? Уходи отсюда!

И Гернет опускал глаза, весь замирая от страха. Он ждал этого каменного проклятия и в глубине смятенного сердца верил, что оно возможно.

Население относилось к нему все более подозрительно и враждебно. Уходя от кумирни, Гернет зачастую чувствовал, как в синих южных сумерках за ним крадутся какие-то тени. Иногда он слышал за собой чье-то горячее дыхание, какой-то гневный шепот... И обернувшись, – он видел обычные тупо-безучастные лица. Но эта враждебность, эти преследования не пугали его, а еще увеличивали странное мистическое очарование, которое влекло его к изваянию китайского бога.

4

И это очарование все сильнее и сильнее захватывало его. Все чаще и чаще приходил он к древней кумирне и подолгу простаивал перед каменным изваянием, прислонясь к резному столбу. Иногда приносил цветы, плоды, связки колосьев и – трусливо озираясь по сторонам, стыдясь самого себя, – тихо клал их у каменных ног. Склонялся в немой тоске к каменному подножию, о чем-то молил, чего-то ждал от его бесстрастного могущества. И часы были для него мгновением...

Однажды, забывшись в жутких, неясных грезах, он вздрогнул от прикосновения чьей-то руки. Обернувшись, он увидел перед собой монаха, в черной рясе, в скуфейке, с безжизненно-бледным лицом аскета.

– Отойди, сын мой, от этого идола, – сказал он ломаным английским языком. – Смотреть на него – грешно христианину и опасно для иностранца.

И он увел Гернета с собой к монастырю, который возвышался на близлежащих холмах, – весь розовый от лучей заходящего солнца. Там в тихой келье, пропитанной запахом ладана, сухих трав и деревянного масла, он усадил его в кресло, налил стакан терпкого, темно-гранатного вина. А сам долго молился перед резным Распятием, перебивая

кипарисовые четки. Потом подошел к Гернету, который сидел, склонившись на руку, благословил его и сказал:

- Я давно уже живу в этой стране, сын мой. Я знаю здешнюю жизнь. И я знал многих, околдованных этим идолом. Это не простой идол. В нем – «бесовское наваждение», какое-то проклятое колдовство. Уезжай отсюда, сын мой, как можно скорее! В этой нечестивой стране возможно то, чего нам и не снилось, что мы никогда не считали возможным!

Гернет уже успокоился, овладел собою. Миновал странный припадок слабости и волнения, овладевший им.

- Что это за идол? Расскажите мне, отец мой, что вы знаете о нем?

Монах задумчиво покачал головой.

- В этой стране, сын мой, все так дико, так странно! Много еще нужно потрудиться нам, служителям Христа, для того, чтобы эти язычники обратились на путь истины. Про этого идола я слышал много, очень много. И долго не мог допытаться правды. Я спрашивать о нем многих туземцев, – богатых, знатных, ученых – и все они прикрывались неведением, говорили, что этот идол ничем не отличается от многих других. Наконец один из мандаринов, у которого я вылечил единственного сына, почти умирающего, – тот поведал мне древнее сказание. Этот идол, сын мой, – сама Земля. Некогда, в давние времена из недр земных родилась огромная глыба, с едва намеченными очертаниями человеческого тела. Была она рыхлой, и плодоносной, и любящей. Припадали к ней люди в тоске, в жажде успокоения – и уходили от нее, благословляя жизнь. Весной убиралась она травами и цветами, зимой укрывалась под легкой снежной порошею. И была тогда жизнь простой и прекрасной...

Шли века за веками: зло и грех умножались. Люди тянулись к соблазнам греха и плотской похоти. Мир ожесточался, и земляная глыба слеживалась, твердела. На ней уже не росла трава, а лишь мох и седой лишайник. Бледнела счастьем жизнь... И с каждым днем твердело тело Духа Земли, превращаясь в камень. Теперь он окаменел весь. Но в недрах его еще теплится, живет и бьется великое сердце Земли. Оно тоскует о прежней воле, о радости, о содружестве с людьми. И оно ненавидит «инглезов», «белых дьяволов», пришедших с Запада и оскверняющих крепкую старину. Силой своей ненависти этот бог околдовывает иноземцев, тянет их к себе. У китайцев ходит поверье, что тот, кого манит к себе бог Земли, – того он избрал своей жертвой. И тот иностранец, кто бы он ни был, – должен быть убит, а его кровью должен быть окроплен каменный идол. И с каждой новой жертвой каменный бог будет становиться все мягче и мягче – пока наконец он не сделается опять глыбой рыхлой земли. И тогда станет опять жизнь простой и прекрасной.

Гернет молчал.

– И теперь ты понимаешь, сын мой, почему я советую тебе уезжать отсюда как можно скорее?

Гернет пожал плечами.

– К чему уезжать? – сказал он. – Мне гораздо интереснее испытывать новые ощущения, окунуться вглубь этой легенды, которая может быть истиной...

Монах с испугом поднял руку и осенил его крестным знаменем.

– Боже мой! – продолжал, отдавшись своим мечтам, Гернет, – не злы ли на самом деле вся эта наша культура, которой мы так гордимся? Не лучше ли было бы отречься от нее, уйти, ринуться в те глубины жизни, где царят великие заветы Вечности, не тронутые ложью?

– Сын мой! – строго произнес монах – отдать жизнь за веру, за родину, за ближних – великий подвиг. Но отдать ее из-за праздного любопытства желтолицым дьяволам – столь же великий грех!

Гернет не стал спорить. Он чувствовал какое-то утомление, слабость всего тела. И в то же время смысл легенды всецело владел его помыслами. Хотелось остаться одному, разобраться во всем, только что услышанном... Чувствовал он впервые в жизни, ясно и мощно, трепетание какой-то большой нечеловеческой правды, которая шла вразрез с тем, что он издавна считал благом и истиной. И ему казалось, что это была – правда мира, правда космоса, дыхание Вечности. И он чувствовал себя слабой ничтожной песчинкой, назначение которой – в слиянии с мириадами других песчинок – творить жизнь вселенной. Это ощущение, показавшееся бы ему прежде обидным и унижительным, – теперь наполняло отрадой его душу.

Он дружески простился с монахом, поцеловал его сухую, жесткую руку и ушел, весь охваченный наплывом взволнованных дум, которые туманили его разум, рождали в нем стремление к познанию новых откровений...

...К шумному многолюдному городу подошла ночь, – синяя, знойная, навевающая грезы. Измученным дневной суетой людям принесла она тишину и сладость забвения. Несла она с собой влажную свежесть океана, ароматы далеких просторов... А ей навстречу дышала смрадом измученная, загаженная отбросами земля. Жаловалась, задыхаясь и жадно впивала волны прохлады, навеваемые златозвездным покровом ночи.

Михаил Гернет быстрыми шагами ходил из угла в угол по своей комнате. Им владело странное беспокойство. Иногда он подходил к окну, вглядывался в темные ночные дали, в неясные контуры строений, сливавшиеся в смутную массу...

Наконец он не в силах был противиться каким-то смутным, волнующим зовам. Он вышел на улицу и пошел, все ускоряя шаги, по знакомой дороге. В европейском квартале еще кипела жизнь. Сияли огни, проносились щегольские ауто, где слышалась музыка. Но по мере того, как

он углублялся в китайскую часть города, все тише и пустынное становились улицы. Кое-где еще горели тускло-желтые огоньки, мелькали людские тени, слышался гортанный говор.

Из-за пологих гор показалась луна, облила все бледным сиянием. И навстречу ей поднялась, затрепетала тихая жизнь ночи. Наметились иные контуры, иные краски, – то воздушные, голубые, серебристые, то тяжелые, иссиня-черные... Высокий купол древней кумирни весь светился дрожащими бликами, резной дракон на крыше отбрасывал причудливую тень, – мрачную и тяжелую. А сам дракон, голубой и легкий, точно парил в синезвездных просторах...

Каменный бог улыбался. Темнота его глаз казалась еще глубже, еще загадочнее на ярко-освещенном лице. У подножия его склонилась какая-то темная фигура.

Это был Михаил Гернет.

Он прижался лицом к холодному, чуть влажному камню, и это прикосновение было для него невыразимо отрадным. Казалось, чья-то спокойная, любящая рука ласкает его голову, дает ему несказанную сладость забвения и мира душевного...

...Вдруг кто-то охватил его тело, потянул к себе. Гернет крепко уцепился за каменное подножие. Но его тащили, напрягая силы. Он слышал за собой чье-то жаркое, прерывистое дыхание. Удар в сердце заставил его разжать судорожно сжатые пальцы. Теплая волна захлестнула его... Черный мрак надвинулся, – мрак небытия и покоя...

Полная луна поднималась все выше и выше, казалась белесой и тусклой на глубокой синеве ночного неба.

Каменный бог предавался ликованию. Он улыбался, весь блестел и лоснился при ярком свете луны. По его лицу, по могучему телу стекала мелкими струйками какая-то жидкость.

Два старых китайца стояли перед ним и с робким благоговением ощупывали тело – не смягчился ли камень?.. Не стал ли он, окропленный жертвенной кровью, рыхлым и мягким, как увлажненная росами грудь земли?..

*Опубликовано (за подп. Л. Никифорова) и печатается по:
Русское обозрение. 1920. Декабрь. С. 270–280.*

С ДАЛЕКОГО ЮГА

...Белое кружево пены тихо бьется о серые камни. Только у самого берега слышны нежные всплески волн, а дальше стелется голубая гладь, сливаясь вдали с туманной лазурью. Потoki золота льются с неба и

обливают и море, и скалы, и маленький городок, раскинувшийся в тени оливковых рощ и виноградников.

По уступам скал, поросших купами душистого ломоноса, пятнами золотистого дрека, лепятся хижины, издали похожие на птичьи гнезда. Около каждой хижины копошатся бронзовые полуголые ребятишки с шапками черных спутанных кудрей. Яркими пятнами пестреют на солнце кофточки, юбки, выделяясь на светлой зелени виноградников.

Даже в этой благословенной стране люди в поте лица добывают хлеб свой. Мужчины с рассветом уезжают в море на рыбную ловлю, женщины или занимаются домашними работами, или под палящими лучами солнца карабкаются по скалам, собирают землю в большие глиняные кувшины и ссыпают ее в виноградники. Здесь, на камнях, сожженных солнцем, каждая капля воды, каждая горсть земли – редкое сокровище, бесценный дар Божий...

Тихо идет женщина, несет на плече корзину с бельем. Смуглое лицо ее прорезано морщинами, на темном шелке волос резко белеет седая прядь. Встречные, вместо обычного ласкового *bon giorno!* молча дают ей дорогу. Потом долго смотрят ей вслед и шепчут:

– Это Мариуччия...

Радостной и беззаботной, как солнечный день, была молодость Мариуччии. Выросла она среди нищеты в узких и смрадных закоулках Неаполя. Мариуччия ходила в лохмотьях, никогда не наедалась досыта, но все ее существо было переполнено радостью. Она страстно любила жизнь, синее море, шумный певучий город, свою молодость. Рано развилась, как все женщины далекого юга. Ей не было и семнадцать лет, как она полюбила красивого смуглого Луиджи, который и увез ее на скалистый остров.

Здесь для Мариуччии настала иная жизнь, расцвели иные радости. С неистойвой пылкостью переживала она счастье первой любви – сладкой и опьяняющей, как виноградный сок. Утром, когда Луиджи должен был уезжать в море, она обвивала его шею жаркими, смуглыми руками. Все ее существо – большие черные глаза, алые губы, гибкое горячее тело – все без слов страстно молило: «останься». Зажмурившись, стиснув зубы, он с тоской вырывался из сладких объятий и поспешно уходил, не оглядываясь. Сильно билось сердце, ключом кипела горячая кровь, тело страстно тянулось к любви, но... смешон тот мужчина, который поддается женщине!

Мариуччия оставалась одна. С детской беззаботностью скоро забывала свое горе. Убирала комнату, стирала, болтала у водоема с соседками. С удивлением и жалостью всматривалась в их увядшие лица, согнувшийся отяжелевший стан. Слушая их бесконечные рассказы о родах, болезнях, о грубости, пьянстве и изменах мужей, думала:

...«Нет, нет, у меня так не будет. Мы с Луиджи крепко любим друг друга».

Смущенная, уходила к себе, садилась в тени и принималась чинить сети или плести веревочные туфли. Звонко-хрустальные песни бросала она в голубую даль... туда, куда уехал ее милый, и в каждом переливе голоса посылала ему свою любовь.

А солнце поднималось все выше. Невыносимым палящим зноем обливало землю. Громко трещали цикады, по скалам в запыленной зелени шуршали юркие ящерицы. Пряным, истомным ароматом дышали согретые травы. Мариуччия погружала разгоряченное тело в голубые волны и после купанья долго лежала на горячем песке, каждой жилкой тела впивая красоту и радость жизни.

Медленно тянется время... Кажется, конца не будет знойному дню... Но, наконец, солнце склонилось к западу, бросило по лазури моря снопы дрожащих золотых стрел, розовыми отсветами залило дали. По земле потянулись сине-прозрачные тени. Мариуччия стоит на берегу и напряженно вглядывается в даль... И, наконец, ее зоркие глаза различают в золотистом тумане черные точки... Все яснее и яснее вырисовываются очертания рыбачьих лодок. Наконец, глаз начинает различать яркие пятна курток и колпаков, смуглые, обожженные солнцем, лица, мускулистые руки. Другие женщины тоже приходят на берег. Говорят о том, каков будет улов, о своих домашних нуждах и горестях. И только Мариуччия молчит, не отрываясь следит блестящими глазами, как мерные взмахи весел бороздят голубую гладь. Так и рвется навстречу лодкам и, наконец, не может выдержать: подобрав юбки – бежит в воду. Смеется, что-то кричит звонким, веселым голосом. И когда лодка врезывается в песчаную отмель, Мариуччия бросается на шею мужу...

А кругом слышится веселый говор, смех. Волокут лодки к берегу. Наклоняются и рассматривают улов. В лодках чуть трепыхается рыба, блестя на солнце тускло-серебристой чешуей, бледной многоцветностью морских глубин. Тут жирные мурены, с черно-атласистой спиной, матово-черные угри, гигантские крабы, те крупные рыбины из породы небольших акул, которые называются здесь «морские собаки» за их огромную пасть, усеянную острыми зубами. У них дивные зелено-бирюзовые глаза, которые еще светятся фосфорическим блеском. Тут же и мелкота: сардины, плоская «вопа», которой в дешевых отелях угощают приезжих форестьеров. Вся эта куча опутана тиной и водорослями, усыпана ракушками, моллюсками, ноздристыми ветками кораллов, пропитана терпким запахом моря.

Тут же на берегу делят улов, свежую рыбу, выбрасывают в море кровавые внутренности. Потом женщины начинают жарить рыбу, поливая ее золотистым оливковым маслом. Раскрываются настежь двери, из всех хижин валит клубами удушливый чад. И над Marina Granda стелется

голубой дымный полог. Едят под открытым небом – на большом камне, на скамье у дома. Запивают рыбу красным кислым вином, от которого загораются румянцем смуглые щеки, громкий раскатистый смех носится в прозрачной свежести вечера. После обеда идут наверх, в город, продавать рыбу в лавки, в отели. Покупают соль, серый витой хлеб, макароны, пачки дешевых сигар.

Мариуччии муж подарил красную ленту, и она вплела ее в пышные темные кудри. Разгорелись радостью щеки, в алом изломе губ блестит матовый жемчуг зубов. Вся она сияет красотой, счастьем, искрометной, как вино, молодостью. На Мариуччию заглядываются встречные форестьеры, и она весело кивает им головкой, говоря:

- Buona sera, signor!

Ярким, как солнце, счастьем пронизана весна жизни Мариуччии... Звенит она песнями, цветет любовью, озарена отсветами блаженной радости тела.

Через год у Мариуччии родился первенец-сын – здоровый, красивый мальчуган. Гордилась им молодая мать, баловала малютку, но теперь уже реже ходила на берег встречать мужа, реже болтала с соседками. Пухлые ручонки крепко держали ее дома. Еще не начал он ходить, а молодая женщина уже носила в себе новую жизнь. Как сама природа плодovitы женщины далекого юга...

Энрико рос здоровым и сильным, как молодой бычок, но до трех лет не говорил ни слова. Был тихим и смирным, но необычайно прожорливым. Мариуччия спокойно говорила в ответ на соблезнования соседок:

- Разными уродит Бог детей. Иной кричит день и ночь, не уймешь его ничем. Другой же молчит как устрица, но зато растет и толстеет не по дням, а по часам. Вырастет – добрый работник будет отцу и матери.

Так говорила она – и улыбалась, в то время как сердце ее разрывалось от горя. Мариуччия понимала, что ее первенец, ее Энрико – идиот, и считала это несчастье – испытанием, посланным Богом. И думала, что грешно роптать и жаловаться, нужно безропотно терпеть то, что Он посылает...

Что ни год – то рождались дети, а заработок не прибавлялся. В скромную хижину на берегу моря стала заглядывать нужда. Мариуччия сильно изменилась: отяжелел ее стройный стан, обрюзгло лицо. Стала она сварливой и грубой, то и дело покрикивала на ребят, цеплявшихся за ее юбку. Бралась за всякую работу, лишь бы добыть несколько сольдо для семьи, и никогда уже не пела звонких и страстных песен.

Понемногу судьба обрывала лепестки с ее пышного цветка счастья. Луиджи стал покучивать; в том отеле, где Мариуччия брала стирку, хозяин обанкрутился и закрыл заведение. Нужда еще крепче сдавила их, и

Мариуччия, забыв былую покорность воле Божией, с озлоблением спрашивала себя порой в часы раздумья, чем еще может покарать ее Господь Бог?..

Осенью, когда дует сердитый «трамонтано», море становится серым и гневным. По его простору бегут зеленые валы с белыми гребнями и яростно бьются о скалы. А по небу несутся клубами свинцовые тучи и застилают ясную даль сеткой холодных дождей. В такую погоду хорошо сидеть дома и греться у очага. И еще лучше забраться в кабачок и, попивая винцо, слушать рассказы бывалых людей о дальних странах, о том, что творится на свете...

В один из таких дней унесло в море лодку Луиджи, которую он поленился вытащить подальше, на отмель. Когда об этом узнала Мариуччия, она пришла в ярость и как тигрица набросилась на мужа.

- Га-а!.. в то время, когда ты будешь таскаться по кабакам, нам придется издыхать с голоду! Мало того, что ты пропиваешь деньги, которые годились бы на хлеб, ты не можешь еще усмотреть за своим добром! Хорош рыбак без лодки! Посмотрю я, что ты будешь делать? Когда все добрые люди поедут ставить невода, а ты будешь сидеть и хлопать глазами или клянчить, чтобы тебя взяли в лодку!

Она кричала, рвала на себе одежду, била себя кулаками в грудь, предавалась горю со всем неистовством южной натуры. Луиджи, смущенный и оробевший, стоял перед нею и, видя, что она не слышит его клятв и обещаний, вывернул свои карманы и отдал ей все, что у него было, до последнего сольди.

Чувствуя свою вину, он на другой же день пошел искать работы. Ему удалось найти заработок в каменоломне. Нужно было дробить на щебень куски плитного камня. Тяжелая это была работа, особенно с непривычки. К вечеру нестерпимо ныло все тело, а от вдыхаемой пыли сухой кашель надрывал грудь. Разбитый, озлобленный приходил он домой, наскоро ужинал и ложился спать. А с утра нужно было идти на ту же постыльную работу. Луиджи становился угрюмым и мрачным, то и дело бранился с женой, наделял колотушками ребятишек и горько жаловался на свою тяжкую долю.

В эту пору неудач он начал ненавидеть своего сына-идиота и часто ворчал на него, что он объедает всю семью. Однажды ему пришла мысль попытаться заставить Энрико работать в каменоломне.

- Малый силен и крепок на диво, - говорил он жене. - Грешно ему есть даром отцовский хлеб. Пусть приучается к работе.

Энрико покорно пошел за отцом. Когда ему дали в руки молот и начали объяснять, что он должен делать, то юноша только сопел и усмехался. Ни угрозами, ни увещаниями его нельзя было заставить приняться за дело. Наконец, старший, выведенный из терпения, дал ему

пинка в спину. С яростным ревом вскочил идиот и с поднятым молотом бросился на обидчика. Если бы тот не успел увернуться, молот Энрико размозжил бы ему голову. Несколько человек набросились на идиота, повалили его, связали и уже связанному дали пару-другую хороших ударов.

Когда все принялись за работу, Энрико удалось ослабить веревки. Он освободился от пут и убежал домой. Мать с тихой жалостью обмыла ему ссадины и раны, надела чистую рубаху. Вечером Луиджи с бранью накинулся на сына и замахнулся на него кулаком. С яростью вскочил Энрико... В руке у него тускло сверкнуло лезвие ножа. Мариуччия с криком ужаса бросилась между ними. На разъяренном лице идиота мелькнула искра сознания. Он с нежностью взглянул на мать, бросил нож в угол и успокоительно закивал головой...

- Ма, ма, ма-а-а! - мычал он, а Мариуччия плакала горячими, обильными слезами, прижимая к себе кучу испуганных темноволосых головенок. Бледный, как стена, просидел целый вечер Луиджи и ни слова больше не сказал в тот вечер. Больше он не делал попыток заставить работать старшего сына.

Энрико опять целыми днями грелся у очага, жадными глазами следил, куда мать прятала съестное, и с безошибочным чутьем собаки находя съестное, поедал его втихомолку. И пока вся семья жила впроголодь, он один непомерно толстел, наливался и зачастую искал от переполнения желудка кусками сухой неудобоваримой пищи.

Между тем там, где-то далеко, в шумном неведомом мире разгорался пожар войны. Точно какой-то яростный бог гнева и мести реял над землею, зажигая на своем пути вражду и озлобление.

На счастливом скалистом острове, обласканном голубыми поцелуями ласковых волн, - там мало беспокоились о том, что делается в мире. Только по вечерам, когда мужчины собирались в одну из любимых trattoria, курили трубки, прихлебывая вино, - начинался порой разговор о войне.

- В Австрии все война, - говорил один. - Да поможет нам святая Мадонна и святой Дженнаро остаться в стороне от грызни, но подоспеть к дележке добычи!

- Огэ, какой ты ловкий! - возражал другой. - Не ездивши в море, хочешь выловить рыбу.

- Где храбрые теряют, там плуты выигрывают! - подхватывал третий. И каждый глоток терпкого итальянского вина кружил головы, зажигал румянцем смуглые щеки и все глубже погружал тело в блаженность легкого опьянения.

Как стая встревоженных чаек, стали все чаще и чаще долетать вести о войне на скалистый остров. Будили в людских сердцах любовь к тому смутному и далекому, что зовется «родиной»... Спит в сердце эта любовь, и пока она спит, сердце чутко откликается на зов мелких радостей и печалей, из которых сплетается жизнь. Но иногда один миг, одно слово, одна тревожная весть – разрывают эту нить, ранят сердце острым толчком внезапной боли или радости... И проснется оно, затрепещет. Почувствуешь тогда, что родина – больше мира. Сначала она – близкая и любимая, – а потом уже мир, потом своя жизнь, свои радости и печали...

Такая волна восторгов, порывов, любви всколыхнула всю страну, далекую от туманного севера, где шла эта великая схватка. Заставила-таки ее броситься в борьбу за видениями славы, за миражем победы.

И несметные толпы народа, со знаменами, с пением, колыхались по улицам городов и местечек. Вспоминалась исконная ненависть к северному игу, к чужеземному владычеству, под которым изнывали когда-то отнятые области... Не настало ли теперь время вернуть их, прижать к трепетному народному сердцу?.. И каждый откликался на эти зовы борьбы, победы, восторга. И заставляли толпы людей из тишины голубой лазури, от золотой ласки солнца стремиться к зловещим тучам, к жуткому мраку войны.

И этот вождеденный миг настал. По всей стране, из конца в конец, пронеслась весть о том, что война объявлена. Старый padre Antonio прочитал манифест короля после воскресной мессы. Женщины испуганно вздыхали и плакали, а тихий рокот взволнованных мужских голосов пронесся под сводами церкви:

– Да здравствует Италия! Да здравствует король!

На другой же день в муниципалитете, под наблюдением толстого синдика, стали составлять списки подлежащих призыву. И прежняя беззаботная жизнь сменилась нарастающей тревогой. Женщины забыли свои мелкие ссоры, нескончаемые пересуды и, собираясь по вечерам у водоемов с кувшинами, толковали о войне. Только война была у них на устах и в сердце – война жестокая и безжалостная, которая отнимала у них мужей, кормильцев семьи и взваливала на них борьбу с жизнью.

Мариуччия тревожно спрашивала мужа:

– Скажи, Луиджи, ты ведь не пойдешь на войну? Не пойдешь?

– Если все пойдут, как же я могу не идти? – отвечал он, блеснув черными, как уголь, глазами в бархатистой синеве белков.

– Но дети... кто же будет кормить детей? – в страстной тоске взывала она.

Он виновато опускал голову и молчал. Что он мог ответить ей на этот вопрос? И все чаще и чаще уходил из дому, стараясь держаться подальше от этого возмущения против того, чего нельзя изменить, с чем нельзя

бороться. А для Мариуччии только этот один вопрос и имел значение из целого ряда других вопросов, встающих из недр потрясенных устоев жизни. «Кто же будет кормить детей, если Луиджи возьмут на войну?» – думала она днем, во время работы, ночью в долгие бессонные часы. Тот же вопрос вставал перед нею, когда она жарко молилась перед маленькой терракотовой статуэткой Мадонны.

...Те, кто берет отца на войну, те и должны кормить детей, – наконец решила она. – Потому что я одна, я не могу их прокормить. Их семь, скоро будет восьмой, а я одна. Что же я буду делать? *Madonna mia*, сжался надо мной и над детьми, оставь нам Луиджи! – взывала она с наивным эгоизмом ребенка.

Мадонна не исполнила ее мольбы. Луиджи взяли и увезли вместе с другими. Когда маленький белый пароходик отходил от острова, покачиваясь на иссера-синей зыби, – на берегу, как волчицы, были женщины... Рвали на себе волосы, с неистовством южной природы посылая – жалобы небу и проклятия земле.

Коммуна выдала женам призванных на войну пособие в 50 лир. Мариуччия выбивалась из сил, чтобы заработать несколько лишних сольдо для семьи. В отчаянии она даже ходила в каменоломню, просилась на место Луиджи, но ее просьба вызвала ряд грубых шуток над ней, над ее располневшим станом. Ошеломленная раскатами смеха, она беспомощно озиралась кругом и твердила:

– Но ведь их у меня семь... Понимаете, семь! Скоро будет восемь, а я одна. Работает один, а ест восемь. Что же я буду делать?

С удивительной быстротой таяли 50 лир, казавшиеся Мариуччии неисчерпаемым богатством. Она знала, что как только будет истрачено последнее сольдо, в их хижину войдет голод... Да и не мудрено: ест восемь, а работает один! Если бы не Энрико, еще как-нибудь можно бы было жить. Но даже прежде, при сравнительном достатке, Энрико был бременем для семьи. А теперь, с наступлением нищеты, он обжирал их всех.

Он по-прежнему таскал съестное у матери, но так как теперь Мариуччия не могла иметь никаких запасов, то идиот был постоянно голоден. Он отнимал куски у своих маленьких братьев и сестер, пользуясь тем, что был сильнее их. Ребята бежали жаловаться к матери, но она не всегда могла дать обиженному другой кусок взамен утраченного. Иногда она только крепко прижимала к себе косматые головенки, и в ее темных глазах загоралась ненависть. Все чаще и чаще закрадывалась в ее сердце мысль:

...если бы не Энрико!..

И однажды, в тишине ночи, от этой мысли родилась другая и, как змея в ущелье, вползла в бедное слабое сердце. Вся в холодном поту, сползла Мариуччия с кровати и склонилась на каменном полу перед статуэткой Пресвятой Девы.

– Святая Мадонна! помоги и спаси, – шептала она. И жаркие слезы, одна за другой, падали на каменный пол. Долго молилась и плакала Мариуччия – до тех пор, пока ей удалось прогнать от себя ужасную мысль, порожденную одиночеством и горем. Но как только она легла, она опять почувствовала, что бессильна бороться с искушением. То, что она задумала, было ужасно, чудовищно... Но вокруг нее, как белые чайки, вились мысли соблазна и оправдания. Они твердили ей о ее горе, беспомощности, одиночестве. Подсказывали оправдания...

И она покорялась им.

Отказавшись от борьбы, она стала обдумывать, каким образом привести в исполнение задуманное дело. Она вспомнила, как прошлой весной у Кармелы-Бьянки коза подавилась какой-то колючкой. Всю ночь мучилось и жалобно бляло животное, и не было сил смотреть на его мученье. Кармела сбегала к аптекарю, и он ей дал какого-то белого порошку. Размешав часть этого порошка в воде, Кармела вылила ее козе в рот. После этого коза два раза вздрогнула всем телом, забилась в судорогах – и издохла. Так вот... если пойти к Кармеле и сказать, что ей, Мариуччии, нужен этот белый порошок, чтобы отравить крыс, которых много развелось в подполье?.. Она даст порошок, он ей не нужен. И тогда...

Утром Мариуччия объявила детям, что она сварит им сегодня рыбную похлебку. Оделась, пошла в город, чтобы купить соли и овощей. На пьянице ей встретился синдик, который давно уже чувствовал какое-то недомогание и постоянно бывал не в духе. У него совсем не было аппетита, и доктор предписал ему гулять ежедневно по часу, чтобы у него явилось желание поесть. Синдику тяжело было бесцельно, как ему казалось, носить тучное тяжелое тело, и он брюзжал, злился на весь мир... Встретивши Мариуччию, он обрадовался возможности остановиться, поболтать с ней.

– Э, Мариуччия, это ты! Ну, как живешь?

– Плохо, синьоре, – ответила Мариуччия. – Дети просят есть, а накормить их нечем.

– Как? – удивился синдик, – но ведь тебе недавно дали пособие в 50 лир. Неужели вы их уже съели?

– Нас восемь, синьор, – смиренно проговорила Мариуччия.

– Боже мой, как можно так много есть! – ужаснулся синдик. – В таком случае не мудрено, что вы постоянно нуждаетесь. Сами на себя и пеняйте.

И он, недовольный, отошел от нее, не ответив на поклон. Мариуччия никак не могла понять, за что на нее рассердился господин синдик?..

По дороге в город она зашла в одну из хижин, лепившихся по склонам горы, и через несколько времени вышла оттуда, что-то завязывая в уголок шейного платка. Долго, со слезами молилась у ног мраморной Мадонны в гроте. Пересохшими губами шептала Ей, страдавшей Матери, о своей материнской тоске и муке. Мрамор стал живым и теплым от ее поцелуев и слез.

Со строгим, спокойным лицом она варила похлебку в закоптелом чугушке. Никакими угрозами нельзя было теперь прогнать ребятишек из дому. Все они толпились у очага и жадно вдыхали вкусный запах рыбы, луку и перцу. Свежий хлеб на полке приковывал к себе их жадные глаза, дразнил румяной, обсыпанной мукой, корочкой.

Вошел Энрико и также втянул носом вкусный запах похлебки. Увидя хлеб, взял его с полки и отломил большой кусок. Мать вспыхнула, сделала было движение, чтобы отнять у него кусок хлеба, но остановилась. Уже без гнева, печально и ласково посмотрела она на сына и сейчас же отвернулась. А ее загорелые пальцы уже нервно теребили узелок шейного платка.

Когда похлебка была готова, Мариуччия отлила почти полчугунка в большую глиняную чашку. Отвернулась, развязала уголок платка и наклонилась над чашкой. Выпрямилась, страшно бледная, но спокойная. Подала чашку Энрико, а к чугушке позвала детей. Сама же она не могла есть. Отломил себе маленький кусочек хлеба и вышла из хижины. Села на большой камень и задумалась, устремив глаза вдаль...

Погасал день, сиявший яркими красками. Подходила черная южная ночь, бережно уносила его сияющие краски и золото. Темно-синее небо раскидывала над дремлющим морем, убирала его путаными узорами ярко-розовых звезд, от которых змеистые блики играли на темных волнах...

Мариуччия горячо любила ярко-синее море, серо-лиловый скалистый остров. Срослась с ним той крепкой неразрывной связью, которая притягивает человека к тому клочку земли, где он живет, старится и где ляжет на вечный покой. Много раз она видела златозвездное небо, темное море в ожирельи далеких огней Искии и Прочиды... Но никогда, никогда все это не казалось ей таким прекрасным, как сегодня! Она подумала о тех, кто не увидит ни темного неба с бледным серпом молодого месяца, ни моря с дрожащими отблесками золотых узоров, не услышит задумчивого плеска волн, тоскующей песни, которую кто-то звенящими переливами бросал в даль... Страшной жестокостью казалась ей смерть. Жил человек – любил, радовался, страдал – и вдруг не стало его на земле.

Она вздрогнула. Из хижины вышел Энрико, громко икнул и уселся на камне. Мариуччия пошла в хижину, осмотрела чашку и чугунок. Все

было чисто вылизано: ни кусочка картофеля, ни перышка луку на стенках. Она уложила детей, потом принялась за уборку. Вошел Энрико и как всегда улегся на лавке. Мариуччия погасила огонь и лежала с сильно бьющимся сердцем. Пережитые волнения утомили ее, и она крепко заснула.

Глубокой ночью она проснулась. При бледном сиянии месяца увидела, что Энрико большими глотками пьет воду из кувшина. С грохотом выпал кувшин у него из рук, и сильный приступ судорог схватил его. С воплями катался он по полу, бился в конвульсиях... Хотелось закрыть глаза, зажать уши и бежать от этой пытки... Но принуждала себя не спускать с него взора, жадно следить за каждым его движением. Могучее тело долго боролось со смертью, не хотело поддаваться ей. Только к утру окончилась эта борьба.

Тогда Мариуччия подошла к умершему. Поцеловала холодный и влажный лоб, оправила черные, сбившиеся волосы. Вымыла лицо и одежду, запачканные кровавой пеной. Встала на колена и долго без слов молилась у трупа сына. Потом вышла из хижины на встречу ясному, золотому утру. Поднялась в горы, принесла свежих веток кипариса и лавра, забросала ими неподвижное тело. Хотела втащить его на кровать, но не могла. Так и остался он лежать, распостертый на полу. К изголовью она хотела поставить статуэтку Мадонны. Подошла к полочке и случайно взглянула на себя в зеркало. Иссера-бледное лицо, с темными ввалившимися глазами смотрело на нее. Что-то белое легло на темном шелке волос. Провела рукой, чтобы смахнуть, – но белое пятно осталось. Тогда она взяла в руки зеркало и увидела на иссиня-черных волосах седую прядь. Отделила ее, намотала на палец, хотела оборвать по волоску, но раздумала:

...к чему?!

Эта седина – ее мука, ее скорбь.

Через месяц у Маруччии родился ее последний ребенок – хилый и слабенький. Мариуччия терпеливо и безропотно возится с ним по ночам, отдавая ему последнее, что у нее оставалось для себя – сон. Она приносит эту жертву с радостью, потому что это – последний. Больше их у нее не будет.

Эта мысль придает ей бодрости. А ей нужно быть бодрой и сильной, чтобы кормить семью. Она втянулась в работу, обрюзгла, пожелтела, стала неряхой. Никогда уже не болтала с соседками, чуждалась людей и одиноко носила в себе страшную тайну.

Все кругом знают, отчего умер Энрико. Но все молчат. Только при встречах с Мариуччией, вместо обычного ласкового *bon giorno*, молча дают ей дорогу, а потом долго смотрят ей вслед и с тайным страхом говорят:

- Это Мариуччия!..

Опубликовано и печатается по: Архитектура и жизнь. 1921. № 2. С. 76–85.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ БЫТ

I

УТРО

Супружеская чета сидит за утренним кофе. Муж читает газету, а жена, громко причмокивая, пьет кофе из нарядной, расписной чашки. Лицо ее угрюмо, на лбу собрались морщины тоски и думы. Она старается решить уравнение со многими неизвестными; с кем и на какие деньги мог ее муж кутнуть вчера в ресторанчике. Но... вопрос не разрешим за отсутствием каких-либо данных.

По улицам города бродит ласковая голубая весна, а у бедной женщины – ад в сердце. Ни новой шляпки, ни свежих перчаток, а со стороны мужа – полное равнодушие и попытки повеселиться плутовским образом... И это в то время, как она целые дни вертится как белка в колесе, не отходит от грязной работы, от помойного ведра...

- У-у, кровопийца! – ворчит она.

- Что ты, мамочка? – удивленно отозвался он.

- Денег мне нужно, – заявляет она.

- Денег?! Но ты же отлично знаешь, что денег у меня нет.

- А для того, чтобы напиться, есть?

- Напиться... Как ты, милая, резко выражаешься! Встретил приятеля, он меня угостил. Только и всего. А ты уж сейчас...

- А вот «это» у вас в кармане тоже от приятеля? – язвительно произносит она и что-то бросает на стол.

«Это» оказывается дамской замшевой перчаткой. Длинная перчатка, выше локтя, мягкая, душистая...

Он смущенно откашлялся.

- Милая, это я нашел на улице. Иду и вижу... лежит вот эта перчатка. Сначала думал пройти мимо, а потом вернулся и поднял. Думаю себе, замша – это вещь полезная в хозяйстве. Что ты так смотришь, мамочка? Думаешь, я не понимаю? Замшей хорошо самовары чистить, а пальцы – отрезать и, если когда палец заболит, то надеть...

Ее губы надуты, по щекам торопливо бегут слезинки, нос бессовестно краснеет.

- Кровопийца ты, варвар, аспид! Много ты думаешь о самоварах! Я тебя, подлеца, насквозь вижу! Ты...

- Барыня, - докладывает прислуга, - там, на кухне ходька с товаром приподчи. Будете что брать?

Барыня встает и через несколько минут возвращается, сияющая как майское утро.

- Знаешь, я ходьке фальшивую иену подсунула, - с восторгом сообщает она. - Он и не посмотрел, прямо в кошель положил.

- Уж ты у меня хозяйка на славу! - говорит муж и, пользуясь минутным затишьем, торопливо хватает портфель с бумагами и исчезает.

II

ДЕНЬ

Супружеская чета обедает. Он красен, лицо его лоснится от сытости, от физического довольства. Она то и дело подкладывает ему лучшие куски. Муж кряхтит и вздыхает:

- Ох, матусенька, закармила ты меня совсем!

- Ничего, кушай, кушай.

- Да не могу больше. Сыт по горло.

- Ты постарайся хоть через силу. А то прислуга съест.

- И пусть ее есть.

- Ну уж извини. Сколько ей ни дай, она все сожрет. Она ужасно много ест. Лучше уж самим, понатужившись, доесть.

- Ну, что тут экономить. Провизия здесь не дорога.

- Как сказать! - озабоченно говорит она. - Вон говядина на копейку подорожала. Огурцы у нас отмякли, пришлось в помойку выбросить, убытки на каждом шагу. Тебе-то, конечно, все равно. Ни до чего дела нет. Только бы пьянствовать.

- А вот и ошибаешься, матусенька! - говорит муж. - У нас на службе лотерея была. Платье и какое-то манто разыгрывались. Я на твое счастье три билета взял.

- Хорошо бы манто выиграть! - вздыхает она. - У меня жакет старомодный. Не в чем выйти. А еще лучше и манто и платье. А какое платье? Хорошее?

- Наверно хорошее... Кажется, какое-то не то кисейное... не то этакое... ну, как тебе сказать?

- А какого цвета?

- Признаться, не помню... Не то розовое, не то...

- Да ты вовсе их не видел! - с негодованием воскликнула она. И через минуту авторитетно добавила:

- Все лотереи - одно мошенничество.

- Вот все нет...

- Нет, уж ты, пожалуйста, не спорь. У меня подруга была. Хорошенькая и негодяйка ужасная. Всегда за ней мужчины бегали. Так вот ей как нужно денег, так она сейчас лотерею устраивала и всем поклонникам билеты раздавала. Ну и всегда либо сама выигрывает, либо кто выигрывает и ей подарит.

- Матусенька, тут совсем другое дело...

- Ох, что-то у меня переносица чешется. К гостям это.

Муж, подавив отрыжку, расстегнул стеснявшие его пуговицы жилета и промолвил:

- Пойдем-ка, матусенька, отдохнуть. А то целый день работаешь, работаешь...

- Твоя-то какая работа, - отвечает она с усмешкой. - Сиди да пиши. Отписал - иди обедать, на готовое. А я вот целый день как белка в колесе хлопочу, за каждую копейку как собака грызусь...

- Уж ты у меня хозяйюшка на редкость! - говорит он, зевая и похлопывая свою дражайшую половину по спине. - Я за тобой как за каменной стеной.

И оба, кряхтя и переваливаясь как откормленные гуси, плетутся в спальню к широкой кровати, с горой подушек. И через десять минут в спальне слышится храп. Один солидный, басовитый, а другой с легким посвистом... Тих и крепок супружеский сон - дар сытого желудка и чистой совести.

III

ВЕЧЕР

Супружеская чета сидит в столовой и с глубокомысленным видом раскладывает пасьянс. Часы с глухим хрипеньем бьют семь.

- Если пасьянс сойдется, тебе к празднику награду дадут, - говорит жена, томно улыбаясь и делая попытку лукаво стрелкнуть в супруга парой красивых, но увь! - заплывших глаз.

- Что ты, матусенька, это пасьянс марьяжный! - говорит он. - А марьяжным пасьянсом на денежный интерес нельзя загадывать. Ты уж на марьяжный интерес и загадывай.

- Какой же для меня теперь может быть марьяж! - вздыхает она.

- Ты у меня еще женщина в самой поре, - говорит муж, улыбаясь, разнеженный уютом, сытостью и теплом. - Такую-то, как ты...

Раздается стук в дверь. Сначала слабый, потом сильнее. Оба испуганно переглядываются.

- Экспроприаторы! - шепчет жена и, колыхая располневшее тело, спешит в прихожую. - Даша, не открывайте, не спросясь кто!

Но уже поздно. Дверь открыта. Вваливается другая супружеская чета.

- А мы к вам! - радостно заявляют пришедшие. - Сидели, сидели, я и говорю мужу...

- Милости просим, гости дорогие! - говорит хозяин.

- Калошу проклятую не могу снять, – ворчит гость, тяжело пыхтя. –
Такая у меня подлая нога...

- Здравствуйте, душечка!

- Здравствуйте, милочка. Как я рада вас видеть!

- Понимаете? Шестой номер мал, седьмой – велик. Возьму седьмой – калоши шлеп-шлеп... Возьму шестой – вот так и бьюсь!

- Вы бы сели, – предлагает хозяин.

- Благодарю покорно, не беспокойтесь. Я уже снял.

Идут в столовую. Чинно рассаживаются у стола.

- Что, пасьянсик раскладывали?

- Да, так... от скуки.

- А мы сидели-сидели, я и говорю мужу...

- А уж как мы испугались, когда вы постучали! Так и думали, вот эти налетчики в масках.

- Полно, матусенька. Кто к нам пойдет. Ну, как поживаете?

- Благодарим Бога, живем понемногу.

- А что новенького?

- Да ничего особенного. Живем, знаете, помаленьку. Как говорится, день да ночь и сутки прочь. А вы как поживаете?

- Да плохо. Ноги вот что-то ломит. И желудок плох. Иногда прямо сил нет.

- А у меня, знаете, зуб ноет. И так ни с чего. Сижу, сижу и вдруг занает... Надо бы к зубодеру сходить, да денег нет.

В тишину домашнего уюта падают грузно и лениво избитые, давно знакомые слова... А дамы щебетали весело и игриво, как птички:

- Ах, милочка, вы не можете представить, какая прелесть! Донце беленькое, а тулья – бордо. Сбоку дульки этакие, вроде ягодок, поля гнутые, а назади – экспри... То есть такая красота!

- А я, душечка, сколько дней все блузкой любовалась. По дымчатому шифону и золотом вышито... Все так в перековырку, в перековырку, а кругом – петельки и стрелки, петельки и стрелки...

- Ах!!

Минутное молчание. Раздается голос хозяина.

- А что, господа?.. Не будем терять золотого времени...

Общими усилиями раскрывают ломберный стол и садятся за пульку преферанса. За дешевую, до смешного, цену упиваются азартом. Переживают и трепет риска, и восторг победы, и позор поражения. Ссорятся, говорят колкости.

- У вас странная манера подсиживать... Терпеть не могу!

- Странно, право, так рассуждать. А я не люблю рисковать.

- Все-таки вы должны были отходить трефы...

- А вы не должны были ходить с маленькой пики... Уж если не умеете играть...

- Кто? Я-то не умею? Ну, уж извините! Мне всегда говорят, вам бы только в клубе играть...

- Посмотрел бы я, что бы сказали ваши партнеры...

Все это тянется с удручающей монотонностью до ужина. За ужином хозяйка угощает гостей прямо с каким-то остервенением:

- Кушайте, душечка! Ради Бога, кушайте. Вот я вам из этой формочки заливного положу. Здесь лучше застыло.

- Ах, ради Бога... я совсем, совсем сыта... Уж разве паштета кусочек, ужасно хорошо вы этот паштет делаете!

- Все сама, все сама! – со вздохом говорит хозяйка. – Ведь «их» (выразительный кивок в сторону кухни) только корми, пои да плати им жалованье. А толку от «них» никакого нет.

- Батенька, еще рюмочку? Этакую рюмашечку-мамашечку?

- Ох, не много ли будет?

- Что вы! Знаете, как говорят: «и курица пьет»! Хе-хе-хе... А уж нам-то с вами и Бог велел.

- Разве что из-за курицы... чтоб не отстать!

- Вот то-то и есть!

- Милочка, икорки еще! – надрывается хозяйка. – Вот я вам другую тарелочку дам и вилочку переменю...

- Да не нужно...

- Нет уж, поаппетитнее будет...

- Гости дорогие! Да кушайте же! – умоляет хозяин таким жалобным тоном, точно от аппетита гостей зависит его спокойствие и благоденствие.

- Понимаете? Если гости мало кушают – хозяину и хозяйке обидно. Значит плохо, не вкусно.

- Да полноте... совсем закармлили...

- А вы ростбифа... да со хренком, со хренком... Отличная вещь...

И так тянется долго. Хозяева настойчиво угощают, гости столь же настойчиво жеманятся. Одни делают вид, что по горло сыты, другие – что им ничего не жалко. Лица красны, потны. Слышатся возгласы:

- Ох, не могу больше!

- А вы через «не могу»!..

IV

НОЧЬ

Супружеская чета проводила гостей. Муж блаженно зевает, а жена с надутым и злым лицом убирает со стола.

- Ох, матусенька, на боковую пора! – благодушно говорит он.

- Какая там «боковая», – огрызается жена, – опять проиграли.

- Да, невезенье ужасное.

- Мне так нужны были деньги! Я с тем и садилась, чтобы выиграть.

- Э-э, матушка, никто не садится с тем, чтобы проиграть.

- А они жульничают. В карты подглядывают.

- Ну, матусенька, пустяки все это...

- Нет, не пустяки. Отчего они постоянно выигрывают? А мы никогда.

Ну-ка, скажи отчего?

- Так уж... судьба. И потом, бывает, и мы выигрываем.

- Мы-то редко. Оттого, что мы не жульничаем. А они оба хитрющие.

А уж сколько едят - ужас! Я удивляюсь, как им не стыдно.

- И пусть едят. Для того и на стол подано.

- Все-таки нужно приличие соблюдать. Ты посмотри, сколько они съели. Заливного - две формочки целиком. Паштета - только два кусочка осталось. Ростбифа - самые лучшие ломти уничтожены. Я думала, на завтра еще нам жаркого хватит, а теперь завтра придется снова на базар идти. И масло сливочное... я смотрю - она на хлеб с палец толщиной так и намазывает. У себя дома масла никогда не подает, говорит, что ей жирное вредно, а у нас - прямо одно масло ест. И сахару... ты подумай, по четыре куска в стакан кладут. Я нарочно три положила и сахарницу подальше отставила - так требуют!.. «Передайте, душечка, сахарницу», - передразнила она гостью. - Ведь это ужас что такое!

- Д-да.. гости... оно, конечно, - бормочет муж. - Водку вот тоже почти всю выпили. Теперь, если нужный человек придет - угостить нечем. Снова надо покупать.

- У тебя только и заботы об водке, - с раздражением говорит жена.

- Надо будет скорее к ним пойти, чтобы и у них так же все съесть.

Пусть узнают, как это приятно. И электричества сколько выгорело!

И она гасит лампочки в люстре, оставляя только одну. Тускло горит она, освещая стол. Наконец, гасится и эта последняя лампа. Пиршества и убытки - все покрывает ночной мрак.

Супружеская чета шествует в спальню. И через несколько минут раздается храп. Но... соло. Не дуэт! Жена лежит с широко открытыми глазами и шепчет с отчаянием:

- Господи! Две формочки заливного... По четыре куска в стакан! Ведь есть же бессовестные люди! А варенье... А яблоки! И последние три рубля, которые себе на перчатки из хозяйственных денег отложила, пришлось отдать...

И по ее щекам на подушку сбегаются горячие слезы обиды и боли...

Опубликовано и печатается по: Архитектура и жизнь. 1921. № 5. С. 177-183



**Валерий Францевич
ПЕРЕЛЕШИН**
(1913-1992)

Поэт и переводчик Валерий Перелешин (настоящая фамилия Салатко-Петрище) родился 20 июля 1913 г. в городе Иркутске в семье железнодорожного инженера. В 1920 г. вместе с матерью приехал в Харбин, где окончил гимназию Христианского союза молодых людей (1930), а затем Юридический факультет (1935). Член литературного объединения «Молодая Чураевка». Публиковал стихи в журнале «Рубеж», газете «Рупор» и др. В 1938 г. принял монашеский постриг с именем Герман в Харбинском Казанско-Богородском монастыре и переехал в Пекин. В 1943 г. окончил богословский факультет университета в Харбине. С 1943 г. преподавал в русской духовной миссии в Пекине. В 1945 г., сняв с себя сан, перебрался в Шанхай. Работал переводчиком в отделении ТАСС в Шанхае. Автор сборников стихов «В пути» (Харбин, 1937), «Добрый улей» (Харбин, 1939), «Звезда над морем» (Харбин, 1941), «Жертва» (Харбин, 1944) и др. Писал также под псевдонимами «Сигма», «Монах Герман» и др. В 1953 г. эмигрировал в Бразилию. С 1957 по 1967 гг. стихов на русском не писал (только на английском и португальском). Много переводил с китайского, французского, испанского, латинского языков. Издал первую антологию бразильской поэзии на русском языке «Южный крест» (Франкфурт, 1978), антологию китайской классической поэзии «Стихи на веере» (Франкфурт, 1970). Автор воспоминаний о литературной жизни русского Харбина и Шанхая 1930–1940 гг. «Два полустанка» (Амстердам, 1989). Постоянный автор журналов «Континент», «Новый журнал», «Грани», «Современник» и др. Умер 7 ноября 1992 г. в доме престарелых в Рио-де-Жанейро. Похоронен на английском кладбище.

Ист. и лит.:

Бузуев О.А. Творчество Валерия Перелешина. Комсомольск-на-Амуре, 2003. 145 с.

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Ред. и сост. Ю.В. Мухачев; под общ. ред. Е.П. Чельшева, А.Я. Дегтярева. М., 2006. С. 432–434.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Китае в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 236.

Эфендиева Г.В., Пышняк О.Е. Валерий Перелешин как переводчик китайской классической поэзии // Россия и Китай на дальневосточных рубежах. Этнокультурные процессы в политическом контексте. Вып. 10. Благовещенск, 2013. С. 256–266.

Эфендиева Г.В., Цмыкал О.Е. Валерий Перелешин и его опыт стихотворного перевода древнекитайского трактата «Дао Дэ Цзин» // Социальные и гуманитарные науки на Дальнем Востоке. 2014. № 4. С. 136–140.

ЗАМОК БЕЛОЙ ЖЕНЩИНЫ

I

Решение профессора Грассена было для меня полной неожиданностью.

– Ульм – моя родина, – сказал он. – Да и люди в мои годы больше хотят покоя, чем славы.

Мне нужно было решать – следовать ли за профессором или остаться в Берлине. Делать карьеру в провинции всегда легче, чем в столице: ни особого везения, ни особой гениальности не требуется. Все же я принял предложение профессора быть его ассистентом в Ульме не без колебания.

Обосновавшись на новом месте, я сразу же занялся практикой.

Обстоятельства мне благоприятствовали, я хорошо зарабатывал. С профессором я виделся уже не так часто, как в Берлине, но все же он неизменно вызывал меня для консультации. И я, как раньше, чувствовал при этих вызовах известную гордость: не забывайте, что Грассен был очень знаменит в то время.

В тот раз, о котором я собираюсь вам рассказать, звонок профессора не очень обрадовал меня, – я сговорился провести вечер с другом и его женой. Но профессиональная этика, в особенности обязательная для молодых врачей, не позволила бы мне ни в коем случае предпочесть развлечения своему долгу.

– Мне нужна ваша консультация, – сказал профессор Грассен в автомобиле, – вы слышали что-нибудь о замке графов Корфиц? На этот раз я везу вас туда.

Я хотел промолчать, чтобы не признаваться в том, что знаю о замке графов Корфиц не больше, чем о могиле Аттилы, но в тоне доктора мне послышалось что-то многообещающее. Поэтому я отважился предстать в его глазах круглым невежей.

– Это – замок Белой Женщины... Вы, северяне, – скептики, а ваши поверья слишком грубы и прямолинейны, – прибавил Грассен, видя мое недоверие. – А мы, уроженцы юга, не умеем забыть того, что каждый день ступаем по чудеснейшим страницам истории. Двадцатому веку принадлежат у нас только города с их трамваями и электричеством, да и то многое придется вычесть, – ратуши, церкви, дворцы архиепископов, князей и гильдий, оружейные палаты, крепости, площади... Музеев я не называю нарочно: в них современность наивно гримируется под старину... Замок графов Корфиц расположен в получасе езды от Ульма почти на берегу Дуная, и Корфицы, несмотря на его дурную славу, живут в нем. Там нет даже электричества, – замок остается в неприкосновенности. Я лечил почти всех членов семьи; старик граф Бернгард умер от астмы на моих руках. Его смерть была очень мучительной – он метался, бредил и гнал от себя какую-то ведьму...

– Вероятно, это была его жена? – насмешливо спросил я.

– Нет, жена умерла где-то в Италии, в самом начале войны. Вскоре умер и их сын, офицер... Во время отпуска с фронта он приехал домой, в замок. Его нашли в спальне мертвым с признаками удушья... В другое время прокурор заинтересовался бы этим обстоятельством, но тогда была война, и человеческая жизнь ценилась недорого; смерть приписали кровоизлиянию в мозг или еще чему-то. Единственный наследник и нынешний носитель титула – молодой граф Бруно. Я нашел у него дифтерит; шея и гортань сильно отекали. Больной задыхается, бредит. Боюсь, что придется прибегнуть к крайним средствам – инкубации гортани, а то и трахеотомии...

В это время справа от шоссе показалась деревушка Гаммерсдорф; за ней виднелись строгие, мрачные очертания замка. Через некоторое время мы вышли из автомобиля и постучались в чугунные ворота.

Ветхий сторож бесконечно долго кружил нас полутемными коридорами, и свеча плясала в его неверных пальцах. Тени ложились резко и угловато, высокий потолок тонул в непроницаемом мраке. То и дело под ногами шныряли с громким писком крысы, казавшиеся особенно крупными в темноте. Несколько раз мы едва не наступали на них. Гнетущая скудость непрогретаемых, толстых стен, ниши в них и узкие окна, похожие на ниши и снабженные решетками, тоже располагали к суеверной задумчивости.

Когда мы вошли в первую жилую комнату и на пороге ее увидели девушку, прекрасную как волшебница, я вспомнил об Ариадне, выводящей путника из лабиринта, черного, как Стикс. Она была замечательно хороша собой; царственные глаза, синие, как протекавший под южными окнами замка Дуная; волосы, темные, как средневековая ночь, в которой всегда таится буря... Такая красота никогда не сулит добра. Я невольно начинал чувствовать себя причастным к каким-то необъяснимым событиям, несмотря на полную обыденность происходящего.

Сиделка встретила нас, как мне показалось, недоброжелательно, но скоро переменяла тон и стала чрезвычайно любезной.

Осмотр больного подтвердил опасения Грассена – юноша был в сильнейшем жару, вскакивал с постели и порывался бежать. В виду этого профессор нашел нужным, чтобы я остался ночевать в замке.

– В таком случае, фрейлейн, – обратился я к красавице-сиделке, – я думаю, что вы можете ехать домой вместе с профессором. Вы, вероятно, устали, несмотря на ваш бодрый вид.

– Нет, нет, я останусь здесь, – я чувствую себя отлично. Здесь найдется место для всех. Я прикажу затопить камин в детской, а вам уступлю библиотеку.

– Я нахожу это целесообразным. Ваша помощь может понадобиться д-ру Иегеру, и вы должны находиться поблизости, – резюмировал профессор и уехал, сделав сиделке кое-какие наставления.

Едва я устроился в библиотеке, как в дверь постучали, и сиделка вошла ко мне под тем предлогом, что забыла здесь какие-то свои вещи. Не обращая на нее внимания, я просматривал книги по корешкам, выбирая что-нибудь для чтения.

– Вы собираетесь читать ночью? – спросила девушка. – Здесь все читают о Белой Женщине... – и она как-то странно засмеялась.

– В самом деле! – воскликнул я, обрадовавшись этой мысли.

Девушка отыскала книгу, – вернее, рукопись, написанную на

пергаменте, хотя и не очень старую, – но все не уходила.

– В чем дело, фрейлейн?

– Я... я думаю, что мне лучше переночевать в Гаммерсдорфе. Я так устала, что едва держусь на ногах. Кроме того, я боюсь, что я заразилась сама...

– Как вам угодно. Но оставьте ваш адрес... на всякий случай.

– Пожалуйста, – она написала его на клочке бумаги, который я сунул в карман. – Спокойной ночи, доктор.

– Спокойной ночи.

«Наглая особа, – подумал я. – Конечно, я справлюсь и один, но все-таки, мне будет трудно обойтись без нее, если что-нибудь придется искать. Я не знаю даже, где живет сторож».

Мне вдруг показалось, что я в замке совершенно один. Только что пережитое ощущение потерянности в безвыходном лабиринте вернулось и, несмотря на все трезвые доводы рассудка, не оставляло меня ни на минуту. Тогда я решил заняться чтением.

II

Граф Эбергард Гаммерштейн был очень жестокий рыцарь. С пленников он сдирал кожу и, так как она не была ему нужна, ибо книг он не читал, обтягивал ею барабаны вместо того, чтобы жертвовать ее в монастырь. Слугу, воровавшего у него вино, он утопил в бочке; когда у него сдохла лошадь, он велел привязать конюха к двум лошадям и пустить их в противоположные стороны, чтобы бедняга был разорван надвое...

Никто, конечно, не был в праве вмешиваться в домашние дела графа, но гаммерсдорфский священник выразил ему порицание при народе. Граф промолчал, но в ту же ночь с дюжиной конюхов прискакал к дому преподобного, оторвал его от ложа сна, вытащил на двор и, завязав в мешок, сбросил в реку.

При этом граф Эбергард хулил Бога, говоря, что теперь в Дунае нельзя больше ловить рыб, ибо преподобный обратил их всех в христианскую веру. Этим он навлек на себя проклятие Господа, который в виде кары наслал на его дом множество крыс.

Но и этот знак не образумил грешника, который в очерствении сердца дошел до того, что заключил собственную жену в подвал своего замка. А в этом подвале крыс было столь много, что они ели друг друга от голода.

На Дунае не было женщины прекраснее Констанции, хотя она и была из семьи простого суконщика, – ни венгерские, ни валашские красавицы не могли похвалиться такой белизной лица, такой синевой глаз и такими черными кудрями, которые были похожи на прекрасные волосы Магдалины.

Граф очень любил свою жену, пока не вздумалось ему жениться на дочери могучего соседа, графа Цоролин. Церковь не позволяла развода, и тогда злодей замыслил отделаться от несчастной Констанции.

Эбергард был решительный рыцарь, и Констанция была брошена в крысиный подвал.

Через короткое время глаза ее померкли от непроницаемого мрака и непрерывных слез, волосы стали седыми, как у древней старухи, и выпадали целыми прядями, ногти же отрасли чрезмерно. Во время весеннего разлива Дуная в подвале выступала вода, и оттого тело прекрасной графини покрылось язвами, и заживо гниющее мясо отваливалось кусками.

Эбергард, между тем, возвестил народу о ее смерти и женился на Матильде Цоролин; однако не оставил своих дурных обыкновений. Совесть его ни сколько не мучила, как проклятого Богом, и, хотя он, наподобие Каина, не погибал ни в бою, ни на турнире, его не оставлял страх, что Констанция выйдет из темницы и призовет на его голову мщение.

Так он загорелся нетерпением, чтобы она умерла, но Господь не посылал ей смерти, хотя отвратительные звери глотали ее тело.

Среди своих страданий она забыла все молитвы и впала в отчаяние. Наконец, когда на голове у нее не осталось и сотни волос, и она уже могла только выть и хохотать, к ней стал являться дьявол, который предлагал ей подчиниться его власти и обещал за то спасение.

Рассудок уже оставил ее, и она согласилась, после чего крысы перестали ее трогать.

Граф же, одержимый страхом и ненавистью, однажды ночью после пиршества, когда гости только что разошлись почивать, с фонарем и мечом в руках спустился в подземелье, чтобы умертвить Констанцию. Едва он вступил туда, где ожидал найти лишь изглоданный скелет красавицы, как оттуда на него бросились летучие мыши, совы, крысы и змеи, которых было столь много, что графу показалось, будто на него падает целая стена.

В середине этой живой стены стояла Констанция одетая в белое платье невесты и прекрасная, как в дни, предшествовавшие ее заточению. У ее ног лежали череп, глаз, ржавый кинжал, вязанка прутьев и сухих листьев, корни мандрагоры, волчий зуб, кости и камни; подле них высилась большая чаша с человеческой кровью... Между всем этим ползали ящерицы и прыгали черные жабы.

В ужасе граф устремился назад, но было уже поздно: вся нечисть бросилась вдогонку со страшным воем, свистом, шипеньем и хлопаньем крыльев. Оглянувшись, граф видел, как Констанция обернулась черной кошкой, которая стала расти и скоро стала величиной с теленка.

Закричав, граф упал без чувств и опомнился только после того, как

его внесли в церковь и отслужили мессу. Рассказав обо всем, что с ним случилось, приходскому священнику, он испустил дух. Похоронили его в углу кладбища и головой в сторону, противоположную Святой Земле, ибо он был великий грешник.

В ту ночь кошки передушили всю птицу в окрестностях замка и во всех печных трубах бушевал ветер.

С тех пор Констанция появляется в замке графов Гаммерштейн; и от этого в нем не живут кошки, и дети в семье графов часто умирают во младенчестве.

III

За стеной послышалась громкая возня. Вероятно, это метался больной юноша. Для чего-то затаив дыхание и стараясь ступать так, чтобы не производить ни малейшего шума, я, прикрывая пламя свечи рукой, подошел к выходу из библиотеки.

Едва я заглянул в комнату больного, как ледяной холод пронизал меня насквозь, и я почувствовал, как мои ноги тяжелеют и прирастают к полу, а дыханье встречает в горле какой-то комок и не может прорваться наружу.

Ночник погас, но в комнате был полумрак. У постели больного стояла сиделка из города, но теперь на ней было широкое белое платье, туго подхватывавшее грудь, а на голове была старинная, очень высокая шляпа, похожая на тиару, и с верхушки этой тиары свешивалось парчовое покрывало, не доходившее до плеч.

Свет, лишенный лучей, словно пропущенный сквозь матовое стекло, исходил, казалось, от самого воздуха, – все вещи были обрисованы четко, между тем как тени нигде не было. Девушка стояла, наклонившись над больным. Обе ее руки охватили его шею. Юноша отбивался, но уже слабел, а руки, похожие на змей, теснили его – медленно, без малейшего напряжения...

Мое оцепенение внезапно исчезло. Едва соображая, что я делаю, я громко закричал и бросился вперед. Еще мгновение, и мои руки, стиснутые в кулаки и черпавшие огромную силу в страхе и отчаянии, опрокинули бы душительную.

Но в это мгновение окно распахнулось настезь, в комнату ворвался сильный порыв ветра, моя свеча погасла, и я остался в непроглядной темноте.

– Кто здесь? – услышал, или, скорее, угадал я чей-то еле ощутимый голос, от которого все во мне захолонуло. С быстротой молнии в голове замелькали, как в калейдоскопе, все страхи и образы, гнетущие нас во время тех страшный снов, когда мы, охваченные смертельной тоской, как в погребке, который заливают водой, стараемся убежать, но не знаем, что

бежать некуда и что непостижимая, но и неизбежная опасность настигнет везде...

Сердце мое бешено колотилось о стенки грудной клетки, язык был как будто чужой, я не мог произнести ни слова. «Боже мой, – вдруг словно ударило меня, – да ведь это больной!..»

– Это я, доктор Иегер, – назвался я. – Как вы себя чувствуете?

– Очень плохо. Ужасные сны... меня душила Белая Женщина...

– Белая Женщина? Мне показалось, что это была...

– Все Корфицы, как и все Гаммерштейны, наши отдаленные предки, умирают от Белой Женщины.

– У вас, во всяком случае, просто дифтерит. Не верьте во все это, иначе вы не поправитесь, – внушал я юноше, мгновенно забыв недавний ужас. – Кризис миновал. Утром я вызову профессора Грассена, а вы пока должны хорошо выспаться...

– Умоляю вас, зажгите свет и не покидайте меня одного! Завтра я уеду из этого замка, чтобы не возвращаться никогда, но сегодня она может еще вернуться!..

– Нет, она ушла ночевать в Гаммерсдорф и не вернется до завтра, – успокаивал я больного, хотя и сам не испытывал никакой уверенности. – Это обыкновенная сиделка. Она даже оставила мне свой адрес. «Констанция Берг, сестра милосердия, 40, Улица Суконщиков», – прочитал я.

– Вы говорите, что это была сиделка? А я скажу вам и вы должны будете мне поверить, что это была Белая Женщина, – графиня Констанция Гаммерштейн, дочь безымянного суконщика, жившего некогда на той самой улице Суконщиков, которой не существует уже двести лет...

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1936. № 20. С. 4, 6, 8-10.

БУРЬЯН

I

Едва ли не каждый день попадают на газетные объявления, подобные этому. Тем обесцвеченным, нарочито выразительным слогом, который приличествует случаю, оно извещало мир о том, что участок земли мерою во столько-то квадратных сажений, выкупленный с постройками на нем: домом-особняком, фаршированным, по наружному обмеру столько-то квадратных сажений, сараем деревянным, крытым железом, летней кухней и проч., дешево продавался.

Ничего необычайного не было и в том, что на это объявление по указанному адресу шли люди разных званий и намерений, приходили, пытливо осматривали владенье, расспрашивали, записывали, восклицали:

«Ну, это дорого по нынешним-то временам!», – и уходили.

Некоторые возвращались потом с женой, со знакомым инженером, который «большой дока по этим делам», смотрели снова – и снова задавали те же вопросы о сырости, о глубине фундамента, о сроке аренды. Более наблюдательные интересовались еще и тем, почему в саду было столько бурьяну.

А бурьяну было действительно много: начинаясь от парадного крыльца, выходявшего в сад, он подымался могучей стеной почти в человеческий рост, густой, как щетка. Это было сплошное разгульное зеленое море стеблей и листьев; косматыми волнами подымались в нем кусты полыни, лебеды, репейника, чертополоха, крапивы... Обреченными островами казались среди этой травянистой стихии невысокие яблони и акации, и только один исполинский вяз гордо уходил к облакам, похожий на Тенерифский пик, растущий прямо из моря.

Каждую весну Сергей Павлович радовался молодой травке, к Благовещенью высыпавшей, как сыпь, по всей широкой груди участка. Сергей Павлович любил природу и, хотя был техником, мечтал в детстве стать сельским хозяином. Юная, неокрепшая еще травка наполняла его сердце умилением как всякая жизнь, пробивавшаяся сквозь враждебную толщу смерти и холода.

Но в начале лета Сергей Павлович уже хмурился: его огород заглохал, хирел так быстро, что становились необходимы спешные меры, и тогда Сергей Павлович принимался яростно истреблять наступающую стихию хлорофилла, извивавшуюся вверх легионами стеблей, листьев и курчавых зеленых соцветий.

Срезанные травы становились дряблыми и никлыми; сваленные в большие кучи, они испускали сильный, пряный запах, который победоносно заполнял садовый воздух и отравлял легкие Сергея Павловича какой-то задумчивой ленью. Сергей Павлович знал, что ведь стоит ему на три-четыре июльских дня согнуться над чертежами и счетной линейкой, как, выйдя, он уже не отыщет и следа своей моркови и гороха.

Зеленая кровь уже пропитала землю, уже оживила сонмы дремлющих в ней зародышей, уже влила в тело Сергея Павловича усталость и пассивность, чуть-чуть закружила ему голову. Лето. Душно, утомительно работать на воздухе, – и Сергей Павлович оставляет поле сражения, оставляет ежиться и тлеть под частными ливнями горы зеленых трупов, оставляет жалкую фасоль в жертву грядущим мстителям-варварам.

Молодой человек уходит к своим книгам и чертежам, утомленный и счастливый, чувствуя себя немного убийцей или посетителем морга, и вслед ему облегченно и траурно вздыхал израненный бурьян.

Катя иногда тоже невольно вздыхала: она знала, что Лепнины еле дышат, что их дом у них отберут, как только этого пожелают кредиторы.

И, может быть, еще потому вздыхала Катя, что ее знакомство с Сергеем Павловичем Лепниным все как-то не налаживалось: правда, когда она растворяла дверь своей террасы, выходявшей как раз против Лепнинского парадного хода, он неизменно раскланивался с ней, отделенной от него травяными джунглями, с учтивостью старомодной и трогательной, – но и только.

Прежде всего, это была одна усадьба, но потом Лепнины обеднели и продали половину ее Катиным родителям; на месте прежнего фруктового сада стоял теперь опрятный каменный домик с веселой террасой, но соседей все еще разделял один лишь редкий забор с заделанной калиткой посередине, да еще это море сорной травы.

Лепнины жили тихо и замкнуто. Сухая, худощавая Анна Филипповна неслышно, как мышь, двигалась по дому-особняку, мыла, чистила, скоблила и стряпала, изобретая дешевые кушанья.

Покой ее вдовства нарушился только один раз: телеграммой от племянницы, Елены Георгиевны, русской американки, богатой разводки: «Приезжаю 17. Елена».

II

Сергей Павлович не сразу втянулся в эту новую жизнь. Слишком скромный и слишком бережливый, он почти не знал ночной жизни шумных кабарэ, где самодовольные мужчины танцевали с изящно подкрашенными девушками, а горделивые дамы царственно отражались в огромных зеркалах, прекрасные и соблазнительные.

Сергей Павлович видел весь этот мир, как в телескоп с другой планеты: между этим миром и им, застенчиво заказывавшим вдвоем с приятелем бутылку пива, лежала целая пропасть.

И вот, по мановению волшебной палочки, по единому слову Елены Георгиевны, он погрузился в самую кипь, в самое сердце этого чудесного мира танцующих счастливых, их расширенных от бессонницы глаз и громкого взволнованного смеха.

Выезжали большой компанией, Елена Георгиевна платила за всех. Сергей Павлович сначала был лишь одним из многих, безликим кузенком. Но скоро, очень скоро он стал Сережей, излюбленным кавалером, непременным спутником американской гостыи. Ему уже почти не случалось танцевать с другими дамами, хотя их и влекла к нему его забавная застенчивость; ему уже не следовало, в сущности, и разговаривать с ними, ибо Елена Георгиевна откровенно ревновала его ко всем.

А между тем в доме Лепниных мало что изменилось, хотя по ночам к воротам стали часто подъезжать блестящие, величавые автомобили, откуда неслись песни и задорный смех. Анна Филипповна все так же мела и скоблила, изобретая дешевую стряпню из картошки. А рядом – летели на

ветер сотни долларов, покупались ненужные вещи – виолончель, пластинки, конфеты огромными коробками, цветы, вазы, фрукты...

Анна Филипповна скоро стала тяготиться присутствием племянницы, тем более что стоило Сергею Павловичу заработать рубль или два, как Елена Георгиевна под каким-нибудь предлогом ухитрялась взять их у него займы. Это возмущало Анну Филипповну, которая видела в этой манере жадность; на самом же деле Елена Георгиевна вовсе не нуждалась в грошах своего друга, а только хотела, чтобы у него не было ни одной собственной копейки, – тогда он будет крепче привязан к ней властью ее богатства.

Она рассуждала правильно. Сергей Павлович был ей вполне покорен. Может быть, он и старался порой подавить в груди невольный вздох, когда ему приходилось отшучиваться в ответ на настойчивое приглашение какой-нибудь другой дамы потанцевать, – но внешне она не могла бы от него и желать ничего большего.

Анна Филипповна теперь уже одна принимала проблематических покупателей и прикидывалась перед ними столь же счастливой и обеспеченной, сколько перед поставщиками старалась быть несчастной и бедной. Она была одна целые долгие дни, ибо днем Сергей Павлович и Елена Георгиевна спали очень поздно, а затем тотчас же уезжали и возвращались лишь на рассвете – какие-то чужие, но зато странно близкие друг другу, с блестящими глазами, обведенными синевой, сильно пахнущие вином.

Иногда они привозили вино с собой, заводили виолончель, и тогда над тихой улицей бойко и с надрывом разливался тенор:

Ты едешь пьяная и
очень бледная
По темным улицам
– совсем одна...

Анна Филипповна утыкала лицо в подушку и силилась спать, но сердце болело жалостью и стыдом, а за стеной раздавались резкие взрывы смеха Елены Георгиевны и незнакомый, вкрадчивый голос Сергея Павловича. Иногда долетали и слова:

– Ты как бездомная собака, Сережа! Вот я приласкала тебя, и ты теперь совсем мой, мой навсегда. Ведь если понадобится, ты поедешь за мной – хотя бы в трюме! Правда, ведь, дорогой? Скажи, что это правда!..

Анна Филипповна нарочно громко ворочалась и вздыхала: «Ну, хоть бы не целовались при мне, ведь я же все слышу».

В одну из таких ночей она резюмировала кратко и отчетливо, как приговор: «Пора кончать. Довольно».

III

Г-жа Томилина успела уже полюбить усадьбу, даже неукротимый бурьян напоминал ей детство, когда она в коротеньком платьице играла с братьями в африканскую охоту в таком же точно саду.

У нее тоже был сын, Женя, совсем еще мальчик, с фарфоровым, кукольным личиком и поразительно голубыми глазами, которым уже мерещилось полное уединение за этими высокими заборами. Среди травы он очистит для себя площадку, поставит шезлонг и будет греть на солнце свои обремененные легкие.

Одно только не нравилось Жене: слишком редкий забор со стороны соседей, на который так и напирала чужая терраса. Да, это необходимо будет переделать!

В тот день, когда г-жа Томилина подписала договор с Анной Филипповной Лепниной, Сергей Павлович приехал только утром, привезя совсем беспомощную Елену Георгиевну.

Однако она в тот раз долго его не отпускала, и он должен был сквозь отвращение целовать ее скучные губы и ласкать ослабевшее, отравленное вином тело.

Наконец, она заснула, и Сергей Павлович тотчас же вышел в сад – как был в легком халате. С трудом продираясь сквозь бурьян, он медленно приближался к соседской меже. Его одолевали дурные мысли, возбужденное воображение услужливо представляло ему красивых женщин, когда-то влекших, но недоступных ему из-за ревности Елены.

Полынь пахла истомой и плотью, лебеда – каким-то терпким напитком, репейники еле уловимо подпевали оглушительному концерту запахов. Напряжение самой Жизни, неисчерпаемой творческой силы Земли, томящейся о завтрашней похоти полуденного солнца, все это море живых соков, трепещущих листьев, жадных тычинок незримых цветов било в голову Сергею Павловичу, хмелило его...

– Сергей Павлович, это вы? – внезапно окликнул его кто-то.

– А кто... да, это я, Катя! – голос Лепнина был какой-то неверный, нечестный, еще полный дурного возбуждения нечистой июльской ночи. – Но почему вы не в постели? Дети давно спят.

– Не спится, Сергей Павлович. А вы отчего не спите?

– Да тоже не спится. Но для вас я просто Сережа, ведь мы соседи.

Они были уже почти рядом, разделенные редким забором с заделанной калиткой посередине.

– Ах, Катя, зачем только потеряли мы столько времени! Ведь мы давно могли так встречаться, как сегодня встретились случайно, – говорил Сергей Павлович через несколько минут, заглядывая в глаза девушке и сжимая ей руки.

– В особенности последний месяц вы совсем не выходите в сад! Я не видела вас с того дня, как к вам приехали квартиранты...

– Забудьте про нее, то есть про них. Теперь мы будем встречаться здесь каждый вечер как Ромео и Юлия; к тому же, кто мешает нам...

И Сергей Павлович торопливым, но ловким движением распутал проволоку, привязывавшую калитку к столбам. Через минуту он крепко обнял девушку и, ликуя, повлек ее к себе, в свой сад, на свою землю, густо заросшую зеленой, многолистной, мохнатой шерстью...

IV

Хохот начался сразу с высокого, надтреснутого звука, с каким бьется стекло. И почти мгновенно он превратился в человеческий визг, в сплошной вопль, в котором смешались воедино слезы подступающей старости, бешенство страстного тела, которое оттолкнули сапогом, мольба последней иллюзии, изо всех сил цепляющейся за мир реального, но осужденной уже рассыпаться в ничто, растаять как атлантический призрак.

Это хохотала Елена Георгиевна.

Беспокойство, сверхъестественное ощущение опасности отогнали ее сон, и ей в то же мгновение захотелось свежего воздуха, который начинался на крыльце.

Дверь, оказавшаяся открытой настежь, изумила ее; взглядевшись, Елена Георгиевна уловила в глубине сада, за бурьяном, две обнявшиеся фигуры, вынырнувшие из-за отворенной калитки.

Сергей? Да, сомнений не было! Тогда и разразился этот сумасшедший, истерический хохот, этот припадок бессильной ярости (дай ей волю, и она показала бы...), непоправимого отчаяния – вслед рухнувшему, как замок, обману.

Одна фигурка проворно канула в калитку, другая же медленно, сохраняя собственное достоинство, направилась к крыльцу. Но встретить сейчас Сергея, говорить с ним, – нет, это выше сил Елены Георгиевны! Она захлопывает дверь ему в лицо, бросается в свою комнату, щелкает дверным замком и, сквозь рыдания, слепая от слез, мечется от шкафа к сундуку, от сундука к шкафу, мнет прекрасные платья, швыряет их на дно вперемежку с драгоценностями, с хрупкими шляпами, с флаконами, щеточками, щипчиками, ножичками, со всеми этими женскими ларчиками, хранящими тайны обаяния и многократной юности.

А между тем Сергей Павлович стучит в дверь, – сначала тихо, потом все настойчивее и зовет:

– Елена, открой же! Елена, ну, чего ради ты обиделась? Ведь я просто пошутил... Елена Георгиевна, не заставляйте меня мерзнуть на улице в одном халате.

Но его голос еще больше бесит Елену Георгиевну. Как заставить его уйти, замолчать?! Елена Георгиевна хватается за первую подвернувшуюся ей мысль; улыбка перекашивает ее лицо, но через мгновение, при первых же звуках забытого с вечера романса, она вновь слабеет и, совсем изникшая от слез, падает на постель.

Ты едешь пьян-ная...
и очень блед-ная...
По темным улицам...
совсем одна...

Все можно стерпеть, но это беглое, торопливое, а затем вдруг вытягиваемое, расплывающееся на конце «совсем – одна-а-а...», – оно захлестывает Елену Георгиевну какой-то несносной, теплой, трогательной волной жалости и нежности к себе самой, от которой хочется уткнуться носом в подушку и тихо скулить.

V

Елена Георгиевна уехала рано утром, не прощаясь ни с кем.

Но в доме уже не было спокойно: Анна Филипповна суетилась, как вспугнутая мышь, терла и скребла еще больше. Занавески никогда не подымались теперь на окнах в доме-особняке Лепниных, которые прятались за ними от знакомых и кредиторов.

Однажды Анна Филипповна подождала на крыльце, когда появится Катя на своей террасе, и подозвала ее к ограде.

– Катюша, вы нам друг, не правда ли? Нам очень нужна ваша помощь. У нас везде долги, нас не выпустят со двора. Сделайте доброе дело: отвезите наши вещи на вокзал; Сережа пронесет их к нашим воротам через эту калитку. Сегодня мы уезжаем из Харбина...

На извозничьей пролетке, нагруженной Лепнинским скарбом, Катя поехала на вокзал. Следом, ежась от страха под своими бледными пыльниками и надвинутыми на самые глаза шляпами, крались по улицам Анна Филипповна и Сергей Павлович.

На вокзале Лепнины разыгрывали провожающих: пожимали Кате руки, произносили сердечные напутствия. А между ними шепотком:

– Завтра приедут новые хозяева нашего дома. Так вы уж передайте им ключ. А занавески пусть повисят два-три дня, будто нас просто нет дома.

По сигналу протяжного гудка Лепнины вскочили на площадку вагона. Вся дрожа, Анна Филипповна издали перекрестила Катю, а та, плача, еще долго взмахивала вдогонку уехавшим увлажненным платочком.

VI

На следующий день вокруг необитаемого, но все еще притворявшегося жилым домом бродил юноша, который не стал стучать, но все же подергал дверные ручки, как будто надеялся, что найдет двери незапертыми.

Он бродил так не менее получаса, пока, наконец, его не окликнула через редкий забор, который необходимо было переделать, молоденькая девушка, сигнализовавшая ключом, который она держала в своих нежных пальчиках.

От смущения юноша даже не сумел поблагодарить ее; неуклюже по-медвежьи он схватил ключ, размашисто сунул его в карман и, не оглядываясь, ушел.

Девушка некоторое время смотрела ему вслед. Она вовсе не думала об этом, но как-то само собой выходило, что очень хороши у нового хозяина Лепнинского дома, только притворявшегося жилым, изумительно голубые глаза и тонкое, ребячье личико фарфоровой куклы. А бурьян тоже только притворялся неподвижным и праздным: он был страшно занят ростом, накоплением жизнетворных соков, бурных солнечных сил.

Опубликовано и печатается по: Харбин в зеркале прессы. Ежегодник объединения русских журналистов в Маньчжу Ди Го. Харбин, 1937. С. 27-31.

ВЕТЕР С ОЗЕРА СИ

Рассказ

I

– Боже мой, как я устала!.. Нина опустила ресницы, – длинные, загнутые, как крылья. Но несносный электрический свет проникал и сквозь них. Нина изо всех сил зажмуривает веки, она закрывает глаза ладонями. Сумрака, отдыха, хотя бы немного того покоя, который люди почему-то не хотят назвать счастьем!

Нина остается сидеть неподвижно; руки прижаты к глазам, голова – черноволосая, взъерошенная голова – откинута на спинку убогого диванчика.

На столе остались выжидать учебники. Ушедшая минуту назад ученица оставила дверь неплотно затворенной. Сквозь щели пробивается весенний теплый ветер.

Прежде чем долететь до далекого северного города, этот ветер промчался тысячи верст. В один солнечный день он пролетел и над озером Си, – по его очаровательным берегам цвели нарциссы, легкие лодки исчезали под пролетами вычурных мостиков... Но от озера Си до далекого северного города ветер летел еще долгое время, и теперь вы не смогли бы различить в нем ничего от запаха роскошных цветов.

Нина тоже не слышит этого запаха. У нее перед глазами всегда стоит одно и то же, – только что прожитый день. Он всегда один и тот же, этот день, – из года в год он повторяется, однообразный, как спица колеса, которое вращается, или как вывески на той улице, по которой Нина ходит на утренний урок.

Нина еще совсем девочка, и ей можно мечтать. Поэтому она мечтает – о празднике, о настоящем, необыкновенном празднике, когда можно спать до обеда, а потом долго гулять в парке. И, конечно, танцевать, – с юношей, который непохож на всех ее знакомых и который дрожит от счастья, когда ее плечо коснется его плеча.

А потом она вернется домой, и в вазочках везде будут свежие цветы. Засыпая, она будет испытывать сладкое головокружение, как бывает, когда качаешься на качелях, – от этих цветов и еще от сознания, что эти цветы – от него.

II

Цветы, конечно, появились не сразу.

Сначала это был простой комнатный квартирант с одним чемоданом, в котором оказались белье и книги. Квартирант едва умел объясняться по-русски; Нина стала учить его, забавляясь тем, как смешно он коверкал трудные слова и как смущался при этом.

Очень скоро господин Сюй стал просто Сережей...

Пока Нина занималась с учениками, он тихо, как мышь, сидел у себя в комнате за книгой. Но ему приходилось нередко перечитывать одну и ту же фразу, потому что девичий голос, доносившийся из столовой, наполнял его сердце мыслями, не имевшими никакой связи с прочитанным.

Но – странное дело – старые, чинные китайские книги оживали для господина Сюя. Он узнавал теперь, что древние поэты были не просто мудрецы, обладавшие искусством слагать тесные, насыщенные смыслом, строки об очаровании земной весны, когда большие цветы зацветают над синими озерами, когда черноволосые, тонкобровые девушки его народа часто гадают и загадывают и еще чаще любят себя в зеркале, и о том, что в мире властвует закон перемен, который повелевает цветам ронять лепестки у озера, а девушкам – румянить щеки и белить шею...

Узнавал он, что для того знойная кровь опьяняла некогда древнего поэта и давно истлевшее сердце трепетало, как тогда, когда качаешься на качелях, а зрачки, расширившись, отражали только цвет ленты в волосах возлюбленной или нефритовую смуглоту ее руки, – чтобы через тысячу лет так же пела весной кровь в жилах господина Сюя, и так же томилось его сердце, когда он украдкой останавливал взгляд на странной черноволосой девушке севера, которую звали Нина, и которая, наверное, не догадывается

даже, что над страницами старых книг наклоняются желтые лотосы, бренчат лютни и колышутся птицы, похожие на фениксов.

А когда все уходило из дому, господин Сюй доставал свою лютню... Он играл на ней самые нежные песни, которые знал, а в письмах сообщал матери, что он неизменно пребывает в сыновней верности заветам родного дома, читая любимые книги, которые возвращают ему ласковый шелест прекрасного озера Си, такого тихого, что ветер засыпает, пролетая над ним.

Читая эти письма, суровая, наставительная мать улыбалась... А между тем в вазочках появлялись цветы; вечером за чаем у Нины бывали хорошие конфеты, и музыка в ресторанах так часто теперь играла только для двоих из всего зала, и эти-то двое слушали ее меньше остальных.

- Сережа, ведь ты меня любишь?..

Господин Сюй вспыхивал, захлестнутый счастьем; он путался в красивых, причудливых словах о лотосах над Си-ху, о бабочках, которые складывают крылья, чтобы упасть затем в синее сердце озера, о стае огненных фениксов, которые свили себе гнездо в груди господина Сюй, и вместо этого повторял, как варвар, чужие звуки:

- Люблю, Нина! Ни-на!

Однажды господин Сюй поцеловал Нину... Это случилось в парке и так неожиданно, что обоим потом казалось, будто этого не было, а был только сон.

В пруду в парке плавали тусклые рыбешки, которых Нина звала золотыми; северное неблагосклонное небо, чреватое близким дождем, не отражалось в мутной воде пруда.

Господину Сюй было очень, очень жаль и старого отцовского дома в Ханчжоу, и хрупких мостиков над родным озером, и всего этого чинного мира вееров, поклонов и символов, среди которого жили, творили и умирали десятки поколений его отцов. Но в сердце господина Сюя была любовь. Он не мог теперь расстаться с этим чужим городом прямолинейных, как казармы, высоких домов, с этой многоязычной толпой, с этими лютыми зимами, с этим неопрятным парком, грязным прудом и серыми рыбками.

- Нина, я буду всегда оставаться здесь, в этом городе! Я хочу всегда оставаться в той комнате! Каждый день ходить с тобой в парк и смотреть на рыбок...

Девушка взглянула на господина Сюй почти недоуменно, - разве могло быть иначе? И разве он мог сомневаться, что его счастье - только подле нее?

Но господин Сюй и не ждал от нее ответа, - это он убеждал самого себя.

III

Однажды, когда господин Сюй и Нина пришли домой счастливые, их встретила Мария Антоновна. По ее глазам было видно, что она только что сильно плакала. Обоим сразу стало неловко, как это всегда бывает со счастливыми людьми при виде горя других.

Господин Сюй торопливо прошел к себе, а Мария Антоновна осталась с Ниной в столовой. Она снова плакала, она говорила Нине, что все показывают на нее пальцем, что все толкуют ее чувство вкривь и вкось, что только что у нее была соседка и так грубо, так ядовито говорила здесь о Нине и ее любви...

- Я совершенно разбита, мое сердце, все мое существо истекает слезами и кровью... Каждое слово, каждый намек - для меня это целая пытка!..

Господин Сюй слышал отрывочные фразы из разговора. Он совсем не хотел подслушивать, но мама Нины так волновалась, и находились они так близко от него. Голос Марии Антоновны дрожал от гнева и горя, - чем дальше, тем яснее слышал господин Сюй каждое ее слово.

- Ты знаешь, как люди из мухи делают слона, как умеют они все переиначивать, все перетолковывать, все осквернять. Я знаю тебя, свою дочь, я знаю, что ты никогда не позволишь себе ничего дурного. Но другие и не знают, и не хотят знать ничего... Ах, Нина, Нина, пожалей хоть меня, - расстанься с Сергеем!..

Так вот в чем дело!.. Господин Сюй встал, оставив на столе раскрытую книгу придворного поэта Танской династии. Он знал уже, что ему следует сделать. Выйдя в столовую, он остановился близ Нины и сказал:

- Как это неприятно, что вам приходится плакать и говорить это. Но я буду все вам рассказывать. Вчера я посылая письмо моей маме, я ей написал про Нину и про то, что у меня здесь есть вторая мама. И я просил ее, чтобы она позволила мне всегда оставаться в этом доме и никогда не уезжать...

Господин Сюй говорил долго. Никогда еще ему не было так легко говорить на этом чужом языке, но теперь он говорил для того, чтобы не потерять свое счастье, и чтобы любимая девушка снова стала веселой.

- Сначала мама будет сердиться и очень плакать, но я написал ей, что, когда озеро высыхает, - умирает сердце.

IV

О, как он ошибся!

Жизнь твоя принадлежит не тебе одному, - не забудь, что у тебя есть предки и ты обязан чтить их. Горе тебе, если ты думаешь, что союзом с северянкой сделаешь им угодное. Нет, они будут сокрушаться, видя в

твоим доме детей, чуждых им по крови, и видя подле тебя женщину, которая даже не знает имени твоего отца.

Горе твоим учителям, если ты так скоро забыл слова великого учителя Кун о том, что «любить родителей более других есть особенная и главная обязанность»!

Горе мне, которая дала тебе жизнь и навлекла теперь за это на свою голову проклятие твоего отца!..

Так писала мать господина Сюя. Она три дня не вставала с постели, не принимая никакой пищи. Силы ее совершенно растаяли; ее смерть уже оставила западные горы, но недостойный сын сможет еще замедлить движение ее колесницы, если поспешит, чтобы принять последнее дыхание несчастной.

Нина недавно ушла на урок. Мария Антоновна возилась в кухне. Господин Сюй был очень печален. Он чувствовал себя почти вором. Ему казалось, что он прокрался в заколдованную башню красавицы, нарушил ее сон, заставил ее полюбить его, полюбить жизнь и всю ее красоту, а потом – бежал, как вор, похититель драгоценных жемчужин.

Остаться? Нет, господин Сюй не мог остаться! И потому, что обычай его народа не позволяет ему любить дочь северных варваров, и потому, что мудрый Конфуций требует величайшей покорности родительской воле, и потому, более всего, что там, в Ханчжоу, лежит умирающая от горя мать и ждет его.

Господин Сюй захватил со стола карточку Нины... Они уже никогда не увидятся, – простится с нею он не может, потому что тогда будет много слез и обид. А он хочет увезти с собой только прекрасное, – только это милое лицо, только радостные дни, только сладкую память.

Но надо оставить что-то на память о себе. Господин Сюй ищет глазами, что из вещей будет Нине всегда напоминать его? Тогда господин Сюй снял с пальца свое кольцо с печатью. Три замысловатых, похожих на головастиков, иероглифа выражали его фамилию и имя, – это кольцо неразрывно связано с ним. Пусть оно останется у Нины...

Господин Сюй едет в поезде на юг, в Ханчжоу.

Скоро, скоро он будет в этом прекрасном городе тысячелетий, будет бродить по волшебному берегу озера Си!

Стоит осень. Лотосы и нарциссы уже отцвели; теперь в синее вечное зеркало глядятся только их засохшие листья и облетелые головки цветов. Бабочек тоже давно нет, а лютня – она осталась в северном городе, в шкафу, в узкой комнате, в домике на пыльной улице...

Господин Сюй везет с собой только книги. Весной он будет часто ходить на Си-ху, он будет читать мудрых в жизни и любви поэтов.

А между тем южный ветер будет надувать паруса лодок, бороздящих зеркальную поверхность озера; он будет торопиться на север, он полетит

еще быстрее после того, как господин Сюй поручит ему донести его привет черноволосой северянке.

А пока – господин Сюй опускает вагонное окно, чтобы не слышать ветра, что летит с севера и пахнет горьким паровозным дымом.

Печ. по: Рубеж. 1936. № 34. С. 1–2, 4.



**Николай Владимирович
ПЕТЕРЕЦ
(1907?-1944)**

Поэт и журналист Николай Петерец родился в 1907 г. (по его словам – в Риме) в семье известного политического деятеля, социалиста-революционера Владимира Рихтера. После развода родителей получил фамилию матери и уехал с ней во Владивосток, а затем в Харбин. Там окончил гимназию и поступил на Юридический факультет, увлекся поэзией и журналистикой. Участник харбинского литературного объединения «Молодая Чураевка». Его стихи, статьи, рецензии печатались в газете «Молодая Чураевка», журналах «Рубеж», «Парус», «Сегодня». В 1934 г. переехал в Шанхай. Зарабатывал журналистикой. Интересовался политикой (Союз младороссов, Союз возвращенцев). Редактор газеты «Родина» (в 1941 г. преобразована в «Новую жизнь»). Один из организаторов шанхайского кружка «Пятница». Соавтор коллективных сборников «Семеро» (Харбин, 1931), «Стихи о Родине» (Шанхай, 1941), «Остров» (Шанхай, 1946). Своего поэтического сборника не издал. В 1946 г. в Шанхае посмертно при содействии Н. Щеголева был издан совместный сборник их статей «Возвращение». Умер 11 декабря 1944 г. в Шанхае от воспаления легких.

Ист. и лит.:

Бакич О.М. Поэзия Николая Петереца. Материалы к библиографии и сборнику стихотворений // С другого берега: Прошлое и настоящее русских писателей за рубежом. Торонто, 2004. Т. 4. С. 113-132.

Бакич О. М. Остров среди бушующего моря // Новый журнал. 2005. № 239. С. 174-200.

Крузенитерн-Петерец Ю.В. Воспоминания // Россияне в Азии. 1999. № 6; 2000. № 7.

Русская поэзия Китая / Сост. В. Крейд, О. Бакич. М., 2001. С. 689-690.

«Сын вольного итурмана» и тринадцатый «смертник» процесса с.-р. 1922 г.: Документы и материалы из личного архива В.Н. Рихтера / Сост., К.Н. Морозова и др. М., 2005. 655 с.

ДВЕ РАЗВЯЗКИ

Стол, крытый зеленым сукном.

Над столом – голова – лысая, только у висков седенькие висюльки, уступами лоб... Брови – мохнатыми совиными крыльями – есть такие белые совы, а где – Бог их знает... Глаз не видно за веками – припухшими, красными.

На зеленом сукне рука, если смотреть лишь на нее – думается – на слоновой кости, но какая желтизна и мертвенность. Кроме руки, на столе папки – синие, красные, зеленые – что в них? Об этом думают и думают... и думают многие. Лампа – бронзовая – слепой пастух, пасущий ягнят – льет свет – спокойный и ровный...

В комнате холодно, хотя термометр показывает 20. Во всяком случае ежится и потирает руки секретарь, склоняясь над папками...

– Газеты пишут, Ваше Превосходительство.

Костяная рука перелистывает вырезки. То там, то тут мелькает характерное лицо – брови – совиные крылья, лоб уступами, седенькие висюльки на висках.

Шорох бумаги, шепот секретаря, покашливание.

Красные веки внезапно приподнимаются, открывают глаза, глаза скользят по озабоченному юному лицу, нащупывают, выщупывают зрачки.

Кажется – в притихшем кабинете только глаза – безжизненные, цвета талого снега и молодые, черные.

Старик опускает веки:

– У вас что-то новое?

В комнате становится еще холодней. Дрожащей рукой секретарь поправляет галстук, старается придать лицу более бодрый вид:

– У меня... люблю... девушка... разрешите...

Лысая голова медленно поворачивается в его сторону. Она удивительно похожа на безглазый греческий бюст или – на гипсовую маску покойника... Молчание. Сухой голос:

– Мой принцип – холостые сотрудники.

Зима врывается в комнату.

Непокорные пальцы вынимают аккуратно сложенный лист.

Лист – на зеленом сукне... Лист – с лаконической надписью – карандашом толстым и красным – снова в ледяных пальцах.

Секретарь уходит...

Голова поворачивается к столу.

Шелестят вырезки.

И раздается короткое слово: «Дурак!»

События нарастают с катастрофической быстротой; у редакции – толпы народа, на бирже – горячка...

Около каждого мало-мальски осведомленного лица – хвост интересующихся... Впрочем, кажется, все одинаково осведомлены, если можно считать осведомленностью – предположения... Могли бы рассказать кое-что – человека два-три. Но разве к ним доберешься? Даже проныры-журналисты и те, как волны о скалу, разбиваются о сомкнувшуюся армию секретарей, подсекретарей и их помощников.

Ничего неизвестно и известно главное.

Приближается война...

Приближается великая война.

Приближается вторая мировая война.

Армии накануне мобилизации... Пульс старушки Европы снова дает лихорадочные скачки...

И мысли всех – от королей и президентов до скромного клерка старой банкирской конторы, обращаются к одному.

Так – пересечение фигур дает поверхность, плоскостей – линию, линий – точку.

Точка – лысая голова с седыми висюльками. Это он хочет войны, это он ее подготовлял в комнате, где слепой пастух мирно пасет курчавых

бронзовых овечек...

Тайна синих, красных, зеленых папок, скрывавших, как веки – глаза, свое содержимое – ныне открыта. Но слишком поздно приподнялись веки, раскрылись папки. Война неизбежна. Старый дипломат может быть доволен...

Еще один выигрыш...

Глубоко в кресле утопает сухощавая фигура, блестит лысина, хмурятся брови. Изредка звонит телефон – всегда важное, необходимое – целой системой переключений охраняется покой государственного деятеля.

И лаконично – сухим лаем – отдаются распоряжения.

Настаивать, требовать, не уступать.

Спокойно льет свет бронзовая лампа. Старик думает, старик вспоминает. Он прожил 60 лет и как прожил. Он знает людей – умных и глупых, глубоких и пустых, талантливых и бездарных. И у всех – всегда находилась ниточка, за которую их можно было дергать. И они подпрыгивали, как плясунчики. Да и у него была ниточка – властолюбие. И покорный ей – он кричал в рупор радиоприемника, ездил из города в город, писал статьи, читал лекции, раздавал деньги, льстил, играл на плохих и хороших чувствах и инстинктах. Чаще на худших.

Он давно уже привык к власти.

И сейчас толпились вокруг него люди, чего-то ждущие, чего-то требующие. Он почти физически чувствовал их присутствие.

Телефонная трубка, диктофон, вечное перо были рычагами, которыми он поворачивал их, свою страну, Европу, мир...

Но – рядом с этим – рядом со всеми достижениями в последнее время он ощущал пустоту. Вспоминал – ледяные пальцы, аккуратно сложенный лист, свою резолюцию...

В юности решил – выбрал – не любовь – власть. И при всяком появлении сентиментальности смеялся сухим и спокойным смехом. Пересматривать решение было поздно. Любовь уже не смела прийти – думать о ней значило бы потерять трезвость, а он был трезв, работоспособен и спокоен как никогда.

И в этом спокойствии было самое страшное. В спокойствии было – безразличие. В последнее время пристрастился к чтению книг, говорящих о любви, книги были бездарны и глупы, но будили ассоциации.

Перед ним проходила радуга глаз – синих, зеленых, карих, голубых, черных... И думалось – может быть, хоть в одной паре из них крылось счастье...

У него было много любовниц, но все они – были не те. Одни делили его объятия с другими знаменитостями – восходящим баритоном и заезжим боксером-негром, другие позировали в его ореоле и, если бы

можно было жить только с мундиром, охотно вытряхнули бы его из блестящего сюртука, третьи... Впрочем, он сам хотел этого – он не мог тратить времени на пустяки. Он шел вверх, и вот теперь – на вершине. Костяная рука лежала на зеленом сукне. Отражала электрический свет лампа...

И – вдруг – отчетливо, отчетливо сквозь припухшие веки – в помутневшие зрачки заглянули глаза – женские глаза, полные той неопределенной лучистостью, которая рождается с любовью и тухнет с ней. Лучистые, синие глаза...

Задребезжал телефонный звонок...

Костяная рука потянулась к трубке.

Кто-то, захлебываясь на другом конце провода, говорил скороговоркой, преисполненный важностью передаваемого...

И вдруг замолк, застыл – удивленный и озадаченный.

Министр что-то сказал.

Министр, кажется, выругался.

Министр дал отбой.

Телефонная трубка звонко придавила рычажок.

В комнате тихо...

С улицы доносится едва слышный шум – наверное – патриотическая демонстрация...

Безжизненными, цвета талого снега глазами старик оглядывает свой кабинет, оглядывает жизнь.

И раздается короткое слово: «Дурак!»

Гостиница – не плохая, но и не хорошая... Для жильцов благородных, спокойных и не особенно богатых... Для солидных жильцов.

Комнаты с мебелью и без. Если подняться по узкой лестнице и повернуть направо – в конце коридора – желтая дверь с жирным номером 7. Раньше на двери висела визитная карточка, теперь ее сорвали дети владельца гостиницы...

Ее снова не повесили – зачем?

В комнате – женщина с глазами, быть может, не менее лучистыми, чем те, что почудились старому дипломату. Черные вьющиеся волосы... Рот красивый, немного безвольный. Чуть-чуть вздернутый нос... Руки – маленькие, нежные и должно быть прохладные. Так прохладен мрамор знойным томительным летом. В таких женщин влюбляются тихо и почти всегда безнадежно – их боишься разбить.

Перед женщиной – стол – покрытый белой скатертью, на скатерти газеты, пахнущие типографской краской. Заголовки и он, он, он – маленький человек с лысым черепом и совиными бровями.

Над газетами взлохмаченная голова, лицо молодое, помятое,

озлобленное...

Женщина тихо встает, подходит, кладет руку – красивую, узкую – на взъерошенные волосы. Вспоминает – недавно еще они были гладкими, даже чересчур. Был пробор.

Голова мужчины резко дергается.

– Брось – что за глупости!

И быстрым шепотом, как бы боясь, что не дадут высказаться, говорит, стуча кулаком по газетам:

– Видишь? Видишь? Ведь я бы сейчас был около него. Он мне доверял. Я бы сделал карьеру, я получил бы власть... Я, я, я!!!

Мужчина задыхается.

– Проклятье! И все потеряно из-за какой-то чепухи. Любовь – подумай... – он смеется, и смех его сух и желчен.

Встает – надевает шляпу. Хлопает дверь. Идет по коридору – спускается по узкой лестнице... А там – по ту сторону двери – сухими, неподвижными глазами, усталыми, как будто жили они век, смотрит в окно женщина. И в синих глазах, вместо слез – пустота.

На улице появился он... Идет, нервно сжимая ледяными пальцами трость, воспаленные сухие губы искусаны в кровь... Он трет себе лоб, как будто стараясь что-то припомнить, угадать, может быть... И раздается короткое слово: «Дурак».

Харбин, декабрь 32 г.

Опубликовано и печатается по: Чураевка. 1933. № 8. С. 3.

**Алексей Владимирович
ПЕТРОВ**
(1896 – ?)



Писатель и журналист Алексей Петров родился 17 марта 1896 г. в Петербурге. Штабс-капитан, участник Первой мировой войны. Работал в газетах Приморья и Маньчжурии. Редактор харбинской газеты «Восток». Печатался в журнале «Рубеж», газете «Рупор» и др. изданиях. Использовал псевдоним «Полишинель». Автор сборника юморесок «Мужчина на закате» (Харбин, 1929); составитель либретто песен и романсов «Любимые песенки любимых артистов: А. Вертинский, Л. Виталье, И. Грановская, А. Кармелинский, М. Садовская, Е. Силинская, А. Шеманский» (Харбин, 1930). С 1930 г.

жил в Шанхае, редактор газеты «Вечерняя заря». В 1946 г. вернулся в СССР. Дальнейшая судьба неизвестна.

Ист. и лит.:

Литературное зарубежье России: Энциклопедический справочник / Ред. и сост. Ю.В. Мухачев; под общ. ред. Е.П. Чельшева, А.Я. Десярева. М., 2006. С.С. 436.

Хисамудинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 238.

ХАРБИНСКАЯ ФАМИЛИЯ

Случай по Чехову

Два приятеля беседовали между собою.

– Вот, – говорил один, – давно я не видал этого... ну, как его...

– Севрюгина?

– Нет, не Севрюгина. Ну, как же, Боже ты мой?.. Ведь вот, на языке вертится!

– Вертопрахова?

– Ах, совсем не Вертопрахова... Да вы же его знаете – еще такая харбинская фамилия... типичная харбинская фамилия.

Оба приятеля подняли глаза кверху, точно на небе была написана эта фамилия, и стали вспоминать.

– Сунгарийцев, – вспоминал один. – Нахаловкин... Бесподданный... Беженцев...

– Нет, не то, – бормотал другой. – И как я забыл?.. Позавчера еще о нем говорили.

– Пройдошенко... Арапов... Шахермахеров?.. – подсказывал приятель.

– Может быть, Прогорелов – самая харбинская фамилия?

– Нет, нет, еще более харбинская.

– Еще более? Ну тогда Фокстротников... Чарлстоненко... Кабаков... Рюмкин... Стопкин... Бутылкин?

– Стой, погоди, я, кажется, сам вспомню.

И закрыв глаза и шевеля, словно нащупывая, пальцами, он бормотал:

- Юбиляров... Панамский... Адюльтеров... Хапугин... Флюгеров... Экая ведь проклятая фамилия - хвостом перед самым носом вертит, а в руки не дается!

- Ну черт с ней! - воскликнул он. - Эдак еще можно с ума сойти. Потом вспомню... Все равно...

Приятель разошелся.

Один из них отошел уже шагов на сорок, когда вдруг остановился и крикнул:

- Пойдите! Не Распродаженко? Нет?

- Нет, - уныло послышалось в ответ. - Да вы ничего... не беспокойтесь... я сам...

Забывший фамилию шел домой и боролся с собой.

Неотвязная мысль о фамилии, несмотря на все старания, упорно преследовала его.

Задумавшись, он чуть не попал под автобус.

И тотчас же в голове замелькали новые догадки:

- Билетеров... Шофферович... Гудков... Давиленко... Катастрофов... Фордятников... Фу ты черт! - подумал он. - Всякая чепуха в голову лезет!

- А? Капитана! - окликнул его китаец-фруктовик. - Когда твоя чена плати?

- Потом, завтра... - отмахнулся он в ответ и тотчас же непроизвольно зашептал:

- Ченов... Неплатежевич... Долгов... Счетоподписальский... Кредитников...

Дома, снимая пальто, он говорил жене:

- Понимаешь, вот на меня напасть накатила! Никак не могу вспомнить фамилию этого... как его... Ну, помнишь, летом у нас был и твой любимый стакан разбил.

Жена прищурилась и покачала головой.

- Нет, что-то не припомню.

- Вот беда!.. Самое обидное, что фамилия-то простая... Такая типично харбинская...

- Харбинская? - переспросила жена. - Хм... может быть, Ловкачев... Изворотливый... Пострелов? Может быть, Продувной?

В переднюю вышли сын-гимназист и дочь, барышня на выданье.

- Папа! - крикнул сын. - Я знаю...

- Ну? - обрадовался отец.

- Конечно. Раз харбинская фамилия, значит, - Мушкетеров.

- И ничего подобного, - возразила дочь. - Может быть еще Ловеласов... Поцелуйкин... Холостяков...

- Ну, милая, - отозвалась мамаша. - У тебя всегда на уме только холостяки.

- А у тебя - женатые? - съязвила дочь.

- Не дерзи! – прикрикнул отец.

За обедом он рассеянно болтал ложкой в супе, катал из хлеба шарики и без конца думал об упорно не шедшей на память фамилии.

Сыну-гимназисту не сиделось и он, вертясь, спрашивал:

- Папа, может быть, Подзатыльников? Или – Мордобоечко?

- Отвяжись ты, пожалуйста... Совсем не то...

- Не то? Ну тогда, наверное, – Широкоштанов, Фашистенко, Кастеткин?

Дочь, надувшись, обиженно молчала.

Вечером жена ласково поглаживала мужа по голове и приговаривала:

- Милый, брось ты эту дурацкую фамилию... И чего она тебе далась?..

Что тебе прибыль от этого какая, что ли? Ложись-ка лучше спать...

- Ладно, не мешай, – упорно отвечал он. – Лягу, не беспокойся.

Но он не ложился и до поздней ночи, как маятник, ходил по кабинету взад и вперед.

В руках у него был харбинский адрес-календарь.

Но и там не было ничего, что могло навести на мысль о забытой фамилии.

- Странно, – бормотал забывший. – Очень странно... Кажется, уж все перебрал. И Двуподданного, и Протекдионова, и Серпомолотова, и Белобандитенко...

Ночь он спал тревожно.

Снилась какая-то ерунда и скверные рожи, а потом мозг пронзило вдруг яркое, как молния, слово.

- Вспомнил, вспомнил! – воскликнул он и тотчас же проснулся.

Второпях напялив халат, он помчался к жене, взъерошенный, с широко открытыми глазами, дико размахивая руками.

- Вспомнил! – завопил он, дергая перепуганную жену за руку. – Ура-а-а! Вспомнил, наконец!

- Как же? Как?.. – зараженная его волнением, спрашивала жена.

- Фу-у! – он отер росинки холодного пота со лба и широко, солнечно улыбнулся.

- И ведь фамилия-то простая – М а м а н д и! Настоящая харбинская фамилия! Типичная харбинская фамилия!

*Впервые опубликовано: Рупор. 1927. 15 декабря. С. 3.
Печатается по: Россияне в Азии. 1996. № 3. С. 310-312.*

НАСТОЯЩИЙ МУЖЧИНА

Из сборника «Мужчины на закате»

Вспыхнул и зашипел слепящий свет «юпитеров», затрещал

съемочный аппарат, началась очередная сцена из фильма «Билль, пожиратель женщин».

Билль в жизни – бывший русский эмигрант Иван Степанов, а теперь – мистер Джон Степш – появился из-за кулисы и стал подходить к аппарату. На бритом лице его играла наглая усмешка. С небрежностью салонного льва он развалился на кушетке и, не торопясь, с подчеркнутой элегантностью движений, закурил сигаретку.

Героиня фильма Мэри горько рыдала в кресле. Ее крохотный кружевной платочек был обильно смочен... одним из помощников режиссера. На ее нежных, как персиковый плод, щеках застыли две великолепные глицериновые слезы.

– Билль! – воскликнула Мэри, ломая руки. – Билль, если ты покинешь меня, – я умру!..

Билль сатанински усмехнулся и выпустил красивое колечко голубого дыма.

– Я не могу жить без тебя! – продолжала Мэри. – Я готова быть твоей рабыней! Целовать твои ноги! Быть твоей покорной собакой!..

Билль презрительно выпятил нижнюю губу и, насмешливо глядя на несчастную Мэри, поманил ее к себе кивком головы.

А когда она на коленях приползла к нему, жалкая и трепетная, – он отбросил ее кончиком своей лакированной туфли.

– Давай сюда мои драгоценности, тварь! – грубо сказал он. – Ты знаешь, что я презираю женщин, – нет? Так знай же, что я их увлекаю только для того, чтобы потом издаваться над ними... Да! Я смеюсь над вашими мольбами, мне весело от ваших слез!

В своем бешеном, почти зверином гневе Билль был великолепен.

Даже придиричивый режиссер, никогда никого не хваливший, здесь выругался длинно и с явным удовлетворением, что означало, что он доволен игрой.

А хорошенькие статистки, наблюдавшие эту сцену со стороны, с восхищением проводили взглядом выходявшего из студии Степша.

– Как он мужественен! – сказала одна.

– Как он горд! – воскликнула другая. – Настоящий мужчина!

Степш не успел сесть в свое авто, как из-за угла показалась массивная фигура его жены Дарьи Васильевны (теперь – Доротей Степш).

Выражение превосходства и самолюбования моментально сбежало с лица артиста. Он сразу как-то съежился, учащенно заморгал, беспокойно заерзал на подушках авто.

– Ты это куда? – сказала тихо, но с опасным шипением в голосе, Доротей. – Наверное, за девчонками бегать?.. Сейчас же марш домой!

– Я.. я и так домой, м... милочка... – залепетал Джон. – Я... я хотел встретить тебя.

Доротей Степш влезла в мотокар, перекосив его на свою сторону, и он,

сорвавшись с места прыжком раненого зверя, понесся по сверкающей на солнце асфальтовой дороге.

Через пять минут супруги были дома.

— Мой руки! — командовала жена. — Где мой капот?.. Ты опять, кажется, курил до обеда?.. Открой рот! Дыхни!

Джон то бледнея, то заливаясь румянцем, плясал перед женой по струнке. Этой приземистой женщины с маленькими усиками и густыми бровями он боялся, как черт ладана.

После обеда он читал ей вслух книгу, вымыл чайную посуду, и затем ему было разрешено съездить на час по делу.

Завернув на другую улицу, Джон облегченно вздохнул. И сразу же, точно переродившись, лицо его приняло надменное выражение, голова откинулась назад, нижняя губа презрительно выпятилась.

— Боже мой, Джон Степп! — говорили встречавшие его на улице. — Посмотрите, как он шикарен! Это — самый гордый артист в Голливуде.

— Да, да! — щебетали женщины. — Настоящий мужчина!

Опубликовано и печатается по: Рубеж. 1929. № 51. С. 16.

ЗЛАЯ ШУТКА

Шанхайская быль

Дни стояли сияющие, великолепные, с небом цвета непередаваемой нежности, с солнцем, светящим не злым летним драконом, а ласково льющим весенние золотые лучи...

Дни стояли великолепные, но настроение мистера Прайса было не только не великолепное, а просто скверное.

Он зло грыз мундштук своей дорогой трубки, сидя в небольшом, но мило обставленном кафе на авеню Жоффри.

Ухаживание за Таточкой мистеру Прайсу не удавалось, хотя продолжалось оно уже свыше двух месяцев.

И это тем более бесило Прайса, что он чувствовал, что оставить это ухаживание он не в силах.

Иначе говоря, как мыслил и повторял Прайс на своем английском отечественном языке, он «фалл ин лов», «упал в любовь».

До сего времени он не допускал мысли, что можно полюбить не англичанку.

Он был патриот в том своеобразном стиле, который самими же англичанами прозван «твердолюбым».

Он считал себя представителем единственной и ни с кем более несравнимой нации и ко всем остальным народам и странам относился с чувством добродушной снисходительности: «Ну, что же, мол, цыпленки

тоже хотят кушать»...

Поэтому на свои шанхайские встречи с иностранками он смотрел просто, как на приятное времяпровождение.

Тем более что фирма, командировавшая Прайса из Ливерпуля в Шанхай, давала своему представителю все возможности приятно проводить время.

Он жил в небольшом, но очень уютном особняке, имел дорогой марки автомобиль, коллекционировал юрио и тратил немало денег на Рейс-Корсе, держа там несколько резвых монголоков.

Ростом Прайс был умеренно высок, фигуру имел статную, походку легкую, выражение лица самоуверенное, а само лицо атласно выбритое, но одухотворенностью не блещущее.

Характера Прайс был типично британского.

Он был достаточно сдержан, достаточно настойчив, очень самолюбив и бесконечно самоуверен.

И вот Таточка, сероглазая Таточка, эмигрантская русская барышня, первая заставила дрогнуть это самоуверенное британское сердце.

Служила Таточка в модном большом салоне манекеншей, на какой службе, как известно, требуется хорошая фигура, изящная грация и пластичность движений.

Таточка, или полностью Татьяна Павловна Суровцева, всеми этими данными обладала в полной мере.

Ее нельзя было назвать красавицей, но она была удивительно женственна и очаровательна нежной девичьей прелестью.

В ней не было ничего от шанхайской герл, девушки с печатью облика той или иной кинематографической героини.

Шанхайское к Таточке как-то не приставало, хотя она жила в этом городе уже третий год.

Не было в ней и стремления переделывать себя на иностранный лад, и любовь ко всему русскому была в ней очень сильна.

Родившись в Харбине, Таточка не знала настоящей России и рисовала себе ее всегда в возвышенном, опоэтизированном образе.

Она много и вдумчиво читала, любила театр, немного рисовала и пела без особенного искусства, но с большим настроением, приятным грудным сопрано элегические русские романсы.

Простенькие платья и шляпки Таточки казались на ней туалетами и созданиями дорогого модного дома, а ее немножко иронический ум позволял с ней не только болтать, но и занимательно беседовать.

С Прайсом Таточка познакомилась на благотворительном зимнем балу, продавая цветы в киоске.

Серые с золотой искоркой глаза девушки заставили самоуверенного британца задерживать на ней свой взгляд, а затем и попросить разрешения

с ней познакомиться.

Прайс, как он это делал обычно, попытался сразу же произвести впечатление на Таточку своим положением ни в чем не стесняющегося, живущего на широкую ногу джентльмена.

Он щеголял своим блестящим автомобилем, приглашениями в дорогие рестораны, присылкой пышных корзин с цветами и разнообразием своих отменно модных и великолепно сшитых костюмов.

Но Таточка была очень мила, любезна, но ни удивления, ни восхищения прайсовским антуражем не проявляла совершенно.

Напротив, знаки внимания к себе Таточка принимала как нечто должное, а над Прайсом нередко подтрунивала, делая это, как и все, что она делала, с изящной легкостью.

Однажды во время автомобильной прогулки за городом (это было, кажется, в начале второй недели их знакомства) Прайс решил, что срокам Таточкиной неприступности пора положить конец.

Его начинала уже немного раздражать эта маленькая «рошен герл», которая имела смелость держаться положительно как английская мисс.

В Прайсе было уязвлено чувство его превосходительства. Он привык к легким победам, к тому, чтобы «осчастливить» своим вниманием, а не добиваться его в отношении себя.

И воспользовавшись резким креном машины на быстром повороте, он крепко прижал к себе девушку и властно повернул ее головку к себе, предвкушая сладость первого поцелуя.

Но «литтл рошен герл» как змейка выскользнула из крепких рук англичанина и голосом, в котором слышалась возмущенная гордость и приказ, сказала:

– Мистер Прайс, прикажите шоферу остановить машину! Остановите машину моментально, или...

Она не договорила, что именно «или», но сноп гневных искр из ее глаз дал понять, что в этом «или» действительно кроется нечто значительное и опасное.

Прайс, самоуверенный, редко теряющийся Прайс растерялся.

Он просил извинения, он лопотал что-то о случайном толчке машины, он уверял, что останавливать ей машину среди китайских деревушек совершенно невозможно.

Таточка настояла на своем, и машина была остановлена.

Выходя из авто, она вдруг услышала тихий шепот: «Молодец, барышня!»

Таточка нервно оглянулась и увидела, что шофер, на которого она раньше не обращала внимания, сочувственно улыбается ей одними глазами.

«Шофер то русский... Какой позор!», – стегнула ее сознание острая

мысль и она почти бегом бросилась по дороге, конец которой тонул в спускающихся сумерках.

Мистер Прайс был глубоко обескуражен.

Он «проконвоировал» на своем авто быстро шагавшую девушку до первого встречного автобуса и затем, в некотором отдалении стал следовать за ним.

Примирение с Таточкой Прайсу досталось нелегко и когда он его достиг, то почувствовал, какой дорогой ценой заплатил он за эту сомнительную победу.

Больше уже не было «литтл рошен герл» и самоуверенного британца.

Он убедился в этом за последние недели.

Была волевая, управлявшая его настроениями, слегка ироническая «она» и потерявший свой стиль гордой самоуверенности «он».

И вот, сидя в небольшом, но уютном кафе на авеню Жоффр, Прайс зло грыз мундштук своей дорогой трубки.

Он злился на все, а прежде всего на самого себя.

— Неужели я действительно полюбил? Неужели я за несколько недель растерял все свои твердые принципы? Неужели я, Ричард Прайс, тридцать восемь лет бронировавший свое сердце от любовных покушений, теперь капитулирую?

Он взглянул на часы.

Вот уже двадцать минут, как они должны встретиться, а Таточки нет, как нет.

Она манкирует знакомством с ним.

С ним, Ричардом Прайс, общества которого ищут немало дам британской колонии.

О, так дальше продолжаться не может.

Глупо млеть, как мальчишке, или разыгрывать из себя провинциального воздыхателя...

Прайс ожесточенно стал выбивать пепел из трубки о каблук ботинка.

Или вот еще – в последний раз Таточка заявила категорически, что он должен учиться по-русски. Иначе он ни на что рассчитывать не может. И что же? Он стал зубрить русские фразы.

Он вызубрил к сегодняшнему дню несколько таких фраз при помощи своего русского шофера.

Он, Ричард Прайс, который до сего дня был уверен, что англичанин может учиться только одному языку в мире – английскому...

Прайс вынул бумажку, на которой было написано английскими буквами четыре русских фразы, составленных ему шофером.

Правда, шофер – бывший русский офицер, но все же... И потом не мог же он, Прайс, выдавать себя и учиться у кого-нибудь другого.

Британец взглянул в окно и увидел, что Таточка переходит улицу, направляясь к кафе.

Прайс невольно любовался Таточкой.

Как она была изящна! Как гордо несла свою очаровательную головку! Как к лицу была одета! Нет, вкус есть, очевидно, не у одних только англичан...

Таточка была весело оживлена.

Грызя сухое пирожное, она мило болтала о разных пустяках.

В кафе было почти пусто, и Прайс, поборов в себе волнение, решил обрадовать девушку сюрпризом, своими русскими фразами.

– Таточка, – сказал он, слегка запинаясь, – я исполнил ваше желание. Слушайте, я буду говорить по-русски.

Таточка сделала комически-серьезную мину.

– Я вся внимание, мистер Прайс. Итак, экзаменуйте!

– Олл райт! Я скажу вам пока четыре фразы. Вот.

И сделав торжественную паузу, он заговорил с расстановкой, потешно коверкая произношение и ударения.

– Вы... умный... девушка, а я... глупый большой осел... Я люблю... вас... до... расстройств... желудок. Скажите... мне... пошел... вон... Зачем... я... маленьким... не... умер...

Прайс выговорил последнюю фразу особенно торжественным тоном. Шофер объяснил ему, что только что сказанные им фразы по-русски будут означать: «Вы и я созданы друг для друга. Я вас люблю, я вас обожаю. Вы должны быть моей навсегда. Я обещаю вам все, что вы хотите!».

И когда Прайс с ожиданием поднял свой взгляд на Таточку, он был поражен словно столбняком.

Девушка качалась от приступа беззвучного, припадочного смеха.

Она хотела что-то сказать, но не могла и только махала руками.

На глазах ее стояли слезы, так силен был охвативший ее пароксизм безудержного смеха.

Прайс встал негодующий и оскорбленный.

А Таточка, отхохотавшись, вдруг стала серьезной и сказала:

– Мистер Прайс, наше знакомство окончено. Нет ничего хуже и непоправимее, чем видеть одураченным и смешным такого сноба, как вы. У меня точно спала пелена с глаз. Теперь только я вижу, что вы и я, мы совсем друг другу не пара.

– Я ничего не понимаю... – растерянно говорил уже по-английски Прайс.

– Поймите, что над вами сыграли злую, а надо мной целительную шутку. Я получила хороший урок.

И попрощавшись, Таточка вышла из кафе.

Личико ее было серьезно, но в серых глазах весело вспыхивали золотые искорки.

Шофер, как выяснилось потом, не дожидался возвращения мистера Прайса.

Он оставил свое место сам и теперь переменял профессию, недурно устроившись в большой конторе.

Говорят, между прочим, что в последнее время его и Таточку несколько раз видели вместе.

Опубликовано и печатается по: Шанхайская заря. 1935. 28 апреля. С. 4.



**Виктор Порфирьевич
ПЕТРОВ**
(1907–2000)

Писатель Виктор Петров родился 22 марта 1907 г. в Харбине, в семье священника. Окончил русскую гимназию и юридический факультет Харбинского университета. В 1928-1929 гг. работал репортером в газете «Харбин Дейли Ньюс». В 1930-1940 гг. жил в Шанхае, где занимался журналистской работой, выпустил свои первые три книги: роман «Лола» (1934), сборники рассказов «Под американским флагом» (1933) и «В Маньчжурии» (1937). Один из организаторов литературного объединения «Шанхайская Чураевка» и содружества «ХЛАМ». В 1940 г. переехал в США, где продолжал заниматься литературным трудом, вел активную научную и преподавательскую деятельность. Автор 27 книг на русском языке, более 300 статей в русских зарубежных газетах и журналах, посвященных русским первопроходцам в Америке, истории русской эмиграции в Китае и Америке. Скончался 18 августа 2000 г. в Рокквилле (шт. Мэриленд).

Ист. и лит.:

Александров Е.А. Русские в Северной Америке: Биографический словарь. Хэмден – Сан-Франциско – Санкт-Петербург, 2005. С. 393.

Хисамутдинов А.А. Российская эмиграция в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Южной Америке: Библиографический словарь. Владивосток, 2000. С. 238-239.

РАССТРЕЛ

Ранним теплым майским утром, когда уже закипела деловая жизнь города, широко раскинувшегося в центре Маньчжурии, когда уже стали замолкать громкие возгласы китайцев-продавцов овощей, птицы, рыбы и всякой снеди, когда жаркое маньчжурское солнце уже стало забираться в вышину, начался тихий, безмятежный день провинциального города, полный обыденными заботами, беготней, работой, меня неожиданно резко полоснули по сердцу внезапно раздавшиеся звуки военной трубы – слишком знакомые звуки для каждого маньчжурского старожилы.

Труба резко и в то же время заунывно выводила медлительную, тягучую, непритязательную китайскую мелодию, мелодию смерти...

– Кого-то везут на казнь!..

Содрогнулся от ужаса. Как можно в такой день, полный весеннего очарования, аромата цветущих деревьев и ярких солнечных лучей – кого-то убивать, расстреливать?..

А труба все ближе и ближе, все громче раздаются ее тоскливые звуки, как необыкновенно чутко подобрали китайцы эту мелодию смерти, в которой, казалось, изливался весь ужас души приговоренного, жить которому осталось несколько мгновений и который через несколько минут будет трупом. Или же гениальный музыкант, создавший эту мелодию, намеренно излил в ней всю тоску человека, ожидающего смерти, чтобы в самый последний миг, в предсмертный час душа закоренелого

преступника-хунхуза, хладнокровно, без содрогания убивавшего свою жертву, в этот миг могла проснуться и содрогнуться от всего им содеянного.

Во всяком случае, эти звуки трубы всегда производили на меня неизгладимое впечатление, оставляли глубокий след...

Вышел на улицу...

Толпа китайцев с жадным любопытством смотрит в сторону приближающегося кортежа, но это любопытство – не жадное сострадательное внимание или, наоборот, злорадство европейского зрителя, в глазах которого можно видеть его чувства, а простое любопытство постороннего человека, пришедшего посмотреть на интересное зрелище, театральное представление. Куда не кинешь взор, кругом одни и те же лица – сплошная безразличная маска любопытных зрителей.

Кортеж медленно приближается. По обеим сторонам улицы цепочкой у тротуаров едут конные китайские солдаты с винтовками за плечами, впереди два горниста по очереди выводят непрерывную мелодию.

Между рядами солдат видна тяжелая китайская арба на громадных колесах, поскрипывающих в унисон трубам горнистов, на которой сидят два хунхуза – два живых трупа.

Руки крепко стянуты позади веревками. Между спиной и связанными руками поднимается над головой доска, на которой выведены иероглифами все преступления хунхуза. Толпа с любопытством читает надписи.

Медленно ползет, поскрипывая, старая страшная арба; медленно, сурово, молчаливо движутся серые тени солдат на маленьких мохнатых китайских лошадаках; медленно, шаркая мягкой китайской обувью по горячим камням мостовой, движется за кортежем смерти молчаливая толпа.

Процессия вытягивается на главную улицу города. Заунывные ноты труб смерти вдруг заглушаются праздничным перезвоном колоколов городского собора, где идет воскресное богослужение. Русская публика в белых майских нарядах, веселая, оживленная, в праздничном настроении торопящаяся в собор, в недоумении оглядывается на процессию; лица, только что искрившиеся весельем и отражавшие на себе безмятежную глубину неба, на фоне которого пылает золоченый крест собора, вдруг меняют выражение. Девушки, только что весело смеявшиеся чему-то, испуганно останавливаются, провожая взглядом налившихся слезами глаз двух осужденных. Их взгляды, казалось, говорили: «Как можно в такой день, как можно в такую погоду кого-то убивать, кого-то везти на казнь?!» Точно убивать можно только в пасмурный день или глухую ночь...

Некоторые из тех, кто только что весело торопился в собор,

поворачивают обратно, следуют за кортежем. Толпа растет... К тому времени, когда процессия приблизилась к окраине города, к месту, носящему странное название «Подол», зрителей насчитывались уже сотни.

Тихо, замолкли трубы, еще несколько минут, арба спустится вниз с обрыва, к «Подолу»... несколько мгновений, и все будет кончено.

Китайцы рассаживаются на зеленой траве холма, как на трибунах Колизея... Арба со скрипом ползет вниз. Оба хунхуза, казалось, безучастно относившиеся к своей судьбе, точно проснулись. Первым, подавшим признаки жизни, был старик с голой бритой головой, глубоко запавшими глазами, сидевший до этого с опущенной головой, погруженный в какие-то свои мысли.

Старик вдруг востроился, окинул толпу взглядом своих острых глаз, мертвенно-бледное лицо несколько оживилось. Во взгляде, которым он окинул всех нас, любопытных, я увидел – нет, не страх, не ужас смерти, не ожидание неизбежного, нет, – а какую-то жгучую невыносимую ненависть ко всем нам, остающимся жить, ко всему миру, ко всему, – что мне стало не по себе.

Старик судорожно раскрыл рот, отчего натянулись на шее старческие жилы и резко выступил кадык, раскрыл рот таким движением, каким разевает клюв ястреб, и вдруг из его рта полилась такая грязная похабная ругань, какую трудно было вообразить.

Я оглянулся на китайцев. Ругань на толпу не подействовала. Видно, им не привыкать смотреть на казни, так же как не привыкать выслушивать последнюю предсмертную брань осужденных. Лица также бесстрастны, и только когда старик изощрается в особенно сильных выражениях, в глазах некоторых я мог подметить чуть промелькнувшую искорку удовольствия...

Брань старика разбудила его «коллегу». Этот совсем юнец, не старше двадцати лет. Давно ли он бегал где-нибудь на задворках своей деревушки голышом, гоняясь за черными свиньями, или барахтался в мутной воде деревенской речушки со своими сверстниками?! Видел ли он жизнь? Что заставило его присоединиться к братству рыцарей сопки и тайги? Что ему нужно было у хунхузов? Может быть, он мог бы рассказать о себе многое, может быть, нужда, отчаяние, еще что-нибудь заставили юнца бежать из родной деревни! Кто знает!

Грабежи, убийства, звериная жизнь, и вот – финал, расплата, конец человека, в сущности, еще не жившего.

Молодой, сидевший до этого недвижно, с полужакрытыми глазами, бледно-желтым лицом, также востроился, проснулся от своей летаргии, бросил тоскливый взгляд на бархатную зелень весенней травки, ужас искажил его лицо, но в один момент он страшным усилием воли взял себя в руки, также яростно посмотрел на толпу и, присоединившись к старику, начал выкрикивать грязную брань...

Еще несколько секунд, и арба медленно остановилась. Стало тихо... замолчали и хунхузы... Издали уже не видно выражения их лиц, но в эту минуту они, должно быть, поняли, что их бравада излишня, что она ни к чему, что все их напускное спокойствие, что все их крики и брань, – только развлечение для толпы, а им не все ли равно, смело ли, бесстрашно ли они переступят порог небытия или же не выдержат, выдадут свой ужас перед неминуемой смертью... Не все ли равно, что думает о них сейчас вся эта толпа, все это многоголовое любопытное чудовище, не все ли равно для тех, кто через несколько минут не будет видеть ни солнца, ни зеленой травы, ни голубого неба, ничего, кто будет трупом.

Солдаты сняли хунхузов с арбы, провели несколько шагов. Группа остановилась. Перед ними – два массивных, крепких китайских гроба. Крышки гробов откинута в сторону, и хунхузам ясно видны днища двух свежеструганных гробов – куда будут положены их тела...

Грубым толчком солдаты заставили обоих приговоренных опуститься на колени, руки по-прежнему связаны за спиной...

Все отходят в сторону. Тихо отделяются от группы солдат двое, останавливаются в десяти шагах позади обеих коленопреклоненных фигур. Медленно поднимаются винтовки. Офицер махнул рукой, и резко, точно удары бича, хлестнули воздух два выстрела, один за другим...

Толпа глухо ахнула... Фигурки даже не пошевельнулись. В десяти шагах и не попасть в людей!..

Оба палача подошли ближе...

Что в это мгновение промелькнуло в мыслях хунхузов? Может быть, в них зародилась надежда, что они помилованы и что этими выстрелами их хотели только утратить? Может быть, сейчас их повезут обратно в тюрьму?

Палачи подошли вплотную. Дула винтовок подняты почти в упор, в затылки. Вновь поднял руку офицер...

Грохнули одновременно два выстрела, и один за другим хунхузы ткнулись лицами в землю.

Две жизни прервались...

10 мая 1936 года. Кантон.

*Опубликовано: Петров В. В Маньчжурии. Шанхай, 1937.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 7. С. 282-287.*

20 ЛЕТ НАЗАД...

Приближаются новогодние и рождественские праздники, и мне почему-то вспомнилось Рождество 1914 года, а затем через несколько дней и встреча Нового 1915 года...

Шутка ли!.. А прошло ведь ровно 20 лет с тех пор.

Кажется, давно ли это было? Так ведь недавно... Неужели 20 лет?!

Почему у меня в памяти так крепко задержалось именно это Рождество и эта встреча Нового года, тогда как более поздние празднования совершенно улетучились из памяти? – трудно сказать. А ведь я тогда был совсем мальш, учился всего только второй год и едва-едва научился читать без запинки.

Вероятно, это Рождество удержалось в памяти, потому что тогда впервые, насколько я себя помню, я отправился в «дальнее» путешествие с братом из Харбина, погостить к бабушке на станцию Пограничная, находящуюся на границе между Россией и Маньчжурией и бывшую тогда чудным, захолустным, полу-русским, полу-китайским местечком.

Захолустьем, провинцией был тогда наш край – молодая благодатная Маньчжурия, медвежий уголок, где привольно жилось русскому населению, русским служащим различных официальных учреждений и железной дороги, знаменитой Китайско-восточной железной дороги, название которой в последнее время не сходило со страниц газет всего мира.

Крепок суровый маньчжурский предрождественский мороз, пощелкивает заиндеветыми деревьями, приятно пробежаться по морозцу по перрону небольшой станции, пока стоит поезд на пути на Пограничную, стоящую от Харбина недалеко, по нашим понятиям, всего около 1000 километров, а по европейским понятиям ведь это громадное расстояние.

Свистнет паровоз, лязгнет поезд буферами вагонов, плавно тронется с места... На ходу заскочишь на подножку вагона, зайдешь внутрь, где встречает уютная теплота жарко натопленных пульмановских вагонов.

Публики немного... Купе почти свободно. Устроишься поудобнее на мягком сиденьи... Возьмешь книгу... Плавный ход поезда незаметно укачивает в сумерках наступающей ночи, и через несколько минут ты уже спишь, не замечая, как быстрый маньчжурский «Почтовый № 4» мчитя по самым красивым местам Маньчжурии, по лесистым и горным районам, по малозаселенной местности, где изредка только можно увидеть крестьянскую фанзу или хутор и где скорее можно встретить бродячие хунхузские шайки, подкармливающиеся у этих редких крестьянских селений.

Тот, кто бывал в этих местах, тот никогда не забудет путешествия по

восточной линии «Китайской Восточной», не забудет одних названий станций, как Шитоухэцзы, Гаолинцзы, Ханьдаохэцзы, Шаньши, Хайлин, Муданьцзян, Тайпинлин, Даймагоу и другие, каждая из которых сразу же вызывает в памяти чудные картинки этих станций, имеющих общий маньчжурский лесисто-гористый колорит и в то же время имеющих каждая свою оригинальную особенность.

Одно название – Шитоухэцзы сразу же вызывает в памяти большие зеленые горы, лесные концессии, леса; а за станцией – дальше в направлении Пограничной – живописный железнодорожный путь, один из красивейших на дороге, который может сравниться только со знаменитой Хинганской петлей на западной линии.

Затем Гаолинцзы, известная обилием хунхузских шаек, буквально терроризировавших этот район; живописна станция Тайпинлин, заброшенная на перевал, откуда поезд мчится под уклон как бешеный, с трудом сдерживаясь на всех тормозах; Даймагоу со своими туннелями – нет, трудно найти такую красоту где-нибудь еще в мире.

* * *

Пограничная мне сразу же понравилась своим большим красивым вокзалом, к которому нужно подниматься высоко по ступеням, вокзал много лучше харбинского, к стыду столицы Маньчжурии.

Улицы покрыты мягким белым снегом, кое-где протоптаны тропинки, солнце слепит глаза, отражаясь от белой пелены снежного покрова.

Движения по улицам никакого, извозчиков нет, да им и невозможно подниматься на крутые горы, по которым разбросана станция; здесь можно ходить только пешком.

Прибыли мы с братом как раз накануне Рождества, в самый Сочельник. Под вечер улицы оживились «народом», в кавычках, конечно, потому что на обычно пустынных улицах показались отдельные фигуры, человек пять-шесть, вот и весь народ.

Это позже уже в последние годы станция стала кипеть, превратилась в большой город, наполнилась темным элементом, контрабандистами, благодаря близости к границе; тогда же это было тихое местечко, где каждый знал всех жителей станции, где все были знакомы между собою и дружны, когда не было еще двух лагерей – красных и белых.

Шумно и весело прошли рождественские праздники, непрерывные визиты по домам приятелей, а главное – это катания на салазках по улицам городка. Заберешься с ватагой ребятишек на вершину горы и оттуда по оледеневшим улицам мчишься вниз до самого вокзала.

Часто сцеплялись целым поездом по десятку салазков и так носились целый день, наполняя улицы городка шумом и гамом.

Самым же интересным развлечением для нас были экскурсии за город в район китайского базара, где в эти дни происходили казни китайских бандитов-хунхузов, захваченных как раз перед Рождеством.

Эти казни были для нас самым веселым и приятным рождественским развлечением и удовольствием, особенно же нас восхищала «чистая» работа громадного китайца-гиганта палача, который одним взмахом тяжелого широкого китайского меча отхватывал голову бандита (оригинальное развлечение для молодежи!!!)

Вокруг площади обычно задолго выстраивалась терпеливая китайская толпа, падкая на подобные публичные зрелища. Тут же в толпе и мы, десяток мальчишек.

Терпеливо ждем... Наконец вдали раздаются печальные напевы кавалерийских труб. Это конные трубачи провожают в последний земной путь осужденных хунхузов. Везут десять человек. Все со связанными позади руками, с длинной доской за спиной, на которой крупными иероглифами описаны все преступления осужденного. Сидят по двое на одной арбе. Далеко по морозному воздуху разносятся их ругательства, выкрикиваемые в последний раз своим палачам, которые не могут заглушить даже трубы.

Никто их не останавливает. Такова традиция. Большинство из осужденных пьяны. На пути на лобное место они приказывают останавливать арбу почти у каждого магазина, из которого выносят им по чашке крепкого алкогольного напитка – ханы.

Наконец путь кончен. Осужденных снимают с арбы. Большинство твердо держатся на ногах, с презрением относясь к смерти, редко у кого побледнело лицо, когда они увидели перед собой ряд тяжелых китайских гробов, приготовленных уже для них. У одного подкашиваются колени, может быть, от ужаса перед видом этих гробов, в один из которых ему придется лечь через несколько минут на вечные времена, а может быть, просто от чрезмерного потребления ханы... Трудно сказать, его лицо ничто не выражает.

Хунхузов по очереди солдаты подводят к палачу, тот уверенно толчком бросает свою жертву на колени, захватывает косу, перекидывает ее вперед, открывая шею, оставляя в таком положении. Затем берет свой тяжелый меч, взлетает на воздух блестящая сталь... тяжело, по-мясницки ухаает палач и молодецким ударом специалиста он, как бритвой, отделяет голову от туловища... Земля заливается кровью, моментально замерзающей на морозе, туловище валится вперед, а голова откатывается в сторону.

Подводят вторую жертву, и с каждым мастерским ударом палача толпа удовлетворенно в один голос издает дружный возглас одобрения: «Хо!!!»

Закончено представление, обезглавленные тела буднично, привычно

укладываются солдатами в приготовленные гробы, дальше уже не интересно, и мы отправляемся по домам.

На следующий день – повторение представления, новая партия казненных и так – три дня. Впечатлений масса!!!

Закончились, наконец, рождественские праздники, приближается Новый год. Мы дома деятельно готовимся к этому торжеству, которое для нас интереснее и веселее, чем рождественские праздники, так как в новогодний вечер мы, по установившейся китайской традиции, встречаем обычно «новорожденного» грохотом громадных двухзарядных китайских ракет.

Тем, кто жил в России, этот обычай покажется непонятным и диким, но мы, родившиеся в Китае и сроднившиеся с его обычаями, наблюдавшие, как торжественно целый месяц китайцы празднуют свой Новый год обязательно грохотом ракет, мы также привыкли встречать свой праздник именно ракетами, без которых встреча Нового года, как бы торжественно она не обставлялась, казалась будничной.

В Харбине обычно под Новый год, когда в соборе служился молебен, мы собирались перед собором и, как только раздавался радостный перезвон колоколов, поджигали фитили ракет, те взвивались в воздух со страшным грохотом и там давали второй взрыв, потрясавший воздух, затем опять и опять.

Гул становился невероятным.

На Пограничной мы с братом решили поддержать эту традицию и, накупив больших и маленьких ракет, заранее явились со своими приятелями к церкви, где в это время уже шло богослужение.

Только раздались звуки колоколов, публика повалила из церкви, как у нас началась потеха. Загрохотали пулеметом связки маленьких ракет, орудийными взрывами покрыли тишину ночи залпы двухзарядных ракет.

Перепуганная публика шархнула в сторону, но потом присоединилась к нам, принесли еще ракет, и в течение получаса по всей станции стоял такой шум и грохот, что все станционные собаки охрипли от испуганного лая.

Через несколько дней, в Крещенский вечер, мы все собрались в доме бабушки и решили заняться гаданием. Решили гадать особенно серьезным способом, перед зеркалом, по бокам которого зажжены свечи.

Садятся гадальщики по очереди перед зеркалом в пустой комнатушке, смотрят в стакан с водой, на дне которого лежит золотое кольцо, напряженно смотрят, но не думаю, что они что-либо видели там, хотя наши девушки утверждают, что видели в кольце своих суженых. Не могу судить, насколько это верно, но когда я сел перед зеркалом и стал смотреть в стакан, то сколько я не напрягал своего зрения, сколько не щурился, а ничего там не увидел.

Последней села с трепетом и страхом прислуга бабушки, 15-летняя Фекла, глупая, недалекая девчонка, искренне верившая во все эти гадания.

Прикрыла двери и удалилась... Долго мы ее ждали, кричать не хотели, чтобы ее не потревожить. Я осторожно подкрался к двери, тихонько приоткрыл ее и увидел, что она сосредоточенно смотрит в стакан.

- Смотрит! – тихо шепнул я другим.

Вдруг мне в голову пришла шальная мысль. Я потихоньку вытащил из кармана маленькую китайскую ракету, чиркнул спичкой, поджег фитилек и бросил ракету в комнату, угодив прямо в стакан с водой.

Ракета разорвалась как раз над водой. Феклуша в ужасе отшатнулась, думая, что какая-то нечистая сила вырвалась из стакана. Раздался душераздирающий крик, и она с грохотом, потеряв сознание, повалилась со стула на пол.

Я, перепугавшись, выскочил на улицу; все бросились на помощь к Феклуше. Долго с нею отваживались, пока она не пришла в себя.

Мне, конечно, крепко влетело, и у меня надолго отбило охоту повторять подобные шутки.

Фекла так до самого моего отъезда из Пограничной не разговаривала со мною...

Кончились, наконец, рождественские праздники, отгуляли Крещение, нужно возвращаться в Харбин. Уже начались занятия в школе.

Не хочется покидать так понравившуюся станцию, но и домой тянет. Как-то в Харбине сейчас? Быстро собираемся. Опять на поезд. «Почтовый № 3» мчит нас по маньчжурским лесам и горам, ближе к Харбину – домой!

Декабрь 1937 г. Шанхай.

*Опубликовано: Петров В. В Маньчжурии. Шанхай, 1937.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 7. С. 276-282.*

В ЗАДУМЧИВОМ ПАРКЕ

Получил письмо... Приятель пишет из родного медвежьего уголка Маньчжурии.

- Ты себе не можешь представить все то очарование, которым проникнут ваш Умхский «задумчивый» сад... Все кругом бело от массы бесчисленных цветущих деревьев. Как нарочно, в этот первый год, когда ваша семья не приехала на дачу, зацвел весь сад, слегка запущенный теперь, но такой красивый!.. Цветут сирень, груши, яблони, сливы и черемуха. Далеко-далеко по всему станционному поселку разносится

благоухание из вашего сада. Ведь знаешь, на всей станции ваш сад остался единственным местом, куда можно пойти и отдохнуть, а также и... помечтать. Может быть, эти слова у тебя и вызовут усмешку, но ведь я же молод... а тут весна разошлась вовсю...

«Задумчивый сад»... как тонко он подметил, дал определение нашему большому, когда-то шумному и веселому, а теперь запущенному и заброшенному саду. Вернее, нужно его назвать парком, а не садом, хотя бы потому, что он занимает целую десятину леса нашего дачного имения на одной из железнодорожных станций в Маньчжурии, в 130 верстах от Харбина.

Парк в 1920 году был отрезан для нас из дикого леса прямо на глаз без всякого обмера, и границей ему, с одной стороны, служила небольшая горная речка, а с другой, – заброшенная насыпь полотна железной дороги.

Впереди ближе к станции был расчищен клочок земли, быстро построен дом, поставили различные хозяйственные постройки, а все остальное так и было оставлено под диким девственным лесом.

С каждым годом мы все больше и больше старались расчистить парк. Так и здесь появились прямые стрелы аллей и узкие, искривленные, зигзагообразные тропинки, по которым так хорошо было прогуляться вечерком по границе парка вдоль речки...

Каждое лето дача и парк наполнялись шумом молодых голосов, наезжали ватаги молодежи. Всегда там жило несколько семей, размещавшихся по всему дому, большой застекленной веранде, чердаках и сараях.

По утрам с 5 часов дом закипает оживлением. Быстро все поднимаются, торопятся на реку, бегом через весь парк, принять утреннюю студеную ванну в реке, а там... чай на свежем воздухе при первых лучах солнца, пробившегося через листву деревьев...

Днем – бесконечные купания, экскурсии в лес за цветами, позже – за спелой черемухой, пикники; под вечер – крокет, волейбол и, наконец, вечером – разные игры, гулянья и танцы под собственный импровизированный струнный оркестр.

С каждым годом стационарные служащие меняются, уезжают одни, приезжают другие, но наш дом и время не берет – все по-старому.

Правда, с каждым годом все становятся более взрослыми, появляются другие развлечения, но жизнь все также кипит, бьет ключом, и, как стемнело, смотришь, – со станции, потянулись группы знакомых железнодорожников к нашему саду, откуда раздаются звуки струнного оркестра или пение.

Вся эта жизнь, несмотря на невзгоды последних лет, продолжалась до 1933 года...

После этого дом затих, посерел; парк умолк, также притих, и даже

веселые певчие птицы и те как-то настроились на грустный лад.

Хунхузы – этот бич Маньчжурии, заставили, наконец, покинуть свою усадьбу.

Дом брошен, все оставлено на произвол судьбы и хунхузов... Изредка по комнатам пройдет, снимая паутину, древний Лю Цимо, но он так стар, что с трудом передвигает ноги, чаще сидит у себя на огороде или копается на грядках, и дом принимает все более и более запущенный вид.

Конечно, в парке нет столетней липы, навевающей воспоминания о прошедших десятилетиях, нет изящных скульптурных украшений, нет ничего того, чем гордятся обычно владельцы старых родовых усадеб и поместий там, в России, – нет, хотя бы и потому, что три с половиной десятка лет тому назад здесь только впервые проложили ленточку железной дороги, впервые только эти леса увидели человека, и этим человеком был русский пионер – русский инженер и строитель, смело боровшийся с лишениями, смело пробивавшийся через леса и горы Маньчжурии, чтобы провести здесь первый рельсовый путь.

Я никогда не был в России, я не видел красот моей родины, и поэтому мне кажется, что лучше и красивее моей родной Маньчжурии нет страны в мире, нет ничего красивее блестящей ленточки полотна дороги, пробивающейся через стройные кедровые или березовые леса, пролетающей через быстрые горные речушки, выбивающиеся между взгромоздившихся сопок...

А разве можно забыть чистенькие станционные поселки, окруженные массой зелени, садов и окруженные высокими горами, покрытыми лесом... Верно, что сейчас уже многое из этих красот ушло в область былого, леса порублены, выкорчеваны, и на месте их появились китайские поля, китайские огороды, но все же еще кое-где осталась прежняя красота маньчжурской природы...

Нам парк дорог по воспоминаниям своего детства и затем уже по воспоминаниям более позднего времени, когда даже будучи на службе каждый из нас, тем не менее, пользовался каждой свободной парой дней, чтобы побывать на своей даче, побродить по парку, почистить и прополоть где нужно травку, покататься на реке, а то и поохотиться.

Тогда дом и парк были полны веселья и шума, теперь же парк действительно принял «задумчивый» вид, да и как ему не задуматься, не вспоминать бурного, шумного десятилетия.

Прошелестит по прошлогодней, осыпавшейся, никем не прибранной листве шустрый воробей, прочирикает что-то согнувшейся под тяжестью лет древней черемухе, поникшей над самой речкой.

Ствол черемухи уже давно причудливо искривился, раздался в стороны, ягоды на ней почти не бывает, очень мало, но зато самая крупная и самая вкусная.

Рядом цветущая сирень и яблони сочувственно кивают верхушками

своих веток в праздничном весеннем наряде и также чутко прислушиваются, не раздастся ли вновь взрыв смеха, не кинется ли врассыпную молодежь, играющая в прятки, не промчится ли кто на велосипеде по причудливым аллеям.

Нет... изредка появится старый сторож «караулка» Лю Цимо, выгащит острый топорик и... р-раз... звонко ударит острием по стволу какого-нибудь дерева.

Будь это вяз или яблоня, клен или черемуха, ему все равно – за ягодой на дерево ему не забраться, все равно все попадает, осыплется. А ему нужно топливо.

Парк большой. Топлива хватит надолго, до конца дней старого Лю Цимо... Все меньше и меньше становится самых больших и крупных деревьев...

* * *

Самым шумным и веселым был первый год, когда мы только что обосновались на лето на этой даче.

Все как-то ново для нас, горожан. Все – интересно и занимательно. Целые дни пропадаем на воздухе, на солнце, на реке...

Часто всей станцией, человек в 25, отправляемся на реку Майхэ за три версты от станции со специальной целью – собирать черемуху.

Бредем по лесу узкой тропкой один за другим. У каждого в руках корзина или две, которые обратно уже несем наполненными ягодой.

Способ же собирания черемухи у нас был довольно варварский и оправдывался только обилием леса...

Подходим к берегу реки Майхэ, где можно остановиться пикником, выбираем самое большое черемуховое дерево со сладкой ягодой, быстро топором дерево валится на землю, каждый отламывает себе по громадной ветви, и начинается очистка дерева от ягоды, каждый в свою корзину.

В шутках, прибаутках работа быстро продвигается вперед, а там и полдень, нужно готовить обед, купаться, играть.

Затем еще час-полтора по очищению срубленного дерева от ягоды и – в обратный путь.

* * *

В тот год впервые я стал самостоятельно ходить на охоту с настоящим охотничьим ружьем.

Мне только что исполнилось 13 лет...

Помню, в первый раз я отправился на охоту с Павлом, который старше меня только на год, но уже имеет большой охотничий стаж.

Разве можно забыть этот первый охотничий восторг, это чувство, когда держишь в руках ружье со взведенным курком и медленно, прячась

за деревьями, крадешься к какому-нибудь лесному озерку, с которого вдруг шумно срывается стайка громадных «кряковых» уток.

Первым же выстрелом, сделанным мною, я убил утку влет. Как я нажал курок, до сих пор не помню. Знаю только, что направил ствол ружья куда-то в сторону летевшей ватаги уток... грохнул выстрел, больно отдалось в плече... Смотрю... одна из уток вдруг оторвалась от стайки и со свистом грохнулась вниз.

Собака, до этого с презрением смотревшая на меня (что, дескать, за охотник), на то, как я нерешительно несколько раз вскидывал ружье и затем опускал, боясь нажать собачку, на этот раз с радостным видом кинулась в густую осоку, откуда в момент извлекла убитую утку.

Я торжественно подвесил ее на удавок у пояса – свою первую и единственную жертву за этот день.

Павел, вынырнувший из леса на выстрел, с завистью посмотрел на мою громадную «крякву», ему еще не удалось ничего подстрелить...

Все же под вечер он убил пару «крякв», и мы оба, довольные, направились в обратный путь.

Солнце уже успело скрыться за горизонтом, озолотив верхушки деревьев, сразу же с реки и озер потянуло прохладой.

– А ну, поскорее обратно, а то будешь здесь в темноте искать тропы, заплутаешься только, – заторопил меня Павел.

Лес почернел, притаился громадными тенями, группы деревьев в наступившей ночной темноте стали принимать причудливые формы... стало как-то не по себе... ведь мне еще ни разу не приходилось бывать в лесу ночью... только присутствие уверенного в себе, крепкого Павла, выглядевшего много старше своих лет, придало и мне твердости и спокойствия.

Павел уверенно отыскивал в темноте леса путь, и вскоре мы оказались на насыпи полотна дороги.

Здесь мы уже почти дома. Осталось две версты по шпалам, но это путь ровный, прямой, и время проходит обычно быстро.

Луны нет, но звезды особенно яркие, лучисто искрятся мириадами точек – здесь на открытом воздухе я только впервые познал всю красоту летней ночи, всю прелесть звездного неба.

Тихо-тихо стали оживать рельсы, что-то неясное, отдаленное заставило их чуть-чуть вибрировать... Вскоре послышался звук приближающегося громадного огненного чудовища... Рельсы сразу застрекотали все громче и громче, и, наконец, из-за поворота появились огненные глаза современного дракона, из яркой пасти которого непрерывно вырываются снопы искр.

Дачный поезд шумно промчался мимо нас, с грохотом проскрежетал тяжелыми колесами паровоз – «Г. 675» – успел прочесть я; за ним, методично отстрочив свой темп на стыках рельс, пронесли вагоны...

Замер вдали шум ушедшего поезда, и опять все тихо.

Замелькали впереди огоньки станции – мы дома.

Мое возвращение домой оказалось сплошным триумфом. Убить утку влет на первой охоте – не шутка.

Один отец скептически, с лукавым огоньком в глазах, осторожно пощупал утку, нарочито брезгливо преподнес ее к носу...

– С душком?!! Попахивает малость!!? Сознаться, где ее достал? Купил на базаре или собака разыскаладохлую утку где-нибудь в кустах?!!

Однажды, втроем – Павел, я и старший брат Андрей решили пойти на ночевку охотиться на... диких коз.

В то время в лесу и днем нередко можно было встретить стройную козулю, которая, увидев охотника, моментально скрывалась в чаще, взметнув своим белым пушистым бугорком – хвостиком, ярко выделяющимся на ее темном желто-буром теле.

Ночью же они целыми стадами идут на водопой на реку Майхэ.

Бояться им нечего, людей нет, зверья дикого никакого. Медведи и кабаны уже повывелись, тигры попереселились подальше вглубь тайги, а лисиц им бояться нечего.

Дробовых ружей оказалось только два – ими вооружились Павел и Андрей, а мне вручили военную винтовку – трехлинейку.

– Что тебе стрелять по уткам, эта дичь слишком мелкая для тебя. Лупи из винтовки прямо по козам, – смеются оба.

Быстро снарядились, патронташи и сумки через плечо... шагом марш.

– Ну, ребята, – говорит Павел, наш главный следопыт, – нужно, пока светло, добраться до Майхэ, найти козулинный водопой, да и самим устроить хорошую незаметную засаду, откуда можно будет стрелять по козам...

– Пошли!..

Быстро вышагиваем по знакомой дороге... две с лишним версты по полотну железной дороги, а там... влево, по узкой тропе, прямо в лес.

Мне даже не верится, что я сегодня не буду спать дома в удобной постели, а где-то далеко от дома, в лесу – среди зверей, птиц и... страшных хунхузов, встреча с которыми страшнее встречи с царем сопок – маньчжурским тигром.

Идешь, а в голове уже гордые мысли, как завтра мы вернемся домой с тушами убитых коз...

Не замечаешь, как ноги начинают хлопнуть по болотистой воде, и только после того, как низко нависшие ветви деревьев несколько раз больно хлестнут по лицу, вспомнишь, где находишься и куда идешь.

Начинает смеркаться.

– Прибавь шагу, ребята! – подбадривает нас Павел. – Уже недалеко!

Пробираемся через высокие травы, камыши в низких местах; камыши намного выше роста человека, выбираемся опять в лес через поваленные бурями деревья, поломанные сучья, пока наконец перед глазами не появляется река, почти у самых ног.

Лес настолько густой, что реку видишь только в самый последний момент.

Река не слишком широка, саженой 20, но очень быстрая, в некоторых местах глубокая, с опасными водоворотами.

- Что же, давайте выбирать место водопоя коз, – предлагает Павел.

Прошлись по берегу.

- Я думаю, что здесь будет хорошо, – указал он на высокий берег в довольно узком изгибе реки, на другой стороне которой раскинулась широкая песчаная коса.

- Если мы спрячемся на этой стороне, нам хорошо будет видно все, что творится на той косе, и, как только козы появятся на водопое, мы их и встретим хорошими зарядами.

- Не мешало бы нам перейти вброд на ту сторону и посмотреть, есть ли там следы коз, может быть, просидим здесь напрасно и не дождемся ничего, – заметил Андрей.

- И то правда.

Нашли брод, перебрались на другой берег по пояс в воде.

- Смотри-ка, сколько здесь следов, – кричит Павел. – Больше чем можно было предполагать. И как удобно, как раз против нашего лагеря. Видны будут на песке, как на ладони. И ветерок хорош, тянет в нашу сторону, так что козы нас никак не учуют. Придется, кажется, завтра нам нанимать целую арбу везти свою добычу.

- Ну-ну! Обрадовался. Не считай раньше времени. Знаешь, говорят: «Цыплят по осени считают».

- А ну скорее обратно, а то скоро стемнеет!

Быстро вернулись в свой лагерь, расположились по-домашнему. Расчистили удобное место для наблюдения за песчаным берегом, натащили валежника для костра.

- Ты, Виктор, посиди пока здесь, покарауль наш лагерь, а мы с Павлом пройдемся на озерки, может, пару уток подстрелим. Вставь на всякий случай обойму в винтовку, если что случится, пали все пять патронов, один за другим.

Не прошло пятнадцати минут после их ухода, как с озера раздались два выстрела, и над моей головой пронесся испуганный табунок уток. Я по привычке вскинул к плечу винтовку, так и хотелось спустить курок, но удержался – не стрелять же по уткам пулей из винтовки.

Раздались еще выстрелы. Со всех сторон стали носиться спугнутые неожиданной напастью утки. Почти совсем стемнело. Уток уже не видно, но еще долго слышно звонкое хлопанье их крыльев. Наконец все затихло.

Выстрелы также прекратились.

Ночь властно охватила своими объятиями замерший было лес, и с ее покровом стали пробиваться сквозь тишину особые незнакомые мне и жуткие звуки ночи, звуки ночной жизни леса.

Становится страшно одному.

- Почему они не идут?! Может быть, попали в руки хунхузов?!

Напряженно вслушиваюсь в шепот ночи. Боюсь оглянуться назад в мрачную, темную стену леса, откуда выглядывают страшные рожи призраков ночи. Малейший звук, шорох заставляет меня вздрагивать и судорожно хвататься за винтовку. Неожиданный всплеск воды в реке, и я замираю от ужаса.

Сижу, как на иголках.

Вдруг рядом что-то зашелестело, медленно поползло в сторону.

- Змея!.. - ужасом мелькнуло в мозгу.

Я весь похолодел. Боюсь двинуться, чтобы не выдать своего присутствия. Шорох затих!

- Господи, что же это! Да тут умрешь от страха. Где же Павел и Андрей?!!

Наконец настороженное ухо услышало голоса, смех...

Сразу отлегло от сердца...

- Эй, Виктор! Ты жив?!! - послышались голоса.

- Жив! - слабым, дрожащим голосом отозвался я. - Где вы пропадали?

- Да были на озере, у самой сопки, - подошли оба они ко мне, - видели много уток, но ничего не убили, слишком уже темно стало.

- Ну что же, можно раскладывать костер, козы придут на водопой только под утро, - авторитетным голосом заявляет Павел, - а сейчас мы сможем спокойно посидеть при костре, вскипятить чаек, закусить.

Затрещал сухой валежник, вскинулось высоко кверху яркое пламя - сразу стало веселее и как-то спокойнее, точно огонь давал защиту.

Костер разгорелся еще больше, кругом закружились комары, пришлось пламя закидать сверху сырыми сучьями с травой - пошел густой дым, лучшее средство от начавших атаковать нас комаров.

Сбоку на огне пристроили чайничек с речной водой, слегка отдающей тиной. Этот-то запах да еще примешавшийся к нему запах дыма и придавали чаю у костра тот аромат, ту прелесть, о которой можно только мечтать и которую знают только охотники и рыболовы.

Брызнула через край вскипевшая вода на костер, чайник забурлил...

- Готов!.. Вскипел!.. - обрадовались все трое.

- Доставай закуску!

Из охотничьих мешков появились яйца вкрутую, колбаса, мясо. Все это, густо осыпанное солью, уничтожалось с невероятной быстротой.

- Ничего себе, аппетитец у нас на свежем-то воздухе. Завтра утром и закусить нечем, - смеется Павел.

Время идет. Незаметно в шутках, разговорах время перевалило за полночь.

Костер все ярче и ярче. Топлива много, не жалко.

– А ведь скоро, пожалуй, и коз нужно караулить!

– Вот беда, луны-то нет. Смотри, темень какая. На той стороне ничего не видно. Кажется, прогадали мы. Нужно было на той стороне устроить засаду, а то здесь так и просидим ночь, ничего не увидим...

Вглядываемся в противоположный берег. Ничего не видно.

– Как же это так? Охотнички? Луны-то ведь нет сегодня. Ловко мы все же сегодня просчитались.

– Ничего, может быть, под утро луна появится.

Луна по какой-то неведомой для нас причине в эту ночь так и не показалась...

Давно уже перевалило за полночь, несколько раз приходилось подбрасывать в костер все новые груды валежника... глаза с непривычки стали слипаться, потянуло ко сну... голова клонится на грудь...

Вдруг... с другого берега... так близко, точно где-то совсем рядом, неожиданно раздался тяжелый, мучительный, надрывный крик...

– О-о-ой!!!

Мы в ужасе примолкли. Что это?! Крик болью отозвался в сердце каждого из нас. Невозможно описать всю ту муку, всю боль и ужас, который послышался нам в этом мучительном стоне, далеко разнесшемся по поверхности реки.

В этот момент опять...

– О-ой!!! – раздался надрывный стон.

– Хунхузы! – разом пришло нам в голову. – Наверное, мучают кого-нибудь из пленников!

В момент разбросали костер, покидали горящие головни в реку, и сразу стало темно. Ничего не видно. Темень, хоть глаз выколи.

Сидим, не шелохнемся.

Не помню, сколько времени так сидели.

Все стихло. Больше ни звука. Только непрерывный шорох речных вод, торопящихся вперед, нарушал покой ночи.

Стоны больше не повторялись.

– Замучили насмерть, наверное, – прошептал я своим спутникам.

Те только молча кивнули головами. Просидели в молчании еще полчаса, чутко, настороженно вслушиваясь в темноту ночи.

На песчаной отмели противоположного берега что-то зашевелилось, зашлепало по воде, захлюпало...

– Козы!.. – в отчаянии прошептал Павел, – и ничего не видно!

– Сколько их? Где они? – ничего не видно! Стрелять на звук – бессмысленно, да и страх берет, а вдруг хунхузы услышат!

– Эх! – с досадой проворчал Павел, – ложись-ка, ребята, спать! Утром

уточек постреляем – все будет добыча какая-нибудь.

Притащили сухой травы, листьев – устроили постели... расположились поудобнее... Незаметно молодой сон смежил веки, забыты переживания ночи, и никакой звук уже не в состоянии разбудить нас.

Рано утром, когда веселые, шутливые, теплые лучи солнца заиграли на глади реки, стали пробиваться через листву деревьев, ударили нам в глаза, мы быстро вскочили.

– Пора вставать!

Первой мыслью было сходить на другой берег и удостовериться по следам, оставленным на песке, много ли было ночью коз. Разделись, перебрались на другой берег, и Павел даже присвистнул.

– Посмотрите, сколько здесь следов! Миллион!!! – указал он на массу свежих отпечатков на песке. – Ну и маху же мы дали, что забрались на тот берег. Придем в следующий раз, устроимся где-нибудь здесь на этом берегу.

Вернулись обратно в свой лагерь, быстро вскипятили воду, напились чаю и направились в обратный путь по озерам в надежде принести домой хотя бы уток, но и здесь неудачи... Ни одной утки, ни одного фазана...

– Досадно, так ничего и не принесли.

– А интересно все же, кто это кричал ночью, так страшно?!

– Я думаю, что это нас ночная обстановка, мгла так напугала. Никаких хунхузов не было, а кричала просто птица – сова. Я слышал, что совы так кричат по ночам, – заметил Павел.

– Ну нет, я не думаю этого. Уж очень крик был похож на крик человека. Только человек может так кричать. И только человек может так мучить людей себе же подобных...

– А ты же в лирику пустился... Может быть, и хунхузы, – равнодушно пожал плечами Павел.

Вышли на насыпь железнодорожного пути. Впереди на рельсах несколько ворон.

Павел вскинул ружье.

– Эх, ворону подстрелить, что ли?

Гулко раздался выстрел. Черные тени тяжело поднялись на воздух, испуганно оглашая воздух своим карканьем.

Одна из ворон с подбитым крылом осталась на месте, беспомощно сясь поднять свое отяжелевшее тело и жалобно дергая подраненным крылом.

Поймать ворону оказалось делом не легким, громадными прыжками она забила в кусты под насыпью и, грозно ощерившись своим большим клювом, приготовилась дорого продать свою свободу.

Я накинул на ворону свою тужурку, обернул ее и взял на руки.

Андрей пытался приоткрыть немного тужурку, чтобы дать пленнице

доступ воздуха, и в тот же момент с криком отскочил.

Ворона больно укусила его за палец, на котором выступила кровь.

- Черт! Какая злая!

- Держи ее крепче. Принесем домой сюрпризик...

На входных стрелках станции около дома дорожного мастера встретили дочь мастера Надю...

- С охоты? Что принесли?

- Да вот молодую козулю дикую поймали.

- Правда?! - запрыгала та от радости. - Покажите!

- Нельзя, убежит.

- Ну, одним глазком только.

- Пощупать можешь, - согласился я, - просунь осторожно руку под тужурку и пощупай...

Та доверчиво, осторожно просунула руку...

- Ай! - завопила она не своим голосом, быстро выдернув руку обратно. - Что это? Она кусается?

Мы прыснули со смеху.

- Ничего смешного нет, - обиделась Надя. - Что у вас там за зверь?

- Самая настоящая ворона! Вот посмотри на ее клюв, - приоткрыл я слегка голову вороны...

- Черти полосатые! Как напугали меня!

Нужно ли говорить, как над незадачливыми охотниками издевались все дома, когда мы вместо козуль принесли с собою... подбитую ворону.

Свою пленницу мы водворили в сарай, откуда она ночью таинственным образом исчезла.

* * *

Через пару дней мы вновь отправляемся на ночевку.

На этот раз оказались умнее. Устроились лагерем на песчаной отмели под самым берегом. Из песка соорудили некоторое подобие крепости, окружили ее песчаным парапетом, внутрь накидали сухой травы. Сухо и мягко. На ночь решили назначить дежурства, по очереди дежурить по два часа.

С полночи вступил в дежурство Андрей. Мы устроились поудобнее на дне своей крепости и быстро заснули.

Андрей с винтовкой в руках зорко следит за берегом, ждет появления коз...

Беспрерывное напряжение сказалось, наконец, на нем. Он клюнул раз-два, положил руку на барьер крепости, голова опустилась, и вскоре наш часовой спал таким же крепким безмятежным сном.

Часов в пять утра он разбудил нас обоих.

- Ну, чья очередь дежурить? – смеется он.

- В чем дело? – озирается Павел. – Уже светло?!

- Ну да! Пора собираться домой.

- Эх ты! Заснул ведь на дежурстве! А это что, посмотри?

Мы взглянули за барьер. Рядом с самой нашей крепостицей, в трех-четырёх шагах от нее виднелось несколько совершенно свежих следов коз. Видно, подходили в самой крепости, взглянули на нас и, презрительно вильнув хвостиками, направились на водопой.

- Посмотри, ведь они прямо посмеялись над нами, подходили к нашему часовому, обнюхали его, – кипятился Павел. – Ведь, наверное, подошли, усмехнулись прямо в ствол твоей винтовки и отправились дальше, – обратился он к Андрею.

- Ну, довольно возмущаться! Заснул и заснул. Все равно теперь уж ничего не поделаешь, дела не поправишь! Ш-ш!!! Слышишь, утки летят!

Схватили ружья...

Табунок уток, шумно разрезая воздух, плюхнулся в воду недалеко от нас. Грянули два выстрела, и по течению реки понесло пару убитых уток.

Мы бросились за ними. Быстро изловили.

- Хорошо хотя это. Все же кое-что принесем домой вместо коз.

Так закончились неудачей наши первые вылазки на коз.

* * *

Вспоминается цепь следующих лет. Каждое лето сразу же по окончании занятий в гимназии мы все выезжаем на дачу. Торопимся насладиться природой. Да и природа действительно была чудной, в особенности после пыльного и душного Харбина.

Уже много лет спустя я научился ценить и Харбин, который по сравнению с другими городами Дальнего Востока свободно и сам-то мог сойти за дачное место со своими бесчисленными садами, провинциальными пригородными домишками и т. д.

Нельзя без смеха вспомнить все наши дачные измышления и нововведения.

Старший брат Петр, приехав на дачу, так полюбил природу и жизнь на воле, что вообразил себя каким-то помещиком и решил заняться хозяйством, о котором никто из нас не имел никакого понятия.

- Нужно завести коров, будет свое молоко – для нас полезно, ведь молочные продукты хороши для здоровья, а кроме того, можно будет продавать масло и сметану, – заявил он отцу, – хорошо бы и лошадок завести – поехать в лес, нарубить дров, так что покупать их не нужно будет (а к чему это, когда куб дров тогда стоил на этой лесной станции всего только восемь долларов – содержание лошади обойдется дороже), вырастим свиней, тоже польза – верный капитал будет. А там, смотришь,

завести всякую птицу – гусей, уток, кур.

Отец смеется:

– Смотри, а не будет ли у тебя так же, как и с твоим земледелием, много ты там заработал?

– Ну, там другое дело. Ученье помешало.

Нужно заметить, что за три года до этого брат, учившийся тогда в седьмом классе гимназии, узнал, что под Харбином можно достать несколько десятин пахотной земли, находящейся в полосе отчуждения железной дороги.

Дорога тогда раздавала своим служащим эти земли, а те в свою очередь от себя сдавали их китайцам-огородникам, получая за это верные деньги, без затраты труда.

По его настоянию отец взял и для себя четыре десятины земли где-то за три версты за Старым Харбином, а от нашего дома это было не менее шести верст.

– Зачем, папа, отдавать китайцам землю, давать им зарабатывать, давай-ка лучше сами ее обрабатывать.

Отец рассмеялся.

– Ты ведь никогда даже не видел, как пахут землю, а туда же, хочешь еще взяться сам пахать.

Долго они пререкались, но все же брат отстоял для себя одну десятину, а остальные три десятины были сданы в аренду китайцам, и, конечно, с них были получены денежки наличными да еще кое-какие подарки натурой с огородов, а с нашей десятины...

В помощники себе он взял меня. Мне тогда было десять лет.

Ранней весной построили мы на своей десятине, вдали за городом, в открытом поле, землянку, покрыли ее сверху несколькими досками, засыпали землей – внутри получилось довольно уютно, а кроме того и хорошая защита от солнца и непогоды.

Много ночей провели мы в этой землянке в то тяжелое для нас первое лето «на земле».

Пахать приходилось ранней весной в дождь, пропущено несколько дней занятий в гимназии. Наконец все поле вспахано, на половине десятины посажен картофель, а на остальной части постепенно рассадили все остальное: капусту, свеклу, морковь, дыни, арбузы, огурцы и всякие прочие овощи, а кроме того, на границе участка несколько рядов подсолнухов.

Закончив посадку, мы почили на лаврах, совершенно забросив поле, да к тому же подошло время весенних переходных экзаменов, и мне с братом было не до земледелия.

Кончены, наконец, экзамены. Благополучно перебрались в следующие классы и скорее к себе на пашню.

Там к этому времени уже разрослась буйная трава, заглушившая все всходы наших овощей.

Резво взялись за работу. Прополоть целую десятину земли, густо заросшую травой, дело не легкое.

Быстро, однако, мы наловчились полоть острыми китайскими тяпками. Земля была вспахана по китайскому образцу длинными полосами-грядками.

Начинаешь полоть с рассвета – смотришь, брат уже давно ушел на своей полосе, а я все еще копошусь где-нибудь поблизости, прополов саженой 5-10.

Наконец все закончено, гряды прополоты, теперь нужно только следить за новой появляющейся травкой, вовремя срезать ее да следить за овощами, особенно за капустой.

Словом, работы много. Оба мы, конечно, справиться со всем не могли. А тут подошло время, когда подспели огурцы: нужно их срывать, а они, как нарочно, созревают, как угорелые – сносишь их мешками к землянке – многие перезрели.

Вечером после работы взваливаем тяжелые мешки на плечи, несем около трех верст до шоссе, а там нужно рядиться с китайцем-возчиком с драндулеткой, чтобы добраться до города.

Продавал брат огурцы по знакомым отца – кое-что заработал. Наутро, а чаще и в тот же вечер опять возвращаемся на пашню. Опасно оставить свое хозяйство так, без присмотра – соседи-китайцы живо растащат.

К осени, к началу учения мы все же могли похвалиться кое-какими достижениями – кроме собранных нескольких мешков огурцов у нас было много капусты, картофеля и всяких других овощей.

Наконец подходит время идти в гимназию, нужно бросать пашню, а там еще половина овощей не собрана.

Взялись как-то целый день выкапывать картофель, срывать тыквы... к вечеру у нас было несколько больших пятипудовых мешков картофеля и прочего добра.

Арбу уже не нанять. Темно. Нужно оставаться на ночлег – караулить мешки. Знакомый китаец-огородник, сосед, принес кусок брезента – укрыться от начавшего накрапывать дождя. Я улегся в ямку между гряд, брат укрыл меня брезентом... хорошо... сверху лениво постукивают дождевые брызги... быстро заснул.

Брат пристроился на мешках, укрывшись китайским халатом... все боялся, чтобы их не украли.

Под утро часа в три брат разбудил меня:

– Ты не промок?

С трудом поднялся, в голове шумит... Оказывается, за ночь вода

скопилась под брезентом в ямке между грядок, в которой я спал, и так я всю ночь и проспал в воде.

Поднялся мокрый. Дрожь пронизывает все тело. Согреться негде. Попрыгал немного. Размялся. Стало теплее.

Наконец забрезжил рассвет. Из соседней деревушки потянулись в город арбы.

Быстро сторговались с китайцем-возчиком. Погрузили все, что было можно, и покинули свою пашню.

- Нужно будет вернуться в воскресенье, разобрать землянку да нагрузить еще арбу картофелем!

Тронулись. Я забрался наверх. Улегся... Чувствую, что совсем расхворался. Позеленел весь. Трясет...

- Скорее бы домой!

А арба, как нарочно, ползет едва-едва, поскрипывая немазаными колесами, выворачивая своими визгом все внутренности...

К вечеру меня совсем развезло. Провалился пару дней, но организм все же переборол болезнь, и я через два дня был здоров – по счастью, ночь, проведенная в яме, наполненной водой, на моем здоровье не отразилась.

В воскресенье поехать на пашню нам не удалось, шел сильный дождь. В следующее воскресенье нас тоже что-то задержало, и мы попали на пашню только недели через три.

Пришли и не узнали своего поля. Мы за все лето тяжелой работы не могли добиться такой чистоты, которая царила теперь на нашей десятине. Чистенько все прибрано, подчищена не только трава, но и все овощи, подсолнухи и т.д.

Китайцы вычистили все, не оставили ни одной картофелинки, сняли даже крышу с нашей землянки. Словом, «прибрали» подчистую.

- Чистая работа!!! – ухмыльнулся брат. – Нам, брат, далеко до этого.

- Пройдем-ка по полю, может быть, что еще найдем, что китайцы не успели забрать.

И действительно, мы нашли несколько гряд со свеклой...

Выкопали ее, набрали мешок и в обратный путь, в последний раз распрощавшись со своей пашней.

На этом наш первый опыт в области земледелия закончился.

* * *

И вот через три года брат решил развести на даче всякую живность.

Отец первое время не соглашался:

- Подохнут, – говорит, – ваши и коровы, и лошади, и куры, и гуси. Ты же не знаешь, когда их кормить, не умеешь доить коров, не сумеешь запрячь лошадь, – говорит он, – куда же ты берешься?

- А вот посмотришь, какое у нас образцовое будет поместье.

Отец наконец согласился.

На первое время купили птицу: кур, гусей, уток; знакомый помощник начальника станции, Самсонов, подарил пару хороших белых поросят.

С птицей все же первое время справлялись, тем более что их и кормить-то почти не нужно летом. Много подножного корма. Вот с поросятами дело хуже.

Другой раз вместо того, чтобы их накормить, мы в это время сражаемся на поле в футбол или в лапту.

Поросята, однако, подросли и сами стали промышлять насчет съестного, главным образом, на кухне.

Не успеешь оглянуться, как они с печи на летней кухне прямо с горячей сковороды слизывают сочные лепешки или пухлые котлеты.

Куры тоже не зевают и воруют все, что только возможно. Во время обеда вскакивают на стол и в момент выхватывают прямо из рук куски хлеба.

- Вот расплодили напасть, - возмущается отец. - Житья не дают. Перережу всех!

А дальше пошло еще лучше...

У людей коровы - как коровы, лошади - как лошади, а у нас... Купил отец брату две молодых породистых коровки и бычка, а потом по дешевке и монгольского коня с кличкой «Монгол».

Подросли коровы, брат стал их доить.

Коровы породистые должны давать, по меньшей мере, по 20 бутылок молока, а у брата больше пяти бутылок никак не выходило.

А доить... сплошное мучение. Только брат с ведром в ограду, как Машка, Мунька задирают хвосты и через плетень. Только треск идет в кустарнике, когда они мчатся, куда глаза глядят - лишь бы подальше от своего мучителя.

- Куда?! Машка! Мунька! Назад!

Куда там! Ломят всюю. Только лес хрустит.

Устраивается погоня. Коровы перебираются через реку и в лес, а там и дальше на китайские поля.

Бывает, ищешь их по два дня. Находишь где-нибудь на задах китайской деревушки. Стоят спокойно, пережевывают что-нибудь. Довольны, что никто их не собирается доить.

Заарканил брат беглянок, всыпет хорошей дубиной и обратно.

А там все сначала...

Если корове не удастся бежать, то уже можно быть уверенным, что она перевернет ведро с только что выдоенным молоком.

Новая порция изломанных об ее спину палок, вырывается и... в лес.

Монгол не лучше. Его ни оседлать нельзя, ни поехать. Лягается,

кусается. А обломать коня некому – никто из нас никогда на лошадях не ездил, за исключением старшего брата Петра, служившего в гражданскую войну в кавалерии.

Только он один и управлялся с непокорным конем.

Конь тоже такой, что не углядишь за ним, – норовит убежать в лес. Раз на три дня пропадал, и только случайно знакомый стрелочник, ехавший товарным поездом, увидел нашего Монгола в семи верстах от станции под сопкой в табуне китайских крестьянских лошадей.

Он сразу узнал стройного Монгола среди китайских кляч, соскочил на полном ходу с поезда, перевернулся несколько раз через голову, часа два бегал, ловил коня. Поймал все же и привел к нам.

И так безалаберно, но зато весело велось наше хозяйство.

Заиграемся на площадке в футбол, забудем про коров и лошадей – ясно, те ждут-ждут хозяев, надоест им, проломают плетень и направятся куда-нибудь промышлять сами.

На следующий день новые поиски их, опять иногда продолжающиеся по два дня...

Поросята с каждым днем становятся все более нахальными. Подросли, чуть не каждый день воруют все, что попадется на сковороде. Не доглядел, конечно – все украдут. Коровы стали воровать с веревок белье и полотенца, а про птицу и говорить не приходится. Пустишь по ним поленом – только и помогает – разбегаются... на несколько минут.

Осенью пришел конец нашему хозяйству. Одна за другой подошли ставшие большими свиньи – заболели чумой. А там чума скосила и красавца белого бычка, за которым следом, не прожив и пару дней, чума захватила новую жертву – корову.

Осталась самая шустрая и самая бешеная корова – черная Машка, за которой приходилось больше всего бегать, которая чаще других пропадала в лесу и китайских полях, за речкой.

Отец испугался, что болезнь скосит и эту последнюю корову, по дешевке продал ее железнодорожнику на станцию Имяньпо.

Там корова в опытных руках оправилась, стала смирной и сразу же стала давать 20 бутылок молока.

Недолго прожил и Монгол. Через несколько дней китайцы утащили и его тушу.

Из большого хозяйства, кроме птицы, ничего не осталось. Да и птицу стали бить осенью, хоть этим попользовались, пока и их не покосила страшная болезнь.

Черная корова Машка, однако, долго не прожила. В начале зимы ее зарезал поезд на станционных путях... Спаслась от чумы – попала под поезд.

После этого опыта мы уже хозяйством не обзаводились.

Приезжали только на дачу каждое лето, купались, занимались спортом, но из хозяйства заводили только кур.

Спокойнее, да и хлопот меньше.

С тех пор на даче покатила мирная размеренная жизнь «без экспериментов», которую только несколько нарушил советско-китайский конфликт 1929 года, а там опять спокойные годы, потом – маньчжурские события, образование нового государства Маньчжуго, жизнь на станции стала опасной... слишком часто ее стали посещать хунхузы, старогиринцы, «пикачи» и другие, и только лето 1933 года... последнее лето на даче вновь прошло шумно и весело. Наступило как будто успокоение – вновь ожил наш постаревший дом, вновь послышался смех молодых голосов, шум, гам, игры – опять все по-старому.

Старый парк весело заулыбался ветвями своих деревьев, с одобрением покачивая верхушками высоких черемух...

Год промчался... жизнь замерла. Там все то же, как будто, но нет души – замерла жизнь... задумался парк; зарос травой, некому ее примять, побегать по ней, некому залезть на черемуху...

Задумчивый парк... Есть ему что вспомнить. Стоят деревья, погрузились в спокойную, задумчивую дремоту, не шелохнутся...

Потом вдруг вспомнят былые годы, весело тряхнут своими кудрявыми шапками, пробежит по ним шаловливый ветерок, и опять вспомнится былое, ненадолго...

Момент... и вновь поник своими ветвями родной и дорогой задумчивый парк.

Июль 1934 г.

Харбин.

* * *

Еще год промчался... Прожурчала разлившимися горными речонками весна; прошелестело подгоревшими на солнце травами лето; буйными разноцветными красками улыбнулась осень, и, наконец... закружило ледяными ветрами, запорошило снежинками, засыпало аршинными снегами... зима властно вступила в свои права...

Мокрой, сырой, дождливой зимой в Шанхае получаю письмо от приятеля, ярого охотника, «оттуда», с нашей станции... Умх.

... – «Дружище, – конец! Нет больше вашего дома, нет вашего парка, нет ни одного кустика – все точно снесло ураганом, – перелистнулась страница, самая яркая страница жизни нашей станции. Нет вашего дома, точно его и вообще не было. Ваши продали дом на слом, продали и лес... Дом разобрали в один день, а от леса в несколько дней ничего не осталось... все повырубали, и теперь между старым полотном железной дороги и речкой, былыми границами вашего участка, – нет ничего...

пустыня! нет ни одного кустика, все взято подчистую, а сейчас, когда даже щепочки занесло снегом, так и вовсе не осталось никаких следов... чистая, белая, безжизненная, снежная пустыня...».

Силось представить себе эту новую картину и не могу. Как нет ничего? Как пустыня? Неужели нет нашего дома, пятнадцать лет незыблемо стоявшего и сопротивлявшегося невгодам, наводнениям, буранам и ливням!?

А парк?! Неужели уже нет этих громадных черемух, кленов и яблонь; неужели так и не осталось ни одного деревца?.. Силось, напрягаю мысли... Начинаю представлять себе картину – не ту знакомую картину, врезавшуюся в память, а новую... Дома нет... вместо него – снежная ровная пелена... Представляю себя на насыпи старого полотна дороги, смотрю... Вон далеко темнеет на этой равнине провал вниз, туда, к речке, которую прежде не видно было за громадными деревьями парка; той речки, в которой ежедневно барахтались летом, а зимой изредка наездами катались на коньках...

Вот там... вероятно, шла главная аллея, окаймленная с обеих сторон белостволыми березками, увитыми виноградными лозами. Вон – небольшой овражек, засыпанный снегом, там через него был перекинут ажурный мостик, а вот – влево большая яма, также полусыпанная снегом, – здесь прежде был винный погреб, в котором мы хранили сотни ведер самодельного вина из дикого винограда; еще левее стоял пчельник, где всегда слышен был гул оживленных роев трудолюбивых пчел, деловито кружившихся вокруг отца, осматривавшего рамки ульев, обрезавшего трутней и любовно другой раз освобождавшего запутавшуюся в его седой бороде труженицу-пчелку. Пчелы привыкли к нему, знают его, и почти не было случая, чтобы хотя бы одна из них ужалила его...

Все там сейчас занесено снегом... там теперь снежная пустыня... нет ни пчел, нет ни дома, ни парка, нет уже и отца...

Белый ровный ковер... Солнце, отражаясь от снега, ослепительно режет глаза... Вспоминается чеховский «Вишневый сад»...

25 января 1936 года. Шанхай.

*Опубликовано: Петров В. В Маньчжурии. Шанхай, 1937.
Печатается по: Литература русских эмигрантов в Китае:
В 10 т. Пекин, 2005. Т. 7. С. 231-255.*

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|--|-----|
| Яков Лович | 3 |
| Еврейское счастье | 3 |
| Родимое пятно | 9 |
| Покорность | 15 |
| Женщина из контрразведки | 23 |
| Об артистке Зыряновой, о бомбах в станцию Бухеду, о Лашевиче и советской даме, о Косте Зубове и том, как Остроумов приказывал расти траве и цветам | 33 |
| Шанхайцы. <i>Отрывок из романа</i> | 42 |
| Василий Логинов | 69 |
| Царство Ял-Мал. <i>В сокращении</i> | 69 |
| Медвежья охота | 92 |
| Забытые тени | 98 |
| Врубель | 101 |
| Великий пост | 112 |
| Дитя природы | 117 |
| Тройка | 120 |
| Венедикт Март | 125 |
| Распечатанные тайны | 126 |
| Лапа Мин-дзы | 129 |
| Долг покойного | 133 |
| На черной нитке | 138 |
| Хун Чиэ-фу | 140 |
| В японском мешке | 144 |
| Речные люди. <i>Повесть</i> | 149 |
| Дэрэ – водяная свадьба | 186 |
| Аполлинарий Ненцинский | 203 |
| Человек во фраке | 203 |
| Сильнее любви | 210 |
| Последние полчаса | 232 |
| Арсений Несмелов | 243 |
| Шпион | 243 |
| Дети | 244 |
| Сторожевка | 246 |
| Домик над бухтой | 249 |
| Безумие | 252 |
| Ледяная гибель | 255 |
| Золотой зуб | 280 |
| Золото | 288 |
| Контрразведчик | 296 |

| | |
|---------------------------------|-----|
| Сторублевка..... | 315 |
| Людоед..... | 324 |
| Игра на мясо..... | 341 |
| Болезнь Нины Павловны..... | 346 |
| Людмила Никифорова | 356 |
| Китайский бог..... | 356 |
| С далекого юга..... | 364 |
| Человеческий быт..... | 375 |
| Валерий Перелешин | 381 |
| Замок белой женщины..... | 381 |
| Бурьян..... | 387 |
| Ветер с озера Си..... | 394 |
| Николай Петерец | 400 |
| Две развязки..... | 400 |
| Алексей Петров | 405 |
| Харбинская фамилия..... | 405 |
| Настоящий мужчина..... | 407 |
| Злая шутка..... | 409 |
| Виктор Петров | 415 |
| Расстрел..... | 415 |
| 20 лет назад..... | 419 |
| В задумчивом парке..... | 423 |
| Содержание | 442 |

**Литература русского зарубежья. Восточная ветвь: Хрестоматия: В 4-х томах. Т. 1.
Проза: В 3-х частях. Ч. 2 (Л-П) / Сост. А.А. Забияко, Г.В. Эфендиева.**

Дизайн – Ю.М. Гофман, В.А. Долгов.